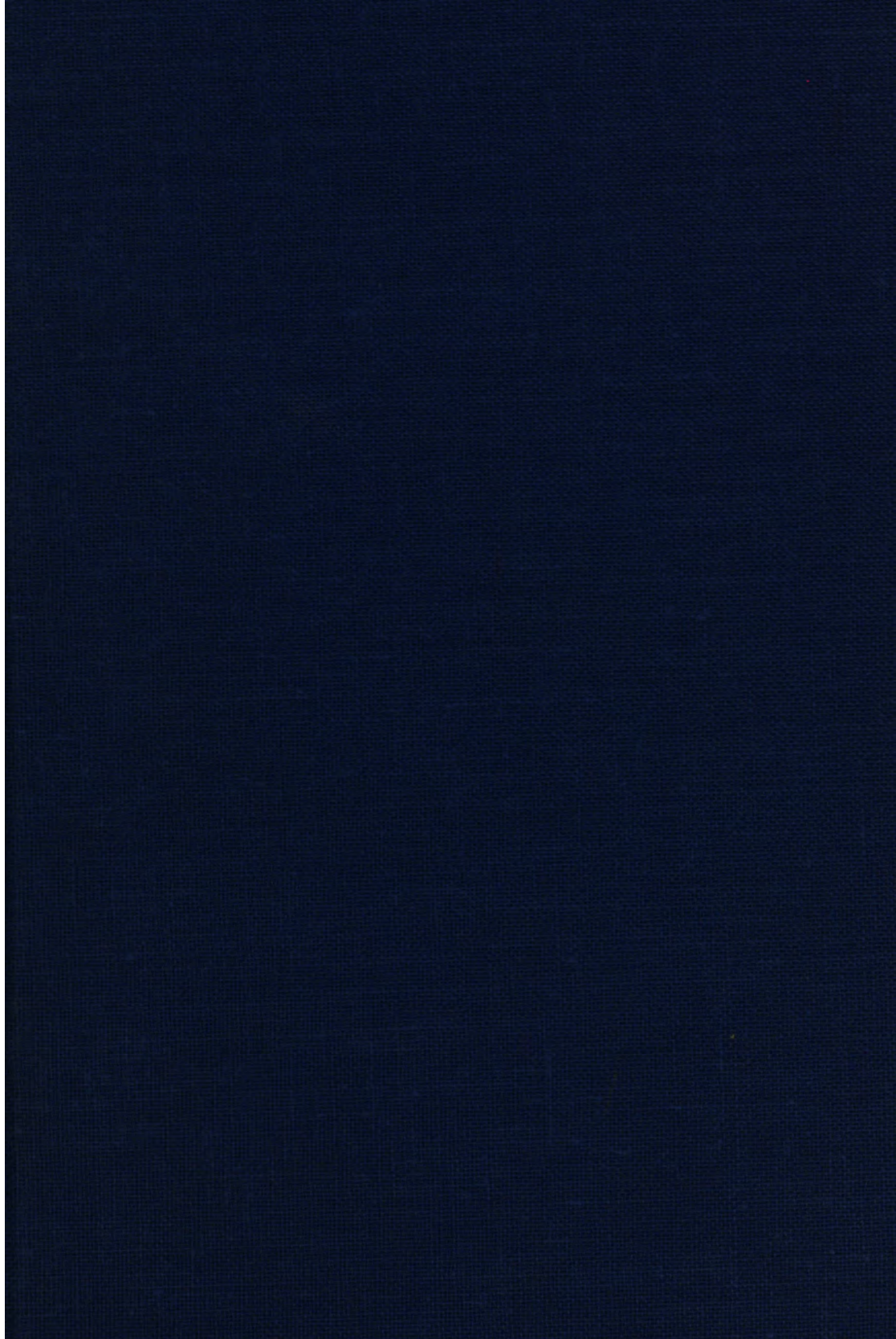






Published by Europe Printing Establishment

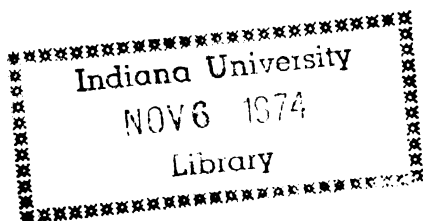
This volume supplements

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS, 94/1-11

a series published by Mouton Publishers, The Hague, Netherlands

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

94/33



ВЫЛОЕ

BYLOE
=

INDIANA UNIVERSITY
LIBRARIES
BLOOMINGTON

DK1
.B982
New ser.
no.30

№ 2 (30)

1925

R

11-11-74

Ленинградский Гублит № 11122.

Тираж 4500 экз. — 16.

Гос. уч.-практ. школа-типография имени тов. Алексеева. Ленинград. Красная, 1.

К 25-летию со дня смерти П. Л. Лаврова.

I. П. Л. Лавров Программа двух бесед по нравственной философии. II. Письма П. Л. Лаврова. Н. Ф. Щербине, Г. Н. Выходову, Н. С. Туржанову, Я. В. Стасову. III. Официальные комментарии к „Историческим письмам“ Лаврова. IV. Газетные П. Л. Лавров и „Вперед“.

П. Л. Лавров.

Программа двух бесед из нравственной философии.

I. Несчастье и вина.

Человек в присутствии горя. Объяснение горя. Собственная прямая вина. Чужая очевидная вина. Несчастье. Случайность. Критика случайности. Религиозная точка зрения. Испытание. Вина самого наказуемого. Вина другого лица. Общее бедствие. Вина народа. Жертва. Человеческая жертва. Китайские богдыханы. Религиозный фатализм. Обыкновенная точка зрения. Фатализм природных явлений. Человек, как деятель в природе. Природа, как средство человеческих целей. Злонамеренности. Подозрительность. Обвинения политических врагов. Обвинения общественных партий. Увлечение массы. Гонение невинных. Коалиция предрассудков и злонамеренности. Осуждение без суда. Суд с предубеждениями. Человеческие жертвы нового рода. Самосознательная точка зрения. Человек, как испытатель природы. Обязанность борьбы, обязанность предвидения. Вина частного человека. Вина администратора. Вина общества. Нет несчастья без вины человека. Применение к современному несчастью. Наша обязанность.

II. Цена жизни.

Человеческое достоинство. Принадлежит ли жизнь к достоинству? Самоубийство. Самопожертвование. Пожертвование жизнью из-за убеждения. Собственная жизнь есть часть достоинства. Достоинство жизни с точки зрения бессмертия души, с точки зрения любви и уважения к другим людям. Жертва жизнью за другого. Любовь. Идолопоклонство. Стадное чувство. Чужая жизнь. Случай, когда она равноценна нашей или нет. Можно ли подвергать опасности другого человека? Общее убеждение и общая опасность. Предводители и подчиненные. Невизбежность гибели известного процента для всех успехов. Убийство. Убийство во время защиты. Оборонительная

война. Убийство случайное. Дуэль. Нелепость его основания. Давление общественного мнения. Преднамеренное убийство, рациональные дуэли. Убийство личного прага. Отрицание чужого достоинства. Нравственное злоубийство. Убийство политическое. Заговор. Почти всегда убийство ослабляет партию, которая его совершила. Условие удачи и неудачи. Римские кесари и турецкие султаны. Борьба равносильных партий; масса всегда против убийц. Борьба слабейших против сильнейших. Точка зрения нравственности и религии. Торжество во что бы ни стало. Фанатизм. Борьба против тайных врагов. Суд Линча. Террор. Отрицание и унижение человеческого достоинства. Борьба сильнейших против слабейших. Мученики. Государство и единица. Помилование. Закон и человек. Опасность периодического убийства. Бессилие. Устрашение. Истинный и ложный героизм. Убийство может быть необходимым, как разные бедствия, но никогда не может быть справедливым. Оно всегда опасно.

Лекции, прочитанные Лавровым в пользу Литературного фонда в ноябре 1860 г., произвели громадное впечатление в Петербурге. Это было „первое публичное слово о философии, произнесенное светским лицом в России вне духовных заведений, со времени закрытия кафедр философии Николаем I“ ¹⁾. и, надо прибавить, сказанное живо, талантливо и красиво. Об этом впечатлении единодушно свидетельствуют и периодическая печать того времени и воспоминания современников. „Опять он говорил, записывает в своем дневнике Е. А. Шгаженштейндер, и сегодня в последний раз. И сегодня это был уж не успех, а триумф. Вызовам и восторгам конца не было... Лавров теперь сделался каким-то героем и вне нашего кружка, где он им и был. Эти лекции очень увеличили его известность“ ²⁾.

Окрыленный необычайным успехом и, быть может, к тому же и побуждаемый слушателями Петр Лаврович сделал попытку в начале 1862 г. занять кафедру философии в Петербургском университете, а когда последнее ему не удалось, решил продолжить публичные лекции и возбудил по этому поводу летом 1862 г. соответствующее ходатайство в надлежащих сферах. К сожалению, программа, представленная им, попала в руки А. В. Никитенко, который дал о ней такой уничтожающий отзыв:

„Автор программы озаглавливает ее словами: из нравственной философии и тем заставляет предполагать, что он в своих беседах или чтениях будет руководствоваться видами наук и ее методом. Между тем, в изложении программы не видно и тени того, что напоминало бы про ту и другой. Это просто набор слов, которые могут служить темой каких угодно рассуждений и разговоров. Всякая наука, как и часть ее, имеет свою определенную сферу; положения их не случайно приходит, а каждое вытекает из чего-нибудь основного, имеет свое определенное место, причину, почему оно является

¹⁾ Автобиография П. Л. Лаврова — „Вестник Европы“ 1910, X, 98.

²⁾ „Русский Вестник“ 1901, VIII, 420.

здесь, а не там и носит в себе основание — связь с предыдущим и последующим. Как бы ни была кратка программа, она не увольняет составителя ее от обязанности располагать материал свой так, чтобы видно было, что тут господствуют не произвол и случайность, а закон необходимости, вытекающий из задачи науки или ее части. Ничего подобного в программе двух бесед не оказывается. Во множестве слов, ее наполняющих, не проведено никакой умственной нити; между ними нет ни малейшей логической связи и последовательности, так что их можно переставлять, перемешивать каким угодно образом, можно иные выбросить или набрать по произволу другие и все выйдет то же, т.-е. ничего, что рассматривающим программу могло бы ручаться за ее годность и отвечать за смысл того, что в ней будет исполнено. Автор ее не составляет никакого начала, служащего условием такого или другого содержания его бесед.

Первая беседа называется: Несчастье и вина, под этой рубрикой сопоставлены слова: человек в присутствии (?) горя. Объяснение горя. Собственная прямая вина. — Далее: вина народа. Жертва. Человеческая жертва. Китайские богдыханы. Религиозный фатализм. Обыкновенная точка зрения. Еще далее: Природа, как средство человеческих целей. Злонамеренность. Подозрительность. Обвинение личных врагов. Обвинение политических врагов. Над другой беседой находятся слова: Цена жизни, и затем опять следует каталог слов, только не в алфавитном порядке, как, напр.: Любовь. Идолопоклонство. Стадное чувство. Чужая жизнь. Или: Общее убеждение и общая опасность. Предводители и подчиненные. Неизбежность гибели известного процента для всех успехов и т. д.

Может быть у автора есть отдельные сочинения, трактаты на каждый из этих предметов, и ему хотелось вместо того, чтобы печатать, прочесть их самому перед публикой. Но в таком случае к чему же давать им вид чего-то целого, принадлежащего науке — нравственной философии и почему не представить их на рассмотрение суда следует на основании общих цензурных постановлений?

По всем выше изложенным обстоятельствам, так как программа двух бесед не представляет никакого серьезного ученого значения и как, с другой стороны, из нее нельзя сделать никакого вывода о том, что автор намерен говорить публике в своих беседах о предметах чрезвычайно разнородных, то фактует решительно не может, по моему мнению, произнести о них никакого суждения.

В заключение позволяю себе спросить: для кого и для чего эти так называемые беседы из нравственной философии? Если для тех, которые бы могли усвоить себе философский взгляд на предметы, о которых упомянуто в программе, то спрашивается, есть ли какая-нибудь хоть малейшая возможность достигнуть этого в продолжение двух чтений, без философского изучения, сколько-нибудь приближающегося к твердым началам науки и предпологая при этом, что автор будет стараться ознакомить своих слушателей со

взглядом на вещи великих мыслителей: ибо, конечно, не захочет же он взять на себя одного решение тех важных и серьезных вопросов, какие сами собой возникают из предлагаемых им предметов? Не будет ли это источником новых поверхностных, легких и шатких понятий, которых и без того такое множество рассеяно в нашем современном обществе?

Нам нужны не отрывочные, беглые, дилетантские суждения с философскими претензиями, а серьезная, твердая, строгая наука философии, для которой единственное место — кафедра университетская. Представив факультету мое мнение, покорнее же прошу его передать оное на благоусмотрение Г. Попечителя С.-Петербургского округа ¹⁾).

Никитенко вообще не жаловал людей 60-х годов, но к Лаврову он питал какое-то особенное нерасположение, почти граничащее с ненавистью. Вот как он характеризовал его в своем дневнике: „Есть у нас особенный тип прогрессиста, который как нельзя осязательнее воплотился в Петре Лавровиче. Он страстно любит человечество, готов служить ему везде и во всем. Любовь эту почерпнул он в сочинениях новейших социалистов, не думая много о том, насколько в них правды, применимости и трезвой, настоящей а не экзальтированной, пустой и бесплодной преданности интересам человеческим. В награду за свою бескорыстную любовь Петр Лаврович хочет одного: быть признанным великим человеком между своими современниками и удостоиться от них двух-трех оваций, — желание весьма скромное и похвальное. Собственно говоря, Петр Лаврович-философ потому, что он знает немецкий язык и прочитал на нем некоторые из великих творений Фейербаха, Молешота, Бухнера и т. д. В заботливости своей о благе человечества он неустанно суетится, всюду суется со своим участием, старается, елико возможно, рассеять все предрассудки и просветить людей так, чтобы они совершенно повалили и убедились в том, что человек происходит от обезьяны, что религия и нравственность суть цепи, наложенные на людей деспотами и попами, что просвещенный эгоизм есть единственный нравственный принцип, что душа человека и свиньи совершенно одно и то же, что „ум есть географическое название“ и пр., и пр. Петр Лаврович удивительно подвижной человек. Едва прочитает он в заграничном журнале какую-нибудь научную и политическую новость, тотчас, как Бобчинский, бежит разгласить ее везде, куда только дозволен ему доступ. Писать он избегает, отчасти потому, что боится цензуры, а отчасти потому, что пишет прескверно — темно и запутанно. Он лучше любит путь тихой ползучей пропаганды и особенно падок до молодых людей и женщин, которым ему легче начинать всяким вадором во имя прогресса. Прежде „Колокол“ был для него источником всех великих истин и убеждений. Но с той поры, как „Колокол“ затих, Петр Лаврович сделался эклектиком в определенном смысле — в смысле социализма и материализма“ ²⁾).

¹⁾ В „Дневнике“ своем Никитенко об этой программе выразился еще более резко, назвав ее „верхом бесстыдства и шарлатанства“ (Изд. 1905, т. II, стр. 8²⁾).

²⁾ Дневник А. В. Никитенко. Слб. 1905. т. II, стр. 188.

Такие выпады Никитенко, как справедливо заметил Э. Л. Радлов ¹⁾, могут конкурировать разве только с „непозволительными писаниями“ Аскоченского и, по всей вероятности, вызваны были отчасти личным раздражением против Лаврова, не всегда с похвалой отзывавшегося об ученых трудах Никитенко ²⁾.

Но приведенная выдержка важна не с одной только указанной стороны. Большого внимания она заслуживает потому, что свидетельствует о совершенном бессилии Никитенко разобраться в духовной личности Лаврова и в его философских воззрениях, последнее, впрочем, по другому поводу уже было отмечено В. В. Лесевичем ³⁾.

Полная несостоятельность Никитенко обнаруживается и в приведенном выше отзыве его о программе двух бесед из нравственной философии.

Тем не менее этот отзыв, несомненно, сыграл немалую роль в деле гонения на беседы, которые не удалось Лаврову осуществить, как не удалось ему около того же времени попасть в Петербургский университет, чему он обязан был в значительной степени опять-таки Никитенко ⁴⁾.

Сообщил С. А. Переселеннов.

¹⁾ П. Л. Лавров. Статьи, воспоминания, материалы. П. 1922. Стр. 11.

²⁾ Дневник Е. А. Штапельштейндер, — „Голос Минувшего“ 1915, VII—VIII, 99.

³⁾ „На славном восту“. Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому. Сиб. 1906. Стр. 153 — 156.

⁴⁾ См. „Дневник“ его. Ч. II. Стр. 5 и 32.

Письма П. Л. Лаврова.

1. Н. Ф. Щербине.

[Вторая половина 1859 г. Петербург.]

Милостивый Государь
Николай Федорович.

Вы имеете полное право считать меня за неуча и невежу, так как я до сих пор не отвечал Вам на Ваше любезное письмо. Но я желал прислать Вам все, о чем Вы писали, и все надеялся, что наконец получу мои особые оттиски текстов. Увы, ожидание не сбылось. Такого скверного ералаша, как редакция Русского Слова, с огнем поискать. До сих пор я не могу получить ни денег за статью, ни своих оттисков, ни даже своего кровного оригинала. Очень сожалею, что связался с ними и что на мне еще лежит обязанность продолжать для них мою статью. Посылаю Вам Гегелизм и Механическую теорию мира. Если получу когда-нибудь текстов, о них их пришлю.— А что от Вас ничего не слышать. Вы в долгу перед публикою и довольно давно. Следовало бы заплатить с лихвою за все время, особенно когда волшебный капитал всегда с собою. Вынь да положи, а беднее не сделаешься.

Примите уверение в совершенном почтении душевно Вам преданного
П. Лаврова.

Вы меня извините, что присылаю один экземпляр, но у меня их очень мало, а Механической теории мира и вовсе не осталось, кроме своего.

С известным поэтом Николаем Федоровичем Щербиною (род. 1821, ум. 10 апр. 1869) Лавров познакомился, всего вероятнее, в доме Штакеншнейдеров, где бывали все почти тогдашние писатели и где Лавров был особенно частым гостем, вызывая к себе восторженное отношение со стороны пламенной любительницы литературы— Е. А. Штакеншнейдер; ее дневники за разные годы полны упоминаний о Лаврове; с ним она была и в деятельной переписке¹⁾. Лаврова привлекал к Щербине, как поэтический дар последнего,

¹⁾ „Русск. Вестн.“ 1901 г., № 5—10 (особенно № 7, стр. 126—128), и „Гол. Мин.“. 1913, VII—VIII.

так, конечно, и его оригинальная личность; к тому же, Щербина, повидимому, оценил и в Лаврове ту поэтическую жилку, которая в молодые годы мыслителя билась в нем довольно живо. Поэт Я. П. Полонский в дневнике своем от конца 1855 года записал однажды, как, будучи у Щербины, он застал его и его приятеля Сошальского за чтением стихов неизвестного поэта: „Библия“, „Нет, боже, ты немилосерд“ и „Крещение“. „Если это произведения молодого поэта, — замечает Полонский о стихах: — то много обещает этот господин. Новая струйка пробивается в стихах его. Это были, как оказалось, стихотворения П. Л. Лаврова“...¹⁾.

Письмо Лаврова относится, как мы полагаем, ко второй половине 1859 года и писано из Петербурга, — вероятно, в Москву, где раньше служил Щербина, датируется оно по упоминаемым в нем статьям Лаврова, из которых статья „Современные германские тейсты“ была напечатана в „Русском Слове“ (ред. Г. Е. Благовестлова) 1859 г., № 7, июль, стр. 141 — 212; две статьи под заглавием „Гегелизм“ были помещены в „Библиотеке для чтения“ 1858 г., № 5 и 9, а известная „Механическая теория мира“ — в „Отечественных Записках“ 1859 г., № 4; апрель (стр. 451 — 492);²⁾ статьи о тейстах продолжена не была...

Во второй половине 1850-х годов Щербина пользовался большою известностью, как поэт-гражданин, как автор „Ямбов и элегий“ (изд. 1856 г.), произвукших столь нравившимися тогда обществу „гражданскою скорбью“ и благородным негодованием на многообразные язвы нашей государственности и общественной; все знали тогда его стихотворения: „К поэту“, „Женщине“, „Признание пророка“, „Солнцу“, „Ямб“, „Ирония“, „Песня века“ и др.; знал их, конечно, и Лавров, оценивший их по достоинству и как поэт, и как гражданин. Но Щербина „для красного словца не падал ни матери, ни отца“ и в припадке желчной злобы кийми своими ядовитыми эпиграммами и друзей, и недругов; досталось от него и Лаврову, который, правда, не попал в знаменитый Щербиновский „Сонник современной русской литературы“, но не миновал злой эпиграммы:

Он Пилат студентской дружбы,
Он младенец зрелых лет,
Он полковник русской службы,
Русской мысли он кадет³⁾.

В полное собрание сочинений Щербины (изд. 1873 г.) она не вошла и лишь помечена первым стихом в списке эпиграмм (стр. 439) с указанием, что она написана 1 июня 1862 г.; не знаем, чем, собственно, она вызвана, но думаем, что поводом к ней послужили известные лекции Лаврова в Пассаже в конце 1860 года и та популярность, которую приобрел он и этими лекциями и своими научными статьями; вернее, однако, предположить, что

¹⁾ „Голос Минувш.“, 1919 г. № 1—4, стр. 118;

²⁾ О них см. в статье Я. Н. Колубовского в „Вопр. философии и психологии“ 1898 г., кн. 44 (IV); ср. „Вестн. Евр.“ 1910, № 10.

³⁾ Печатаем по автографу Пушкинского Дома (Архив Никитенко).

написаны они были просто в припадке „ипохондрии“, на которую часто жаловался Щербина, как на источник своих желчных выходов против людей, которых он и любил, и уважал ¹⁾).

Упрек Лаврова Щербине за молчание был справедлив: выпустив еще в 1857 году 2 томик своих стихотворений, он в 1859 г. изредка печатался лишь в „Современнике“ или „Русском Вестнике“.

Б. Модзалевский.

2. Г. Н. Вырубову.

Вырубов и Лавров — странное сопоставление имен. Один — холодный, высокомерно-резкий, в то же время несколько чопорный аристократ западноевропейской складки, самодовольный позитивист с недалеким умом и довольно жесткий эгоист с математическим сердцем, — если оно вообще было, — с манерами и вкусами светского человека, не допускающего выхода из светского канона, богатый барин, незнакомый с психологией вынужденного труда, нужды, угнетения и борьбы за существование, незнакомый и с наслаждениями труда свободного, добровольно на себя наложенного, знающий только приличные, «огласные» с общепризнанной моралью занятия ума для препровождения времени и удовольствия, для скрашивания и без того не тяжелой жизни, осторожно свободомыслящий по положению человека прогрессивного в западноевропейском смысле и рассудочно-снисходительный к людям иной социальной касты, готовый даже на некоторую помощь им и содействие — в пределах дозволенного. Другой — забывный иногда энтузиаст-теоретик, с точностью и определенностью математического ума, с возвышенным бесстрашием научной мысли и таким же бесстрашием в исповедывании своих убеждений, с неуклонной волей, превращающей слово в дело, и неутомимым трудолюбием, знающим труд и как долг, и как наслаждение, с отзывчивой душой, с большим благородным сердцем, с мягкой снисходительностью и самоотверженной любовью к людям и „малым сич“ и суровой требовательностью к себе, с глубокой честностью в частной жизни; при всем том — тоже барин, тоже благовоспитанный джентльмен, но уже чисто русского склада, видящий в этой благовоспитанности не средство ограждать себя от других, но средство охранять и оберегать честь и человеческое достоинство других.

И все-таки судьба сопоставила их в жизни, как допускала не раз еще более странные и даже курьезные психологические сопоставления.

Григорий Николаевич Вырубов, бывший лицеист, кандидат естественных наук, позже магистр, легальный „эмигрант“, не потерявший права наездов в Россию для охоты и других сельских увеселений, натурализовавшийся даже во Франции с разрешения русского правительства, проживал на полной свободе в Париже, четвертый год занимаясь, совместно с видным французским позитивистом Литтре, изданием полу-философского, полу-публицистического жур-

¹⁾ См. „Истор. Вестн.“ 1891 г., № 1, стр. 49; Полн. собр. соч., изд. 1873 г., стр. 436.

нала обозрения „La philosophie positive“, когда Петр Лаврович Лавров, бывший артиллерийский полковник и профессор математики в Артиллерийской Академии, эмигрант уже настоящий, вынужденный, и при том беглец в полном смысле слова, появился там 1/13 марта 1870 г. с фальшивым паспортом на имя доктора Веймара, с небольшим запасом денег в кармане и с несколько большими расчетами на труд и возможность заработка их в будущем. Петр Лаврович бежал, как известно, с помощью Г. А. Лопатина из уездного города Бадникова Вологодской губернии, куда был сослан в 1867 г. после военного суда над ним, обвинявшего Лаврова: в писании и печатании возмутительных стихотворений, в знакомстве с профессором Павловым, сосланным в Вятку за речь по поводу празднования тысячелетия России, в сношениях с книгопродавцем Тибленом и в участии в издательской артели. В конце марта 1870 г. Лавров сделал Вырубову в качестве приезжего визит, как вероятно и некоторым другим соотечественникам, у которых мог ожидать встретить более или менее радужный прием; в числе их Лавров посетил и своего бывшего ученика по Академии, химика и впоследствии профессора Московского университета, В. Ф. Лушнина, который много помог Лаврову в его положении новичка-эмигранта без денег и без связей и о котором Лавров упоминает в одном из своих писем к Вырубову. Отсюда началось знакомство Лаврова с Вырубовым, и свидания между ними с тех пор нередко повторялись; так, с началом осады Парижа, Лавров, по совету Вырубова (по свидетельству последнего), предложил правительству Третьей республики свои услуги в качестве добровольца санитаря походного лазарета, расположившегося возле укреплений в Булонском лесу. С образованием коммуны Лавров сблизился с секцией интернационала Тэри, в которую был введен своим новым парижским приятелем, переплетчиком Варленом, несмотря на то, что в приливе отеческих попечений Вырубов предупреждал его, „что в этой ему совсем незнакомой среде немало сомнительных и даже несомненно дрянных личностей, которые могли причинить ему немало неприятностей в такое время, когда и правительство, и публика смотрели на иностранцев весьма недоброжелательно“.

Первое время в Париже Лавров занимался продолжением своей научно-литературной работы, которую не прекращал и в вологодской ссылке, но с развитием политических событий в Париже, после потери близкого человека, с окончательной утратой веры в возможность легального возвращения в Россию, а также с усилением революционного настроения внутри России и в среде „молодой“ русской эмиграции. — Лавров все больше и больше втягивался в активную роль революционера-теоретика, перехода постепенно от пассивного участия в деятельности французских коммунаров 1871 г. — к такому-же участию в деятельности международной ассоциации рабочих (интернационал), и от редактирования известного издания „Вперед!“ (1873—1876 гг.) — к редактированию, вместе с Л. А. Тихомировым, заграничного „Вестника народной воли“ (1883), а позже — к ближайшему участию в издании „группой старых народолюбцев“ „Материалов для истории русского

социально-революционного движения" (1892 — 1896 гг.), отклоняя от себя при этом кличку „народовольца“, но признавая себя „верным союзником этой партии“. Параллельно с деятельностью, менялось и политическое мировоззрение Лаврова: из либерала-прогрессиста он постепенно превратился в социалиста, даже последователя исторического материализма, впрочем — с оговорками, как говорят люди, компетентные в этом вопросе.

Когда наступили последние дни французской коммуны и версальские войска обложили Париж, Лавров отправился в конце апреля 1871 г., по поручению правительства коммунаров, с выданным ему для этого паспортом, в Бельгию и в Лондон просить у генерального совета интернационала, если не прямой помощи, то хоть нравственной поддержки французским рабочим, в виде организации на местах митингов и сочувственных манифестаций; но совет оказался бессильным, и Лавров ни с чем вернулся в Париж, приобретя только для себя в этой поездке некоторое знание положения рабочего дела в других странах, да мимолетное личное знакомство с Марксом, с которым тогда впервые встретился в Лондоне.

Ни поездка в Лондон, ни возвращение в усмиренный и очищенный от временного владычества рабочих Париж, в котором царствовала теперь с одной стороны — мстящее и карающее правительство Тьера, с другой — отдыхающая от ужасов осады и революции и веселящаяся толпа, — не прошли бесследно для Лаврова. Он глубоко вдумался и сердцем восчувствовал все происшедшее перед его глазами за эти полгода и дал откровенный и точный отчет о новом ходе своих мыслей и устремлений в известных уже, прекрасных письмах его к Г. А. Штакеншнейдер. Письма эти, исполненные ума, благородства, верного и замечательно глубокого понимания и оценки событий, как миновавших, так и грядущих на многие десятки лет вперед, обнаруживают в Лаврове нового человека, созревшего и осознавшего себя и свой дальнейший путь в жизни деятеля. Заключившись от нового для него на этот раз, на самом же деле прежнего, не умиравшего, а только на миг замершего Парижа Второй Империи, этого „западного Вавилона“, по выражению Лаврова, с его „пошлостью нестерпимой“ и „плоскостью невообразимой“, уйдя в себя от французского общества и даже тех ученых кругов (антропологов и др.), с которыми сблизился в первые месяцы своей эмиграции. — Лавров погрузился в свой одинокий журнальный труд публициста-антрополога и социолога-философа, присматриваясь тем временем с тем большим интересом к тому, что творилось в России; и пристально вникая в международное движение. Мечту о возвращении на родину он уже похоронил и окончательно решил служить всему народу, а с тем вместе рабочему движению всего мира, оттуда, куда слепая судьба его забросила, и теми представляющимися ему в любую минуту реальными путями и средствами, которые, не противореча своим общеполитическим и нравственным воззрениям, он сочтет для дела полезными и целесообразными.

Первым таким предложенным Лаврову из России практическим делом представилось издание нелегального русского органа за границей, который

мог бы назвать себя, и назвал, „органом научного и в то же время рабочего социализма“, и Лавров, не задумываясь и не колеблясь, пошел на него. „Не я бросился в бой“, объяснял Лавров в 1873 году Штакеншнейдер свое участие в издании „Вперед“, вероятно в ответ на ее дружеские упрёки; „я не считал себя нужным; я думал, что на меня смотрят, как на нечто почтенное, но к практическим делам непригодное. Когда же меня вызвали... я не имел права отказаться, хотя и весьма скептически относился ко всему делу... Я чувствовал, что я должен идти, и пошел, не колеблясь. Но пошел не опрометчиво; я требовал ручательства... через несколько месяцев я имел ручательства"... И вместе с тем: „людям я не верю ни на грош: знаю, что личные страсти, личные эгоизмы, мелкие расчеты, личные самолюбия играют весьма важную роль около меня, рядом с искренними и полускрываемыми убеждениями. Знаю, что ни на кого и ни на что верно рассчитывать не могу; знаю, что дело, за которое принимаюсь, может не удасться и навлечь на меня насмешки и нареканья. Знаю, вижу, как ставят препятствия этому делу те самые, которые должны бы содействовать ему на основании своих убеждений. Но это не поколеблет меня ни на минуту. Это может быть полезно, это моя нравственная обязанность... неудача постигла столько хороших дел, что одним более или менее — не важность"... и опять: „нет у меня надежд, не верю я в людей. Но есть сознание, что можно (курсив Л-ва) быть полезным на этом пути, что должно (тоже) идти по нему“.

Вот это самое дело, т.-е. издание „Вперед!“, кроме желания быть полезным русской молодежи своими знаниями, научным опытом и практическими советами, о чем он тоже писал Штакеншнейдер, и привело Лаврова в начале ноября (10—11) 1872 г. в Цюрих, а оттуда в марте 1874 г. в Лондон, оттуда, т.-е. из обоих городов, писаны в Вырубову, предлагаемые ниже письма.

О жизни Лаврова в Цюрихе следует напомнить несколько подробнее, чтобы сделать более понятными первые три письма его.

Ко времени приезда Лаврова в Цюрих — под фамилией Сидорова или Piëgg'a для адресов из России — колония русской учащейся молодежи там разрослась уже довольно значительно. В ней наблюдалось небольшое, но довольно сплоченное ядро, группировавшееся вокруг сторонника Бакунина Армана Росса — М. П. Сажина, и политически довольно неопределенно настроенное большинство, довольствовавшееся усердным посещением университетских лекций, занятиями в лабораториях да чтением нелегальной литературы в русской библиотеке, подобранной и весьма партийно организованной Сажиним. „Россовцы“ или „бакунисты“, как они стали именоваться позднее, жили товарищеской коммуной в большом трехэтажном доме, прозванном „Брауершлюсселем“, где помещалась и библиотека, а остальная масса селилась по всему Цюриху. Когда появился Лавров с готовой уже программой журнальной и определенным взглядом на свои обязанности по отношению к бездомной и неопытной молодежи, — он естественно сделался центром для всех, не примкнувших к числу „россовцев“, к нему приходили посоветоваться о своих научных занятиях, попросить книг из большой библиотеки, к которой

Лавров относился с трогательной нежностью, которую всюду таскал за собой, из-за которой во многих случаях стеснял себя, привязывал себя, например, к определенному месту жительства, и т. п. (подобное отношение к своей библиотеке мы знаем только еще у Пушкина, для которого его книги были его друзьями) и которой, тем не менее, охотно делился со своими юными товарищами; приходили, наконец, вероятно пожаловаться на притеснения „россовцев“, не допускавших несправедливых их кружку в члены библиотеки, а через это и к выбору литературы для ее пополнения, — и т. п. Лавров входил во все эти маленькие дела и интересы молодежи, и мало-по-малу к нему применяла большая часть колонии, не пожелавшая подчиниться деспотизму кучки анархистов. Сторонники Лаврова, разбросанные, как мы уже сказали, по всему Цюриху и терпящие от этого большие неудобства, задумали тоже устроить коммуну наподобие „Бремшлюсселя“, и для этого явилась нужда купить дом. Лавров, не сочувствуя покупке в принципе, на том основании, что „проповедникам социализма неудобно становиться собственниками“, противодействия все же не оказал, как мере практически необходимой в данных условиях, даже предложил Вырубову взять несколько акций (письмо 1), от чего тот отказался, и когда общежитие было устроено, переехал в него и сам, открыто предоставив для общего пользования свою библиотеку. При общежитии была дешевая столовая, читальня и общий зал для собраний, в котором Лавров читал молодежи свои лекции, начатые еще в „Бремшлюсселе“, а по определенным дням недели открывал у себя в квартире нечто в роде журфиксов, на которых обсуждались, как научные, так и современные злободневные вопросы.

Таким образом с приездом Лаврова в Цюрихе образовались две партии русских: „лавристов“ или „впередовцев“ и „бакунистов“ („россовцев“), между которыми установились довольно враждебные отношения, после того как не состоялось предложенное Лавровым по приезде соглашение о совместной работе в издании „Вперед!“, перешедшие в открытую войну с дракой и иными насилиями, когда началась борьба за изменение устава русской библиотеки. Дело доходило до того, что друзья Лаврова закрывали по вечерам ставни в его квартире во избежание того, чтобы „какой-нибудь мерзавец не подстрелил“ его. Известна также история избития Соколовым ближайшего помощника Лаврова, секретаря редакции „Вперед!“, Е. Н. Смирнова (о чем упоминается в письме 3-м).

Прослышав об этих общежитиях, Тургенев вместе с Вырубовым собирався приехать в Цюрих собрать материал для задуманной тогда „Нови“, но в последнюю минуту побоялся недоброжелательной себе встречи со стороны молодежи и не поехал. Вырубов побывал один.

Между тем в конце апреля 1873 г. была приобретена типография, и началось печатание „Вперед!“, первая книжка которого вышла в августе 1873 г. (вторая — в марте 1874 г. уже в Лондоне; тогда же заданы редакцией „Письма без адреса“ Чернышевского; с 1-го января 1875 и в 1876 г. — „Вперед“ стал выходить в виде двухнедельной газеты). В то же время и

бакунисты наладили свое издательство, выпустив в 1873 г. книги: „Государственность и анархия“ Бакунина (об ней говорится в 1 письме) „Историческое развитие интернационала“ — сборник статей, и в 1874 г. — „Анархия и Прудон“.

Вскоре после того, в мае 1873 г. (21) в № 120 „Правит. Вестника“ появилось распоряжение правительства, предписывавшее всем учащимся в Цюрихе студентам вернуться в Россию. Лавров созвал по этому поводу общее собрание, в котором, выяснив учащимся положение дела, убеждал их, вместе с А. А. Кропоткиным (о нем в письме 5) решать его не сразу, а обдумав хорошенько и не спеша, а сам тем временем отпечатал в типографии „Вперед!“ свою речь на этом собрании, озаглавленную: „К русским цюрихским студентам“, ставшей таким образом первым изданием новой нелегальной типографии. Эту речь Лавров послал вероятно многим своим знакомым, в том числе и Вырубову, от которого в ответ получил две отповеди; косвенный ответ на них дает 2-е письмо. Последовав совету Лаврова, студентки между тем обдумали указ правительства и в огромном большинстве решили подчиниться: часть их перевелась в другие университеты Швейцарии и Германии, что по особым ходатайствам было разрешено, часть вернулась в Россию. Цюрих, совершенно случайно сделавшийся вдруг городом учащихся русских, опустел. Лаврову нечего было в нем делать, удобств для его личной работы город не представлял никаких, и он решил перебраться с типографией в Лондон (в марте 1874 г.), для продолжения дела издания там. Из Лондона писаны 6 последних писем его к Вырубову.

Если сравнивать письма Лаврова к Вырубову с письмами его же к Штакеншнейдер, то они покажутся мало интересными и мало значительными. Но, во-первых, письма к Штакеншнейдер — исключение (и не только из писем Лаврова, которые вообще довольно скучны), а во-вторых, можно ли требовать интересности, тем более значительности, от чьих бы то ни было писем, писанных к лицу мало знакомому, совершенно чуждому автору и по натуре и по воззрениям, наконец — никоим образом не интересному ни ему, автору, ни самому по себе, а Вырубов по отношению к Лаврову обладал всеми перечисленными свойствами, поэтому и письма Лаврова к Вырубову в большинстве резко деловые, особенно после „ответов“ Вырубова и посещения им в июле 1873 г. Цюриха, куда его привлекло желание полюбопытствовать на русскую колонию, „фаланстер“ (как назвал ее Вырубов), делавшая столько шуму далеко вокруг и особенно в России. Холодная насмешливость и легкая брезгливость, с которыми, можно думать, Вырубов отнесся к ней не только в воспоминаниях, но и на месте, а может быть некоторая ирония в обращении и к самому Лаврову, — уничтожили в последнем и то желание выйти из пределов чисто деловых рамок, которое заметно еще в первых трех его письмах; дальше — Лавров перед Вырубовым уже в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, как во время делового пятиминутного визита, когда не говорится ни одного постороннего слова, но дело излагается в безукоризненно вежливой форме.

А дела, как личные, так и касающиеся других, не раз заставляли Лаврова обращаться к Вырубову, как человеку влиятельному в Париже, и Лавров со своей обычной прямолинейностью не уклонился от такого обращения, хотя, может быть, оно и не было ему особенно приятным, тем более в личном своем деле. Этим личным делом Лаврова к Вырубову была просьба оказать ему содействие в сношениях с редакцией журнала „Знание“, в котором Лавров начал работать в конце 1871 г. По оставшимся нераскрытыми для нас причинам редактор „Знания“, И. А. Гольдсмит, до этих пор дружески расположенный к Лаврову и относившийся к нему весьма предупредительно, не пожелал в дальнейшем продолжать сношение с самим Лавровым и выставил последнему условие подыскать себе посредника в Петербурге или легального представителя за границей (письмо 7). Лавров говорит Вырубову, что тут замешало третье лицо, восстановившее Гольдсмита против него, но вопрос этим не объясняется. Как бы там ни было, Вырубов имел деликатность не допытываться подробностей, и в этой, как, впрочем, и в других просьбах, Лаврову не отказал, предложив в посредники себя. Кроме личного дела, Лавров обращался к Вырубову с просьбой похлопотать за арестованных в Диеппе сотрудников его и помощников, везших к нему из Цюриха в Лондон типографию, по неопытности попавшихся и переведенных в парижскую тюрьму (письма 5 и 6). Вырубов и тут откликнулся и содействовал освобождению арестованных. Вскоре после последнего (10-го) письма своего к Вырубову Лавров вернулся в Париж, где жил почти безвыездно до самой своей смерти, так что переписка естественно прекратилась, заменившись личными свиданиями. Впрочем, Вырубов упоминает еще об одном письме к нему Лаврова, до нас не дошедшем: оно касалось высылки Лаврова, по требованию русского правительства, из Парижа в 1881 г. в связи с подписанием им вместе с В. И. Засулич воззвания к обществу от имени „Красного креста народной воли“, и заключало в себе опять-таки просьбу похлопотать о разрешении ему вернуться в Париж. Вырубов и на этот раз не остался безответным; он добился у министра внутренних дел Гобля, если не официального разрешения, то неофициального согласия на возвращение Лаврова и обещания смотреть на приезд его сквозь пальцы. Лавров тотчас же воспользовался открывшейся возможностью и, не пробыв в Лондоне и четверти года, вернулся к себе на квартиру в улице Сен-Жак, где и умер 25 января — 6 февраля 1900 года.

Теперь, зная на основании фактов характер отношений между Лавровым и Вырубовым, зная начало и развитие их знакомства, — невольно рождается вопрос: не погрешили ли мы в сделанной нами характеристике Вырубова и не противоречим ли мы сами себе, называя его эгоистом, да еще довольно жестким, и указывая в то же время на ряд ценных услуг, им Лаврову оказанных без всяких серьезно побудительных причин для этого (в роде дружбы, родства, единомыслия), если не считать такими причинами простую просьбу, на которую гораздо легче ответить прилично обставленным отказом, нежели утруждать себя ее исполнением? И придется ответить на то и на другое — нет. Приведенную нами характеристику сделал Вырубов себе сам в своих

воспоминаниях о Лаврове; мы только постарались, насколько могли беспристрастно, извлечь ее оттуда и записать; что же касается услуг Лаврову, то простое джентльменство, которое Вырубов, как впрочем и всякий культурный человек, хотел, чтобы за ним признавали, обязывало пойти в пределах возможного на помощь и выручку человеку, находящемуся в безвыходном или просто затруднительном положении, и такое джентльменство у Вырубова несомненно было; его, конечно, знал за ним и Лавров, считавший поэтому возможным для себя, как поддерживать с Вырубовым знакомство, так и обращаться к нему с различными просьбами; оно же вызвало и слова его Вырубову (в 7 письме) о том, что разница убеждений, могущая перейти в печатную борьбу, не мешает им „уважать друг друга в личных отношениях“.

Е. Казанович.

Важнейшие пособия.

1. — Вырубов, Г. Н. Революционные воспоминания (Герцен, Бакунина, Лавров). о Лаврове: [„В. Е.“ 1913, II, стр. 59 — 7С].
2. — Лавров, П. Л. Письма к Е. А. Штаксеншнейдер из Парижа в 1870 — 1873 гг. [„Г. Мин.“ 1916, VII — VIII, стр. 107 — 140 и IX, стр. 114 — 138].
3. — Штаксеншнейдер, Е. А. П. Л. Лавров [„Г. Мин.“ 1915, VII, стр. 96 — 109 и XII, стр. 121 — 139].
4. — Лавров, П. Л. Народники-пропагандисты 1873 — 78 годов. Спб. 1907.
5. — Витязев, П. Лавров в воспоминаниях современников (М. А. Антоновича, Г. А. Лопатина, М. П. Негрескуз) [„Г. Мин.“ 1915, IX, стр. 131 — 145].
6. — т. IV. Из рассказов М. П. Сажина [„Гол. Мин.“ 1915, X, стр. 112 — 147].
7. — Лопатин, Г. К. рассказы о П. Л. Лаврове [„Г. Мин.“ 1916, IV, стр. 193 — 204].
8. — Земфир Ралии, С. Г. Нечаев [„Былое“, 1906, VII, 136 — 146].
9. — Д. Арест С. Г. Нечаева в Цюрихе [„Былое“, 1906, VII, 147 — 150]. [„Былое“, 1907, II, стр. 243 — 266].
10. — Он же. Воспоминания г. Вырубова о П. Л. Лаврове. [„Г. Мин.“ 1913, III, стр. 236 — 241].
11. — Русанов, Н. С. П. Л. Лавров (очерк его жизни и деятельности).
12. — Клевенский, М. М. И. С. Тургенев и семидесятники [„Г. Мин.“ 1914, I, 1 — 31].
13. — Непзданные письма И. С. Тургенева к П. Л. Лаврову [„Мин. Годы“, 1908, VIII, 21 — 27].
14. — Овсяннико-Куликовский, Д. Н. Воспоминания. — Спб. 1923, стр. 149 — 160.
15. — Материалы для биографии П. Л. Лаврова. Под ред. П. Витязева. Вып. I. Изд-во „Колос“, Пгр. 1921.
16. — Петр Лавров. Сборник статей „Колос“ ПБ. 1922 и др.

1.

30 Марта 1873.

Zürich, Fluntern, Forsthaus.

Многоуважаемый Григорий Николаевич.

Сию минуту получил Вашу записку и Вашу карточку и сейчас же Вам отвечаю. Прежде всего благодарю Вас за присылку карточки и в этом же письме посылаю Вам свою, которой я получил в Париже лишь 2 экземпляра

в последний час моего пребывания там, а остальные пришли сюда лишь несколько дней тому назад. Она далеко не так удачна и особенно не так похожа, как Ваша.

Вы совершенно правы, считая вполне несообразным слух о моем отъезде из Цюриха вследствие каких-то арестов. Был один арест в Берне одного из лиц ¹⁾, которых принято называть бакунинцами, хотя я сильно сомневаюсь, на сколько они точно солидарны с Бакуниным. Арестован он был по подозрению, будто приехал убивать Стемпковского ²⁾ (что для него нравственно невозможно) и при этом был обыск здесь у студентки, его сопровождавшей. Мы здесь хлопотали об этом, но его очень скоро выпустили на поруки (под залог). Во всяком случае я с этим кружком не имею ровно ничего общего и он враждебен всем моим приятелям, вследствие последних революций в цюрихской библиотеке ³⁾. Кто выдумал и почему распустил нелепый слух о моем отъезде, мне совершенно неизвестно.

Не писал я никому много потому, что был очень занят: теперь самое горячее время для установления дела ⁴⁾. Между прочим нам грозила было опасность отложить дело месяца на два, если не более, по недостатку типографии, несмотря на сношения со всеми типографиями, которые могли быть годимы. Утин ⁵⁾ тянул дело с самого нового года и до сих пор тянет. Остальные же оказались все или не сподручны или ни на что не годны. Между тем бакунинцы могли нас обогнать изданием ⁶⁾, которое они со своей стороны готовят. В России могли подумать, что мы не можем ничего практически сделать. Это заставило меня решиться на публикацию литографированной программы, в ее окончательной форме ⁷⁾. В ту минуту, как я пишу Вам, она должна быть близка к русской границе, если еще не перешла чрез нее. План у меня такой: программа должна быть прежде в России; затем будет разослана нескольким сочувствующим лицам для публикации во Франции.

¹⁾ Земфир Ралич, оставивший обо всем этом эпизоде свои воспоминания, в статье „Сергей Геннадьевич Нечаев“ („Былое“, 1906, VII, стр. 145 — 149).

²⁾ Адольф Стемпковский, польский эмигрант, секретарь интернациональной марксистской секции в 1872 г., содействовал аресту С. Г. Нечаева швейцарской полицией осенью того же года в Цюрихе, после которого Нечаев был передан русской власти в качестве уголовного преступника. За это Стемпковский был приговорен группой польских и сербских эмигрантов к смерти, но попытка привести приговор в исполнение не удалась. Ралич был арестован в Берне и посажен в тюрьму по обвинению в устроении заговора на жизнь Стемпковского.

³⁾ См. предисловие к этим письмам, стр. 14.

⁴⁾ Дело это — издание „Вперед!“

⁵⁾ Николай Исаакович Утин, брат Е. И. и Б. И. Утиных и шурин М. М. Стасюлевича, эмигрант с 1863 г.; в 1862 г. организовал, вместе с Н. А. и А. А. Серво-Соловьевичами и Д. Ф. Пантелеевым общество „Земля и Воля“.

⁶⁾ „Бакунинцы“ готовили в это время книгу Бакунина „Государственность и анархия“.

⁷⁾ Под влиянием переговоров с бакунинцами о совместной работе в издании „Вперед!“ и вследствие других обстоятельств, программа его, о которой здесь говорится два раза именовалась Лавровым, за что его немало корпачили бакунинцы; в письме имеется в виду вероятно последняя, третья редакция.

Бельгии, Германии и Англии; затем уже появится в Цюрихской библиотеке. В конце недели я хотел ее послать Вам с подробным письмом и до того отлагал писать Вам. Теперь посылаю Вам ее немедленно, прошу Вас до конца недели держать ее в секрете, затем сообщить, как новость, Вашим приятелям-журналистам, чтобы в понедельник или во вторник, если можно, об ней появилось коротенькое известие в каком-нибудь распространённом журнале. В конце недели ее получат двое моих приятелей ¹⁾, из которых один обещал сообщить в *Republique Française* ²⁾, другой в *Temps* ³⁾. Мы не ищем и не ожидаем сочувствия, но только публичности. Надеюсь, что и *Philosophie Positive* ⁴⁾ в апрельской книжке даст полстранички уже en reconnaissance de sause. Полагаю лучшим, чтобы во всех этих публикациях о месте публикации было умолчано, так как об этом ни слова не сказано и в программе. — Если бы Вы нашли возможным характеризовать в нескольких строках современное положение дел во Франции, то я Вам был бы очень благодарен: игра идет у Вас в Париже такая темная и такая тонкая, что шансы разных партий отсюда трудно видеть.

Теперь напишу несколько слов о Цюрихе. Я поселился на горе, с которой очень красивый вид на озеро и на дальние горы: парижские книги мои пришли, хотя некоторые погибли, повидимому, при переезде; жду книг и из России. Устроился я удобно. Теперь здесь большинство разъехалось до половины апреля, но если Вы приедете в конце, то все будут в сборе. Очень большие хлопоты у здешнего русского общества с квартиром для русской (новой) библиотеки и для кухмистерской. Немцы stannoлиси и не пускают, квартир нигде в надлежащем месте найти не могут; решаются уже купить дом на акциях русским обществом; но поватно, что денежные средства здешнего общества не хватает на подобное предприятие ⁵⁾. Подольинский ⁶⁾, которого Вы знаете, один из главных деятелей по этому вопросу. Вчера толковали четыре часа в общем собрании и открыли подписку, которая

¹⁾ Лица, нам неизвестные; может быть один из них — Владимир Федорович Лущин, о котором см. предисловие и прим. к письму 7.

²⁾ Нам не удалось выяснить, появились ли такие публикации в названных здесь газетах; в нашу публичную библиотеку экземпляры заграничных изданий поступали после цензурного просмотра, извлекавшего из них все, не подлежащее чтению русской публики. Так и в названных газетах, просмотренных нами в библиотеке, очень большое количество статей оказалось вырезанным; в числе же сохранившихся — никаких публикаций об издании в номерах обеих газет за апрель и май 1873 г. — не оказалось.

³⁾ Вырубов, очевидно, отказал Лаврову в этой просьбе, так как в его журнале за 1873 г. никаких ни статей ни отзывов об этом помещено не было.

⁴⁾ О жизни русской колонии и Лаврова в Цюрихе — см. предисловие стр. 13—15.

⁵⁾ Подольинский, Сергей Александрович — сын поэта и уроженец южной России, был главным помощником Лаврова по организации издания „Вперед!“; он вел все сношения с Россией, заведывал сбором денег на издание, отправкой в Россию печатного материала; он же очевидно вел дело и по приобретению дома для общежития. Зимой 1877—78 г. вернулся в Россию и читал в киевском „студенческом клубе“ рефераты на политические темы, на украинофильско-конституционном характере которых сказались влияние М. П. Драгоманова.

дала еще менее половины нужной суммы. Не захотите ли Вы взять несколько акций (каждая по 50 fr.)? Подолинский говорил мне, что Вам писать об этом нечего, что Вы не возьмете, но я думаю, отчего же и не сообщить. Я вовсе не сочувствую всему делу, но по причинам, которые в Вас не могут встретить сочувствия; я думаю, что проповедникам социализма неудобно становиться собственниками и хлопотать о подобных вещах, неизбежно разрывающих общество. Но не противодействую этому потому, что вижу, какое затруднение с квартирами, вижу, что какая-нибудь энергическая мера необходима, а то мы останемся без кухмистерской (что очень неприятно) и без библиотеки (что совсем уже скверно). — Бакунинцы или, вернее, кружок знакомого Вам Росса¹⁾ стоит совсем в стороне от всего этого, так как это совсем враждебная партия и страсти сильно возбуждены. — Надеюсь скоро иметь от Вас письмо. Сейчас получил телеграмму от одного апостола, что шрифты куплены²⁾. Недели через две приступаем к печати. Жму вам руку.

2.

25 июня [1873].

Zürich, Fluntern, Forsthaus;
Helderli Strasse, 5; nicht
weit vom Rinderknecht.

Спешу уведомить Вас, Григорий Николаевич, что я вовсе не думаю это время выезжать из Цюриха. Мой план поездки в Olny не состоялся, потому что цель этой поездки оказалась пустяком. — Относительно наших взглядов на дело цюрихских студентов³⁾ я думаю нам лучше и не спорить, потому что оно совершенно напрасно для людей, стоящих на совсем иных почвах. Не задумаете ли Вы напечатать что-либо в защиту русского правительства? Это имело бы свою долю оригинальности, и могло бы иметь еще более интересные результаты. — О Вашем первом письме некоторые лица, знающие Вас, говорили, что это — шутка и писано *par esprit de contradiction*⁴⁾. Я, к сожалению, не мог разделить этого мнения и из сегодняшнего письма вижу, что не ошибся. Надеюсь иметь скоро удовольствие видеть Вас.

П. Лавров.

Курс⁵⁾ я начал позже, чем думал, и далеко не дошел еще до цивилизаций Востока.

¹⁾ Арман Росс — псевдоним Михаила Петровича Сажина, был представителем Бакунина среди русской цюрихской молодежи и организатором „бакунинцев“, именовавшихся даже одно время „россовцами“. Сажин оставил интересные воспоминания о Лаврове и своей деятельности в Цюрихе. (Г. Мин. 1915, стр. 112—147).

²⁾ Т.-е. от одного из сторонников Лаврова, „лавриста“, фамилия которого нам неизвестна.

³⁾ Речь идет о предписании правительства русским студентам в Цюрихе вернуться в Россию, помещенная в № 120 „Прав. Вестника“ за 1873 г. 21 мая.

⁴⁾ Из духа противоречия.

⁵⁾ Точное название этого курса нам неизвестно; историей цивилизации Л-в вообще занимался много.

3.

Цюрих 22 Июля [1873].

Многоуважаемый Григорий Николаевич, спешу ответить о Соколове ¹⁾, и для того, чтобы не быть слишком пристрастным, изложу факты.

Он был в Петербурге сотрудником „Дела“[.] Напечатал самую ругательную статью относительно Современника. Называл Милля канальей или в роде того. В 1866 году издал книжку „Отщепенцы“, о которой мы с Вами говорили, за нее был судим и сослан. В начале нынешнего года или конце прежнего бежал с помощью кружка, из которого я знаю некоторых; эти лица, увидев его в Петербурге, нашли его возмутительным. Здесь он преимущественно пьянствовал. Бакунины говорили мне, что они считают его сумасшедшим в буквальном смысле этого слова и что он сам считает себя чем-то в роде Мессии, говоря о себе Христос, N N и я (не помню кто N N, едва ли не Прудон). В деле со Смирновым ²⁾ он был очевидно напоен и подослан, как бульдог, которого можно выставить вперед и от которого можно отречься в случае нужды. Постоянный тезис, защищаемый здешними бакунинцами, был, что это было дело личное и что Соколов действовал один. Но это во втором случае — прямая ложь, в первом же — оказывается такую же по обстоятельствам дела.

Вот факты. Я лично, в небольших сношениях моих с Соколовым, не видел в нем ничего особенного ни возмутительного ни сумасшедшего, но эти сношения были очень ограничены. Считаю его дрянью, но это — личное мнение. Если он будет держать себя по-человечески, то отчего же гнать его вон, но прошу Вас обо мне, о моем журнале, о моем кружке в Цюрихе ему безусловно ничего не сообщать, так как это — агент враждебного лагеря, а мне известно, что эти господа разослали в Петербург, Киев, Одессу и в некоторые заграничные города, чтобы действовать противу нашего журнала и против меня лично. П. Лавров.

Жму Вам руку.

Кажется Вам собирались послать коллективное письмо некоторым девицам и дамам отсюда, прося некоторых сведений.

¹⁾ Н. В. Соколов, бывший полковник генерального штаба, сотрудник „Р. Слова“ и, как говорит Лавров, „Дела“, был в 1867 г. осужден СПб. судебной палатой, за издание „Отщепенцев“, к 16 месяцам крепости и административной ссылке; бежал отсюда за границу в 1872 г.

²⁾ Умер Смирнов в 1900 г. в Берне. Некролог о нем помещен в журнале „Врач“ (№ 18, 1^ю 00 г.). Подробности об этом аресте см. „Революционные воспоминания“ Вырубова, глава о Лаврове [„В. Евр.“ 1913, II, стр. 65 — 66].

³⁾ Вал. Ник. Смирнов, врач по образованию и секретарь редакции „Вперед!“ „Дело“ с ним Соколова заключалось в избении его Соколовым, подосланным к нему бакунинцами под предлогом получения перензанных русской колонией в 1871 г. „Отщепенцев“, быстро разошедшихся и сохранившихся в некотором количестве лишь у Смирнова, внесенного на издание известную сумму денег. [Подробности см. Сажин „Г. Мин.“ 1916, X, 137 — 138].

4.

6 сентября [1873].

Zürich, Fluntern, Forsthaus.

Многоуважаемый Григорий Николаевич, нет ли у Вас Duchesne: La speculation devant les tribunaux; и его же l'Empire industriel? Если есть, то пришлите мне на время. Я Вам возвращу через месяц или около того. Если нет у Вас, то достаньте, пожалуйста, или выпишите. Я расплачусь и в первой оказии. Мне очень нужно и нужно скоро. — По всей вероятности мы увидимся зимой, так как я думаю переезжать в ноябре или декабре в Лондон, и, конечно, через Париж. Жму Вам руку.

П. Лавров.

Цюрих очень опустел.

5.

27 Марта 1874.

20 Muray Road, Tollington
Park, Holloway.

Многоуважаемый Григорий Николаевич, прошу Вас помочь в очень важном деле. Два мои приятеля и сотрудника, оба эмигранты, Линева и Соловьев, проезжая через Вашу проклятую Францию, отослали свои паспорта, взятые из Цюриха, обратно из Парижа. были арестованы в Дьеппе, как мне сейчас сообщила дама, с ними ехавшая, назвались фальшивыми именами Ивана Инокова и Александра Вахтеля, вследствие растерянности, и должны были остаться там. Как их выручить? Помогите: Вы знаете кое-кого в Вашей проклятой республике, может быть, Ваше заступничество помогло бы ¹⁾.

Ваш П. Лавров.

6.

27 Марта [1874].

Через полчаса после
первого письма.

Сейчас имею телеграмму от Линева из Дьеппа: они арестованы и отвезены в Париж. Там Вам легче будет помочь. Я рассчитываю на Вас. Телеграфируйте, если можно что сделать.

Ваш П. Лавров.

Во всяком случае уведоьте, что Вы предпримете, и поможете ли?

¹⁾ По ходатайству Вырубова уншени были освобождены и высланы из Парижа на казенный счет, но опять-таки — по собственной растерянности — не в Дьепп где они были арестованы, а обратно в Швейцарию.

7.

24 апреля 1874 г.
20 Muray Road, Tollington
Park, Holloway.— London, N.

Многоуважаемый

Григорий Николаевич.

Вижу отсюда Ваш испуг при получении столь обширного письма и потому заранее извиняюсь за него. Извиняюсь я за то, что возлагаю на Вас весьма неприятную, может быть, комиссию. Но думаю, что Вы лучше других можете помочь мне в личном деле и полагаю, что Вы не откажетесь этого сделать. Мы с Вами стоим на столь различных точках зрения относительно общественной деятельности, что Вы почти неизбежно относитесь враждебно к моим предприятиям, а я буду бороться словесно и печатно против точки зрения, на которой Вы стоите. Но это не мешает, полагаю, нам уважать друг друга в личных отношениях. Вы поступили искреннее весьма многих других, отказавшись с самого начала содействовать нашему журналу, тогда как многие и очень многие, обещав содействие, отказались от него в самую нужную минуту. Все это побуждает меня обратиться в настоящем случае к вам.

Дело вот в чем. Я был в наилучших, самых дружеских отношениях с редактором „Знания“ Гольдсмитом ¹⁾. Так как собственно он ведет все дела редакции, то я весьма охотно участвовал в этом журнале статьи, принимал от редакции другие заказы и хлопотал о доставлении ей сотрудников. После многих переговоров, о которых здесь речи вести не для чего, мне сделаны были следующие заказы.

1. Ряд статей для журнала с уплатою немедленно по выходе книжки
2. „Опыт истории мысли ²⁾“ по подробной представленной мною программе для напечатания особо с правом редакции помещать какие угодно главы из сочинения в самом журнале, с уплатою мне ежемесячно по 100 рублей, при чем в конце года должен был быть произведен расчет того, доставил ли я более рукописи, чем на 1200 рубл. или менее, и с правом выписывать книги русские, нужные для этого труда, с расчетом в конце года.

¹⁾ Лавров познакомился с Исидором Альбертовичем Гольдсмитом в 1871 г., во время приезда последнего в Париж, и в тот же год, первый год выхода „Знания“, стал работать в его журнале. [Первая появившаяся там статья Л-ва: „Очерк систематического знания“. XI кн. 1871, с подписью П. М-ва; эту подпись Лавров сохранил для всех своих статей в „Знании“].

²⁾ В „Знании“ были напечатаны две главы этого труда Лаврова [1874, VIII, IX].

3. Книжка о теориях нравственности для международной библиотеки, которую издает редакция „Знания“ в связи с несколькими фирмами Лондона, Парижа и Лейпцига. Она должна была быть доставлена в конце года.

При этом обещано было доставлять мне, как журнал „Знание“, так и разные другие журналы и книги, русские и иностранные, на что несколько раз даны списки.

Главный пункт для меня, эмигранта, конечно, аккуратность доставки. Хотя мне (да и Вам) хорошо известно, что редакция „Знания“ страдает хроническою неаккуратностью, но я рассчитывал, во-первых, на отношения действительно дружеские, существовавшие между мною и семьею Гольдсмита, а кроме того, на то, что с эмигрантом редакция станет обращаться несколько внимательнее, чем с другим сотрудником.

Условия ежемесячной выдачи мне за „Опыт истории мысли“ должны были начаться с нынешнего года. Кроме того, в декабрьской и январской книжках помещены две мои статьи¹⁾. Уезжая из Парижа последний раз, я виделся с Гольдсмитом и дал ему адрес, по которому мне могли быть доставлены деньги, письмо, корректуры до найма мною дома, а после найма дома, конечно, я мог получать на всякое имя, так как вся корреспонденция в этот дом идет ко мне, и я получаю на десять имен, из которых передаю те письма, о которых мне известно, кому они адресованы, остальные же вскрываю, считая их обращенными ко мне. Кроме того редакция высылала уже в Швейцарию деньги прямо на мое имя, следовательно ей нужно было знать только адрес дома, где я живу, для всех посылов. Редакция обязалась доставлять деньги не позже 27/15 каждого месяца.

По найме дома я немедленно послал адрес дома в редакцию; его знала жена Гольдсмита в Париже, редакция имела адрес английского приятеля, на имя которого могла высылать все, что угодно, могла высылать и в Париж через жену Гольдсмита, могла высылать на имя моего швейцарского приятеля, еще ранее получавшего для меня деньги. Ни в 27/15 февраля, ни в 27/15 марта ни до сего дня я не получил ни копейки срочных уплат за „Опыт истории мысли“, ни за статьи, давно напечатанные в журнале, ни самого „Знания“, ни других журналов и книг. Только один раз корректура дошла до меня и была мною возвращена немедленно, с удивлением, что вот это дошло, а ничто другое не доходит.

При больших расходах здесь по обзаведению, по журналу и по другим обстоятельствам, несколько усложнившим положение нашей колонии здесь, я очень очень нуждался в деньгах. Естественно я писал письмо за письмом единственному лицу, которое могло быть посредником, жене Гольдсмита.

¹⁾ В декабрьской книжке за 1873 г. (стр. 35—54) была помещена, в отделе критики, статья-рецензия, за подписью П. М-ва (на обложке: „Научное издание полтора десятков профессоров“ (под текстом стоит подпись У. У.), а в январской книжке за 1874 г. — „Введение в историю мысли“, статья продолженная и в февральской кн. за тот же год. В отделе критики в январе: О методе в социологии“ П. М-ва.

Может быть в некоторых из них я слишком явно выказал свое раздражение против неаккуратности, по-моему, непростительной, именно, когда личные наши отношения не дозволяли Гольдсмиту не знать, в какое тяжелое положение меня ставят. Но я думал, что именно наши близкие отношения уяснят Гольдсмиту смысл этих писем. Как бы то ни было, вышло иначе. Гольдсмит приехал в Париж и послал мне письмо, которое прилагаю. Так как он отказывается от переписки и разрывает всякие личные сношения со мной, то я не могу писать ему. Очень мне больно, что дошло до этого и причину этому я приписываю влиянию одной нравственно-дрянной личности, с которой, к сожалению, я же и познакомил Гольдсмита. Он бы сам едва ли дошел до этого, а жена его — никогда. Но больно или не больно, это — другой вопрос. Нужно устроить сношения с редакцией.

Из письма его Вы увидите, что он хочет иметь посредника в Петербурге, с которым вести дела. Вот тут существенный пункт, почему я обращаюсь к Вам. Сношения эти идут о работе ученой и о статьях, не имеющих ничего общего с моим журналом и революционной агитацией. Но мне моих приятелей в Петербурге теперь выставлять нельзя, так как за всяким ведущим мои личные дела, будут наблюдать, не причастен ли он агитации. Мне лучше бы для этого человека, который уже никак не может быть заподозрен в агитации. Я делаю два проекта. Не найдете ли между Вашими приятелями человека, который взялся бы получать в определенное число месяца деньги из редакции, получать корректуру, журнал, книги и т. д. и посылать их в Лондон на мой адрес на какое угодно имя. Или не согласится ли редакция вести дела через Вас, посылая это все в Париж. Я буду отсылать рукопись (в копии) и корректуры всегда чрез Вас. Если Вы согласны на то или на другое, то прошу Вас повидаться с Гольдсмитом (он живет 4 rue Berthollet, его имя Исидор Альбертович) и уговориться с ним по следующим пунктам.

1. Которые из трех заказов редакции считать продолжающимися и не последует ли в них какое-либо изменение? Я стою за одно условие *à peu près* по: за аккуратную доставку денег в определенному числу за „Опыт истории мысли“ и чрез определенное число дней по выходе книжки за статьи. Если Вы найдете подходящее лицо в Петербурге, то надо, чтобы оно могло являться в редакцию определенного числа и чтобы я знал, что тогда-то я получу деньги. Если будут высылать Вам, то условьтесь об определенном числе для получения. Относительно уплаты за статьи в журнал (если их заказ продолжают), тоже желательно определенным образом устроить. Относительно цены с листа, я думаю, что высокая цена, которую мне платили или полагали платить, более зависела от личных отношений редактора со мною и едва ли теперь справедливо ожидать, чтобы он мне продолжал платить столько же. Я пока что не упомянул о ней и прошу Вас спросить его, какую цену я буду теперь получать. Я знаю, что средства „Знания“ невелики, и не торжусь: что могут, то и дают. Я прекратил сношения со всеми другими журналами.

2. Будут ли, согласно условию, выдавать моему доверенному лицу в Петербурге или высылать Вам, если чрез Вас пойдет дело, журнал „Знание“, книги, которые мне давно обещаны и, как мне говорил Гольдсмит, уже были готовы, другие книги, которые мне нужны для „Опыта истории мысли“ и для заказанных статей и т. д.?

3. Будут ли выдавать или высылать корректуры „Опыта истории мысли“ и обещанные экземпляры отпечатанных листов ее немедленно по отпечатании?

4. Что значит „немедленное распоряжение“, которое сделал Гольдсмит, как он пишет, о высылке мне денег? Когда я могу получить их? Я уже больше месяца сижу без копейки, ожидая их получения, так как ухлопал все, что имел для здешних дел. Мне надо знать, когда я получу и сполна ли? Мне следует 200 р. за февраль и март, 100 р. в будущий понедельник за апрель и за статьи (в декабрьской и январской книжках) по расчету, которого я не делал.

5. Я лично должен Гольдсмиту 300 фр., взятых тому несколько месяцев назад. Конечно то, что меня не стесняло с человеком, с которым я был в дружеских отношениях и не стесняло бы, если бы эти отношения остались сколько-нибудь порядочными, крайне тяжело с человеком, разорвавшим со мной всякие связи. Между тем в настоящую минуту я не могу уплатить эти деньги даже если мне доставят сполна все мне следующее от „Знания“. Есть неизбежные расходы для дела, важнейшего, чем мое самолюбие. Пожалуйста устройте, чтобы производили в редакции вычет по 25 р. в месяц до уплаты этого долга начиная с мая месяца.

Еще раз извиняюсь, что затрудняю Вас, и, конечно, если это для Вас слишком затруднительно быть посредником в этом деле, то я придумаю что-нибудь иное, но мне кажется, что Вам удобно это сделать, тем более, что Вас и Ваших приятелей в участии в нашей агитации и в других моих делах едва ли заподозрят, а это дело учено-литературное. Если Вы согласны, то прошу Вас о двух вещах еще:

1) Поторопитесь войти в сношение с Гольдсмитом, потому что он может скоро уехать из Парижа.

2) Прошу Вас не ведите дело очень резко, на что Вы несколько способны. Прежних друзей, и разойдясь с ними, я не желаю оскорблять.

Если бы, чего я не имею повода в настоящую минуту предполагать, Вы увидели желание прервать все деловые сношения со мною, то уполномочиваю Вас поступить, как найдете лучшим, как ни тяжел был бы для меня этот удар в экономическом отношении, так как это мое единственное средство существования в настоящую минуту. Но навязываться я не желаю, а тогда останется ликвидировать наши отношения возможно безобидным образом. У меня уже много подготовлено для „Опыта истории мысли“. Но я не думаю, чтобы это дошло.

Если найдете нужным, то дайте прочесть это письмо Гольдсмиту.

Его письмо прошу вернуть мне. Жду от Вас возможно скорого ответа.

Мне не осталось на большом листе места, чтобы поблагодарить Вас от всей души за то содействие, которое Вы оказали нашим узникам, с которыми поступила так сурово французская полиция, хотя должно сознаться, что они сами очень виноваты в своем бедствии. Очень и очень благодарю Вас.

Затем жму Вам руку и ожидаю ответа.

П. Лавров.

Ваше пророчество не совсем сбылось. Хотя и были несчастья с вашими книгами, но прошло так достаточно и нас просят из России увеличить издание с 1000 на 2000 экземпляров. Зато врагов во всех кружках и оттенках — очень, очень много.

8

16 мая 1874.

Многоуважаемый Григорий Николаевич.

Так как Вы уже предлагали мне свое посредничество по моим делам с „Знанием“, то не могу ли я Вас затруднить следующей просьбой. Гольдсмит, как Вы знаете, писал мне 24 апреля, что дал знать в Петербург о немедленной высылке мне денег, мне следующих. Это он подтвердил и в официальном письме к Вам. Теперь 16 мая, т.-е. 22 дня прошло, и мне не прислали ни копейки. Нельзя ли Вам написать Лугинину ¹⁾, чтобы он сам или чрез Усова серьезно поторопил эту „немедленную“ высылку, которая оказывается столь „медленною“, при чем я сижу совсем без денег. Очень одолжите меня, если исполните мою просьбу.

Нельзя ли также Вам передать в Вашу контору, что адрес редакции теперь не в Цюрихе а в Лондоне именно: 20 Murray road, Tollington Park Holloway, чтобы Philosophie Positive высылали сюда. Я, кажется, извещал письменно или чрез кого-то, но, вероятно, забыли. Последний номеропать пришел из Цюриха.

Жму Вам руку. Желаю здоровья.

П. Лавров.

Говорят Ткачев Вам прислал свою брошюру против меня. ²⁾ Вероятно скоро Вы получите другую.

На обороте 4-й страницы адрес: Григорию Николаевичу Вырубову — от П. Л...

9

22 мая 1874

20 Murray Road, Tollington Park
Holloway — London N.

Уважаемый Григорий Николаевич.

Сейчас получил Ваше письмо. Если можно, то напишите, так как сильно сомневаюсь, чтобы Лугинин устроил, если уехал; вероятно позабыл.

¹⁾ Владимир Федорович Лугинин, впоследствии проф. Московского ун-та.

²⁾ Петр Никитич Ткачев, эмигрант, жил у Л-ва в Лондоне, числился сотрудником „Вперед“ и в то же время в брошюре своей „Задачи революционной пропаганды в России“, оставленной им Лаврову в день своего отъезда из Лондона, резко раскритиковал Лаврова.

Но я писал еще двум лицам, чтобы помогли, именно Кропоткину ¹⁾, который вчера поехал в Россию из Цюриха, и одной моей приятельнице в Петербург ²⁾. Если вы напишете — что очень желательно, так как я и до сих пор, значит, ровно через месяц, не получил денег — то лучше бы моего имени не называть в письме, а говорить как-нибудь околичнo. Напомните в таком случае, что и за май месяц к получению вашего письма (27/15 мая) следует заплатить.

Вчера в „Голосе“ я читал приглашение 19 человек поименованных эмигрантов вернуться в Россию. Вероятно Вы читали в „Пет. Вedom.“, которых я теперь не получаю.

Жму Вам руку и желаю Вам всего хорошего.

П. Лавров.

10

11 июня 1874
20 Muray Road, Tollington
Park, Holloway

Многоуважаемый Григорий Николаевич.

Я уже думал, что мое письмо не застанет Вас в Париже, когда получил известие, что Вы уезжаете оттуда только 20 июня. Поэтому мне хочется через Вас еще раз попробовать сколько-нибудь поправить мои дела с „Знанием“. Мне передали Ваши слова, что Вы имеете очень дурные сведения об экономическом положении этого журнала. Может быть именно потому желательно хотя что-нибудь получить с него. Я бы Вас не беспокоил, если бы получил, как ожидал от Лутинина или Усова, известие о том, что кто-нибудь из них взялся за это дело и каким образом мне с ними сноситься. Но никто из них ничего не сообщил мне, и мне приходится снова обращаться к ним чрез Вас. Тому несколько времени я имел письмо от Кропоткина, который только что вернулся в Россию и которого я тоже попросил похлопотать о моих делах в редакции ³⁾. Он мне писал, что ему сказали в редакции, будто мне посланы деньги „за февраль и март“, значит 200 рублей. Я получил чрез Вас, как Вам известно, вексель в сто рублей. Я думаю, что это за май, так как совпадает с числом, когда надо получить мне. Никаких других денег ни через кого я не получал. Следовательно, тут опять какое-то недоразумение или неточность или назовите там, как хотите. Далее пишет Кропоткин, что мне вышлют счет, доказывающий, что мне ничего не следует за статьи в декабрьской и январской книжках.

¹⁾ Князь Александр Алексеевич Кропоткин, брат П. А. Кропоткина.

²⁾ Может быть Елене Андреевне Штакелшнейдер?

³⁾ В апрельской книжке „Знания“ за 1874 г. была помещена статья А. Кропоткина: „Отчет об успехах астрономии в 1873 г.“

Хотя это меня и удивляет, но жду счета, которого не имею до сих пор. Во всяком случае, выходит 1) что из четырех минувших месяцев (февраль, март, апрель, май) я получил только за один; 2) что в редакции говорят, будто послали за два месяца, а не послали. А потому очень прошу хлопотать об этом того, кто взялся хлопотать в Петербурге. Особенно желательно выяснить, что послано, что пошлют и когда? Прошу Вас не ленитесь написать кому следует. — Но далее: как я получу ответ? Вы уезжаете, но на долго ли? Куда? Известите меня, пожалуйста. Сообщите также, чрез Вас ли посылать новые рукописи или как-нибудь иначе, и могу ли я кому-нибудь писать в Петербург.

Жму Вам руку.

П. Лавров.

Не имеете ли вы известия, когда выйдет книга Lavelaye: *De la propriété primitive*?

3. И. С. Тургеневу.

11 Июня (1878 г. Париж).

Любезный Иван Сергеевич!

Зная, как Вы интересуетесь судьбою Засулич, спешу Вам сообщить последние, вполне достоверные сведения. (Дня три тому назад.) В воскресенье я получил из Берлина письмо, что она там; сегодня — другое, что она оттуда отправлена на юг — вероятно в Женеву. Я так опасался за нее, пока она была в Берлине в настоящее бурное время, что не решался обнадежить никого, пока она не выехала из столицы немецкого цезаризма. Теперь можно быть спокойным. Мой приятель, медик, пишет, что она „тип мирной хозяйки, кроткой и уступчивой пансионерки. Всмотриваясь более, замечаешь, что там где-то в глубь — даже, может быть, без ее ведома — идет совершенно другая духовная работа, другая жизнь. Вы чувствуете, когда с ней говорите, что она, разговаривая с Вами, едва ли слушает Вас. У ней свои психовы, на которых она всегда сосредоточена, и поэтому она кажется флегматичною“. Насколько эти наблюдения верны, сказать не могу, тем более, что мой приятель мог видеть Засулич, — как он сам пишет лишь урывками во время ее недолгого пребывания в Берлине. Полагаю, что эти сведения не будут для Вас неинтересны. Когда Вы уезжаете?

Я думаю, что известие о Засулич все-таки лучше сообщать не всякому. — Лопатина ожидаю на будущей неделе.

П. Лавров.

О взаимных многолетних дружеских отношениях Лаврова и Тургенева существует уже значительная печатная литература, и мы не будем здесь распространяться о них, считая достаточным для желающего познакомиться с характером этих отношений указать на статью самого Лаврова „И. С. Тур-

генов и развитие русского общества" („Вестник Народной Воли" 1884 г., № 2¹) и на два десятка писем Тургенева к Лаврову²); довольно богата и мемуарная литература, в которой говорится о Тургеневе и Лаврове³).

Что касается Веры Ивановны Засулич (ум. в 1919 г.), успокоительные известия о которой Лавров сообщал Тургеневу в публикуемом нами письме, то несомненно, что известия эти относятся к тому времени, когда Засулич, освобожденная 31 марта 1878 г. толпою сочувствовавшей ей публики, преимущественно молодежи, у самого здания Петербургского Окружного Суда тотчас после вынесения ей оправдательного вердикта присяжных заседателей по делу о покушении на убийство Петербургского градоначальника Трепова, — скрылась из глаз следивших за нею жандармов и полиции и через некоторое время благополучно переехала за границу, в Берлин, а затем Женеву. В Берлине проживала тогда довольно большая группа русских социалистов, занимавшихся, главным образом, контрабандною перевозкою в Россию заграничной нелегальной литературы — Лавровского „Вперед" и женевских изданий; сам же Берлин, по свидетельству одного современника, представлял тогда как бы „первую станцию отдохновения после перехода границы для бежавших из России более или менее важных революционных деятелей". „Так", по его словам: „там перебивали в разное время Вера Засулич, Клеменц, Сергей Кравчинский... и мн. другие" ⁴).

Выстрел Засулич взволновал Тургенева, конечно, не меньше, чем всех других его современников, и судьба смелой девушки, естественно, не могла не интересоваться и не тревожить впечатлительного писателя. Узнав о покушении на Трепова, он писал М. М. Стасюлевичу: „История с Треповым — новая иллюстрация старой поговорки: как аукнется, так и откликнется", а после того, что Засулич уже скрылась и в газете „Северный Вестник" появилось ее письмо от 3 апреля с заявлением ее о том, что она находится в Петербурге, но вынуждена, во избежание ареста, не обнаруживать своего местонахождения, — сообщал, что дела Засулич и несколько других подобных волнующих известий, дошедших до него из России, лишили его сна и совершили в его голове такой фантастический вальс, что он не понимает, как она не лопнула" ⁵). — Письмо Лаврова к Тургеневу, в июне 1878 г. находившемуся также в Париже и председательствовавшему как раз в это время на Международном Литературном Конгрессе ⁶), должно было успокоить Тур-

¹) О Тургеневе и сношениях с ним Лавров упоминает еще в своей интересной автобиографии (см. „Вестн. Европы" 1910 г., № 10).

²) „Былое" 1906 г., № 2 „Минувшие Годы" 1908 г., № 8; „ист. Вестн." 1912 г., № 1, стр. 121; „Вестн. Народ. Воли" 1884 г., № 2.

³) См. Тургеневский Сборник; под ред. Н. К. Писанова, Пгр. 1915, № № 23, 32, 33, 43, 55, 59, 65, 69, 82, 109, 126; к этому надо прибавить еще любопытный рассказ Н. Э. Сакса — см. „Тургенев и его время", под ред. Н. А. Бродского, сб. I, 1923 г. стр. 323.

⁴) „Былое" 1907 г., № 9, стр. 81.

⁵) Стасюлевич и его современники, т. III, стр. 144 и 151.

⁶) См. Русские Пропилеи, М. Гершензона, т. III, М. 1916, стр. 253 255 и 339 — 340 и Воспоминания М. М. Ковалевского — „Минувшие Годы" 1908 г., № 8.

генева; впрочем, Тургенев еще из № 2 „органа русских революционеров“ — „Начала“, от апреля 1878 г., ему, вероятно, выславшегося, мог уже знать, что Засулич благополучно избежала нового ареста, о котором были даны приказы: „Нас просят заявить“, читаем мы здесь: „что в настоящее время Вера Засулич, разыскиваемая полицией, находится вне всякой опасности, и что, следовательно, все слухи об арестовании ее неосновательны и ложны“¹⁾).

Характеристика Засулич, сделанная знакомым Лаврова медиком, сходится с тем, что говорит о Вере Ивановне хорошо ее знавшая О. С. Любатович: „В. И. Засулич произвела на меня сразу очень симпатичное впечатление своей простотой и безыскусственностью. Она никогда не говорила о своем, как она шутя выражалась, „подвиге“, и по натуре принадлежала вообще к людям крайне замкнутым... иногда она бывала видимо тяжело настроена. „Самокритика заедает“, — уверял меня Сергей Кравчинский. Он относился к В. И. Засулич с глубоким уважением, ценил ее прекрасную натуру, но находил, что она — человек очень ограниченного круга привязанностей. Она была претана глубоко, бесповоротно, на всю жизнь своим немногим друзьям, но в ней не было заметно широкого интереса к человеческой душе вообще“²⁾... Нельзя не пожалеть, что в прелестных своей искренностью отрывках или набросках автобиографических воспоминаний³⁾ В. И. Засулич не оставила рассказа об эпохе, последовавшей за ее арестом 24 января 1878 г., и о времени первого перехода за границу и жизни в Берлине и Женеве; здесь по донесениям агентов, она была еще в ноябре 1878 г.⁴⁾

Германа Александровича Лопатина, друга Лаврова, Тургенев хорошо знал лично; по свидетельству Лаврова, Тургенев уговаривал его написать воспоминания о своей богатой приключенческой жизни, „угадывая в нем блестящий литературный талант“⁵⁾... Лопатин, имя которого постоянно мелькает в упомянутых выше письмах Тургенева к Лаврову, недолго тогда был на свободе: в марте 1879 г., приехав в Петербург из-за границы, он был арестован, просидел год в Петропавловской крепости и потом выслан в Ташкент. Дальнейшая его жизнь, как известно, была полна превратностей и прервалась 26 декабря 1918 г. О том, как нежно, чисто по-отечески, любил его Лавров, свидетельствует Л. Дейч в своем тепло написанном воспоминании о Лопатине в „Голосе Минувшего“ за 1919 г. (№ 5 — 12, стр. 216). В этом же журнале 1913 г. Лопатин поместил воспоминания о пребывании Лаврова в ссылке, из которой некогда, в 1870 г., последнему удалось бежать при

¹⁾ См. В. Базилевский, Революционная журналистика семидесятых годов, Paris. 1906, стр. 62.

²⁾ „Былое“ 1906 г., № 5, стр. 235—236.

³⁾ „Былое“ 1919 г., № 14, стр. 89—107.

⁴⁾ Подл. Рожанов. Записки по истории революц. движения в России, СПб. 1913, стр. 119.

⁵⁾ „Былое“ 1906 г., № 2, стр. 215.

помощи именно Лопатина; наконец, укажем, что и Лавров посвятил Лопатину небольшую заметку в своей брошюре „Процесс 21-го“ (Женева 1888).

Б. Медзалевский.

4. В. В. Стасову.

60 — 70-е гг. эпоха всеобщего пробуждения в России, а в частности, эпоха воскресных школ, возникновения Общества дешевых квартир, первых лекций для женщин и первоначальных Высших Женских курсов. В биографии Н. В. Стасовой, написанной ее братом, очень подробно и ярко обрисована эта эпоха „пробуждения“ русских женщин, та роль, которую во всем этом играла Надежда Васильевна, и то участие, которое Елена Андреевна Штакеншнейдер принимала во всех ее трудах.

Совместные переезды Е. А. Штакеншнейдер и Н. В. Стасовой продолжались вплоть до 1872 г., когда Н. В. уехала с семьей брата Николая на 4 слишком года за границу. По возвращении ее оттуда ее деятельность направилась в особенности в сторону развития высшего женского образования, и Елена Андреевна в эти годы, повидимому, меньше работала с нею, но виделись они попрежнему часто, а в особенности между 1881 и 1891 гг.

Когда после смерти Надежды Васильевны, 1895 г., Владимир Стасов принялся писать ее биографию и он обратился ко всем друзьям и близким покойной и ко всем ее сотоварищам по работе с просьбой написать для него заметки и поделиться своими воспоминаниями и сведениями, то в числе других немало таких сведений сообщила ему и Елена Андреевна. По мере печатания этих „Воспоминаний о моей сестре“ в книжках „Недели“, Влад. Влс. получал отдельные оттиски из журнала и разослал эти „зелененькие“ тетрадки (они присылались из редакции в зеленых обложках, тогда как печатавшиеся одновременно с ними статьи о Н. Н. Гз-в „апельсиновые“, как он их называл); итак, он разослал, говорим мы, эти „зелененькие“ тетрадки всем тем, кто своими заметками помогал ему, но также послал их и тем лицам, мнениям которых дорожил, или кто мог указать на какие-нибудь ошибки и неточности, ради исправления этих „Воспоминаний“ при печатании их в виде отдельного тома.

В письме к родным от среды 10/22 июня этого 1898 г. Стасов пишет: „Мне все удивительно удается здесь за границей. Нет ни одной вещи, которую я бы задумал в Петербурге еще, записал на своих бумажках и которая бы потом не осуществилась.

Потом еще мне хотелось видеть в Париже — ¹⁾, чтоб он поправил (если что есть) в моей биографии Нади, а также сообщил, что знает про Варю Жандр. И это тоже все удалось и исполнилось как не надо лучше.

¹⁾ Т. е. Лаврова.

При этом мне случилось прочесть немало печатного ¹⁾, чего я не видал и не знал.

Из Наугейма Стасов послал Лаврову присланные из Петербурга „зелененькие“ и „апельсиновые“ книжки. И в ответ на это получил от Лаврова печатаемые ниже два чрезвычайно интересных и содержательных письма,

Вл. Каренин.

Дорогой Владимир Васильевич.

Мне очень совестно пред Вами, что я теперь только сейчас ответил на Ваше любезное письмо от 16/4 июня, когда уже вчера получил и второе Ваше письмо от 22/10 и 8 книжек Ваших о Гэ, за которое приношу Вам мою искреннюю благодарность. Облегчающим (хотя не извиняющим) обстоятельством может служить, что, начиная с 14/2 июня, я около недели испытывал многочисленные неудобства гриппа, и что затем мне пришлось писать массу благодарственных писем часто из приличия в самые разнообразные пункты. Это нездоровье и эта переписка, очень мало содержательная, двух-трех близких друзей, утомляла меня до крайности и потому содержательные письма вообще пришлось отложить. Тем не менее и теперь еще все это отзывается, и я опасаясь, что это письмо выйдет довольно мало удовлетворительным. Но к делу. Очень рад, что мои работы о Тургеневе Вам понравились и что не совсем осудили и мой частный (очень частный) этюд о Л. Н. Толстом. Вы мне по этому поводу пишете о более „научном“ и более „художественном“ способе изложения, в виду той или другой публики. Не знаю, как другие, но я едва ли способен выбирать способ писания. Я знаю очень хорошо, что склонен вообще писать отвлеченно, а не образно, и насиловать себя в этом случае не могу. Пусть это отзывается „немецким ученым“. Что же и у немецкого ученого своя публика. Каков я есть, пусть таковым и берут меня мои читатели, если они у меня есть или будут.

Теперь о „беллетристике“. Право же, „беллетристика“ на мой взгляд не бравное слово, а лишь указание, что тот или другой писатель (великий или просто талантливый, или даже умеренно-талантливый) употребляет для передачи своих мыслей форму творчества образов, а не рассуждения и доказательства. С этой точки зрения и Шекспир беллетрист и Л. Н. Толстой беллетрист, как очень многие другие. Что Л. Н. Толстой, как беллетрист — гениален, это весьма вероятно (хотя об этом будут вернее судить будущие поколения), но в своих рассуждениях и выводах он так голо показал свою несостоятельность, что мыслителем первого разряда его я никогда не сочту возможным и назвать. Сила творчества образов уживается у него с крайней недостаточной связью и несостоятельностью идей. Вы, вероятно, читая это, возмутитесь и осыпаете меня упорами, но уже при этом взгляде я останусь. Относительно того, может ли Л. Н. Т. „изменить свой образ мыслей“, я кон-

¹⁾ Т.-е. многое из запрещенных в России брошюр, книги сочинений самого Лаврова.
Выше № 2

статирую факт, что он изменял и продолжает изменять этот образ (мыслей) по довольно жизненным вопросам, а при том далеко не всегда в смысле большей ясности понимания и меньшей противоречивости идей. Если это было, то это может и еще повториться. Сила образного творчества за ним, вероятно, навсегда останется. Сила мысли там, где она приближается к творчеству образов — тоже может остаться. Но чтобы он не стал в данную минуту порицать то, что превозносил и превозносить то, что порицает — за это ни Вы ни кто другой, не может поручиться. Последовательное и стройное мировоззрение будет ему всегда чуждо, а в подобном мировоззрении никто не избегнет противоречий.

Тут был бы случай коснуться поднятого Вами вопроса о логике. Но я предпочитаю не пускаться в этот спор, в виду того, что, судя по Вашим выражениям, у нас нет здесь общей почвы. Можете меня осуждать, как хотите, но для меня вне логики (в обширном смысле) нет спасения ни рассуждающему, ни чувствующему, ни даже творящему человеку. „Зубы болны?“ Логика говорит: или иди к доктору и вырви зуб или терпи. Вынырнул перед мыслью вопрос: „к чему жить?“ Логика требует разоблачить прежде вопрос, что значит „жить“, что значит „к чему“. Есть ли смысл в постановке вопроса: „к чему жить?“ в каком можно и имеешь логически право сопоставить понятия „к чему“ и „жить“. Если человек вложит логическую мысль в эти слова и сознает свое право ставить вопрос, тогда — и лишь тогда — может попробовать решить его.

Перехожу ко второму Вашему письму. Непременно прочту все Ваши 8 книжек о Гё. Они меня живо интересуют.

Пожалуйста, приехав в Петербург, сообщите мне, есть ли в Императорской библиотеке 1) Вестник Народной воли (5 книжек), 2) „Материалы“ 7 книжек (6—7 всего). Если нет, то я распоряжусь о высылке полных экземпляров того и другого в Императорскую библиотеку. Тогда Вы будете иметь в Петербурге все мои статьи, напечатанные в этих двух изданиях (и о Толстом). Но если Вам очень желательно, то можете оставить у себя и экземпляр статьи „Старый вопрос“, Вам данной. Сообщите мне также, есть ли в библиотеке мой „Опыт истории мысли“, которого вышло 10 выпусков, брошюрованных в двух томах. Из них Вы увидите, что я, собственно, совершенно разделяю Ваш взгляд на необходимость ссылок на материалы, откуда автор черпает сведения. Но читатели этого труда (их было немного нашли, что я заваливаю их указаниями, которые для большинства не имеют особого интереса. Мне он советовал продолжать с тем же характером. Да и времени работать мне осталось уже мало. Оттого в новых трудах я выкидываю все эти указания. — Если труд о „Переживании“ Вас интересует, то обращаю Ваше внимание на выпуски с моим именем“, *Quelques survivants des terres modernes* (V. Liard et E. Brienn 1896), состоящие особый оттиск из *Devenir Social* того же года. Полагаю, что в „Библиотеке“ есть или самое обозрение „*Devenir Social*“ или даже, может быть, особый оттиск, которых у меня очень мало. Очень хотелось бы мне обратить Ваше внимание на одну книгу,

вышедшую легально в России, но я на это не считал себя вправе и даже прошу Вас никому не говорить, что от меня Вы что либо узнали об этой книге.

Ну, кончаю письмо, надеясь получить от Вас еще кое что, а главное зеленые книжки и сожалею о Вас, что Вам предстоит труд разбирать мой скверный почерк.

Посылаю наилучшие пожелания.

П. Л.

Stassoff Herrn Wladimir Bat Nauheim Heesen Allemagne.

На штемпеле: Bad Nauheim 25.6.98 7—8 N.

II.

328 rue Saint Jacques.

1 июля 98.

Многоуважаемый Владимир Васильевич.

Ну вот из Вашего последнего письма я вижу, что Вы совсем не берете в соображение условий моей жизни. Вы предлагаете ко мне свою мерку, забывая, что хотя годами мы не очень различны, а условиями деятельности гораздо более. Я не могу, как Вы, работать или даже писать письма, когда вздумается и захочется, распорядиться временем и силами. То не могу, потому что болезни не позволяют, то не имею времени, потому, что есть обязательная работа, обязательная переписка. Вот отчего мои корреспонденты принуждены извинить мне и то, что я поздно отвечаю, а иногда и то, что я совсем не отвечаю; в особенности же то, что я пишу лишь часть того, что имел бы в виду написать. Это относится и к сегодняшнему письму и к другим, если они будут.

Ну, к делу. Вы не имеете понятия, о „Devenir Social“. Посылаю Вам отгисе моей статьи, помещенной. Хотел я послать два экземпляра (для Вас и для Библиотеки), но у меня очень мало экземпляров. А потому прошу Вас поступить так: держите этот экземпляр сколько угодно, прочтите, если будет интересно; но потом, когда он будет не нужен Вам лично, передайте в Импер. библиотеку на пользу грядущим поколениям.

Теперь другое. Получил я и книжки апельсинного цвета и зелененькие, за что очень благодарен. По тем „условиям жизни“, о которых речь была выше, возможно было лишь выбирать: что прочесть теперь же в немногие часы, которыми я могу и в силах распорядиться не утомляясь, и что отложить до будущего, которое может настать через неделю, может и гораздо позже. Я выбирал зелененькие и прочел их сплошь; апельсинные же отложил, так как я хочу читать не отрывками, а сплошь, чтобы иметь понятие о целом. Я нахожу, что в зелененьких встречается любопытнейший материал не только для той замечательной по своей самоотверженности личности, какою была Надежда Васильевна, но и для эпохи,

о которой говорится в Вашей работе. Однако, перевертывая страницу за страницей все сильнее и сильнее я чувствовал, что автор печатал свой труд в легальной прессе, не имея возможности высказывать целого ряда пережитых им и его современниками впечатлений от совершавшихся событий. Сменяются перед читателем эпохи энтузиазма и надежд, а затем „тяжелые“ еще „более тяжелые“ эпохи. И читатель спрашивает себя: что было сделано в эпохи „надежд“ и „энтузиазма“, чтобы парализовать темные силы, которые фатально стремились возратить эпохи „тяжелые“. В чем проявлялась борьба не только за мгновенное лучшее, за хорошие вещи, невозможные при господстве темных сил, но против этих темных сил? В чем проявлялась злоба и ненависть к этим темным силам, решимость не пользоваться адовитыми подачками от врагов общества, не заискивать у них, а пользоваться их случайными уступками лишь с определенной целью напавить эти уступки против них? Может быть это все будет в Вашей автобиографии, но здесь так хочется все заглянуть за деятельность культурных энтузиастов в два другие мира, того же общества; в мир давящей власти снова и снова вызывающей „тяжелые эпохи“ и совершенно логически поступающей при этих вызовах в силу своего самосохранения и в мир открытого протеста, не всегда благоразумного, не всегда достаточно слержанного, но полного такого энтузиазма, как мир культурных деятелей при несравненно больших опасностях и не допускавших никаких уступок, никаких заискиваний. Мне представляется при чтении иностранец, совсем незнакомый с Россией 70-х годов и читавший один за другим два повествования об этих 70-х годах, одно, писанное Вами, другое—мною. Оба эти повествования правдивы и дают фактически точные данные об этих годах. Но не покажется ли этому иностранцу, что он читает свидетельства о двух совершенно разных странах, или что факты там или здесь неверны. Между тем, они верны. Многое волновало меня при чтении этих „зелененьких“ тетрадок. Это очень, очень любопытный материал и я Вам очень благодарен, что Вы мне его дали. Но это чтение не только не поколебало в чем либо моего взгляда на это время, но скорее, укрепило его. Но как было бы интересно прочесть рассказ об этих годах, где все существовавшие миры русского общества были нарисованы в их взаимодействии.

Я устал писать и кончаю, так как не знаю когда удалось бы мне продолжать. Жму Вашу руку.

П. Л.

А за логику я все стою.

На конверте тот же адрес, что на предыдущем письме. На штампе Bad Nauheim 2, 7, 98 7—8 N.

Официальные комментарии к „Историческим письмам“ П. Л. Лаврова.

Официальные сферы обратили внимание на „Исторические письма“ П. Л. Лаврова еще тогда, когда они впервые печатались в 1868 году в „Неделе“. Одним из мотивов, который послужил поводом к первому предостережению этой газете, было то, что в ней „систематически развивалось учение об организации борьбы против существующего общественного строя, как например, в статьях „Исторические письма“, напечатанных в № 16 и предыдущих“.

Пять месяцев спустя навлекло на себя также подозрение 12-е письмо напечатанное в 41-м № и озаглавленное: „Естественные границы государства“. О нем дал следующий отзыв цензор А. Смирнов: „Здесь, между прочим, развивается то положение, что территориальное расширение государства подавляет самостоятельное развитие областной деятельности и останавливает прогресс, если сила находится на стороне нации, менее образованной, нежели нации покоренные и подчиненные. В применении этого положения к России автор находит, что Московское государство, подчинив себе, одну за другою, разные области на севере, юге и западе, подавило работу мысли в этих областях, ушедших по пути прогресса далее Москвы“. В Московской Руси, продолжает автор, критика могла уже проявляться лишь в форме Стеньки Разина и раскола. Все это приводит к заключению, что раздробление национальностей на независимые государства гораздо более способствует прогрессу обществ, входящих в состав данной национальности, чем соединение всей нации, говорящей каким-либо языком, под закон одного государства. Имея это в виду, прогрессивные партии должны скорее стараться о независимости территорий, лежащих за пределами их политического отечества, но имеющих с ним общий язык, чем о включении их в одно государство“. Несколько далее, на той же странице: „Борьба за свое существование“ (это относится к нациям, отличающимся от господствующей иными, языками и культурными привычками) „есть борьба вполне законная, следовательно, и стремление к государственному обособлению в этом случае совершенно естественно“. Еще далее: „когда национальность прониклась тре-

бованиями истины и справедливости, когда она решилась разорвать связь с минувшим и служить прогрессу, то она имеет право отстаивать свое обособление от государственного единства, стесняющего ее стремления". Из этого учения, в применении оного к Российской империи, можно вывести заключение, что, например, западные русские окраины, считающие себя, в известном отношении, более цивилизованными, нежели центральная Россия, имеют не только право, но даже священную обязанность стремиться к сепаратизму, а следовательно сдерживание этого стремления будет со стороны правительства политической несправедливостью. Это такое же учение, которым отличались „Русско-Славянские отголоски“ и которое признано правительством антиправительственным. Находя такое учение, хоть и не категорически направленным против нашей внутренней политики, но все же противным нашим государственным принципам и вместе с тем полагая, что судебное преследование редакции за напечатание этой статьи могло бы оказаться не состоятельным, так как рассуждение автора имеет характер общего исторического соображения и может быть применено к любой европейской державе, я, на основании инструкции 23 августа 1865 г., имею честь представить о сем Комитету, как о черте, характеризующей направление газеты „Неделя“.

В 1870 году „Исторические письма“ напечатаны были без предварительной цензуры отдельною книгой. 5 июня они поступили в С.-Петербургский цензурный комитет. Цензор Скуратов, рассматривавший книгу, доложил о ней Комитету следующее: „Книга „Исторические письма“ не принадлежит к числу популярных сочинений и должна рассматриваться, как философское сочинение, не могущее рассчитывать на обширный круг читателей. Тем не менее она может быть источником значительного вреда в сравнительно тесном кругу учащейся молодежи, и потому цензор считает обязанностью указать на превратные учения автора относительно религиозных, нравственных и политических оснований, на которых утверждается всякое общественное устройство“.

„По мнению автора, нравственный кодекс всех образованных народов не заключает ничего, кроме лжи и превратных понятий. Справедливость, говорит он, отождествляется законностью, хотя бы это был закон Дракона. Под истинною подразумеваются мистические положения, недоступные пониманию и требующие лишь тупого повторения. Святость жизни находили в отрицании развития личности, в отрицании истины и справедливости, в зверином состоянии отшельников, в вере в немыслимое, в гонении неверующих“.

„Что же касается до религии, то автор выражает мнение, что закон ветхого завета обязан своим происхождением тому, что евреи нашли удобным представить почитание Иеговы в форме договора между богом евреев и народом избранным, как будто закон ветхого завета был дело евреев, а не бога. В этом же духе объясняет автор учреждение брака. Из его слов выходит, что это не религиозное и даже не необходимое, а вполне произвольное учреждение: „людям, — говорит он, — вздумалось подвести под начало договора физиологическое влечение двух влюбленных“.

„Но всего страннее и превратнее учение автора о договорах. Все общественные бедствия, — говорит он, — происходят от неуместного и чрезмерного применения идей договора; договоры, по его мнению, необязательны для людей неразвитых и бедных, потому что они могут не понимать их или не иметь возможности от них уклониться. Нельзя и даже преступно заключать договоры на продолжительное время, на том основании, что желания и убеждения людей изменяются, а действовать против своих желаний и убеждений преступно“.

„Точно так же преступно принять на себя обязательство подчиняться чьим-либо распоряжениям, когда не знаешь вовсе, каковы будут эти распоряжения, и когда не контролируешь их. Таким образом, продолжает автор, договор становится страшным заедающим злом, которое охраняется и поддерживается законом, а самый закон есть договор фиктивный, потому что подданные государства, обязанные исполнять этот договор, не призываются к выражению добровольного согласия на него“.

„Далее автор утверждает, что закон становится капканом для слабых в руках сильных. Честность, говорит он, бледнеет перед законностью, и находятся такие нравственные уроды, которые воображают, что, исполнив букву постановлений, они честны“.

„Вышесказанные идеи о договоре и о законе не требуют пояснений. Кто усвоит себе такие понятия о законе вообще и при том убедится с автором, что государство всюду остается насильственным обязательством для более или менее значительной части населения, тот едва ли сохранит в себе убеждение в святости и обязательной силе законов своего отечества, напротив — сочтет долгом, говоря словами автора, „закону, вооруженному всеми силами государства, противопоставить свое личное убеждение, потому что ни кодексы, ни государственные силы не могут сделать для него ложным и несправедливым то, во что он верит, как в истину и справедливость. Умирая под ударами врагов и под гнетом обстоятельств, он все-таки завещает единомышленникам бороться и умереть подобно ему, если только верит в то, за что умирает“.

„Пункт 1-й в статье 9-й Отделения IV высочайше утвержденных 6 апреля 1865 года правил по цензуре воспрещает оспаривание обязательной силы законов и одобрение или оправдывание воспрещенных ими действий. Между тем едва ли поллежит сомнению, что ослаблением уважения идеи законности вообще ослабляется также и уважение к закону своего отечества. Посему цензор полагает, что книга „Исторические письма“, если не представляет достаточных оснований к судебному преследованию, то во всяком случае должна обратить на себя особое внимание“.

Комитет согласился с мнением цензора о „неблагонамеренности“ книги „Исторические письма“, но высказался отрицательно относительно возбуждения против нее судебного преследования, полагая, что такой оборот дела может оказаться несостоятельным, потому что она составляет не более, как только философию социологии, и не нападает прямо ни на какое законоположение, действующее в империи“. Определено было: заявить о докладе цензора Главному управлению по делам печати.

Главное управление передало книгу на рассмотрение члену совета Ф. П. Еленеву, которым высказано было о ней следующее заключение: „Книга эта, принадлежащая перу недавно эмигрировавшего за границу П. Лаврова, сколь мягка и уклончива по форме, столь же радикальна по своему содержанию. Она состоит из множества отвлеченных и бездоказательных афоризмов, весьма ловко подводимых автором под следующие общие знаменатели: нет духовной природы в человеке; нет за пределами материи никакого высшего духовного существа, религия есть плод невежества масс и орудие дисциплины в руках властей; религиозная нравственность есть хитрая выдумка жрецов; частная собственность есть не более, как плод хищничества; законы суть предписания владеющих классов, направленные к тому, чтобы держать в повиновении массы и удобнее их эксплуатировать; семья есть результат полового влечения, соединенного с насильственным преобладанием главы семейства над прочими домочадцами. Автор проповедует между прочим, что целью всякой прогрессивной личности должно быть стремление к разделению государства на независимые территории, ибо при таком разделении предоставляется более простора для свободной критики и для усиления прогрессивной партии. Вообще все начала разложения нравственного, общественного и политического нашли себе в авторе этой книги горячего превозносителя и проповедника; наоборот, все истинны, на которых выдвигается нравственность, общество, государство, отрицаются им или осмеиваются. Ни одного из своих радикальных положений автор не высказывает однако ясно и вполне, но проводит через всю книгу в виде намеков, различных сближений и вообще посредством той условной терминологии, которая, будучи вполне понятной известному классу читателей, ускользает однако от прямого подведения под какую-либо статью уголовного закона. Преследовать подобные книги перед судом возможно только тогда, если суд не будет ограничиваться в делах печати одним казуистическим подведением некоторых мыслей и выражений под статьи закона, но будет проникать во внутренний смысл целой книги и взвешивать цель автора и влияние, которое должно произвести сочинение на тот класс читателей, для которого оно предназначается. Единственным для них противодействием может служить в настоящее время здравая критика. Поэтому член Совета соглашается с мнением С.-Петербургского цензурного комитета о неудобстве вчинить судебное преследование против этой книги“.

Книга „Исторические письма“ в издании 1870 года в конце концов увидела свет, но последующие ее издания: 1904 года (Артюшина) и 1905 года (журнал „Русское Богатство“) были задержаны цензурой не по существу, а по чисто формальным соображениям; в силу „высочайшего „повеления от 17-го февраля 1871 года о недопущении к печатанию в России сочинений эмигрантов.

Приготовил к печати С. А. Переселеннов.

П. Л. Лавров и „Вперед“¹⁾.

В истории литературной и общественной деятельности Петра Лавровича Лаврова период от осени 1872 г. до конца 1876 г. окрашен одним, совершенно определенным цветом. До этого периода Лавров, уже гораздо раньше (хотя и очень постепенно) не только сознавший себя социалистом по теоретическим убеждениям, но и признавший принципиально неизбежным именно революционный путь массовой борьбы за социализм, — остается лично в стороне от активной и организованной революционной деятельности, выступая лишь „в одиночку“ как мыслитель и публицист. После этого периода Лавров, разойдясь с временно объединявшейся вокруг него и в сущности им же сплоченной группой молодежи, но уже не разрывая связи с делом международного революционного движения, надолго (можно сказать до конца жизни) остается в рядах борцов за социализм, на совершенно особом положении всеми уважаемого и любимого учителя-руководителя, стоящего почти вне и в значительной степени над отдельными группами и фракциями. Мы имеем право так формулировать его положение, потому что даже в 1883 — 6 г. г., когда Лавров стоял во главе редакции „Вестник Народной Воли“ и ориентировался на „народовольчество“ во всех практических, публичных высказываниях по вопросам момента, он не был все-таки „народовольцем“ в партийном смысле и расходился со своими ближайшими товарищами в очень многих существенных пунктах. Во всяком случае он уже не был тогда в той роли вождя литературно-политической фракции и признанного идейного хозяина-руководителя, которую он занимал в журнале „Вперед“. Только этот журнал может считаться в подавляющем большинстве своих статей и материалов практическим воплощением революционных и социалистических идеалов Лаврова. Конечно, Лаврова семидесятих годов.

Характеризуя мировоззрение Лаврова по статьям „Вперед“, мы ни на одну минуту не должны забывать, что это мировоззрение, не изменившееся и позже в своих основах, все же потерпело к концу 70-х и началу 80-х годов (а еще определеннее к 90-м годам) некоторые существенные изме-

¹⁾ Эта статья должна составить главу в подготавливаемой автором книге „П. Л. Лавров, как мыслитель и деятель“. А. Г.

нения в области практических лозунгов и формулировки очередных задач русской революционной борьбы. Мало того, даже ограничивая задачу характеристики воззрения Лаврова-социалиста периодом издания „Вперед“, мы все же не можем привлекать для этой характеристики весь материал, печатавшийся во „Вперед“ и тем самым как бы „одобренный“ его главным редактором. Спора нет: личное влияние Лаврова в редакции и роль его в подборе всего материала были громадны. „Вперед“ — подлинное детище Лаврова, журнал, резко окрашенный его личными взглядами, вкусами, даже отразивший его слабости и ошибки. Это бросалось в глаза уже современникам; главные противники Лаврова — Бакунины и Ткачев, а особенно их не по разуму усердные последователи из горячей эмигрантской молодежи, всегда были не прочь кольнуть „впередовцев“ замечаниями на тему о „личной диктатуре в журнале“, о давлении „профессорской“ методы Лаврова на все статьи и т. п. Сам же Лавров, неизменно поступаясь всем „личным“ во имя „общепризнанного среди товарищей“, никак не мог признать свои старания бесплодными и, в целом ряде случаев, считал себя в праве формулировать это „общепризнанное“, как единственный итог деятельности всего журнала. Так сделал он и в прощальном (48) номере газеты „Вперед“, обзвывая работу „За четыре года“, так же попытался он объединить характеристику всего материала (не исключая даже тома V, вышедшего уже без его участия) в III главе своей книги „Народники-пропагандисты 1873 — 78 г.г.“, появившейся уже в 90-годах в серии „Материалы по истории русского социально-революционного движения“ (изд. группы старых народо-довольцев¹⁾).

Эта глава, обстоятельно передающая, в систематическом виде, все руководящие мнения и наблюдения, данные на страницах „Вперед“ (с обильными деталями), могла бы сделать излишней отдельную постановку темы „Лавров во „Вперед“. Если бы... да, если бы только сам Лавров был в таком „объединяющем“ методе объективно прав. Но проблема именно в том: удалось ли Лаврову желанное слияние „себя“ и „общего дела“ журнала, не был ли Лавров-редактор часто одинок и не понят в своих попытках говорить за „общее мнение“? А если ему и удавалось растворить свое в этом общем мнении, не слишком ли дорогою ценою осуществлялась такая цель? Был ли Лавров — редактор, Лавров — вождь фракции „впередовцев“, тот же Лавров, который виден на страницах его чисто-индивидуальных трудов, и весь ли Лавров был здесь, в „общем деле“? Автору настоящей статьи уже приходилось ставить в печати подобный же вопрос, в еще более широкой форме: можно ли без оговорок характеризовать мирозерцание Лаврова по его социально-политическим („заграничным“) статьям вообще? Не затемяют ли часто старания Лаврова, дать „общепризнанную формулу“, его индиви-

¹⁾ Эта работа Лаврова, — первый опыт уже не просто мемуаров участника, но объективной истории движения, по материалам эпохи, была переиздана в России в 1907 г. (легально, с неизбежными пропусками). Новое полное издание недавно выпущено книгоиздательством „Колос“.

дуальной точки зрения на данный вопрос? Ставить и отвечать: да, затемняют; да, упрощают; да, для установления полных и подлинных „точек зрения“ Лаврова на социальные идеалы человечества, надо постоянно сопоставлять его „боевые“ статьи с научными трудами: лишь взаимно корректируя их выводы, можем мы уяснить себе „лицо“ Лаврова, как мыслителя и деятеля.

Подобная осторожность должна быть строго соблюдаема при анализе статей из „Вперед“. Выступая как редактор группового органа, как ответственный выразитель мнения целого коллектива единомышленников, да к тому же еще стараясь говорить не только за эмигрантов, но и за русских товарищей по другую сторону рубежа, Лавров неизбежно должен был затуманивать многое „личное“ и выдвигать на первый план „общее“. С другой стороны, неизменно рассматривая русское движение, как ветвь единого международного движения — „рабочего социализма“ — Лавров часто должен был приспособлять свои формулировки еще и к общему мнению товарищей — иностранцев. Наконец, все, что мы знаем об истории возникновения „Вперед“ и о личном душевном состоянии Лаврова в момент этого возникновения, побуждает нас еще тщательнее разграничивать различные по существу элементы, из которых складывалась каждая статья Лаврова в журнале.

В самом деле, мы знаем прежде всего, что Лавров не сам первый пошел к молодежи, задумавшей новый орган русского революционного мнения за границей, напротив, эта молодежь пришла к нему и повзала его. Об этом с трогательной искренностью и простотой рассказал сам Лавров, кратко в примечаниях к польскому изданию известной книги А. Туна о русском революционном движении (примечаниях, не раз воспроизводившихся в позднейших русских изданиях той же книги), а более полно — в книге „Народники-пропагандисты“. История этих переговоров уже не раз пересказывалась и комментировалась исследователями, наиболее обстоятельно и с решающими выводами „по существу“ такой комментарий был дан в книге Богучарского „Активное народничество 70-х годов“ (гл. IV), и в особенности в статье П. Витазева „П. Л. Лавров в 1870—73 г.г.“ (первонач. в № 15 „Былого“ — 1920 г., потом в виде предисловия к сборнику „Материалы для биографии П. Л. Лаврова“, вып. I, издательство „Колос“, П. 1921). Тщательный анализ материалов по истории ссылки и эмиграции Лаврова, в частности его во многом „исповедных“ писем к Е. А. Штакеншнейдер, помог П. Витазеву твердо установить следующее:

1) Лавров бежал из вологодской ссылки не с целью применить сразу же за границей к активным революционерам, а с целью продолжать кабинетную, научную работу, которую невозможно было больше вести в вологодской глуши, под бдительным оком жандармов.

2) Пребывание в Париже во время коммуны, знакомство с организацией I Интернационала, в расцвете его сил, наконец, знакомство с сочинениями и личностью Карла Маркса оказали на Лаврова громадное, потрясающее воздействие, значительно приблизив его миросозерцание к революционному

марксизму, и во всяком случае уяснив ему, что только лозунги этого миро-
созерцания создают международный рабочий социализм, как реальную
силу.

3) Признавая это теоретически, Лавров все же еще не предполагал
лично выступить как один из руководителей (а не простых литераторов—
„участников“) русской ветви международного социализма и даже не думал,
что среди русской молодежи уже организуется такая ветвь.

4) Получив предложение редактировать журнал, Лавров предположил,
что оно исходит просто от группы „литераторов-радикалов“, не имеющих
возможности, по цензурным условиям, издавать свой орган в России, и писал
первую программу „Вперед“ (в марте 1872 г.) именно для этой воображаемой
группы литераторов. Если бы это „предположение“ не оправдалось, он склонен
был отказаться руководить журналом, так как все еще надеялся вернуться
в Россию и не хотел отрезать себе путь, связавшись с открыто-революционной
группой.

5) К осени 1872 г. выяснилось, что набросанная Лавровым программа
никому не нужна, так как группы „литераторов-радикалов“ нет, но есть
группа революционной молодежи, показавшаяся Лаврову довольно сильной
и сплоченной. Кроме этого „нового“ взгляда на соотношение организованных
сил среди эмиграции решающее значение в решении Лаврова — стать во
главе „Вперед“ — оказали „некоторые совершенно личные обстоятельства“.

— П. Витязевым установлено, что под этими туманными и сдержанными
словами скрывается намек на тяжелую драму в личной жизни Лаврова.
Смерть его гражданской жены А. П. Чаплицкой — исключительно ему близкого
и любимого человека — вызвала в осиротевшем мыслителе-изгнаннике острый
приступ отчаяния. Он потерял на время всякую веру в смысл личной своей
жизни и личной научной работы. Только участие в большом, общем
деле казалось ему спасением. Дело... „подшло ко мне не вызванное
мною“... „есть сознание, что можно быть полезным на этом пути, что
должно идти по нему, а терять решительно нечего“... „авось это поднимет
меня, а вне этого ничего нет“.

Так писал Лавров к Е. А. Шкатушнейдер, — уверяя ее, что „ничем
не жертвую“, решительно отрезывая себе этим шагом путь в Россию; он
сказал даже: „я подхожу к жертвеннику с пустыми руками“. Следовательно,
в эту минуту Лавров сознательно растворил свое опустошенное я в громад-
ном, исцеляющем, потоке социалистической борьбы. Переезд из Парижа
в Цюрих, и более близкое знакомство с непривычной и очень инте-
ресной для него по новизне и контрасту средой русской револю-
ционной молодежи, Лавров называл „гигиенически полезными“. „Я зна-
чительно поуспокоился“. Время, время и занятия общими вопросами“, —
великое гигиеническое средство“. Нельзя не настаивать на гро-
мادном значении этих признаний для правильного понимания того тона,
которым запечатлены статьи Лаврова во „Вперед“, особенно первые статьи.
Лавров в этой полосе своих исканий очень слабо верил в правду и творче-

скую ценность своих личных научно-исторических и социальных гнистей, но очень крепко верил (сознавая, что должен верить) в пра ду общих основ рабочего международного социализма. Трехлетняя работа его во „Вперед“ и конечное распадение журнала практически показали ему, что он лишь отчасти правильно уловил нужную для русской молодежи линию программных требований, что он лично никак не годится в вожди дисциплинированной и коллективно-волящей политической организации, наконец, что его мировоззрение не вполне совпадает с международным рабочим социализмом, а истолкование лозунгов движения, данное во „Вперед“, не может претендовать на безусловную правильность. Выводы — как будто пессимистические, но осадок грусти, павший на сердце Лаврову, когда он решил выйти из редакции „Вперед“ после так называемого „парижского съезда“ 1876 г., никак нельзя сравнивать с черным отчаянием 1873 г. В общее дело Лавров уже без-обратно сумел вложиться, вопрос был только в правильном определении своего места в этом деле. Жизнь показала, что место учителя-теоретика, вне фракций, более подходит Лаврову, чем место редактора фракционно-группового органа. Но только после „гигиенической“ жертвы вернулись к Лаврову силы быть таким учителем. — „Ученые работы“ опять получили интерес не только для других, но и „для меня“. Да и сама деятельность публициста-социалиста стала более личным делом, а не только „долгом“. Когда сын инного, младшего поколения, крепкими духовными узами связанный с Герценом и Лавровым — В. Г. Короленко, также на рубеже жизни, мучась вопросом: зачем жить, если существует смерть, смерть любимых, смерть лучших? — нащупал ответ на пути: живи для живых, для любви к людям и общего дела ¹⁾ он, сам не зная того, повторял тяжкий опыт обоих учителей св их, делом сумевших победить самого страшного врага личности — ужас бессмысленного существования.

II.

Предшествующий обзор биографической подкладки участия Лаврова во „Вперед“ и уяснение значения этой полосы жизни в истории личности Лаврова-деятели, естественно ведут нас к вопросу: в чем же и как выразилась личная, „авторская“ работа Лаврова в журнале? Разобрав эту работу по пунктам, по вопросам, ею затронутым, мы уясним себе лицо Лаврова, как участника „Вперед“, как революционного публициста 70-х годов. Сопоставив начало и конец этой работы и заглянув мимоходом в лежащие за пределами „Вперед“ соседние с ним работы Лаврова, мы попытаемся ответить на вопрос, как именно происходил в Лаврове процесс нового обретения „я“ через страстное участие в едином общем деле. Наметим прежде всего границы материала.

¹⁾ См. его повесть „С двух сторон“ (напеч. в 1887 г., но отражает студенч. переживания конца 70-х г.г.).

Первым произведением Лаврова, вышедшим из цюрихской наборной „Вперед“, было воззвание „К русским цюрихским студентам“ (1873). К сожалению, мне не удалось его найти ни в одном из доступных мне (ленинградских) собраний революционной литературы. Особо существенного интереса оно впрочем для моих целей и не представляет: повидимому, это был простой призыв к женской молодежи, оклеветанной в известном „правительственном сообщении“, призыв сделать все выводы из жестоких фактов, не обольщаться надеждами на мирную, культурную работу при таком правительстве и обратиться к работе революционной. Вероятно, известная статья Герцена (по поводу закрытия СПб. университета в 1861 г.) с заключительным ее призывом „В народ“ послужила тут естественным образцом. В том же 1873 г. вышел I том „непериодического обозрения“ — „Вперед“, в котором Лаврову несомненно принадлежат статьи: 1) „Наша программа“; 2) 1773 — 1873 (по поводу столетия пугачевщины), 3) „Знание и революция“, 4) Первая глава „Летописи рабочего движения“ (об Интернационале). Статья „Счеты русского народа“, если и не написана Лавровым сплошь, очевидно писалась при его участии, которое особенно заметно в первой — исторической ее части. В постоянных отделах „Что делается на родине?“ и „Хаос буржуазной цивилизации“ участие Лаврова тоже было преобладающим; первый отдел велся собственно им (как указано в „Народниках-пропагандистах“). Но в этих отделах умелое комбинирование фактического материала (часто, в цитатах) вообще настолько преобладает над высказываниями „от себя“, что они менее нужны для нашей цели; отмечаем лишь самую эту особенность, как указание на тонкую и умную манеру Лаврова-редактора — действовать на читателя „объективным путем“.

Отдел „Летопись рабочего движения“ составлялся В. Н. Смирновым, но первая глава и в книгах II—III несомненно принадлежит Лаврову. Здесь тоже „факты“ преобладают над рассуждениями, и для характеристики идей Лаврова достаточно лишь сжато подвести итоги¹⁾. То же следует сказать о большой серии статей по поводу „Голода в России“ (в книгах II—III, отдел „Что делается на родине“, первые главы), переизданных и отдельной книгой: „По поводу самарского голода“, уже прямо под именем Лаврова. Изучение этой сводки сохраняет до наших дней ценность для истории той эпохи: Лавров очень тщательно отделает „слухи и толки“, регистрируя их лишь, как психологически ценное, от фактов, официально и публично установленных. Выводы обзора — отчетливо-социалистические, указующие на единый путь исцеления. Тем же духом запечатлена во II книге „обозрения“ статья „Потерянные силы революции“ (ответ ревнителю „легальных“ путей деятельности), несомненно написанная Лавровым. В той же книге помещены известные „разговоры последовательных людей“ („Кому принадлежит будущее“), чрезвычайно существенные для понимания взглядов

¹⁾ См. отд. изд. „черки истории Интернационала“ П. Лаврова. „Колос“. II. 1919.

Лаврова на социализм, классовую борьбу и т. д. Схему истории социалистической идеи в Лавровском понимании дают параллельно очерки „Из истории социальных учений“ в книгах II—III (есть отд. новое изд. „Колос“. П. 1919).

Вторая книга вышла еще в Цюрихе, третья (в конце 1874 г.) уже в Лондоне, куда было перенесено все издание. В III книге Лавровым написаны: 1) „Ответ на разные критики“, по поводу статьи „Знание и революция“ и 2) глава о процессе Долгушина в отделе „Что делается на родине?“ — с важными указаниями по вопросам „этики социалистической борьбы“. Кроме того, конечно, продолжают (как выше указано) статьи о голоде, история социальных учений, Летопись Интернационала. Ряд редакционных заявлений и примечаний (напр., к „Письму коммуниста“ В. Фрея), рассеянных в этой и предыдущих книгах, также принадлежит Лаврову. К 1874 году относится и отдельная брошюра Лаврова „К русской социально-революционной молодежи“ (Лондон. Наборная журнала „Вперед“), написанная в ответ на брошюру П. Н. Ткачева: „Задачи революционной пропаганды в России“ и чрезвычайно существенная для характеристики основных пунктов социалистической концепции Лаврова. Издание „книжек“ „Вперед“ предполагалось „и впредь“ (см. редакц. заявление к № 1 лондонской газеты „Вперед“), но фактически надолго прервалось, при чем четвертая книжка вышла только в 1876 г. в виде одного „первого“ выпуска, целиком занятого работой Лаврова „Государственный элемент в будущем обществе“, а пятая (1877) вышла уже без участия Лаврова. Зато с 15/1 января 1875 г. по 31 (19) декабря 1876 г. в Лондоне аккуратно („ни разу не опоздав“ по словам Лаврова в „Нар. пропаг.“), выходила двухнедельная газета „Вперед“ (№№ 1—48). В газете Лавровым несомненно написаны почти все передовицы (кроме 2—3-х; да еще несколько, вероятно, в сотрудничестве с другими лицами, (подробнее укажем ниже). Кроме того, Лаврову принадлежит ряд „ответов“ на „письма в редакцию“ разных противников журнала (из социалистического и несоциалистического лагеря), неоконченная статья по поводу женевого издания собрания сочинений Герцена (в №№ 18, 19, 22), ряд некрологов и мелких заметок. Вообще, по словам самого Лаврова, он „отдавал почти все свое время“ работе по журналу, и это ясно видно из простого обзора хронологических списков его работ. За годы 1873—6 Лавров не напечатал ни одной сколько-нибудь значительной статьи в легальных русских или иностранных журналах, кабинетная работа его как бы прервалась. Зато он удовлетворил свою жажду изучения общих вопросов социализма, завершив этот период изданием двух таких итоговых работ, как „18 марта 1871 г.“ (Парижская Коммуна)—в 1875 г. и „Государственный элемент“ (1876). Сюда еще следует присоединить издание русского перевода книги Цезаря де-Папа „Общественная служба в будущем обществе“ (вместе с „Запиской Женевской Секции пропаганды“) перевода, снабженного обширными примечаниями Лаврова, принципиально ставящими некоторые вопросы социализма. Эти произведения можно сказать увенчивали журнальную работу

Лаврова. Да и в самой этой работе он невольно уделял больше внимания „основам“, чем „моменту“, отчего весь „Вперед“ подчас носил слишком „академический“ характер. Остановимся сначала на вопросе о задачах журнала, потом на общих, принципиальных статьях, наконец на откликах на события, чтобы заключить обзор наш опять „вершинами идеала“, как они формулировались Лавровым в выше названных книгах¹⁾

Программа, изложенная в руководящей статье I тома, сложилась у Лаврова не сразу. Она считается „третьей“. О „первой“, составленной для литераторов-народников, мы уже упоминали, „вторая“ составленная Лавровым осенью 1872 г., была отвергнута потому, что разногласия между различными группами революционной эмигрантской молодежи, которые Лавров пытался объединить этой „второй“ программой, оказались более резкими и непримиримыми, чем он ожидал. Таким образом уже на первых шагах Лаврову пришлось отказаться еще от одной иллюзии: ему удалось стать руководителем далеко не всей русской ветви международного рабочего социализма, выступить только в роли основателя новой фракции-кружка. Такое положение очень тяготило Лаврова, он всеми силами старался не придавать „своему“ журналу узко-фракционного характера, мечтая о слиянии отдельных групп в сильную и единую русскую секцию Интернационала. Но осложнение внесено было именно расколом в самом Интернационале (на Гаагском конгрессе 1872 г.). Лаврову потому не удалось договориться с „бакунистами“, что он не хотел совсем стать на их сторону в этом расколе и с самого начала явился защитником внесения марксистских элементов в русское социалистическое движение. Конечно, понимание Лавровым марксизма было довольно своеобразное: и у него самого, и (еще более) у его молодых русских товарищей, был целый ряд „утопических“ воззрений, не вмещавшихся в научный социализм Маркса. Лаврову казалось, что и разногласия между сторонниками Маркса и Бакунина в Интернационале, и его собственные, Лаврова, разногласия с русскими анархистами-бакунинцами, касаются лишь сравнительно „второстепенных“ пунктов социалистической программы. Резко выраженная во всех статьях „Вперед“ вера в возможность и плодотворность социальной революции в России и во всем мире приводила Лаврова часто к прямому аполитизму, его постоянные заявления о необходимости борьбы со всяким „государством“ и „правительством“ звучат совершенно анархически. Конечно, такие заявления можно при желании розыскать и в ранних сочинениях Маркса, но именно борьба с Бакуниным на опыте помогла марксистам более четко выработать свое отношение к принципу государственности. Помогла она это сделать и Лаврову, но он пошел несколько иным путем, более бережно охраняя в своих формулах „правду“ анархизма. Всё же нельзя согласиться с мнением В. Я. Богучарского, что Лавров и Бакунин в главном стояли на одной позиции. Богучарского сби-

¹⁾ В вопросе о принадлежности Лаврову тех или иных статей автор (за исключением специально оговоренных случаев) руководился указанием П. Витазева.

вало одинаково скептическое отношение Лаврова и Бакунина к политической свободе, к „конституции“ — пункт, которому сам Богучарский придавал решающее значение. Сам же Лавров вообще настолько желал единства русского социалистического движения, что всегда склонен был преувеличивать пункты сближающие и не замечать расхождений. Так же держался он и в вопросах движения международного, „не признавая“ пропасти, которая уже отделила Бакунина от Маркса. Все это доказывает, что Лавров по натуре не был партийным борцом, чутким к каждому колебанию массовых и групповых настроений, формирующихся совсем не по схемам „разумного обоснования“. На самом деле тот будто бы „второстепенный“ вопрос, который вызвал его разногласие с Бакуниным (вопрос о „науке“ и о подготовке революционных деятелей), был для самого Лаврова психологически основным и расхождение по этому вопросу выявляло коренную их разницу в понимании задач „социальной народной революции“, а отсюда и в вопросе о „государственном элементе“, и во многих других. Аналогичное расхождение по вопросу о диктатуре и союзе с „политическими революционерами“, отколовшее от „Вперед“ (несколько позже) П. Н. Ткачева и группу яковинцев — „набатчиков“, тоже было глубоко принципиальным, хотя и выявилось как будто на второстепенных, конкретных вопросах о путях и средствах переворота.

Обращаясь к статье „Наша программа“ (в I томе „Вперед“), мы прежде всего замечаем в ней заявление о том плане действовать на читателя не крикливыми фразами, а подбором фактов жизни, выполнение которого журналом мы уже отметили выше и который больше, чем что-либо подымает „Вперед“ сразу головою выше над прочими революционными изданиями тех лет. „Вперед“ в этой области старался продолжать метод и традицию „Колокола“ и относительно успел в этом, конечно, никогда не достигая вполне его высоты. И времена были другие и личность Лаврова не то, что личность Герцена, гораздо более организующая по духу. Точные факты, и „безусловная критика“ — вот методические лозунги „Вперед“. Целью журнала объявлена „борьба с монополией во всех видах в пользу труда“, борьба „не против личностей, а против общественных начал, против несправедливости общественного строя“. Развертывая эту цель подробнее, Лавров неожиданно ставит рядом с „борьбою за реализацию справедливейшего строя общества“ — „борьбу реального мирозерцания против мирозерцания богословского“, „борьбу науки против религии“. Правда, в следующем же абзаце он признается, что „решение этой задачи уже далеко подвинуто вперед“, да „к тому же для России эта задача имеет мало значения“. Фактически этой задаче „Вперед“ совершенно не уделял внимания. Ни статьи о христианстве и социализме (в № № 23 и 44 лондонской газеты, о которых скажем еще ниже), ни обзоры фактов clerикальной реакции на западе (в III томе „обозрения“), никакие другие второстепенные заметки на тождественные темы этого вопроса в сущности не касаются. Они ставят вопросы о соотношении социалистического и христианского идеалов, об отношении социалистов к реальным силам clerикалов, а никак не кабинетный вопрос о „науке и религии“. Не только в последующих фахисах междуна-

родного социалистического движения (в этом вопросе допустим иногда рискованно примиренческого), но и в среде тогдашних (70-х годов) социалистов, настроенных более резко против „поповства“, и в боевом атеизме Бакунина, и в современном возобновлении анти-религиозной пропаганды в русском и международном коммунизме, вопрос этот не ставился и не ставится так отвлеченно, как его поставил Лавров. Спор идет не просто между „наукой и религией“, а между организованными и реально воплощенными силами „старого“ и „нового“ мира. Против исторической, церковно-религиозной организации, основывавшейся на начале авторитета, выступает международный пролетариат как носитель иного мирозерцания, переносящего весь пафос, бывшей религиозности в область земных и здешних задач. Только воплощение этой силы превращает науку в боевое оружие, и при том уже совершенно в ином смысле, чем было это, напр., в эпоху споров „католицизма и науки“ в XVI—XVIII веке. Лавров же мыслит борьбу науки и религии как какой-то чисто идеальный процесс, параллельный борьбе труда с капиталом и, тем самым, обнаруживает, в программной статье личную свою особенность, как представителя поколения, совсем по особому „верившего“ в науку. Так в нее не верили не только Бакунин и Плеханов, но, пожалуй, и марксисты, которые зато крепче верили в другое, Лаврову недоступное.

Что же касается до основной задачи социалистической борьбы, то, формулируя ее, Лавров ставит рядом такие определения, как „борьба труда против праздного пользования благами жизни“ с одной стороны, „борьба рабочего против классов, его эксплуатирующих“ — с другой, „борьба свободной ассоциации против обязательной государственности“ — с третьей. Современный читатель никак не может не прибавить этих осложняющих „с одной... с другой“, ясно чувствуя, что перечисленные задачи могут столкнуться между собой, что борьба против эксплуататоров труда в ее конкретном революционном воплощении может и не совпасть с борьбой за „равноправность“, что „принудительная государственность“ совсем не так просто упраздняется, даже в случае победы трудящихся. Для Лаврова же, как идеалиста, это не были даже разные стороны вопроса, а всё одно и то же, только словесно по-разному сформулированное. В этой недифференцированности представлений о социалистическом идеале Лавров сходится не только с большинством современников своих, но со многими представителями позднейших поколений, вплоть до наших дней. Историческая роль марксизма именно и состояла в том, что он произвел такую дифференциацию. На место идеалов „анархии“ и утопизма он поставил конкретную цель перехода политической власти в руки рабочего класса и организации нового типа государственной жизни.

Недоговоренности и противоречия программы „Вперед“ сейчас же выступают яснее, как только Лавров пробует развить подробнее ее отдельные стороны. В вопросе о государственной принудительности позиция Лаврова можно еще, пожалуй, признать сравнительно ясной, как допущение возможности постепенного отмирания этой принудительности, в процессе перехода к строю „свободных ассоциаций“ (разумеется, при условии первоначальной

чальной революции, передавшей власть в руки трудящихся). Но уже на вопрос о политической борьбе, программа решительно не может дать твердого ответа. Только что им, например, высказано утверждение, что социалистам враждебны „все политические партии с их конституционными идеалами более или менее либерального свойства“, как вслед за тем вопрос об участии рабочих в современном политическом движении Европы и Америки остается „спорным“. „Вперед“ отрывал свои страницы и для сторонников „использования существующих политических форм для рабочего дела“, предупреждая их от опасности „парламентской диалектики“, и для сторонников „немедленной социалистической революции“, напоминая им, что „раз взявшись за дело они обязаны организовать победу“. Иначе говоря, вопрос ставился в зависимость почти исключительно от местных условий. Такая позиция для западно-европейского журнала была бы просто невозможна, она свелась бы к воздержанию от ответа на острейший вопрос дня, расколовший Интернационал. Но журналу русскому легко было тогда держаться так, раз на вопрос о русских „местных условиях“ он категорически отвечал в духе Бакунина, оттеняя только важность „подготовительно-пропагандистской“ работы наряду с непосредственно-агитационной.

Придавая такое значение местным условиям, Лавров до конца дней своих решительно отказывался считаться с условиями собственно национальными. Проблема национальности никогда не была для него жгучей практической проблемой, а только вопросом научно-исторического исследования. Именно так подходил он к ней в XI гл. „исторических писем“ („Национальности в истории“), и, как ни значительны были изменения, внесенные в эту книгу для 2-го издания (в 90 годах), принципиальная постановка вопроса в ней не изменилась. Лавров совершенно не признавал, что вопросы национального самоопределения, столь усиленно дебатировавшиеся в социалистической среде с 70—80 годов, внесли что-либо по существу новое в социалистическую идеологию. „Есть только люди и общие всем цели“. Разумеется, всякий отдельный человек имеет право отстаивать право своего языка и культурных особенностей, но за призывом к „освобождению угнетенных народностей“ Лаврову неизменно виделся опасный призрак расовой вражды и объединения трудящихся с эксплуататорами по „отживающему“ национальному принципу. Сближение наций, разумеется, сближение свободное, казалось Лаврову главной задачей. Нельзя отрицать, что в этом отношении Лавров был догматиком, не расслышавшим существенных нот в „музыках эпохи“, что оживление борьбы за национальное самоопределение среди самых социалистических партий принесло им и некоторые полезные результаты. Но все же теперь, когда после мировой войны раскрылась и вся обратная сторона медали, когда национально-самоопределявшийся период II Интернационала привел нас к зрелищу социально-патриотических экспесов, нельзя не оценить положительно зоркость и твердость Лаврова в этом вопросе. Особенно она сказывалась в статьях о балканских событиях 1875 г.г. на которых еще остановлюсь ниже. В конце „программы“ он еще

*

раз повторяет эти идеи, в применении к славянскому и польскому вопросам.

Переходя к русским задачам, Лавров почти без аргументации принимает основное допущение народников: аналогию между положением пролетариата на Западе и крестьянства в России, аналогию между солидаризирующей ролью капиталистической концентрации для первого и... общинного землевладения для второго, как почвы социалистической пропаганды. В этом вопросе Лавров просто подчинился господствующему среди русских мнению и ничего своего не вносил. Надо только отметить, что объяснялось это, в первую очередь, его верою в близость социальной революции на Западе и практической необходимостью единовременной ее подготовки в России. Надо организоваться на наличном материале. Вспомним, что и Маркс и Энгельс высказывали (даже в 80-х годах) аналогичные мысли. Когда Лавров возлагает надежды на международное революционное движение, которое не позволяет европейским монархам усмирять русскую революцию, и наоборот,— он опять неожиданно является пророком наших дней (об этом подробно ниже). Зато вопрос о подготовке и осуществлении народной революции в России дает ему повод настаивать на ее органическом характере, критиковать попытки искусственного возбуждения, развивать излюбленные мысли о „подготовке“ народа и „доверии“ его к интеллигенции, которая обязана „не навязывать народу свои идеи“, но уяснить его истинные потребности. В этом пункте Лавров опять внес в изложенные программы много личного, как и в вопрос о „легализме“. Последний пункт и послужил вскоре главной мишенью нападок Ткачева. Решительно отвергая, и легализм, в смысле признания „законных прав“ Российской империи, и легализм более решительных конституционалистов, мечтавших о захвате власти „органами общественного управления“ (земства, земский собор), Лавров склонен принципиально допускать использование легальных путей и положений для „сближения“ с народом и „содействия“ будущему перевороту, хотя и скептически относится к подобным возможностям, подчеркивая опасность самообмана и двусмысленных положений в таких ролях. В сущности в этих словах Лавров защищал свою смутную мечту о минимуме насилий в революции, надежду на бескровный и мирный народный переворот, на стороне которого всегда были его симпатии, хотя он и сознавал почти полную неосуществимость такого пути. В ягучем вопросе о средствах борьбы программа дает удачную в общем форму (стр. 5): цель определяет средства, „оправдывает“ их все, кроме тех, которые подрывают самую цель. Но, конечно, конкретное раскрытие этой формулы должно было постоянно вызывать споры.

III.

Мы умышленно остановились так подробно на статье „Наша программа“, в виду того, что высказанные в ней положения действительно определили дух журнала в целом. Имея их все время в виду, нам легче теперь будет характеризовать отношение Лаврова к отдельным конкретным вопросам. В том

же I томе „обозрения“ Лавровым написаны еще две основных статьи, которые очень отчетливо показывают, как далеко шла его солидарность с революционной непримиримостью большинства товарищей, и как, все же, определена была грань, его от этих товарищей отделявшая. Это 1) „юбилейная“ статья о 1773 году и 2) „Знание и революция“.

„1773 — 1873“ — одна из самых блестящих статей Лаврова и как социолога, и как публициста. Стройность всей композиции, образный язык, неподдельный пафос веры в научную истину своих прогнозов проникают эту статью и позволяют нам причислить ее к немногочисленным „победам“ Лаврова — писателя, в то время, как обычно форма оказывается у него не в ладу с содержанием. Подзаголовок „в память столетия Пугачевщины“, данный этой статье в выпущенном тогда же отдельном ее издании, несколько суживает ее содержание и затемняет дерзкую оригинальность замысла. Статья посвящена не только столетию Пугачевщины, но именно юбилейно-поучительному смыслу 1773 года вообще: точнее, сопоставлению двух событий, ознаменовавших этот год — начала северо-американской борьбы за независимость и начала пугачевского восстания. Сопоставление очень эффектное: одно из событий вызывает „радостные воспоминания“ и „симпатию“ большинства историков, другое „возмущение“ и „горькую мысль“ у того же большинства. Одно уже признано началом „блестящего периода истории человечества“, другое кажется каким-то болезненным припадком бешенства, „оргией животных инстинктов“, или вызывает (у побежденных масс) только бесплодную грезу о несбыточном. А между тем оба события близки по существу; первый шаг американцев, выбрасывавших в море тюки неоплаченного английской податью чая, был по существу тоже „беззаконием, грабежом и насилием“, был столь же антилегален и анти-государственен, как акт Пугачева, поднявшего против Екатерины свое „белое знамя с осьмиконечным раскольничьим крестом“. Можно даже сказать, что действия американцев были еще доразвешнее, ибо они открыто нарушали „либеральнейшую в мире английскую конституцию“, а Пугачев поднимался снизу против государства, основанного на сплошном лично-сословном произволе, только словесно прикрытом „просвещенными“ ловутгами Наказа Екатерины. Мало того, для большинства современников первые шаги американской революции могли казаться столь же незначительным событием, как бунт Пугачева. Лавров блестяще пользуется этим примером, чтобы развить одно из излюбленных обобщений своей философии истории: мысль об относительности критериев „важности“ исторических событий, в сравнительной оценке их современниками и потомками, о постепенном нарастании этой значительности, в зависимости от иногда очень отдаленных последствий и резонансов каждого события. Северо-американская революция оказалась, вместе с продолжившей и яснее раскрывшей ее традицию революцией французской, действительно величайшим событием своей эпохи; жизненных воздействий этого события хватило почти на сто лет. Но зато теперь нам ясно, что этот период заканчивается что заслуги американцев есть заслуги славного прошедшего, что нынешние

недостойные квази-продолжатели их дела ничего уже дать не в силах. Напротив, дело Пугачева было бессильно и уродливо тогда, но было великим знаменем будущего. Сейчас (в 1873 г.) память о нем нужнее, ибо только она даст уроки для этого будущего.

Вся дальнейшая очень сжатая, живая, блестящая характеристика двух движений дана под рубриками: Прошедшее и Будущее. Прошедшее, это — революции по книжно-юридическим программам, совершаемые под руководством группы избранного меньшинства, из интеллигенции и буржуазии, с блестящими героями и стройным законодательством, революции по преимуществу идейные, государственно-правовые, воплощающие замысел нового устройства с преобладанием созидательных элементов. Будущее, это — революции массовые, народные, социальные, рожденные „порывом накипевших страданий“, стихийные и беспощадно-разрушительные. Первые ныне истерпали себя, потому что в красивых замыслах о будущем устройстве их вожди игнорировали упорно один вопрос — вопрос социально-экономический, а этот вопрос оказался всем. За Пугачевым народ пошел не из-за „старой веры“, не по причине его „самозванства“, он шел „за землю и волю“, „за дешевую соль“ и „истребление помещиков“. Пугачев был побежден, потому что был невежествен и не умел энергично организовать победу. Пугачевщина была жестока, и Лавров выражал надежду, что новая народная революция будет милосерднее и разумнее в проявлениях мести, но он не боялся и посмотреть в глаза возможности повторения „ужасов“ и признать их роковую историческую оправданность (вплоть до случайной гибели неповинных). Надо сознать, что старое безнадежно прогнило, что буржуазный путь исчерпал себя, и другого выхода, кроме народной революции, нет. Конечно, некоторые исторические аналогии этой статьи очень рискованны. Американская революция во многом была по духу ближе английской революции XVII века, чем революции французской (недаром противником последней был и сам Вашингтон); во французской революции социальный вопрос был уже поставлен куда шире, чем в Пугачевщине. Реакционных элементов в Пугачевщине было, не по знаменю только, но и по существу, очень много, и сравнение ее с революцией пролетариата очень натянуто. Но основной вопрос об очередном, центральном выдвигании социальных задач, как единственной „грамоте“ революции наших дней, о необходимости ее принять, если хочешь идти в ногу с веком, поставлен изумительно метко и верно, при чем сделаны все выводы, столь трудные, для многих и многих донныне.

Некоторая идеализация Пугачевщины сблизила Лаврова с Бакуниным, но лишь для того, чтобы сразу отбросить их друг от друга. Для бакунинского анархизма и народный характер бунта был единственным признаком его „правды“. Лавров же не увлекался иррациональным пафосом такого проявления „общей воли трудящихся“, он требовал рациональной научной программы для бунта. Именно эту сторону философского созидательного замысла ценит он в политических революциях и требует, чтобы революция пролетариата приняла целиком их программы, коренным образом

перестроив их, в зависимости от поставленного в центр вопроса социального. Но, если так, революция оказывается тесно связанной с задачей построения научной социологии и с просвещением масс последними выводами цельного и свободного научного знания. Здесь-то и произошел решительный разрыв Лаврова с „апостолами разрушения“; манифестом этого разрыва была статья „Знание и революция“.

Статья эта снабжена подзаголовком „из письма к...“; мы знаем, что в основе ее лежат личные споры и личная переписка Лаврова с некоторыми представителями противоположной точки зрения. Как бы ни были наивны и грубы аргументы того бакуниста, которому Лавров отвечает в данной статье, дело, конечно, нельзя свести к столкновению „разумного“ учителя с „нечувствительными“ и слишком горячими „мальчишками“-учениками. В книге Богучарского приведены обширные цитаты из письма Степняка-Кравчинского к Лаврову, письма гораздо позднейшего (уже 1876 г. перед самым „парижским съездом“, ликвидировавшим эпоху лавровского главенства во „Вперед“). В этом письме очень метко указано на готовность Лаврова „уступить то, что касается личного убеждения, если... это не убеждение партии“, и на отсутствии у самого Лаврова „революционного инстинкта“. А ведь в 1876 году, Лавров уже во многом „уступил“ натиску молодежи, да и сам Кравчинский вовсе не был самым „отчаянным“ из анархистов-бакунинцев (вся позднейшая его эволюция в сторону признания борьбы за политическую свободу прошла довольно органически, безболезненно). По существу, и в 1873 и в 1876 году, Лавров и его корреспонденты из молодежи воплощали собою два совершенно разных замысла революции: революцию по плану-программе и стихийный бунт, лишь ускоримый агитаторами. Для Лаврова революция именно не есть бунт. Не та разница между бунтом и революцией, что первый кончается неудачей, а вторая победой (а именно так ставил вопрос Бакунин), а та, что в бунте всем руководит инстинкт, а в революции сознание. Конечно, Лавров прекрасно сознавал ограниченность старого рационализма, но он верил в новую фазу сознания, в новую целостную науку, которая не только глубже анализирует социальный процесс, но и учит человека управлять этим процессом, так же как неразумно-стихийной стороной отдельного индивидуума. Управление это достигается не отрицанием и „обузданием“ страстей, а разумным их регулированием, так что в результате и личность, и общество живут полной жизнью, без опасности сорваться в хаос. Это — постоянная, идеальная цель Лаврова и в этике, и в политике. Цель поставлена им очень ясно и чутко, но всякий раз, как он пытается развить ее подробнее и приложить к практике, он роковым образом сбивается на усовершенствованный, расширенный, подчищенный, но все же кабинетный рационализм. Здесь действовала какая-то роковая особенность его натуры и эпохи; прочно закоренные привычки жизнеощущения упорно тормозили воплощение теоретически осознанных истин. В этом отношении Лавров — шестидесятник, просветитель, еще больше пожалуй, чем Чернышевский (которому самый материализм кое-что помогал понять в сфере инстинктов). Не только Михайловский,

Маркс, Плеханов, но и Герцен, и Црудон больше знали о тех тайнах жизни масс, которые для Лаврова остались навсегда закрытой книгой. Наука есть для Лаврова единственный путь к пробуждению масс, и революция есть научная задача. В письме о знании он настойчиво убеждает противников понять, как важно научное понимание причин и следствий народного движения для достижения им прочных результатов, как необходимы серьезные, а не поверхностные знания революционеру, и в подготовительном периоде, и в момент переворота, и при управлении будущим государством. Лавров приводит яркие примеры из истории с целью показать, что победа врагов знания всегда вредна. Дуалисты-альбигойцы представляются ему с этой точки зрения спаснее победивших их католиков, победа иррационально обоснованного лютеранства в XVI в. задержала критическую мысль; только „сознательные“ революции северо-американцев и англичан (в 1688 году) были вполне успешны; французская революция сорвалась на фантазирующем утопизме философов. Чувствуя, что аргументация, требующая от революционеров научной подготовки, чем-то существенно грешит, Лавров всячески старается ее смягчить, подчеркивает, что подготовка нужна только тем, кому сейчас доступна, т. е. революционерам из интеллигенции (а народ уж от них узнает все), напирает на этическую недобросовестность верхоглядства и невежественной агитации, на непрактичность пропаганды, недопой людьми без научного багажа, людьми, которых сумеет уличить в ошибках не только любой полубразованный представитель господствующих классов, но и смекалистый, чуткий к фальши крестьянин. Во всем этом много правды и ценных указаний, но преувеличенные представления Лаврова о революции по плану резко бросаются в глаза. Особенно потому, что дело идет о революции социальной. Ведь приводимые Лавровым примеры удачных, сознательных революций чисто политические и буржуазные. Сам же Лавров отнес к славному, но уже мертвому прошлому заветы северо-американской и французской революций, а уж низвержение Стюартов в 1688 г. прямо напрашивается на аналогию с Июльской революцией 1830 года, о которой Лавров даже и не упоминает, так как она ошельмована „буржуазностью“ и в его глазах. А что если в социальной революции инстинкт неизбежно играет руководящую роль? Позднейшее развитие марксизма указало на иное понимание силы разумных и инстинктивных элементов в революции, и как бы к этому ни относиться (автор этих строк не марксист), одного — несомненного научного преимущества нельзя за новыми ответами не признавать: дилемма „инстинкт или разум? —, „нудным однообразием всплывающая в полемике лавризма и бакунизма, сдвигается этим решением с мертвой точки; рационалистический идеализм преодолевается, открываются новые перспективы. Лавров же никак не мог отказаться от замысла регулировать жизнь из кабинета. В результате, — чем дальше шла полемика, тем резче разверзалась бездна между противниками.

Характерно в этом отношении продолжение статьи „Знание и революция“ (уже в томе III „Обозрения“), кстати сказать, почему-то не пере-

печатанное в отдельном издании этой статьи, в форме брошюры, выпущенном в свет в России в 1906 г. (над-во „Молодая Россия“). Этот „ответ на разные критики“, преимущественно имеет в виду аргументы того „Письма из Петербурга“, которое напечатано прямо перед ним в том же томе „Вперед“. Спор здесь значительно обостряется. Правоверные бакунисты уже заговорили о том, что знание есть тоже своего рода монополия. Перед Лавровым поднимался призрак учения об умственной нивелировке личностей, во имя равенства и „народности“. Это взорвало апостола критической мысли, и он обрушился на противника со всем пафосом человека, защищающего заветную святыню. Он удачно перевел вопрос в плоскость личного развития пропагандистов, указывая, что только неуклонная работа над собою и самостоятельность мышления делают их подлинно представителями нового мира, сильно вооруженными против всех врагов и опасностей. Лавров бичует духовную лень и косность мысли тех, которые боятся будней книжного и практического труда на пути подготовки к революционной деятельности, тех, которые хотят обратить эту деятельность в сплошной героический праздник и легкую забаву. „Мне тяжело говорить даже с небольшой группой русской молодежи о предмете, о котором я не смог бы обратиться с речью к собранию бельгийских угольщиков или саксонских ткачей, потому что они оскорбились бы предположением, что они не хотят знания, не считают его нужным“, говорит Лавров и далее импровизирует язвительную, обличающую речь от лица западного пролетария к русским скифам-недоучкам. Все это было услышано в свое время и принесло большую пользу, далеко за пределами узкого кружка „лавристов“. Но, оглядываясь теперь на эту полемику, как на завершившийся исторический фазис русского движения, мы не можем не заметить, что аргументы Лаврова были гораздо дальше, чем он хотел. Отрицая возможность „эпидемии книгоедства“ среди молодежи, горячо защищая невозможность знания стать монополией по существу, его всеисцеляющую силу против лицемерия, индифферентизма, корысти, Лавров усиленно подчеркивает, что рассматривает знание только, как орудие революции. Да, он так его и рассматривал в данном споре, но не вообще, конечно. Вообще знание ему было, конечно, гораздо дороже революции: и революция и самый социализм были для него лишь средствами, орудиями для водворения царства знания, царства развитых и свободных личностей. Конечно, эти личности не „книгоеды“, знание включает и новую этику, о которой говорил Лавров и здесь и, еще ярче, в полемике с Ткачевым. Но для молодежи — противников Лаврова — осталось органически непонятно это превознесение задач рационально-созидательных над „волевыми“ и разрушительными

IV.

Основную идею всей борьбы Лаврова за социализм и социалистическую революцию можно формулировать так. Социализм был для него наилучше научно (и этически) обоснованным, исторически-очередным идеалом-этапом в восхождении человеческой личности к полноте гармонического развития и

свободной солидарности человечества. Именно такой идеал разворачивается перед читателем, как итог „разговора последовательных людей“ о том „Кому принадлежит будущее“. Это произведение Лаврова впервые появилось во II томе „Вперед“, а впоследствии несколько раз перенадано и за границу, и в России. Мне лично не раз уже приходилось его характеризовать, оценивая соотношение „мертвых“ и „живых“ его элементов¹⁾. Диалог этот — произведение совершенно самостоятельное и для нашей нынешней цели — характеристики Лаврова, как руководителя журнала, на страницах которого оно случайно появилось впервые, разбирать его подробно нет надобности. Отмечу лишь, что это одно из лучших произведений Лаврова по форме и вообще одно из лучших популярных изложений идеи социализма. Но именно на фоне общей удач этого произведения резче выступают те его недостатки, которые являются не случайными, но органическими следствиями, догматической позиции Лаврова вообще и неестественности его положения в роли обязательного выразителя кружковых мнений, в особенности. Интересно задуманная диалогическая форма скоро теряет свою действенность, так как каждый из „последовательных“ произносит лишь по одной, непомерно длинной и искусственно стройной речи, и мы совершенно не видим живых прений между ними. Только в конце, перед речью „русской“, они прорываются. Эта последняя речь должна дать синтез и поправки к предшествующему. Уже самая мысль о том, что русский интеллигент (самая внешность его и манеры, во всей „преходящей“ их особенности, зарисованы так же хорошо, как и фигуры прочих собеседников) может, не только с национальной местной, но и с общей точки зрения чем-то поправить Бабефа — пролетария²⁾. Мысль, конечно, не только вовсе не марксистская, но даже кабинетно-идеалистическая, не без привкуса своеобразного мессианства. Но еще характернее, что, возложив на „русского“ такую синтетическую задачу, Лавров не решился развернуть ее целиком. В сущности поправки „русского“ сводятся только к большему выдвиганию связи социализма с развитием личности и научной мысли, да еще к предостережению о реальной опасности „крестового похода против науки“, со стороны одураченных „Инквизитором“-клерикалом масс, если ученые, подобные „Профессору“ забудут о жизни народа. А между тем аргументы остальных „последовательных“ построены настолько четко и страстно, что читатель невольно видит у каждого из них какие-то искажения истинных в основе мыслей, мыслей, которые не мог не передумывать по многу раз и сам Лавров. „Русский“ не хочет даже, например, говорить о религии как реальной силе, хотя его позднейшая оговорка о необходимости считаться с возможным „крестовым походом“ этому прямо противоречит.

¹⁾ См. мои статьи в сборнике „П. И. Лавров“ и вступление к сборнику лавровских „Этюдов по западной литературе“ („Взгляды Лаврова на литературу и эстетику“). Обе книги в изд-ве „Голос“ (1922 и 1923).

²⁾ Кстати сказать, и Бабеф напрасно сделан вполне научным марксистом. Для французского социалиста 70-х годов характернее были бы другого типа аргументы (более эмоциональные и „утопические“).

Религия, конечно, вообще была действительно чужда Лаврову (хотя в „Опыте истории мысли“ он и о ней судит — несколько иначе), но вот уже об искусстве этого никак нельзя сказать. Рассуждения Джулио о власти чистой формы, конечно, сектантски и абсурдны, но ведь и предсказания Профессора об упразднении искусства явно карикатурны. А „русский“ ни одним словом не заступился за искусство, не выдвинул его значения для обновления мира в будущем строе. Не так мыслил Лавров, автор замечательной статьи о „Лаокооне“ Лессинга в 60-х годах, да и позже, но очевидно ему не хотелось тут спорить о „личной точке зрения“. И вот в угоду божеству „общетоварищеских мнений“, он мимоходом почти отрицает право искусства на самостоятельное существование. Не менее существенно недоразумение с государством. Легко спорить с таким апостолом полицейской государственности, как (преlestный по пародийности) Барон, но поставьте вместо его бреда об универсальном механическом шпионаже за подданными, аргументы любого „буржуазного“ приста, и спорить придется несколько внимательнее. „Русский“ отбрасывает вопрос о государстве, потому что самодержавие приучило его зорко различать деспотизм и в полу-прикрытых европейских формах, но такое упрощенное решение можно ведь объяснить и той слабостью нашего правосознания, о которой позднее с горечью писали те же русские революционеры. Кроме того, государство Барона такая машинка, которая может вредить, в чьи бы руки она ни попала. Конечно, только злейшие враги социализма могут изображать по такому образцу государство социалистическое, самый дух борьбы за права личности и народа, проникающий всякий живой социализм, гарантирует его сторонников от увлечения полицейщиной, но считаться с этим соблазном и предостерегать от него, конечно, нужно и должно. И мы не можем утверждать, что Лавров никогда не задумывался над этой проблемой (полемика его с тчаевцами-якобинцами как раз касается близких тем). Дело в том, что диалог о будущем написан со свежим подъемом веры в скорый успех. Скепсис Лаврова скрыт в одной лишь заключительной формуле: будущее не принадлежит никому, но может принадлежать союзу труда и науки, если и их сторонники не наделают таких-то ошибок и т. д. Отрицание абсолютного исторического прогноза — характерная черта философии истории Лаврова: он всегда допускал „неожиданности“ в будущем, и исторический процесс, конечно, представлялся ему не спором „последовательных“, а пестрой борьбой сил, в которой иной раз отдельные группы и партии защищают комплексы взаимно-противоречивых лозунгов.

Одно было Лаврову однако ясно: в данном фазисе исторического развития центральной проблемой является борьба труда и капитала, которая может быть решена только революцией. Таким образом в России борьба трудящихся и самодержавной власти допускает только революционное решение, при чем грядущая русская революция неизбежно будет не только политической, но и социальной. На этой задаче должны быть сосредоточены все силы, и всякий, кто проходит мимо этого дела, есть „потерянная“ для революции сила, всегда способная обратиться во враждебную. В том же II томе „Вперед“

особая статья написана как обращение, пытающееся вернуть революции такие потерянные силы. В ней Лавров обращается к скептику, не верящему в скорый успех революции, к легалисту, отрицающему путь насилия и возлагающему надежды лишь на просвещение народа, на постепенную культурно-реформаторскую работу. Лавров старался доказать неисполнимость таких планов так как подобная работа все равно будет задавлена правительством в самом начале, и „соблазненные“ ее возможностью юноши только горше разочаруются в своих планах, не получив взамен бодрой веры в революцию. Всякая же попытка еще строже приспособляться к легальным формам русской жизни, чтобы отвести от себя гонения со стороны правительства, приведет только к лицемерию или пошлому приспособлению к среде. Длинная статья эта местами убедительна и остроумна, но написана она без всякого пафоса, сухо и бледно. Чувствуется, что, вероятно, ее продиктовали Лаврову-редактору соображения дипломатические, необходимость резко отмежеваться от „легалистов“, в полном слиянии с которым по духу как раз в это же время (1874 г.) обвиняет его Ткачев. Конечно, Лавров искренно не верил в успех мирно-культурной работы в России, его личная судьба, как ученого, выброшенного в революционный лагерь силой вещей, была достаточно убедительна. Не верил он (как увидим дальше) и в силу русского политического либерализма, который к тому же представлялся ему осужденным на неудачу и вырождение общими условиями эпохи, уже антибуржуазной и социалистической по творческим возможностям. Впоследствии в „Народниках-пропагандистах“ он писал, что „Вперед“ даже преувеличил политическую жизнеспособность русских либералов. И все же чувствуется, что борьбу с таким противником Лавров ведет как-то нехотя, что он — революционер по разуму и чувству долга, но не по самому складу своей натуры, что его психологически огорчает и угнетает эта безвыходность положения России, что иногда ему очень хотелось бы оказаться неправым и найти среди „легалистов“ хоть одну сильную кучку честных, последовательных союзников¹⁾.

Совершенно в ином тоне писал Лавров, когда замечал опасные симптомы среди „своих“, когда кто-либо из революционеров, воображая себя искренним сотрудником революционного дела, наносил ему вред, проводя в жизнь ложные принципы программы и тактики. Громадное большинство таких выступлений Лаврова осталось устным, и при том не вышло за пределы частных (в редакции, в каком-либо комитете) речей-протестов, так как Лавров считал величайшим преступлением против товарищеской этики и дисциплины выносить эти распри во-вне, перед лицом врага. Может быть современем, из переписки и мемуаров людей ему лично близких, мы больше

¹⁾ Один, близкий мне лично, наблюдательный человек (ниж.-техн. Ос. Гр. Флекель — ныне уже покойный) передавал интересный разговор свой с Лавровым в 80-х годах. Лавров негодовал на трусость и беспринципность умеренных либералов „не сумевших поддержать“ Лорис-Меликова. Выходило так, что это „их“ дело, такое же естественное, как для „нас“ (революционеров) резко критиковать того же Лорис-Меликова. И действуя „они“ как граждане, вышло бы толку больше.

узнаем о подобных выступлениях. Выше мы видели, как мягко пожурил он апостолов революционного невежества из бакуинцев. Гораздо серьезнее было его столкновение с Ткачевым. Это был единственный случай во всей жизни Лаврова, когда он вынужден был выступить с отдельной, чисто-полемической, брошюрой против товарища-революционера. Иначе поступить действительно нельзя было. Брошюра Ткачева „Задачи социально-революционной пропаганды в России“ была прямым вызовом и журналу „Вперед“ и памфлетом лично на Лаврова. Она посеяла в умах великую смуту. Лавров отодвинул свою личность далеко на второй план перед делом. Ткачев рассказал между прочим совершенно фантастическую литературную биографию Лаврова, будто бы бывшего всегда умереннейшим сотрудником „революционных“ журналов, высланного перепуганным (после 4 апреля 1866 г.) правительством лишь „по глупости“, и наконец, по какому-то стариковскому капризу (чуть ли не из личного карьеризма) вдруг взявшего на себя роль ментора — редактора „Вперед“. Лавров ни словом не опровергал этот вздор. Брошюра его „Русской социально-революционной молодежи“ издана даже не под личным именем, а просто от лица редактора журнала „Вперед“. Весь вопрос поставлен чисто-принципиально: может ли путь, на который зовет Ткачев, помочь революции. В центре — протест этический: готовность Ткачева допустить ложь и обман в приемах агитации в народе, деспотизм и рабство во взаимоотношениях товарищей, по социалистической организации, — вся эта злоедающая реставрация ткачевских приемов больше всего возмутила Лаврова. Возмутили его и те явно демагогические, при том играющие на самых хищных и жадных, чисто-эгоистических, инстинктах толпы приемы, как мя Ткачев попробовал обрисовать светлое, после-революционное будущее русского крестьянина, в одной из статей, предназначавшихся для „Вперед“. Статья эта и послужила последней каплей, вызвавшей разрыв между редакцией и Ткачевым, после чего вскоре появилась его брошюра. Лавров считал себя в праве процитировать эту заброшенную статью, в своем ответе, как документ, оглашенный „при свидетелях“, и повторил позже эту, действительно убийственную для Ткачева, цитату, в своем историческом отчете потомству — в III главе книги „Народники-пропагандисты“. Действительно трудно и злейшему врагу революции придумать более грубую пародию на ее цели, чем разухабистая статейка Ткачева, где описывалась „развеселая жизнь“ будущего мужика с „золотыми червонцами в кармане“, с пирогами и винами, круглый день на столе. „И ел бы и пил бы он, сколько в брюхо влезет, а работал бы столько, сколько сам захочет, и никто бы ни в чем неволивать его не смел: хоть — ешь, хоть — на печи лежи... Распречудесное житье!“

Достаточно просто положить, рядом с этим, и сравнить самым поверхностным образом, любую страницу „примечаний“ Лаврова в книге Цезаря де-Палла или передовицу лондонской газеты „Вперед“, чтобы сразу понять пропасть между этими двумя людьми. Социалистический идеал Лаврова не только насквозь идеалистичен, но даже, несмотря на индивидуалистическое обоснование, несколько аскетичен; личность отдает „человечеству“ все свои

силы, получая в обмен лишь „необходимое“. А тут даже и о социализме-то самом помину нет, просто картина богатого мужицкого царства, без всякой работы. Конечно, это — агитационный прием, но именно из таких, какие Лавров сызмала признавал недопустимыми. Однако, дело не только в приемах и lapsus-ах Ткачева-агитатора.

Самая задача, самый метод революции по Ткачеву были совершенно иными, чем у Лаврова. Прежде всего Ткачев почти начисто отрицал „подготовительную“ пропаганду, он звал прямо „делать революцию“, „поднимать бунт“. В этом он как будто бы сходил с Бакуниным, но лишь затем, чтобы резко разойтись на следующем шаге. Вернее говоря, он проводил последовательно то, что у Бакунина прорывалось помимо воли. Как известно, анархисты, в особенности русские анархисты тех лет, часто бывали величайшими деспотами в организации своих собственных партийно-групповых сил. Условия подпольной, боевой работы требовали дисциплины и „принципиальное“ отрицание власти приводило, в такой обстановке, просто к расхлябанности, к личному произволу. Эту опасность хорошо понял Ткачев, и в этом, несмотря на все его ошибки и невольную антипатию, вызываемую его личностью (во многом скорее жертвою неудачной жизни и изломанного характера) в этом призыве к дисциплине и сильной организационной власти, мы должны признать его серьезную заслугу перед революционным движением. Конспиративно-организаторские дарования „набатчиков“ перешли в „Народную Волю“, а вместе с ними перешла и впервые ими ясно осознанная идея очередной задачи русского движения — политической борьбы с самодержавием. Эту идею в 70-х годах упорно не хотел признать Лавров, и в этом отношении Ткачев неожиданно оказался зорче. Но вместе с вышеуказанными двумя основными здоровыми идеями в Ткачеве сидел дух нечаевщины, своеобразно искажавший все высказываемые им истины и превращавший их в зловещую ложь. Недаром вместе с „якобинством“ в „Народную Волю“ — да пожалуй и дальше — перешли от Ткачева (через его духовных детей — М. Опанину, а отчасти и Л. Тихомирова) и диктаторские замашки, и та не товарищеская атмосфера интриг и взаимной конспирации, которые переплетаясь в период разложения 80-х гг. с аналогичной „чигиринской“ традицией, порождали и фракционный раздор с Плехановым, и „взрывные“ планы Стефановича, и все эти темные страницы в истории народофильства, увенчавшиеся дегзевщиной и ренегатством Тихомирова.

Вот эту-то опасность зорко понял Лавров. Интересно отметить, что он сумел одновременно повести атаку на два столь казалось бы противоречивые лозунга Ткачева, как политическая революция и диктатура. С одной стороны Лавров остерегает от увлечения идеею только политической революции, которая может увлечь социалистов в союз со сторонниками дворцовых и буржуазных переворотов. В этом Лавров остается последовательным социалистом, не обольщаясь иллюзиями свобод и легальности и даже сбиваясь подчас на бакунинский аполитичный утопизм. Но зато Лавров оказывается подлинным народником и „демократом“, поскольку

он нападает на якобинскую идею диктатуры кружка или партии ¹⁾. Конечно, и в этом пункте Лавров иногда недооценивает значение сильной революционной власти (впрочем, для „переходного периода“ он ее всегда допускал), но общий дух его возражений остается и доныне весьма поучителен. Идеал Лаврова — народная революция, партия для него смеет много лишь тогда, когда она действительно ощущает свою связь со всенародной волей. Бунтарство, обреченное на гибель по несвоевременности, преступно перед народом. Говорить „мы не можем ждать“ революционеры не имеют права если может ждать народ. Ткачев демагогически рисовал образ Христа на Голгофе, как символ народа-страдальца, которого надо снять с креста силой, не дожидаясь, пока он истечет кровью. В ответ на это Лавров, пользуясь тем же мифическим образом, говорит, что революционеры могут только побудить народ сойти с креста и вырвать его крест из земли, ибо без него они только „разгонят стражу“, передерутся между собою за власть, а мученик будет попрежнему истекать кровью на кресте.

Только связь с народом создавала в глазах Лаврова этический пафос всей революции. По отношению к врагам, он допускал, по необходимости, и насилие и ложь, по отношению к народу и товарищам он не допускал этого никогда. Надо строить из пропагандистов и создаваемых ими народных кадров ячею нового мира. Поэтому социалист на суде должен выявлять себя, как сторонник этого нового мира, жертвуя, если понадобится, и жизнью и свободой, все равно его положение перед „легальными“ скорпионами власти по большей части безнадежно. Социалист должен быть честен в приемах агитации и пропаганды, смотреть на крестьян не как на „объекты“ ее, а как на товарищей, и приобретать их доверие, разумеется, соблюдая осторожность вначале. Социалист должен быть честен и в семье, и во всех личных отношениях; надо или рвать все личные связи и жить аскетом-героем, или закрепить эти связи честно и открыто в своей же товарищеской среде. Таковы уроки, которые выводил Лавров из процесса 1874 г. („Вперед“ т. III), ознаменовавшегося печальными недоразумениями с показаниями жены Долгушина и крестьянина Васильева, двусмысленными речами адвокатов, непоследовательным поведением отдельных подсудимых. И Лавров радостно приветствовал поведение следующих крупных „политических“ Дьякова и Сирякова, более смело и отчетливо защищавших свои позиции (газета „Вперед“ № 15).

Этика была для Лаврова частью „научного“ миросозерцания, и этический пафос социализма совпадал с его научным пафосом. В очерках „Из истории социальных учений“ („Вперед“ т. II — III, ср. отд. изд. Т-ва „Колос“ П. 1919) Лавров противопоставляет современный научный социализм (гл. III) не только религиозным и политически-метафизическим утопиям (гл. I — II), но и наукообразным построениям тех античных и новых философов (гл. IV — V), которые недостаточно оценили идею достоинства личности в своих

¹⁾ Вопрос о диктатуре пролетариата, поставленный впоследствии на очередь марксизмом, остался совершенно в стороне от этого спора.

утопиях будущего, увлекаясь исключительно идеей механической солидарности и грубо-житейского благополучия.

V.

С января 1875 г. начала выходить в Лондоне двухнедельная газета „Вперед“, предположительно только дополнявшая журнал, но на деле его почти заменившая. Главным вкладом Лаврова в работу этой газеты, заполнявшейся вообще гораздо большим количеством русских корреспонденций, чем соответствующие отделы журнала в 1873—4 г. г., были передовые статьи. Сначала они были очень кратки (не более 2—3 полных столбцов) и, вероятно, составлялись коллективно. Но уже в первых №№ в них виден руководящий тон Лаврова, его любимые идеи. Новогодняя статья в № 1 рисует картину всеобщей социалистической борьбы, на фоне вырождения и упадка остальных сил буржуазного общества. Эта же идея еще ярче выражена в № 4, передовица которого (Политическое безлюдье) проводит идею о невозможности в настоящее время появления талантливых чисто-политических и национальных вождей (одинокий, разочарованный Гарibaldi — последний из них). Наступил фазис „чисто социальных революций“. Эта мысль впоследствии была подробнее развита Лавровым в последних главах его предсмертной книги „Задачи понимания истории“ (1898). Тем более бессильны „Русские либералы и консерваторы“ (передовица № 2), которые не обладают даже элементарным гражданским мужеством и последовательностью классовых врагов социализма на Западе, и, по-разному, строят себе иллюзии о „примирительных“ задачах всероссийского императорства. По сравнению с настоящим рабочим вопросом, вставшим „повсюду“, болтовня русских сановников в роде Валуева, собирающего комиссию по этому вопросу — детская игра и обман (№ 3). Уже передовица № 5 (о коммуне) гораздо больше объемом (так как она является зародышем книги о коммуне, о ней по существу ниже). Начиная же с № 8, передовицы занимают уже по 3—6 полных двухстолбцовых страниц и почти все написаны Лавровым. Несомненно не принадлежит ему только как раз первая из этих больших передовиц (№ 8 — „По санитарному вопросу“), как о том сказано в отчете „За четыре года“ в последнем (48-ом) номере. Автор ее, повидимому, В. Н. Смирнов (он же автор „Солдатчины“ в III т.) и ст. „Революционеры из привилегированной среды“ во II т. „толстого“ обзора, а также ряда обзоров по истории социалистического движения в отдельных странах (гл. II—III „Летописи рабочего движения“). Возможно, что ему же принадлежат передовые № 6 (Современная адвокатура) и № 7 (Ученые агрономы), сходные со статьей „по санитарному вопросу“ по языку и тону¹⁾. Основная их тема — бесплодие частных реформ и попыток помочь народу, любимая тема статей Смирнова вообще, но и Лавров, конечно, вполне разделял эти взгляды. В связи с этим и передовая № 9 (Голодные и сытые) представляется несколько

¹⁾ Другим ближайшим сотрудником „Вперед“ был Н. Г. Кулябко-Корецкий.

сомнительной, Лавров уже в т. II и III „обозрения“ дал отчет о годе, в тех же основных тонах, но язык и построение этой статьи не столь резко выделяют индивидуальную манеру Лаврова. Из всех же дальнейших статей, даже более злободневные, столь запечатлены этой манерой, что очевидно значительно перерабатывались Лавровым, хотя бы вначале и были набросаны другой рукой. Нечего и говорить уже о статьях сколько-нибудь принципиальных, это — просто главы из более обширных трудов Лаврова, несколько заостренные, по направлению к запросам момента. „Академизм“ этих статей (все вырастающих в объеме) особенно бросается в глаза рядом с остальным, чисто газетным, материалом обозрения.

Темы этих передовиц удобнее будет сгруппировать в несколько основных подразделений. Прежде всего отметим, что основная нота, внятая в № 1 (признание социализма единственной силой будущего), развивается на подробном обзоре событий в разных странах в № 24 (декабрь 1875 г.) и получает особое чисто-экономическое обоснование в № 25 („Всемирное банкротство“). Историческая истерзанность либерализма подробно доказывается в передовице № 36 (Юбилейный год), посвященной столетию выхода в свет книг Виллиама Пэна („Век Разума“) и Адама Смита („Богатство народов“), совпадающему со столетием основания северо-американской республики. Статья эта близка к тому, что написана на родственную тему в вышеизложенной статье о Пугачевщине и американской революции, но гораздо подробнее обоснована фактическим материалом, дающим целый очерк истории Соединенных Штатов. Через проблему рабства, расколовшую свободнейшее государство на два враждебных лагеря, Лавров приводит изложение к острой подстановке вопроса, который ныне обнаженнее, чем где-либо выступил в тех же Штатах. Старый путь исчерпан, пора перейти на новый. Политический и экономический либерализм — родные братья, новое же общество должно сызнова пересмотреть весь идеал общежития сверху донизу, а не соединять механически обрывки старых идеалов. Вопрос поставлен так, что даже тот читатель, который разойдется с Лавровым в самых основных пунктах, не может не почувствовать власти этой статьи. этой смелой попытки осознать, что человечество вошло совсем в новую эпоху.

Об этой новой эпохе идет речь и в передовой статье № 13 („Социалистическая и буржуазная нравственность“). Основные идеи ее те же, что в полемике с Ткачевым, но развиты более положительно. Обвинения в безнравственности, часто раздающиеся по адресу социалистов со стороны врагов, дает повод объясниться. На место обветшалой нравственности традиций и легальных форм социализм ставит нравственность сознательной личной солидарности, основанную на бескорыстном служении общему благу и страстной жажде развития. Пока новый мир не осуществился, заповеди этой нравственности приложимы полностью лишь в товарищеской и невраждебной среде, но и по отношению к врагам в борьбе выполняется тот минимум этих требований, без которого разрушалась бы самая основа перевоспитывающих человека привычек. Нравственность по существу, конечно, одна, но нрав-

ственные понятия развиваются: и вот ныне „социалистическая“ нравственность выражает собой высшую ступень этого развития, а так называемая „буржуазная“ мораль, упорно противящаяся требованиям жизни, роковым образом застывает в обряд и разлагается, так как ее заповеди нарушаются тайно теми же лицемерами, которые кричат о ее спасении. Аналогичная судьба постигает и знание (№ 14 — Социалистическая и буржуазная наука). Наука одна, но наука в буржуазном обществе не может проявить себя как организующая жизнь сила, развитие ее тормозится, и она регрессирует. Ведь социализм — для Лаврова — последний итог социальной науки, а буржуазное общество боится принять его выводы. Охраняя себя, оно вынуждено отказываться, например, от выводов антирелигиозного мышления, ибо религия есть одна из основ покорности масс. Ученые не играют в буржуазном обществе никакой жизненной роли, их не допускают управлять жизнью, да в сущности и поделом, ибо это — узкие специалисты, лишенные и философского кругозора и социального идеала. В социалистическом же обществе наука войдет в жизнь, конечно, не как власть отдельной касты ученых, а как всеобщее образование и научная организация борьбы с природой; результаты индивидуальной работы каждого будут открыты общему свободному обсуждению, эксперименты поставлены в обширных размерах, наука как труд и творчество подлинно сольется с жизнью, властно влияя на ее повседневный ход.

Отрицательное отношение Лаврова к религиозным идеалам дает ему повод особо подробно рассмотреть вопрос об отношении социализма к христианству. Это сделано в №№ 23 и 44. В первой статье доказывается, что социалистический идеал не совпадает ни с какою из исторически торжествовавших форм христианства (первоначального общинного, церковного, сектантского и т. д.), так как все они не научны, аффективны, аскетичны и авторитарны, а социализм стремится к земному и свободному счастью всех. Во второй статье Лавров рассматривает разные вариации идеализованного христианского идеала, указывая, что ни аскетизм, ни мораль любви-всепрощения, ни идеал смирения не совместимы с перспективами развития современного рабочего социализма, который освобождает личность для полного счастья здесь и не мирится с врагами, пока не осуществит полностью свою задачу. Но отрицательное отношение к сверх-естественным элементам христианской морали не означает, что социализм ставит на ее место мораль голой борьбы за существование. Напротив, он заканчивает фазис такой борьбы (статья в № 17), ставя на место ее возможность свободного развития для каждого, чем и осуществляется настоящий подбор лучших в человечестве в целом.

Социализм реален сейчас, как интернациональный рабочий социализм (№ 19). Только коллективные усилия трудящихся пролетариев могут осуществить его. Идеи социализма в таком понимании соответствуют и развитию научной мысли, и экономическим тенденциям современного общества, и этическим требованиям личности. Рабочий социализм — единственная сила, которая может вывести современное общество из тупика и спасти цивилиза-

цию от гибели. Сила эта — международная солидарность пролетариев; она упраздняет границы и национальную рознь, а потому современем упразднит войны (№ 10 и др., в связи преимущественно с балканским вопросом). I Интернационал, правда, распался, но вопрос о его возрождении уже поставлен и, несмотря на философскую критику (№ 15) и политические возражения среди самих социалистов (№ 46), идея эта очевидно жизненная. В особом труде о „Государственном элементе в будущем обществе“ („Вперед“ т. IV, п. I) Лавров подробно обосновывает тот синтетический (скорее эклектический) исход, спор, который мог бы по его мнению примирить сторонников Бакунина и Маркса. Принудительное государство — зло, но оно может быть временно сохранено и использовано для целей социализма, отмирая постепенно, в отдельных функциях. Громадное значение придавал Лавров опыту Парижской Коммуны (передовая № 5 и отдельная книга о том же). Она показала, что рабочие могут управлять государством без помощи бюрократов и „государственных людей“ из буржуазии. Ошибка коммуны была именно в том, что она не решилась стать на социалистический путь и объявить открытую войну своим классовым врагам. Она погибла по причине военной неопытности, из-за раздоров между социалистами и отживающими якобинцами-политиками, из-за колебаний между „легальностью“ и случайным произволом, не сумев выработать линию рабочего самоуправляющегося государства. Но опыт ее учтен, и задача поставлена на очередь.

Социалистический переворот готовится повсеместно. Значение России в нем громадно. В настоящее время Россия — питадель старого лагеря, пошатнется колосс самодержавия, и вся европейская реакция потеряет почву под ногами. Вопрос о социальном характере русской революции для Лаврова решается именно ее международной необходимостью. Отвечая на письмо „конституционалиста“ (В. А. Гольцева) в № 21 „Вперед“, Лавров предсказывает момент, когда „против восстания крестьян из Волге, на Двепре, на Урале не будет иметь возможность двинуть свои войска князь Бисмарк, потому что городские рабочие Саксонии, Баварии, Брауншвейга не дозвоят ему сделать это“, и эти слова, столь утопические еще в 1912 году (когда писал о них скептически В. Я. Богучарский), действительно оказались в некоторых отношениях пророческими, по отношению к судьбам русской революции, в ее борьбе на международном фронте. Русским делам посвящено, конечно, громадное большинство передовиц Лаврова. В серии статей (№№ 26 — 29, 31, 39, 40) он развивает целую схему постепенной подготовки этой революции (в связи с общесоциалистической задачей), при чем наряду с наивно-народнической идеализацией общины (№ 27) и известным „математическим“ расчетом возрастающей пропорции распропагандированных (№ 31), высказывает и замечательно зоркие мысли о бессилии „якобинского“ пути, который мог бы только „на бумаге“, а не на деле отменять частную собственность и неизбежно привел бы к возрождению привычек „старого мира“ в группе, захватившей власть, хотя бы она и стояла под сенью „красного знамени“. Именно в устах Лаврова, столь беспощадно разоблачающего иллюзии буржу-

азной легальности, эти слова особенно ценны, ибо он-то уж только во имя самой революции, критиковал идею кружковой диктатуры.

Статьи о войне (№№ 10, 16, 35, 42) и южно-славянском вопросе совершенно определенно отрицают все те уступки „национальным и государственным началам“, которые так соблазнили социалистов к концу века и привели нас к позору мировой бойни. Пусть слова Лаврова иногда наивны, мысль его в основе светла и верна социалистическому методу. Для него есть только два лагеря живых сил, все, кто хочет „обойти“ социализм, фатально бессилен. Таковы русские консерваторы и либералы (№№ 12, 20—22, 30, 38—8), особенно последние, неизбежно поддерживающие эксплуататоров, не желая признать трудящихся и их правду. В русских социалистических процессах (№№ 11, 15, 18, 43) зарождается новый мир на родине, только этот путь спасет русскую молодежь от скепсиса безыдейности и от эпидемии самоубийств (№№ 29, 41). Вот от чего не могла либерала-славянофила (Самарина) и либерала-западника (Андрея Шувалова), но только могла неудачника-народника Щапова, только память и живое слово вождя предшествующих поколений русских социалистов — Герцена (№№ 18—22, 33) могут служить маяками на пути развития России. Доверие между народом и социалистической интеллигенцией создает живую силу революции в России.

Когда перечитываешь теперь статьи Лаврова, оставшегося в общем верным тем же идеям и в 80—90 годах, ясно видишь, что этот, в сущности непартийный по духу и привычкам, человек воплощает лучшие возможности, лучшие заветы самой героической поры международного социализма, эпохи I Интернационала. Оттуда пошли разные дороги и много разочарований, ошибок, открытий ждали на них следующие поколения. Но, обращаясь к этой еще не дифференцированной (и конечно, отчасти утопической) формулировке социалистического идеала, ясно сознаешь, что в ней заключены и зародыши еще не обретенного нами синтеза. Во всяком случае указаны пути к нему, указана неразрывная связь основ социализма с критической мыслью, новой этикой, идеей личного развития и свободы.

Александр Гизетти.

Янв. — февр. 1925 г.

Тайная полиция в „семеновские дни“ 1820 г.

(По неопубликованным материалам Диканьского архива кн. В. П. Кочубей.)

Летом 1919 г. в Полтаву был перевезен из родового имения Диканьки фамильный архив, основателем которого был известный кн. Виктор Павлович Кочубей (1768 — 1834). Диканьский архив принадлежит к числу наиболее ценных и богатых по содержанию частных архивов.

Наибольший интерес, несомненно, имеют документы, относящиеся ко времени, когда В. П. Кочубей во второй раз был министром внутренних дел (1819 — 1825).

Среди этих документов есть такие, которые дают несколько новых данных к истории восстания в Семеновском полку и ярко характеризуют деятельность тайной полиции в октябре — декабре 1820 г. в связи с „Семеновской историей“.

„Восстание“ в Семеновском полку серьезно обеспокоило и даже напугало правительство. В старой литературе существовало мнение, что беспорядки правительственных кругов едва ли были основательными, так как, в действительности, „история“ была обыкновенным военным бунтом, притом весьма скромным по размерам и по характеру.

Революционного настроения среди солдат не видели и, следуя за утверждениями официальных лиц, считали „историю“ неудачным результатом бледной и неумелой агитации молодого офицерства. Были даже попытки представить полковника Шварца как „безвинную жертву“ этой агитации, первая защита Шварца вышла от известной в 60-е годы Александры Осиповны Смирновой - Россети ¹⁾ и потому поддерживалось Катковым в „Русском Вестнике“.

Только В. И. Семеновский ²⁾ впервые высказал уверенность в том, что „солдаты его времени не были овечками“, что революционное настроение среди них росло и крепло и что оно обещало современем быть более глубоким и серьезным, чем среди офицерства.

В настоящее время все материалы, которыми располагает история, позволяют утверждать, что революционное настроение в армии 20-х годов было фактом.

¹⁾ Русск. Архив, 1903, № 2, стр. 279—283.

²⁾ „Волнение в Семеновском полку в 1820 году“, „Былое“, 1907 г. №№ 1, 2, 3.

Теперь едва ли возможно признавать Платона Каратаева за исторически-верный родовой образ русского солдата нач. XIX в. Даже старые свидетельства современников, на которые иногда ссылаются исследователи, отмечали рост революционного настроения солдат после заграничных походов: сами декабристы, отводившие менее чем второстепенное значение солдатским массам в борьбе с царизмом и писавшие свои воспоминания на склоне лет и в эпоху, когда политика власти в значительной степени удовлетворяла их умеренно-радикальным взглядам, иногда бывали принуждены признать несомненный рост „сознательности“ солдатских масс ¹⁾. Европейские походы 1806 — 1814 г.г. сделали свое дело: солдаты не менее офицеров сталкивались лицом к лицу с политической жизнью Западной Европы: бывали на собраниях, на импровизированных уличных митингах, знакомились с основами парламентского строя. А о том, как глубоко эти впечатления западали в сознание солдатских масс, говорить теперь излишне: мы знаем, каковы были настроения „русского крестьянина, переодетого в военный мундир“, громившего помещичью усадьбу в 1812 г. с неменьшим ожесточением, чем отставших, полуголодных французов, верившего, что „царь Аполион“ принесет желанную волю...

В. И. Семевский, пользуясь новыми материалами (бумагами акад. Н. Ф. Дубровина), хранящимися в библиотеке Академии Наук, старался в названной работе отметить революционный радикализм солдат гвардейских полков, расположенных в Петербурге. Его выводы развил С. Штрайх в брошюре, выпущенной к 100-летию Семеновского восстания ²⁾.

Материалы Кочубеевского архива дают несколько новых штрихов к характеристике революционного настроения в солдатских массах.

Так „донесения“ и „записки“ полицейских агентов, направляемые Кочубею, говорят о том, что в октябрьские дни 1820 г. в Петербурге не было полка, солдаты которого оставались бы совершенно спокойными и безучастными к судьбе семеновцев.

Во многих полках „смущение умов“ не ограничивалось глухим брожением: солдаты собирались небольшими группами, судили о событиях, открыто порицали деятельность гвардейского начальства, распоряжения царя, читали газеты, рассуждали даже о европейских событиях. В. Н. Каразин, известный основатель Харьковского университета, о роли которого в „семеновские дни“ речь будет впереди, говорил Кочубею, что солдаты знают даже про Испанскую революцию и ее вожди Квиругу, и „предостерегал“, что в том виновен отчасти „Русский Инвалид“, печатающий обзоры европейской жизни ³⁾.

Семевский рассказал о „деле“ рядового лейб-гвардии Егерского полка Гущеварова, который „будучи в нетрезвом виде и без всякого злого намере-

¹⁾ Таких признаний немало в воспоминаниях Розена, Лорера, Горбачевского.

²⁾ С. Штрайх. Восстание Семеновского полка в 1820 г. Госиздат Петербург, 1920.

³⁾ В № 232 „Русского Инвалида“ от 30 сен. 1820 г. действительно было напечатано об Испанской революции.

нии говорил, что семеновцам за поступок их ничего не будет, да и быть не может, чтобы за одного им неспособного человека, варвара Шварца, променяли целый полк...

Ведь здесь не Гипшания: там бунтуют мужики и простолюдины, их можно унять, а здесь взбунтуется вся гвардия — не Гипшании чета, все подымет" ¹⁾).

В бумагах Кочубея встречаем несколько подобных дел о солдатах, замеченных в „непозволительных суждениях“; материалов для обвинения солдат эти дела дают очень мало, но зато они являются ценным свидетельством роста сознательности солдат.

Карзинн в беседе с Кочубеем 27 октября 1820 г. говорил, что среди солдат „немало весьма острых и сведущих людей из семинаристов и дворовых, они, как и все, читают журналы, газеты и проч.“. Вне всякого сомнения, — война 1812 г., выбившая из колеи и бросившая в армию много грамотных, читающих и мыслящих людей, положила начало новому типу интеллигента — военного.

Что такая интеллигенция народилась и что она не дремала в армии, о том говорят многочисленные, хотя и очень лаконические, разрозненные свидетельства современников; говорят о том и документы Кочубеевского архива.

Полицейские дознания, при всей своей наивности и фантастичности (порожденной, как увидим ниже, служебным усердием „не по разуму“), отмечают факты, подтверждения которых находим у современников, агитации таких военных интеллигентов в массах, конечно, в форме, какая была возможна в условиях того времени.

Так мы читаем о толках в толпе на Исаакиевской площади, подле лесов строящегося нового Исаакиевского собора, — в толпе, где много „пришедших на работы мужиков“, в толпе, в коей снуют „гвардейские писаря“ и солдаты ²⁾).

Мы не знаем подлинно, какие мысли и понятия несли из Петербурга в свои деревни пришедшие каменщики и плотники, но мы знаем, что в печальный день 14 декабря „чернь“, находившаяся на лесах строящегося нового Исаакия, бросала поленами в царскую кавалерию, атакующую каре заговорщиков, — как знаем и другое, что солдаты раскассированного Семеновского полка разнесли с собою „революционную заразу“ по всем полкам армии.

Насколько отчетливо сознавали это правящие круги — сказать на основании существующих материалов трудно, но бесспорен один факт, — что они были очень напуганы „брожением умов“, обнаружившимся в октябрьские дни 1820 г. В. И. Семевский в названной выше статье дал краткую историю учреждения в 1821 г. специальной военной тайной полиции. „Секретные“ материалы Кочубеевского архива — документы, которые, повидимому,

¹⁾ Семевский. „Былое“, 1907, № 2, стр. 94.

²⁾ Диканьский архив кн. Кочубея, №№ 44, 2251 и др. с пометками „Исаакиевская площадь, такого-то числа октября 1820 г.“.

кроме Кочубея прочитывал только его секретарь, дают интересную картину деятельности „общей“ тайной полиции, наивысшим начальником коей „по должности министра внутренних дел и был один из бывших молодых друзей“, позже член „приводно-оппозиционной“ „английской“ партии, „англоман“ В. П. Кочубей.

Картина деятельности тайной полиции может дать материал и для общих выводов и суждений о внутренней политике 20-х годов.

Деятельность тайной полиции заметно оживляется в конце 1820 г. и в начале 1821 в связи с учреждением особой военной полиции по проекту команд. гвард. корп. ген. Васильчикова (4 янв. 1821 г.). Возникновение нового соперничающего учреждения, к которому сам Васильчиков не питал большого доверия ¹⁾, естественно возбуждало у старых „гражданских“ полицейских ревнивые чувства. Их „ударная“ задача с этого времени — выслушаться, затмить в служебном рвении новых „дельцов“.

Из бумаг В. П. Кочубея мы видим, что и он мало доверял новой полиции и что между двумя полициями соперничество очень скоро перешло в настоящий антагонизм.

Более или менее регулярные донесения агентов Кочубею в форме сводок и ежедневных записей начали поступать, насколько это можно установить по бумагам архива, с 18 октября 1820 г. Они уделяют много внимания пересказам всяких слухов о семеновском деле. Некоторые записки написаны довольно толково, но почти все они имеют общую черту: передачу всяких толков, пересудов, мелких жалоб, сплетен и доносов.

При знакомстве с этими записками обрисовывается несложная психология доносчика-профессионала и еще менее сложный процесс делового „творчества“ сыщика.

Этот процесс можно представить так: сыщик прислушивается к настроениям правительственных сфер, схватывает и фиксирует для себя главнейшие пункты правительственной тревоги; сделать известный итог этим наблюдениям — первая стадия работы сыщика.

Следующая стадия — старание „создать дело“, отыскать факт, который можно было бы муссировать, на котором можно было бы построить „заговор“ придав ему тот характер, который наиболее беспокоит властей.

Прекрасные образчики этой техники шпионского усердия мы и находили в донесениях по поводу Семеновского восстания.

Кто же, если не они — все эти Фогели, Гершельсоны, Саламоны, Нотки, Боскампы, Этгофы, Лешковские раздули „революционную опасность“ совершенно мирных семеновских солдат?

Нет такого донесения, в которых бы они не сказали, хотя бы в 3-х строчках, о семеновцах, — даже тогда, когда все уже, казалось, было покончено и даже старых семеновцев уже не было в Петербурге.

Вот, например „еврей Гершельсон“ записывает 2 ноября 1820 г. „слух“: „на другой день о смутении Семеновского полка рассуждали между собой о

¹⁾ См. письмо его к кн. П. М. Волконскому — Русск. Арх., 1875 г. кн. II стр. 437.

сем в передней графа Морькова его камердинер, конногвардейский унтер-офицер, и камердинер князя Голицына, служащего в конной гвардии, говоря, что государь наш в особенности любит иностранцев и предпочитает их русским, ибо самые лучшие места и степени отдаются первым, как будто между русскими нет достойнейших; да вот пример, прибавил помянутый унтер-офицер, — говорят офицеры, что пишут в иностранных газетах, что государь наш в бытность свою теперь в Варшаве пожаловал каждому польскому солдату по рублю серебром, а нам едва прикажет выдать и по рублю медью, да и то один раз в год, между тем, как нас изнуляют беспрестанным учением, а при том и жалование наше в сравнении с жалованием польской армии гораздо меньше" (Дик. арх., 2218) „Содержащийся под арестом на сенном гауптвахте провинантский чиновник Приклонский, бывая часто у некоего еврея, живущего неподалеку от гауптвахта, однажды между разговорами с помянутым евреем рассуждал, что не только Семеновский полк, но и вся гвардия не довольны даже самим государем" (там же).

4 ноября, когда еще не было известно про окончательный приговор семеновцам и Шварцу, тот же Гершельсон доносил: „Провинантский чиновник Кренев, шедши в части к отставному капитану Зарубаеву, рассказывал, что у Семеновских казарм сидел караул и что будто бы получено высочайшее повеление о прощении солдат; но что велено Шварца разжаловать и лишить чинов и дворянства. Государь сие учинить изволил якобы для того, чтобы прекратить сего меру, кротости против солдат парадное неудовольствие" (Дик. арх., 2222).

О „толках в рассуждении Семеновского полка" агенты доносят Кочубею в апреле, мае, даже июле 1821 г. При всей своей наивности донесения иногда рисуют правдивыми штрихами рост революционных настроений в массах. Агенты доносят о широкой популярности известий про Испанскую и Пьемонтскую революции: „Громкий ропот доносится с Биржи и с Гостиного двора. Все, кто занимается торговлей, исключая некоторых барышников, находящихся под покровительством, негодуют на таможенные законы и, еще более, на способ проведения их. Никогда еще не было таких стеснений в торговле... Настроение низших классов населения очень беспокойное. Сомневаются в скором возвращении государя, ходят слухи о войне с Испанией и Турцией, о новых наборах рекрут; много еще слухов такого же рода, которые вымышляются и распространяются негодаями, бездельниками, — им нечего есть и, вместо того, чтоб работать они становятся ораторами за рюмку водки и кусок хлеба. Эти люди многочисленны и очень вредят общественному положению в тревожные времена. За ними необходим близкий надзор" (Дик. Арх. 2239). „Появление в свет 9-го тома истории Карамзина производит большую сенсацию, которая еще увеличивается по мере распространения этой книги. Этот том прекрасно написан, с вдохновением, которое захватывает, но в нем слишком явная желчь против деспотического правления и тиранов. Этим именем он постоянно величает царя Ивана Васильевича, быть может и правильно.

Читая этот том, невольно делают сопоставления и проводят параллели, что дает повод к замечаниям очень остроумным, но порой и оскорбительным.

Со своей стороны мистики и антисоциалисты стараются упениться за это самым злостным образом. Есть люди, которые рассказывают, что Каразин выпущен из заключения, чтоб освободить место Карамзину" (31 мая. Дик. Арх. № 2242).

Последние два донесения несомненно написаны человеком образованным; верно схвачена деталь — таможенная политика выгодна „барышникам“ — спекулянтам.

Автор не случайно упомянул про работу „чистиков и антисоциалистов“, зная хорошо антипатию Кочубея к Голицыну и его группе.

Но вот типичные донесения рядового соглядатая: „Прошлую ночь наблюдаемо было за домом Г. Никитина, но никого там не находилось, и съезда игроков, по наружному надзору, не примечено, хотя обедали в ресторации Гуго, на Васильевском острове два человека, из города туда пришедшие, кои ни о чем не разговаривали между собой, кроме о игре... Вообще все приходящие крайне осторожны и уклоняют все политические разговоры.

Еще обедала у Гуго женщина с мужчиной и обратила на себя внимание всех присутствующих; она казалась всем переодетым мужчиной в женском платье" (6 июля № 2221). „Г. Бистром сказывал, что имеет у себя в полку молодого офицера Корфа, из Ангерахланд, который величайший якобинец и до такой степени напитан сими вредными правилами, что даже явно жалеет об отце своем, который имеет 250 душ и должен быть их тираном. Генерал призывал его к себе и порядочно ему взмылил голову, но переменит ли это его правила?... Он долго был при деде своем, некоем Нолкен, живущем тоже близ Ямбурга, который много всяжировал и пешком путешествовал по разным местам Европы.

Сей человек совершенный якобинец и согратил сего молодого человека", (6 ноября № 2225).

„Вчера вечером было собрание у флигель-адъютанта Давидевского, там барон Розен встретил адъютанта графа Милорадовича—Гладкова, который ему рассказывал, что имеют все много дела по причине открывшейся конспирации, которая возымела свое начало еще летом, когда портрет государя императора в малом танцевальном клубе найден проколотым. Кроме сего вздора он ему ничего рассказать не умеет" (№ 2225).

Недружелюбные сентенции по адресу военной полиции, которая „мешает" старой, встречаются часто.

Агенты стараются подорвать доверие к „работе" военных; вполне естественно, что при этом они позволяют себе маленькие доноски друг на друга.

От 3 ноября агент Лешковский донесит:

„В кругу военной полиции, которая теперь слишком много тревожит, беспокоится о каком-то заговоре... Военная полиция вдруг хочет устроиться и тем беспокоит дух солдат, которые начинают жаловаться, что за ними похода наблюдают“.

Во всех трактирах и ресторанах опасаются говорить, каждый занимается газетам, съест и сопит, что нужно и в разговоры не вступает (Дик. арх., № 2221).

Агенты Эйгоф и Боскамп питают неприязненные чувства к агенту Фогелю, который, по всем данным, пользуется большим доверием начальства, 2 ноября, например, Эйхоф пишет министру „в собственные руки“: „Актёр немецкого театра Дробиш получил позволение иметь музыкальные у себя собрания. Сие делается под покровительством Фогеля, который верно хочет употреблять Дробиша по своим видам. Дробиш малой проворный, он знаком обер-полицеймейстеру и ссводничал ему г-жу Вильде“. (Дик. арх., № 2219).

Профессиональный ажиотаж, инстинкт спортсменов побуждали полицейских выступить с „открытиями“. Семеновское восстание на некоторое время обогатило их практику. Но все усилия привлечь к делу ни в чем неповинных солдат и писарей из гвардии (в Кочубевском архиве есть, например, дело о писаре Измайловского полка Александре Степанове и дело Гвардейской Конной артиллерии рядового Сморгкова) были мало успешны и не дали никаких положительных результатов.

Тогда агенты начинают искать „революцию“ среди „штатских“ и, конечно, ищут не там, где она могла быть.

Первым таким „делом“ был арест В. Н. Каразина, окончившийся, как известно, ссылкой его, после 6 месячного одиночного заключения в Шлиссельбургской крепости, в Харьковскую губернию. История этого дела известна по многим сочинениям о Каразине, но в бумагах Кочубея находим несколько новых интересных деталей.

Прежде всего мы находим несколько лишних штрихов к характеристике человека, о котором в литературе было немало споров.

Еще в 1875 г. П. Н. Бартенев писал: „Деятельность Каразина представляет некоторые неразъясненные стороны, без тщательной проверки которых трудно привествовать постановку памятника ему“.

Если воздвигать статую греха Каразина, отчего не поставить памятника неаполитаницу Рибасу ¹⁾“.

Памятник Каразину, как одному из основателей Харьковского университета, поставлен в Харькове вполне заслуженно; однако, это не может изменить мнения о моральных качествах Каразина, — мнения, которое не без оснований упрочилось в литературе до последнего времени ²⁾.

В 1905 г. проф. Д. И. Багалей в „Южном крае“ и в „Киевской старине“ горячо защищал репутацию Каразина от инсинуаций некоего И-ва, но должен был согласиться, как и более поздний биограф Каразина Н. Тихий („Киевск. Ст.“, 1905 г. янв. — сент.) с тем, что в деятельности Каразина были и темные стороны.

В бумагах Кочубея есть несколько неопубликованных раньше писем и записок Каразина, относящихся к 1820 году.

¹⁾ Русск. Архив, 1875, 2 стр. 327, в подстр. примечаниях.

²⁾ Так, в № 1 „Русского прошлого“ в ст. „декабристы“ Н. А. Рожков пишет: „Каразин был человек, совершенно не разбиравший средств для удовлетворения своего самолюбия и честолюбия. Этим объясняется множество противоречий в его действиях“.

В этих письмах при всем их почтительно-угодливом тоне слышится стон мелкого узавленного самолюбия и некоторая ирония человека, не призванного к власти, но адресу тех, кто незаслуженно призван и играет большую роль.

В. Н. Семевский считал почти доказанным, что Каразин не гнушался и доносами. Так, по словам Семевского, после смерти Александра I в его бумагах была найдена запись одной из бесед Каразина с Кочубеем, в которой, на вопрос министра: „Кто же наши демократы?“ Каразин сказал: „Много их есть, например, „Тургеневы“. Кочубей спросил: „Вы называете обоих братьев?“ — Обои, — сказал Каразин, — но Николай более“ ¹⁾.

Под тем же днем (27 октября 1920 г.) находим мы и в Диканьском архиве „отпуск“ письма Кочубея к Александру, в котором он передает эту беседу с Каразиным ²⁾.

Кочубей тут ничего не говорит о Тургеневых, но возможно, что он и не поверил Каразину.

Общий смысл беседы, как она записана тут Кочубеем, дает право допускать, что Каразин мог говорить и про Тургеневых.

Семевский даже думает, что именно о Каразине писал Н. И. Тургенев в своем дневнике через два дня после описанной беседы: „Мне сказывали, что полиция донесла, что я говорю весьма вольно в клубе о происшествиях Семеновского полка, а может быть и о чем другом... Я догадываюсь, кто услужил мне. Я его всякий день записывал в клуб. Но точно не знаю, он ли ³⁾. Во всяком случае, очевидно не свое лишь мнение о Каразине выразил Н. И. Тургенев в письме к брату Александру, при известии об аресте Каразина Тургенев писал: „Хотя он и несчастлив, но нельзя не сказать, que c'est un veritable brouillon.“

Вадор говорит и делает, вероятно и пишет. Между тем недавно государь сложил с него долг казне, до 27 тысяч рублей простиравшийся. Каразин читал мне устав, которым он управляет своей деревней. Я видел, что этот устав должен быть разорителен для крестьян. Харьковские жители подтверждают это.

Главная причина его агитации есть, как видно, самолюбие. Он вначале царствования был близок к государю. Никто не удивился его арестации“ ⁴⁾.

Чувство недоверия и даже презрливости к Каразину очевидно было, как тогда говорили, „генеральным“. Читая письма Каразина к Кочубею, мы ясно представляем себе, какое впечатление они производили на человека, и без того нерасположенного к их автору.

Среди этих писем есть такие, которые, насколько это мне удастся установить, не вошли в собрание напечатанных писем Каразина.

¹⁾ Семевский. „Былое“, 1907, № 2, стр. 88.

²⁾ Диканьский архив Кочубея, по оп. № 2084.

³⁾ „Былое“, 1907, № 2, стр. 89.

⁴⁾ Письмо приведено у Семевского, „Былое“, 1907 г. № 2, стр. 99 — 100.

В письме с пометкою 27 марта 1820 г. Каразин обращает внимание Кочубея на тот факт, что мн-во вн. дел и цензура „неосмотрительно“ пропустили „Статистическое Обзорение“ Германа, который „утверждает, что в России народонаселение не может уже увеличиваться“ (курсив Каразина), а сие по той причине, что земледелие дошло до высшей своей степени.

Со времен же Петра Великого — де, население от того возросло, что к нам в Россию начали входить иностранные капиталы... Этому бреду, решительно уронившему славу Г. Германа и его статистического отделения, никто бы не поверил, что он написал, если бы по несчастью не напечатал он его...

В ожидании получаса в будущую среду, милостиво мне обещанного, я приготовлю записку о важном предмете, о коем я отважился сказать без связи несколько слов в последнее свидание. Вы изволите между прочим увидеть из нее, что я не без *особливого* (курсив Каразина) намерения обращаю ваше внимание на статистический департамент, не без *особливого* намерения желал бы в нем быть употребленным, как человек, преданный своему государю и своему отечеству.

При случае статистических обзоров империи очами патриота, может открыться многое, и откроется еще во время. *Скоро* (курсив Каразина) будет поздно и бесполезно заниматься подобными исследованиями ¹⁾...

В письме от 12 ноября мы находим выпады против всесильного тогда кн. А. Н. Голицына — выпады, брызжущие мелкой, бессильной злобностью:

„Не благоугодно ли будет вашему сиятельству приобщить к замечаниям моим о распространении вредных начал в нашем народе прилагаемую у сего выписку из книги, которая на русском языке несколько лет уже продается невозбранно у всех книгопродавцев?.. Без сомнения вы, сиятельный граф, удивитесь не меньше меня, и может быть спросите: „Чтож делает министерство просвещения и духовных дел в то время, когда оно собирает и запрещать самые невинные книги, каковы напр. Сельские Уставы?“.

Как это происходит, я не понимаю: только вижу, что на разные классы народа действуют различным образом, между прочим на читающих — книгами: и именно, на умных и молодых путешествиями Пифагора (курсив Каразина), Антенора и пр. и пр. (таковых книг множество и в разных видах), на глупых же или степенных людей мистическими сочинениями, из которых одно или два я имел честь показать вашему сиятельству, а других после вышло довольно число, на пр., о скопцах (курсив Каразина). Некоторые подобные книги, чтоб сделать доход издателям или по другой причине, нарочно рассылаются в епархии, навязываются архиереям, чтоб они их продавали... Как не развращаться, не приставать к расколам сотнями, видев недостойных священников, видев, что само правительство ругает их (неосторожное предложение министра сего года и указ синода по новому

¹⁾ Дик. архив, по оп. №...

5-го августа, опозорили все духовенство, как нельзя более)... Напрасно думают, что какую-нибудь истину должно скрывать от народа. Нет; от него должны скрывать ложь и бред ума, которые одни вредны. А истину должны сделать только понятною (курсив Каразина). Но у нас в России, к стыду, о сем последнем не заботятся; донные перепечатывают буквари и катехизисы, сочиненные за сто лет подобно как Комиссия о Училищах продолжает издавать старинные и давно забытые в чужих краях руководства, почти без всяких перемен. Неужели этого рода полезная заботливость кажется слишком низкою для министра, подобно как и правописание на отечественном языке. (Есть бумаги, на которых подпись с таким перенесением слогов: „Князь Алексан — на другой строке — др Голицын“) ¹⁾).

„Докучливое и непрошенное сочинительство“ Каразина и было, несомненно, единственною причиною его ареста, который, с другой стороны, был результатом усердия не по разуму полицейских.

К тому, что сообщено об этом аресте в цитированной статье Семеновского, документы Кочубеевского архива дают кое-какие интересные дополнения.

В архиве находим несколько записок, которыми Каразин „возмущал покой“ царя и министра в дни семеновской истории.

Кроме известных уже записок ²⁾, мы находим еще „Притчу“, без даты. с пометкою секретаря Б. П. Кочубея: „Вручена мне его с-вом с замечанием, что вероятно писана Каразиным“. Стиль и содержание этой „Притчи“ не оставляет никакого сомнения в авторстве Каразина, при сопоставлении ее с опубликованными „записками“.

Орфография „Притчи“ свидетельствует во всяком случае, что Каразин не держал ее у себя, а очевидно распространял.

Притча.

(Которой должно оставаться
в рукописи).

В одном селе случился пожар. Легкомысленный хозяин содержавший питейный дом того Села, пришел в неоплатные долги, в хмелю, из отчаяния зажег Свою избу. Поднялся ветер. Всюду разносило пылающие головни. Избы загорались одна после другой. Доходило уже до мужика Антипа, Жившего На самом краю Села. Добрый Антип Заботился о своих братьях от чистого Сердца: но пожар был Так Силен, что не успел дать никому значительной помощи. Напротив того потерял только в общей тревоге. Братья, которых он хотел спасти, из зависти-ль к Его богатству и мочи ненавиди Его издавна, воспользовались сим случаем, и Горя ожесточились. Нестанем розыскивать причин короче все, на Него бросились: и он Едва не сделался их жертвою. Следовательно принужден отойти, чтобы Защитить хотя Собственный двор. И правду Сказать, время уже было о себе подумать. Прямо на Антипа

¹⁾ Дик. архив, по оп. № 2247.

²⁾ Напечатаны впервые в „Русск Ст.“, 1871 г. т. III.

неслись искры. Одна только изба, и та наполненная пенькой и другим Горючим товаром, отделяла двор от всеобщей беды. Конечно, крыша была к счастью не соломенная и весь дом — Построен Еще прадедом из дикой Плиты, весьма прочным образом, да и Горючих веществ находилось в нем немного, однакож...

Милостивые Государи, что прикажите делать антипу? выдти-ль Ему на Улицу и быть равнодушным Зрителем, а воз-де не Загорится, или сложа руки Горевать и призывать в помощь Бога, чтобы он сделал для него чудо и пролил дождь? Не посоветуете-ли Вы Ему лучше, Не терять ни минуты распорядить все к Своему Спасению?.. Говорите, милостивые Государи... Село Есть Европа, пожар революция, а двор Антипа отечество Наше.

Известно, что Каразину приписали ¹⁾ авторство прокламации, подкинутой 25 или 26 октября во дворе казарм Преображенского полк; подлинного же автора установить не удалось.

Шильдер полагал, что им был один из семеновских офицеров „будущий декабрист“, а Семевский уверенно называл Серг. И. Муравьева-Апостола.

Попытки найти автора среди гвардейских писарей и солдат ни к чему не привели и были осмеяны даже Васильчиковым в письмах к кн. П. М. Волконскому.

И вот агент тайной полиции Фогель высказал предложение, что прокламацию написал Каразин. Из бумаг Кочубеевского архива видно, что за мысль Фогеля ухватился Кочубей, несмотря на все свое недоверие к сыщикам; возможно, что самого Кочубея стимулировали подозрения Александра, который, по получении первого известия о семеновском деле, приказал Васильчикову не терять из виду Каразина и его происков²⁾; возможно, что и вся история ареста Каразина начало свое получила в этом распоряжении Александра. Во всяком случае Васильчиков уже 26 октября сообщил Александру, что за Каразиным следит полиция, прибавляя, что Каразин, по его мнению, наиболее опасный человек ³⁾.

Получивши одновременно с Васильчиковым распоряжение Александра, Кочубей, по собственному его признанию ⁴⁾, решил не откладывая ареста Каразина.

Семевский полагал, что Кочубей выказал при этом излишнюю поспешность, о которой впоследствии сам жалел.

Однако, этого мы не видим в его бумагах; напротив, они убеждают нас в том, что Кочубей несомненно действовал под впечатлением слухов и опасений, муссированных полицией. Умный и образованный „англоман“ напуган был не меньше царя. 29 октября он писал последнему ⁴⁾:

¹⁾ Диванск. арх. по оп. № 2083.

²⁾ Руск. Арх., 1875, II, стр. 326—327.

³⁾ См. письмо Кочубей к ген. б. Дибичу у Шильдера, т. IV, прилож., стр. 545.

⁴⁾ Диван. арх., по оп. № 2733.

„Размышляя над его стилем и содержанием, нельзя не признать под вульгарными фразами человека, обладающего некоторым образованием и знающего иностранные языки. Солдат, умеющий читать и писать, если бы даже он принадлежал к классу семинаристов или дворовых, едва ли мог бы написать такое систематическое произведение и не употребил бы фраз, указывающих на знание французского языка... Мы ломали себе голову, чтобы установить какие-нибудь предположения относительно личности автора.

Мысли наши обратились на Каразина, не потому, чтобы у генерала М., который учредил за ним тщательный надзор, явились какие-нибудь указания, но потому, что известно дурное направление его мыслей, его беспокойство и его страсть к интригам. У генерала М. явилась мысль арестовать его. Но хорошенько подумав, мы решили, что в данное время следует избегать всякого шума, раньше, чем у нас появится уверенность.

Я сожалею, что ВВ-во не имели времени перед отъездом выслать Каразина из столицы и учредить за ним надзор, что Вы собирались сделать, получив его предыдущие бумаги (Диканьск. арх. № 2085).

Из этого письма ясно, что с Каразиным давно решили разделаться и что подыскивали лишь „благовидного“ случая.

16 ноября Александр уже прямо писал Кочубею: „Уполномачиваю Вас арестовать Каразина и забрать все его бумаги. Местом его заключения может быть рavelин крепости или Шлиссельбург. Я предпочел бы последний“. (Дик. арх. № 2733)¹⁾. Дальше диканьские бумаги приоткрывают нам завесу над подпольною работою агентов полиции с того момента. Когда им стало известно, что Каразин на большом подозрении у начальства, все их усилия были направлены к тому, чтобы найти хотя бы отдаленную связь Каразина с происшествием во дворе казарм Преображенского полка.

Первое событие, которое дало в руки агентов некоторые улики, это — „история с канарейкой“, в которой фигурирует *bas-officier d'uregiment de Преображенской**, у которого Каразин купил „une канарейка“ и с которым, по предположению сыщика, довольно долго разговаривал. Сыщик, как водится²⁾, завел сношения со слугою Каразина, обещавшим узнать фамилию унтер-офицера. Донесение об этом написано на плохом французском языке.

Конечно, оно рисует лишь пикантную картину, как велись „наблюдения“ за домом Каразина, но ничего существенно-важного для привлечения Каразина по делу о прокламации оно не дало.

Среди документов, относящихся к аресту Каразина, чрезвычайно характерно донесение об аресте Каразина:

„27 числа ноября прибывши Д (в подстрочном „пояснении“: „Дубецкой Литейной части Частный Пристав“) к К (там же: „Каразин, Статский Советник“) вручил ему письмо, которое К распечатав при бытности Д в своем

¹⁾ Дик. арх., по оп. № 2085.

²⁾ Дик. арх., по оп. № 2246.

Кабинете сказал с некоторым беспокойством, что он не ранее может ехать к военному генерал-губернатору как в 9 часов.

Д ответил, что граф ожидать его будет в 4 часа непременно, почему сие необходимо исполнять должно. Оробевши К сказал, что он не понимает, по какому бы делу его требовал граф, не по пашкилю ли, найденному у оного на улице, чему он нимало себя виновным не считает, ибо мало ли проходящих по улице, кои могли таковой бросить. (Курсив оригинала Ир.). Д неотступно просил, чтобы К явился в 4 часа к графу. К, давши слово, что он уедет, просил Д оставить его в спокойствии, пока он отобедает. Д вышел в гостиную, а К оставался в Кабинете, притворивши дверь, и был в оном около десяти минут, тогда когда семейство его и два посторонние лица граф Сент Обен и Г-н Анастасевич сидели за обеденным столом.

Оставаясь Д в гостиной заметил, что К около письменного стола сидел, но писал ли он что или разбирал бумаги, сего невозможно было заметить по причине отпертой двери из столовой в гостиную. К, вышед другими дверями в столовую, увидел, что Д находился в гостиной, вошел в оную и просил оставить его в покое, дабы присутствие Д не могли бы взять какого подозрения семейство его и гости.

Д удалился, наблюдая около дому за всеми движениями. К по прошествии не более одного часу вышел к карете, ст коей возвратился верх, через несколько минут опять вышел и поехал прямо к графу В. Н. Кочубею, где человек его отдал швейцару письмо, которое дано ему от К, тогда когда он одевал его при отъезде. — Посему полагать должно, что К, оставшись один в кабинете, писал письмо к графу Кочубею" (Дик. арх. № 2706).

Это донесение описывает сцену ареста, который проводился по плану. заранее обдуманному Кочубеем с Милорадовичем, изложенному в письме Кочубею к царю от 16 ноября. Согласно этого плана, Каразина „пригласили“ к Милорадовичу на 4 часа дня (потому то частный пристав столь „неотступно просил“), там уже объявили арестованным и отправили в Шлиссельбург, а обер-полицеймейстер в это же время явился на квартиру Каразина, смечтал и увез к Кочубею все бумаги.

В донесении Дубецкого нашел подтверждение факт, о котором говорил Семевский в цитированной статье и о котором не говорят кочубеевские бумаги, что полиция подкинула под окна квартиры Каразина „пашкиль“.

Несостоятельность нехитрой затей полицейских, очевидно, в большой степени конфузила и Кочубея и все „начальство“. Каразин в своих показаниях, данных в Шлиссельбурге, „с горечью“ говорил о том, сколь неосновательно было подозревать его в авторстве „пашкиля“, подчеркивая, что „написавший такую бумагу не станет ее бросать у себя под окнами“ „и что ему перед самым арестом ген. Милорадович сказал: это работа какого-то ефрейтора, который хотел кого-то погубить“.

Среди захваченных у Каразина бумаг оказались между прочим несколько экземпляров стихотворения „Гений Отечества“. История этого стихотворения такова:

20 октября Каразин прислал копию его Кочубею при письме, в котором писал: „В дополнение к вчерашней беседе честь имею представить стихи, которые мне сего утра сообщили на прочтение, но я поспешил их переписать для Вас. Автор какой то полковник... Испытайте, сиятельныйшии граф, нарочно помолчав о сей б маге, не давал о ней приказания чиновнику Вашей канцелярии, чтобы увидеть, сколь скоро будет вам донесено о ней официально и удостовериться, что правительство позже всех обыкновенно извещается о подобных вещах. Миллер и Тихий ¹⁾, не зная текста этих стихов, смешивали их с безграмотными стихами. „Ну, ребята, чур дружнее“ так же найденными у Каразина и в действительности никакого отношения не имеющими к Семеновской истории. Семеновскому также не удалось найти текст „Гения Отечества“; Кочубей поступил со стихами именно так, как советовал ему Каразин, т.-е. спрятал их у себя, почему они и не были никому известны впоследствии.

„Гений Отечества“ интересен, как небольшая, но яркая характеристика настроений офицерских кругов того времени.

Стихи снабжены интересными подстрочными примечаниями, например:

1) известно, что гнусной Шварц (по-русски Чернец или все то же Мерзавец) бил семеновских войнов, и даже поседевших в полку и брани, шомполами по голым ногам, разувал их, коль скоро раны или лета война не дозволяли ему вытягивать колено или ступню.

2) Он бил в грудь солдат, перетягивая ремнями желудок.

Не подлежит сомнению, что стихи сочинены кем-либо из гвардейских офицеров.

„Гений Отечества“ не проявляет витийских талантов автора и весьма напоминает стихи Ф. Н. Глинки (в то время адъютант при Васильчикове, члене тайного общества (так же посвященные Семеновскому полку). „Была прекрасная пора“, помещенные в Русск. Арх., 1875 г. III стр. 422 — 423.

Отослав копию „Гения Отечества“ Александру, Кочубей рассказал об этом Милорадоничу; по распоряжению последнего начались поиски автора: подозревали в авторстве полковника лейб-гренадерского полка Шелехова, подозревали даже Н. И. Греча...

Чем ближе подходим мы, по бумагам Кочубея, к концу печальной истории ареста Каразина, тем больше убеждаемся, что и самое начальство очень скоро перестало смотреть на Каразина, как на преступника. Об этом свидетельствует уже тот факт, что арестовали его 26 ноября, а допрос сделали только 3 или 4 января следующего 1821 года. Допрос производит неизвестный обер-полицеймейстер ген. Горголи, известив о том Кочубея секретным рапортом от 5 января 1821 года:

„Во исполнение предписания вашего сиятельства, я отправлялся в Шлиссельбургскую крепость, отобрать от содержащегося там статского советника Каразина подробное пояснение, противу вопросов здесь ему приготовленных,

¹⁾ Миллер, Арест В. Н. Каразина. „Истор. Вестник“, 1900, март.

по содержанию предписания вашего сиятельства и донесения частного пристава Литейной части, поданного о разговоре с ним Каразина и положении, в каком он находился, когда пристав повешал его явиться к г. Санкт-петербургскому военному генерал-губернатору. — Ответы Каразина на вопросах, которые предварительно ваше сиятельство и г. военный генерал-губернатор изволили рассматривать, при сем имею честь представить. Из ответов его ваше сиятельство усмотреть изволите, что не осталось уже более ни о чем продолжать вопросов". (Дик. арх., № 2231.)

Кочубей, в самом деле, и без этого рапорта было совершенно ясно, что не осталось уже более ни о чем продолжать вопросов". Главная цель была достигнута: „докуцливого сочинителя“ изъяли, наконец, обезвредили; можно было уже и позабыть о нем. В письме к Александру от 2 декабря 1820 г. Кочубей говорит, что ничего „зловредного“ в бумагах Каразина не обнаружено, и высказывает изумление (едва ли, впрочем, искреннее: ведь Кочубей Каразина давно разгадал), что Каразин „против идеи о конституции в России и не желает освобождения крестьян“.

В том же письме Кочубей рассказывает о своей беседе с женой Каразина: „когда я коснулся того пункта, что ее муж, как заключенный, не может писать никому, она сказала мне: „государю не может писать?“ — Не может и государю. — Слава богу, — вскричала она невольно. Это „слава богу“, вырвавшееся с такой непосредственностью, какой повзвизывала бы *м-lle Marg* ¹⁾, заставило меня расхохотаться“.

Из приведенных у Семеновского материалов мы знаем, что на допросе Каразин держался без достоинства, все усилия прилагая к тому, чтобы при всяком случае подчеркнуть свою „верноподданническую преданность“ и что обращались с ним в Шлиссельбурге весьма сурово — не разрешали прогулок, не давали письменных принадлежностей. Только после письма Каразина к Кочубею от 10 дек. 1820 г. (Дик. арх. № 136) было разрешено узнику написать письмо, но „без обозначения места заключения“.

Дело Каразина на некоторое время утомило служебный азарт полицейских, но очень скоро они ждут нового „случая“.

Еще до ареста Каразина один из агентов представил по начальству такой список: „В связях и знакомстве с г. Каразинным: Контр-адмирал Сапрычев. Надворный советник Утинский. Супруга бывшего Херсонского губернатора Бахтина. Колегский советник Комовской. Каменец-подольской купец Янкель Бронштейн. Сын купца Бронштейна. Военный советник Семен Пашенков. В Царском Селе г. Карамзин. Служащий в канцелярии графа Аракчеева чиновник Субботин. Сенатор граф Хвостов. Дежурный генерал Загребский. Г. Лисаневич — чину неизвестно. Барон Рейн. Горного департамента чиновники: Степан Иванов Иванович и Анастасевич. Действительный статский советник Мечников. Князь Вяземский, который на Невском прос-

¹⁾ Драматическая актриса.

пекте имеет свой дом. Князь Волконский. Статский советник Кумицин. Статск. сов. Николай Тургенев. Колеж. сов. Греч⁴.

Этот абсурдный „список“ не произвел никакого впечатления; тогда агент Фогель подал Кочубею и Милорадовичу „записку о существующем заговоре насчет распространения неудовольствия и революционных правил“. В записке фигурируют новые „заговорщики“: „1. Адмирал Сенявин, жена его с сестрою своею (M-me Voïsseni) с Кайсаровым и прочими их друзьями и связями. 2. Доктор Саловатори и живущий с ним вместе лапсельмейстер Джулиани. 3. Маркевич, который был на содержании и как уверяли даже супругом графини П. А. Потемкиной и ныне женат на вдове Сквончи. 4. Братья Voïssoneg, ком, по уверениям Фогеля, подозревались некогда в какой-то переписке неблаговидной с Лавишским, который находится при графине Потоцкой. 5. Доктор Аренд, бывший главным доктором при корпусе графа Воронцова во Франции (Аренд женат на ловкой и прекрасной французке, живет в Аракчеевском госпитале, где он находится старшим доктором, всякую субботу у него бывают вечера“.

Этот очередной „блэф“ сыщиков имел некоторый успех. Но характерно, что прежде, чем „начальство“ собралось приступить к расследованию, адмирал Сенявин уже все знал (может быть, его инспирировали или просто шантажировали сами же сыщики!), явился к Кочубею для объяснений, при чем категорически отказался сказать, откуда узнал он о доносе. Беседа его с Кочубеем приведена в „Русском Архиве“, 1875 г., в. III, стр. 431 — 433, и потому я не переписываю ее из диканьских бумаг.

Третьим характерным эпизодом из деятельности тайной полиции, зафиксированным в бумагах Кочубея, была „слежка“ за Н. И. Гречем.

В своих „записках“ ¹⁾ Греч рассказывает о том, каким образом он оказался отнесенным в категории „подозрительных лиц“; основанием для этого была его деятельность по организации ланкастерских школ в гвардейских полках. Когда Чаадаев приехал в Троппау с докладом про Семеновское восстание, Александр спросил его, знает ли он Греча и не был ли последний когда либо в Швейцарии. „Боюсь грешить, а думаю, что Греч имел участие в Семеновском бунте“, — сказал при этом Александр. Эта догадка царя, конечно, была принята во внимание. Бенкендорф, тогда начальник штаба гвардейского корпуса, сказал о Грече: „Он не военный и вообще государь не хорошего о нем мнения: так что его шадить!“ Греча и не пощадили: уволили от должности начальника ланкастерских школ, вызвав для „надлежащих разговоров“ к Кочубею. Но, повидимому, он не подозревал, что с того же времени его взяли под „негласный надзор“. Про этот надзор красноречиво повествуют документы Диканьского архива.

Следили не только за самим Гречем, — в клубах, ресторанах, где он бывал, на улицах, поджидали его на папертах церквей, перед театрами, но и за семьей его, прислугой, служащими его типографии, конторы и редакции

¹⁾ Русск. Арх., 1871, 6, стр. 1280 — 1288.

журнала „Сын Отечества“, составляли даже списки о „выбывших и прибывших из дому купца Антонова, состоящего 1 части во 2 квартале под № 125, находящихся в услужении у содержателя типографии Г. Надворного Советника Николая Ивановича Греча“. Интересно отметить, что история увольнения Греча вызвала „нежелательные“ толки в обществе: говорили, что „невиновный человек оклеветан властями“...

В заключение отмечу еще один курьезный эпизод из деятельности тайной полиции — слежку за вновь прибывшим в Петербург испанским посланником ¹⁾. Он прибыл в столицу в октябре 1820 г. взамен отозванного гр. Зеа-де-Бермандоса. Очевидно его особой полиция занялась по предписанию свыше: тогда очень опасались „шпанской заразы“. О том, как велики были эти опасения можно судить по следующим словам в. к. Константина, сказанным обер-полицеймейстеру Горголи и последним записанным для Кочубея: „Предводители юга, взирая завистливым оком на спокойствие, которое составляет счастье России, выпустили своих демонов, чтобы возбудить у них мятежные движения“. Константин приказал Горголи „наблюдать за театрами и за статистами из военных, которые там заняты. Эти люди могут быть легко соращены французскими актерами“.

За новым посланником стали следить с первого же дня его приезда. Советник мин. ин. дел Павел Дивов писал Кочубею „секретно“ (по-французски): „Благодаря счастливому случаю, я овладел секретными инструкциями испанского посланника, недавно прибывшего“; при этом Дивов прислал и самые бумаги Кочубею (их нет в Диканьском архиве). Чтобы иметь при посланнике „верный глаз“, к нему направляют „известного по хорошему поведению дворового г. Эмме человека Павла Ябровского, который хотя уже и являлся к посланнику 14-го числа сего месяца ²⁾, но ответа никакого не получил и сказано прийти в другой раз“ ³⁾.

Пользуясь донесениями этого служителя или, может быть иначе как либо, полиция принялась составлять еженедельные „сводки“ наблюдений за посланником. Привожу одну из них:

„Продолжение выездов Гишпанского посланника после сделанных донесений:

2 октября. В дом княгини Кутузовой.

К Дюку Серра Каприоли.

К прежде бывшему Гишпанскому посланнику Зеа.

3 октября. Никуда не ездил.

4 октября. К графине Коломби.

В Гостиной Двор для выбору мебели.

5 октября. С визитами обще с секретарем посольства Даргес.

¹⁾ К сожалению, за отсутствием в Полтаве (где написана эта статья) нужных справочников, не могу назвать его имени.

²⁾ Октября 1820 г.

³⁾ Дик. арх., № 2210.

К. Английскому послу.

К супруге Французского посланника.

К Португальскому посланнику.

К Прусскому посланнику, коего не было дома.

В дом Австрийского посланника к секретарю посольства ¹⁾).

Новому посланнику долгу не давали аудиенции во дворце, что очень беспокоило членов посольства, которые, по сообщению сыщиков, высказывались об этом так: „отказать в представлении его величеству равносильно объявлению войны“ ²⁾).

В донесении агента Эйхгофа от 4 ноября сказано: „Испанский посланник переехал в свой отель; но еще учреждения дома не занимается. Все меры приняты к выщему по сему предмету наблюдению“ ³⁾).

Однако и „выщее наблюдение“ ничего существенно важного и интересного не дало, кроме, разве, того обстоятельства, что посланник оказался человеком „весьма светским“, большим любителем посещать великосветских дам...

Уж не тот ли это „посол испанский“, которого Пушкин мимоходом увековечил в „Евгении Онегине“?..

И. Ф. Рыбаков.

¹⁾ Дик. арх., № 2105.

²⁾ Ibid., № 2240.

³⁾ Ibid., № 2223.

Декабрист В. С. Норов.

(Заметка к его биографии).

По свидетельству хорошо осведомленного А. В. Никитенко печальную судьбу Василия Сергеевича Норова ¹⁾ определило его столкновение с великим князем Николаем Павловичем, имевшее место в 20-х годах. Рассказ Никитенко об этом столкновении, занесенный в его дневник под 25-м октября 1869 г., в издании дневника, отредактированном М. К. Лемке, воспроизведен с существенными исключениями ²⁾. Мы публикуем его полностью по рукописной копии, содержащей ненапечатанные места из дневника Никитенко ³⁾.

„Вот одна черта из характера покойного государя Николая Павловича.

„У Норова, Авраама Сергеевича ⁴⁾, был старший брат Василий, человек очень умный, как о том свидетельствуют находившиеся у меня письма его к родным ⁵⁾, история 1812 и 1813 годов (напечатана, но у меня была в рукописи) ⁶⁾ и многие его литературные заметки, находившиеся у меня

¹⁾ Род. 6-го апреля 1793 г., ум. 10-го декабря 1853 г.

²⁾ А. В. Никитенко. Записки и Дневник, изд. 2-ое, т. II, Спб., 1906, стр. 398. — Этот рассказ совершенно исключен из первых двух изданий дневника Никитенко (Дневник Александра Васильевича Никитенко 1869 г. — Русск. Стар. 1892, т. IXXIII, № 1, стр. 170 — 171; Записки и Дневник (1826 — 1877) А. В. Никитенко, т. III, Спб., 1898, стр. 223).

³⁾ Эта рукопись была составлена в редакции Русской Старины во время печатания там дневника Никитенко и обнимает десятилетие — 1859 — 69 гг.; по ней восстанавливается ряд пропусков, сделанных в издании М. К. Лемке. — Рукопись дневника и записок Никитенко „в копии рукою (sic) его дочери, с ненапечатанными местами“ хранится в Пушкинском Доме (Пушкинский Дом при Российской Академии Наук. Исторический очерк и путеводитель. Лгр., 1924, стр. 74).

⁴⁾ Министр народного просвещения в 1853 — 58 г.г. (род. в 1795 г., ум. в 1869 г.), близкий Никитенко человек.

⁵⁾ Они опубликованы в статье племянника Норовых Н. П. Поливанова „Василий Сергеевич Норов. (Декабрист) 1793 — 1858“. (Русск. Арх. 1900, кн. I, № 2 стр. 273 — 301.)

⁶⁾ „Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения до Кульского боя“ — так называется книга Норова (две части, Спб., 1834). Об этом издании, кроме цитированной выше статьи Поливанова (о. с., стр. 285, 290, 291), см. у Д. Д. Языкова „Любопытные книги“ (Русск. Арх. 1917, кн. I, № 2 — 3, стр. 74).

также в рукописи. Этот Василий Норов служил в гвардии ¹⁾, в полку, которым командовал Николай Павлович, в то время великий князь. Был смотр полка. Великий князь приехал в дурном расположении духа. Обходя ряды солдат, он остановился против одного офицера, возле Норова.

Физиономия ли этого офицера не понравилась великому князю или он неловко, как-нибудь не по темпу пристукнул ногою, только его высочество сильно разгневался на него, схватил его за руку и ущипнул. Затем он направился к Норову, но тот, не допуская его к себе на два шага, сказал: „Ваше Высочество, я шекотлив“. — Через два или три месяца случился новый смотр. Был день ненастный и как раз у места, где стоял Норов со своим взводом, образовалась огромная лужа. Великий князь был на коне; приблизясь к луже, он дал шпоры лошади, которая, прыгнув в лужу, окатила Норова с ног до головы. По окончании смотра, Норов явился к своему полковнику и подал просьбу об отставке. Его любили все товарищи в полку и тоже объявили, что и они подают в отставку. Полковник не знал, что делать, и довел обо всем до сведения государя. Его величество сделал выговор его высочеству, и дело уладилось ²⁾. Прошло несколько лет. Николай Павлович вступил на престол. Настало злосчастное 14-е декабря. Норов был привлечен к делу, не как участник бунта — чего не было, — но как знакомый со многими из его участников ³⁾. Тут дорого пришлось заплатить бедному Норову. Его посадили в крепость, продержали несколько лет в заключении, кажется, в Ревели или в Риге ⁴⁾; потом, по просьбе матери, выпустили из крепости и отправили солдатом на Кавказ. Там он тоже был горькую чашу несколько лет. Наконец мать, чувствуя близость своей кончины, написала слезное моление к государю о дозволении приехать сыну, принять ее последний вздох. На это было дано соизволение, а потом Норова уволили от службы солдатом и запретили ему въезд в обе столицы. Измученный таким образом и полубитый, этот даровитый, умный и честный человек еще просуществовал кое-как несколько времени в деревне. Авраам Сергеевич не мог без глубокой скорби вспоминать об этом брате, которого он горячо любил и который заслуживал любви всех, кто сколько-нибудь знал его“.

К своему рассказу Никитенко делает такое примечание:

¹⁾ В лейб-гвардии егерском полку.

²⁾ Об этом эпизоде, относящемся к 1822 году см. в Записках декабриста Д. И. Завадшана (т. II, München, 1904, стр. 43 — 44), Записках Д. Н. Свербева (т. II, М., 1899, стр. 17) и у Н. П. Поливанова (о. с., стр. 283); ср. Билое 1906, № 5, стр. 206 и О. фон-Фрейман, Пажи за 185 лет, Фридрихсгамм, 1897, стр. 864.

³⁾ Вина Норова была формулирована следующим образом: „Участвовал согласен и умысле на лишение в Бобруйске свободы блаженной памяти императора и ныне царствующего государя, и принадлежал к тайному обществу с знанием цели“ (Н. К. Шмидер, Император Николай I, т. I, СПб., 1903, стр. 694; ср. стр. 732). Отнесенный ко второму разряду государственных преступников, Норов был приговорен „ко лишению чинов и дворянства“, ссылке в каторжную работу на пятнадцать лет, а потом на поселение (ib. стр. 701).

⁴⁾ В Бобруйской крепости.

„Анекдот этот я слышал из уст Авраама Сергеевича, сестры его жены — Веры Егоровны Паниной, и племянника его Поливанова. Вариант: Василий Сергеевич Норов, бывший еще мальчиком и находясь в обществе великого князя Николая Павловича, тоже еще ребенка, в игре чем-то огорчил его и это вспомнил его высочество на смотре ¹⁾. О пишке я слышал не от самого Авраама Сергеевича, но от других названных лиц“.

С. Шестериков.

¹⁾ Норов, находясь в Пажеском корпусе, „своими способностями обратил на себя внимание императрицы Марии Феодоровны“ — повествует Н. П. Поливанов (е. с., стр. 273 — 274): „которая брала его часто во дворец к своему сыну Николаю Павловичу. Любимой игрою великого князя с Норовым были оловянные солдатики. Из чурбачков устраивали они крепости, выкладывали их по чертежам, стреляли из каких-то пушечек. Однажды за такой игрой армия Норова явно стала брать перевес над армией великого князя, которая оказалась в безвыходном положении; единственный способ спасти ее было уничтожить разом армию Норова, что Николай Павлович и сделал, смахнув рукой со стола на пол всех солдат противника. Оба главнокомандующие настолько разгорячились игрой, что вовсе забыли о положении, которое их разделяло“... После этого инцидента поездки Норова во дворец были прекращены.

Пережитое.

(Воспоминания.)

Тема предлагаемых воспоминаний—пережитое за 50 лет взрослой жизни—я поступил в университет в 1872 году—быт, общественная атмосфера, люди и события.

Пятьдесят лет назад в нравах, в общественных настроениях живо было еще прошлое дореформенное и на моих глазах входило в жизнь новое, боровшееся против старого, отживавшего. Воспоминания об этом старом, отмиравшем и о новом, входившем в жизнь, встречи с людьми старого уклада, цепко державшимися за давнее, и с людьми, входившими в жизнь с дерзновенными планами перестройки жизни—таково содержание предлагаемых воспоминаний.

И моя личная жизнь, поскольку она переплеталась со старым и новым, с людьми и событиями, со всем тем, с чем сталкивала меня жизнь.

I.

Крестьянство.

В 1878-м году я окончил Московский университет и тотчас же поступил земским врачом в Скопинский уезд, Рязанской губ. Мест было сколько угодно. Мой курс и предшествовавший были целиком взяты на войну (тогдашняя Турецкая кампания), и мы только трое с нашего курса не были взяты на военную службу, поэтому нужда во врачах была большая.

Выбрал я эту черноземную полосу, потому что искал именно ее. В моих родных владимирских местах мне не хотелось устроиваться. Все я там знал; в селе, где я вырос и с которым долго был связан, я знал не только каждый двор, каждого крестьянина, но знал, чья телва, чей жеребенок. Мне хотелось нового, незнакомого. И народ там был не тот, который танул к себе нас, семидесятников, не тот, казалось, мне нуждающийся и страдающий, которому нужны мы.

В среднем, крестьянство моих родных мест было зажиточным, крепостного права не знало,—мы приписаны к царским конюшням—говорили крестьяне, были хорошие заработки на месте, выгодные плотничьи и столярные

промысла в Москве. Когда мы, студенты, приезжали домой на каникулы и заводили с нашими отцами горячие споры о народе, о бедности его, о необходимости отобрать землю крестьянам, старшие не раз побивали нас, указывая, что и наделы у крестьян достаточны и земли кругом сколько угодно, сдается она ни по чем, а крестьяне все-таки не берут ее, потому что достаточно своей земли, что они больше и легче зарабатывают в Москве своим плотничеством, что мы зря суется к народу с нашими советами и повоощью и всем тем, что мы вычитали в книжках. И мне казалось, что я нашему крестьянству не так уж нужен и что там, в других местах, про которые мы слышали и читали, больше нужды во мне, как враще, и в наших советах о новом устройстве крестьянской жизни.

Я нашел, что искал, и встретил даже больше того, что ждал. Действительность оказалась более жестока, более страшна, чем то, что вычитывали мы в книжках, о чем говорилось на наших молодых собраниях. За десятки лет моих скитаний по России я видал всякое крестьянство, но такого бедного, такого придавленного и беспомощного не видал нигде.

Помню мое первое впечатление от крестьянской избы в селе Милославском, где помещался мой земский пункт. Низенькая изба, как гриб, покрытая огромной шапкой старой перегнившей соломы, топилась „по-черному“. Дымом полна была верхняя половина избы под черным от сажи потолком, и нужно было нагибать голову, чтобы дым не слепил глаза. Между порогом и печью стояла огромная лохань, и при мне ввел в избу корову кормить ее из лохани, а под лавкой помещались молоденькие ягнята, только что родившийся теленок. И мой фельдшер, Антонов Андрианович, всегда отбивал коптить окорока в эти избы, уверяя, что свинина там коптится еще лучше, чем в городских коптильнях.

По утрам дымился жалкий дымок над соломенными крышами, а к весне и дымки становились редки. Нечем было топить и нечего было стряпать, из пяти—шести изб сносили в одну горшечки с кашей для ребят, а взрослые ели только хлеб, запивая его водой—квас варили в редких избах. Молоко шло только для ребят. Считался зажиточным тот двор, где своего хлеба хватало до великого поста, большинство с зимнего Никола, с рождества начинало прикупать хлеб.

Округа бунтовала во время объявления воли, не приняла землю и вышла на „нищенский“ надел, по четверти десятины на душу. Кругом залежали помещичьи земли и бились люди, как в паутине, и нельзя было не снимать помещичьей земли, не отработывать за выгон для своего скудного скота.

Крепостное право исчезло, но оно жило в нравах, во взаимоотношениях. Осенью, когда крестьяне разбирали земли на следующий год, управляющие помещичьих имений—помещики уже тогда редко сами вели хозяйство—сдавали землю в аренду только под условием обработки известной доли помещичьей земли и при этом не спрашивали, сколько тот или иной домохозяин желает обработать барской земли, а „записывали“ на двор столько десятин,

сколько по их соображению данная семья может осилить, и при малейшем сопротивлении двор вычеркивался и оставался без земли. А нужно было платить подати, и подати крестьянин той округи мог платить только из денег, взятых под обработку барской земли.

Разговоры о плате тоже не было. За 5 р. 50 к. с десятины крестьянин обязывался вывезти навоз на поля помещика, вспахать, выборонить, сжать и свезти хлеб на барское гумно—сделать ту работу, которая в моих местах, где земля была хуже и урожай ниже, оплачивалась в то время 18-ю, 20-ю рублями. Цены на труд были удивительные—в рабочую страдную пору взрослый рабочий со своей лошадью получал 40—50 к. на своих харчах, баба 25—30 коп. Помню, мальчик, подросток, подгонявший от зари до зари лошадей на барской молотилке, получал 5 коп. в день также на своих харчах.

И отхожие промыслы были особенные.

Приезжал подрядчик нанимать рабочих, и в волости составляли списки крестьян-недомощников. И опять-таки крестьян-недомощников не спрашивали, желают ли они идти на те или иные заработки, а записывали в волости и цены устанавливали также в волости, по соглашению старшины и писаря с подрядчиком.

Местные крестьяне были землекопы и нанимали и увозили этих крепостных-рабочих на земляные работы, куда неохотно шли вольные рабочие. Они, крестьяне моего медицинского участка, строили Бендеро-Галацкую железную дорогу, строили дорогу на Урале, а при мне увозились копать торф во владимирских болотах. Только „вольные“, не состоявшие недомощниками,—таких было немного—тогда могли выбирать себе заработки и уезжали в Москву извозчиками, ночными сторожами, подручными дворников.

Помню крестьян из моего родного Владимирского села, уходивших в Москву на плотничьи работы: они возвращались оттуда здоровые и веселые, франтами, непременно в козловых сапогах со скрипом, в галошах, в которых щеголяли в сухие и жаркие дни нашего храмового праздника на Илью-пророка. Привозили гармоники, самовары, всякие гостинцы для семьи, привозили московские слова, московские манеры, вольные речи. Скопинские крестьяне приезжали, а случалось и проходили пешком сотни верст, худые и истощенные, оборванные и привозили с собою поломанные кости, страшные торфяные язвы и... сифилис.

Сифилис переходил на жену, жена своим сифилитическим ртом жевала соску для ребенка и пихала ему в рот. Ели из общей чашки, общими ложками, заболели старики и старухи. Я знал дома, где не оставалось ни одного не зараженного члена семьи: помню деревню, где не было ни одного дома без сифилиса. Из десяти тысяч посещений за первый год только на одном медицинском пункте около тысячи падало на больных сифилисом. Как правило, сифилис распространялся не путем половых сношений, свежих первичных заболеваний почти не встречалось, а сифилис был давний, укоренившийся—много являлось с изъязвившимися гуммами третичного сифилиса,

с обширными язвами на голени, которые мешали работать и поневоле гнали к доктору.

Кулаки были пришлые, городские мещане, сьемщики фруктовых садов, арендаторы мельниц, державшие лавки и кабаки в деревнях, строившие на купчей земле среди полей амбары для ссыпки хлебов. Толща крестьянская была серая, мало расслоившаяся по достатку и по источникам существования. Редки были не соломенные крыши в деревнях, почти все ходили в вдовотканых паневах и поддевах, единичны были крестьяне с купчей землей.

Крестьяне были прикреплены к помещику. Живое было крепостное право. С раннего утра, подолгу простаивали они с непокрытыми головами у барского крыльца в ожидании выхода барина или управляющего.

— Вы наши отцы, мы ваши дети... — была традиционная фраза.

Так и ко мне обращались они в первое время, пока не привыкли.

А земля была благодатная, добрый чернозем. Хорошо родились, если не было засухи, пшеница и просо. Начиналась степь, тянувшаяся к Дону, протекавшему в южной части моего медицинского участка, а за Доном шли еще более тучные земли. И какая-то особая мягкость и ласковость лежали на далеко стелющихся полях с переливающимися разноцветными полосами ржи, пшеницы, проса и гречихи. Не было наших владимирских болот, угрюмых, молитвенно строгих еловых лесов. Зелеными купами вставали редкие рощи зеленых дубков и белых березок, таких белых и таких радостных березок. Текли задумчивые речки в черных берегах, опущенных ольхой и хрупкими раkitами, тихо неуверенно вились они, бродили по тихим полям, словно не знали, словно все думали, куда им податься, где бы отдохнуть.

И люди были добрые, ласковые, добрее и дружелюбнее наших северных лесных, более суровых крестьян. Семейные отношения складывались мягче, и как-то не прихотилось мне встречать там в знакомых деревнях чеховских мужиков. Таких красивых, таких тонких, нередко изящных крестьянских лиц я не встречал больше нигде в России. По-другому и иные песни там пелись, задушевнее и красивее звучали голоса.

Покрывала печаль благословенные земли. Редко собирались хороводы в деревнях, мало было веселья на усталых печальных лицах. А осенью, когда свозили хлеб с полей и оставался сухой злой бурьян по межам, и сырая мгла окутывала низенькие, словно врославшие в землю избы с подслеповатыми из кусочков стеклами окон, тоска ложилась на землю. Носился чибис над пустынными полями и припадал к земле и взвизывал ввысь и человечьим, надрывным голосом рыдал над печальной землей.

Мало было школ и нищенски они были обставлены; и вот через сорок лет, во время войны, когда только что начиналось революционное движение, возвратившийся из отпуска санитар земского союза привез в Псков удивительное прошение, подписанное крестьянами одной из деревень Скопинского уезда, бывшего моего медицинского участка. Это был приговор сельского

общества, в котором они просили меня, председателя северного фронта, чтобы я отпустил этого санитаря им в деревню „для просвещения народа“, так как этот санитар, их односельчанин, оказался очень пригоден „для просвещения народа насчет новых обстоятельств“; было удивительно, что в числе подписей значились женщины и „девицы“, но очевидно за сорок лет там не оказывалось людей, которые просвещали бы крестьян насчет всяких обстоятельств, очевидно не озадалось таких людей около них и при новых обстоятельствах, и вот они молили, чтобы наш санитар, уже просветившийся в Риге и Пскове, явился бы их наставником „в новых обстоятельствах“.

А потом донеслись слухи, что самая злая аграрная буря пронеслась на этих черноземных полях, что именно эти добрые, ласковые и, казалось, такие покорные крестьяне особенно неистово жгли, грабили, разоряли.

II.

Среди народа.

Отношения с крестьянами сложились у меня благжелательные, доверчивые. Правда, в первое время приходилось наталкиваться на опасливое, заподозривающее отношение и слышать в разговорах неизменные фразы: „ну конечно“, „само собой“, „это вы правильно“, „чего уж“, — всякие словесные эквиваленты, которыми крестьяне облаживают нового человека, не крестьянского облика, но скоро эквиваленты и замысловатые подходы кончились, и пошли разговоры „по душам“.

Все об одном и том же... О земле, о тесноте, о хлебах, о барах, об аренде, о курице, которой выйти некуда. В воскресенье и праздничные дни, когда случалось быть дома, к моей заваленке собирались старики, солидные крестьяне, и велись долгие беседы о начальстве, о земельной нужде, о трудности жизни и об их крестьянской немощи. И все разговоры сводились к беседе о „белых водах“ о „теплых водах“, где земля не делена, где трава и хлеба стена-стеной, где зерно такое крупное, словно и не рожь, где начальства мало — почитай, что и совсем нет...

Теплые воды и такая земля есть — это уж без сомнения, но только где они, как достигнуть — никому не известно. Ходоков послать — куда послать. Вот кабы верного человека найти, бывалого, который все бы обспазывал, чтобы на знати было — нету такого ¹⁾.

Опять же, кабы можно было в казаки переписаться. Были слухи, будто можно, только в точности неизвестно... Вот на Кубани есть хорошие земли. Пробовали из села ездить на заработок, на косьбу, плата неслыханная, — три с половиной в день косарю да бабе два рубля, — только казаки там крепко засели, не пускают.

¹⁾ В то время переселенческая волна в Сибирь еще не поднималась.

Разговоры неизменно кончались заключением, что так дальше жить нельзя, народу все нарождается, а земли все меньше и меньше, — какое ни-какое должно выйти решение насчет земли, бесприменно выйдет.

И эта мысль о земле, о неизбежности решения земельного вопроса стеной стояла в крестьянских душах, и в эту стену бессильно билась практика жизни, начальственные разъяснения, правительственные окрики. Помню, в то время был издан знаменитый циркуляр министра Макова, оповещавший население, что появились злонамеренные люди, которые рассказывают, что будет нарезка земли крестьянам, что верить этим людям не следует и что никакой прибавки земли крестьянам не будет, таков был удержавшийся в моей памяти общий смысл циркуляра. Оглашение циркуляра было обставлено очень торжественно, в волость стогналось по несколько человек из каждой деревни, циркуляр читался в присутствии начальства.

Дело было летом в какой-то праздник, у меня был прием больных, приехавших несмотря на праздник. Вернувшиеся из волости крестьяне уселись на заваulinke, как раз под моим открытым окном, и на вопросы обступивших крестьян, что вычитывали в волости, ответили — и я сейчас помню этот ответ, так поразила он меня своей неожиданностью:

— Манифест от царя... Хотел царь дать землю крестьянству, да министры отсоветовали.

Так преломились в крестьянских душах такие ясные, казалось бы, не оставляющие места для сомнений слова министерского циркуляра.

Царь худо с землей распорядился, обидел крестьянство, но все-таки волю дал, освободил народ от господ. Это помнили и по-старому ждали, что в конце концов царь исправит ошибку и распорядится нарезать крестьянам от барской земли.

В тех местах не было заподозривания пропагандистов, как случалось в других местах. Только раз старик крестьянин после молебна в церкви о спасения государя от покушения Соловьева обратился ко мне с вопросом по поводу злонамеренных людей.

— Сказывал мне один человек, будто это барские сыновья... отняли у них народ, ну они и бунтуют. Как думаешь?

О „злонамеренных“ людях местные крестьяне кое-что знали. За три года перед моим поступлением в земство в Муравню, большое село Динковского уезда, в десяти верстах от моего пункта, приехали из Петербурга на лето к земскому врачу Покрышкину студенты (одного фамилия Сергеев). Они поселились в крестьянской избе, завели знакомство с крестьянами, давали им книжки, вели беседы. Это была одна из ранних изолированных попыток хождения в народ, немного наивная и не очень страшная. Студенты не скрывались, жили под своими фамилиями, книжки, которые я видел у них ¹⁾ были легальные: Мордовцев, Костомаров, популярные издания.

¹⁾ Как раз в это лето я жил в этом селе в семье помещика, в качестве репетитора, и бывал у студентов.

Возникло громкое дело. Доктор Покрышкин, студенты и несколько крестьян были арестованы, долго сидели в тюрьме и были сосланы, доктор в Олонекскую губ., студенты и крестьяне — в Пермскую губ.

История наделала большого шума в округе и долго помнилась. Сосланные никак не укладывались в понятия „злонамеренных“ людей и барских сыновей. Доктор Покрышкин, пожилой уже человек, пользовался большой популярностью среди крестьян как земский врач, никаких дурных дел и худых речей за студентами не числилось, а крестьяне были доброй жизни и хорошего поведения, и тоже не мальчишки — женатые люди, и между ними староста, уважаемый человек.

III.

Моя медицина.

Земская медицина в уезде была примитивно поставлена, как и все дело. Уезд был разделен на два участка, и мне пришлось обслуживать огромную территорию. Кроме старой больницы в городе, в уезде не было ни больниц, ни приемных покоев. И всем медицинским участием мы ведали только вдвоем с фельдшером Антоном Адриановичем. Акушерки не полагались.

В сущности, настоящим представителем медицины в участке долго был этот фельдшер, так как служил давно, а врачи постоянно менялись и очевидно занимали место только до первой возможности устроиться в городе или в более благоустроенном земстве. Антон Адрианович был солидный человек лет под сорок, благообразный, с брюшком, страдал астмой и говорил с одышкой, медленно и внушительно. Крестьяне почитали его, особенно бабы, и я знал, что в первое время моей работы бабы забегали к нему на дом, минуя меня, молоденького врача.

Жил он в чистенькой избе, с половниками, вязаными салфеточками, с занавесочками, с геранью и фуксией на окнах — на городской лад. И жена у него была городская, тонная. Брат ее служил бухгалтером в земской управе, о чем она не уставала напоминать мне при разговорах. Жили полным хозяйством, с курами, гусями, свиньями, и не переводилась у него ветчина, выкопченная в крестьянских избах.

Был у Антона Адриановича личный враг, знахарь, живший в нашем же селе, отставной солдат, пользовавшийся широкой известностью в округе лечением сифилиса. И первое, с чем обратился ко мне Антон Адрианович — была просьба искоренить при посредстве врачебного отделения и полиции венавистного ему знахаря, при чем рассказывал, как знахарь портит народ, сажая „на парь“, давая сулему в крепкой водке, отчего вываливаются зубы и гниют челюсти. Указывая на соблазн — телеги с большими стояли у нашей амбулатории и такие же телеги, иногда в неменьшем количестве у двора знахаря. Антон Адрианович удивлялся моему равнодушию и отказу принимать карательные меры, но скоро стал успокаиваться и регулярно

сообщать мне, как все реже и меньше останавливаются телеги с больными у двора знахаря. Раз он пришел ко мне не в урочное время, задыхающийся от астмы и с великим торжеством объявил, что знахарь укладывается на воны и уезжает искать практику в дальнее село в другом участке.

Моя амбулатория помещалась в обыкновенной избе, в которой раньше жили рабочие экономия, и, если не считать маленькой полутенной клетушки, состояла из одной комнаты с перегородкой, за которой помещалась аптека. Ожидальной не было, и в зимнее время комната была набита стоявшими плечо к плечу больными, и мне приходилось выслушивать больных тут же при всех и только женщин уводить за перегородку.

Больной или больная наклонялись к моему лицу и шепотом рассказывали про свои недуги. Наставления я делал громко и — в этом была хорошая сторона — использовал аудиторию для маленьких лекций о питании грудных детей, о вреде для больных соблюдения постов, о необходимости прививать оспу, об осторожности в семье, где есть сифилитический больной, и пр., и пр.

С 30 и 40 человек в день, число посещений постепенно выросло до 100—150, и был один день, когда мы с Антоном Адриановичем от 6-ти час. утра до 2-х час. ночи приняли 250 человек. Помимо таких приемов на месте, два раза в неделю нужно было выезжать на пункты, где также были амбулатории. Дни были заполнены приемами, так что на эпидемии и по вывозу больных приходилось выезжать поздно вечером или ночью, чтобы вернуться к утреннему приему. А когда возвратившиеся с Дуная солдаты занесли сыпной тиф, поневоле большую часть ночей приходилось проводить в санях, в переездах из деревни в деревню, пока я сам не заразился и не отрезали меня в клинику Захарина.

Должно быть сыпной тиф давно не заглядывал в уезд — эпидемия широко разлилась по деревням, — заболевали целыми семьями от мала до велика. Помню одну семью. Все члены семьи — больше десяти человек — лежали в тифу, на ногах была только молодуха, только что оправлявшаяся от тифа и с белым как снег лицом, еле бродившая и тем не менее стряпавшая, возившаяся с больными, убиравшая снотину.

Скоро выяснилась необходимость больницы. Можно сказать, она сама пришла ко мне.

Как-то в морозный день в конце большого приема, когда сани с больными, целыми рядами стоявшие перед амбулаторией, разъехались, у крыльца амбулатории на снегу оказался большой сверток войлока, а в войлоке голый сыпно-тифозный в бессознательном состоянии, тщедушный перенек 15—16 лет. Потом удалось дознаться, что привезла его и подбросила матека вдова, нищая из соседнего уезда, жившая подаяниями и имевшая кучу своих малолетних детей.

Больного пришлось поместить в каморке за аптекой и продержать до выздоровления — у него скоро наступил кризис. Потом привезли после жестокой метели найденных в сугробе двух обмороженных, которых пришлось

отхаживать и у которых впоследствии пришлось ампутировать пальцы на руках и ногах; привезли раненого пулей, пришлось оперировать; потом приехала диаконица с карбункулом и Христом богом просила оставить в камерке под моим надзором. Заняли и аптечку. А потом пришлось класть и в мою собственную квартиру. Городская больница была переполнена, и при том тогда крестьяне еще по-старинному боялись идти в городскую больницу.

В ближайшем земском собрании я возбудил вопрос об устройстве больницы. В больнице мне отказали, и вершивший медицинские дела в собрании местный землевладелец, профессор гигиены медицинского факультета Московского университета Медведев, от большого ума предложил мне предварительно произвести санитарно-медико-статистическое обследование моего участка (полезда) и потом уже поднимать вопрос о больнице.

Пришлось самому устраивать больницу кустарным способом. Тотчас же после собрания я поехал в Москву и уговорил И. И. Мусин-Пушкина, в чьем имени и доме помещалась амбулатория и моя квартира, пристроить к старой избе сруб для двух комнат, мужской и женской. Он охотно согласился, и при мне же управляющему было отдано распоряжение отпускать на больницу ежедневно ведро молока и сколько нужно хлеба, гречневой крупы и капусты.

Посоветоваться было не с кем, пришлось самому придумывать подходящее устройство уборной, вентиляции. Как-то все удавалось, и вентиляцией я стал даже гордиться. Больных я обложил (кто мог платить) платой в 20 коп. в день, на что покупался керосин, дрова, мясо, масло и всякий приварок. Моя кухарка стряпала обед на больницу, привалятая солдатка с села ухаживала за больными. Конечно, приходилось приплачивать, конечно, бывали нехватки, но дело как-то обходилось. Иногда родные больных, видя нашу бедность, привозили пшена, баранины, курицу. Случалось даже чайком баловались — хлыстовская богородица, пролежавшая в больнице около двух месяцев из-за огромного плевритического экссудата, пожертвовала фунтик чая и сколько-то сахару. Вышла больничка на десять человек, случалось доходило и до пятнадцати и приходилось класть на полу.

Я с некоторым конфузом оглядываюсь на прошлое и на мою больницу; но делать было нечего. Как-то дело обходилось благополучно, и я не припомню случая, где мне пришлось бы раскаиваться. Был впрочем единственный случай, когда от сыпно-тифозного мальчика заразился лежавший в той же камерке больной с огромными язвами третичного сифилиса, но и он поправился, и даже оказался в выигрыше — огромные упорные язвы высохли в несколько дней и после тифа открылись в гораздо меньшем размере, и больной как-то особенно быстро стал поправляться. За год с небольшим существование больницы (до моего ареста) в больнице не было ни одного смертного случая и оперированные поправлялись без осложнений.

Больные были не взыскательны и одобряли мою больницу — и обстановка и пища, которую они получали, были все-таки лучше того, что видели они дома. Все было по-домашнему, по-семейному, настроение в больнице было

дружное и как бы сказать ласковое. У меня остались в памяти хорошие зимние вечера в больничке. Ярко светит большая керосиновая лампа, подвешенная к потолку, где мною велено было прорубить отверстие для вентилирования комнаты. Увлекавшийся Некрасовым сапожник с дальнего села медлительно и с большим чувством читает некрасовские стихи и все слушают; и обмороженные люди, и хлыстовская богородица, с кротким умиленным лицом, и каменная, застывшая в каком-то страдальческом недоумении дяконница. И все остаются довольные, и моя библиотека была достаточно велика, чтобы не было недостатка в книгах для больницы.

Никаких упреков и нареканий от больных не приходилось слышать и с некоторыми, как, например, с хлыстовской богородицей и тем же сапожником, образовалась большая дружба.

Работы было много, и являясь можно сказать ярость к работе, своего рода азарт, знакомый вероятно многим, кто готовился к желанной деятельности и со скань учебного заведения входил в нее. И чем больше наваливалось работы, чем труднее было дело, как с устройством больницы, тем сильнее поднималось желание сделать, овладеть, придумать. Моем азартом заразился и Антон Адрианович. Перестал жаловаться на чрезмерность работы и наоборот, когда на приеме оказывалось менее больных, имел несколько сконфуженный вид, начинал придумывать объяснения, говорил о непогоде, об армарке где-нибудь в округе.

Доверие крестьян к нашей медицине было полное. Так легко было получить это доверие и даже некоторую славу... Наибольший процент больных давали сифилис и малярия, — результаты лечения сказывались быстро, хина, ртуть и нодистый калий поднимали людей на ноги и возвращали к работе. Слухи о выздоровлении от долголетних язв третичного сифилиса, конечно, быстро распространялись по уезду и когда удалось вылечить крестьянина, страдавшего эпилептиформными припадками на сифилитической почве, ко мне стали привозить тяжелых истеричек, — вликуш, психических больных и раз позвали к сумасшедшему, сидевшему несколько лет на цепи в хлеву.

Помню один случай, принесшей мне большое удовлетворение. Как-то ночью в моих поездках по сыпно-тифозной эпидемии, я заехал в дальнюю деревню, в которой раньше не бывал, и, собираясь отыскать старосту, зашел в единственную избу, где светился огонек. На кровати лежал сыпно-тифозный крестьянин, жена его мочила простыню, спитую из полос холста, на столе стояла бутылка с водкой.

— Что вы делаете? — заинтересовался я.

— Да, вот собираюсь хозяина обертывать в холодное.

И когда узнала, что я доктор, пояснила:

— Наслышаны мы, что ты все велишь в холодное завертывать, да водкой отпавать — вот я и пользую.

Я крепко верил в лечение тифа холодными ваннами и за невозможностью практиковать их, обертывал больных в холодные мокрые простыни и, как

практиковалось в клинике Захарьина, с седьмого, восьмого дня, назначал водку через два часа по столовой ложке („привычное возбуждающее“ как объяснял нам при обходах Захарьин).

И вообще крестьяне охотно и доверчиво шли навстречу моим советам и пожеланиям. Помню, в огромном селе вспыхнула эпидемия натуральной оспы. Оспопрививание плохо было поставлено в уезде, и мне приходилось насвех нажимать его. Я собрал сход и объяснял, как распространяется болезнь и как нужно оберегаться ее. Меры крестьяне придумали сами тут же на сходе. Постановили на зараженных домах нарисовать кресты, объявить, чтобы в дома эти никто из здоровых не ходил, а сообщались бы только через окошко, и выбрали десять человек, чтобы наблюдать за порядком и помогать мне и фельдшеру.

Скоро у нас с Антоном Адриановичем явились помощники. Медицинский персонал увеличился таким же явочным порядком, как и создавалась моя больница. Ко мне приехал студент медико-хирургической академии Иннокентий Пьяннов, убежавший из ссылки из Пинеги, направленный ко мне из Петербурга и по паспорту значившийся Павлом Алексеевич (фамилию я забыл). Мне удалось убедить земскую управу в необходимости иметь помощника фельдшера. Павел Алексеевич был официально зачислен помощником фельдшера с жалованьем 15 руб. в месяц. Человек он был тактичный, превосходно работал всю зиму, и, что для меня было очень важно, у него сложились хорошие отношения с фельдшером Антоном Адриановичем.

Работать нам стало легче. А летом приехали трое моих друзей, студентов-медиков. Двое из них получили потом широкую известность: Сергей Васильевич Мартынов, после 1-го марта ставший членом Исполнительного Комитета партии Народной Воли, и Петр Петрович Кашенко, будущий председатель обще-университетских сходов, сыгравших большую роль в московском студенческом движении, сделавшийся потом известным психиатром. Приехала сестра Веры Николаевны Фитнер — Евгения Николаевна, после того, как им с Верой Николаевной пришлось скрыться из Саратовской губ. от готовившегося ареста. Евгения Николаевна работала в качестве бесплатной фельдшерицы. Народу стало много, приехала из Москвы моя сестра-акушерка, помогавшая мне в разъездах по участку. Работать стало легче. В страдное время все гости привлекались к работе, заблаговременно готовили порошки, научились у Антона Адриановича делать мази и пилюли.

То было веселое, радостное лето. Москвичи отдыхали, отъедались бараниной, а закупили десятков овец на ярмарке, и благодушествовали. Евгения Николаевна пела своим прекрасным сильным голосом „Бурный поток, чащи лесов“. И бедный Кашенко, которому нужно было готовиться к экзамену, избравший себе местожительством чердак, должен был скрываться от общества туда по лестнице, которую он поднимал за собой, чтобы сделаться недосягаемым.

Была идиллия. Мой медицинский пункт помещался на краю уезда в углу трех уездов: Скопинского, Раненбургского и Данковского, за все время

становой ни разу не заглядывал в мое село, и времена были еще мягкие, необостренные, скопление подозрительных людей у меня не возбудило ничего внимания.

Помню, как-то в Скопине я случайно прочитал передовицу „Московских Ведомостей“, где правительство поучалось насчет распространения революционной пропаганды по деревням и была включена фраза, приблизительно такого смысла: „а Иванчин-Писарев все еще продолжает быть на свободе“. А через два дня ко мне приехал на тройке с бубенцами этот самый Иванчин-Писарев баринком, по-барски одетым. Он приехал повидаться с Евгенией Николаевной Фигнер и посетить старые места, где он работал в перерывах своего хождения в народ. И была любопытная встреча его у меня в доме с приехавшей ко мне в гости помещицей, которую он, служа кучером у другого барина, отвозил как-то в ее имение. Помещица не узнала в петербургском джентльмене кучера, которому когда-то давала на водку, и они много беседовали, как люди одного круга, Иванчин-Писарев был тоже родовой помещик.

Идиллия недолго продолжалась. Уехали в Москву студенты сдавать выпускные экзамены, осенью уехала Е. Н. Фигнер, через три месяца, арестованная в Петербурге по делу взрыва Зимнего дворца, сосланная потом на поселение в Сибирь, где вышла замуж за Михаила Петровича Сажина, освободившегося от каторги.

Уехал и Пьянков, мой помощник, фельдшер Павел Алексеевич, он был товарищ и приятель Плеханова, в ту же зиму он был арестован за набором в тайной типографии издававшейся тогда нелегальной газеты „Черный Передел.“ Его судьба сложилась не совсем обыкновенно. Он сослан был в Сибирь, в родную Сибирь, где он родился и откуда поехал учиться в Петербург. Изредка я получал о нем сведения. Мне говорили, что он женился на вдове казенного Квятковского, и когда его брат, ведший крупное винное дело, умер, оставивши малолетних детей, взял в свои руки его дело, перенес его в Амурскую область, организовал какие-то огромные другие дела, сделался миллионером и, как называли его, финансовым королем Приамурья. Был крупным общественным деятелем, сосредоточивал свои заботы и тратил свои деньги на народное образование, — от Никольско-Уссурийского до Владивостока, — выстроил гимназию, был организатором целого ряда культурно-просветительных учреждений Приамурья. Через 35 лет после манифеста 17-го октября он разыскал меня в Петербурге. В общем имевшиеся у меня сведения о нем подтвердились. Он приехал в Петербург по своим делам и между прочим по книгоиздательству, которое он хотел организовать в огромных размерах в Приамурье. У нас образовались некоторые общие планы, но он скоро после нашего свидания умер от воспаления легких.

Он обедал у меня, и помню странное мое впечатление: за моим столом сидел не миллионер и финансовый король, а не очень изменившийся, только постаревший мой помощник фельдшера Павел Алексеевич.

Мы остались не одни с Антоном Адриановичем, приехала из Петербурга О. А. Матцева, исключенная из Петербургских медицинских курсов,

пучиться медицине, поработать практически, чтобы сделаться фелдшерцей.

IV.

Хлыстовская богородица, „Сапожник“, и Дмитрий Васильевич.

Именно в больнице у меня образовались крепкие знакомства кое с кем из местного крестьянства.

Дольше всех прожила, как я уже упоминал, хлыстовская богородица. Появление ее произвело некоторую сенсацию. Она была известна на всю округу, как бывшая хлыстовская богородица. Антон Адрианович, знавший всех и все в моем медицинском участке, говорил, что она была знаменитая красавица и знаменитая хлыстовка, совращавшая многих в хлыстовскую веру, гнездившуюся в южной части моего участка, примыкавшей к протекавшему там Дону. Как о хлыстовской богородице, говорили о ней и кухарка моя там из другого села, и больные, среди которых она очутилась.

И было вместе с тем какое-то особое отношение к ней, — осторожное, бережное, и, я бы сказал, почтительное. Никто не попрекал ее прошлым, не шутил с ней и над ней и — что меня особенно поразило — не совсем опрятные разговоры и не очень приличные слова прекращались в больнице, когда она выходила из своей женской комнаты в мужскую.

Следы редкостной красоты сохранялись и в лице тридцатипятилетней женщины, и лежало на нем в ее прекрасных глазах какое-то особое выражение внутренней тишины, примиренности, человеческой ласковости. И в те светлые радостные зимние вечера, про которые я говорил, в нашей больничке, она вносила именно эту тишину, ласковость в то как она слушала Некрасова, как утешала тяжелых больных.

Я знал, что она уже давно присоединилась к церкви. Я был у нее в гостях. Она вышла замуж за своего двоюродного брата, тоже хлыста и также присоединившегося к церкви, и у него было такое же красивое лицо, с задумчивыми глазами и с тем же выражением сокровенного, при- таенного, как и у нее.

Жили они в чистеньком, опрятном домике, с цветочками в палисаднике, на берегу маленького, совсем там „тихого“ Дона. У них была деревенская лавочка — муж не занимался деревенским кредитованием и ссыпкой хлеба, а только своей лавочкой. Землей они не занимались, жили вдвоем, бездетные. Тишина и покой были в светлой, опрятной с крашеными полами и половиками прибранной горнице, с картичками из священного писания на стенах, с душевспасительными книжками на полочках.

И от всего их облика, от бесшумных движений, от коротких, ласковых слов, которыми они обменивались, от беззлобных разговоров о житейских делах веяло тишью замиренной души, успокоившегося сердца. Очевидно, кончили для них бури душевные, нашли они мирную пристань, тихую обитель и должно.

быть только друг с другом, один на один в тишине безмолвных вечеров говорили они о тайнов, о сокровенном их, что лежало в глубине их душ, смотрело из их задумчивых глаз.

Мы были друзьями. Когда меня отвезли тифозного в Захарьинскую клинику, в участке распространился слух, что я умер, и в двух, трех близких селах крестьяне отслужили панихиду за упокой моей души. Помню в один из первых приемов после моего возвращения из клиники я увидел в окошко, как по сельской дороге прошла странница с подожком и с котомкой за спиной, и промелькнуло для меня что-то знакомое в фигуре странницы. На другой день Антон Адрианович, смеясь, рассказал, что то была хлыстовская богородица, которая дала обет по случаю моей смерти сходить к Тихову Задонскому помолиться за мою грешную душу, что она узнала на селе о моем выздоровлении и вернулась домой, застыдившись зайти ко мне.

Служился со мной и сапожник, любитель Некрасова, о котором я уже упоминал, тоже долго, одновременно с хлыстовской богородицей, пролежавший у меня в больничке. Он был добрый, землей не занимавшийся, деревенский грамотей и ходатай, писавший прошения и жалобы, выступавший перед начальством и пользовавшийся у начальства репутацией смутливого и беспокойного человека. Кажется, никому в такой мере не понравилось устройство моей больницы и вся моя медицина, как ему. И когда у меня сделан был обыск жандармами, через короткое время ко мне явился этот сапожник вместе со старостой того дальнего села и сделали мне неожиданное предложение. Они решили, что после обыска на службе в земстве меня не оставят и на волостном сходе постановили устроить в своей волости собственную медицину и меня пригласить врачом. Присоединилась к предложению и смежная волость, все было обдуманно с той хозяйственной обстоятельностью, с какой принимаются подобные крестьянские решения. Положено было мне жалование 700 руб., хорошая изба с отоплением и огород. Кроме того, лечить принадлежавших к этим двум волостям я должен был бесплатно, но со всех других волен был брать плату за свои труды и за стоимость отпускаемых лекарств. Когда я заявил им, что без больнички, без приемного покоя, я лечения в деревне не понимаю, посланцы, оказывается, предусмотрели и это и выработали сложную систему прокормления своих за общественный счет и взимания платы с посторонних.

Я не очень верил в благополучный конец моего обыска, но предложение устроиться вольным доктором, как называли мое будущее положение эти посланцы, устроить новую вольную сельскую медицину меня соблазняло, и условно я согласился.

Деревенская мысль, очевидно, продолжала упорно работать в том же направлении, и даже, когда я уже сидел в скопинской тюрьме, раз меня вызвали в воротах, там ждали, желали повидаться со мной те же сапожник и староста, пожелавшие узнать, правды ли, что меня скоро выпустят, и сообщившие, что они меня ждут и что насчет больницы и всего прочего все обговорено.

Наиболее близкие отношения сложились у меня с крестьянином соседней деревни Дмитрием Васильевичем, который около года возил меня на своих лошадях по участку, пока я не собрался купить себе лошадей ¹⁾.

Выезжать в участок приходилось часто, в особенности во время эпидемий сыпного тифа, когда я, пока не свалился, посетил по деревням несколько сот сыпнотифозных.

Дмитрий Васильевич приезжал за мной в сумерки, приемы в амбулатории оканчивались поздно, и поневоле приходилось ночью объезжать участок. Я привык еще в университете мало спать, три-четыре часа хорошего сна в розвальнях или телеге, набитой доверху сеном, где можно растянуться во всю длину, были для меня совершенно достаточным отдыхом. Приедешь в деревню, обойдешь со старостой с фонарем избы, где были больные, и дальше едешь, а к утру — к приему нужно было возвращаться домой.

И вот эти ночные поездки были долгими беседами с Дмитрием Васильевичем о всем том, чем болело его сердце и над чем, очевидно, давно и тяжело думал этот крупный крестьянский ум. Он рассказывал мне, как живут крестьяне, как управляют со своим хозяйством помещики, что делается в волостных правлениях.

Когда мы проезжали ночью через затихшие, бессветные, словно мертвые деревни, мимо старых помещичьих домов, с покосившимися колоннами, откуда бросались на нас огромные псы, он рассказывал, как, вот, в этом селе не принимали воли, отказывались брать глину, которую желал отвезти крестьянам помещик, как два года стояли тут солдаты, вынимали рамы, снимали крыши с изб, как усмиряли и как все не покорялись люди усмирителям. Как вот в этом полуразрушенном каменном здании бывшего винокуренного завода крепостные сварили в котле своего жестокого барина, как широко пользовался помещик в другом имении правом первой ночи и как трагически погиб он. Он говорил холодным бесстрастным голосом, не слышно было в нем ни жалоб, ни негодования, тонкое, строгое, редко улыбавшееся лицо оставалось бесстрастным, и только по тому, как упорно возвращался он к тому старому, порой страшному и всегда печальному прошлому, как глубоко входил он во все горестное и жуткое, чем полна была крестьянская жизнь, я понимал тяжкую напряженную думу и негодующее сердце этого строгого замкнутого в себе человека. И тогда оживали перед мной мертвые избы и вскрывалось то, что лежало глубоким пластом на дне этих кротках, казалось, таких покорных людей.

И весь он резко выделялся из среды тогдашнего заурядного крестьянства. Он был грамотнее других, две зимы извозничал в Москве, почитывал там газеты, кругозор его был шире и не ограничивался мечтами о белых водах и ожиданием решения вопроса о земле сверху, от царя. И другие вопросы предлагал он мне. Как живут люди в других государствах, какое там управление и почему там жизнь сложилась так не похоже на нашу рус-

¹⁾ Земских лошадей мне не полагалось, и я должен был разъезжать по участку на свой счет.

скую жизнь, он знал, что не похоже. И другие книги, не стихи, не Некрасова, какие давал я грамотной и полуграмотной молодежи, выбирал он и брал из моей библиотеки.

Семья его была большая, жив был еще отец, кроме него было два брата, один из них по зимам извозничал в Москве. Жила семья скудно, но лучше других. У них был обычный нищенский надел, они также „обязывались“ разбирать барскую землю в том размере и по тем ценам, как устанавливал управляющий, но семья успевала во-время „очищать“ подати, и не посылали их в волостном правлении „на торфа“.

Отец был старый, рано износившийся; домоправителем и представителем семьи на сельских сходах был старший из братьев, Дмитрий Васильевич. Я знал, что он пользовался огромным авторитетом среди окружного крестьянства, и, несмотря на свою молодость, он был всего на 3—4 года старше меня, ему было 26—27 лет, намечался в старшаны на волостном сходе. Как-то я спросил его, почему он отказался быть старшиной? Он сурово ответил:

— В старшинах ходить—совесть потерять.

И потом прибавил:

— И тоже у начальства на побегушках не больно охота.

Наша дружба продолжалась и после того, как я перестал ездить с ним. И он часто бывал у меня, и я заезжал к нему в гости, пировал на свадьбе зюгда женили младшего брата.

V.

Д в о р я н с т в о .

Не на себя работал крестьянин. Куда-то, в пространство утекал его хлеб, кто-то уводил его коров, жеребят, агнят, кому-то несли яйца крестьянские куры. И, оглядываясь на прошлое, я спрашиваю себя, куда, в какую прорву, уходило все это?

Да, конечно, казна, государство. Государство прежде всего. Государству шли подати, для уплаты которых крестьяне должны были осенью, почему ни попало продавать только что обмолоченный хлеб и „обязываться“ с осени разбирать барские земли; для него черноземные мужики отправлялись в неведомые края копать чужие земли, чтобы отработать свои недоимки и заработать сифилис для себя и семейства.

Это было безличное, общее тяготевшее над всем крестьянством, за счет которого расширялись границы государства российского, велись войны, шла своеобразная государственная работа на окраинах, обрусение Польши и Финляндии, обращение в православие мусульман и язычников, и проч. и, проч.

А потом дворянство, помещики. Эти были тут налицо. Помещичьи земли облегали крестьянские дворы, и знаменитое „курцу выпустить некуда“ звучало реальным смыслом.

Фактически по-старому крестьяне были прикреплены к помещику. Главным и бросавшимся в глаза потребителем народного труда было дворянство, и оно, казалось, являлось той бездонной прорвой, куда уходило крестьянское добро. Казалось... Это было так, но, вспоминая тогдашние времена и скопинские места, я с некоторым изумлением оглядываюсь на результаты этой дворянской эксплуатации народа.

Дворянство беднело, а не богатело, не распухало, а тощало. Тогда уже шло во-всю дворянское оскудение. Я знаю много случаев, когда на моих глазах куда-то уплывали, как крестьянский хлеб, помещичьи земли, и как-то не припомню случая, по крайней мере в моем медицинском участке, занимавшем пол-уезда, чтобы дворянин-помещик прикупал земли, расширял свои владения.

Пусто было в дворянских усадьбах. В огромных, когда-то шумных домах с колоннами доживали старики, сыновья которых где-то командовали в войсках, где-то служили губернаторами, исправниками, департаментскими чиновниками, инженерами и приезжали изредка, раз в два-три года в имение вместо подмосковной или петербургской дачи. И жили там управляющие немцы, латыши, а те же мещане из города, лучше немцев приспособившиеся к особенностям тогдашнего помещичьего хозяйства. Встречались и совсем покинутые хозяевами, наглухо заколоченные, развалившиеся помещичьи дома. Были и совсем деклассированные, влившиеся в разночинскую массу дворяне, отцы которых играли значительную роль в уезде.

Не часто встречался помещик, сидевший на земле и сам ведший хозяйство. Большинство не занималось землей, как источником существования. Дворяне-помещики жили где-то далеко от своей земли, на казенном жалованьи, на легких хлебах, в банках, на железных дорогах, на службе у капитала, во всяких предприятиях, где в те времена дворянское имя, в особенности громкое, ценилось выше диплома и знания, а земли, имение была дачей, где все-таки нужно было вести нудные разговоры с управляющим, с мужиками и где не было подходящего общества.

Управляли управляющие, приказчики, и хозяйство в большинстве случаев велось тем же путем „обязывания“ крестьян принудительной обработкой. Случалось, приезжали ученые агрономы из остзейских провинций с навыками ведения дела в баровских хозяйствах, пытались заводить новые порядки, сельскохозяйственные машины, обработку собственным инвентарем. Но оборотного капитала не было, усовершенствованная обработка оказывалась менее выгодной, чем использование ничего не стоящего крестьянского труда, и кончалось тем, что сельскохозяйственные машины ржавели в сараях, а ученые управляющие постепенно переходили к местным мерам хозяйствования или уступали место юрким приказчикам, в поддевах из тонкого сукна, в картузах с блестящим козырьком, что носились целые дни на бегушках по полям и так превосходно знали крестьянскую психологию и особенности местной сельскохозяйственной культуры.

В соседних губерниях встречались культурные хозяйства, опытные поля, обработка машинами, семенное хозяйство—ничего подобного я не припомню в той местности, где я жил.

Дворяне-помещики уезжали не только от своих земель, но и вообще от местной жизни. Было земство, плохонькое, неналаженное, но земство, где все-таки платили жалованье. И в высокой степени характерно, что земское дело в этом дворянско-помещичьем уезде обслуживалось не дворянами, а или пришлыми людьми или инородцами. Председателем земской управы был немецкий русский разночинец, родившийся и воспитывавшийся в Лифляндии, с совершенно русской фамилией, но плохо владевший русским языком. Кажется, он приехал в наш уезд управляющим, потом купил маленькое имение и должно быть за то, что он был полунемец, считался деловым человеком. аккуратно являлся в управу в положенные часы и с сигарой во рту, ломанным русским языком отдавал нужные распоряжения, и был выбран председателем земской управы. Один член управы был скопинский купец, другой крестьянин, бывший гуртовщик, ликвидировавший свои дела и доживавший свой век в усадьбе на краю города ¹⁾. И не то, что земство было новое, — оно уже существовало около десяти лет — но к нему, к службе в нем было какое-то особенное отношение помещичьего дворянства, как к чему-то несерьезному, куда настоящему дворянину не слишком подобает идти.

Дворяне являлись на земские собрания, иногда приезжали даже из других городов и всегда составляли большинство, но, казалось, они отсиживали скучное дело, в роде того, как в старинные времена почтенные купцы из почта отсиживали в городских думах. Это не мешало, конечно, им вести в собраниях свою помещичью линию, перекладывать тяжесть земского обложения на крестьянские земли и при голосовании давать соответствующие инструкции старшинам — гласным, безмолвно сидевшим в сторонке. Им не нужно было ни народного образования, ни медицина, и бюджет на них систематически обрезавался. Вспоминая прошлое, я думаю, что это было исключительное земство.

И молодое, подроставшее дворянское поколение целиком уходило от земли. Сыновья более богатых и родовитых помещиков поступали в Александровский лицей, в Училище Правоведения, в Пажеский корпус; среднее дворянство шло в кадетские корпуса и отчасти в гимназии. Из либеральных профессий особым престижем тогда пользовалась профессия инженеров и, отчасти, адвокатура. Медицинский, математический и филологический факультеты заполнялись преимущественно разночинцами, в особенности детьми духовенства. А в Петровскую земледельческую академию в мое время из местного дворянства не шли.

Во время студенчества я имел обширное знакомство в среде студентов Петровской академии, там были уроженцы Архангельской губ., Сибири Поволжья и Прикамья, были уроженцы далекого юга, но я как-то не могу припомнить студентов из Рязанской губ. Как будто они наименее нуждались в сельскохозяйственных знаниях, в повышении земледельческой культуры. И слышал,

¹⁾ Родной брат известного тогда в Москве доктора П. И. Боква, тесно связанного с Чернышевским и людьми 60-х годов, — говорили вместе с Сеченовым выведенного в романе Чернышевского „Что делать“.

что потом состав студенчества Петровской академии значительно изменился, но так было в мое время, и я твердо помню, что ни в одном имении моего медицинского участка не было управляющего из студентов Петровской академии.

Люди не шли к земле, отворачивались от земли. С юности уже предопределяли свой путь, шли куда угодно, только не к земле, к сельскому хозяйству, как к постоянному занятию, как к источнику жизни.

Я не говорю о латифундиях, о дворянах, владевших тысячами десятин. Те в большинстве случаев были на верхах государственной жизни, при дворе, у кормила власти и имели совсем особые источники дохода. И потом они не принимали никакого участия в местных делах и почти не заглядывали в свои имения. Я говорю о средних дворянах-помещиках, которые не имели villi в Риме и Ницце, зависели от земли и поневоле толкались на месте, если не служили и не работали на отхожих промыслах.

Нигде, насколько мне известно, не складывались обстоятельства так благоприятно для дворянского землевладения, как в данном случае. Хорошая земля, поразительно дешевый крестьянский труд, при этом не отвлекаемый от земли фабриками и заводами, которых почти не было в уезде, и вот, при всех этих условиях дворянское землевладение шло на убыль, и помещики, разоряя крестьян, разорялись и сами...

И опять я задаю себе вопрос: куда, в какую прорву уходило все это — и помещичье добро и крестьянский труд? Да, были кулаки, но я говорил, уже, какие-то набеглые, несолидные, неоседлые. Приезжали купцы, покупали на сруб помещичьи рощи, сводили их и опять исчезали, но случаи перехода дворянских имений в купеческие руки были тогда еще редки.

Я знаю, что потом многие из помещиков вернулись к земле и занялись ею на другой манер, пошли в земство. При дворянском царе Александре III снова собрались около престола и внедрялись в местную администрацию, но это были последние судороги умирающего тела, тени уходящего дня. Как-то долго спустя мне пришлось присутствовать при разговоре помещиков в рубке первого класса роскошного волжского парохода. Огромный, плотный, со щетиной седоватых волос губернский предводитель дворянства одной из волжских губерний доказывавшим, что реформы Александра III пришли слишком поздно, когда уже значительная часть земли уплыла из дворянских рук, а остальная заложена и перезаложена в банках. Помню его фразу:

— Мы теперь в сущности являемся не владельцами, а банковскими управляющими наших имений. На банки работаем. В нашей губернии совсем мало осталось дворян на местах, приходится назначать в земские начальники армейских офицеров, каких-то телеграфистов...

В слово „телеграфистов“ вложена была достаточная доля презрения. Реформы и „воспособления“ дворянского царя не остановили процесс угнетения дворянства, как сословия. В литературе прочно утвердилось мне

ние, что все дело в психологии дворянства, в их неумении приспособиться к новым условиям жизни и освободиться от традиций и психологии крепостных времен... Но нет ли здесь, в этой бесхозяйственности, в этом деловом распутстве, в какой-то невыработанности должной техники жизни, общенациональных черт, присущих и купечеству и культурным, интеллигентным людям и всему народу? Здесь не место развешивать эту тему и может быть в будущем мне придется возвратиться к ней, как к результату долгих житейских наблюдений.

VI.

И. И. Мусин-Пушкин.

Медицинский пункт, моя квартира и изба, где были приемная и аптека, находились в селе Милославском, в имении крупного помещика Мусина-Пушкина, который жил постоянно в Москве и предоставлял земству бесплатно все эти постройки.

Мусин-Пушкин по тем временам являлся характерной фигурой. Ему было за пятьдесят лет, и по годам и по духовному облику он относился к людям 40-х, 50-х годов и нес в себе все то, что было присуще людям тех времен. И проделал ту же эволюцию. По окончании Московского университета уехал в Германию и несколько лет штудировал там немецкую философию. Знавшие его молодым человеком говорили мне, что он усердно готовился к кафедре и писал оставшуюся недооконченную диссертацию по философии.

Как-то после земского собрания, он заехал в свое имение, в которое редко заглядывал, и долго засиделся у меня. Мы говорили о Московском университете его и моего времени, о германской науке — он воодушевлялся, и помню, когда ему нужно было что-нибудь определить общими определениями или выразить очень интимную мысль, он прибегал к немецкому языку, приводил немецкие цитаты.

Повидимому, все то новое, что входило в русскую жизнь с конца пятидесятых годов, захватило его и отвлекло от профессорской кафедры. Я знал, что он радостно приветствовал появление земских учреждений, и в Московской губ., где у него было основное большое родовое имение, с самого открытия земства был бессменным гласным уездного и губернского земства, был, насколько мне известно, членом первой московской губернской земской управы и играл значительную роль во всех лучших начинаниях земства. Он был гласным и в Скопинском уезде, неизменно являлся и на наше земское собрание, произносил прекрасные речи, лучших, какие приходилось мне там слышать — о народном образовании, о той же медицине; но он был одинок, поддерживали его трое — четверо гласных, и его деятельность не сказывалась на работе нашего земства.

Высокий, крупный, с седеющими баками и подслеповатыми присматривающимися глазами, корректно одетый, он резко отличался по своим мане-

рам и всему облику от местных дворян. Мусин-Пушкин был джентльмен, образованный, добрый, благожелательный человек, был известен в Москве своею благотворительностью и всегда шел навстречу моим попыткам уладить мой медицинский пункт.

И вот у этого джентльмена, доброго, просвещенного человека, именно у него мальчик-подросток за день работы на барской молотилке получал 5 коп. на своих харчах. В его имении была та же система хозяйства—принудительная раздача земли, „обвязывание“ крестьян с осени, именно в его селе крестьяне жили нищими и полуголодными. У него было не хуже чем в соседних имениях, но и не лучше. И как же далек он был от земли.

Я застал еще немца управляющего, жившего в другом соседнем имении Мусина-Пушкина, в Масальском, даже ученого немца-агронома. Повидимому, немец пытался сначала что-то сделать, как-то по-другому поставить хозяйство, но в мое время он вел хозяйство по проторенному пути эксплуатации крестьянского труда, тяжело пил и почти не выезжал из дому, в соседнее Милославское совсем не являлся.

Грубого немца заменил русский приказчик, мещанин ближайшего города, кругленький и толстенный, ласковый и обходительный. Своего рода знаменитость, славившаяся умением находить новые источники дохода в самых запущенных имениях и выжимать из крестьян последние остатки не выжатого еще в пользу помещика крестьянского труда.

Мусин-Пушкин был родовитый дворянин и получил от отца миллионное наследство, но оно куда-то уплыло, и в то время, как я его знал, главное имущество—большое богатое имение в соседней губернии было уже продано, а два оставшиеся в нашем уезде имения были обременены банковскими и иными долгами — он уже „оборачивался“, как определяли всезнающие городские купцы таких помещиков, и начинал скатываться вниз.

Его родные рассказывали мне, что одно время он сильно играл на бирже и там потерял значительную часть своего состояния, но, зная его отношение к своему хозяйственному делу и его манеру жизни, я думаю, что и без игры на бирже он разорился бы и скатился вниз, как скатывались и другие дворяне в то время, не игравшие на бирже.

Он редко заглядывал в свои имения и не всегда даже заезжал с земского собрания, хотя город был только в 20-ти верстах от имения, и ограничивался вызовом в город приказчика. И когда я теперь вспоминаю, как мало стлавал он времени и внимания имению, в котором я жил, как он при мне выслушивал отчет старосты или приказчика по состоянию имения, мне кажется, что у него было, как бы сказать, некоторое брезгливое отношение ко всему своему хозяйственному делу, что он уже тогда считал свое дело обреченным, и только бессильно барахтался, будучи не в силах найти какой-нибудь выход, кроме того, что было заведено, что все-таки давало возможность уплачивать проценты по долгам и оборачиваться.

А манера московской жизни его была та же прежняя, налаженная на широкий лад, которую он, очевидно, не мог или не желал изменить. Он за-

нимал со своей семьей большой двух-этажный особняк, набитый гувернантками, боннами, прислужой, и за его стол всегда садилось много народу. Его дети говорили по-французски и плохо выговаривали русские слова. Мусина-Пушкина продолжали еще считать в Москве богатым человеком, и он тоже не мог или не желал рабывать эту иллюзию. К нему обращались за пожертвованиями на разные благотворительные учреждения — он не отказывал, в его приемной часто являлись просители и не уходили от него с пустыми руками.

Помню, раз, в один из моих приездов в Москву, он провожал меня после обеда вниз по лестнице — внизу у лестницы стояла пожилая дама в трауре, бедно одетая, совала Мусину-Пушкину какую-то измятую тетрадь, вроде паспорта, и я расслышал, как она рекомендовалась.

— Книгиня...

Он сконфуженно рылся у себя в партмоне, вынул, не считая, несколько ассигнаций и подал их книгине.

Все пошло прахом. Он умер буквально в нищете. Обищавшая семья где-то приютилась в оставшемся домике с маленьким кусочком земли, а сам Мусин-Пушкин переехал в Петербург, где его пристроили к какому-то допотопному учреждению на ничтожное жалованье, которого еле хватало, чтобы не умереть с голода. Под конец он почти совсем ослеп и, говорили мне, его раздавила чья-то карета, когда он переходил через улицу.

VII.

С а ф о н о в.

Недалеко от меня жил суровый, угрюмый старик-помещик, чуть ли не единственный, который плотно сидел на земле, сам без управляющего вел крупное хозяйство и преуспевал, а не спускался вниз. Где-то далеко была у него дочь замужем, при мне ни разу не приезжавшая к отцу, и жил он одиновым стариком в своем большом, тоже состарившемся доме, с потемневшими колоннами, с покинутыми людьми службами, с заросшим густой травой двором.

Он был весь в прошлом, в крепостной России. Был обиженный освобождением крестьян, озлобленный, непримирившийся. Он не признавал земства, игнорировал его, не платил земских сборов за свою землю, упорно отказывался быть гласным и не участвовал ни в каких выборах.

Всю волость и в особенности свое село он держал в кожаных рукавицах.

Всем было известно, что он в родстве с одним из министров. Губернатор при редких объездах губернии считал необходимым сделать визит Сафонову, а местное начальство, становой пристав должен был предварительно переодеться во флигеле старосты в парадную форму, прежде нежели быть допущенным в комнаты.

По-старому старшина и староста являлись к нему докладывать о всем, что случилось в волости и в селе, по-старому крестьяне не смели начинать уборку своего хлеба — и крестьянский хлеб осыпался, пока не управятся с уборкой барского хлеба.

Повидимому, он игнорировал, не хотел признавать ничего из того, что вошло в жизнь с шестидесятых годов. Он приказывал выбирать в гласные только старшину, не терпел, чтобы его крестьяне ходили судиться к мировому, и очень доволен был, когда по-старому крестьяне приносили ему свои жалобы, приходили разбираться в своих делах. Он создал вокруг себя особый уголок жизни, куда не проникало ненавистное новое и жило почти полной жизнью старое прошлое.

Я долго не верил, пока сам не убедился в справедливости, рассказам моего фельдшера, что Сафонов не позволял даже своим крестьянам лечиться у земского врача и у него, земского фельдшера. За все время моей службы из этой волости ко мне не поступало ни одной бумаги, какие получались из других волостей—приехать, „по случаю появившейся на людях болезни“.— Ни разу не вызывали меня оттуда к больному. Больные из его села приходили лечиться в мою амбулаторию, но записывались жителями других дальних деревень. На почве этого происходили комические сцены, когда фельдшер, служивший на пункте с основания его и прекрасно знавший окрестное население, начинал допрашивать какую-нибудь бабу, не из Сафоновского ли села она. Смелась баба, хохот поднимался в толпе больных, но баба упорно настаивала на своем и записывалась, как жительница других мест.

Велико было изумление Антона Адриановича, когда приехал экипаж от Сафопова с приглашением меня навестить больную экономку его. Антон Адрианович уверял меня, что за десять лет его службы это был первый случай, когда Сафонов обратился к земскому врачу, а не к вольному доктору из города, куда он несмотря на дальность расстояния всегда обращался в случае нужды.

Меня встретил крахотливый старик с коротко остриженными седыми волосами и со строгим, красивым лицом. Он был подчеркнуто любезен и предупредителен и после осмотра больной настоял, чтобы я остался завтракать.

Мы сидели вдвоем за большим обеденным столом. В стороне в глубоком кресле дремала древняя старушка—родственница Сафопова, за креслом стоял человек и зеленой веткой отмахивал мух от головы старушки. Далеким прошлым, давно ушедшим веяло от больших безлюдных комнат, от старых портретов, смотревших со стен, от бесшумно входившей и выходившей прислуги, от казачка с сонным усталым лицом, от громадных часов с бронзовыми инкрустациями, игравшими давно забытую арию и так трудно и казалось неохотно отсчитывавших все уходящее и уходившее время.

Я приехал не особенно рано, у крыльца с колоннами уже стояла толпа крестьян без шапок, я довольно долго провозился с больной, и, когда уезжал после завтрака, толпа все стояла—смирная, боязливая и все ждала, когда выйдет барин.

Так и доживал свой век одинокий нелюдимый старик—он ни к кому не ездил в гости и редко кто бывал у него в старом пустом доме, с обезлюдевшими дворовыми службами, с заросшим травой, не вытоптаным колесами

двором, — этот обломок крепостной России, отрицавший и должен был ненавидеть все то новое, что входило в жизнь.

Тогда только семнадцать лет прошло с освобождения крестьян, и много встречалось еще дворян с незажившей раной в сердце, обиженных, непримирившихся. Пало крепостное право, но медленно и трудно уходило крепостное прошлое и долго и сверху и внизу оставались крепостные чувства, в нравах, в людских отношениях. Медленно уходила старая крепость из человеческих душ.

Не ушла, не совсем еще ушла она и теперь, когда я пишу эти строки.

VIII.

Кареев.

Встречались еще тургеневские типы, пережитки давнего, тени уходящего дня.

Был помещик Кареев. В городе появлялся изредка и всегда неожиданно, и когда видели на улице стройную фигуру, с тонкой талией, перетянутой поверх поддевки-казакина кавказским ремнем, городские люди знали, что где-нибудь в уезде готовится грандиозная охота на волков и лисиц с облавами, с гончими и борзыми — в двух-трех имениях сохранялась еще псовая охота со старым антуражем. Из каких-то углов появлялись неведомые люди, которых в другое время редко можно было встретить, в фантастических костюмах, с собаками, с ружьями, с нагайками.

Кареев также внезапно исчезал и неизвестно куда, и только время от времени доносились слухи, что он где-нибудь далеко в Тамбовской или Пензенской губ., которая тогда еще славилась своими помещиками-охотниками, целыми ватагами, с дворней, с кухнями, со сворами собак переезжавшими из уезда в уезд.

Как жил и чем жил Кареев, мало кому было известно. Он был совершенно одинок, у него не было семьи, кажется, не было родных в нашем уезде. Недолго он прослужил офицером и давно уже жил бродячей жизнью, переезжая из губернии в губернию везде, где была крупная охота. Где-то в углу уезда у Кареева оставалась еще земля и дом, говорили, что имением управляла его старая няня и что он всегда удовлетворялся тем немногим, что считали возможным давать ему арендовавшие землю крестьяне его деревни.

Едва ли дом, земля и все, что связано с хозяйством, занимали большое место в жизни Кареева. У него были две драгоценности, неотделимые от него, с чем он никогда не расставался: чудесный неутомимый конь и борзая сука таких кровей, что записные охотники, когда рассказывали генеологию суки, приходили в благоговение и говорили, что это единственная сука, отпрыск знаменитейшей во всем мире вымирающей породы. Ему предлагали не раз безумные деньги за суку, он только смеялся. Получить щенка от суки — Кареев не продавал, а только дарил — считалось не только большим счастьем, но и великой честью.

Кареев не был ни мотом, ни пьяницей, ни игроком — его единственная страсть, существо жизни — была охота. И мне так же трудно представить себе Кареева без его собаки и лошади, оседлым человеком, как трудно представить среднего обывателя, без „дела“, без дома, без уюта. Когда я встречал его в гостиной, с лампами под абажуром, в мягком кресле, среди всего уюта и комфорта помещичьего насиженного места, среди дам, среди отсыревших, немного обрюзгших дворян — его, с обветренным сухим и строгим лицом, с круглыми, как у птицы зоркими глазами, казавшегося моложе его 35 — 40 лет — мне все казалось, что он отвык от этой мирной заабажуренной обстановки, что ему чуждо то, о чем говорили в гостиной — о земстве, о губернских и столичных новостях. И потому, казалось мне, он был так молчалив, так мало принимал участия в общем разговоре.

К нему было особое отношение местных людей: уважительное и немного проницательное. Очень одобрили „барина Кареева“ и крестьяне, с которыми мне приходилось говорить о нем: не прижимает.

При мне случилась история, наделавшая шуму в целой губернии. Проезжал со своей охотой через черноземную полосу России один из великих князей. Маршрут был заранее составлен, и великокняжеская охота должна была пройти через имение Кареева, о чем, как о решонном деле, и предупредили его местные власти. Кареев обиделся и заявил, что никто не имеет права распоряжаться его землей и что он не пропустит великого князя охотиться в его имении. Вышел огромный скандал. Приезжали власти от имени губернатора упрашивать Кареева, но он категорически заявил, что будет стоять с ружьем в руках на своей меже и никакую охоту у себя не допустит. Он настоял на своем, и великому князю пришлось изменить свой маршрут и сделать большой объезд, чтобы миновать имение Кареева.

Помню, с каким великим изумлением передавали обыватели друг другу подробности происшествия, как долго обсуждали в обществе этот „дерзкий“ поступок Кареева, так не похожий на тогдашние нравы, когда мало было чувства чести и так много рабских чувств.

IX.

Н а с л е д н и к и.

Появлялись иногда в уезде молодые дворяне-помещики, получавшие наследство, почему либо неблагополучно покончившие со своим образованием и не достигшие диплома и соответствующих должностей и занятий. Те устраивали свои дела быстро и просто. Начинался звон и гром по уезду.

После личных поездок в Лебедянь на ярмарку или в Тамбов, в результате бесконечных мен — всегда удачных и выгодных — получалась великолепная тройка со свирепым вноходцем в кормю, с донскими пристяжными, что выгнувши шею летели как птицы. Покупался щегольский летний экипаж, белые и узорчатые с золоченой резьбой роскошные сани, расписная дуга,

подбирались под тон, что тоже требовало серьезного внимания, валдайские колокольчики, и начинались дикие поездки по уезду с бубенцами, погремушками, с заливавшимися колокольчиками и безумно оравшим кучером.

Опустошались бакалейные магазины в городе, быстро заводились знакомства — с быстрым переходом на „ты“ — с офицерами стоявшей в городе воинской части, с молодыми людьми, необремененными занятиями и изнывавшими от скуки в своих имениях — и большая компания мало знакомых, а то совсем незнакомых людей ехала к новому помещику.

С утра до ночи шел пир на весь мир. Была своя музыка, играли на рояле, на гитаре, на гармониках, на гребешках, на стаканах. С увлечением пели, отчаянно плясали. Спали на диванах, на полу, на столах. Среди этих орав беспутной молодежи встречались способные люди, превосходно игравшие, хорошо декламировавшие монологи поэтов, с успехом выступавшие на любительских спектаклях.

С крестьянами складывались приятные для обеих сторон отношения. Заниматься хозяйством, вести какие-то записи и счета — вещь скучная, да и некогда было — земля сдавалась в аренду по сходным ценам и притом не гнались за своевременным и аккуратным исполнением арендных обязательств, и соседние крестьяне с завистью смотрели на сельскохозяйственные порядки, установившиеся в имении нового помещика. От пиршеств перепало и крестьянам, водкой угощали усердно, по праздникам на господском дворе собирались из деревни девицы петь песни, водить хороводы и получали угощение пряниками, орехами, стручками и сладкой водочкой. И уже не говорю об обилии широких сельскохозяйственных замыслов, возникавших в головах новых помещиков, осуществление которых как-то складывалось в пользу не барина, а крестьянина.

Я встречал таких „наследников“ молодых помещиков и в других местах. Дело кончалось быстро, в три — пять лет, смотря по размаху помещика. Имение закладывалось и перезаклаживалось и в конце концов уходило от владельцев, а молодые люди поступали в провинциальные труппы, пристраивались к железнодорожным дядюшкам и тетушкам, а случалось, становились проводниками русской государственности где-нибудь на окраинах — в Польше, в Ташкенте, в далеких углах Сибири, куда неохотно шли серьезные деловые чиновники, где не требовалось дипломов и избыточных знаний и высоко расценивались дядюшки и тетушки, кузины и кузены.

Я только два года прослужил в уезде, но связей с ним долго не порывал и в общем знал, что там делается. С именными пло на убыль. Дворянские имения распродавались. Старые дворяне уходили совсем из своих мест и порывали всякие связи с дедовской землей — исчезали из уезда целые фамилии, когда-то занимавшие крупное место в местной жизни. Покупали имения местные купцы и какие-то пришлые люди из Москвы и Петербурга — судя по фамилиям, недворянского рода, покупали крестьяне, местные и пришлые. Изменилась и вся жизнь. Начали разрабатываться каменно-

утомленные боли, при мне заброшенные, то отерывались, то закрывались.

Как-то лет десять спустя в других местах я разговорился с пациенткой, бывшей помещицей Скопинского уезда. Мы говорили о вестах, которые она получала из Скопинского уезда, где у ней остались родные.

— А знаете, — сказала она мне, — вчера у меня была княжна... — Она назвала мне одну из наиболее громких княжеских фамилий, игравших когда-то крупную роль в русской истории. — И представьте — приходила наниматься бонной. И на мой вопрос прибавила:

— Не взяла. Не могла взять... Вы подумайте — как я возьму эту княжну на 15 рублей жалованья делать все то, что у меня делает бонна. Жалко было, а отказала.

И пошла должно быть княжна стучаться в другие двери с тяжелой ношей своей фамилии на плечах. А я знал и помнил ее сестру, бывшую замужем за крупным помещиком Скопинского уезда, в мое время уж начинавшим „оборачиваться“, но продолжавшим еще держать старый тон жизни и игравшим значительную роль в общественной жизни уезда.

Давно шли на убыль дворянские роды. Я знал и лечил в моем участке одводорцов с громкими древними боярскими фамилиями, ничем не отличавшихся по быту и облику от крестьян. Был в уезде — говорили мне — целый поселок князей, князей Рюриковичей, как-то не потерявших княжеского звания. Жили они, как крестьяне, ходили в лаптах и отличались от крестьян только тем, что почему-то пахали и носили в красных рубахах, не принятых в тех местах, и в шляпах. Мой знакомый мировой судья, как-то попросил одного из этих князей расписаться, как свидетеля по какому-то делу, получил в ответ:

— Я неграмотный.

Слышал потом, что один из этого поседка сделал карьеру. Добился грамоты, служил писцом в полицейском управлении и женил его на себе богатая купчиха, пожелавшая сделаться княгиней.

И познакомился я с дворянской семьей совсем обычной и в то же время характерной для русского дворянства.

Первое же лето в 78-м году мне пришлось на два месяца переехать из Милославского, где был мой медицинский пункт, в соседнее имение за три версты того же Мусина-Пушкина, Мосальское, — так как Мусин-Пушкин просил меня предоставить постоянную мою квартиру родственной ему семье, Елене Алексеевне Кравченко, поселившейся на два месяца с дочерью и двумя сыновьями.

Ежедневно я приезжал из Мосальщины на прием и ежедневно, конечно, виделся с семьей, и у меня скоро сложились близкие дружественные отношения в особенности с матерью, Еленой Алексеевной.

Она была урожденная княжна Кропоткина, сестра революционеров Петра Алексеевича и Александра Алексеевича Кропоткиных. Их большие имения и Рязанские и Калужские давно исчезли в той же прорве, в которую исчезли уже и тогда дворянские и княжеские имения, и оставался у ней только ма-

ленький кусочек земли в моем участке с маленьким домиком, настолько убогим что нельзя им было приехать на лето в свое имение, а должны были устроиться в тесной и весьма скромной моей квартире.

Было в ней от талантливости братьев, но и сама она представляла яркую индивидуальность и душой сложилась такою, какою она была не под влиянием братьев, которые были моложе ее. Она была настоящая княжна Кропоткина, не стригла себе волосы, не убегала из родительского дома, в свое время вышла за полковника Кравченко, прижила с ним трех детей, уже взрослых, когда я их знал, и вместе с тем несла в себе типичные черты настоящей интеллигентной и глубоко демократической русской женщины, а бы сказал близкой к тем шестидесятицам, которые стригли волосы и убегали из родительских домов.

Она была на редкость остроумный человек, у ней был несомненно художественный талант. Каждый рассказ ее, обстановка прошлой, житейские случаи, все это запечатлено было ярким юмором и художественным построением. И отрицанием прошлого. Смеясь, рассказывала она мне, как во время ее юности в деревне, где они жили по летам, в праздники собирались в церкви священники и прихожане и не звонили в колокол и не начинали службы, пока не даст приказ и не пожелает подняться ее отец князь Кропоткин. И тоже смеясь, рассказывала, как ее муж полковник Кравченко прибавлял к своей фамилии „Хмельницкий“, чтобы установить происхождение от Богдана Хмельницкого, и прибавляла „все это он выдумывал“. И смеялась над бытом и фантазиями дворян и рассказывала мне веселые истории о своих родственниках, которыми полны были Рязанская губ. Мусиных-Пушкиных и Хрущевых и о своих двоюродных братьях, из которых один, мой пациент был дивизионным генералом в Польше, а другой генерал-губернатором в Харькове.

Она мало говорила мне об Александре Алексеевиче Кропоткине и много говорила о Петре Алексеевиче. Образно рассказывала о побеге его из тюрьмы, художественно рассказывала со слов Петра Алексеевича, как он жил одно время пажом во дворце Елены Павловны. Как великолепно выдрессированный лакей звал к обеду, как, в три погибели согнувшись, торжественным и важным голосом оповещал он великую княгиню:

— Ваше императорское высочество, кушать подано.

Как потом, постепенно выпрямляя спину и постепенно повышая голос, говорил:

— Ваше сиятельство. — Ваше высокопревосходительство и просто превосходительство и, продвигаясь к более низким чинам, стучал им пятками в дверь и просто выкрикивал: „обедать“, „обедать“.

И вот я вспоминаю русское дворянство, с которым пришлось мне близко познакомиться за мои долгие скитания и в центральной России и на востоке и на юге, и у меня осталось впечатление, если не говорить о высшей аристократии, вернее о дворянстве бюрократическом, — что русское дворянство наименее сословное, самое демократическое, может быть, имеющее родство только с итальянским дворянством. Я уже не говорю о том, что первое

революционное движение с требованием народоправства и освобождения крестьян исходило от дворян, высших аристократических слоев дворянства, декабристов, что вся великолепная классическая литература созданы были дворянством, бытовые явления дворянства были не похожи на западно-европейскую жизнь.

На моих глазах происходило удивительно простое и легкое ассимилирование дворянства с русскими разночинцами. Я не запомню в моей жизни визитной карточки, где было бы написано: дворянин такой то, де по-французски и фон, которые обязательно значились на визитных карточках французов и немцев.

С. Я. Елпатьевский.

Мелочи революционного быта.

(Страничка прошлого).

Борьба „Народной Воли“ с самодержавием является исключительной по силе и красоте в анналах русского революционного движения. Отсюда понятен и тот повышенный интерес, который проявляет общество ко всякому вновь открывающемуся даже самому мелкому факту, относящемуся к этой эпохе. Ничтожная сама по себе подробность вкладет лишний мазок на эту картину самоотверженной борьбы небольшой кучки героев с грозной твердыней насилия и произвола. К числу таких мазков относится и приводимый мною здесь рассказ моей покойной матери, который я от нее неоднократно слышал и который был мною записан с ее слов.

Моя покойная мать Зиновия Матвеевна Работнова (урожденная Швецова)¹⁾ родилась в Москве, где и проживала до своего замужества, когда она переехала на постоянное жительство в Ярославль. Переселившись в Ярославль, она все же, однако, время от времени посещала свою родину и во время этих своих приездов в Москву обыкновенно останавливалась в доме некоей Александры Васильевны Кузьминой. Дом этот был довольно большой, двухэтажный деревянный и находился в одном из переулков „на Чистых Прудах“; он был очень густо населен, и в нем находилась сапожная мастерская, принадлежащая мужу домовладелицы. Сама Кузьмина занималась исключительно хозяйством: она сдавала в нем квартиры (по большей части мелкие), получала с жильцов плату, прописывала в полиции их паспорта, производила необходимый ремонт в доме, очистку двора и тому подобное.

Однажды осенью 1879 года²⁾ к Кузьминой явился молодой человек с небольшой русой бородкой, одетый в костюм мастерового или же мелкого торговца-мещанина: рубашку-косоворотку, поддевку со сборками, высокие смазные сапоги и картуз. В руках у него находился небольшой красного кумача узелок, в котором рабочие обыкновенно носят на работу завтрак. Его сопровождала молодая женщина, также скромно одетая в костюм мещанки: дешевенькое ситцевое платье, простого покрой пальто и головной платок.

¹⁾ Скончалась в Ярославле 4 декабря 1903 года на 61-м году от рождения.

²⁾ Привожу здесь рассказ в таком виде, как сохранился он в моей черновой записи.

Отрекомендовавшись нечаянно приехавшим „из провинции“ рабочим-слесарем, молодой человек сообщил Кузьминой, что он приехал в Москву искать работы по своей специальности и что теперь ему нужна небольшая квартира. Так как в доме Кузьминой сдавалась как раз такая квартира, о чем по обыкновению на воротах был наклеен билетик, то он просил показать ее ему. При этом он предупредил Кузьмину, что сопровождавшая его женщина его жена, что они только недавно с ней обвенчались и что детей у них пока еще нет. „Будем жить только с ней вдвоем, жильцы будем тихие“, говорил он. Осмотрев затем внимательно выходящую окнами на двор квартиру, он сказал, что она ему очень нравится и что, хотя она немножко и велика для них, но все же оставляет ее за собой. Уплатив затем в виде задатка вперед месячную плату и вручив хозяйке паспорт на имя мещанина Сухорукова, новый жилец отправился на вокзал, где, по его словам, у него остался багаж. Спустя некоторое время, он вернулся опять-таки вместе с женой, при чем у него в руках был большой дорожный „ковровый“ сак-волок, а у его жены — узел. На следующий день новые жильцы, закупив необходимую мебель, обставили ею квартиру. Мебель состояла из самых необходимых предметов: стола, нескольких стульев, кровати. Все это было дешевенькое, простой рыночной работы. Одновременно с этим была закуплена такая же дешевая чайная и столовая посуда. Таким образом молодая чета устраивала свое новое жилище.

Поселившись с этого времени у Кузьминой, Сухоруковы стали вести действительно очень тихий образ жизни. Муж обыкновенно мало находился дома; он, по словам жены, все подыскивал себе работу; она же по утрам, закупив в лавочке необходимую провизию, занималась готовкой обеда. Надо сказать, что, как это было ни странно, жена „постояльца“, выдававшая себя за простую крестьянку, совсем не умела готовить даже такие простые блюда, как щи и кашу; и сам Сухоруков очень усердно просил соседку по квартире поучить его молодую жену кулинарному искусству. „Молода еще очень, говорил он, жила за маменькой, вот и не умеет ничего сострапать-то“. И вот по утрам молодая женщина, обыкновенно посоветовавшись предварительно с соседкой, сколько и чего нужно положить в горшок, затапливала печь и принималась застряпню. Дрова для новых жильцов колол дворник, и он же приносил их к ним в квартиру, за что получал чуть не каждый раз хорошо „на чай“, что в общем доказывало, что хозяин квартиры в деньгах не нуждался. Через несколько дней после переезда на квартиру новый жилец поделился с хозяйкой приятной для него новостью: ему удалось поступить на службу на железную дорогу и занять там очень хорошую „доходную должность“. „Теперь буду жить со своей бабой по-богатому“, добавил Сухоруков и засмеялся. С этого времени он каждое утро аккуратно уходил на службу.

Уплата вперед всей месячной квартирной платы, щедрые „чаевые“, о которых дворник, очевидно, в поучение повествовал прочим жильцам, а также неумение варить щи и кашу молодой хозяйкой — все это, вместе взятое, заставляло всех соприкасающихся так или иначе с новыми жильцами предполагать, что тут что-то не так, что жильцы не простые мастеровые и что

у них есть какие-то причины скрывать от окружающих свое происхождение. Слухи о таком подозрении доходили и до владелицы дома Кузьминой, очень любопытной московской „кумушки“. Истинные говорить, что это обстоятельство еще более разжигало ее любопытство. Впрочем, надо сказать, и сама она также смотрела на своих новых жильцов с некоторым подозрением: они и на нее производили впечатление скорей интеллигентных людей, чем простых мастеровых. В своих подозрениях Кузьмина вскоре имела случай вполне убедиться. Однажды в отсутствие жильцов, в ихней квартире чуть было не случился пожар. Комната наполнилась дымом, который—в конце концов ища выхода, и стал проникать в коридор. Испуганная Кузьмина бросилась к дверям, ведущим в квартиру Сухоруковых, но они оказались запертыми. Тогда она, недолго думая, велела дворнику взломать дверной замок, что и было немедленно сделано. Войдя в квартиру, она убедилась, что никакого пожара нет и что сыр-бор загорелся только из-за того, что в печке зателились положенные туда дрова, а так как труба была закрыта, то дым и стал прорываться в коридор. Само собой разумеется, что „пожар“ был немедленно ликвидирован: дрова были вынуты из печки и залиты водой. Вошедшей в комнату Кузьминой бросилось в глаза, что на столе лежало несколько книг и газеты, при чем книги были не только русские, но даже и иностранные. Кроме того, поразил Кузьмину находящийся в квартире огромный сундук, крышка которого не была вплотную прикрыта и из-под которой висели концы какой-то тесьмы. Когда Кузьмина высказала удивление, откуда же в комнате появился такой огромный сундук, которого при переезде на квартиру жильцов она не заметила,—тогда дворник пояснил, что на-днях жилец привез этот сундук на ломовых дрогах и что он вместе с ним вносил его в квартиру. (Забегая немного вперед, следует сказать, что вскоре при выезде жильцов из квартиры в купленный ими дом этот сундук едва могли вытащить и установить на дроги четверо: постоялец, дворник и возчик никак не могли с ним справиться, и пришлось пригласить еще одного человека, случайно оказавшегося на дворе. Это обстоятельство очень удивило Кузьмину, которая по свойственному ей любопытству—с большим интересом наблюдала за переездом таинственных жильцов). Вскоре после описанного случая возвратилась домой жилища и, увидав сломанный у входной двери замок и затем узнав о бывшем в ее отсутствие происшествии, она повидимому страшно перепугалась. Немедленно она отправилась с Кузьминой и стала ее осторожно выпрашивать о том, кто входил в квартиру? была ли она там? не заметила ли она чего-нибудь? Необходимо еще раз отметить, что все эти вопросы задавались жилищей не сразу при соблюдении особой осторожности, с таким расчетом, что бы не только получить нужные сведения, но вместе с тем и не подать никаких поводов к дальнейшим подозрениям. Кузьмина, очень хорошо понимая свою собеседницу, поспешила в свою очередь ее успокоить, сообщив ей, что в квартиру входили только трое: она, дворник и соседка и что они там ничего особенного не заметили. После этой „пожарной тревоги“ жилища уже вплоть до своего отъезда не оставляли пустой квартиры и, если уходил

куда-либо один, то непременно оставался в квартире другой. Кузьмина таким образом теперь уже окончательно убедилась, что у ней живут жильцы „не простые“, а какие-то особенные, таинственные, вынужденные что-то скрывать от посторонних. Будучи типичной московской „кумушкой“ Кузьмина решила более внимательно следить за жильцами, но, несмотря на все сделанные ею в этом направлении усилия, ей ничего особенного обнаружить не удалось. Единственно, что бросалось в глаза, то это слишком замкнутая жизнь при полном отсутствии знакомых, но это впрочем легко объяснить недавним переездом в большой город, где не было никаких связей у вновь прибывших. Правда, к ним ходил один посетитель, особенно тщательно скрывавший свое лицо, подпавшая щеку платком как бы в предохранение от зубной боли и поднимая воротник у своего пальто, несмотря на стоявшую сравнительно теплую погоду. Этот гость, которого Сухоруков называл своим сослуживцем, обыкновенно приходил вечером и уходил уже поздней ночью. Вот и все то очень немногое, что только удалось подметить „кумушке“ Кузьминой в жизни своих жильцов, тайна которых так и осталась для нее непроницаемой, несмотря на приподнятое у ней до последней степени любопытство и сильное стремление его удовлетворить.

Прожив очень недолго (чуть ли не меньше месяца), Сухоруков заявил, что он отказывается от квартиры и переезжает в свой дом, который он недавно купил, так как ему удобнее в нем жить в виду его близости к месту службы на железной дороге. Со дня выезда из квартиры Кузьмина уже более не встречалась нигде со своими жильцами.

Через некоторое время после отъезда жильцов к Кузьминой явились жандармы и объявили ей при допросе, что у нее жили лица, сделавшие подкол на Курской железной дороге с целью произвести взрыв императорского поезда. Сняв допрос с Кузьминой, жандармы опросили также и всех проживавших в ее доме. Вызванная вскоре в жандармское управление Кузьмина узнала, что у нее под именем мещанина Сухорукова жил не кто иной как „важный государственный преступник“ Гартман и что называвшаяся его женой была не менее важная „преступница“ Перовская. Затем жандармы много раз вызывали и Кузьмину и ее жильцов на дополнительные допросы, показывая им фотографическую карточку Гартмана, снятого в арестантском халате и шапке. Предъявив карточку Кузьминой, жандармские власти предлагали ей внимательно взглянуть на нее и подтвердить, что именно это лицо проживало под видом слесаря в ее доме. Кузьмина сначала заявила, что такого человека она не знает и что он у ней не жил, но когда ей жандарм закрыл куском бумаги арестантскую шапку на голове снятого на карточке „преступника“, то она сразу узнала в нем своего таинственного жильца. Когда же обнаружилось, что Гартман бежал из России и находится в Париже и когда шли переговоры с французским правительством о его выдаче,—Кузьминой было предложено за счет казны съездить в сопровождении агентов русского правительства в Париж для точного установления того обстоятельства что в ее доме проживал не кто иной, как Гартман. У Кузьминой долго-

хранилась фотографическая карточка Гартмана, которая была ей выдана из московского жандармского управления с соответствующей надписью на обороте и казенной сургучной печатью. Эту карточку Александра Васильевна Кузьмина любила показывать своим знакомым (в числе которых была и моя покойная мать), рассказывая им в то же время переданные здесь подробности о проживании в ее доме виднейших членов партии „Народной Воли“ в лице Гартмана и Перовской.

Сообщил Н. Работнов.

Шлиссельбургская каторга.

(Из воспоминаний).

Опыт статистических исследований.

Времена добровольного поступления в „арестанты“ вместе со смертью Бороленкина „Убивца“ отошли в область истории. Каторжные тюрьмы населились людьми, насильно приведенными. Уголовные, поголовно, а политические с некоторыми исключениями, не имели представления, что им за их деяния угрожает ссылка в каторжные работы, точнее — закупоривание в каторжные центры. До самого дня ареста никто не был знаком не только с содержанием Уголовного Уложения и Устава о ссыльных, но и с их духом. Налицо, в пределах каждой каторжной тюрьмы, были представители каждого подразделения, по Уложению, по родам преступления, со многими их оттенками и разновидностями. Все это слагалось из всех слоев общества, всех степеней развития и состояния. Одним словом, все было налицо, чтобы пробудить к себе живейший интерес, пробудить стремление не только обнять, но и поближе присмотреться, не с высоты птичьего полета, как делала это казенная статистика.

Идея статистического исследования каторги самими каторжанами долго носилась в воздухе, но не могла быть проделана по многим причинам. Первый опыт осуществился только в конце 1912 года. Этот опыт охватил всего 69 человек, и притом преимущественно политических, участников только что закончившегося протеста. Анкета следующего года охватила более трехсот человек. Начавшееся возбуждение, в связи с мировой войной в 1914 году не дало возможности продолжать опыт, который все же был предпринят, но послужил только толчком для более узкого исследования по вопросу войны, затянувшись на два года, и в результате давший солидный материал, приведенный в главе о войне.

Результаты, данные двумя первыми опытами, мало сравнимы в целом, хотя программа обследования была одна и та же. Дело в том, что если первый опыт охватил небольшое число лиц, так сказать однообразную массу по направлению своего мировоззрения, второй, наоборот, захватил большой круг, с большей разнородностью не только в области мировоззрений, но и по составу причин, приведших на каторгу. Уже поэтому, добытый материал не

может быть использован во всем объеме, с последовательным единообразием. Из материалов второго опыта можно извлечь приблизительно материал в объеме первого года, тогда некоторые тенденции начинают совпадать и приобретать некоторую выпуклость, с одной стороны, характеризующую Шлиссельбургскую каторгу, с другой — позволяющую более положительно оперировать с ними. Такой прием даст возможность не отбрасывать остаток, но использовать его в предположительных выводах, могущих быть подтвержденными наблюдениями других.

Здесь следует оговориться, что шлиссельбургские опыты не являются в полном смысле слова исследованными каторги, это так сказать покушение на исследование. Прежде всего их идея зародилась во мраке карцеров башни второго корпуса. Программа разрабатывалась единолично и, по своему построению, отражала субъективный уклон мысли. Заполнение же анкетных листов предоставлялось самим объектам, без всякого участия инициатора, и они носили отражение их субъективности, при своей многочисленной разновидности почти совершенно не использованной. Кроме того, сильно отражалось на всем предприятии и то, что всю работу приходилось вести конспиративно, связь между корпусами была непостоянна и всегда висела под угрозой провала. Дававшие сведения настораживались как бы за чужое любопытство не влететь, этак недельки на две, в карцер. Собранные материалы хранить было неудобно, приходилось их заучивать, а потом зашифровывать вразброску, по тетрадам, чтобы тоже любопытное начальство не изъяло. Но все же собранный материал, при действительно каторжных условиях, давал богатую картину, наводящую на большие размышления. Но, к сожалению, он весь целиком не может быть использован, часть его погибла. Остаются общие итоги, в которых дробные части откинуты.

Первый вопрос анкетного листа учитывал национальность. Число ответов дает великоруссам 55%, малороссам 20, евреям 11, прибалтийцам 8, кавказцам 4. Первый год не дал ни одного поляка, второй дал 3%. Если принять общее население великоруссов за 100 и остальных уравнивать по нему, то процентное отношение представителей на каторге изменяется в сторону уравнивания, и великороссы теряют свое первое место, уступая его евреям, для которых получается 23; малороссам 22, прибалтийцам и великороссам по 21 и кавказцам 9. Ответы двух лет, за незначительными колебаниями, совпадают. Введение в таблицу для одного года поляков и жителей западного края понижает отношения и собирает для них незначительный процент, поднимающийся до 12. Нужно оговориться, что это процент поляков, осужденных в долгосрочную каторгу, малосрочных в Шлиссельбург не присылали, поэтому его можно игнорировать. Строить какие-нибудь положительные выводы для участия в революции национальностей, конечно, рискованно, тем более, что состав населения Шлиссельбурга больше зависел от политики главного тюремного управления. Но можно сказать, что придавленные, чувствовавшие на своей спине политику обрусения, сильнее толкались в революцию и больше расплачивались за торжество реакции.

Среди ответов об образовании один политический оказался неграмотным. Низшее образование дает 43%, самоучки 21, среднее и незаконченное высшее 29, высшее 1 и специальное 5. Интересно, что для малороссов и великороссов образовательный ценз выше, чем для остальных.

При обсуждении результатов анкеты в Шлиссельбурге проводилась мысль, что такой результат получается благодаря сознательному вступлению в революционный процесс, тогда как низкий процент говорит о захвате в процесс окружающими обстоятельствами. Все попытки доказать противоположное не увенчались успехом. Этому помогло, что цифры можно было иллюстрировать живыми данными, из которых повстанческий элемент уже был на исходе.

Ответы о профессии ничего не могли сказать. Для политических они распределяются следующим порядком: рабочие 33, крестьяне 31, учащиеся 17, свободные профессии 6; нефизический труд 4. Для общей же массы цифры давали резкую картину одного года: крестьяне 57, рабочие и мастеровые 13, учащиеся 4, свободные профессии 3; нефизический труд 1 и не имеющие профессии 19. Общее наблюдение говорит, что последняя цифра должна быть повышена за счет первых двух.

Главным поставщиком политических для каторги был военный суд, давший для первого года 69, второго 58 и судебная палата 27 и 41. В общей массе соперничали военный суд и окружной: для первого 43, второго 46 и судебной палате оставалось около 10.

По длине сроков ответы распадаются так: до 4 лет 5%; от 4 до 10 — 40; от 10 до 20 — 36; в двадцать лет 6 и без срока — 12. Для общей массы цифры в том же порядке 2, 38, 34, 15 и 6. Таким образом на долю политических, считая бессрочную каторгу за 25 лет, приходится в среднем 11 лет и на общую $9\frac{3}{4}$.

Дальнейшие вопросы характеризуют уже Шлиссельбургскую тюрьму. Так, вопрос о продолжительности носки кандалов сверх срока дает 109 лет с месяцами для 69 политических, а для общей массы 214 лет, т.е. каждый политический проносил лишнего около 2-х лет, для отдельных лиц этот срок колеблется между годом и четырьмя. Общая цифра в 214 лет говорит, что никто не был никогда раскован в срок, по закону, расковка всегда затягивалась на несколько месяцев. Так оно и было в самом деле.

Число дней, проведенных в карцере, для 69 человек оказалось 3963; меньше тридцати суток никто не сидел. Для двоих эта цифра перевалила за 200 — на первом месте стоял Аснин с 247 сутками. Если скинуть для каждого „стихийное бедствие“ — по 30 суток, отсиженных во время только что закончившегося протеста, то и тогда на долю каждого падает по 27,5 дней. Эта цифра достаточно характеризует щедрость начальства на карцера. Для общей массы цифра карцерных дней 7611. Предполагая, что из ответивших участвовало в прошлогоднем протесте не более 50 человек и скидывая для них 1500 дней, опять получится цифра для каждого свыше 20 суток, что и будет характеризовать тюремный режим. И все же эта цифра будет ниже

действительной. Была попытка учесть, сколько дней в году бывает свободным отдельный карцер, но это оказалось настолько сложным, что предприятие не увенчалось успехом. Удалось поставить под наблюдение только десять карцеров четвертого корпуса, но не пришлось провести круглый год. Можно утверждать, что отдельный карцер был свободным не больше 50 дней в году, таким образом добрую половину каторжан карцерная сидка задевала ежегодно. Отсюда можно сделать вывод, что число карцерных дней к началу 1914 года для всей тюрьмы должно быть свыше 25000.

Давшие ответ в первом году сидели в карцере 152 раза, таким образом на отдельный случай карцера приходится в среднем 26 дней. Ответы второго года устанавливают 423 посадки. Несмотря на то, что второй год был „мирный“, число дней для каждого отдельного случая понижается только на 8. Распределяя сроки отдельных карцеров по их продолжительности, в процентном отношении получается

	до 7 суток;	до 14;	до 21;	до 28 и	30
1 год . .	0,5	8	19	6	66
2 год . .	9	21	29	3	24

И преобладание долгосрочных карцеров очевидно. Нужно прибавить, что некоторые сидели безвыходно по два срока. Случаев продолжения карцера известно 6. Орлов просидел безвыходно 90 суток.

Сидевший в Шлиссельбурге с.-д. Билибин начал интересный опыт, можно ли просидеть на одной тюремной порции пищи, без улучшения ее за собственный счет. Опыт закончить не удалось, но и то время, которое он продолжался, позволило Билибину вывести заключение, что казенной пищи недостаточно, в особенности если заниматься изучением какой-нибудь науки: ослабевает энергия, память, и появляются головные боли. Если в связи с этим принять во внимание, что постоянной поддержкой от родных пользовались не больше 25%, а одна треть совсем была лишена ее, то нужно признать, что многое делалось в ущерб физическому здоровью.

Подавляющее число, около 97%, было в каторге первый раз. По числу судимостей, вообще, имеют одну около 50%, от 2 до 3 — 39%, свыше 8. Один умудрился судиться 19 раз.

На каторге больше всего безбатьковцев — 41%, тогда как в ротных тюрьмах их значительно меньше.

По отношению к приговору 23% утверждают, что они осуждены „ни за что“, т.-е. не за свои дела, а 7% доказывают, что они жертвы судебной ошибки, они не виновны.

По принадлежности к политическим партиям — анархистов 36, социалистов-революционеров 39, социал-демократов 15, максималистов 8 и „машаевцев“ — 1. Более подробно этот вопрос освещает военная анкета.

Интересны сами по себе данные о грамотности общей массы. Так, из всех ответов неграмотных 4%; бывших в низшей школе, но неокончивших 8; окончивших низшую 54; повышенного типа и неокончивших среднюю 27, самоучек 12, средней и незаконченной высшей 11. Полученные ответы были

пополнены сведениями камерных корреспондентов о невошедших в анкету. На основании этих данных процент неграмотных повысился до 11; средняя и незаконченная средняя опускается до 3. Самый высокий процент неграмотных среди кавказцев; высок среди поляков и белоруссов, среди прибалтийцев неграмотных не нашлось совсем. Из этих данных Асином была составлена таблица для сравнения с составом преступления. Он хотел доказать свою теорию, что грядущая русская революция, начинаясь от центра, будет иметь серьезную угрозу расплыться на окраинах, но недостаток материала помешал ему. Одно удалось ему доказать: каторжанин — великорусс по своему развитию стоит выше, чем все великорусское население.

Отношение заключенных к преступлению.

Вопрос о связи преступления и наказания, о преступлении и об отношении к нему каторжан, в тюремной среде поднимался очень редко. Такое явление нельзя объяснить стремлением забыть прошлое, вычеркнуть из него факт, разделивший бесповоротно жизнь на две части. Для каждого эти вопросы решены, но лишь к преступлению других, в отношении же себя всегда имеются подысканные, иногда притянутые за волосы „смягчающие обстоятельства“, которые мешают сделать шаг к обобщению.

Весь уклад дореволюционной жизни страны был основан на том, что необходимо снять с общества большую долю вины за совершающиеся в нем преступления и перенести ее на преступника. Много делалось, чтобы оказать помощь в этом отношении судам возникшими патронатами и отдельными лицами — в роде Вороновой — для внедрения в сознание осужденных необходимости искупления своей вины путем отбывания определенного наказания. Однако, такая идея совершенно не привилась и была бесполезна. Было бы лучше, если бы ее заменили просто доказательством необходимости изъятия из общества. Те случаи, когда обвиняемый приносит суду так называемое чистосердечное раскаяние, показывают, что они являются или маневром обвиняемого, чтобы уплатить за сделанное как можно меньше, или прием следственной власти коалиции с преступником в чисто карьеристских целях. Часто бывает, что совершивший преступление арестован за другое, менее тяжелое; если ему у следственной власти „не сознаться во втором, на свет выплывает первое — „из двух зол выбирай меньшее“.

Наблюдение над раскаявшимися в тюрьме чаще всего показывает, что в их маневре, кроме игры, ничего не было, и, сравнительно с другими, они всегда обещают большой процент рецидива.

В общем нужно признать, что каторжанская масса смотрит на определенное для нее наказание, как на простую случайность, и связывает его не с преступлением, но с теми оплошностями, промахами, которые были допущены и не предусмотрены.

Общее наблюдение, однако, показывает, что абсолютно безразличного отношения к преступлению нет. Преступления, в которых для объекта была

возможность защиты, борьбы, в каторжанской среде совершенно не вызывают осуждения. Преступление против чинов полиции и тюрьмы, на какой бы они почве ни были совершены, считаются настоящим героизмом. Преступления, в которых объект незащищен, не может обороняться, как в преступлениях против детей и в изнасиловании, не только сурово осуждаются, но совершивший их подвергается презрению и лишен иногда всех, иногда с некоторыми исключениями, всех арестантских прав. Замечательно, что в таких случаях совершенно одинаковое отношение к детям, кому бы они ни принадлежали — даже и тюремщику — ребенок и баста. По отношению к таким преступлениям каторжанский суд более жесток, чем суд правительственный: тюремный суд даже не считается с тем, что преступник уже несет наказание. Интересным показателем этого является зверское убийство пятилетнего ребенка в 1910 году, в Петрограде, Антоном Куликовым. Суд приговорил его на 15 лет каторги. В тюрьме Куликов пытался скрыть свое преступление и на все вопросы твердил одно:

„Славу богу, сорвался с виселицы“.

На такую удочку, вообще, трудно поймать — каторжан же в особенности. Это только больше заинтересовало, и сам собою встал вопрос: можно ли с Куликовым сидеть в одной камере.

Вскоре узнали, что Куликов знаменитый член „союза русского народа“ по Гавани, там добрались, что он осужден за изнасилование и растерзание ребенка, но на суде не признал себя виновным. Решили устроить камерный суд по всем формальностям. На все вопросы Куликов отвечал свое:

— „Сорвался с виселицы и попал в каторгу“.

— „Ты бобы не разводи, а говори, было убийство? Не скажешь, все равно „крышка“ — тут присяжных нет“.

— „Ничего не было. Случайность...“

— „Как арестовали.“

— „В трактире собака полицейская на меня залаяла.“

— Ну раз, собака залаяла, значит виноват.“

— Что вы, братцы, я чай пил...“

— После чего. Откуда собака пришла.“

— С Гаванского поля...“

— Теперь довольно — рассказывай все сам, из камеры живой не уйдешь, пока не расскажешь...“

Куликов рассказал до мельчайших подробностей. Суд осудил: с ним не только не разговаривали, но даже не давали из одной чашки есть; пробовали колотить, но этому мешала тюремная строгость. Через три года его отправили на Амурскую дорогу работать. Он чувствовал, что время не смячило к нему отношение, со слезами просил начальника тюрьмы отменить отправленные, но не мог избавиться. Шедшие с ним в одной партии каторжане убили его без всякой пощады, не доходя до Амура.

В камерном суде была интересна речь „защитника“. Он указывал, что утверждение Куликова о срыве с виселицы есть сознание, что вина его заслу-

живает большего наказания, что уже дает ему снисхождение. Дальше доказывалось, что Куликов тоже человек и уже несет наказание, значит, страдает и закончил „а перед страданием даже сам Достоевский преклонился“. Судьи разбили защитника тем, что и „среди зверей нет таких преступлений“ — значит Куликов не человек, не зверь, но хуже зверя и места ему на земле не должно быть. Что же касается Достоевского, то он сам не выдержал страдания и думал, что оно выше сил человека. Наказание ерунда — вон, Дубровина выпороли, а в Куликову начальство благоволит — дали французскую булку. Его обязаны уничтожить...

В тех случаях, когда осужденный начинает производить переоценку всех своих ценностей и, в результате, приходит к отрицательному взгляду на свое прошлое, все же нет сознательного осуждения преступления. Путем критики прошлого устанавливается связь настоящего с преступлением, и последнее осуждается, но поскольку оно является... убыточным. В этом отношении интересен Маслов Иван Иванович, как его все звали.

На воле Маслов занимался сбором по помойным ямам костей и тряпок, по пути и воровал:

Коли плохо положил —
Стало — не запрет...

И, конечно, дошел до арестантских рот, где в числе других участвовал в убийстве одного словредного надзирателя. Когда дело было сделано, участники испугались и не хотели признаваться. Камере, на которую пало подозрение, грозило карцерное положение и лишение некоторых мелочей. Маслов взял на себя всю вину, выгородил остальных и попал в каторгу на двадцать лет.

Под влиянием книжки он часто касался своего прошлого и удивлялся, что он на воле не замечал, что в жизни много хорошего, и работать выгоднее, чем сидеть в тюрьме. В конце концов, решил все бросить и стал лелеять мечту, как „найти работенку, в свободное время почитать книжки... хорошо бы и свою библиотеку завести“.

Сам по себе Иван Иванович был интересным типом. Он неподражаемо читал рассказы из народной жизни. Ко всем напастям относился по-философски. Свое добродушие всегда выражал в русской брани, но когда действительно ему приходилось кого выругать всерьез, то он стискивал зубы и бросал с таким презрением, которое могло убить человека на месте:

„Эх, ты — пуб-ли-цист“.

Трудно сказать, какой смысл вкладывал в это растягиваемое слово, но оно у него было самое бранное. После этого слова он не разговаривал с тем, кому его клеил, недели две.

После революции случай привел встретиться с Иваном Ивановичем. Он был ломовым извозчиком и с гордостью сказал: „Я, брат, читаю... есть свои книги“...

Бывали случаи, когда попадались люди, сознавшие свое прошлое преступным, считавшие необходимым искупить его страданием, заключающимися

в наказании, определенном приговором, что и проповедывали при всяком удобном случае. Эти люди принадлежали к политическим, но они не могли дать ни одного доказательства своей искренности. Отсутствие к ним доверия не позволяет использовать их, как материал для установления отношения между преступлением и наказанием в сознании осужденных. Здесь скорее налицо определенный маневр именно избавиться от страдания, иначе зачем бы было писать прошение о помиловании. Если решил искупить, то и искупай, а не уходи среди дороги из признанного лагря, путем просьбы пощады.

Что сознание в преступлении является маневром избежать от наказания, говорят так называемые „открытия дел из тюрьмы после суда“.

Человек или целая группа попадает в каторжный централ и скоро убеждается, что пути для побега очень узки. Начинается расспрос других: где какие совершены преступления, которые не удалось раскрыть полиции и суду. Узнаются возможные обстоятельства, обстановка и т. д. Из этого выбирается такое дело, за которое наказание превышает то, которое уже есть, и затем пишется прокурору прошение, что „угрызавшая совесть не дает покоя“ и просится снять с души тяжесть. „Дело открыто“, сознавшегося везут на следствие, ему иногда удается по дороге сбежать, если же нет, то он на следствии „уличает“ согласившихся с ним бежать, но не называет места их сидки, по розыску привозят и их. Вся идея сводится к тому, что из узловой или губернской тюрьмы убежать легче, чем из централа. Возможность побега не останавливает перед возможностью виселицы. „Не прошло, не надо“. Но эти типы уже не берут обратно своего сознания, при неудаче, они так же просто шли на виселицу, как и на открытие дела... Свобода дороже жизни и для них.

Совершенно иное отношение к прошлому у политических. Здесь оно критикуется постоянно и в полном объеме. Оно и понятно. С одной стороны, творится великое святое дело будущего; с другой—жизнь то и дело бросает на святыню свои плевки, в роде Азефа, Малиновского. Чтобы вынести всю эту тяжесть и не быть раздавленным до полного равнодушия к окружающей действительности, нужна не только богатырская сила, но и громадная моральная опора. Отсюда и иной подход к прошлому, не с точки зрения закона, но с точки зрения вечных принципов. Возникновение критики прошлого, сделанного понятно само-собой, но оно усиливается тем, что в революционную борьбу вступает молодежь, еще не с окрепшим убеждением. С первых дней своего вступления она отдает свою жизнь целиком на великое служение, ничего для себя не оставляя. Здесь нет прямого отречения от жизни, нет того аскетизма, который в эпоху „хождения в народ“ замыкал революционеров в тесную касту. Обстоятельства, сопутствующие революционной работе, отглаживают на человеке свой отпечаток и ограничивают его личную жизнь известным кругом. В тюрьме жажда личной жизни пробуждается. В результате — критика с определенной целью: нельзя ли найти сочетание.

В революционной работе для борца так называемые радости жизни отодвигаются на задний план, очевидная же сила врага сводит их на-нет и

только гарантирует преобладание страдания. Таким образом, движущим стимулом в борьбе является не только энтузиазм, но и сознание разрыва с прошлой жизнью, утрата собственных прав на свою личную жизнь вырисовывается не всегда открыто, но она имеет свое определенное место в деятельности. Понятно, что ни один террорист не отрицает ценности жизни и убийство человека считает преступлением. Лично он никогда бы убийства не совершил. Здесь кроется объяснение того явления, что лучшие, самые яркие террористы всегда обладают самой нежной и самой красивой душой. Достаточно вспомнить Степана Балмашева, Калеева и Сазонова, чтобы убедиться в этом. Это были настоящие социалисты, и у них идея социализма никогда не затухала революционным действием. Перевес последнего, — явный признак вырождения, и история русского революционного движения дает олицетворение этого явления в лице Льва Тихомирова и Бориса Савинкова. Без сомнения каждый из этих двух сумеет умереть, но умереть только в действии, где выявилась бы их личность, но не там, где она затухает идеей.

Критика всегда идет в плоскости целесообразности действия. Здесь не может быть места угрызению совести и переходу в лагерь своих врагов. Здесь может быть только отрицание метода борьбы, построенного на переоценке идеологического фундамента. Как бы ни совершался процесс отрицания, какой бы степени он ни достиг, все же героическое из действия не изглаживается, и необходимость искупления не зарождается. Наказание является мстью врага, временно торжествующего свою победу над отдельным человеком, но врага бессильного победить рост идеи. Так оттеняется связь между преступлением и наказанием, преломленная через призму миросоздания.

Отношение политических каторжан к уголовным преступникам и их преступлениям довольно разнообразно и всецело зависит от уровня развития политического, но, в этом отношении, все же играет некоторую роль и склонность к кастовому выделению. Преступление почти никогда не олицетворяется с преступником, и мне не приходилось наблюдать переноса отрицательного отношения к явлению на человека. Хотя такие тенденции и проявлялись, они не перешли в практику. Как-то молчаливо признавалось необходимым приподнять, поддержать человека, а не толкать его по наклонной плоскости к дальнейшему падению в развернувшуюся пропасть. Такое отношение всегда давало благоприятные результаты, этим объясняется то, что, когда число уголовных в Шлиссельбурге далеко превышало число политических, не только не получалось между ними вражды, как, например, в западных тюрьмах, но большинство жило мнением меньшинства. В результате Шлиссельбург не видал тех позорных и диких сцен, которые были обыденным явлением в среде каторжан в других тюрьмах.

Тюремные обычаи и этика.

„В чужой монастырь со своим уставом не суйся“ — говорит народная мудрость, и верно, даже смиренные монахи могли за такое действие не очень

смирению наложить бока освященными посохами. Еще опаснее было соваться со своим уставом к арестантам. Арестантское общество, как и всякое другое, имело свою собственную этику, свой устав, который имел своим, ему только присущие, правила поведения. Этические нормы слагаются в длительном процессе существования общества, в течение которого сталкиваются отдельные интересы и направляющиеся после столкновения по одной равнодействующей, характеризующей соборно нормы.

Каторжанское общество имеет свою этику — этику тюрьмы, каторги и ее обитателей.

Тюремная этика построена на своеобразном определении понятия справедливости. Вообще определение этого понятия есть формула прогресса данного общества. На определении поэтому сохраняются следы исторического и психологического строения общества. Тюремное общество не знает в своей истории эпох мирного строительства, ему известно только состояние войны, вечной войны, в которой нет даже моментов победы или поражения, но всегда налицо только колебание на острие, разделяющем эти правила. Чем больше упорства и единства в обществе, тем ближе оно к перевалу на сторону победы, т.-е. к наличию условий самостоятельного бытия. И наоборот, малейшая трещина в единстве немедленно дает себя чувствовать обнажением рабского бытия, в котором даже мысль теряет самостоятельность. Но главное различие между пониманием сущности прогресса вольным и арестантом, что с точки зрения каторжанина прогрессом будет именно уничтожение каторжанского общества, его распадение. Чем скорее этот момент наступит, тем лучше для каторжан. Таким образом, справедливо все, что усиливает единство каторжан, и все, что ведет к уничтожению тюрьмы.

Для тюремного общества „тягчайшим преступлением“ является принадлежность к классу тюремщиков и переход к нему „на службу“ арестантов. Выдача начальству подготовки к побегу, указание мест хранения пилкок и ножей, мест передачи записок или их авторов — тюремной этикой преследуется без всякого снисхождения. Не найдут в тюрьме снисхождения и бывшие на воле жандармами, городовыми, полицейскими, стражниками. Эту категорию после пятого года особенно сильно увеличили провокаторы и предатели. Для исполнявших обязанности палачей безусловно признавалась смертная казнь — их обязаны были убивать все, кого только случай мог столкнуть с ними.

Несмотря на то, что добрая половина стали членами тюремного общества за нарушение „на воле“ принципа неприкосновенности частной собственности, кражи в тюрьме, в камерах, у товарищей, считаются совершенно недопустимыми. В то же время нет никакого преступления украсть в кабинете начальника газету. Разговоры „нарушителей“ полны дифирамбов кражам, совершенным на воле, полны осуждения принявших участие в преследовании воров, но как только случается кража в камере — что бывает исключительно редко — любой из дифирамбистов заткнет за пояс любого агента сыска и в подыскании наказания даст сто очков вперед самому озверелому прокурору. Так процветает

бушменовская мораль: „хорошо, если я украду, но очень плохо — если у меня вкрадут“.

Тюремная этика совершенно воспрещает называть арестанта существительным женского рода. Человек, обозванный дураком, совершенно не обижается, но назовите его „орясиной“, как он моментально палеет и ищет удовлетворения в мордобое, в чем поддерживается всеми сокамерниками.

На этой почве дело доходит и до курьезов. Какой-нибудь питомец глухих углов России, с очень бедным словарем, усваивает тюремную этику в каких-нибудь две-три недели и держится за нее, как турецкий святой за трубку. Он коверкает какое-нибудь слово, сокамерник начинает его этим дразнить, и дело принимает серьезный оборот.

Забитый батрак волынских латифундий спрашивает земляка:

— Ща це за штука „кыкая“.

— А ты где ее видел, спрашивает земляк.

— А вон Долмат хочет выписать.

— Не „кыкая“, а какао...

— Ну, нехай — так, що це воно.

— Це штука хорошая, особливо если с сахаром. Эх, ты, какао.

— Какое право маешь оскорблять — лезет на стену вопрошатель.

— Чем?

— А как ты меня обозвал?

— Какао...

— Ну значит оскорбил...

Долго он не мог успокоиться от оскорбления.

В смысле пресечения нарушения „этических“ норм, тюрьма не пошла дальше отражения в миниатюре существующего строя. Пожалуй, в жестокости она даже превосходила русскую действительность: в тюрьме не было ни милости, ни пощады не только нарушителю, но кара распространялась и на выступавших защитников. Защитники серьезно рисковали очутиться в одном положении с обвиняемыми.

В тюрьме существовали те же институты наказаний, что и на воле; телесное наказание, тюрьма и смертная казнь. Так называемые „сучьи кутки“ являются тюрьмой в тюрьме, созданной самими арестантами. Нет никакой разницы в отношении арестантской массы к населявшим сучьи кутки и в отношении населения к арестантам. С одной стороны, вольные граждане смотрят на арестантов, и арестанты — на жителей „сучьего кутка“ — как на несчастных, заслуживающих сожаления; с другой — попробуй один из этих несчастных убежать из тюрьмы, в одном случае и в другом — из сучьего кутка — как все сочувствующие, наперегонку, пустятся его ловить, упиваясь в этой ловле наслаждением настоящей охоты, и не успокоятся, пока не водворят „несчастного“ в место его несчастья. Кроме этого, заметна также и та черта, что каждый, не производя себе оценки, которая при объективности дала бы и на солнце пятна, считает себя существом высшего порядка и смотрит сверху вниз.

Все поселенцы „сучьего кутка“ носили специфическое название „лягавых“ — произведенное от собачьей породы, более способной к сыску. Но иногда это название заменялось более сильным: „сучий глаз“, „сучья тварь“ и самое крайнее — простонародным названием проститутки, как черты крайнего падения, вплоть до окончательной потери человеческого достоинства. Эти же названия переносились и на тюремщиков, что показывает равноценность в арестантском понимании надзирателя и „лягового“ — арестанта.

Тюремная история не знает случаев возврата в общество кого-либо из сучьего кутка. Но и эта жестокость усиливается тем, что все лягавые, при встречах с остальными арестантами, всегда подвергались оскорблениям вплоть до буквального оплевания.

Однако, в Шлиссельбурге был случай, когда общественный приговор об изгнании в сучий куток не был приведен в исполнение, но и в нем нет ни капли милосердия, это чистый факт завоевания своего общественного положения.

В Шлиссельбург попал один донской казак, участвовавший в карательных экспедициях, при разгроме революции 1905—6 г.г. Он сам рассказал о своем участии и, по общественному правилу, ему, как насильнику над народом, не было места в обществе честных каторжан. Казак наотрез отказался уйти из общей камеры в сучий куток, ссылаясь на то, что в карательной экспедиции он участвовал по неосознанности. Двадцать сокамерников решили избить его и таким образом принудить уйти из камеры, о чем и объявили казаку. Удобным местом для серьезных коллективных боев было парное отделение в тюремной бане. При первом посещении бой состоялся. Два десятка голых людей, частью кулаками, частью вооруженные банными шайками, под дикий лязг кандалов, таскающихся по цементному полу, открыли бой. Казак оказался настолько храбрым, что не только не отказался от боя, а соблюдал вполне тюремную этику — не кричал о помощи, которую могли оказать надзиратели, ожидавшие в кладовке для белья, но смело вступил в сражение.

Кандалный грохот, как будто смеялись все черты преисподней, треск шаяк, звуки ударов по голому телу и разъяренное сопение характеризовали войну за право. Она продолжалась не меньше четверти часа, за которую наставили казаку порядочно синяков, получили несколько их и нападавшие — у них даже оказались и разбитые носы. Разбитые вдребезги носы первые покинули поле сражения, для остальных кровь оказалась только возбудителем воинственного пыла. Более половины участников получило то или иное повреждение, но преимущество позиции казака, с углом обеспечивающим тыл, одержало верх. Там же в бане было признано, что казак честно и храбро сражался, что он завоевал свое право сидеть в обществе честных каторжан. Он не только остался в камере, но стал даже во всем отделении популярным и завязал крепкие товарищеские отношения.

В общем, в сучьем кутке собирался действительно отброс тюрьмы. Это были все спасающие свою жизнь за счет других арестантов. Ярким представителем такого спасения в Шлиссельбурге был Павел Алексеев,

осужденный по большому делу экспроприаторов. Предстоящий военный суд угрожал смертной казнью, и Алексеев, для спасения от нее, не мог ничего придумать лучшего, как написать прокурору прошение, в котором, указывая, что несколько сопроцессников будут приговорены к смертной казни, предложил свои услуги для приведения приговора в исполнение, при условии его личного помилования. На суде обнаружилось его заявление, смертная казнь всем была заменена каторгой, и Алексеев за добровольное согласие стать палачом попал в сучий куток. Остальные лягавые — их было человек тридцать, если не считать Константинова по делу Щегловитова, да инженера Маевского, по делу есовцев, были настоящей мелочью, вступавшей с тюремной администрацией в разные мелкие сделки, из трусости выдавшие подготавливавшиеся побег. К ним же принадлежали и все участники церковного хора.

Тюремная администрация в принципе не признавала „сучьего кутка“ и всегда стремилась „сучью породу“ сажать в общие камеры, пользуясь ими для освещения камерной жизни. Но, под давлением арестантской массы, она вынуждена была легализовать существование этой тюрьмы в тюрьме, и, скрепя сердце, выполнила требование держать лягавых отдельно. Свою вынужденную уступку начальство компенсировало более благожелательным отношением к лягавым, чем к остальной массе.

Лягавые жили между собою по образу и подобию арестантской массы и некоторых своих сокамерников также обзывали „лягавыми“, хотя и не изгоняли...

Сношения с волей.

Прямое назначение тюрьмы изолировать преступный мир от общества. Но те безобразия, которые творились в тюрьмах администрацией, также требовали и изоляции общества от тюрьмы, чтобы в него не проникали сведения, неприятные чиновничеству. Главное внимание администрации и было обращено на эту вторую, более для нее важную часть задачи.

Для осужденного недостаточно одного приговора, чтобы убедить его, что он есть навсегда отрезанный от общего каравая ломоть. Человек, до суда, врос в общество, в семью — ими живет и к ним стремится. Связь не прерывается, и все усилия направляются к тому, чтобы эту духовную связь превратить в вещественную. Необходимость этого особенно остро ощущается политическими. Жажда знать, что творится на воле, так сильна, что она заражает и тех, которые за долгие годы вольной жизни никогда не держали в руках газеты.

Трудно сказать, сколько тратится энергии, сколько приносится жертв, чтобы получить хоть старую газету. Но когда удастся ее получить, то она так основательно читается, что не остается ничего не прочитанного от первой буквы до последней точки, не исключая и объявлений. Газета обязательно пройдет сотни рук, мстrepлется вдребезги, получит массу склеек и, пока не выполнит своего призвания осведомлять общество, ни за что не попадет в мусорный ящик, разве „засыпка“ произойдет, тогда, чтобы она не попала

в руки тюремщиков, немедленно уничтожается. Как только минует опасность, вместо газеты, начинают строчить во все концы сообщения, что было вычитано достойного внимания. Этими новостями тюрьма будет долго жить, волноваться. Каждый пустяк всегда учитывается в свою пользу. Каждая мелочь раздувается до беспредельности и мелкое событие получает размеры исторического явления, чуть ли не кануна самой революции. Не часто судьба бадовила тюрьму газетами...

Однако, вести с воли не всегда приносили ласкающие надежды, не всегда радовали. Были времена, когда они били на смерть. Особенно скверно было в эпоху разоблачений Азефа. От таких вестей становилось как-то мрачнее, образовывалась какая-то пустота, в которую со всех сторон лезли провокаторские рожи и вносили разлад во всю жизнь. Под такими ударами колебалась вера, угасал энтузиазм, хотелось быть одному, отрешиться от всех людей, самому жить, в такие периоды в моей тетради появилась новая струя:

Хочу я быть далеким миру.
Хочу я жить душой своей
И только музы чистой лавру
Назвать подружью своей.
И с нею жить душой мятежной
Среди страстей, доступных мне...
Почас же — только песней нежной
Я стану жизнь манить к себе.
Ты жизнь — из звуков ясных, чудных
Цветами яркими увью
И путь житейский — людям трудный
Восторгом чистым осеню...

Только к началу 1910 года стало смягчаться положение. К нашему берегу стало прибывать новые щепки, а не старые обломки того, когда мы сами видели.

Корабль, налетевший на мель...

Теперь уже чувствовалось, что не все еще погибло, что есть еще порох в пороховницах.

Полегоныку, помаленьку стали налаживаться связи с партийными товарищами. Хотя из писем, прошедших через тюремную цензуру, и трудно было много выловить, но все же кое-какие ерши попадали. Главное, чувствовалось, что мы не одни, что на смену нам уже пришел „свежих ратников строй“. Снова зажились хорошо, бодро чувствовалось, когда нужно было идти даже в башенный карцер на месяц.

Кроме письменной связи, несколько десятков — не больше трех — имели и свидания. Тем, к кому удавалось пробраться под флагом родственников — знакомым, приходилось приносить больше новостей. Разными инскаказаниями передавались такие вещи, которые радовали целую сотню душ. Иногда и на этом деле „засыпались“: тюремщики устанавливали по паспорту, что двадцати-

летняя, на вид, девица, в действительности была сороколетней и имела около дюжины детей, случался крах, и „самозванную мамашу“ больше в крепость не пускали. Но были случаи, когда таких „махинаций“ не могли обнаружить за четыре-пять лет. В общем тюремщики не были догадливы и иногда попадали впросак.

Фирсов, из канцелярских писарьков, вышел в помощники начальника и получил назначение в иркутскую губернскую тюрьму. Там его мобилизовали и сдали в школу прапорщиков, по окончании которой назначали на фронт.

Он заехал в Шлиссельбург попрощаться с родными, а заодно и щегольнуть новым офицерским мундиром. Зашел и в библиотеку. Повертевшись немного, он наклонился к Владимиру Дмитриевичу Малашкину и прошептал:

— Я раньше был о вас лучшего мнения.

— Как так?

— Прежде Вас уважал...

— Меня. Никогда не подозревал... Чем же я вас разочаровал?

— Не вы, вообще... политические...

— В чем же дело, не понимаю.

— Вы народ безнравственный...

— Час от часу не легче... Кажется, живем нравственное святых угодников...

— Нет... Извините... Нейман на родной сестре женился.

— Не может быть.

— Я вам говорю. Сам видел. В нашей тюремной церкви и венчался. Но я его не выдал, думаю, они неверующие, пусть.

— Да вы почему знаете, что на родной сестре?

— Как же, она четыре года ходила к нему здесь, в Шлиссельбург на свидание. Паспорт настоящий... сестра...

— Библиотекари покатались все со смеху.

— Она сестра потому, что не сестрам свиданий не дают.

— Не может, быть. — удивляется офицер.

— Может, если вас не провести, кого же и проводить.

— А я, право, был уверен, что на родной сестре. Ей-богу, ловко.

Через надзирателей связи с волей не держали, было и дорого и рискованно. Больше всего переписка шла иными путями, но и она частенько вызывала подозрения, что не все обстоит благополучно. Так, село несколько человек, носивших письма к Малиновскому-депутату. И все же удавалось от поры до времени „продернуть“ в газете тюрьму. После такой неприятности начальник собирал на смотр надзирателей и произносил им нравоучение:

— Опять среди вас нашелся негодяй и вынес письмо. Имейте в виду, виновный пойдет под суд и сам будет сидеть в тюрьме.

Изоляция ни с одной стороны не достигала цели. Только во время войны сократилось общение с волей и то больше потому, что хоть и пар-

шивший „Правительственный Вестник“ и „Русский Инвалид“ разрешили. Из них все же можно было кое-что крупнее выловить...

Не забывала каторжан и „воля“.

Два посещения видел Шлиссельбург вольных людей, не имевших никакого отношения к тюремному ведомству.

Первыми явились любопытные американцы: два мужчины и одна женщина, с каторжанской точки зрения пестро разодетые, все какие-то клетчатые. Это было в стародавние времена, когда женский пол не носил короткие платья. Поэтому каторжане сделали вывод, что „американки“ молодятся, как русские институтки. Все американцы не понимали ни бельмеса по-русски, мало говорили, все смотрели, трогали руками и только морщились, когда в глаза попадали кандалы. Администрация к ним относилась с большим почтением, каторжане с любопытством...

Вторым явился в междудумье, перед выборами в четвертую, Александр Иванович Гучков. Зачем он является, сказать трудно: может быть завоевать к выборам каторжанские голоса. Если — да, то он потерпел крушение. Прежде всего администрация приказала величать его „Ваше превосходительство“. Да он и сам, когда осматривал камеры, подорвал к себе уважение своими замечаниями. „Здесь им, каторжанам, живется лучше, чем на свободе. Каждому отдельная койка и даже отдельные миски“.

Получилось, что по мнению превосходительного депутата — раз каторжане, то обязательно должны были спать в общей груде навоза и есть из общего корыта, как свиньи. Не успел он уйти, как приговор ему уже был готов:

„От такого депутата пользы как от чиханья“.

„Ну, и депутат...“

Отражение мировой войны.

Началась общеевропейская война. И, как говорилось в нелегальном письме Николая II к Вильгельму в 1905 году:

О, боже мой, какая случилась штука,
Согнись перо, сломайся ручка —
Не в силах описать...

Администрацию охватил неслыханный патриотизм, который мог предвидеть только гигант исторической мысли В. О. Ключевский, когда говорил в своих лекциях по русской истории, что „при Петре I развилось такое взаимоотношение и казнокрадство, какого до сих пор не знала история, разве... после“. Это „после“ именно наступило в 1914 году.

Шлиссельбургский остров, а с ним, конечно, и тюрьму, объявили на военном положении. Широковещательные граммы гласили, что малейшее неповиновение или возмущение подлежат „немедленной каре по всей строгости законов военного времени“.

Для мастерских — столярной, сапожной, портновской, слесарной — набирали массу военных заказов: шили солдатское обмундирование, мешки для песку в окопы — миллионами, делали сапоги, носилки для раненых — десятками тысяч, баки для перевозки взрывчатых веществ... Со всего крали сколько захватит рука, обчитывали арестантов, на всем экономили, выгадывали — памятуя: „копейка рубль бережет“, и получалось, что носилками можно было любоваться, но они не выдерживали тяжести человеческого тела, ломались и могли раненых, в лучшем случае, докалечить, в худшем — отправить к предкам и ускорить окончательно избавление „от болезней и печалей“. За неприятные военным ведомством изделия вычитали стоимость их с арестантов, делавших их... Все кипело, все приумножалось: один из помощников начальника тюрьмы с барышей завел себе моторную лодку и каждый вечер отдыхал, катаясь по Неве и озеру, поднимая такой треск, как будто и в правду наступали немцы...

Через стены долетали мощные звуки патриотических манифестаций и больно ущемляли революционное сердце. В среде каторжан все смешалось, все перепуталось... Полетели ко всем чертям и красивые фразы, и дружба, и товарищество, и арестантская солидарность... Забыли и виселицы, и военные суды, и тюремные застенки... Верховный палач, Николай Николаевич, утвердивший на посту командующего войсками Петроградского военного округа тысячи смертных приговоров, выносивший на штыках из казарм солдат дисциплинарного батальона в селе Медведь, вдруг стал народным героем и увидел поклонение даже от политических каторжан. Анархисты объединились с максималистами, социалистами-революционерами и социал-демократами против таких же анархистов, максималистов, социалистов-революционеров и социал-демократов, разделенные между собою страшнейшими человеческими бедствиями во славу царя и капитала. Порвалась многолетняя дружба, и прежние товарищи стали самыми непримиримыми врагами. Появились пораженцы, непротивленцы, оборонцы. Все сцепилось в общий клубок страстных до самозабвения словесных и физических схваток. Уголовные и политическая шухера пустили в ход кулаки, ножи и банные шайки. И все стремились доказать противникам правильность своего мышления, то и дело бросая несогласным бывшие до сих пор в полнейшем запрете слова: предатели, изменники, палачи революции и так дальше — все страшнее и страшнее. Все верили только в себя, что только они поймали истину: про других думали, что они ослепли и ничего не видят. В прошлом выкапывались революции и факты, хлестали друг друга этими резолюциями по мордам, а там, на плодородных полях, уже лилась рекою народная кровь...

В настоящем, делавшие через широкую Неву звуки манифестации бросали на лицо одних краску стыда и позора за человека XX столетия; другим — эти же звуки давали в руки оружие для доказательства их правоты, что они живут одной душой с народом. Как будто обязательно всегда идти одним шагом с народом и на завоевание великой истины и на уничтожение приобретенных кровью и потом великих человеческих ценностей. Более устой-

чивые старались доказать, что, чем сильнее волна манифестаций вздуется своим гребнем теперь, в минуту всеобщего угара, тем сильнее, по выходе его из голов, будет звучать марсельеза, тем сильнее ударит вал девятый, роковой для мрака и насилия.

Но масса, большинство, не хотела смотреть вперед: то было далеко, было проблематично, и она жила сегодняшним днем. Ей приятно было вообще опьянение и в пьяном экстазе ничего не могла рассмотреть. События сегодняшнего дня захватывали и поглощали ее целиком, у нее не оставалось места для будущего...

Доходившие газеты приносили известия о зверствах немцев, молчали об озверении русских и опять приводили одних к стыду за печатное слово, других к ликованию в своей правоте за сочувствие великим палачам...

Первый раскат пушечной пальбы на полях сражений поставил точку на самостоятельной тюремной жизни. Умоляли такие частные беседы, исчезли яркие мечты о братстве, равенстве, свободе, в тюрьму ворвалась жизнь общества, все смешалась, все перепуталось, все поставило вниз головой. Сидевшие по пяти и больше лет, парами, в одиночках, сжившиеся как братья родные, не только разделились, но не стали даже гулять на одной прогулке; одно упоминание имени прежнего сокамерника приводило в бешенство и искажало злобой черты лица; они оказались в разных лагерях — оборонцев и пораженцев. Люди, пившие годами чай из одного чайника, совершенно забывшие слово „мое“, „твое“, вдруг стали жалеть для другого чашку голого кипятку: они также очутились в разных лагерях. Всюду и всегда кипела война, со всем ее позором, безобразием, жестокостью. Насколько была сильна вражда между каторжанами, показывает тот факт, что, когда разрешили выписывать „Правительственный Вестник“ и „Русский Инвалид“, одни из вражды не желали пользоваться газетами других, а тюрьма получала до 300 экземпляров, хотя вполне обошлась бы и одной шестой частью их.

Нельзя сказать, что вся эта пертурбация упала на тюрьму, отрезанную от воли, как снег на голову. Промежуток времени между убийством австрийского наследника и днем объявления войны был достаточен, чтобы взвесить надвигавшиеся события и определить к ним свои отношения. Это было сделать легко, так как дискуссии на эту тему в начале 1913 года еще не иссякли из памяти, и участники их были еще в Шлиссельбурге. Но в это время господствовавшее большинство стояло твердо на уверенности, что война между цивилизованными государствами в XX веке немислима: организованный пролетариат ее не допустит. Нараставшее среди петроградских рабочих в эти дни революционное движение для большинства было только доказательством невозможности войны. Голос меньшинства, доказывавшего, что именно это движение заставит правящие круги ускорить начало войны, броситься, очертя голову, для своего спасения на самый рискованный исход, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних дел, звучал слабо и неубедительно.

В результате каких только сцен не выдали шлиссельбургские стены за два века своего бытия!

Вот два друга—Тихов и Кузьмин, что называется, водой не разольешь. С десятого года сидят всегда вместе. Один знает все слабости другого, знает его мысли, привычки. Сидят и мирно пьют чай. Кузьмин говорит:

— А все-таки пусть нас немцы разобьют...

— Что ты, брат, зачем, — спокойно спрашивает Тихов.

— Свобода будет... Народу вольготней станет...

Тихов начинает кипатиться и уже раздраженно педит сквозь зубы.

— Свобода... Вольготней... Знаем... были у нас немцы, читали, вон, Бирон...

— Бирон не немец, а чухна...

— Ну все равно, Аккерман был...

— Сам ты Аккерман, Аккерман город—я в нем был; у нас был Астерман, тогда народ был темен...

— Да ты что, за немцев стоишь?

— У немцев солдатам белый хлеб дают, а у нас на черном порют...

— А, ты Россию за белый хлеб продаешь.—Тихов вскакивает и одним ударом сшибает Кузьмина со скамейки. Кузьмин вскакивает, и начинается настоящий тюремный, честный бой. Слышны удары, сопенье. Этика не позволяет в драке кричать. Сокамерники, видя, что дело, между такими богатырями, приняло серьезный оборот, начинают растаскивать драчунов. Но дружба уже окончилась, вместо черной кошки между друзьями пробежал немец, и они расстались навсегда, разошлись по разным корпусам и там косят один другого, как предателей...

Вот, претендент на пост главнокомандующего Виноградов и простой солдат Наумов, революционный социалист и социал-демократ, ведут отчаянный спор. Наумов пораженец. Добиваются до основ, и выясняется, что Наумов, кроме переводной социал-демократической литературы, ничего не читал, и Виноградов с озлоблением бросает ему, трясомый гневом, „ты за пятикопейную брошюру весь народ продаешь“. „Ты отказался от собственной мысли и принял на веру немецкую. Предатель“. И в уплату получает „черносотенца“.

Вот, два социал-демократа, сидящие в одиночках один над другим—Тихонов и Шарапа. Они ведут дискуссию записками, передавая их по нитке, как только зазевается надзиратель, стоящий на стене перед самыми окнами. Исчерпав прозу и не убедив друг друга, переходят на стихи, и Шарапа пишет:

В этой битве кровь потоками
Льют бараны с двух сторон...
Не мешайте ж концентрации.—
Для больной и драхлой нации
В мире нет иных лекарств...

Тихонов немедленно смалит ему ответ:

Кто лишь кровью да бараками
Концентрирует людей,
Тот страдает мысли ранами,
Недалеких тот идей.

Кипит война, гремят витии, кто попроще, тот пускает в ход ножи, кулаки. Всякими путями утверждается своя мысль и давится беспощадно чужая.

Во время войны так развилась тюремная корреспонденция, что папиросной бумаги изводили больше на записки, чем на курение. Стоило написать свое мнение, как в ответ приходило штук пять—шесть записок, да все большие, с полным обоснованием, иногда с изложением практического плана. Эти записки показывали, что каторжане читали книги не напрасно: часто, к месту и без места, перебирались все истории, приводились длинные выписки и выводились целые прогнозы на тысячу лет вперед...

Вот записка максималиста, Адодина, самого крайнего пораженца на всю Шлиссельбургскую тюрьму. На целом листе папиросной бумаги, самым убористым почерком, он развивает необходимость поражения России и уплаты ею десяти миллиардов контрибуции. Во имя свободы, во имя революции этому поражению нужно содействовать всеми способами. Дальше следует оправдание измены Мясоедова и рекомендация таких действий в дальнейшем...

Вот, записка Лихтенштадта, не приемлющего войны, не обретающегося ни в пораженцах, ни в оборонцах. Он обескуражен заданным ему вопросом: „как относиться к зверствам немцев“. Длинная софистика развивает тему, что война сама по себе тоже зверство, что европейская война утратила узкие династические рамки, перешла в стадию „народной войны“, которая, как и гражданская война, в момент революций, всегда носит более жестокие формы, часто не могущие быть объясненными...

Одним словом, с первого дня войны поднялся такой сумбур в мыслях, речах, записках, что если бы собрать все это, то материала хватило для психиатров на сто и один год...

На этой почве появились настоящие гениальные стратеги, бросающие армии в бой, в результате которых забирали сразу миллионы в плен. Появились изобретатели уничтожения одним мановением пальца всей немецкой армии от Балтийского до самого Черного моря. Сафонов составил такой проект и делал попытку его осуществить, чуть ли не посылал его верховному главнокомандующему, но мне неизвестно, почему не уничтожили немцев...

Понемногу стали долетать мысли социалистов с воли. Первым получился „Призыв“ Плеханова и Авксентьева. Чтение его на прогулке III корпуса вызвало такую бурю, какой Шлиссельбург не видал со дня штурма его Петром первым и шведами. Одни требовали прекращения чтения, другие настаивали на чтении. Все кричали, все ругались. Плеханову и К-о досталась такая баня, какую вряд ли он видел в жизни. Не лучше было положение и нападавших на Плеханова—эти были очень близки от формального мордобития.

И только извечное, гнусаво-пронзительно-пискливое надзирательское „ка-а-нчай прогулку“ ставило на сегодняшний день точку и удерживало от физического сценария, чтобы завтра снова проявиться с большей энергией

и на самом высоком градусе снова прерваться под ударом классического „ка-а-нчай прогулку“...

Настроение тюрьмы и внутренняя жизнь ее настолько изменились, что вместо надзирательских криков на арестантов; „молчи, ты — внутренняя враг“, помощник Гудима публично высказался, что с теперешними шлиссельбургскими каторжанами, он не боится „во главе их отправиться отрядом на войну“...

Это были, в полном смысле слова, дни поворота, дни угара, дни озверения и ослепления рода человеческого. Теперь остается только пожелать, чтобы они никогда не повторились...

В начале 1915 года стало нашего полку прибывать: приходили все пораженцы, оборонцы — эс-деки и эс-эры. Атмосфера понемногу стала разряжаться и мало-по-малу, стали заглядывать вперед, но все же вражда не исчезла до самой революции.

Впереди все больше и больше вырисовывалась грядущая революция. В момент прорыва, на Карпатах, фронта армии Радько Дмитриева, уже поднялась тревога за судьбу революции. Единственный выход для власти был только в смене правительства, в замене его ответственным министерством. Только этот шаг мог ослабить развитие революционного движения. Но царь сделал перестановку своих пешек, и всем стало ясно, что все останется по старому, что дорога для революции расчищена окончательно, только гради, гради, великая и светлая спасительница.

С этих пор разговоры на тему дня отодвигаются на задний план. Все время посвящается исключительно учету грядущей революции. Самым характерным было то, что, в начале 1916 года, все пришли уже к соглашению о составе первого общественного министерства. Премьер-министром наметили князя Львова, разница была только в министре юстиции, на пост которого прочили Маклакова, кандидатура Керенского не приходила в голову, да он, пожалуй, с силой и сам-то залез на министерское кресло. Покончив с образованием правительства, все стали спокойно ожидать, когда откроются тяжелые крепостные ворота и снова будут на свободе.

Неизбежность революции была признана всеми, но не все одинаково к ней относились. Оборонцы как будто испытывали перед ней какой-то страх. Пораженцы не были убеждены, что она съест войну, а возможность революционных побед, наподобие французских во время революции начала прошлого века, могла задержать развитие исторического процесса. Неприемлющие войны ожидали, что революция положит начало концу европейского империализма, на костях старого должны вырасти европейские соединенные штаты, что откроет мирные пути великому строительству.

Патриотизмом были заражены больше всего кавказцы, в их крови бурлила идея священной войны с турками. Но был один и прибалтиец, который не только желал разгрома Германии, но на основании библии предсказывал его. Место, на котором он строил свое предсказание, ничего не говорило о войне; конечно, и не могло говорить ни о России, ни о Германии, но в его толковании выходило все налицо, даже месяц начала великой войны, а год с точностью до единицы.

Так, кто чего ищет, тот того найдет, в латышских руках и библия стала „гнучка як тая лазия“, как выразился хохол про основные законы императорской России.

В этот период закончилась „военная“ анкета, и приступили к обработке ее результатов, вылившихся в особой записке.

„Волей восставшего народа“

Пришла.

Пришла желанная. Пришла мечта всех мечтаний, грез, надежд.

Пришла яркая, как солнечный луч, радостная, как первый весенний гром.

Пришла и разрушила вековую твердыню, царство мрака, гнета, розги, кандалов и крови, криви...

Вот она какая, Революция.

Накануне освобождали помилованного, по ходатайству Бурцева, сумевшего доказать невинность осужденного, бессрочного каторжанина Ивана Емельяновича Пьяных...

Сегодня явилась депутация рабочих пороховых заводов с требованием освободить всех политических...

Еще до указа Временного Правительства об амнистии, двери Шлиссельбурга были открыты „волею восставшего народа“—как говорилось в удостоверениях, выданных бывшим каторжанам—и все освобождены...

Кроме радости ничего не было, а радость трудно описать в обычные дни, для этого нужно и радостное настроение...

Сразу возник вопрос: „как быть с Шлиссельбургом“.

Были сторонники немедленного уничтожения, но были сторонники и сохранения, как исторического памятника. Начались дебаты...

Вопрос решила телеграмма Керенского: „Сохранить во что бы то ни стало“.

Решили Шлиссельбург упразднить.

Зажгли.

Долго и медленно горел, наводя по почам жуткое настроение на всю округность...

Не стало каторжной тюрьмы...

В. Градский.

И. Г. Щегловитов.

(Из воспоминаний).

Пятнадцатилетним мальчишкой я совершенно неожиданно оказался в высокой должности „товарища министра“. Правда, всего на один только вечер.

У Щегловитовых был бал. В этот вечер мне что-то не везло. Я вдруг оказался сидящим спиной к какой-то очень некрасивой и до невероятия старомодно разодетой даме, за что удостоился злобешего взгляда старших. Эта траченная молью старушенция оказалась — Столыпинай...

Как нетанцующий, я покорно сидел где-то в уголке зала и принимал героические меры против одолевавшей меня зевоты. Нетанцующих знакомых у меня не было, и я был очевидно обречен просидеть в одиночестве до ужина, если бы совершенно неожиданно рядом со мною не очутился сам хозяин дома.

Я встал. Убейте меня, если я помню, о чем мы разговаривали. Вероятно о литературе (я уже тогда мечтал о филологическом факультете). Через несколько минут мы оказались сидящими друг против друга, увлеченными оживленной беседой, которая затянулась чуть ли не на целый час. Словом сказать, разговор окончился лишь тогда, когда подошедшая к Ивану Григорьевичу хозяйка дома, упрекнув его, что он забросил гостей, попросила к столу.

В этот вечер домашние окрестили меня „товарищем министра“.

Но если по отношению ко мне этот эпитет может быть применен только иронически, то мать моя действительно была подругой Марии Федоровны Щегловитовой, третьей жены Ивана Григорьевича ¹⁾.

Брак этот был довольно оригинальный.

Оставшись вдовой после смерти своего мужа статс-секретаря Сергея Александровича Теднера, Мария Федоровна, женщина большого ума, к тому же еще не старая и привыкшая иметь успех у мужчин, долго колебалась в выборе заместителя, которому надлежало сменить умершего С. А. Теднера.

¹⁾ Его первая жена кн. Оболенская, рано умерла, а вторая бешала, не будучи в состоянии выносить его характера, главным образом, скупости.

В это время она хлопотала за своего брата, известного революционера Куличенко, заключенного в одной из тюрем на юге, кажется в Харькове. Ей посоветовали обратиться непосредственно к Щегловитову, только что назначенному тогда министром юстиции. Боюсь сказать, изменилась ли, и в какую именно сторону, участь брата, но судьба самой М. Ф. была в этот миг решена. С первого же свидания с Ив. Григ. она произвела на него такое впечатление, что уже через несколько недель стала министром¹⁾. А через несколько месяцев в ее руках оказался не только сам Ив. Григ., но и все министерство юстиции. До женитьбы на Марии Федоровне Тепнер, — Иван Григорьевич был в домашнем обиходе под башмаком своей матери, своевольной и скупой старухи. Уже будучи министром, почтительный сын по утрам не смел садиться пить кофе, пока из своих апартаментов не выйдет к столу „сама“ старуха.

Не терпела она и свободомыслия, и стоило только Ивану Григорьевичу позволить себе какую-нибудь шутку над религией (не будучи верующим, он все же свято соблюдал все обряды), как строгая мать отчитывала его:

„Ты бы уж лучше помолчал об этом, Ванчик! Не твоего ума это дело“...

В роли домашнего цербера старуху после женитьбы сменяла Мария Федоровна.

Вряд ли многие подозревают о том, какое влияние имела она на дела министерства. Я, разумеется, не склонен верить тем басням, которые сплелись вокруг нее, будто на всех бумагах, первоначально попадавших к ней, а затем уже поступавших на рассмотрение самого министра, она сначала делала свои пометки, ставя крестики в тех случаях, когда дело по ее мнению надлежало решить в положительном смысле, и точки — если ответ был отрицательный. Женщина умная и тщеславная, но двуличная, живая и скупая, она быстро сумела подчинить Ив. Гр. своему влиянию. Она стала первой „министром“, которую окружали везде раболепство и низкопоклонничество. Когда она однажды ездила в Одессу, на всех больших станциях ей подносили цветы, а в одесском городском театре по ее прихоти изменили весь объявленный репертуар, т. к. ей во что бы то ни стало хотелось послушать „Золотого петушка“, который на этой неделе не шел.

Выходя замуж за Щегловитова, М. Ф. поставила ему ряд письменных условий, каковые он и подписал. Впоследствии он, говорят, не раз кусал себе пальцы, но нарушить пункты договора все же не отважился.

Что прежде всего объединяло супругов, помимо честолюбия, ради которого ни он, ни она ничем бы не пожизнали, это — скупость. Скупость баснословная, феноменальная, принимавшая порою совершенно анекдотические формы.

Когда М. Ф. летом уезжала к своим, в Туапсе, Ив. Гр. из экономии или обедал у родных, или же „сидел на молочке“, ел манную кашку и уве-

¹⁾ Точно таким же образом женился и военный министр А. Ф. Радигер.

рил, что это ему очень полезно. Большинство туалетов М. Ф. покупала держанными у своей сестры, жены богатого архитектора Х. За вешалку в театре и за извозчика платили поочередно, то он, то она.

Кстати о театре. Не раз полиция бывала перепугана, зная, что министр должен быть в театре и не находя его в первых рядах. Оказывалось, что из экономии М. Ф. и Ив. Григ. велили ставить себе приставные стулья где-нибудь в проходе, подальше, чтобы и капитал приобрести, и не осрамиться. Посещение бывших императорских театров, впрочем, ничего не стоило Щегловитовым: в квартире был соединенный со сценой телефон...

Особенно же славились щегловитовские ужины на вечерах и балах: курные котлетки и компот. К вину никто не прикасался, хорошо зная его качество... А по четвергам, в приемные дни М. Ф., посылали за $\frac{1}{4}$ фунта песочного кэкса за угол, к Гесселю.

Когда-то, еще в бытность свою студентом, Евгений Михайлович Беспятов, автор напумевших в свое время „Массонов“, критик, журналист и драматург, участвовал в Варшаве в каких-то политических организациях и был впоследствии привлечен к суду. Дело затянулось настолько, что Беспятов успел кончить медицинский факультет и даже дослужиться до какого-то ордена, когда, совершенно неожиданно, процесс снова всплыл, и он оказался приговоренным к 7-ми годам крепости.

Студентом Евг. Мих. был репетитором у нас в доме и сохранил дружеские отношения с нашей семьей и потом. Узнав о грозящем приговоре, он попросил мою матьхлопотать за него у Щегловитова. Зная, как неохотно этот последний не только исполняет, но даже и выслушивает подобного рода просьбы, и плохо веря в успех, моя мать все же обратилась с письмом к Ив. Григ., прося его принять Беспятова и переговорить с ним лично. Единственная надежда была на то, что Щегловитов — большой театрал, и мать моя по счастью была с ним в ложе на „Массонах“, которые Щегловитову очень понравились. Хлопотать за автора понравившихся его высокопревосходительству „Массонов“ было уже легче.

Второй козырь был учтен еще правильнее: вместо Беспятова к Щегловитову, большому ухажеру и галантному кавалеру, поехала жена Беспятова, молодая и очень эффектная женщина.

Успех превзошел все ожидания. Щегловитов не только любезно принял интересную просительницу, но даже наговорил ей массу комплиментов о талантах ее мужа, пообещал уладить дело, а через несколько дней на поданной на высочайшее имя просьбе о помиловании рукою б. государя было написано: дело прекратить.

Неуязвимый министр, шутя попиравший основы той юстиции, которой он призван был служить, оказался уязвимым и уязвленным легко и просто. К слову сказать, успех ходатайства был тем более неожидан, что Беспятов был женат на еврейке...

К сожалению, случай с драматургом Беспятовым является чуть ли не единственным успешным в целой цепи просьб и ходатайств, с которыми по дружбе и старому знакомству приходилось обращаться к Щегловитову. Холодный и жестокый, этот вечно улыбающийся и готовый улыбаться высокий старичек, с розовыми щеками, неизменно отвергал все „протекции“ о помиловании или снисхождении. Мне сейчас вспоминается глубоко-возмутительный случай с покойным профессором Иваном Александровичем Бодуэн-де Куртена.

Блестящий лингвист, поляк по происхождению, человек острого ума, склонный к ядовитым парадоксам, идеалист фанатик и часто ребенок, Бодуэн выпустил брошюру, в которой пытался на основе чисто лингвистических данных определить границы населяемой поляками области. В этом чисто этнолого-лингвистическом исследовании усмотрели сепаратистские стремления, тем более, что автор как-то неосторожно употребил слово „автономия“.

67-летнего старика привлекли к суду и приговорили к 3-м годам крепости. Напрасно Академия Наук и Университет просили об отмене приговора, перечисляя заслуги профессора перед русской наукой (он даже был тайным советником!) и ссылаясь на его годы и слабость здоровья. Щегловитов был неумолим.

Тогда я, как ученик Бодуэна, решился на последнее средство. Получив от Ивана Александровича его брошюру, в которой он на полях сделал свои пояснения в тех местах, которые были выдвинуты обвинением, я попросил мою мать, которая в этот вечер должна была видиться со Щегловитовым в одном доме, передать ему эту брошюру, наложить суть дела и попросить о пересмотре приговора. За ужином, сидя рядом с Иваном Григорьевичем, она исполнила мою просьбу и сразу же встретила решительный отпор, как всегда замаскированный любезной улыбкой.

— Почему вас интересует это дело? — заинтересовался он.

— Это патрон моего сына, к тому же старику шестьдесят семь лет!

— Тем более он не должен вести себя, как приговишник! И потом, почему вы думаете, что там (в крепости) так плохо? Мы дадим ему возможность заниматься, дадим рукописи, книги. Ничего, три года не такой уж большой срок. Пусть посидит, пусть посидит!!!

— А вы не думаете, что это вызовет неудовольствие в обществе, в печати?

— Это мнение улицы, с которым я не могу считаться.

Бросая эту фразу, он, очевидно, и не предполагал, что ему когда-нибудь придется считаться с мнением этой „улицы“ и что через несколько лет ему самому суждено занять в Петропавловской крепости место несчастного 67-летнего старика...

Нежелание считаться с общественным мнением (что впрочем, мог он потерять в глазах этого общества!) в столь возмутительном деле, как процесс Бодуэна-де-Куртена, не мешало ему, впрочем, из простой галантности покрывать самые явные преступления.

Однажды к нему обратилась с просьбой известная светская „львица“ София Порфирьевна Д., жена штабмейстера и члена Государственного Совета Василия Ильича Д., отец которой — одесский нотариус Н — совершил поступок, юридически классифицируемый, как подлог. Неотразимая „львица“ сумела пустить в ход такие аргументы, что дело полетело в пылавший в министерской кабине камин...

Незадолго до революции назначенный председателем Государственного Совета. Щегловитов переехал с Итальянской на новую квартиру. В зале на самом видном месте был повешен громадный портрет Александры Федоровны. Когда мать моя, проходя через зал, с удивлением спросила Щегловитову, почему и зачем у нее оказался этот портрет, Мария Федоровна стала доказывать, что все, что говорят о государыне — ложь и клевета, и что никто даже и не подозревает, что это за женщина.

— Это святая женщина! — воскликнула она.

Революция застала Щегловитовых совершенно врасплох. Несколько дней после его ареста Мария Федоровна пряталась в платяных шкафах у своей сестры, а затем, не чувствуя себя в сохранности и там, переодетая простой бабой, в вагоне III класса, поехала в Москву. Лежа в грязном, накуренном вагоне на запыленной полке, в вагоне с уже выбитыми стеклами и повисающей густым слоем в воздухе матерной руганью, бывшая „помпадурша“ наслушалась много славных проектов о выпуске буржуа кишек и, полумертвая, добралась до Москвы. Здесь она думала приютиться у своей подруги, б. начальницы гимназии. Однако дочь этой последней оказалась замужем за с.-деком, и пребывание Щегловитовой в доме тещи ему было не по душе. Пришлось снова возвращаться в Питер. Прежние друзья ее разбежались. Зять ее, б. начальник III Отделения, Трусевич сам передался в руки властей, не дожидаясь ареста, родня скрылась; знакомые, раньше кичившиеся близостью с нею, захлопнули перед нею свои двери, и последние годы жизни некогда почти всеильной „министерши“, боявшейся конкуренции одной только Е. В. Сухомятиной, прошли в унижении и нужде. Накопленное ценою грошевой экономии богатство пошло прахом, и ей тяжко пришлось искупать старые вины.

Смерть ее была столь же ужасной, как и одинокой.

Последнее время, после смерти своей тетки Прибыльской, она жила одна в маленькой квартирке. Когда дня два никто не мог достучаться к ней, дверь взломали. Под кроватью нашли ее разбухший и разлагающийся труп среди следов той ужасной болезни, от которой она умерла... Труп настолько растекся, что ее пришлось хоронить в металлическом гробу...

В. Н.

Милиция Февральской революции.

Воспоминая.

Глава III.

„Общественное“ градоначальство.

Градоначальник профессор Юревич и его помощники проф. Сватиков и Мрочек и начальник милиции Крыжановский. Борьба между градоначальством и управлением милиции. Представители С.-Р. и С.-Д. при градоначальстве М. П. Воронович и шпиксельбуржец М. Н. Новорусский. Борьба за упразднение градоначальства. К. Д. Берманский. Комиссар Врем. Правительства под управлением б. градоначальника Е. Роговский. Помощник начальника милиции М. Г. Нашатырь.

В первый же день революции профессор Военно-медицинской академии Вадим Александрович Юревич явился в Государственную Думу и получил там мандат на звание „Общественного“ градоначальника. В первый же день он составил, отпечатал и расклеил по городу объявление, извещавшее население о том, что образовано „общественное“ градоначальство. Публика с удовлетворением констатировала этот факт — что градоначальство стало общественным. Пока Управление Милиции помещалось в кабинете городского головы в здании городской думы, ему с градоначальством не приходилось сталкиваться. В это время им было лишь получено объявление помощника общ. градоначальника С. Г. Сватикова о том, куда направлять арестованных горожаных. Когда же Управление Милиции переехало в здание градоначальства, то с первого же дня между ним и градоначальством началась сначала скрытая минная борьба, перешедшая потом в открытую. На эту борьбу, закончившуюся победой Управления Милиции и упразднением градоначальства, ушло много времени, сил, энергии, которые могли бы быть обращены на упорядочение милиции. Милиция и градоначальство были две глубоко различные организации. Если первая была живым общественным, развивающимся организмом, демократическим органом, основанным на принципе выборности, проводившимся сверху донизу, органом, независимым даже от министерства, опирающимся на широкую массу населения — то назначенное „градоначальство“ представляло собой бюрократическое учреждение, заменившее прежнее градоначальство. Ничего не изменилось от этого, что оно к своему наименованию прибавило эпитет „общественное“. Само существование его казилось в то время анахронизмом.

Было непонятно, какие оно могло иметь функции: полицейские — отошли к милиции, а надзор за выборным общественным управлением в то время казался нелепостью. Указанное соображение — очевидная, казалось бы, бесполезность градоначальства была так сказать идеологическим основанием к вражде милиции, но сверх сего играли роль, едва ли не большую еще, и соображения личного характера. Благодаря последнему обстоятельству ничего во взаимоотношениях милиции и градоначальства, не изменилось к лучшему от того, что для устранения абсурда (существования градоначальства) — Дума избрала градоначальника начальником милиции, т.-е. подчинила его себе. Результатом этого избрания было лишь то, что „Ведомости Градоначальства“, возобновленные с 8 марта под названием „Ведомости Общественного Градоначальства“, после избрания проф. Юревича начальником милиции, получили заголовок „Петроградское Городское Самоуправление“. — Вся деятельность Юревича, как начальника милиции, по милиции выразилась в первом и оставшемся единственном приказе его по милиции о том, что он избран начальником милиции на место сложившего свои полномочия Д. А. Крыжановского и что последний избран „товарищем“ начальника милиции (не помощником!). Во взаимоотношениях градоначальства и милиции это избрание, как сказано, ничего не изменило. Лишь Д. А. Крыжановский стал подписываться „з.и.“ начальника милиции. Самостоятельности Управление Милиции не лишилось, Крыжановский не только не сделал Юревичу ни одного доклада, не только не испрашивал у него указаний, не советовался с ним, но, наоборот — всякая просьба градоначальства, обращенная к Управлению Милиции, встречала если и не открытый отказ с ее стороны, то глухой „саботаж“ — градоначальство отвечало тем же.

Антагонизм между обоими учреждениями с течением времени все углублялся — избрание Юревича, таким образом, начальником милиции было сплошной фикцией, должествовавшей скрыть ненормальность самого существования градоначальства. Причины к недоброжелательству милиции к градоначальству, после избрания Юревича номинальным начальником, не личного характера, были те, что, во-первых, как уже сказано, Управление Милиции считало себя избранным органом, пользующимся доверием населения, что оно обладало реальной силой в лице нескольких тысяч милиционеров; с ним, с управлением, непосредственно сносились власти, к нему обращалось население — Комиссары точно так же, как управление, считавшие градоначальство вредным наростом, пережитком, бойкотировали его (возник даже вопрос, отвечать ли им на получаемые ими из градоначальства бумаги) — и обращались лишь в управление Милиции.

Градоначальство же, к которому почти никто не обращался, которое не имело, казалось, никакого дела и реальной силы, лишь претендовало на власть, продолжая по традиции издавать „обязательные постановления“ о дворниках, ломовых извозчиках, отпуске из аптек спирта и т. д. Различие между обоими учреждениями сказывалось во всем — скромная фигура штатского Крыжановского, разъезжавшего по городу на своей лохматой лошаденке,

уклонявшегося от всяких официальных выступлений, прятнувшегося в моей комнате за маленьким письменным столом, на-ходу принимавшим здесь ж комиссаров и посетителей, и немного опереточная фигура проф. Юревича, окруженного всегда десятком адъютантов, со шпорами и аксельбантами, взятых им из его медицинской академии, заседавшего в парадных апартаментах градоначальства, имевшего часы приема (на которые никто не являлся), несколько автомобилей, ординарцев, курьеров, в первые же дни революции снятого на открытках, выставленных в табачных лавочках. — Особенно комичное впечатление производил тщедушный общественный градоначальник со своими докторскими погонами в день похорон жертв революции, когда он развезжал по Марсову полю верхом на белом коне, перекинув через плечо красную шелковую ленту, отличительный признак, нас членов комиссии по организации похорон. — Лента давала ему совсем генеральский вид.

Когда демократическое управление наше на двух возах перевезло свой скарб из городской думы в общественное градоначальство, нам отвели две комнаты во втором этаже. В одной поместились Д. А. Крыжановский и я — в другой М. Л. Сапер со всей нашей уже разросшейся канцелярией. Теснота у нас была неимоверная.

С утра до вечера толпились люди, приходили комиссары со всех районов, просители, гул и гам был невозможный. И вот в то время, как нам в таких совершенно немыслимых, бивуачных условиях приходилось не только исполнять колоссальную работу, но разрабатывать еще проекты организационного характера, градоначальство, ничего не делавшее, без всякой к тому надобности, занимало сотню парадных просторных комнат, из которых к тому же добрая половина пустовала.

Напротив моей комнаты помещался кабинет помощника общественного градоначальника по гражданской части „профессора“ Сватикова. В первый же день после нашего переезда я должен был быть свидетелем комической, но на фоне революции трагической, сцены между ним и другим помощником градоначальника, тоже „профессором“ Мрочком. Впоследствии выяснилось, что столкновения эти между ними происходят ежедневно. Оба профессора ругались не как извозчики, а как торговки на рынке. — Дело у них дошло почти до физического воздействия. Вырывали друг у друга тетрадь с ассигновками: спорили из-за права подписывать их.

Это на глазах у публики и служащих.

Фактически Сватиков и Мрочек вершили всем в градоначальстве. Юревич же, окруженный своими адъютантами, был больше для представительства и такой же в сущности слабохарактерный и мягкий человек, как Д. А. Крыжановский, был бессильен справиться со своими боевыми помощниками профессорами.

У Сватикова приходилось со скандалом отвоевывать каждый стол, каждый стул для машинистки — в то время, как они стояли в градоначальстве без употребления.

Возмущение в милиции вызвал приказ Сватикова, в котором он, даже еще до избрания Юревича номинальным начальником милиции, с обычной

своей бесперемонностью, присваивая никем ему не предоставленные права, утверждал в должности по милиции 3-х комиссаров, избранных на Васильевском острове.

После энергичного протеста против подобной узурпации Сватиков перестал в своих приказах касаться милиции и вскоре после этого был назначен в Главное Управление по делам милиции, т.-е. стал нашим начальником — каковое обстоятельство, в виду независимости милиции от министерства, для самостоятельности милиции никакого значения, конечно, иметь не могло.

На место Сватикова был в градоначальство назначен полковник генерального штаба Самсон фон Гиммельстиерна, избегавший всяких конфликтов с милицией и державшийся системы контакта, изысканной, очаровательной любезности, он часто обращался ко мне со всевозможными служебными делами, — каковые нами и разрешались без особых трений. После 25 октября полковник Самсон вдруг оказался старшиной в одном из антрепенерских клубов... который он часто посещал, будучи еще помощником градоначальника.

Кроме перечисленных (первое время еще Н. А. Опделя) помощников градоначальника, в градоначальстве были еще два представителя от Совета Рабочих Депутатов. Их участие должно было придать обреченному учреждению некоторый авторитет. Это были М. П. Воронович и шлиссельбуржец М. Н. Новорусский. Ни тот, ни другой в дела милиции не вмешивались.

М. П. Воронович, обаятельный, милый, скромный, конфузливый человек, иногда спускался в Управление Милиции выпить стакан чая — и поболтать. В накуренных милицеских клетушках, где кипела организационная, живая работа, он чувствовал себя лучше, чем в золоченых, холодных, пустынных апартаментах, где как тени без дела склонялись адъютанты. — Часто ему приходилось выступать в роли миротворца для улажения очередного конфликта между управлением и градоначальством, в роде отказа последнего выдать нам стол, стул или пишущую машину — или отказа коменданта градоначальства допустить наших сотрудников в столовую, где для служащих градоначальства отпускались обеды. Когда Управление Милиции, разраставшееся с каждым днем, увеличилось настолько, что в двух, а затем и трех дополнительно отвоеванных у градоначальства комнатах стало совершенно невозможно работать — управление, при посредничестве Вороновича, заняло квартиру бывшего помощника градоначальника Лысогорского.

Как сказано, сначала борьба управления с градоначальством носила скрытый характер и не шла дальше мелких взаимных уколов, в роде отказа допускать наших служащих в их столовую, с их стороны, или отказа нашего давать им сводку происшествий с нашей стороны. Градоначальство с удовлетворением хваталось за всякие дела, могущие бросить тень или в той или иной мере скомпрометировать милицию. Так, однажды мне было поручено расследование об одном из комиссаров, который якобы ехал пьяным в автомобиле и стрелял. Расследование мною производилось совместно с одним из

офицеров для поручений от градоначальника поручиком Кагодаевым и выяснило интересную деталь, что милиционер, возбудивший все дело, возбудил его по научению градоначальства.

Дело обстояло таким образом, что он направлялся в Управление Милиции, чтоб сообщить о происшедшем во время его дежурства случае, но по ошибке вместо управления попал в градоначальство, где вместо того, чтобы разъяснить ему его ошибку и направить в управление, его усадили, заставили наложить все письменно, а затем назначили расследование смешанной комиссией из представителя от градоначальства и от милиции.

В апреле месяце борьба из скрытой — стала открытой. В это время Управлением Милиции было созвано совещание для обсуждения вопроса о судьбе, выработанного в среде милиции в противовес „профессорскому“, проекта об устройстве милиции. Профессорским проектом сохранялась должность градоначальника.

В милицеемском проекте должность эта не предусматривалась.

Собрание было чрезвычайно бурное. Все ораторы говорили о необходимости упразднения градоначальства. Представитель Совета Рабочих Депутатов Пятиев указал, что считает даже излишними прения по этому вопросу — всем ясно, что градоначальство зло, что необходимо без дебатов принять резолюцию о необходимости упразднения этой должности и послать ее в Совет Рабочих Депутатов. Говорили о необходимости огласить эту резолюцию в печати, внесли предложение о том, чтоб комиссары сносились исключительно с начальником милиции, как избранным лицом, не входя ни в какие сношения с градоначальством, возбуждали вопрос, реагировать ли комиссарам на бумаги, получаемые ими из градоначальства — один комиссар сказал в речи, что ему „противно ходить в Управление Милиции, пока в здании будут старые служащие градоначальства“, а другой заявил, что „нужно решительно и срочно потребовать удаления этой „сколоча“ — здание должно обслуживать милицию!“ В результате таковых прений собранием была принята следующая резолюция, заранее подготовленная Берманским. „Комиссары районов и подрайонов города Петрограда в заседании своем от 1 апреля 1917 года в составе 50 комиссаров, признавая:

1) Что вопросы переустройства управления столицей не могут быть разрешаемы без обсуждения соответствующих проектов представителями демократических общественных организаций, ведающих, на основании избрания их населением, дело порядка и безопасности;

2) что таковой проект уже составлен и принят в ряде заседаний из представителей Совдепа, милиции и других учреждений и передан городскому голове для дальнейшего направления;

3) что должность градоначальника, как подлежащая упразднению и доказавшая на деле и при новых условиях свою непригодность, этим проектом не предусматривается;

4) что восстановление должности общественного градоначальника, как противоречащее принципам демократического строя, ни в виде посредствую

щего между милицией и городским самоуправлением органа, ни для представительства и объединения административных полномочий б. градоначальника не желательно, — единогласно постановили:

1) Оказать энергичное противодействие всем проектам переустройства управления столицей от кого бы последние ни исходили, которые противоречат вышеизложенным началам:

2) настоящее постановление сообщить И. К. С. Р. и С. Д., министру внутренних дел, товарищу его по делам милиции, председателю городской думы и в районные управы, городскому голове и для сведения общественному градоначальнику.

Председатель Редакционной Комиссии И. Радугин.

Секретарь Комиссии и Собрания З. Кельсон.

Членом редакционной комиссии и автором этой единогласно принятой резолюции был, как сказано, К. Л. Берманский. Он же отнес эту резолюцию в министерство внутренних дел и он же сообщил вскоре, что, под давлением этой резолюции, министерство готовит проект закона об упразднении градоначальства. Крыжановский на этом собрании не присутствовал, и председательствовал его помощник Н. В. Иванов. Закон об упразднении градоначальства вскоре после этого, 21 мая, и был издан — управление в этом вопросе одержало победу — Юревич вскоре был назначен на пост начальника Главного Санитарного Управления, но немного спустя, после всего этого оказалось, что вся эта борьба была игрой, не стоящей свеч. 21 мая был издан закон об упразднении градоначальства, через несколько дней был назначен эс-эр, Евгений Францевич Роговский, ссыльный адвокат из Сибири, комиссаром Временного Правительства над управлением бывшего петроградского градоначальства, который должен был ликвидировать управление. Однако, он его не ликвидировал. Градоначальство снова осталось, снова изменилось лишь его название, вместо Общественное Градоначальство оно стало называться Управление Комиссара Вр. Пр. над управлением б. петр. Гр-ва, Комиссар Вр. Правительства, должно быть, нашел во время ликвидации какое-то дело для себя, — так как на вновь назначенного тов. министра внутренних дел С. Н. Салтыкова было возложено объединение деятельности петроградского городского общественного самоуправления и комиссара Вр. Пр. над упр. б. петр. гр-ка. Милиции комиссар Временного Правительства не касался совершенно, так же как его предшественник общественный градоначальник. Отношения между комиссаром Вр. Правительства эс-эром Роговским и сменившим Крыжановского эс-эром Ивановым под эгидой эс-эра городского головы Г. И. Шрейдера — были наилучшие. Установилось *entente cordiale*, озаглавленное в первый же день ужином в закрытой ложе в Вилла Ротэ.

Таковые ужины во время царствования эс-эров стали обычным частым явлением. — Ни Д. А. Крыжановский ни М. Л. Сапер никогда участия в них не принимали. Главным инициатором их был М. Г. Нашатырь, по-

мощник начальника милиции. — Единственное, что он делал в управлении сверх выпивки, это — усиленно занимался разными ремонтными работами для нужд милиции и закупкой для нужд же милиции автомобилей и устройства гаража. Вскоре в управлении было уже 7 автомобилей, которые все время чинились и никогда почти не ходили. Вслед за автомобилями в управлении появились и ординарцы и адъютанты с шпорами — затем и поездки для инспектирования города и комиссарнатов, а вскоре и поездки для инспектирования Фелисьена, Эрнеста, Виллы Роде и прочих увеселительных мест. Владельцами этих мест считая за выпитое шампанское подавались весьма скромные — фигурировало, кажется, что-то в роде себестоимости и объяснения владельцев в роде: „Помилуйте — как же нам с вас наживать — уплатите лишь себестоимость, прежняя полиция никогда ничего не платила“. Так население учило власть. Учение дало пышные всходы, и увя даже среди адвокатов, комиссаров, к сожалению, вскоре началась коррупция — поэтому не был неправ журналист, писавший, что милиция „страдает всеми отвратительными пороками прежней полиции, не обладая ни одним из ее достоинств“.

В последнее время коррупция в самых разнообразных формах была чрезвычайно распространена. М. Г. Нашатырь вскоре после ухода Крыжановского также ушел из Управления Милиции. По образованию инженер — имел свое довольно большое дело — сидел когда-то в тюрьме по политическому делу (по его словам), был в эмиграции в Женеве, где, по его словам, встречался с А. Р. Гоцем, а также В. И. Лениным. Это он производил ликвидацию анархистов в „Русской Воле“, зашил к министру председателю кн. Львову и считал, что оружие, как их частная собственность должно быть возвращено анархистам.

ГЛАВА IV.

Муниципальная полиция.

Состав комиссаров. — Пестрота в организации. — Студенческая милиция. Принцип выборности. — Парламентарная полиция. — Профессорский и милицкий проект закона о милиции. — Децентрализация, причина неспособности милиции. Самодеятельность районов Городской голова как главный начальник милиции. — Аполитичность милиции. — Министерство внутренних дел. — Ревизия. — Правительственные инспектора.

12 марта Управление Милиции переехало из кабинета городского Головы в здание градоначальства. Добровольческий период в милиции, период „общественности“ кончился — началась служба полицейская, началась новая эра, знаменовавшая собой конец энтузиасмированных революционных импровизаций. До этого времени все работали, не покладая рук, днем и ночью, делая свое дело и чужое, не думая о вознаграждении. Теперь возникли вопросы будней — о жалованье, о должностях. К милиции со стороны

граждан, прессы, правительства стали предъявляться иные повышенные требования. Снисходительное отношение сменялось посыпавшимися со всех сторон нареканиями. Но в то время, как все силы управления должны были быть направлены на организационную работу, они расплылись, обращаясь на борьбу по целому ряду фронтов, на борьбу с градоначальством, с децентрализующими районными думами, ведавшими милицией, на преодоление трений при получении в оружия, на устранение развившихся карьеризма, коррупции, на обуздание милицмейской вольницы.

Прежде всего управление должно было упорядочить организацию и прочистить состав милиционеров. Последний был весьма пестрый, численностью до 20.000, в нем были студенты, рабочие, солдаты, гимназисты, воры, выпущенные из тюрем, обыватели. Всей этой массе нужно было платить жалованье. Службу они несли, конечно, совершенно неудовлетворительно. Достаточно взять в руки любую газету того времени, чтобы натолкнуться на ряд заметок о милиции. Никудышность этой милиции пастолько била в глаза, что в градоначальство десятками поступали заявления, предложения, проекты от отдельных граждан, предлагавших реформировать милицию. Так, один гражданин писал. „Имею честь просить вас внести программу моих личных взглядов на народную милицию. которая не соответствует своим служением народного блага и спокойствия и незнакома с бытом народных насущнейших потребностей. Я со своей стороны делаю доводы эта милиция не в силах вести борьбы из-за страха и не обладая знаниями тех кругозор тактики практики“... Один журналист, писавший, что „милиция страдает всеми отвратительными пороками прежней полиции, не обладая ни одним из достоинств ее“, был недалек от истины. Что касается высшего состава милиции, комиссаров, сменивших собой назначенных в феврале. Думою уполномоченных, избираемых собраниями, из коих впоследствии создались районные думы, то их состав был также чрезвычайно пестрый и текущий. Главный подавляющий контингент их с февраля по октябрь были адвокаты но на-ряду с рабочими, студентами, конторщиками, инженерами встречались и актеры Г.Г.Ге (комиссар острова Голодая), Н. Н. Фигнер (комиссар Петровского острова), полковники в отставке В. П. Лебедев (комиссар Удельный). На ряду с комиссаром графом Zubовым был комиссар большевик Харитонов, приехавший вместе с Лениным и покровительствовавший анархистам, захватившим дворец Лейхтенбергского. Комиссарами городской милиции в это время были также Пешехонов, впоследствии министр продовольствия, кн. Г. Д. Сидамон-Эристов, впоследствии начальник Главного Управления по делам милиции, П. М. Могилянский и зубной врач Урушадзе, впоследствии, после 25 октября, председатель Комитета общественной безопасности, М. И. Бенуа, А. В. Лауб и профессор Технологического института Воронов, впоследствии расстрелянный, как министр правительства Юденича, при наступлении последнего на Петроград. При выборах комиссаров в районах руководствовались в большинстве случаев точно так же, как при замещении должностей в пополненной представительности демократии городской думе

лишь одним критерием: революционным стажем кандидата. Перед баллотировкой председатель собрания оглашал *curriculum vitae*, состоявший из перечисления годов ссылки, каторги, тюрем и арестов.

Еще бо́льшая пестрота, чем в составе милиционеров и комиссаров, была в организации самой милиции и комиссариатов, возникших стихийно, путем общественной инициативы, а не на основании закона. Милиция выполняла разнообразнейшие функции, не дифференцировавшись еще от обывательских комитетов, эмбрионов будущих районных дум. Совершенно произвольным и случайным было административное деление города.

Существовал целый ряд специальных милиций. Назывались комиссариаты: где милиционными пунктами, где штабами милиции, где Комитетами по охране общественной безопасности. Комиссары назывались: где уполномоченными, где начальниками, где председателями милиционных отделов. Помещались комиссариаты частью в помещениях бывших, уцелевших от разгрома, в первые дни революции полицейских участков, но также в пенсионных кассах, военно-промышленных комитетах, больничных кассах, рабочих столовых, бывшем охранном отделении, в волостном правлении, на даче Дурново, в Лицее, институтах Технологическом и Инженеров Путей Сообщения, гостинице „Франция“, „Балабинской“, трактире „Ягодка“, в „Аквариуме“, Вилла Родэ, театре Элит и частных квартирах. В Спасском районе, кроме 4-х подрайонов, имелись особые со своими комиссарами милиции, 1) Гостиного двора, 2) Апраксина двора, 3) Марининского рынка, 4) Банковской, Мучной и Москательной линии. Своя милиция была в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. В Петербургском районе, кроме 5 подрайонов, имелись комиссариаты на Петровском, Елагином, Каменном и Крестовском островах и сверх сего еще отряд студенческой милиции. Маленький Адмиралтейский район имел 6 подрайонов. Весь этот пестрый гистрион управление должно было привести в систему, встречая в этом со всех сторон препятствия и противодействия.

В первые дни революции милиция создавалась по инициативе трех организаций: городской думы, Совета Рабочих Депутатов и Комитета Военно-Технической Помощи. Сообразно с этим создались три самостоятельные милиционные организации: городская, рабочая и студенческая. Студенческая милиция возникла по инициативе Комитета Военно-Технической Помощи, объединенных и технических организаций. 28 февраля в „Известиях“ было следующее его обращение к студенчеству: „Товарищи! В настоящий момент необходима организация для поддержания порядка в Петрограде. Предлагаем всем вам записаться в нее. Место сбора — ваши учебные заведения. Отличительные признаки белая повязка на левой руке“. 28-го же февраля ночью по докладу Исполкома С. Р. Д. постановил издать обращение к офицерам-социалистам с призывом предлагать свои услуги для организации милиции и обратиться с таким же призывом к военным и студенческим организациям. В университете студенческая милиция образовалась еще 28 февраля, устроив тотчас же читальный пункт для солдат. То же самое и в Лицею и в Политехникуме. На

сходе в Горном был избран организационный Комитет из студентов и профессоров, выделивший из себя в числе прочих и милиционную секцию. Последняя учредила в институте дежурство и организовала патрули из солдат Финляндского полка и студентов института. То же самое в Технологическом институте. 28 февраля в „Известиях“ Совета было следующее обращение: „К Революционному Студенчеству. В Думе организуется милиция для охраны столицы. К участию в ней призвано студенчество. Представительство революционного пролетариата И. К. С. Р. Д. решил объединить центральный орган рабочих комиссариатов с этой думской организацией. В виду этого мы призываем товарищей-студентов энергично записываться в создаваемую охрану. Помните, товарищи, что вы принимаете участие в милиции по поручению С. Р. Д. Помните, что С. Р. Д. ваше верховное начальство. Студенческая группа С.-Д., С.-Р., Бунда.

Студенческая милиция, проявившая таким образом большую инициативу и энергию в первые дни революции, впоследствии перестала существовать как самостоятельная организация, применила к городской, растворилась в ней, рассосалась по различным комиссариатам, просуществовав еще некоторое время, как „отряд студенческой милиции“ в Петербургском районе, — но уже как один из комиссариатов городской сети, и дальнейшего значения ни для истории милиции, ни для истории февральской революции не имеет. Иное дело, рабочая милиция, как это было указано в главе — „Колыбель Красной Гвардии“. Во всяком случае однако формально все эти организации составляли единую городскую народную милицию. От прилагательного „народная“ управление вскоре же отказалось. В самом управлении все чаще говорили о том, что „поиграли достаточно“ — что „полиция, есть полиция“. — Но полиция эта была не обыкновенной, а „муниципальной“, и главное, — что в ее организации делало ее таковой — это был принцип выборности, проведенный в ней от милиционера до начальника.

Принцип выборности в милиции был санкционирован еще в декларации Временного Правительства от 3 марта. Тов. министра внутр. дел. кн. С. Д. Урусов в середине марта в одном интервью заявил, что Правительство с особым вниманием относится к работе совещаний, образованных петроградской и московской думами для выработки основ полицейского строя, и что несомненно „выборные должности надо будет распространить на все высшие должности по полиции“. Урусов здесь правда говорил лишь о высших должностях, но нельзя забывать, что министерство при выработке закона о милиции не играло абсолютно никакой роли: оно шло на поводу у собраний комиссаров, в лучшем случае на поводу у Думы и издавало совершенно автоматически в виде закона то, что ему последними преподносилось. В среде же самой милиции принцип выборности был истолкован еще шире, чем это было сделано Урусовым. Декларация Правительства под давлением фактического положения вещей говорила лишь о выборном начальстве, что при желании ограничительного толкования могло быть истолковано так, что изби

рается Думой лишь начальник милиции. Урусов, под давлением опять-таки существовавшего в то время уже фактически положения, говорил уже о выборности и других высших должностей; созванное же нами 17 марта общее собрание представителей всех районов установило следующий порядок выборов в милицию: „Подрайон организуется собранием милиционеров, выбранных ¹⁾ по одному от каждого дома. Собрание выбирает совет подрайона и комиссара. Там, где существуют уже рабочие или иные милиционерские организации, — выбранные указанным выше путем домового представительства милиционеры вливаются в эти уже существующие организации и сообщая с ними в пропорциональном отношении выбирают Совет и комиссара. Там, где существуют разнородные организации, они могут либо слиться, либо остаться автономными. Их объединение будет достигнуто в районе. Представители советов подрайонов избирают совет и комиссара района. Совет городской милиции составляется из представителей советов районов“...

Таким образом принцип выборности согласно этому постановлению в *de facto*, так как оно было проведено в жизнь, был в милиции проведен сверху донизу — от начальника милиции до последнего милиционера. Затем при начальнике милиции, при комиссаре района, при комиссаре подрайона везде были свои советы. Не говоря уже о громоздкости этой парламентарной демократической полиции, ясно, какой авторитет могли иметь выбранные начальники у своих самих же выбранных подчиненных. Что касается указанных советов милиций районных, то из них-то и создались вскоре временные районные думы и управы.

В апреле месяце в среде милиции при ближайшем участии К. Л. Берманского был выработан проект закона о милиции, согласно коему главным начальником милиции являлся городской голова и в котором были сохранены все те начала выборности, установленные только что указанным собранием комиссаров. По поручению министерства внутренних дел группой профессоров-государственников был разработан также соответствующий проект, согласно коего начальником милиции являлся подчиненный думе градоначальник. Оба проекта были внесены в думу. Под давлением собрания комиссаров дума отклонила министерский „профессорский“ проект и приняла милицейский, постановила утвердить его, ввести его в действие впредь до образования думы на началах всеобщего избирательного права и представить его министру вн. дел с просьбой об издании соответствующего закона, что министерством и было сделано.

Согласно проекта закона главным начальником милиции являлся городской голова, по представлению которого Дума избирает начальника милиции, действующего совместно с Советом милиции, в состав коего входили городской голова, 6 членов от городской думы, 12 членов районных управ, начальник милиции, 2 его помощника, начальник резерва, 4 инспектора. Общий надзор за милицией в районе возлагался на районные думы и управы.

¹⁾ Курсив везде мой.

Для связи районов с центром служили 4 инспектора. Комиссары районов подчинены районным управам и ими же назначаются. При обсуждении проекта в Совещании Комиссаров последнее изменило этот параграф в том смысле, что комиссары избираются районными думами. Точно так же Совещание исключило из проекта § 4, согласно коему: „В обстоятельствах чрезвычайных по постановлению о сем думы начальнику милиции предоставляется высшая власть по охране порядка и безопасности в городе“.

Дума же при обсуждении его проекта уже в редакции, принятой Совещанием, в свою очередь внесла от себя еще поправки о том, что в Совете милиции сверх указанных 27 человек участвуют еще 6 представителей от служащих по милиции и что комиссар, исполняя распоряжения начальника милиции, в пределах установленных, Совет милиции несет ответственность перед районной думой.

Таким образом проект, принятый Думой и получивший силу закона, сам по себе уже, в противоположность профессорскому, весьма широко проводивший выборность и децентрализацию, после внесения в него поправок сначала совещанием, а затем городской думой, установил уже полную децентрализацию, автономию районов, и, лишив начальника всякой власти, свел его роль к роли простого служащего управы. Начальник должен был действовать в согласии с Советом из 33 членов (целый парламент!). Комиссары не им назначались, а выбирались районными думами и исполняли его распоряжения постольку, поскольку это согласовалось с намерением районных дум, перед которыми они несли ответственность. При такой организации милиции понятно, каким образом могли развиваться в рабочих комиссариатах кадры красной гвардии, о которых говорилось в предыдущей главе: районы были совершенно самостоятельны.

Почему общественная инициатива создала такую кастрированную милицию?

Она желала из устройства муниципальной полиции вытравить все, что хотя бы в малейшей степени напоминало организацию прежней полиции. Совершенно сознательно начальник был лишен всякой власти. Таким образом думали муниципальную полицию обезвредить, пугаемые тенью недоброго прошлого вездесущности, всеобъемлемости полиции, обнимавшей все стороны жизни обывателя. Перегауз палку, ударились в другую крайность — полнейшую аполитичность, пассивность — цель была достигнута: по закону этому создавалась милиция, которая ни во что не вмешивалась, от которой звыв волком обыватель и от которой стояло правительство. Пресса не прекращала нападков на милицию, фельетонисты изощрялись в остроумии, но никто не знал истинной причины бездеятельности, неспособности милиции, причины, если не единственной, то одной из главных, лежавшей в самой ее организации, ее децентрализация. Эта децентрализация, самостоятельность районов однако не была внесена на Совещании и в Думе как что-то надуманное, она была введена самой жизнью с первых же дней. Самодеятельность районов, самостоятельно образовавшихся, вылившаяся в лозунг „власть на местах“, стала проявляться уже с 1 марта и поэтому

то и была санкционирована собранием комиссаров 17 марта, Совещанием, обсуждавшим проект, городской думой и министерством.

Самым самостоятельным, самым беспокойным, больше всего притазавшим на сепаратизм был комиссариат Петербургской стороны, в котором работали меньшевики Урушадзе и Шах, ознаменовавший свое возникновение в первый же день отпечатанным в известиях Совета обращением: „Граждане Петроградской стороны. Районный комиссариат, образованный по распоряжению новой власти, призывает вас во имя успеха великого дела: сохранять спокойствие при развивающихся событиях, относиться с доверием к районным комиссарам, назначенным новой властью. Выполнять их распоряжения. Исполнять обязанности, необходимые для общественной службы. Заводы, фабрики, промышленные предприятия и общественные организации призываются выбрать и послать в комиссариат своих представителей—фабрик и заводов из расчета 1 представитель на 500 человек“. Таким образом Петербургская сторона—милицийский комиссариат ее—уже в первый день создавал у себя представительство. Под влиянием Шаха и Урушадзе, даже тогда, когда все комиссариаты объединялись вокруг городской думы, — Петербургский район проявлял „сепаратистскую вольницу“.

Когда общим собранием комиссаров был выработан порядок выборов и я по просьбе комиссара Петербургской стороны инженера Валенского был Крыжановским командирован на выборное собрание, происходившее в Лицее для инструктирования, собрание не пожелало подчиниться утвержденной инструкции.

По закону, как сказано, главным начальником городской милиции являлся городской голова. Он должен был и мог, т.-е. имел право, интересоваться делами милиции, содействовать ее управлению, но однако не делал этого, будучи занят делами городского управления. Единственное отношение, которое за все время существования милиции было ею получено из городской управы, была просьба об издании приказа по милиции, чтоб милиционеры снимали трамвайных „висельников“. Никто из членов управы ни разу не участвовал в собраниях комиссаров. (Совет ни разу не собирался, и соответствующая статья закона, учредившая его, осталась мертвой буквой.) Городской голова Г. И. Шрейдер присутствовал на собрании один раз, на собрании, созванном по его предложению в Корниловские дни, на каком-то собрании он произнес бесцветную речь о необходимости всеми силами противодействовать Корнилову, речь, никого не убедившую. Насколько он, главный начальник милиции, был не в курсе, что такое представляет собою деюре и дефакто подчиненная ему милиция, видно из его заявления, сделанного им с Думской кафедры после июльских дней: „Петроградская милиция была не на высоте в последние дни, когда энергия и активность милиционеров, охрана интересов населения, личной и имущественной безопасности граждан нужны были больше, чем когда-либо“. Из этого заявления его видно, что он не знал, что милиция аполитична и никогда не вмешивается в развивающиеся на улице события. Да и что могла бы сделать горсточка рассеянных по го-

роду милиционеров против бушующих вооруженных солдатских толп. В конечном итоге однако и городской голова — непосредственное начальство милиции — при желании упорядочить ее мог бы в этом отношении сделать весьма немного, считаясь с проведенной по закону о милиции в ней вышеуказанной полной децентрализацией.

Если, таким образом, главный начальник милиции, городской голова, мог вмешиваться в дела милиции, но не делал этого, — то министерство внутренних дел, которое милицией чрезвычайно интересовалось, было бессильно что-либо предпринять, так как по закону было лишено всякого влияния на нее.

Милиция с выборным начальством была органом городского избранного на основе всеобщего равного и тайного голосования общественного самоуправления. Поэтому управляющий министерством Д. М. Щевкин мог только выдыхать перед интервьюером: „Чтоб понять, сколько трудностей встречает ведомство на пути борьбы с анархией, необходимо иметь в виду те совершенно исключительные условия, при которых министерству приходится осуществлять свои полномочия. Старый административный аппарат, начиная с полиции всех наименований (наружная, сыскная, жандармская и т.-д.) и кончая губернаторами, сметен революционной волной. Приходится налаживать все заново, и совершенно естественно, что эта работа при той еще подозрительности со стороны общественных кругов ко всем начинаниям министерства не может быстро завершиться. Одним из первых результатов революции явилась передача дел охранения безопасности граждан в руки земств и городов с устранением от непосредственного заведывания этим делом министерства внутренних дел. Ни для кого не секрет, что в Петрограде, например, несмотря на многочисленный состав милиции безопасность граждан ограждена совершенно недостаточно... „Производящая ныне ревизия милиции даст несомненно много материалов, доказывающих, что создание выборной милиции — это дело не одного, двух дней — а многих месяцев...“

После июльских дней в „Речи“ появилось сообщение о том, что „в виду того, что в тревожные дни, только что пережитые столицей, милиция оказалась не на высоте положения и милиционеры нередко вели себя позорно, выступая вместе с большевиками, и совершенно не заботились об охране граждан и их имущества Временным Правительством отстранен от должности начальника милиции гласный Д. А. Крыжановский. Обязанность начальника возложена на его помощника гласного Н. В. Иванова, представителя партии эс-эров. Ожидается разоружение всех милиционеров“.

Конец сообщения сплошная утка. Как почти всегда, так и в данном случае „Речь“, как большинство буржуазных газет того времени, сообщала не факты, а облекала в форму фактических сообщений свое *pia desideria*. Никакого разоружения не предполагалось и не было произведено. Что касается выступления милиционеров совместно с большевиками, то управление милиции в силу децентрализации не могло этому противодействовать. Нельзя упускать еще из виду, что, кроме всего прочего, милиционеры вне службы вообще были свобод-

ными гражданами, могли принадлежать к какой угодно партии (благо принадлежность даже к анархистам не преследовалась) и могли, значит, и выступать в демонстрациях. Что же касается „увольнения“ Крыжановского, то это вопрос темный и спорный, можно ли Правительство увольнять „избранного“ Думой начальника. Я лично склонен думать, что Д. А. Крыжановский после июльских дней ушел сам из милиции. За все время своего начальствования Д. А. Крыжановский ни разу не ездил с докладом в министерство. Несколько мне известно, Д. А. Крыжановский представил за все время один письменный доклад начальнику Главного Управления по делам милиции — об анархистах, захвативших „Русскую Волю“.

Взаимоотношения министерства и милиции лучше всего иллюстрируются тем, что, когда первому нужно было провести какую-либо меру или сделать какое-нибудь указание милиции, оно обращалось не к начальнику, а к городскому голове. Вот характерное в этом отношении письмо Щепкина к городскому голове от 15 июня. „В министерство поступают сведения, что милиция не в должной мере ограждает безопасность граждан. На это обращено также внимание Временным Правительством... В виду сего прошу вас в срочном порядке принять решительные меры к устранению вышеуказанных явлений организации милиции в том направлении, чтоб она действительно служила делу обеспечения безопасности граждан... О принятых мерах прошу срочно уведомить“.

Никаких мер принято не было.

После сего в заседании Временного Правительства некоторые члены кабинета „выразили сомнение в способности нынешнего состава милиции оградить безопасность населения и сохранять порядок“.

Д. М. Щепкин сообщил, что будет произведена ревизия. „Имея в виду необходимость кардинального разрешения вопроса и усматривая ненормальность положения в том составе милиции, которая обслуживает Петроград Временное Правительство, выдвинув на очередь общий вопрос об обревизовании и реорганизации милиции, постановило: Комиссию, производящую ревизию, пополнить 2 представителями Совета Р. и С. Д. и 2 гласными думы. Поручить ей представить доклад о дееспособности нынешнего состава милиции. Д. М. Щепкин сообщил городскому голове, тогда еще Ю. Н. Глебову, о своем распоряжении обследовать положение вещей. На какой предмет? Казалось бы, согласно постановления Временного Правительства на предмет определения ее дееспособности. Однако на другой же день после этого сообщения Щепкина Глебову в газетах появилось следующее сообщение: „Главное Управление по делам милиции считает необходимым разъяснить, что обследование милиции отнюдь не вызвано предположением каких-либо волнений, а находится в непосредственной связи с постановлением Временного Правительства от 21 мая с/г об упразднении градоначальства“ (Sic!).

Происходила эта, с позволения сказать, „ревизия“ следующим образом. Правительственный инспектор милиции, помощник начальника милиции Иванов, городской инспектор и пишущий эти строки в течение одного дня объехали 6 комиссариатов. Правительственный инспектор обозревал в них

делопроизводство и делал себе кое-какие заметки. Такие же группы, как вышеописанные, в тот же день объехали остальные комиссариаты. Правительственные инспектора представили в министерство свои доклады, а в милиции пока-что все оставалось по-старому: не был смнен ни один комиссар — даже в страшном Выборгском большевики остались на своих местах. В комиссии этой, как видно из изложенного, ни гласные, ни представители С. Р и С. Д не участвовали. Если таким образом происходила ревизия, то реорганизация, о которой говорилось в постановлении Временного Правительства, выразилась лишь в назначении правительственных инспекторов по милиции. Подчинены они были Главному Управлению по делам милиции, находились в общественном градоначальстве и назначены были для „контакта“ Правительства с „городской“ милицией. Сколько их было, не знаю. В милиции видели мы лишь одного — правда очень редко. По профессии он был военным врачом — или ветеринаром — очень тихий, конфузливый человек, такой незаметный, что даже не могу припомнить его фамилии. Единственным „действом“ его было, что он как-то спустился в управление и просил меня присутствовать, как представителя от милиции, при обревизовании одного игорного клуба...

ГЛАВА V.

Адвокаты полицейские.

Инструкция об обысках. Забастовка в Палас-Театре. Миллюковец и большевик. Фарс „Большевик и буржуй“. Клубные дела. Допрос Кирилла Владимировича. Арест Вонлярского.

Когда в феврале в один день был сметен весь полицейский аппарат царского режима и почти что в тот же день путем общественной инициативы на его месте была организована городская милиция, главный контингент ее комиссаров составляли адвокаты. Как при всякой революции адвокаты заняли преобладающее место в деле управления — от министра-председателя Керенского и министров юстиции Переверзева и Зарудного до тюремного инспектора Антипова, председателя Думы А. А. Исаева, комиссара над градоначальством Роговского, начальника милиции Иванова и начальника „охранки“ Сперанского. В милиции, начиная с начальника Главного Управления по делам милиции кн. Сидмонов Эристова до комиссаров, их помощников, заведующих судебно-следственными отделами комиссариатов были почти что исключительно адвокаты. Итак, февральская революция дала адвокатскую власть от министра-председателя до помощника комиссара. В то же время, если сенаторы (Н. Д. Соколов, О. О. Грузенберг), судьи, прокуроры (Каринский, Бессарабов, Данчич) из адвокатов, при назначении их на указанные должности, принуждены были уйти из сословия, адвокаты-комиссары продолжали в нем оставаться, каковое положение было санкционировано постановлением общего собрания Петроградской присяжной адвокатуры от 16 мая 1917 г.

Председатель Совета Н. П. Карабчевский на указанном Собрании заявил: „Совет признал недопустимым, чтобы судьи, сенаторы и лица прокурорского надзора, назначенные из адвокатов, продолжали числиться присяжными поверенными. Для этого есть глубокое основание — деятельность наша слишком близко вплотную сопрягается, а по существу слишком различна по своим задачам, чтоб не размежеваться — ... Мы за личность — те за государство... Нет и временного элемента в назначении судей, сенаторов, прокуроров. По крайней мере такой элемент при отправлении правосудия едва ли желателен. Что же касается до временных занятий комиссаров милиционеров и т. п., где нужны юридические сведения, то здесь приходится мириться с временным совместительством... Это вызывается общественной необходимостью впредь до установления прочной организации органов власти. Лица эти, оставаясь в сословии, подчинены надзору Совета присяжных поверенных с точки зрения соответствия их приемов началам этики и законности и в этом нельзя не видеть серьезной гарантии доверия к ним“. — Итак, полицейские-адвокаты под контролем своего совета не только с точки зрения закономерности своей полицейской деятельности, но и соответствия их приемов началам этики.

Эта двойственность отношения комиссаров-адвокатов окрашивала всю их деятельность, накладывая на нее своеобразный отпечаток. Прежде всего из этого положения вытекало отсутствие служебной субординации, начальник был для подчиненного не начальством, а „коллегой“ по сословию — и в случае конфликта меж собой оба могли предстать пред дисциплинарным судом Совета. „Коллегиальные“, а не служебные отношения создались затем также и между ведомствами, в которых работали адвокаты. Наконец, адвокаты вносили в свою полицейскую деятельность приемы и навыки, приобретенные в сословии.

Чтобы понять их действия во время революции, вытекавшие из указанного выше двойственного положения их, нужно знать их сословную психологию или, вернее, идеологию.

На том же собрании 16 мая Карабчевский сказал: „Вы исходите из положения, что революция продолжается, в чем я с вами не вполне согласен, и далее полагаете, что в период революции никому закон вообще не писан, в чем я с вами уже совсем не согласен. Свергнуть ненавистное и вредное правительство отнюдь не значит свергнуть законы, веления, морали и перевернуть страну вверх дном“.

Такое же *credo*, как у приора сословия *primus* а *inter pares*, Карабчевского было в то время, когда были еще „мы“, считавшие, что революция закончилась в феврале, и „они“, требовавшие ее углубления, такое же *credo* было у наибольшей части сословия, выразителем идеологии которой Карабчевский был. И адвокаты-комиссары руководствовались в своей деятельности этим принципом, стояли на точке зрения закона, писали свои постановления с ссылками на статьи Устава Уголовного Судопроизводства.

В деятельности их было много прискорбного, фразерства, неумелости, пьянства, даже взяточничества, много комического — принятие вызова на дуэль от клубного арапа для ограждения достоинства милиции, возвращение анархистам оружия, как их частной собственности. — но в то же время в их деятельности было много, а бы сказал идеалистического. И образ адвоката-комиссара, упрямо не желавшего признавать, что „вихри бури революции тушат факел (перефразируя Шенье) права“, что *inter arma silent leges*, — а среди общей разрухи на фоне бесправия и безвластия, упрямо руководствовавшихся „законом“ — навевают невольно ассоциацию с другим трагикомическим образом — бессмертным героем Сарвантессы.

И если поэтому был отчасти прав „гражданин социалист Федор Моисеевич Мишуровский“, обратившийся к „Его Превосходительству гражданину Петроградскому Общественному Градоначальнику с письменным предложением реорганизовать по его проекту милицию“, полагавший, что „причина дезорганизации в милиции — „в борьбе разных пенкоснимателей, старающихся втереться под шумок революции и под ее флагом на возможно более тепленькие местечки, будучи в одно и то же время бездарностями, волнующими только народ и мешающими планомерной работе — будучи воодушевленными только корыстными личными видами“, — то, с другой стороны, может быть, был и не совсем не прав другой гражданин, обратившийся с подобным же предложением, видевший причину неспособности милиции в том, что „лозунг их детски научный школьника идеал с приподнятым от торжества души“.

Этот детски-научный идеал царил в то время среди представителей власти, начиная с Керенского, желавшего поднять русское правосудие на „недосягаемую высоту“, и Урусова, провозгласившего, что „за политические убеждения мы никого преследовать не станем, политический сыск изгоняется из государственного обихода“, и адвокатов-комиссаров, создавших выборную муниципальную полицию — все были проникнуты убеждением, что в свободной демократической России недопустимы репрессии, а нужны иные способы воздействия — эта боязнь применять репрессии, омрачать свободу, навлечь тени недоброго прошлого, окрашивала все без исключения мероприятия власти, начиная с распоряжения ее в конкретных случаях и кончая инструкциями и законопроектами. Для иллюстрации последних приведу лишь действовавшую инструкцию об обысках — своего рода *habeas corpus* русского гражданина.

§ 1. Посягательство на неприкосновенность жилища является нарушением основных прав личности.

§ 3. В виду особенных обстоятельств настоящего времени комиссарам в виде временной меры предоставляется производить обыски в нетерпящих отлагательства случаях.

§ 4. В случаях, когда комиссары производят обыск по собственным предписаниям, они не позже утра следующего дня доставляют начальнику

милиция подробный мотивированный доклад о причинах, побудивших произвести обыск в слепном порядке.

§ 10. Лица, производящие обыск, должны соблюдать крайнюю вежливость и сдержанность к хозяину обыскиваемого помещения.

§ 11. Ночные обыски производятся лишь в самых крайних и совершенно нетерпящих отлагательства случаях.

§ 12. Соблюдение всех вышеизложенных правил, а также сохранение всеми участвующими в обыске лицами достоинства и благопристойности находится на личной ответственности комиссара района.

Это увлечение английским конституционным духом было во всех решительно проектах этого времени. Каждое распоряжение было своего рода маленькой magna charta libertatum.

Если я говорил выше, что милиция боялась применять какие-либо репрессии по указанным выше соображениям, то публика была избалована свободой до такой степени, что малейшее вмешательство милиции почиталось ею за нарушение ее прав и вызывало немедленные жалобы. Часто милиция была в безвыходном положении. — Министерство требовало, например, принятия мер милицией при забастовках в то время, как даже совершенно пассивное отношение милиции во время последних или предоставление возможности штрейкбрехерам работать трактовалось обывателем, как насилие со стороны милиции. Вот характерный в этом отношении рапорт комиссара I Спасского Полянского от 22 марта 1917 г. за № 171 о забастовке артистов Палас-Театра.

„Вчера ваш секретарь Кельсон по телефону сообщил мне о поступившей жалобе артистов Палас-Театра на милицию, воспрепятствовавшую провести им забастовку. При проверке мной жалобы оказалось, что 20 марта большинство артистов решило забастовать, однако меньшинство не пожелало примкнуть к забастовке и начало исполнять свои номера. Забастовавшие остались на сцене и в такой форме пренятствовали продолжать концерт. Дежурившие в театре милиционеры студент Института Путей Сообщения Кислицын и студент Военно-Медицинской Академии Тотвен (георгиевский кавалер) объяснили им, что физическое воздействие на своих товарищей при проведении забастовки недопустимо, и просили удалиться с подмостков. Заявление Черкасской (представительницы забастовавших) сводится к тому, что милиционеры сорвали у них забастовку“.

Ту же нейтральность, пассивность проявляла милиция при политических выступлениях против Временного Правительства.

Вот протокол, иллюстрирующий ее отношение в этом направлении. „В 6 часов ко мне, юрисконсульту и Зав. Суд. След. частью У. Г. М., явился гр. Яновский и заявил, что он шел с манифестантами, несшими плакат: „Да здравствует Временное Правительство и Миллюков“. На углу Морской плакат был изорван шедшей навстречу манифестацией с плакатом „Долой Миллюкова“. Когда он стал излагать по сему поводу свои соображения, он был арестован

гр. Гнидко, сказавшим:— „Я уже несколько раз таких жуликов пропускал— теперь вас не выпущу“— и принудившим его пойти вместе с проходившей командой матросов, обнаживших пашки.

Гнидко объяснил, что он арестовать Яновского не имел намерения, что он солдат 144 запасного полка и, напротив, убеждал матросов позволить пройти манифестации, несящей плакат „Да здравствует Временное Правительство“. Яновский просит привлечь Гнидко к ответственности за учиненное над ним насилие.

Ст. 140 Улож. о Нак. заявителю объявлена и разъяснена.

Рассмотрев обстоятельства дела и принимая во внимание, что Яновским заявлено обвинение в проступках, предусмотренных 133 и 142 ст. ст. Уст. о Наказ., налагаемых мировыми судьями и преследуемых лишь в порядке частного обвинения, и руководствуясь Уст. Угол. Суд., я постановил: направить настоящий протокол во Временный Суд. Зав. след. ч. Кельсон.

Этот протокол ¹⁾, коим миликовцу предоставлено привлечь к ответственности большевика в частном порядке, есть единственный акт, коим Управление Милиции реагировало на апрельские дни, на первое выступление против Временного Правительства.

Иллюстрацией того, насколько широко толковалась „Свобода“, вылившаяся в лозунг „все дозволено“, и как реагировало на некоторые проявления этой свободы управление милиции, может служить следующий эпизод. Рапорт комиссара 1-го московского от 14 июля 1917 г. за № 1272.

В виду поступившего ко мне сообщения, что идущий в зале Павловой „партийный“ фарс „Большевик и буржуй“ представляет собой грязную и совершенно недопустимую порнографическую пьесу, я отправился для проверки сообщения.

Фарс этот — грубейшая и отвратительная порнография. Первое действие ничем не прикрытая лесбийская любовь на сцене. Две влюбленных женщины, изображая крайнее чувственное возбуждение, раздеваются почти догола, производят одна над другой соответствующие манипуляции, сопровождаемые конвульсивной дрожью, стонами и циничными телодвижениями, после чего, потушив огни, однако так, что публике все видно, ложатся в кровать и предаются удовлетворению своей похоти, впиваясь друг в друга, звонко целуясь и пр.

Эта мерзкая сцена, с массой тщательно подчеркиваемых и смакуемых деталей, длится долго. В переполненном публикой зале создается сгущенная атмосфера невероятного по цинизму разврата. Остальные два действия фарса не лучше: так, напр., поклонник напоминает женщине, как он проник к ней „задним проходом“ (т.-е. черным ходом); масса слишком прозрачных намеков на то, у кого детородный член больше, у кого меньше; кто сколько раз совершал акт полового совокупления и как его совершал и много другой подобной мерзости. Отношение публики различно: одни возмущаются, другие сидят

¹⁾ Протокол, как и все остальные цитируемые мною документы, мною переланы в Музей Революции.

подавленные и видимо смущенные, а большинство, особенно посещающие этот театр, в значительном числе солдаты и матросы, удовлетворенно гогочут.

Конечно, фарс, это — фарс; в нем нельзя искать идейного содержания, но полагаю, что театр, каков бы он ни был, не должен стать рассадником грубейшего динизма и разврата. Не сомневаюсь, что и при старом режиме такая пьеса была бы признана властями нетерпимой.

В виду изложенного имею честь просить вас, г. начальник милиции, принять необходимые меры к скорейшему снятию пьесы „Большевик и буржуй“ с репертуара означенного театра“. Комиссар Я. Кернес.

Когда начальник милиции с некоторыми сотрудниками явились в троицкий фарс, чтобы переговорить с администрацией о снятии с репертуара означенной пьесы, администратор театра в чрезвычайно наглой форме заговорил что-то о „святом“ искусстве, разразившись негодующим монологом на тему о том, что воскрешаются „старые полицейские порядки“, „произвол администрации“ и т. д.

Пьеса „Большевик и буржуй“ снята с репертуара не была. Апеллировать к министру юстиции было бесполезно: он не признавал за администрацией никаких полномочий для репрессий. Всякие пресечения и закрытия должны были совершаться лишь судебным порядком — по постановлению суда. Единственное закрытие, которое милиция по распоряжению судебных властей, прокурора судебной палаты, произвела — закрытие чайной „Веселая Долина“.

Для характеристики „авторитета“ милиции приемов действий ее и отношения к ней населения я приведу один типичный — один из многих тому подобных, случай. Милиция привыкла к тому, что куда бы она ни являлась, ее встречали заявлениями о „безобразии“, о „воскрешении старых порядков“, что на всякое ее действие, не носящее характер репрессий, приносились жалобы, — но нижеприведенный эпизод интересен в том отношении, что в нем замешаны „адъютанты комендантов“. В первые дни революции были военными властями назначены районные коменданты для снаряжения в помощь милиции военных патрулей. Других функций они не имели.

Нижеприведенный эпизод освещает их с интересной стороны.

Редактор журнала „Аполлон“ С. Маковский обратился к прокурору палаты П. Н. Переверзеву с заявлением, что на Троицкой открылся клуб — притон самого низкого разбора; недавно в нем во время драки одному офицеру проломили череп и скандалы с членовредительством происходят в нем ежедневно. Комиссар 1-го Московского района прис. пов. Н. Н. Яроцкий на вопрос, почему он не примет решительных мер для пресечения этого, пользуясь властью комиссара, заявил, что ему в этом препятствует градоначальство. В виду того, что в управление милиции десятками поступали от обывателей аналогичные жалобы на шулерство в клубах и на то, что властями нарочито не принимается никаких мер для прекращения всего этого безобразия, я, пригласив местного комиссара, его помощника и комиссара соседнего района прис. пов. Гордона, отправился для расследования в один

из таких притонов на Казанской 38, принадлежавший некому Першицу. Согласно рапорта местного комиссара Береда, при нашем посещении этого притона произошло следующее. „Когда мы вошли в зал, граждане Рехвиашвили и Чхония крикнули: „Кто вы такие?“ А на ответ комиссара, „Что он комиссар местного района в сопровождении лиц из управления милиции“, они с оружием в руках закричали: „Как вы смаете сюда заходить, когда мы здесь, с караулом приказываем вам немедленно убираться, а то как поступать научат“. — Когда мы просили Чхонию успокоиться и не поднимать шума, он с оружием в руках силой хотел удалить нас, но видя, что это к результатам не приведет, приступил к угрозам, заявив, что он родственник члена Государственной Думы Чхондзе, которого немедленно вызовет сюда в клуб, и что нас всех завтра же уволит. Когда мы, несмотря на это, хотели приступить к расследованию, публики присоединилась к ним и начала наносить нам оскорбления. Мы были вынуждены призвать на помощь 8 милиционеров, на что Рехвиашвили сказал: „Я вас проучу“, и вызвал военную силу в 40 человек против наших 8 милиционеров. Рехвиашвили два раза ударил милиционера Лукомского, а второй шумевший Чхония вызвал тов. Кельсон на дуэль.

Прошу распоряжения о привлечении виновных к ответственности“. Комиссар Береда.

На другой день после этого происшествия, владелец клуба Першиц подал на нас жалобу министру внутренних дел и в градоначальство, подписанную „председателем кружка“ — князем Голицыным, в коей указывал, что „просит оградить их от вторжения лиц с такими замашками, к которым даже строй дореволюционный их не приучил“. При поступлении указанной жалобы помощник начальника милиции Иванов высказался в том смысле, что милиция вообще не в праве вмешиваться в деятельность притонов, пока прокурор судебной палаты не разрешит общего вопроса, необходимо это или нет, и что я, производя расследование, превысил свои полномочия.

Я был отстранен от должности и Управлением милиции; по поданной жалобе было назначено особое расследование.

Когда я доложил обо всем этом прокурору Судебной Палаты П. Н. Перверзеву, думая встретить в нем поддержку, он высказался в том смысле, что дознание о притоне „в виду ст. 46 Уст. о Нак. и 990 Улож. о Нак.“ милиция производить была вправе, но, что „от возбуждения преследования в противодействия властям против лиц, оказавших таковое, нужно воздержаться в виду того, что власть недостаточно окрепла, чтоб предъявлять подобные обвинения, и что он сам подвергся оскорблению, когда приехал во дворец Лехтейнбергского по делу анархистов“.

Расследование, произведенное по поданной на меня владельцами клуба жалобе, присконсультом милиции прис. пов. С. О. Позванским продолжалось ровно один месяц и результатом его было следующее его заключение, утвержденное начальником милиции.

„На основании изложенного я полагаю:

1) Что энергия и самостоятельность, проявленные З. С. Кальсоном в деле, были продиктованы единственно желанием служить общественным интересам и делу правосудия по крайнему разумению.

2) Что допущение формальных нарушений в порядке составления протоколов, более широкое толкование принадлежащих ему как юрисконсульту, то как заведующему судебной-следственной частью при управлении Городской милиции полномочий, составление постановлений о привлечении к ответственности лиц, обвиняемых в противодействии его распоряжениям, объясняется повидимому отсутствием точно выработанных правил и инструкций, коими органы милиции от низших до высших должны руководствоваться в своих действиях, и отсутствием точного определения функций каждого из них и разграничения этих функций.

3) Что при наличии вышеуказанных данных нет оснований считать З. С. Кальсона устранившим от службы“.

Таким образом по истечении месяца я был восстановлен в своих правах и мне было поручено поддерживать во Временном Суде обвинение против лиц, подавших жалобу по ст. 46 Уст. о Нак.— „в устройстве заведения для, недозволенных игр“—но не говоря уже о том, что дело это в суде вплоть до октября так и не было назначено к слушанию, оставалось фактом то, что я был в свое время отстранен от службы по жалобе клубных владельцев без предварительной проверки этой жалобы.

Таков был авторитет милиции. Любопытно отметить, кем были лица, возбудившие это дело. — Вот две выдержки из газет:

„Сегодня ночью жильцы дома № 38 по Казанской были встревожены выстрелами. В доме помещается клуб. В три часа ночи туда прибыл адъютант Петропавловской крепости Чхония в сопровождении княгинь В. и К. Когда старшина заявил, что он не в праве разрешить ему вход, он ворвался в зал и стал держать себя настолько вызывающе, что адъютант коменданта Казанского района Рехвиашвили вывел его из собрания. Чхония выхватил револьвер и произвел выстрел в Рехвиашвили, ранив его в левую ногу. Другие офицеры вывели Чхония на улицу, где он также произвел два выстрела“.

„Избиение раненого. Фейерверкер Новицкий, прибывший с фронта, где получил тяжелые ранения в голову и в руку с раздроблением лучевой кости, проходя мимо Европейской, увидел, как трое военных избивают старика военного врача. Он пытался унять безобразников. Они оставили доктора и набросились на него—один из них нанес ему несколько тяжелых ударов. Раненая рука мешала ему защищаться. Собралась толпа—один из избивавших раненого кричал толпе, что он адъютант коменданта и прикажет арестовать собравшихся, если они не разойдутся. Возмущенная толпа требовала его ареста. Военный бросился бежать, за ним погнались и арестовали его. На улице у него был Георгиевский крест. По дороге в комиссариат он исчез. В комиссариате он осыпал площадной бранью комиссара и кричал, что если б у него был револьвер, он перестрелял бы всех. Выяснилось,

что он не поручик, а вольноопределяющийся грузин Арчил Чхония, дезертир из полка, самозванец, личность с темным прошлым, знакомая уголовной милиции по „глубным делам“. Чхония, конечно, остался безнаказанным.

В заключение несколько слов о „наружной службе“ муниципальной полиции. При управлении мною была организована судебно-следственная часть. В качестве заведующего таковой мне приходилось иногда производить дознания. Однажды я получил отношение из кременчугской уездной уголовной милиции с просьбой допросить великого князя Кирилла Владимировича по одному уголовному делу. Считая в то время неудобным вызывать его для допроса в градоначальство, я, предварительно уведомив о своем приезде его управляющего, отправился для допроса его в его особняк на улице Глинки.

После двухминутного ожидания седенький лакей в серой куртке провел меня в кабинет Кирилла Владимировича. Последний встал от письменного стола и прошел несколько шагов ко мне навстречу. Он был в тужурке с адмиральскими погонами. В кабинете все четыре стены были заняты идущими до потолка полками с книгами. Никаких безделушек или украшений, кроме нескольких портретов в рамах из красного дерева великих княгинь. Нигде не было ни портрета, ни фотографий бывшего императора и парижцы. Кирилл Владимирович, который, как это теперь известно, в февральские дни настаивал на подавлении революции крутыми мерами военного характера, когда судьба революции уже определилась, поспешил одним из первых во главе своего отряда гвардейского экипажа явиться в Государственную Думу — он был на популярность и не прочь был, кажется, подражать брату Людовика Филиппу Эгалите. Во время допроса, очень краткого, он старался держаться очень независимо, хотя еле заметно все же нервничал. Видно было, что слишком чудовищным ему казалось положение, что он должен давать ответы на вопросы какого-то помощника присяжного поверенного. Я же в свою очередь долго колебался, какую форму обращения избрать к нему. Титул „императорское высочество“ канул в Лету, „гражданин Романов“ в то время еще как-то резало слух — „великий князь“, звучало как-то странно, хотя титула в то время еще отменены не были, я решил именовать его просто адмирал. Дело касалось покупки управляющим его имения „Кнышевка“ инженером Цветковым нескольких десятков пудов гвоздей. Кирилл Владимирович заявил, что об этой покупке ему ничего неизвестно, никакого поручения он своему управляющему не давал и от последнего в течение уже долгого времени никаких сообщений не имеет. Подписался он под протоколом допроса „Великий Князь Кирилл Владимирович“. Руки на прощанье все же не подал.

Однажды в управление милиции явился помощник присяжного поверенного О. О. Грузенберга Ю. И. Зорохович и подал жалобу на то, что его доверитель Вейнберг в номере Европейской гостиницы группой лиц был подвергнут избиению, а затем вынужден ими под угрозами подписать чеки на петербургские банки на 6 миллионов рублей — все его состояние. Когда

я для расследования прибыл в Европейскую гостиницу, я застал там в номере Дмитрия Владимировича Вонлярларского, осужденного по делу о миллионах князя Огинского и освобожденного толпой из тюрьмы вместе с другими заключенными в первые дни революции. Он оказался организатором шайки (в которой участвовал и Вейнберг), получавшей по подложным документам крупные суммы из Кредитной Канцелярии. Арестовав Вонлярларского, я передал дело следователю по важнейшим делам Александрову — однако, Вонлярларский сумел скрыться.

Наконец, по поручению Чрезвычайной Комиссии для расследования преступлений сановников, я произвел дознание о смерти бывшего начальника полицейского резерва полковника Левиссона, заподозренного в преступлениях по должности при борьбе с февральской революцией.

Как все полицейские, он в первые дни революции был арестован, а затем освобожден. Накануне дня своей смерти он приходил в управление милиции просить свидетельство для свободного проживания.

Расследование выяснило, что Левиссон застрелился на Смоленском кладбище на могиле своей матери. Причину самоубийства установить не удалось, так как никаких записок он не оставил.

Зигфрид Нельсон.

Занятие Киева большевиками ¹⁾.

Близость этой катастрофы явственно ощущалась и добровольческими верхами: все чаще и все ожесточеннее кричали белогвардейские листки о „разлагающей работе большевистских агентов“, об успехах того самого подполья, над которым измывались они в первые дни, как над безнадежной бессмысленной затеей.

Репрессии усилились. Опять пошли черной полосой массовые бестолковые аресты и расстрелы. Из „Эрмитажа“, штаб квартиры контр-разведки, ежедневно вывозили, по свидетельству окрестных жителей, по 20, 30, 50 трупов. Расстрелы на улицах, ночью, во время перевода из контр-разведки в тюрьму приняли характер настолько „бытового явления“, что законопослушнейшая „Киевская Жизнь“ (против окон ее сотрудника расстреляно было и брошено на улицу шесть человек) заявила смиренномудрый, но все же определенный протест.

„Надо бы на эти ночные события обратить серьезное внимание. С уличными расправами... кажется, надо покончить. Есть у нас узилища, есть у нас караулы, есть суды, есть каторга и смертная казнь... все, что угодно... А при таком аппарате суд на месте как будто уже излишняя кровавая роскошь, вносящая страшную деморализацию... Да и не слишком ли мы привыкли к кровавым пятнам. Ведь дело-то идет как-никак о человеческой жизни“. („К. Ж.“ № 51.)

Так 7 и 8 ноября были арестованы и расстреляны на месте: Гнат Михайличенко, член ЦК боротьбистов, Григорий Кострюченко, захваченный с бумагами, адресованными в штаб XII армии (о согласовании удара на Киев извне и изнутри), Василий Чумак и Клавдия Ковалева. Это был первый серьезный провал за все время подполья, особенно тяжела была потеря Гната Михайличенко — человека совершенно исключительной душевной чистоты, подлинного революционера, чудесного работника, талантливого писателя. Провал объяснили у нас неосторожностью боротьбистов, „раскрывших“ свое подполье за короткие дни октябрьского налета на Киев. Их комитет открыто собрался на заседание в бывшем помещении боротьбистского

¹⁾ Статья „Занятие Киева большевиками“ представляет главу из готовящейся к печати книги С. Д. Мстиславского „Деникинцы на Украине“. См. статьи, напечатанные в „Быльи“ в №№ 25, 26, 27, 28 и 1 (29) Ред.

клуба (на углу Прорезной и Пушкинской), должны были быть на этом заседании, к слову сказать, наши подпольники, но не попали, т. е. в назначенный час мы были уже оповещены о начавшемся отходе советских войск. Собравшиеся на заседание были как-то замечены, прослежены, и можно было по обстоятельствам ареста думать, что, если бы контр-разведка не поторопилась с изъятием, она раскрыла бы еще целый ряд находившихся в прямой связи с арестованными лиц, но она поторопилась — явственно в связи с выходом в свет в первых числах ноября первого номера подпольного органа боротьбистов, „Боротьба“.

Он вышел почти одновременно с также нелегальным органом „Бюро Всеукраинского Комитета партии с.-р.“, тем резче было впечатление, созданное им, ибо „Голос Народа“ (№ 1, ноябрь) — несмотря на свое подпольное происхождение, по содержанию и тону едва-едва выходил за границы легальной „оппозиции“. Он „обличал“, конечно, добровольцев, но обличения эти, поскольку эс-эры не выдвигали в статьях „Голоса“ активных политических лозунгов, носили характер скорее „попреков“, чем анти-деникинской агитации. Политическая позиция „Голоса“ была в положительной части своей совершенно неясна: статьи носили скорее информационный, чем боевой характер. К тому же, обличая добровольцев, „Голос“ в то же время метал гром и молнии против большевизма.

В противоположность „Голосу“ „Боротьба“ украинской компартии была от строки до строки одним сплошным кипением, одним бунтарским призывом. Боротьбистское подполье в большей части своей молодежи проводило эти дни нелегальной борьбы вообще с большим подъемом, с большой энергией и радостью. Это сказалось и на журнале, при достаточной литературной нескладности, он был насыщен боевым задором и уверенностью в победе. В передовице, подводя итоги „Коммунистической Революции“, „Боротьба“ перечисляет успехи международного движения, быстрый рост его, его победность, глубину его захвата.

„И в этот самый час, революция на Востоке Европы, пережив самый критический момент, оправляется от удара и переходит от обороны к нападению: добармия, Петлюровщина разлагаются и гниют заживо... Поднимается боевой дух Красной армии. Нарастает волна революции на Украине“...

„Революция в полном разгаре. Борьба достигает своего апогея. И, чтобы скорее закончить бой, чтобы скорее можно было перековать всему человечеству мечи на плуги и залечить раны, нанесенные империалистической войной и вынужденной войной гражданской, коммунизм зовет всех рабочих, всех униженных и угнетенных к оружию, к бою. Под красным знаменем Интернационала Борьбы Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“

А в последующих столбцах — сведения о повстанческом движении, о поднимающемся по всей Украине, из края в край, народном ополчении, об успехах проведенных повстанцами тыловых ударов. Еще дальше — краткая справка о происшедшем на фронте переломе, о победах Красной армии, по-

ставивших падение Киева в порядок дня. Затем идут разоблачения зверств контр-разведки, зарубежная хроника и в заключение „Приказы боевого эмиссариата ЦК партии“. Приказы эти стоит привести полностью.

Приказ № 1.

„Рабочие и крестьяне.

Царские генералы, наемные английских и других капиталистов, объявили мобилизацию. Своих сил, сил добровольных наемников и помещичьих сынков-белогвардейцев-офицеров и казачьих богатеев с Дону и Кубани у них уже не хватает. И ими они не надеются победить революционную рабоче-крестьянскую армию и красных повстанцев. И потому они объявляют принудительную мобилизацию, чтобы вами, вашими силами, придушить рабоче-крестьянскую революцию, вашими мозолистыми руками отвоевать панские права, и вас, ваших детей и братьев, пролив еще реки крови, оставить в рабстве капитала.

Этого не будет.

В этот момент, когда капиталисты Европы уже едва держатся против воли революции; когда Красная армия собственными силами разбила Колчака, донцов и нещадно бьет добровольцев; когда отнят обратно Воронеж, Орел, Курск, Чернигов; когда красные силы стоят под Киевом и вся Украина кипит восстанием,— вы не пойдете против братьев, не станете спасать своих врагов, не пойдете на мобилизацию.

Именем Революции объявляем мобилизацию, назначенную денкиными, недействительной, а все, кто станет содействовать ее проведению — врагами работников и селян“.

Рабочие и Крестьяне! Бешеный пес капитализма, издыхая, хватается за все способы, чтобы продлить свое смердящее житье. Берите оружие, добивайте его, и на вольной земле вольно будем мы строить царство Труда, Мира и Равенства, — царство Социализма“.

Главный Эмиссар боевых-войсковых дел Ц. К. У. К. П. (б)

подпись.

Приказ № 2.

По Особому Отделу Бой-Эмиссариата Ц.К.У.К.П. (б).

„Приказывается всем комитетам, эмиссарам, членам партии и сочувствующим собрать сведения (списки и адреса) о добровольцах и содействующих мобилизации белогвардейцев и немедленно направлять их в соответствующие органы Особого Отдела.

Эмиссарам Особого Отдела приказывается немедленно устроить революционно-террористические суды над активными помощниками в проведении белогвардейской мобилизации (из числа сельских старост, волостных старшин, председателей и секретарей домовых комитетов и т. п.). Активная помощь мобилизации карается как соучастие в белогвардейской организации

наравне с провокацией и выдаче сведений о коммунистах и сочувствующих, наказанием вплоть до немедленного расстрела”.

Заведующий Особым Отделом Бой-Эмиссарната

подпись.

И в доказательство, что приказ этот не простая угроза, ниже напечатано оповещение от „Эмиссара Особого Отдела по городу Киеву“:

„За измену, подачу сведений белогвардейцам и провокацию исполнены смертные приговоры над следующими лицами: Г. Машенко, Дерусивцевым, Сминковским, К. Коляченко, Р. Майнес и Карначевым“.

Приказы эти на украинском и русском языках (остальной текст „Боротьбы“ — на одном украинском). В городе „Боротьба“ была распространена — совместными усилиями всех подпольных организаций — в достаточном количестве экземпляров, и приказы произвели должное впечатление — ибо, при желании, каждого из киевских граждан можно было подвести под какую-либо из перечисленных в приказе рубрик и подвергнуть воздействию „террористического суда“. Снова мучительно стали припоминать все антибольшевистские преступления задержанные киевские обыватели. Особенно, конечно, приказ № 2. Успеху этого приказа не мало поспособствовало и распубликование его „Киевским Эхо“ (№ ст. 8/21 ноября) — в обличение „Большевистских зверств“. — Перепечатка пропущена была военной цензурой, — власти спохватились только тогда, когда в городе уже стон стоял от обывательского перепуга. Редакция газеты незамедлительно была предана военно-полевому суду, специальным приказом Драгомирова.

„На основании ст. ст. 17 и 19 врем. положения и пр. и пр.

- 1) Издающуюся в Киеве газету „Киевское Эхо“ приостановить.
- 2) Редактора означенной газеты В. Г. Финка предать военно-полевому суду... за содействие в распространении вышеозначенного преступного приказа.
- 3) Военному цензору подпоручику Доливо-Добровольскому объявляя выговор за допущение опубликования подобного приказа“.

Когда в помещение газеты явились „чины“ для производства ареста — выяснилось, что редактор В. Г. Финк, принявший „Эхо“ от Василевского Не-Буквы, уже три недели как уехал в Одессу, и официальной редакции никакой нет. Чтобы не уходить с пустыми руками, — забрали заведующего информацией газеты С. К. Линцера, выпускающих А. С. Кузьминского и М. Н. Евреиннова. До суда они просидели две недели в участке. Суд заседал целые сутки, но так и не смог выяснить, кто же редактировал газету со дня отъезда Финка. Много труда было потрачено также на дознание, кем доставлена в редакцию „Боротьба“; только под самый конец судебного заседания удалось добыть от заведующего конторой разметку №, но фамилия сотрудника, доставившего приказ, оказалась вымышленной. Постановлением суда все трое подсудимых приговорены были к шестинедельному аресту, а контр-разведке поручено установить лицо, доставившее подпольную газету. Розыски, впрочем, успеха не имели. Зато — „ликвидировать группу боротбистов, за которой уже велась в это время слежка — „белые торопились“.

Кроме названных выше за эти же дни были арестованы и расстреляны: Яша Анненков, член военного отдела при Ц. К. у кр. левых, с.-р. Я. Боярский, боротьбист, Полинковский, завед. гауптвахтой, Г. Шафрон, б. следователь Ревтрибунала, и его мать; В. Чепцов (соч. комм.), Гензель, А. (Р. С. Д. Р. П.), Красилов, (комм.) Красовский (соч. У. К. П.), Стольберг, И. (бывш. адъютант Потоцкого), Хуторной, Ф. (быв. председатель сельского комбеда) Ленет, Ф. (член комбеда), Попов (окр. военном. Вол. губ.), Поспанеев, Н. Ерусалимский, Суздальский; Фахт, А. (Секрет. Киевского Округвоенкома), Лемберг (красн. командир.), Новак, Д., Волк, Н., Робачев. Агеев, Лазарь Грингольц — по заявлению контр-разведки „начальником особого корпуса при в. у. ч. к. Авсей Лейкин — под фамилией Аркадьев, бывший членом харьковской чрезвычайки и один из ближайших сотрудников Петерса, в бытность его председателем „Совета Обороны“ киевского крепостного района; Авраэль Сашайлович, Арон Островский, Лейба Везерман (стр. глав. сахара), Пинхус Мишинский и Фишель Юкельзон (расстреляны в ночь на 13-ое), бывший железнодорожный комиссар Федор Грудистов, Григорий Кирик (рабочий коммунист) к долгосрочной каторге присужден, но расстрелян перед уходом добровольцев из Киева — Хая Грингольц (12 лет), Боря Дашкевич и Григорий Мельник (20 лет). Имена эти, конечно, исчерпываются лишь ничтожная доля расстрелянных за это время: проследить расстрелы было трудно — они велись по ночам, главным образом на свалочных местах за Клиническим госпиталем и за Байковым кладбищем.

Потери эти не могли ослабить партийной работы уже по одному тому, что все почти перечисленные лица не принадлежали к активному подполью, к тому же за предшествовавшие месяцы сложились уже прочные революционные боевые кадры. В частности киевская наша организация связалась непосредственно под Киевом с крестьянами, причем инициатива связи шла непосредственно от крестьян: они готовились к выступлению и искали „командного состава“. Работа шла нервно, так как крестьяне капризничали, требовали то одного, то другого партийного работника, и взять их „под дисциплину“ нашей молодежи было нелегко. Села эти обещали выставить до пяти тысяч человек: оружие, патроны, даже пулеметы имелись в достаточном количестве. Так как нужную конспиративность установить, конечно, было невозможно, по селам шла болтовня о предстоящих боях, — раза два экстренно ставился перед нами вопрос о немедленном выступлении, во избежание преждевременного разгрома организации: слишком уже развивалась она. Контр-разведка „чуяла“: было уже несколько полицейских налетов на Борщаговку, штаб-квартиру готовившегося восстания, при одном из таких налетов добровольцам удалось даже раскрыть склад оружия, не из крупных. Но в общем заметного ущерба налеты эти не нанесли, и повстанческие силы удалось сохранить до решительного момента — удара красных на Киев; в самых боях за городом не пришлось, впрочем, принять заметного участия, так как в последний момент добровольцы перебросили ядро прикрывавших отступление сил как раз в район Борщаговки, сильно заняв и самое селение, раньше чем крестьяне успели

разобрать оружие, хранившееся по набам: в присутствии добровольцев его естественно уже невозможно было доставать. Обстоятельство это сыграло некоторую роль, дав добровольцам возможность более длительного арьергардного сопротивления.

Зато в уездах боевая работа как наших однопартийцев, так и коммунистов, в особенности же У. К. П., развертывалась день ото дня настойчивее и шире. Хорошо работала также железнодорожная организация, в середине ноября, напр., ей удалось в один день спустить с рельсов под Киевом два груженных состава добровольцев: общее же количество организованных за это время „воинских и грузовых крушений“ очень велико, даже если допустить, что в донесениях работавших на железнодорожных путях партий — допущены достаточные преувеличения „достигнутых результатов“. Крупные услуги, официально признанные штабным составом XII армии, оказала и наша разведка: в составе нашей партии был телеграфист, работавший в оперативном отделении штаба и точнейшим образом ежедневно передававший к нам в подполье копии телеграмм, проходивших за день в отделении. К сожалению, копии эти, незамедлительно пересылавшиеся нами в армейский штаб красных, не всегда доходили своевременно. Они часто застревали на полпути, в штабах войск передовой линии, в частности Иринеенского фронта.

Слабее поставлена была агитационная подпольная работа. Всего шире велась она в Одессе „Боротьбистами“ — где выпущено было ряд номеров нелегальной „Борьбы“ и ряд прокламаций, слабее — в Харькове, и совсем слабо — в Киеве, т. е. обе типографии, подготовленные нами здесь, дали отказ: одна оказалась не вполне оборудованной и не могла быть пущена в ход, другая была приспособлена, но обслуживать ее было некому, оставшиеся на подполье товарищи, знавшие типографскую технику, скрылись из нашего кругозора в первые же дни, о дальнейшей судьбе их мы и по сие время не знаем. Мы дважды составляли № журнала; сговаривались с „боротьбистами“, единственно оказавшимся способными к работе (большевистские провалились в первые же дни); боротьбисты с большой охотой обещали работу эту выполнить, но, когда дошло до дела, оттягивали печатание под различнейшими предлогами, до того, что в конце концов мы махнули рукой на все эти начинания. И то сказать: большой необходимости в агитационной литературной работе мы не видели: агитация шла так сказать „самотеком“, старанием самих добровольческих властей: какими словами можно было превзойти яркость их „агитации делом“.

В общем и целом, подпольная работа дала, конечно, определенные добрые результаты — в свое время отмеченные на 4-м Всеукраинском Съезде Советов тов. Х. Раковским; но преувеличивать ее итоги все же не следует. То, что подтачивало денкинский фронт и тыл, шло от самих денкинцев: мы лишь оформляли, придавали организованную форму, координировали то, что создали они против себя своей политикой и тактикой. Понистине, Деникин кончал самоубийством. И это, повторяю, чувствовали все. Правда, „внешние“ все еще пытались бодриться. Но „внутренно“ их неуверенность в завтрашнем

дне прорывалась на каждом шагу. В частности, обнаружилась она и в том, что Драгомиров стал усиленно торопить подготовку террористического акта, задуманного против Троцкого.

История этого акта такова:

Вскоре после назначения Драгсмирова к нему явилась Зинаида Николаевна Ч., дочь командира одного из кавалерийских полков старой царской армии, расстрелянного большевиками. Кроме отца, она потеряла в эпоху красного террора мать, братьев и, если не ошибаюсь, двух сестер. Аресты всех названных лиц произвели одновременно, в различных местах, и З. Н. Ч. — пришлось пройти связью целый долгий ряд напряженнейших психических переживаний, связанных с теми сменами надежд и отчаяния, которые неизбежно бывали для родственников лиц, попадавших в ту эпоху в учреждения чрезвычайных комиссий. Нервы не выдержали, после казни последней сестры, она в полубезумном состоянии явилась к Драгомирову и предложила ему совершить террористический акт над Троцким, которого она считала главным виновником всех разразившихся над ее семьей бед. Поскольку ее ненормальность была совершенно очевидна, ее следовало бы, попросту, направить в лечебницу. Драгомиров однако ухватился за это предложение с большой радостью; но, поскольку в тогдашнем ее состоянии она, очевидно, физически не могла выполнить акта, сочтено было необходимым предварительно „уравновесить ее психику“ соответствующей „тренировкой“. Ч-ую стали обучать стрельбе из браунинга, до того она не держала оружия в руках. „Чтобы закалить ее распатанные нервы ее стали водить на расстрелы, приучали к виду крови, предполагалось, через некоторое время, дать ей самой, собственноручно, расстреливать, чтобы набить руку“. Один из товарищей наших, в последние дни деникинцами убитый, во время ареста добровольческим патрулем был близок с подружкой Ч., от нее он и узнал о готовящемся покушении, и познакомился с самой будущей „Шарлоттой Кордэ“: по его словам, она производила особенно после „практических упражнений“ впечатление настолько невменяемой, что тяжело было на нее смотреть. Но вместе с тем мысли ее уже в те дни явственно отклонялись „от акта“ к роману содним из офицеров добровольческого кружка, центром которого была ее подружка. Об отъезде на север, действительно, она определенно не думала.

В связи со всем этим мы и тогда не придавали этому предпрятию какой-либо практической ценности: ценно оно было только для характеристики Драгомирова, не погнушавшегося использовать заведомо психически-расстроенную девушку для своих „политических“ целей. Роман разыгрывался, в связи с этим подготовка затянулась. А когда Драгомиров стал „торопить“, время оказалось безвозвратно упущенным, Ч. не только не поехала, но ускоренным порядком обвенчалась со своим офицером и немедленно выехала вместе с мужем за границу.

Характерно, что побег этот они совершили конспиративно, тайком от Драгомирова. „Шарлотта“ и ее муж боялись, как бы генерал-губернатор не „принял мер“ к „устранению“ неудобных для него соучастников террористического замысла.

Террор искони был фактически оружием отчаяния—именно под этим углом зрения мы отмечаем данный факт. В нем, как и в выразившейся за эти дни откровенной „боязни“ революционного подполья, виделись нам признаки растерянности добровольческого командования, которую оно тщетно пыталось замаскировать бодрым тоном своих бюллетеней:

„В районе Фастова... наши части, перешедшие в контр-атаку, выбили красных, и они в панике бежали. Потери у красных огромны. Целые полки уничтожены, а остальные разбегаются... Пленные говорят, что уже две недели не имеют хлеба. Едят исключительно картошку и капусту. В районе Остер-Козелец наступление Добармии попрежнему сопровождается успехом. Добровольцы теснят красных и занимают новые деревни...“

В районе нажима констатируется, что первоначальный порыв противника уже упал“. (Бюллетень от 19-х).

Добровольческие политики метались, как крысы на тонущем корабле; становилось ясным, писал в берлинском „Накануне“ А. Юрьев, что если до наступления зимы союзники не получают решительной поддержки русскими войсками, то для союзников Россия будет потеряна... Другими словами, вне сильнейшей помощи, помощи союзников, добровольцам не удержаться. Но на такую помощь рассчитывать явно не приходилось, западным империалистам не виделось никакого смысла ставить на заранее битую карту. Их агенты всякого рода имели достаточно материала и времени убедиться, что никаких шансов на успех у Деникина нет, что его ждет судьба ранее бывших на Украине оккупаций. Правда, „Киевлянин“ пытался убедить своих читателей, что оккупация Украины Добармией совсем не то, что была немецкая оккупация, и если немцы, располагая несколькими сотнями тысяч штыков, все же не могли сладить с повстанчеством, то добровольцы, „опираясь на любовь населения, с этим делом управятся“, но доводы его, конечно, вызывали только улыбку.

На короткий момент состоявшееся в ноябре соглашение Деникина с галичанами подняло как будто добровольческие шансы. Оно прикрывало левый Деникинский фланг и освобождало значительную войсковую группу, связанную до того операциями на петлюровском фронте. Соглашение не только укрепляло положение белых на Правобережье, но начала создаваться возможность даже флангового контр-маневра в ответ на наступление красных, вставших между Киевом и Харьковом. И меры к такому контр-маневру, по всем признакам, принимались незамедлительно вслед за сообщением о подписании соглашения, о передвижении отныне „союзных“ галицких частей на юг, в Одесский округ, и переброска к Киеву корпуса генерала Шиллинга. 19-го ноября конница Шиллинга была уже в Брусилове, а пехота высаживалась в Бонрке.

Прибытие этих войск заметно подняло дух в городе. Пошли по киевскому обыкновению по всем домам слухи, будто Деникин сам заявил, что именно отсюда, от Киева надо ждать перелома кампании; в связи с этой Киеву отведенной стратегической ролью, сюда притянута столько артиллерии

и войск, что Драгомиров и Бредов, в случае какой-либо фронтовой неудачи, будут немедленно преданы полемому суду, за нераспорядительность, ибо сил у них более чем достаточно для победы.

Русская печать, бившая в литавры по поводу галицийского соглашения, старалась раздуть его в факт крупнейшего международного значения, украинская печать, огорченная тем обстоятельством, что галичане в обмен на признание Галиции согласились признать Малороссию, входящей в состав единой неделимой, тщиалась всемерно, в пределах цензурных возможностей, потемнить радость москалей. По утверждению „Слова“ — „Зрада“ (измена) галичан другого термина не могли подыскать попусту галичан украинские националисты — неизбежно должна была вызвать осуждение денкинских отношений с Польшей. Вместе с тем газета категорически протестовала против истолкования сделанных галичанами уступок в смысле какого-нибудь перехода к русской ориентации Шульгина и Дудкевича. Галичане, несмотря ни на что, остаются на почве неизменных и давних украинских идеалов. „А главное, что подчеркивало „Слово“ („Проминю“ — поддакивал): „История знает много документов, которые составлялись, как] правомерные на долгий] срок, и оставались на бумаге. Кроме пунктов договора на выполнение их, опыт разрешения украинского вопроса в Галиции был уже произведен русскими в 1914 — 1915 гг. Мы знаем, что вышло из этого разрешения. Силы, заключившие ныне договор, отличаются от тех, что в свое время проводили галицийскую политику. А потому, мы в праве считать галицийский договор лишь одним из этапов нашего национального движения, этапом, который ниславо не является ни решающим, ни поворотным“.

Отчего было не сказать прямо, „является — пuffedом“. Таким он и был. Недолго был медовый месяц галичан и денкинцев, отдано было секретное распоряжение не писать о галицийском соглашении ничего. Но из него — ничего, кроме обоюдной неприятности не вышло, единственным реальным итогом его явилось появление под Киевом шиллинговских войск.]

Но и они восстановили положение ненадолго. По мере того, как вырисовывалась — чрезвычайна неясная, до того, группировка денкинцев на Правобережи, красные войска проявляли на киевском фронте все большую активность, когда же, данными партийной нашей разведки, удалось установить точно переход в Белой Церкви VI добровольческого корпуса, о местонахождении которого штаб XII Советской армии долгое время не имел никаких сведений, Советское командование получило прочную базу для стратегического решения и двинуло давно уже томившиеся Ирпенским [выжиданием] войска на Киев. О решающей роли, которую сыграло получение сведений с VI добр. армии, рассказывал мне, впоследствии, один из старших чинов штаба XII армии.

Еще 17 ноября под прикрытием тумана [нашим] удалось захватить Вышгород и Романовку, выслав развед до Пуцней водичи и Святошина. В связи с этим, по городу распространился упорный слух, что в 20-му Киев будет занят. Факт характерный, на этот раз слух не вызвал обычного

в таких случаях, „движения к вокзалу“. „Исход“ прекратился настолько, что две теплушки, предоставленные греческому консулу на выезд, в течение нескольких дней не прицепляли к поезду, т. е. желавших ехать набралось на две теплушки эти всего семь человек. Это свидетельствовало, что в планах обывателей опасность нынешнего передвижения перевешивала даже опасность большевистского захвата. И в самом деле: „свободно“, кажется, не проходил по украинской территории за это время ни один поезд. Приехавший 16-го ноября из Одессы товарищ рассказывает, что на их поезд и шедший впереди их состав по пути налетали банды, перебившие всех, найденных ими в вагонах, и порядком „пощупавшие“ гражданских... Да и независимо от налетов даже по причинам технического порядка поезда способны были, строго говоря, только вытащиться от Киева, но отнюдь не „прийти куда-нибудь“.

К тому же, на 20 ноября, прорвана была и вторая, левобережная линия добровольцев, и, таким образом, традиционный так сказать путь отступления из Киева на Дарницю оказался отрезанным: в пользовании денкинцев оставались лишь пути Правобережья. — Но в случае катастрофы, куда могли вывести пути эти, охваченные уж, на всем протяжении от Киева до Одессы, востану несчетными бандами повстанцев.

В связи с прорывами этими вопрос об эвакуации Киева с 20-х чисел ноября из стадии вероятности перешел в стадию неизбежности.

Пошны уже отневали город: в церквах шли круглые сутки молебствия „об избавлении нас от обышедших бед и зол“... Мы начали в самом Киеве формирование боевого отряда для удара изнутри, согласованного с предстоящей атакой города со стороны ирпенского фронта, ввода по частям небольшие группы партизан из окрестных повстанческих отрядов. Уверенность в близости крушения усиливалась вестями, шедшими к нам из Ростова и Таганрога, „основных баз“ добровольчества. Вести эти совершенно недвусмысленно говорили о невероятном разложении тыла белых; хищения, по рассказам добровольцев-очевидцев (я чуть было не написал: участников), дошли до того, что англичане перестали сдавать [привозимую ими] амуницию добровольским органам снабжения, а собственным попечением распределяют по войсковым частям: иначе, до фронта ничего не доходит; недаром же Ростов и Таганрог силэш щеголяли в добрейшем английском обмундировании без звания, пола и возраста, а фронт ободрен до неприличия.

Врангельский фронт на Кубани мог „локализовать“ на время надвигающуюся катастрофу, но ни в коем случае не предотвратить ее: в оценке этого факта не приходилось наблюдать преувеличений: напротив, большинство усматривало во Врангельском акте новый шаг добровольцев к гибели...

Единственные оптимисты, которых приходилось еще встречать за эти последние дни, были офицеры-фронтовики, кругозор которых был замкнут тесными границами их боевых участков. Эти еще верили в успех. Уже перед самым концом 22-го ноября довелось видеть в кофейной двух таких типичных оптимистов. Когда они вошли загоралые, обветренные, с винтовками за плечами,

с ними действительно словно струя свежего морозного воздуха ворвалась в накуренную, спертую с запахами кухни и табаком загаженную атмосферу; припомаженные тыловые адъютантки с дамами, конфузливо втянули шеи в неимоверно высокие свои воротники, при виде фронтовых „оборванцев“. Бодры были офицеры эти до экстаза: к сожалению, от них заметно пахло вином. И в самую кофейню они зашли исключительно за „подкреплением“: купили портвейну, по бутылке на каждый карман, по 300 рублей за бутылку. Охотно вступили в разговор с буфетчицей, громко, на весь ресторан смеялись над здешней паникой. Тыловые держатся на фронте крепко: были, конечно, неудачи кое-какие, но в конце концов это пустяки. „Доброармия добьется своего и заставит всю Россию себе повиноваться“.

„Два года тому назад у нас было двести рублей на четыреста человек: а теперь видите, нам выкинуть на вино по шестьсот рублей на брата — все равно, что плюнуть“. И, в подтверждение, он плюнул под ноги почтительно слушавшему его, разинув рот, „шпику“.

К концу ноября Драгомир-в предпринял, в целях облегчения предстоявшего отхода от Киева, частичное наступление на коростенском направлении; 25 ноября добровольческие бронепоезда уже прошли в Арзель, в течение долгих недель бывший за линией красного фронта. На этот раз, однако, даже официозная печать не маскировала действительного смысла этого боевого успеха. Даже „Киевлянин“ в разъяснительной к очередному победному бюллетеню заметке написал кисло: „Надо полагать, что советское командование будет пытаться еще не раз делать попытки захватить Киев. Однако, для этого им потребуется некоторое время, чтобы собраться с силами“. („Киевлянин“, № 77.) А неунывающий „военспец“ киевской жизни, Месснер, в очередном обзоре своем (№ 72, 26, XI), не пошел дальше утверждения, что... „можно твердо надеяться, что успех Красной армии недолговечен и что теперь уже не за горами тот момент, когда добровольцы вновь поглотят нас победой“. При этом цитируемые мною строки явно перевраны после цензурных исправлений (если не целиком сочинены в цензуре), что видно из разгона редко расставленных литер: можно, стало быть, предполагать, что в первоначальном тексте обозреватель выразился еще определеннее... и даже в момент наибольшего удаления фронта от Киева к самой Бородинке, тот же Месснер (в „Киевск. Жизни“ от 27 XI) на поставленный им себе вопрос „успех или победа“ — ответил уклончиво: „мы не навесили врагу до сего времени серьезного поражения, мы оттолкнули его, но не [разбили]...“ „По этому есть некоторое вероятие, что красным удастся собрать своих разбежавшихся красноармейцев и... привести их в порядок, дать им отпор где-нибудь на линии Завижа или Тетерева“. Характерно, что даже такой пустяковый по существу и лишенный всякого стратегического значения выигрыш территории кажется белым по нынешним временам ценным. Они рассуждают о нем с неменьшей подробностью, чем в свое время о занятии Вогонска или Орла. Если новый фронт пройдет по Тетереву или даже по Здвижу мы отведем от Киева тот Дамоклов меч, что висел в течение почти целого месяца

над нашим городом. Во-2-х, мы обеспечим тогда совершенно прочное владение железнодорожными путями на Казатин и Белую Церковь. В-3-х, мы докажем врагу, что мы еще способны к активным действиям, что наши войска попрежнему так же стремительны в наступлении, как упорны и стойки при обороне“...

К 1-му декабря стал Днепр, так что уже к вечеру этого дня одиночные люди могли переходить по льду. По официальным заявлениям это, конечно, затруднило оборону Киева; однако, в штабе обороны не придают этому особого значения и уверены в успехе защиты. На левом берегу красные за это время пододвинулись вплотную к берегу и их бронепоезд подходил к самому железнодорожному мосту, выдержав бой с добровольческим броневиком „Доблесть Витязя“. Советские войска прочно заняли предместно-Никольскую Слободу, откуда артиллерия их вступила в состязание с белой артиллерией, занявшей позиции на Печерске. На правом берегу советские войска не только отсились в занятом ими в Вышгороде, несмотря на многодневный обстрел тяжелой артиллерией, но даже продвинулись вперед, оттеснив белых севернее деревни Ново-Петровцы.

При таких обстоятельствах, смысл Ирпенского наступления добровольцев — от Ирпеня к Бородянке двоякому толкованию не подлежал: они расширили свой плацдарм — для прикрытия эвакуации Киева.

В последних числах ноября, эвакуация эта уже шла без шума. 1-го декабря, в заседании городской управы, городской голова Бутенко сообщил, наконец, официально, что „в интересах планомерной разгрузки города, и также в целях нормальной работы правительственных и губернских учреждений представляется необходимым произвести временную эвакуацию их из города Киева впредь до установления устойчивого положения“.

В тот же день Бредов, неутомимый „поборник духа, уже звававший истории целый том“ растроганных воззваний к „родным киевлянам“, в последний раз ставил им в пример... большевиков.

„Киевляне“.

Когда большевикам надо было защищать их „Красный Петроград“, они быстро собрали несколько тысяч коммунистов. Ныне Киев — мать русских городов, в опасности. Докажите, что в вашей груди бьется мужественное сердце, что вы умеете защищать свои семьи, свое достоинство и не хотите быть рабами Троцкого. Идите в войска, вам дадут там винтовки, укажут вам ваше место, а офицеры научат вас воевать. Отстояв Киев, вы со спокойной совестью вернетесь к своим семьям и своим занятиям“.

Поддержал Бредова очередною передовицей в „Киевлянин“ и Шульгин (№ 82 — XII); но поддержал вяло: ему то-во всяком случае хорошо известно было, что тот Киев, что не разбежался еще по Дону, Крыму и за границей, меньше всего склонен „учиться воевать“ и вообще ссориться с большевиками... накануне их вступления в город...

Еще прошел один день, — пишет, без обычной своей остроты, пером затупленным. „Я убежден, что дело в нас самих, в состоянии нашей души.

Если мы захотим, по-настоящему захотим удержать Киев — мы его удержим. Но для этого надо, чтобы все части твердо решили где-то в глубине самих себя: не сойдем с места. Вся беда в том, что каждый неуверен в соседе: мы-то не сойдем, а вот они... Значит, прежде всего надо твердо знать, что делается друг у друга: может быть „они“ вовсе не собирались уходить, а вот „мы“ за них решили и отошли.

Говорю это не в суд и не в осуждение, на которое не имею никакого права:

„Говорю потому, что мне ясно видна“ психологическая тактика большевиков. Способам „побеждать дух“, т.-е. сеять уныние и панику они обучились у немцев, которые это дело изучили основательно, по-профессорски. И вот, они работают невидимыми, но испытанными способами, они вливают яд неуверенности в сердца и этим обеспечивают себе победу

„Еще один день“

День этот был последним. Не знаю, дошли ли вообще до киевлян суждения Шулгина и воззвание Бредова, № газеты, из которой я привел эти цитаты, а взял из огромных кип, аккуратно сложенных в редакции „Киевлянина“ на Караваевской, редактируя на добровольческом печелище очередной № возобновившей свой выход „Борьбы“—органа Центрального Комитета украинских левых с.-р. (боротьбистов).

Еще 28 ноября, пользуясь продвижением добровольцев к Бородинке, я решил съездить в Варзель, на несколько часов, где жила семья, повидаться перед развязкой, которой можно было ждать дней через шесть-семь, по самому пессимистическому расчету и кстати ознакомиться, поскольку будет возможно, с расположением добровольцев на Ирпенском участке. По наведенным на вокзале справкам—поезда назначались до Варзеля, иные даже до Немешаева, по билетным наступление добровольцев к Бородинке развивалось успешно: словом, нужно было рассчитывать свободно обернуться в один день.

25-го поезда однако не ходили: не было топлива. Только 29-го, на рассвете, удалось погрузиться в ремонтный поезд, который должен был, по утверждению начальника станции, идти по меньшей мере до Немешаева.

Шли относительно быстро. На перегоне к Беличам (последняя станция перед Ирпенским мостом) прошел по вагонам глухой слух, что в Беличах поезд остановится. Пассажиры „дальнего следования“ (на Ирпень, Бучу, Варзель) заволновались. Слух оказался правильным: в Беличах нас высадили, состав дальше не пойдет.

— Случилось что-нибудь на фронте? В чем дело? — „Ничего не случилось, а просто получено распоряжение“: „остановить ремонтный в Беличах“. Может быть следующий пойдет и дальше—хоть до Бородинки самой.

— А пешком идти можно?

— Сколько угодно: путь, вам говорят, свободен. Просто начальственное распоряжение, чтобы состава дальше не пускать.

Погорячились, посудачили, поругали как водится и железнодорожное и всякое иное начальство, и двинулись к Ирпеню пешком: версты на две,

не меньше, растянулся караван, как верблюды нагруженных людей: ведь весь Заирпненский участок был долго отрезан от Киева: железнодорожники и иные спешили использовать возобновление связи, подвести оставшимся на линии и в заирпненских дачных поселках семьям провиант из Киева, за время большевистской оккупации, по слухам, на Ковельской линии было с продовольствием очень туго.

День, как на грех, солнечный, люди изнывают под кладью, но стараются не отставать от тех, кто идет, как я, налегке. Не доходя Ирпенского моста, попадаетесь офицер-доброволец. Попроси закурить. Спрашиваю „как дела“. — „Все хорошо. Был маленький прорыв на Бучу, но его уже ликвидировали. Наши подходят к Бородинке, к обеду, надо думать, займут. Если так — успею обернуться и пешком.“

По дороге, кое-где, слабые добровольческие посты. На самом мирном положении: без оружия, гнут семечки, просят газеты и папирос. Через мост пропускают свободно. Правее моста, на самой реке, глухо и напряженно, словно огромным молотом по закутанной наковальне, бьют редкие размеренные удары. Дежурный железнодорожник разъясняет: „Инженеры рвут лед на Ирпене“.

На том берегу — охрана в полной безопасности: ружья сославлены, солдаты бродят кое-где, впрочем трудно как-то и называть „солдатами“ этих мальчуганов: старше 17 лет, кажется, среди них нет ни одного.

На спуске под откосом кучка казаков гребет сено на огромного развороченного стога. У стога, на тропе, размахивая руки, лежат ничком двое, в одном белье и без сапог.

Идущая передо мною баба крестится, украдкой, „хоть бы в сторону куда убрал“.

Волокущие сено казаки переступают через лежащих. Тут только я замечаю, что нога одного из них повернута пяткой под прямым углом к голени, и сквозь прорванное белье желтеет острым изломом кость.

„Почитай третью неделю лежат, — вздыхает баба. — С последнего красноармейского приступа“.

Подходили к станции Ирпень. Из-за поворота, кутаясь в дым, серо-зеленый добровольческий броневик. Стопорит не доходя платформы, на которой почему-то не видно ни души. Присматриваешься: у самой станции на ровном настиле шпал крутым резким отгибом поднимаются над полотном взвзвизгившие концы взорванных рельсов. Причина остановки в Беличах сразу становится понятной.

Но ведь прорыв ликвидирован. И выстрелов не слышно, и броневик так мирно поныкивает своей, тяжелыми щитами огороженной трубой. После минутного колебания „караван“ трогается дальше, отгибаясь влево, в сторону от полотна, через Яблоновку, для сокращения пути.

В Яблоновке нас встречает неведомо как обогнавшая нас весть: через мост перестали пропускать, красные наступают на Варварь, Ирпень и Бучу.

Мы оказываемся между двух огней. Останавливаемся — обсудить положение. От моста захлывавшись бегут какие-то люди: оказывается, беженцы из Бучи:

пытались спастись в Киев, но пропуска действительно нет, спешат теперь обратно, чтобы, спаси бог, не застали на дороге большевики. Уж если так случилось, — надо сделать вид, что они не собирались уходить, к таким советские власти снисходительны.

Попасть в данный момент в расположение наших, оказаться отрезанным от Киева в самый час его падения — меня меньше всего устраивает. Но поскольку назад уже нельзя — приходится идти вперед, в Варзель.

Идем через лес, дальним обходом, минуя Бучу, ладясь в отрез между Рубежовкой. Стала слышна артиллерийская стрельба. Опять попались на встречу бегущие люди из Варзеля — он уже занят красными. Мы утешали их сообщением, что путь отступления им отрезан. Растерянные на смерть, они поворачивают, уже враспыну, пробираясь через перелески, обратно, к варзельской околице. С ними сворачиваю и я, забирая круто вправо, наскоро, к железнодорожному полотну, с которого частой дробью стучат выстрелы.

Они смолкли раньше, чем я добрался сквозь лес до шлагбаума. На пути никого. Я направляюсь к станции, осторожно пробираюсь вдоль закрытого кустами и деревьями на этом участке полотна, мимо полуразрушенных заборов, брешенных наглухо заколоченных дач.

Не прошел и десятка шагов — из-за кустика показались два всадника. Винтовки поперек седла, на поясе ручные гранаты. Никаких сомнений „наши“.

Подъезжают неторопливо. — „Откуда?“ — „Из Киева“. — „Белые в Бучи есть?“ — „Не знаю, шел через Яблоновку. В Яблоновке нет“.

Тронули лошадей.

Но тотчас же им в угон рассыпалась по кустам, по заборам торопливым почеркиванием пуль задорная пулеметная дробь. Разъезд соскочил с лошадей, ища прикрытия. Я прижался к впадине выломанных ворот, выжидая, когда пронесется этот неведомо откуда набежавший шквал свинца.

„Чего стоишь? Беги, скажи, чтобы не стреляли — свои дескать! — кричат залегшие около лошадей в канаву кавалеристы.

„Что я — о двух головах что ли? — резонно отвечаю я, не двигаясь с места.

— „Ах ты мать твою так и эдак! — трясет винтовкой, приподнимаясь, один из красноармейцев. — „Иди говорю! вот запади тебе под брюхо — перестанешь дрыгаться... О двух головах, скажи на милость!...“

К счастью, пулемет умолкает. Переждав еще немного, парни мои садятся в седла, и мы расстаемся друзьями: они идут вперед, в направлении на Бучу, я продолжаю путь к станции. Через несколько шагов однако снова гот же сухой, беспощадный треск, и опять лежат срезанные ветки, и я припадаю за выступ ближайшей стены...

Наконец добираюсь до станции. Она кипит людьми. На платформе люди в боевых ремнях, с биноклями, полевыми сумками: очевидно, какой-нибудь штаб. Прохожу стороной — красноармейцы окликают меня несколько раз, но не задерживают. Все те же вопросы: откуда, есть ли в Буче добровольцы. Документов не спрашивают.

Семью застал целой и невредимой — но зато сад, и самая дача... (От нее к железнодорожному полотну, близ которого она расположена, добровольцы вырыли, во время боев за Варзель, пулеметные окопы, по окопам этим били — три красных бронепоезда. В итоге массивная на каменной кладке ограда нашего сада разбита вдребезги; деревья в саду перекалечены или вовсе повалены снарядами; праинельные стаканы валяются по земле. В самую дачу попал только один снаряд, пробив крышу и стену одной из комнат. Он ушел под пол, не разорвавшись: семья была в этот момент в соседней комнате рядом, так что никто не пострадал.

Минут через десять после моего прихода — за садом — у полотна, взметнув дерн, лег снаряд, очевидно со стороны Рубежевки. А вслед за тем по окрестному лесу застучали ружейные выстрелы. Добровольцы перешли в контратаку.

Три дня — переходил Варзель из рук в руки. Каждое утро красные занимали его, и каждый вечер — отходили снова. Каждое утро, чуть начинал брезжить свет, по нашему саду надвигались с той стороны полотна, из леса словно тени, чуть переступая, ружья на-изготовку, крались передовые цепи. Час спустя, медленно, нащупывая перед собою каждый шаг, проползали мимо наших окон красные броневики.

В первый день их было три, на второй, в самом начале боя белые подожгли снарядом один из них — самый слабый по бронировке. Он промчался мимо нас, к Немешаевке полным ходом, волоча объятые огнем платформы.

Позиция броневиков, состязавшихся с добровольческой артиллерией, стоявшей в Рубежевке, тянулась как раз от нашего дома до станции: на этом участке обычно перекачивались — взад и вперед — броневики, стреляя через наши головы перекидным огнем. Не раз при стрельбе их орудия брали слишком низкий прицел, и снаряды „резали“ сосны у нас в саду: по счастью для нас снаряды часто не рвались. Были моменты, когда схватки перемещались непосредственно на наш участок, и солдаты, то добармейские, то красной армии стреляли из-за углов нашего дома, из-за колодца во дворе, избитого пулями. А к вечеру три дня подряд, — под самыми окнами нашими, снова оттигиваясь назад, за полотно, в лес, красноармейцы оттаскивали на шинелях раненых.

На четвертый день прошедшая по утрам цепь не вернулась. За соседним парком, на просеке, целый день, до заката, неумолчно стучали пулеметы. К ночи мы узнали: Варзель окончательно укреплен за советскими.

А на утро пришла из Рубежевки „бабуся“, носившая молоко нашим, и рассказала, что добровольцы ушли, наконец, из Рубежевки, что перебито их не счесть: на всем поле, что между Рубежевкой и Варзелем — трупы, трупы. И на просеке ниже: здесь большевики поймали под перекрестный огонь наступавшую колонну противника и свосили ее почти всю. По лесу, по дорожкам варзелевским, по полотну стреляные гильзы валяются целыми кучами. Ну, и дрались же!

До самых сумерек стрельбы не было: пошел к коменданту станции, справиться о Киеве: соседи говорили, что он уже взят.

У платформы стоял [какой-то состав. Часовой, дежуривший у заднего вагона, подозрительно покосился на меня, офицерского покроя тулуп (он хранился на даче, и я поспешил сменить на него свое штатское „подпальное“ пальто). Коменданта не оказалось — я вновь подошел к составу, узнать, не прошел ли комендант в какой-либо вагон. Часовой окликнул меня. Чувствуя себя уже „прежним“, „надпольным“, восстановленным в моих советских званиях, я, не отвечая ему на вопрос, спросил, что это за поезд. Часовой потребовал предъявление документов: я, в ответ, предложил провести меня к комиссару поезда.

Он ввел меня в один из ближайших вагонов, наполненный красноармейцами, и я оказался под арестом.

Вняснилось, что минут за 15 до моего прихода на станцию прибегала какая-то девочка, сообщившая, что в Варзале только что выехали двух офицеров. В связи с этим мой весьма офицерский вид возбудил подозрение. На беду комиссара не оказалось: выехал на позиции. До его возвращения выход из вагона был мне запрещен.

Советских документов или чего-либо вообще удостоверяющего мою личность при мне не было. Были лишь свидетельства — служебное и командировочное от центрального комитета добровольческий паспорт. Припомнилось, что в числе этих командировочных сохранилось и то удостоверение, по которому я ездил в Нежин; на бланке „Штаба Полтавского Отряда“ и за подписью Бредова.

И в первый раз за эти дни шевельнулась мысль — о возможности крупных осложнений „если меня обыщут раньше времени“: ведь мы на линии боя, только что заняли Варзаль, возбуждение не слегка еще, а при таких условиях — легка быстрая, горячая расправа.

Комиссара пришлось дожидаться часа три; время прошло в беседе с красноармейцами: поезд, в который я попал, оказался базой бронепоездов. Армейцы охотно рассказывали о прошлых боях — и меня поражала та спокойная уверенность в конечной победе, которая сказывалась в каждом слове, в каждом жесте их. После „Денижинской паники“ — нахорохоренности „адъютантов“ и бредовских стонов, так оживляюще действовала эта бодрая ясность полуголодных и полуодетых „своих“.

На станцию пришла жена, догадавшись, что я попал в переделку: она принесла с собой свои советские документы, запятанные на даче. Поэтому ее, задержав было, отпустили. Но, зачесть документы эти удостоверением моей личности отказались наотрез. Как она, прежде всего, докажет, что я действительно ее муж.

Комиссар, наконец, приехал. Меня провели, уже под конвоем, в его вагон. Я назвал себя, он очень тепло поздоровался, стал расспрашивать о Киеве — о подполье, о работе коммунистов — кто арестован, кто цел, кто расстрелян. Осведомленным в делах киевской большевистской организации он оказался

в полной мере... После получасовой, весьма душевной беседы, во время которой он подтвердил мне, что Киев взят и только на Ирпене идут еще бои с сильными заслонами противника, прирывающими отступление Добрянки, — я начал прощаться. Он несколько замаялся „простите, но... вам придется остаться у нас“.

— То-есть как? Я же вам сказал кто я. И вы мне заявили, что вы мое имя знаете...

— „Мстиславского-то мы знаем, достаточно хорошо. Но вот как убедиться, что вы действительно Мстиславский? А если нет? Вы чересчур осведомлены в наших делах, чтобы мы могли вас отпустить, я уверен, что Мстиславский — на моем месте поступил бы совершенно так же.“

Я засмеялся. „Что же, вы хотите меня убедить, что в данных обстоятельствах — я должен сам себя арестовать?“

Он развел руками.

Спорить при такой постановке вопроса? было бесполезно.

— Что же вы предполагаете делать дальше.

Он ответил неожиданно: „Завтра пойдем в Киев, вероятно — там будет видно“.

„Впрочем — добавил он, после некоторого колебания, — переговорите с председателем комячейки. Я лично почти убежден, что вы действительно Мстиславский; и если комячейка не будет возражать, я со своей стороны вполне готов отпустить вас“.

„Председателем комячейки оказался тот самый часовой, который задержал меня. — Он [был сильно обижен моим отказом объясниться с ним при моем аресте; когда я передал ему о своей беседе с комиссаром, он сказал сухо, подумав:

— Предъявите имеющиеся у вас бумаги.

Я достал бумажники, и как на грех, первой бумажкой, попавшей под руку, оказалась пресловутая кременчугская командировка... Я хотел положить ее обратно, но было поздно... „Позвольте“. — Выглянул на штампель и подпись и весь потемнел. „Позвольте весь ваш бумажник. Тут дело уже не тем пахнет“.

Под сильным конвоем меня немедленно перевели из вагона на станцию, в комнату коменданта. Жена все еще ожидала, ее пропустили ко мне. Она пыталась говорить с председателем, но он категорически отказался „входить в рассмотрение“... Документы говорят сами по себе. Единственно чего удалось добиться это — сообщения, что на утро я буду отправлен в тыл, в распоряжение чрезвычайной комиссии.

Чрезвычайная комиссия не страшна — только бы при создавшемся здесь настроении до них доехать... Я переменил тон — и в выражениях, все еще вежливых, но уже настоячивых выразил протест против принятого решения.

Он зло оборвал меня: „могло и хуже кончиться, с такими бумагами“... В этот момент дверь распахнулась. — „Вот, кстати, и комендант“.

В чаду закуренной, закопченной керосиновой гарью комнате мелькнуло молодое, где-то когда-то виденное лицо. Вошедший в форме красного командира присмотрелся к нашей группе, широко улыбнулся и подошел ко мне, протягивая руку.

— Здравствуйте, товарищ Мстиславский.

Председатель комячейки вздрогнул. — Вы знаете товарища лично?

— Еще бы не знать, я работал с ним еще во время немецкой оккупации, когда он был народным Секретарем Украины“...

Мне вернули бумаги. Один из бывших конвойных моих побегал предупредить комиссара, что я — оказался действительно самим собою. Председатель комячейки, ставший сразу чрезвычайно любезным, проводил меня до края платформы, повторяя то же, что я слышал уже от комиссара: как ответственный работник — я должен признать, что иначе они поступить не могли. Поскольку же личность моя установлена — с первым же завтрашним бронепоездом я буду доставлен в Киев.

Но я предпочел не дожидаться первого поезда. При данной обстановке поезд — это движение вперед черепашью ходом, ощушью, через взорванные места по кое-как „восстановленным“ рельсам, я пошел пешком, знакомым путем, через Мостище на Пуцу. Из Пуцы уже шли трамваи. В вагоне я мог убедиться, что Киев не только занят, но вошел уже в Советскую колею.

Ирпенские заслоны дали возможность денкинцам откатиться от Киева. Но судьба их была предрешена. Напрасно киевские обыватели пытались подбодрить себя слухами о том, что Деникин подал в отставку, а сменивший его Романовский вступил в соглашение с Германией и немцы уже заняли Жмеринку. И за Бредовым, отходившим к югу, и за отходившим к западу Шилингом — по пятам напирают советские войска. По сигналу, данному восставшей Одессой, Правобережье поднималось, уезд за уездом, по мере приближения отсутствовавших белых. Уже около Белой Церкви, наотрез Бредову выступило 3.000 повстанцев, организованных нашими партийными товарищами из деревень — Червоное, Кадинца, Дидовщина, Кожанка, Клехова, Фастовец, Пшеничное, Ковалевка, при чем одно село Червоное дало 40 пулеметов, 4 бомбомета и артиллерийскую батарею... Силы белых таяли с каждым шагом, на запад и юг. И в ближайшие же дни после занятия Киева мы фактически отвели врага от фронта, в уверенности, что остатки денкинцев на Украине захлебнутся в повстанческом море, и перешли к лихорадочной, организованной работе.

Управление освобожденной Украиной возложено было, впредь до созыва Всеукраинского Съезда Советов на Всеукраинский Военно-Революционный Комитет, в составе пяти членов: трех большевиков, одного украинского коммуниста и одного украинского левого социалиста-революционера (боротьбиста).

От большевиков в Комитет вошли Раковский, Затонский и Мануильский, от У. К. П. Гринько; от украинских левых с.-р. в состав Комитета-Центр. Комитет делегировал меня.

С. Д. Мстиславский.

В Крыму во времена ген. Слащева и Врангеля 1920 г.

[Записки].

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В событиях прошлого человеческая память мало-по-малу стирает отдельные черты. Если события не получили своего выражения в письменном слове, их очертания с течением времени изменяются, а в связи с этим искажается и общая перспектива. Иногда событиям и намеренно стараются придать иной смысл и характер, чем они на самом деле имели. Особенно это можно сказать про гражданскую войну. Естественным поэтому должно казаться желание сохранять факты в их истинном виде. Крымские события 1920 г. (правление ген. Врангеля, а до него некоторое время ген. Слащева), составляющие заключительную фазу гражданской войны, представляют несомненный исторический интерес. Мне, как объективному наблюдателю этих событий (автор был членом севастопольской городской управы), многое было виднее, чем самим участникам войны.

Стоя близко к городской жизни, я мог наблюдать, как общественную жизнь города, так и действия власти и подчиненной администрации. Поэтому больше, чем кто-либо другой, я мог бы дать, по мере своих сил, представление об общественной жизни г. Севастополя, а вместе с тем и всего Крыма, так как Севастополь был в это время центром политической жизни в Крыму. В записках нашли свое отражение факты, слабо или совсем не затронутые другими авторами, писавшими о 1920 г. В этом оправдание записок.

От них, однако, нельзя ждать последовательного описания всех обстоятельств тогдашней политической жизни. Это не входило в мою задачу.

Большая часть записок (на три четверти) составлена в 1921 г.

1. Несколько вводных строк.

Политическая обстановка в Крыму и в особенности в городе Севастополе со времени революции менялась очень часто.

Разные люди приходили, что-то делали и уходили. По большей части они не оставляли после себя никакого следа.

Это была чрезвычайно пестрая смесь правительств и политических деятелей. Было похоже на длинную пьесу из 12 картин, между которыми нет преемственности и связи.

После немцев и правительства генерала Судькевича, союзников (англичан, французов со своими чернокожими стрелками, греков) и крымского краевого правительства и, наконец, кратковременного периода господства советской власти (в апреле — мае 1919 г.) установилась в Севастополе, а также и в Крыму власть южного командования (ген. Деникина).

Это был июль 1919 г.

К концу этого года ясно обозначаются все признаки кризиса власти южного командования. Она перерождается во второй половине марта 1920 года в господство ген. Врангеля, пройдя перед этим (в январе и феврале) через промежуточную фазу власти, фактически диктаторской, ген. Слащера.

Первый период (доврангелевский) был периодом падающего правительства Деникина, некоторого междуцарствия, где власть номинально принадлежала начальнику всей Таврии генералу Шиллингу, а фактически начальнику обороны Крыма — Слащеву. Второй период, напротив, в этом отношении был значительно целостнее. Правда, приказание и действительное исполнение приказов на практике расходились, но это — недостаток, в большей или меньшей степени присущий каждому порядку. В общем же Врангель сумел устроить со своего пути всякого рода персональные помехи и по-своему действовал довольно удачно.

Оба периода имеют еще и другое различие. Начиная с ноября месяца, началась среди лиц, окружавших главное командование на юге России, переоценка ценностей. Это выразилось, между прочим, в том, что особое совещание было заменено Советом Министров с ген. Лукомским во главе, затем получила признание мысль о необходимости установить сотрудничество „власти и общества“, в дальнейшем это привело даже к изданию некоторых полуконституционных актов.

Такого рода перемены во взглядах на организацию власти не могли не оказать своего влияния и на Крым и Севастополь в частности.

Население стало ощущать известное ослабление сжимавших до этого времени тисков, и росла потребность в самоуправительстве. Настроение, начиная с ноября 1919 г., в этом отношении определенно нарастало и достигло своего апогея тогда, когда в феврале 1920 г. возник вопрос о выборах представителей в законодательную комиссию (нечто в роде парламента).

Напротив, правление Врангеля лишено было каких бы то ни было „конституционных“ затей. „Не время“ — вот лозунг, который определенно проводился без всяких колебаний. В это время самая мысль о возможности участия общественных организаций во власти в корне отвергалась.

Несмотря на, казалось бы, резкие отличия этих двух периодов друг от друга, между ними несомненно было еще большее сходство. Второй казался совершенно естественным продолжением первого.

Почти весь 1920 г., до ноября, продолжается правление ген. Врангеля, чтобы затем вся постройка, старательно возводимая им и его сподвижниками, в течение нескольких месяцев рухнула в один момент.

На ней с самого же начала таготел какой-то трагический фатум. Даже в военной среде обороны Крыма приходилось встречать офицеров — скептиков, сознававших всю тщету усилий, всю ненужность и безнадежность сопротивления. Как будто сердцевина сопротивления была изъедена вдоль и поперек сомнениями, и организация борьбы против советской власти сразу же ставилась под какой-то огромный вопросительный знак.

Мистики должны были в это время чувствовать великие судьбы, как некоей мистической силы, повелевающей народами и устроющей их по своей воле и желаниям. Еще в феврале 1920 г. будущие вояты хотели верить в успех своего начинания и не могли. Вера, очевидно, не дается искусственно.

Разумеется, необходимо учесть при этом, что основной фон для всех событий, имевших место в 1920 г., был подготовлен предшествующими поражениями в ноябре и декабре 1919 г. генералов Юденича и Деникина.

В середине декабря уже можно было констатировать полное разложение армии ген. Деникина. В феврале 1920 г., следовательно, еще до выступления бар. Врангеля, стало известным в Севастополе о гибели адмирала Колчака.

Господство ген. Врангеля было в сущности не имеющей корней в населении военной организацией, в которой одни военные вели за собой других, другие — третьих и т. д. А гражданское общество (самое главное) подразумевалось. Это общество была вся Россия, от которой они были отделены советской властью и на которой они стремились установить свое господство.

Какая-то власть пространства противилась этому. Достаточно было представить себе предстоящую для власти задачу — завоевать необъятные пространства России из маленького отправного клочка земли — Крыма, чтобы становилась более или менее ясной оценка шансов на успех.

II. Новое городское самоуправление.

Представителями населения в это время были городское управление и советы профессиональных союзов.

В Севастополе совет профессиональных союзов находился почти под полным влиянием меньшевиков.

Городское самоуправление было переизбрано в сентябре 1919 г.

Согласно закону о самоуправлении, изданному Особым Совещанием при Деникине, избирательное право, по сравнению с прежде действовавшим в Крыму законом Крымского Краевого Правительства, несколько суживалось. Лишались права избирать и быть избранными женщины, удлинился срок оседлости, необходимый для того, чтобы попасть в списки избирателей, и т. п. Повсеместно, в Крыму должны были произойти перевыборы городских самоуправлений и действительно произошли. В Севастополе победу одержал на выборах социалистический (с.-р. и меньшевистский) блок, получивший в городской думе 38 мест, затем шли домовладельцы (21 место) и демократический блок (12 мест).

Демократический блок состоял из беспартийных.

Под домовладельцами не следует разумеать непременно крупных владельцев городской недвижимости. Город Севастополь на своих окраинах имеет много небольших домов и даже хижин. Поэтому большинство в организации домовладельцев составляли именно мелкие владельцы строений на окраинах, часто несомненно трудовые элементы по своим занятиям.

Так, например, в составе избранных в городскую думу от домовладельцев оказались: техник, народный учитель, 2 конторщика, 2 мастера, штурман, хлебопек, 2 фельдшера, машинист и т. п.

На первых порах высказывались опасения, будет ли возможна деловая работа при резком делении думы на 2 крыла, левое и правое, и при слишком незначительном составе посредствующего между ними демократического блока. Опасения не оправдались, так как не всегда меньшевики и эс-эры шли вместе, и очень часто домовладельцы принимали предложения демократического блока.

Словом, на деле составилась какой-то контакт в работе, несмотря на довольно, казалось бы, резкие различия состава.

Городским головой был беспартийный из кандидатов демократического блока (Я. Н. Перепелкин).

При первых же шагах деятельности городского самоуправления пришлось столкнуться с полным отсутствием средств в кассе и с задолженностью.

При этом ни субсидии, ни правительственного займа невозможно было получить, как из-за стесненности командования Юга России в денежных средствах, так и из-за невозможности выяснить положение при помощи сколь-нибудь правильных с ним сношений.

Пришлось поэтому прибегнуть к необычной тогда мере, при проведении которой и состоялась в сущности первая деловая встреча представителей власти и города.

Было созвано собрание крупных представителей торговли и промышленности, при участии представителя от администрации, на котором было указано, что сейчас надежда на выход города из финансового тупика поконтится исключительно на вере в их готовность сделать городскому управлению шестимесячный беспроцентный заем. Согласие было дано, и при помощи биржевого комитета мы получили под векселя полтора милл. рублей.

В сущности это была в значительной степени, хотя и в скрытом виде, конфискация капитала, так как ко времени выплаты городской управой долга при падающей валюте, представители торговли и промышленности должны были получить и действительно получили значительно меньше того, что нам ссудили.

Принудительный заем — был первым случаем, когда власть и городская управа встретились при осуществлении ими своих задач.

III. Отголоски конституционных веяний в Крыму.

Уже в ноябре 1919 г. управлявший министерством внутренних дел (в правительство Деникина) В. П. Носович в беседе с представителями печати заявил, что общественности правительство придает „большое значение“. „Власть без нее теперь бессильна, сказал он, и для успеха деятельности власти необходимо не только сочувствие, но и непосредственное содействие общества во всех отраслях государственной жизни. Необходимо до крепко засыпать пропасть, разделяющую власть и общество. Их сотрудничество абсолютно необходимо“.

Все это сообщение имело довольно абстрактный характер. Не давалось никаких конкретных указаний, в чем именно и в каких формах должно выражаться сотрудничество власти и общества. В Севастополе сообщение породило полное недоумение. Подумали, подумали и решили, что первым же актом доверия власти к населению должно быть установление свободы печати. Газета „Юг“, которая тогда, по своему направлению, была ближе других к власти (13 ноября № 90) указывала на необходимость ответственности печати перед судом, а для осуществления ее рекомендовалось скорее приступить к восстановлению суда. Попутно выражалось сожаление, что наряду с голосом представителя министерства внутренних дел не слышно голоса министерства юстиции, которому в деле насаждения правопорядка должно принадлежать одно из первых мест.

Это было первым конституционным веянием из ставки Юга России, докатившимся до Севастополя. Оно не имело никаких практических последствий.

Вообще же Крым был почти совершенно оторван от правительства ген. Деникина. Достаточно сказать, что закон о городских финансах от сентября 1919 г. мог быть получен в Севастополе лишь в начале 1920 г. в одном писанном на машинке экземпляре.

Связь стала устанавливаться лишь постепенно.

На заявлениях о необходимости контакта между властью и общественностью в самой ставке дело не остановилось.

Военные неудачи создали кризис власти. Крушение донского фронта и необходимость ориентироваться на демократическую Кубань побудили Южное командование идти на реконструкцию власти. Предстояло установить конституционный порядок. Переговоры между Верховным казачьим кругом (Дона,

Кубани, Терека) и Деникиным продолжались весь январь, и только к концу этого месяца установлен был некоторый компромисс.

Выработанная в результате этих переговоров конституция Юга России состояла в следующем:

Законодательная власть на территории вооруженных сил Юга России осуществляется Законодательной Комиссией и Главнокомандующим ген.-лейт. Деникиным. Законопроекты, принятые этой Комиссией, утверждаются Главнокомандующим в двухнедельный срок. В случае неутверждения законопроект может быть рассмотрен законодательной комиссией снова, но не ранее, чем через четыре месяца. Законы, принятые Комиссией и утвержденные главнокомандующим, обнародуются последним. Комиссия созывается по его указу и в исключительных случаях может быть распущена указом его, но в этом случае новые выборы должны быть произведены в течение месячного срока со дня роспуска.

Из компетенции Комиссии изъимются дела, имеющие отношение к войне. Все дела, относящиеся к устройству сухопутных и морских вооруженных сил и обороны государства, а также всего управления армией и флотом, представляются военно-морским министерством непосредственно на утверждение главнокомандующего. В перерыве занятий законодательной комиссией особо спешные дела, требующие рассмотрения в законодательном порядке, могут быть утверждены главнокомандующим по постановлению Совета Министров. Утвержденные в таком порядке постановления должны быть внесены в течение недели на рассмотрение законодательной комиссии по открытии ближайшей сессии и, в случае невнесения или неутверждения их комиссией, терпят свою силу.

Министры, за исключением министров путей сообщения и военно-морского, ответственным перед законодательной комиссией и в случае выражения им недоверия обязаны подавать в отставку.

Законодательная комиссия состоит из 90 членов, в том числе: 50 от краевых образований Дона, Кубани и Терека, 7 от городов, 3 от астраханского казачьего войска и 80 от остального населения местностей, находящихся под управлением главнокомандующего вооруженными силами Юга России.

Право быть избранным принадлежит гражданам мужского пола, достигшим 25-летнего возраста.

Таковы главные основания „конституции“ Юга России, носящей на себе слишком яркие следы предшествовавших ее принятию переговоров. Она представляет собой плохо разрешенное сочетание двух начал: монархического и демократического. Конституция является сколком с основных законов России 1906 года. То же двоевластие, та же суженная компетенция законодательного органа, то же чрезвычайно-указное право (87 ст.) с незначительными поправками.

Отличие, более или менее заметное, только во внесении в новую конституцию ограниченного начала министерской ответственности перед законодательным органом.

Свободны были от этой ответственности два министра — военно-морской и путей сообщения.

Если иметь еще в виду двухстепенный характер выборов и ограничение пассивного права лишь мужчинами и возрастом в 25 лет, то характеристику этой „конституции“ можно будет считать полной.

Известно из хода переговоров, что на приватие этой конституции Верховный Круг пошел не без сознания приносимых жертв.

Итак, ходом событий предreshалась реконструкция власти и она создавала почву для конституционных настроений.

Правда, это был — демократизм распада власти, ее разложения. Но население не спрашивало, почему его призывают: потому ли, что власть разлагается, или потому, что власть крепка и желает стать еще более крепкой.

Крым стал чувствовать эти веяния довольно скоро. В конце января было вновь повторено печатью требование гласности, а также изменения системы управления. 1 февраля газета „Крымский Вестник“ могла уже констатировать, что „зажурчали звонкие ручейки“.

Администрация значительно отставала от этого движения и прежде всего начальник обороны Крыма ген. Слащев. Он был противником установления связи между властью и населением, а также и необходимости конституционных уступок, подобных тем, которые к концу января сделаны были ген. Деникиным. Связь с населением он понимал только, как помощь со стороны последнего фронту.

При этом ход соображений был таким. Ему поручена оборона Крыма, и все, что мешает ей, он должен устранить. Требование свободы и участия во власти мешает обороне. До этого ли, когда нужно защищать. Со всеми, кто так или иначе действует против, необходимо расправиться без сожаления.

Программа эта довольно пространно изложена в приказе от 31 декабря, опубликованном в Севастополе 3 января 1920 г.

Для характеристики его приведу выдержки:

„На фронте льется кровь борцов за Русь святую, а в тылу происходит вакханалия. Ловчим, даже офицерского звания, пьяными скандалами позорят имя добровольцев. В особенности отличаются чины дезертировавших с фронта частей. Все это подрывает веру в спасение родины и наш престиж. Вдобавок спекуляция охватывала все слои общества. Между тем забывшие свою честь, видимо, забыли и то, что наступил серьезный момент и накатился девятый вал и что борьба идет не на жизнь, а на смерть России и что, согласно приказа, я обязан удержать Крым и для этого облечен соответствующей властью и располагаю достаточными силами.“

Но для поддержки фронта мне необходимо одорование тыла. Я прошу граждан помочь мне общественной организацией; классовые комитеты, любящие родину, идите совместной работой поддержать меня. Об этом я прошу всех, не потерявших совести, не забывших своего долга, а остальным заявляю, что буду продолжать борьбу даже один, так как бессознательность и своекорыстность жителей меня не остановит, и я не остановлюсь перед крайними мерами“.

После этого в приказе дается распоряжение опечатать винные склады и запретить азартную игру. Конец приказа повторяет снова те же мысли, как бы для придания им большей убедительности:

„Повторяю и разъясняю, что мне генералом Шиллингом приказано удерживать Крым — я это выполняю во что бы то ни стало и не только прошу, а заставляю всех помочь мне; мешающих же этому сопротивлением, индифферентностью из-за корыстных целей и наносящих вред борцам за Русь святую, говорю заранее: упомянутая бессознательность и преступный эгоизм к добру не поведут, пока берегитесь, а не послушаетесь, не упрекайте за преждевременную смерть.“

Слащев.

Этот приказ утверждал то самое самовластие военной среды, которое вынужден был упразднить ген. Деникин. Положение было несомненно очень странным. В середине февраля комендантом крепости в Севастополь был назначен ген.-лейт. Турбин, в задачу которого входило, как он говорил о том представителям прессы, идти с населением по общей дорожке, получить его доверие и в первую очередь поддерживать связь с его представительными органами. Все это в корне отрицалось теми, кому принадлежала фактически власть. Поэтому названный представитель власти в результате превратился в совершенно бессильную фигуру, вынужденную часто лишь разводить руками по поводу тех или иных действий правительства.

Если Турбин не мог оказать влияния на Слащева, то ген. Шиллинг, который формально стоял над Слащевым, как главноначальствующий Новороссии и Крыма, мог это сделать, но не хотел, имея для этого достаточно уважительные причины.

В середине февраля 1920 г. он, после эвакуации Одессы, высадился в Севастополе. Неизвестно, что он сделал в последние дни своего пребывания в Одессе, но прибывшие в Севастополь беженцы этого города не могли спокойно о нем говорить (в числе таких были и генералы). Негодование против него было так велико, что его противникам удалось добиться от ген. Деникина назначения ревизии ген.-лейт. Макаренко по расследованию обстоятельств оставления Одессы. Известие об этом появилось в тот же день (15 февраля), когда ген. Шиллинг отдал приказ о том, что „прибыв в Крым“, принимает на себя объединение всеми отраслями командования и управления в Крыму.

Шиллинг едва уцелел на своем месте. Конечно, не этому человеку, чья репутация все же была поколеблена, можно было оказывать сдерживающее влияние на слишком ретивую администрацию.

Правда, ген. Слащев не был фактически вершителем всех дел, но во всяком случае он считал себя в праве от поры до времени вмешиваться в управление, издавая те или иные приказы и предпринимая какие-либо конкретные действия. В его системе управления многое зависело от настроения минуты и никогда нельзя было заранее сказать, кто виновен и кто невинен перед лицом ее. Пожалуй, отдельные лица были даже не так важны —

ибо по выражению приказ. Слащева „все жители своекорыстны“. Следовательно, если случайно вместо Ивана понесет наказание Сидор — не имеет особого значения. Ляшь бы все общество в целом удерживалось в страхе повиновения и главное — выполняло свою единственную обязанность — помогать фронту. Такое понимание власти проводилось сверху донизу довольно настойчиво.

Иллюстрацией могут служить заседание городской думы 16 февраля 1920 г. и обстоятельства, с этим заседанием связанные.

IV Заседание 16 февраля.

Как уже было упомянуто, перед населением Крыма и Севастополя ставился вопрос об участии в организации управления, т.-е. о выборах в Законодательную Комиссию. Согласно положению о ней, члены Законодательной Комиссии от Таврической губернии должны были избираться городскими думами (симферопольской и ялтинской по 2 члена, остальными же севастопольской, Феодосийской, керченской и евпаторийской по одному от каждой), при чем городские гласные безуездных городов для этих выборов должны были присоединиться к составу гласных ближайшего уездного города.

Кроме того, для выборов представителей от земских управ и кооперативных объединений должно было составиться симферопольское губернское избирательное собрание, избирающее 6 членов.

Таким образом, вся Таврическая губ. должна была дать в Законодательную Комиссию 10 членов. Помимо участия своего в Законодательной Комиссии они должны были входить в состав так называемого особого присутствия Законодательной Комиссии, образуемого из всех членов Законодательной Комиссии, кроме представителей Дона, Кубани и Терека. Это — специальная мера, чтобы для дел местного значения оградить Крым и другие не-казацкие местности от чересчур сильного влияния казачьих элементов на все мелочи управления ими.

Нам было известно, что в Симферополе и Ялте собираются произвести выборы представителей в Законодательную Комиссию.

Предстояло выяснить вопрос об отношении к выборам и нам; тем более, что главноначальствующий Таврии ген. Шиллинг обратился к градоначальнику Турбину со следующей телеграммой, появившейся в прессе 13 февраля: „Примите меры к возможно скорейшему производству выборов в Законодательную Комиссию, сказывая в этом отношении полное содействие“.

Несколько ранее этого времени состоялось закрытое заседание представителей думских фракций (кроме фракции домовладельцев), совета профессиональных союзов, партийных организаций с.-д. и с.-р., печати и просто общественных деятелей, приглашенных *ad referendum*, среди которых был между прочим бывший министр юстиции Временного Правительства Переверзев.

Результаты совещания были объявлены неподлежащими оглашению. заседание происходило в кабинете городского головы.

Только эгами чисто внешними признаками (место заседания и отчасти персональный состав участников) связь этого собрания с городским управлением и ограничивалась.

Инициатива созыва его исходила извне.

Задача собрания состояла не в том, чтобы принять какое-либо постановление, а в том, чтобы выяснить отношение населения к совершившемуся в добровольческих кругах сдвигу, услышать голос разных организаций по этому поводу. Это собрание должно было быть как бы подготовкой к тому, чтобы всякий прибывавший на заседание мог, выйдя с него, сделать для себя более или менее определенные выводы.

Этой цели собрание достигло.

Но вместе с тем оно явило яркую картину полного хаоса мнений. Часть собрания (особенно представитель меньшевиков) полагала, что добровольческая армия уже труп и что в сущности точка над „і“ уже поставлена, а поэтому задача момента состоит только в том, чтобы это обнаружить.

Тон других выступлений был значительно мягче. Но никто из выступавших не верил искренности перелома в настроенных руководителей Добр. армии. Некоторые предлагали повести кампанию за дальнейшую демократизацию власти через посредство печати и т. д.]

В общем собрание представляло какой-то парламент мнений. Тут были представители почти всех слоев и оттенков населения. И если бы им было предложено наметить наилучшую для данного времени форму организации власти, можно смело сказать, что попытка сговориться не привела бы ни к чему. Больше чем когда-либо чувствовался разброд, ощущалось полное отсутствие связи между отдельными элементами. Не было того, что называется социальной связью. Это было не живое целое, а конгломерат.

После этого заседания было совершенно ясно, что базы в лице населения под собой добровольческая армия не имеет. Поэтому, если организация общества и имела смысл, то лишь как самоцель, лишь для самого населения, а не для той политической формы, в которую оно было в данное время облечено.

Несмотря на некоторые меры предосторожности, принятые для того, чтобы собрание общественных деятелей осталось втайне, весть о нем просочилась в публику, но там истина переплелась с вымыслом.

До Слащева весть об этом заседании дошла в ночь превратном освещении. Ему сообщили, что дума устраивает тайные заседания и собирается свергать добровольческую власть. Поэтому он решил объясниться с городской думой непосредственно. По его предложению было назначено заседание думы на субботу 15 февраля.

Но затем столь же неожиданно, сколь неожиданным было и самое предложение о созыве заседания, было получено утром в субботу от ген. Слащева извещение об отмене заседания.

Понтересовавшись причинами назначения и отмены заседания думы, городской голова позвонил по телефону градоначальнику и коменданту кре-

пости ген.-лейт. Турбин, который сообщил, что назначение заседания было результатом неправильной информации ген. Слащева о деятельности думы и что после беседы Слащева с ним, иначе осветившим положение, ген. Слащев решил отменить заседание. Он же сообщил городскому голове, что в вилу отъезда ген. Шиллинга в ставку ген. Слащев вступил в исправление обязанностей главноначальствующего.

В тот же день в субботу вечером в 9 час. городской голова и председатель городской думы (И. П. Слесаревский) были внезапно вызваны к ген. Слащеву.

Разговор начал ген. Слащев в крайне повышенном и резком тоне. „Стыдно-с, — сказал он по адресу городского головы. — Вы, кажется, бывший генерал русской армии. А между тем вместо оказания помощи ставите препятствие. Заявляю для вашего сведения и сведения населения, что мне поручено защищать фронт, — сказал он. — Я поклялся, что не отдам Крыма большевикам, и сдержу обещание во что бы то ни стало. Но для успеха мне нужно спокойствие в тылу и помощь общественности. Я этого не вижу. Напротив, городская дума идет против меня. Ваша дума устраивает здесь заседания и явные и тайные, постановляет взять всю власть в свои руки, принимает резолюции вогнать осиновый кол в могилу Добармии“ и пр.

„Я не допущу большевикам в тылу. Вы умеете только влиять денег для служащих, а город оставляете без воды. Знайте, Сиваш оттаивает, я располагаю большим количеством войска и не остановлюсь ни перед какими мерами, чтобы беспощадно расправиться с большевизмом в тылу. Считаю беседу оконченной. До свиданья“.

Не считая беседу оконченной, городской голова объяснил, что угля на водокачке нет, так как городское самоуправление его никак не может получить. Кстати сказать, вся вина за неисправности в снабжении населения водой всегда или почти всегда лежала на морском ведомстве, потреблявшем более трети всего расходуемого в Севастополе количества воды и всегда неисправно доставлявшем уголь. Между тем в условиях гражданской войны, конечно, нельзя было производить заготовки угля городскому самоуправлению самому. Попытки, сделанные в этом направлении, не привели ни к каким результатам.

Вкратце именно на это указал городской голова. Затем, он решительно заявил ген. Слащеву, что информирован он о деятельности думы неправильно, что предстоящее заседание для обсуждения вопроса о выборах членов Законодательной Комиссии созывается совершенно легально по предложению ставки генерала Деникина и, следовательно, не может иметь целью свержение добровольной армии, и, наконец, что сообщения, сделанные ему о ней, по большей части ложь и клевета „Вечернего Слова“. „Почему же вы не протестуете?—спросил Слащев. „Мы помещали опровержения в „Юге“ и „Крымском Вестнике“, — ответил городской голова. „Не читаю“, — в свою очередь полаг реплику Слащев.

Беседа была прервана приехавшей к ген. Слащеву делегацией во главе с епископом Вениамином. Слащев обещал продолжить беседу через два дня после своего приезда с фронта.

Чтобы стали ясными, как самый ход беседы, так и ее конечный смысл, необходимо сделать некоторые пояснения. Фраза „вогнать осиноый кол в могилу Добармии“ — приписывалась заместителю председателя городской думы (больше 15 лет просидевшему в царских тюрьмах) меньшевику Канторовичу. В действительности фраза носила несколько другой оттенок. В одном из заседаний думы он указал, что правительству, которое не желает слышать о нуждах населения, нужно вогнать осиноый кол. В момент своего произнесения эта фраза носила абстрактный характер. Правда, человеку с конкретным мышлением не трудно было от этой фразы перейти к конкретному правительству, сделав для него соответствующие выводы, а человеку с фантазией еще легче было заменить в ней слова „правительству“ словами „в могилу Добармии“.

Словом, стилистически неудачная и политически двусмысленная фраза Канторовича подала повод к обвинению городской думы в походе против власти.

Относительно упомянутого в беседе тайного заседания думы мною уже выше указано, что имело место не тайное заседание думы, а закрытое совещание специально приглашенных общественных деятелей.

Наконец, следует подчеркнуть, что речь Слащева содержала прямые угрозы расправы.

На следующий день в воскресенье состоялось в помещении Института Физич. Метод. лечения заседание городской думы и общественных организаций. Кроме 41 гласного севастопольской городской думы и 7 балаклавской думы (безуездный город Балаклава для производства выборов был приписан к г. Севастополю) на заседании присутствовали также 37 представителей профессиональных организаций (как совета, так и отдельных союзов), и 8 других организаций и печати. С публикой на собрании присутствовало не менее тысячи человек. Председательствовал председатель городской думы.

Прения, происходившие на этом заседании, довольно подробно были изложены затем в газетах.

Тема заседаний организация власти и выборы члена Законодательной Комиссии. Говорили представители меньшевиков, эс-эров, совета профессиональных союзов, демократического блока и некот. др.

Все были согласны в признании недостатков власти, но по вопросу, идти ли на выборы, мнения расходились. Одни (и при том большинство) решали этот вопрос отрицательно, другие положительно.

Учитывая, что две фракции городской думы от выборов отказываются, пришлось отказаться от выборов и демократическому блоку. Резолюция социалистического блока собрала 30 голосов, при 1 против и 18 воздержавшихся.

Таким образом восторжествовала тактика бойкота.

Заседание произвело большое впечатление, особенно в правых кругах, которые негодовали против участников заседания, хотя и не могли не признать устами „Вечернего Слова“, что „в речах ораторов было много тяжелой правды“.

Ответ об этом заседании „Вечернее Слово“ напечатало под заголовком „Штурм власти“.

Передовая статья, написанная А. Бурнакиным, приходила к выводам, что теперь у добровольческой армии руки развязаны. Попытка найти общий язык с развращенным, полубольшевистским тылом совершенно бесполезна. Но так как эта думская революционность не является выразительницей настроений широких народных масс, в данный момент особенно инертных, то и критика власти не может быть принята в расчет. Это — не голос народа, а только голос думы, голос партий и организаций. Реальная же сила у тех, в чьих руках оружие. Оружие — сейчас единственный язык, которым должно говорить.

Едва ли нужно прибавлять, что таким было после этого заседания настроение и у вершущих командования. Они почувствовали, что „руки развязаны“.

В связи с этим заседанием были приняты определенные решения.

V. Арест пяти.

Во вторник 18 февраля с утра стали распространяться слухи о производимых в городе по приказу Слащева арестах общественных деятелей. Стало скоро выясняться, что арестованы бывший городской голова В. А. Могилевский, тов. городского головы, член управы И. С. Пивоваров, тов. председателя думы Н. Л. Канторович, гласный думы А. В. Некрасов и М. А. Пескин. Всего 5. Разыскивали еще 3-х, но, не найдя их, ограничились 5-ю. Все пять на автомобилях были доставлены на вокзал в поезд Слащева.

Были приняты меры к выяснению причин арестов. На запрос городского головы по этому поводу по телефону к градоначальнику Турбину последний сообщил, что аресты произведены по приказу Слащева, что все арестованные отправлены в Джанкой, где они будут лично допрошены Слащевым. В случае виновности им будет предложено на выбор: или подвергнуться формальному суду или переправиться на ту сторону фронта.

В приказе Слащева от 18 февраля более или менее подробно разъяснены причины ареста. Там говорилось, что в севастопольской думе „в последнее время раздаются демагогические речи с явной целью разжигать страсти населения, восстанавливая его против Добармии“. Виновники „либо будут преданы военно-полевому суду за помощь неприятелю, либо отправлены через фронт к большевикам для уже открытой работы“. „16 февраля все же вновь раздались губящие фронт речи. Виновные арестованы и взяты ко мне в Джанкой“.

Таким образом, как будто все производилось по программе, хотя один из арестованных (Могилевский) на собрании не проронил ни одного слова по той простой причине, что не присутствовал на нем и вообще только накануне был освобожден из тюрьмы. Говорил на заседании из арестованных только один.

Не удовлетворившись сведениями Турбина, городская управа решила переговорить со Слащевым непосредственно и около 1 часу дня делегация городского управления в составе городского головы, председателя думы, меня и еще трех гласных гостила его на вокзале. Разговор происходил в вагоне. Слащев сообщил, что аресты произведены по данным контр-разведки, утверждающей, что все арестованные действовали во вред Добровольческой армии и что он полагает наиболее удобным лично в Джанков, находясь в непосредственной близости к фронту, разобрать все материалы и опросить задержанных. Для присутствования при разбирательстве дела он предложил отправиться с ним двум представителям городского самоуправления.

Надо заметить, что именно близость фронта нас пугала. Мы хорошо знали эти личные удобства. В другой раз, тоже из личных удобств, ген. Слащев предписал желающим выехать за границу приезжать за паспортами к нему в Джанкой.

Казалось таким понятным, что производить суд в условиях военной обстановки совершенно невозможно. Затем, исход дела рисовался одинаково мрачно и в случае суда и в случае переправы на ту сторону. Обычно такие переправы сопровождалась „случайностями“. Самая поездка в Джанкой уже в значительной степени предрешала исход дела. Поэтому, мы всячески убеждали Слащева освободить арестованных и передать все имеющиеся о них материалы гласному суду.

Но он оставался непреклонным. Одно время, казалось, он колебался. Случайно, задев рукавом стоявшую на столике рюмку с вином, он ее опрокинул. Председатель думы воспользовался этим случаем, чтобы придать всему делу более простой и человеческий характер. „Ваше превосходительство, — сказал он, — пролившееся вино — хороший признак и пусть оно будет знаком вашего согласия на нашу просьбу“. Минутное колебание и затем твердое — „нет, не могу“.

Делегация ничего не добилась. Предложение Слащева командировать двух представителей для присутствования при разбирательстве дела в Джанкой было принято. Этими представителями были я и гласный Соловьев.

Арестованные находились в отдельном вагоне под конвоем инкеров. Мы находились в другом вагоне поезда.

В половине второго поезд отошел. Как оказывается, на вокзал потом являлась еще депутация от мастерских завода Порты, но поезд уже успел отойти.

Положение было крайне неприятным. Единственно, на что можно было еще надеяться, это — на помощь симферопольского городского самоуправления, земства и профессиональных организаций, но это лишь в том случае, если

поезд сделает в Симферополе более или менее продолжительную остановку. При безостановочном следовании поезда в Джанкой для нас вырисовывалась тяжелая перспектива быть простыми наблюдателями беззакония и произвола или в лучшем случае защитниками против беззакония и произвола.

К счастью, оказалось, что стоянка в Симферополе будет продолжительной. Мы немедленно по прибытии туда отправились в городскую управу и там осведомились о случившемся. В общих чертах о происшедшем уже знали, так как получили об этом от кого-то известие по телефону через Ялту. Мы в свою очередь узнали, что в 9 часов предстоит заседание съезда общественных деятелей, представителей рабочих организаций и кооперативов в связи с выборами в Законодательную Комиссию. На это заседание предполагается пригласить Слащева и там же возбудить вопрос об освобождении арестованных.

Действительно, его пригласили и в 9 ч. вечера он явился не без нарочитой помпы, в сопровождении своих штабных.

Все говорившие, хотя и затрагивали разные вопросы, с которыми они считали нужным обратиться к командованию, но все же основной темой было ходатайство об освобождении арестованных. Речи отличались сдержанностью, но вместе с тем выражали определенное сознание ненормальности создавшегося положения. Доказывали, что и с точки зрения власти и с точки зрения населения арестованных необходимо освободить.

Слащев повторил снова то, о чем не раз говорил раньше, а именно, что он поклялся отстоять Крым, что для этого ему нужно спокойствие в тылу и помощь общественности. Может быть, на этот раз его мысль была более ярка и выразительна. „Если даже я останусь один, — сказал он, — я не прекращу сопротивления. Я уйду в горы и оттуда буду вредить красным“. Затем он сообщил, что в своем решении колебался и в знак своего желания работать с общественными организациями, он готов освободить арестованных, если спокойствие в тылу будет ему гарантировано. Для переговоров с Севастополем он предоставил прямой провод.

Для ведения переговоров собрание отрядило от себя бывшего городского голову А. В. Фосса и председателя исполнительного комитета совета симферопол. профсоюзов И. Г. Гаврилова.

Многу же после заседания, около 12 ч. ночи, было сообщено по телефону городскому голове, что ген. Слащев согласен освободить арестованных, если ему будут даны гарантии спокойствия в тылу.

В ответ на это на мое имя в поезд Слащева была получена телеграмма от севастопольского городского головы следующего содержания: „Возбуждение севастопольских рабочих с трудом сдерживается профессиональными организациями, вследствие вашего сообщения представители местного совета профессиональных союзов гарантируют спокойствие, если все задержанные будут освобождены и невредимыми доставлены в Севастополь не позже двух часов дня 19 февраля“.

Эта телеграмма не понравилась Слащеву, и он не преминул в своем ответе это отметить. „Ваша телеграмма рисуется каким-то подобием условий

чего от вас никто не спрашивал". В этих словах чувствуется некоторая досада. Несомненно, в представлении Слащева жило представление о некоторой посторонней силе, с которой, чтобы не испортить совсем дела, приходится договариваться, но нужно было сделать вид, что предстоящее освобождение — акт собственного движения души, отнюдь не вынужденный, и т. д.

О том, что представление о некоей силе было довольно актуальным, видно из того, что севастопольские рабочие гарантировали спокойствие вообще, так сказать бессрочно, между тем как сам Слащев до этого, по собственной инициативе предложил установить срок (до 1 марта). Почему именно этот срок, а не иной — неизвестно. Но это несомненно означало, что севастопольских рабочих хорошо было бы сдерживать хотя бы до 1 марта.

Путем переговоров между Слащевым с одной стороны и арестованными с другой стороны, названным представителям из Симферополя удалось установить определенное соглашение, получившее письменную форму. Оно гласило следующее

„Генералу Слащеву.

„Вы заявили представителям Собрания Общественных деятелей Крыма и Исполнительного Комитета Совета Профессиональных Союзов г. Симферополя, что освободите арестованных 18-го февраля общественных деятелей Севастополя, если руководящие органы рабочих организаций Симферополя и Севастополя заверят вас, что до 1-го марта с. г. они не примут участия в выступлении рабочих, направленном против фронта, и, в случае такого выступления против их воли, честно явятся к вам или удалятся из города в знак выражения своего неучастия.

Исполнительный Комитет Совета Профессиональных Союзов г. Симферополя и в его лице Исполнительный Комитет Совета Профессиональных Союзов г. Севастополя заявляет, что они до 1-го марта с. г. не примут участия в выступлении рабочих, имеющем целью подрыв фронта. В случае же такого выступления против их воли они, не оставляя своих постов, примут все меры к скорейшей ликвидации такого выступления и сообщат вам об этих мерах. Оставить рабочих избранники их не могут, пока они не ушли со своих постов, так как это бросило бы рабочих во власть стихии и демагогии.

Но Исполнительные Комитеты Севастополя и Симферополя вместе с тем заявляют, что они могут руководить рабочими организациями, пока они находятся в непосредственном общении с рабочими массами и совместно с ними обсуждают все вопросы, волнующие рабочих. Поэтому разрешенные собрания и речи на них, отстаивающие основные требования рабочих, а также предъявление этих требований органам власти — не должны рассматриваться, как выступления против фронта.

Подл. подл. председатель Исполнительного Комитета Совета Профессиональных Союзов г. Симферополя и секретарь

19-го февраля 1920 г“.

На подлинном написано: „Печатать сие в газетах разрешаю и с текстом согласен, Слащев. 19/II-20“.

19-го февраля все арестованные были освобождены, и под охраной юнкеров им предоставлена была возможность вернуться в Севастополь. 20-го утром они прибыли.

Так разрешилась попытка ареста и увоза арестованных в Джанкой.

Она не удалась, так как ген. Слащев, придя в соприкосновение с самим населением, не мог не почувствовать неудачность своего шага. Кроме того, неизвестно, какими агентурными сведениями относительно настроения рабочих и рабочих организаций он располагал, но не подлежит никакому сомнению, что, в это время, он настроению их и силе придавал большое значение. Об этом свидетельствуют частые упоминания о рабочих в его телеграммах, а также то обстоятельство, что телеграмма городского головы, несмотря на ее неприятный для Слащева тон и на напоминание относительно возможности выступления против него рабочих, не вызвала никакой случайной реакции.

Но через короткий промежуток времени положение изменилось. В действительности, рабочие были, правда, настроены против режима Слащева, но это было скорее состояние пассивного сопротивления и никакой реальной (в смысле активности) силы они не представляли.

Вероятно, ген. Слащева удалось убедить в том, что рабочих не следует бояться, так как никакого выступления с их стороны предвидеть нельзя. Поэтому опыт повторен.

VI. Дело десяти (или 14) и правительство Мельникова.

Дело 10 было частью дела „о предполагаемом восстании“.

По этому делу было арестовано 36 человек, которые были судом разбиты на группы. Дело 10 было делом первой группы. 9 и 10 марта военно-полевой суд в Севастополе рассмотрел их дело и в результате разбирательства приговорил 3 к расстрелу, двух к 10 годам каторги, а остальных 5 человек оправдал.

Ген. Турбин приговора суда не утвердил, считая этот приговор тяжелым, и намеревался передать дело на новое рассмотрение военно-морского суда, в компетенцию которого оно собственно и входило.

Узнав об этом, ген. Слащев в 1 час ночи на 11 марта вывез из тюрьмы всех 10 подсудимых, увез их в Джанкой и там всех, в том числе и 5, уже оправданных судом, расстрелял.

Расстрел их после уже состоявшегося суда и в противоречие с судебным приговором представлял собой нечто совершенно исключительное и неслыханное.

С этим делом совпал приезд в Севастополь так называемого „Южно-русского правительства“ Н. М. Мельникова.

Эго—последнее Деникинское правительство. Небольшая часть его оставалась еще в Новороссийске при ген. Деникине, а другая, большая, переехала на английском транспорте в Севастополь. Из частных бесед членов правительства с общественными деятелями нам сразу же по их приезде стало

известно, что они рассматривают свой приезд в Севастополь лишь как временную остановку на пути в Константинополь. Правительство считало свое дело сопротивления Советской власти оконченным.

Странно было потом читать напечатанную в газетах декларацию нового правительства, в которой правительство совершенно серьезно говорило о реформах, которые оно намерено было провести (в частности о закреплении пользования земли за крестьянами) и о своей задаче восстановления русской государственности через Учредительное Собрание, на началах всенародного представительства и ответственности власти.

Откровенно сознаваться во временном характере своей миссии значило бы для правительства проявить отсутствие забот о своем престиже.

И затем, если бы правительство не издало само своей декларации, ее привуждены были бы выдумать журналисты и хроникеры,—настолько в населении естественно связывается с представлением о новом правительстве представление о декларации...

Но на беду этому правительству выпала на долю хотя и тяжелая, но простая по существу задача—поддерживать законность. Жизнь потребовала от правительства прежде чем проводить законы и наделение крестьян землей, согласно декларации, применить свои способности на более простом деле—ограждении в Крыму законности от произвола.

К правительству немедленно потянулись все.

Телеграммы, посланные ген. Слащеву рядом общественных организаций (советом Крымских Профессиональных Союзов, Союзом зубных врачей, советом кооперативов и пр.), а также севастопольской городской управой, не имели успеха.

Первым он ответил, что они занялись давлением на суд..., что он не позволит тылу диктовать свою волю фронту и что он просит ему не мешать, так как наступает с войсками против красных, „которым вы, — как выразительно заканчивался ответ,—видимо помогаете“.

Городской управе он ответил: „Честный человек не должен бояться места, где его судят. а руководители масс должны объяснить это своим доверителям во избежание пролития крови“.

Спасения ждали после этого только от правительства Мельникова.

Рабочие завода и порта морского ведомства через свою делегацию довели до сведения правительства телеграмму, адресованную на имя Слащева, в которой они говорят: „Мы, на совести которых нет кровавых пятен, которые при всяких властях и при всяких условиях возвышали свой голос протеста, а нередко и активно выступали против насилий и расправ, узнав об узове арестованных..., видим в этом акте недопустимое вмешательство в дело суда и желание безгласно, а может быть и без всякого суда расправиться с арестованными, воскресив этим жуткие картины застенков“. Дальше говорится, что рабочие считают это вызовом рабочему классу и этот вызов принимают.

Затем не совсем удачно для того времени в телеграмме указывается, что действия власти свяжут руки рабочим на будущее время в том случае,

если в Крыму суждено будет установиться Советской власти: тогда защита отдельных лиц из представителей власти южного командования окажется совершенно невозможной.

По своему содержанию эта часть телеграммы могла невольно приводить к совершенно неправильным выводам, которых рабочие не желали делать.

Могла появиться мысль, что тогда будут судить добровольцев и их нельзя будет защитить, так как теперь южное командование не дает возможности защитить сторонников Советской власти.

Неудачен конец телеграммы и по другим основаниям. В самом деле, могла ли оказать какое-либо воздействие на ген. Слащева телеграмма, в которой простосердечно предусматривалась возможность установления Советской власти в Крыму на смену режиму ген. Слащева, и в которой рабочий класс пугал ген. Слащева не ближайшим возмездием, а тем, которое наступит в будущем с изменением характера власти в Крыму? Отрицательный ответ совершенно ясен.

По своему внутреннему существу, по своему скрытому психологическому значению, телеграмма свидетельствовала о слабости рабочих. Насколько известно, телеграмма эта составлялась самими рабочими, а не руководящими профессиональными организациями, что видно впрочем и из самого стиля телеграммы. И отражала на себе она одновременно и возбуждение и подавленность рабочих.

Свет министров, обсудив создавшееся в связи с увозом арестованных положение, поручил председателю совета министров Мельникову снестись по прямому проводу с генералами Слащевым и Шилингом и настоять на соблюдении всех законных гарантий в этом деле.

12-го марта происходил разговор Мельникова по прямому проводу со Слащевым.

Он сообщил ген. Слащеву, что южно-русское правительство установление законности кладет в основу своей деятельности и поэтому считает крайне необходимым, чтобы дело о 10 заключенных было рассмотрено в условиях, обеспечивающих соблюдение законных гарантий.

Снова рассматривать это дело может только суд или военно-морской или корпусный, но не военно-полевой. Мельников спрашивал также о судьбе арестованных, в виду распространившихся по городу слухов об их расстреле.

На эти деликатные вопросы ген. Слащев ответил без всяких обиняков в духе своего обычного противопоставления тыла и фронта. Привожу подробный текст дальнейших переговоров.

Генерал Слащев: „Здравствуйте ваше высокоприсходительство! Приветствую ваш приезд в Крым и сообщаю, что никогда ничего против совместной работы с комитетами и с союзами не имел. Но предатели России живыми не останутся. Фронт будет диктовать тылу, а не тыл фронту. 10 прохвостов вчера расстреляны по приговору военно-полевого суда, а сегодня утром вьаты Чаплинка и Преображенка, масса пленных и трофеев. Я только что вернулся оттуда. Считаю, что только потому в России у нас удержался еще

Крым, что я расстреливаю подлецов, о которых идет речь. Если рабочие Севастополя — не честные русские люди, за которых их считал, то могу приехать и дать объяснение. Все, больше ничего сказать не имею. До свидания“.

Мельников: „Честь имею кланяться“.

Слащев: „Добавляю, что всегда буду считать своею обязанностью, покуда команду, от имени войск, не разрешать тылу диктовать фронту и проведу свою мысль во что бы то ни стало“...

Таким образом, на первом же серьезном экзамене правительство блестяще провалилось.

Из присланной затем ген. Слащевым в газету „Юг“ телеграммы оказалось, что им расстреляно было не 10, а 14 человек. И „Дело 10“ носило свое название только по недоразумению.

Нашелся и неожиданный защитник действий ген. Слащева в лице ген. Шиллинга. В своей телеграмме по этому поводу он признает действия ген. Слащева правильными и предлагает в случае каких-либо выступлений не останавливаться ни перед какими мерами для подавления таковых вооруженной силой.

Со стороны ген. Шиллинга телеграмма была прямым нарушением служебной дисциплины. Как главноначальствующий, он должен был подчиняться министру внутренних дел, южно-русского правительства.

Конечно, весь конфликт, вызванный расстрелом 14 человек, нанес окончательный и непоправимый ущерб престижу правительства в глазах населения. Но сделанные в связи с этим предположения, будто бы из-за неудачи, постигшей правительство в этом деле, оно „полетело вверх тормашками“ (сбор. стат. „Антанта и Врангель“, стр. 155) не верно. Как уже упомянуто мною, правительство не собиралось сидеть в Севастополе прочно. Кроме того, в скором времени после этого дела выяснилось, что ген. Деникин покидает свой пост, и стали называть ему преемников. Естественно, не было оснований оставаться при исполнении своих обязанностей и правительству, вызванному к жизни ситуацией, сложившейся при ген. Деникине.

С другой стороны дело 10 (или 14) повлекло за собой еще и другие последствия, важные в общественном отношении.

В знак протеста против кровавой расправы рабочие объявили трехдневную забастовку. Объявление забастовки не сопровождалось никакими требованиями. Между тем, после резолюции рабочих, в которой они заявляют, что увоз арестованных, после состоявшегося над ними суда, они считают вызовом рабочим и этот вызов принимают, забастовки-протеста было очень мало. Вместо забастовки-протеста логически напрашивалась забастовка-требование. Но настроение рабочих было не в пользу последней. Они сознавали, что борьба неравна. И если бы все же борьба была затеяна, она привела бы к тому, что на голову рабочих обрушились бы все скорпионы. Террор дезорганизовал рабочие ряды...

Поэтому руководители севастопольских профессиональных союзов, учуяв действительную опасность выступления рабочих даже с забастовкой-протестом, постарались ее ликвидировать.

VII. При Врангеле.

В середине марта 1920 г. установилось правление генерала Врангеля. Официально приказ ген. Деникина о назначении ген. Врангеля главнокомандующим всеми вооруженными силами на юге России был дан 22 марта.

Еще не так давно перед этим, осенью, 1919 г. можно было видеть высокую фигуру ген. Врангеля на Историческом бульваре и на улицах г. Севастополя. Тогда он находился на положении „фронды“. В городе читалось его письмо Деникину, в котором он винил последнего в ряде стратегических ошибок, в несогласованности действий его с ходом военных операций в Сибири, в чрезмерном честолюбии и пр. Теперь судьба давала ему в руки армию, хотя и численно уменьшившуюся по сравнению с прежним, и ставила его во главе ее. Он получил возможность руководить военными действиями по своему убеждению. Верил ли он в успех своего дела?

Всякому человеку на его месте трудно было не поддаться великим сомнениям: очень уж ненормальны были условия, в которых предстояло действовать. По образному выражению еп. Вениamina в речи, сказанной им на параде войскам 25 марта, ген. Врангель стоял „перед двумя неприступными стенами. Первая это — недоверие народа к армии“. Вторая — некоторое разложение в самой армии“. Можно было упомянуть еще про недоверие народа к власти.

Конечно, положение было чрезвычайно тяжелым. Недаром говорят, что при переезде бар. Врангеля из Константинополя в Севастополь для принятия власти с ним случился жестокий сердечный приступ.

Бар. Врангель уподобился Иисусу Навину, которому предстояло брать Иерихон с помощью чуда. Только благодаря чуду мог он достигнуть своей цели. Это сознавал еп. Вениамин, которому принадлежит указанное выше сравнение; вероятно сознавал это и Врангель и его ближайшие сподвижники.

Почему же они решили взяться за дело борьбы снова, почему уроки прошлого оказались для них недостаточными, почему они не вложили меч в ножны и не удалились, не подвергая гибели новые человеческие жизни в борьбе, которая потом оказалась бесплодной?

Они хотели верить в „возможность“ чуда. И то, что сначала давалось с трудом, потом делось. Они поверили. А еп. Вениамин считал это даже непререкаемым, „именем высшей благодати, присвоенной ему, именем божьим говорил, что настало спасение“.

По складу своей психологии они не могли прекратить борьбы до тех пор, пока ключок земли, запертый Перекопом и Сивашем от подступов с севера, еще давал возможность сопротивления.

И сопротивление, поддерживаемое до сих пор ген. Слащевым, продолжалось вплоть до ноября 1920 г.

Установление новой власти ознаменовалось изданием декларации, которая начиналась словом: „Слушайте, русские люди“, говорила о поруганной

святой вере и о том, что именно руководит правительством в его борьбе, а в конце содержала указание, что борьба ведется „за то, чтобы русский народ мог сам избрать себе хозяина“.

Отношения между населением и новой властью более или менее выяснились в первое же посещение городским головой ген. Врангеля. Городской голова посетил ген. Врангеля 23 марта по поводу ассигнования средств на нужды города и получил от него обещание удовлетворять просьбу города. В свою очередь ген. Врангель просил городского голову довести до сведения городской думы, что от земств и городов он требует деятельной работы в области продовольствия и санитарии. „Для других же лозунгов теперь не время“. При этом он подчеркнул также, что он относится терпимо ко всем политическим течениям, кроме большевистского.

Под этой скромной формой в словах Врангеля скрывалось очень много. Это означало, что демократизм периода распада власти отменяется, что всякие конституционные формы ген. Врангель отменяет в сторону, общественность он призывает к себе на службу в области хозяйства, но делить свою власть или допустить участие в ней кого-либо он не собирается. Что касается терпимого отношения к разным политическим течениям, то эта фраза ничего решительно не означала, тем более что в такой решимости не раз расписывался и ген. Слащев.

Для утверждения отмеченного принципа он окружал себя соответствующими сотрудниками: в мае градоначальником состоит вместо Турбина уже Стогов, человек отнюдь не мягкий, упрямый, совершенно не разбирающийся в вопросах политики и мастер подчас крепко выругаться: он-то уж не даст поговорить! В июне на должность начальника гражданского управления (и таврическим губернатором) был назначен некий Тверской, бывший раньше прокурором Московского Окружного суда, а его помощником бывший директор департамента полиции Климович.

На-ряду с этим в правительстве Врангеля принимали участие такие яркие фигуры, как П. Б. Струве и Бернадский. Заместителем ген. Врангеля был назначен (не сразу) бывший министр земледелия Кривошеин.

Особенно обращает на себя внимание назначение Климовича.

По прошествии самого краткого промежутка времени оно стало приносить свои обильные плоды. Участились аресты часто ни в чем неповинных лиц. Бывшего городского голову Могилевского, содержавшегося долгое время под арестом при Слащеве и совершенно отстранившегося от общественной деятельности после своего освобождения, он упорно не выпускал за границу, пока, наконец, его не убедили в необходимости выдать разрешение.

Но позднее он раскаивался в том, что проявил слабость характера и таким образом выпустил его из своих рук.

Зато другого деятеля — товарища председателя городской думы (меньшевика) Канторовича, правда значительно позднее, он арестовал и посадил в тюрьму. Этот арест любопытен по сопутствующим обстоятельствам. Канторович чувствовал, что над его головой сгущаются тучи, изменил свою

внешность (обрил бороду и проч.) и скрывал свое местожительство. Лучшие друзья его были убеждены, что он спрятан надежно и недосыгаем. На деле оказалось не так. В самый день его ареста вызывают по телефону кого-нибудь из членов управы. Подхожу я. Живский голос. Говорит нервно, скоро, часто переребивает свою речь словами „Вы слушаете“, иногда и совсем на мгновение прерывает ее. Чувствуется на расстоянии, что разговор исходит из комнаты, в которой кроме говорящей, вероятно, никого нет, при чем говорящая, опасаясь, чтобы разговор не подслушали, ежесекундно прерывает свою речь и прислушивается. Из крайне беспорядочного, торопливого и краткого сообщения я узнал, что в этот же день предстоит арест Канторовича, что за ним наблюдает какая-то женщина, с виду похожая на горничную, и что желательно принять меры по предупреждению об этом Канторовича или его близких. Говорила, вероятно, какая-нибудь доброжелательница Канторовича и, весьма возможно, из самой контр-разведки. Хорошо зная Канторовича, я считал своим долгом сообщить о слышанном мною по телефону одному из его товарищей по партии, который сказал мне, что все меры приняты, он в полной безопасности. В действительности, несмотря на принятые меры, через два-три часа он был арестован и на автомобиле отвезен в тюрьму. Без всякого видимого основания он протомился в ней до тех пор, пока, наконец, ему не разрешили отправиться на пароходе в Грузию.

Таким было положение наиболее заметных фигур деятелей города. Я не говорю об арестах рядовых обывателей, не всегда попадавших в поле зрения общественного внимания.

Аресты — чуть ли не единственная сфера политики, в которой власть и население встречались. Другой формы участия последнего в политике не существовало. Городское самоуправление — обычно проситель и защитник арестованных.

Поводы же для соприкосновения между городом и властью возникали очень часто.

Для того, чтобы поводы эти стали понятными, необходимо остановиться на характеристике обстановки, в которой приходилось действовать городскому управлению, и хозяйственной политике, проводившейся им.

Прежде всего отметим, что еще раньше (в 1919 г.) после эвакуации Харькова в Крым хлынула целая волна беженцев. Сюда прибывали затем также из Ростова, Екатеринодара и Новороссийска. Крым и Севастополь в частности, никогда не видели у себя раньше такого скопления народа. Разместиться было очень трудно. В городе Севастополе было занято под жилье решительно все, что только можно было. Этого мало. Военные учреждения заняли три четверти всей сети городских школ, мужскую и женские гимназии.

Чрезмерное скопление жителей ухудшило санитарное состояние города. Сыпной тиф стал косить свои жертвы. В начале лета 1920 г. в Крыму начала развиваться холера.

При таких обстоятельствах для поддержания города в надлежащем виде нужны были достаточные средства. Между тем финансовое положение

города с установлением в Крыму власти ген. Деникина значительно ухудшилось. Беженцы привезли с собой денежные знаки, рассчитанные при выпуске их в обращение на значительно более обширную территорию. Наплыв беженцев в города привел к обесцениванию обращающихся в Крыму денег, к вздорожанию продуктов, к понижению уровня жизни широких масс населения и т. д.

Городское управление, с одной стороны, не имело возможности быстро приспособить свой аппарат к падающему рублю по разного рода формально-юридическим препятствиям, с другой — не могло усиливать приток средств в должной мере и потому, что население с большим, чем раньше, трудом могло уплачивать городу налоги и за получаемые от него услуги.

Таким образом, положение городских финансов и городского управления было крайне тяжелым.

Приходилось разрешать одновременно две задачи, трудно между собой согласимые.

Приходилось думать об изыскании средств и о рациональной поставке городского хозяйства, а вместе с тем о мерах хозяйственной помощи населению, насколько, конечно, последнее входило в компетенцию города.

В деле городских финансов к началу 1920 г. можно было наблюдать полное расстройство. Всякое соответствие между ростом расходов и доходов отсутствовало. По справке финансового отдела управы за время с 1918 г. по январь — март 1920 г. оценочный сбор вырос в 16 раз, сбор с увеселений и зрелищ в 22 раза, сбор с городских боен — в 14 раз, сбор с мелочной торговли в 48 раз, арендная плата с городских лавок — в 66 раз. В то же время расходы по содержанию служащих (наиболее крупная статья расхода) возросли в 112 раз. При чем самый рост этих расходов нельзя было не признать совершенно справедливым и законным.

Выйти из финансового тупика на первых порах без субсидий из казны было совершенно невозможно. Но не так-то легко можно было получать нужные средства.

Власти была совершенно непонятной наша психология, как настойчиво мы ни старались разъяснить ее им. В то время, как мы претендовали на эти ассигнования по праву, они считали, что дают их городу по милости. Совещание, специально созванное в гор. Севастополе из представителей городских управлений и земств Крыма по вопросу о расширении прав городского и земского самоуправления в отношении налогов, не привело ни к каким результатам.

Когда окончательно выяснилось, что в области налоговой ничего получить нельзя, тогда пришлось думать о реорганизации хозяйства. Проведена была во всех отраслях городского хозяйства точная калькуляция себестоимости, везде, где можно, не нарушая общественных интересов, повышены сборы за услуги, значительно была повышена арендная плата за пользование городскими лавками и т. д.

После двух-трех месяцев тщательной работы в этом направлении были получены реальные результаты: городской бюджет стал бездефицитным. Но наладить свое хозяйство и emancипироваться от правительственных дотаций удалось только к концу правления ген. Врангеля, т.е. примерно в августе — сентябре 1920 г.

Другая сторона городской политики Севастополя состояла в принятии мер содействия материальным интересам населения: была организована собственная городская выпечка хлеба и поставлено распределение его среди наиболее нуждающегося населения, было организовано снабжение молоком, в санитарных целях и в целях правильной подачи больничной помощи, были организованы санитарные попечительства, составлен проект положения об установлении единовременного чрезвычайного налога для борьбы с эпидемией холеры, составлен проект правил страхования всего городского населения на случай болезни, при чем больничные кассы предполагалось влить в соответствующий городской больничный аппарат и т. д.

Оба упомянутых проекта встретили возражения со стороны правительства и не получили движения.

Частым поводом для обращения к власти служила также реквизиция квартир. Вообще с реквизициями квартир обстоило все время крайне неблагоприятно. Совершалась какая-то вакханалия. Начальники квартирного отдела сменялись очень часто, и самое назначение их на эту должность производилось точно специально для того, чтобы каждое вновь назначенное лицо могло устроить себя и своих знакомых. Уже упоминалось выше, что школьные помещения в большинстве своем были заняты. Доходило дело до того, что занятия велись на открытом воздухе, на Историческом бульваре, в местах, открытых для гулянья, в квартирах преподавателей и т. д.

В середине августа 1920 года стало уже совершенно нестерпимо. В городе царил крайнее возбуждение в связи с реквизициями. 19 августа городская дума констатировала неправильные действия реквизиционной Комиссии и постановила послать делегацию к Врангелю, чтобы приостановить произвол администрации. Генерал Врангель вполне присоединился к точке зрения городской думы и назначил ген. Артифексова своим представителем по квартирным делам. Но, к сожалению, он не снабдил его достаточными полномочиями по отношению к квартирному Отделу. А администрация последнего находила для себя поддержку в сильном человеке — градоначальнике Стогове. Поэтому, как иногда ни старался ген. Артифексов, из всех его стараний ничего не выходило. Власть его была в сущности призрачной и население попрежнему основательно страдало от произвола тех, кто ведал реквизициями квартир.

Чрезвычайно характерным для правления ген. Врангеля можно считать также один небольшой хозяйственный вопрос, — это захват театра „Ренессанс“.

Одно из лучших по размеру и своему центральному положению в городе помещение, „театр Ренессанс“, принадлежавший городу и сданный в аренду частному лицу для эксплуатации, вдруг без всякого видимого основания был

назвачен (в буквальном смысле слова) группой национальных русских общин, во главе которой стоял редактор и деятельный сотрудник „Вечернего Слова“ Бурнакин. Казалось бы, это вопрос, входящий в компетенцию судебной власти. Надлежало в судебном порядке просто восстановить владельца в его законных правах и только. В действительности дело было значительно сложнее. Хотя приказа о реквизиции театра не существовало, но театр был захвачен с словесного разрешения Стогова, а затем это разрешение было, кажется, оформлено и письменно. Город считал своей обязанностью содействовать восстановлению арендатора во владении театром. Городскому голове неоднократно приходилось посещать разных лиц, получать от них согласие на улажение конфликта, но дело дальше не подвигалось. Наконец, городской голова посетил по этому поводу и ген. Врангеля. Он также обещал распорядиться относительно возвращения театра. Но и это не помогло. Стогов стоял на своем, и под его покровительством группа Бурнакина попрежнему чувствовала себя крепко в новом помещении. Так и не удалось получить театра обратно вплоть до конца дней ген. Врангеля.

Это кажется, на первый взгляд мелким фактом, но в действительности он не лишен и общего значения. В нем отражалось, как в миниатюре, отсутствие у администрации элементарного внимания к городским интересам и уважения к представителям города. К сожалению, этим недостатком обладала и почти вся военная корпорация, а из ее состава главным образом и набирался штат лиц, назначаемых на административные должности.

Для иллюстрации последнего утверждения приведу следующий инцидент.

Однажды, к городскому голове является в кабинет какой-то офицер. Он развязно садится на стул без всякого приглашения, кладет ногу на ногу и о чем-то (не помню именно о чем) просит. Городской голова в просьбе отказывает. Тогда пришедший начинает повышать голос и обнаруживает все более и более возрастающую требовательность, надевает фуражку и в таком виде пытается продолжать разговор. Городской голова был генерал в отставке. И зная, какие доводы могут оказаться для посетителя действительными, крикнул: „Да вы знаете, кто я. Я — генерал. А вы — рядовой офицер. Снять шапку. Как вы сидите. Встать. Потрудитесь выйти вон“.

Меня в кабинете во время этого инцидента не было. Но, услышав из соседней комнаты, что у городского головы делается что-то неладное, я открыл дверь и вошел в тот момент, когда пришибленная, пришедшая в полное замешательство от трусости и смущения фигура поспешно удалялась к выходной двери. Вместо какого-то городского головы (!) он встретил вдруг власть высшего в порядке иерархии и перед нею невольно стушевался.

Помимо перечисленных выше поводов для встреч представителей администрации и города необходимо упомянуть также дело относительно бельгийского общества по освещению и трамваям. Согласно договору, заключенному между городским управлением и названным обществом, городская управа имела право регулировать размер платы, взимаемой за освещение, а в связи с этим оказывать то или иное воздействие на ведение трамвайного хозяйства

Руководители общества с большой неохотой подчинялись такому контролю и с целью освободиться от него заручились поддержкой начальника управления Торговли и Промышленности Налбандова, поведение которого в этом вопросе определенно шло вразрез с интересами городского населения. Однако борьба продолжалась. Чем бы окончилась она в конце концов, если бы не произошло смены власти, трудно сказать.

Некоторое влияние оказывало городское управление на вывоз металлов. В сущности никакой внешней торговли в смысле правильно организованного товарообмена между Крымом и заграницей не существовало. Ввозилось преимущественно военное снаряжение и медикаменты. Вывозились продукты местного хозяйства (в ничтожном количестве) и металлы. Вывоз последних принял в одно время совершенно нехозяйственный характер. В городскую управу приходили руководители военного контроля и искали поддержки городского управления, дабы воспрепятствовать вывозу металлов. Рабочие порта также были резко против этого. Поэтому в комиссию по вывозу имущества порта был, с согласия власти, назначен представитель города (одновременно служащий порта).

Большое впечатление на администрацию и на население произвело убийство с.-р. Маркова, в котором были повинны начальник уголовного розыска Кривошеев и конвоиры Муженков и Самсонов. Марков был убит якобы при попытке к бегству. В действительности он побега не учинил, и убийство было совершено сопровождавшими его чинами уголовного розыска. Это дело долгое время замалчивалось, хотя администрации была известна истинная сущность дела, и только после настойчивых требований городского управления голос общественной совести возымел свое действие, и дело выплыло наружу. Состоялся 14—15 августа 1920 г. суд, приговоривший физических виновников убийства к 20 годам каторжных работ, а Кривошеева за недонесение к 4 месяцам заключения в крепости. Подробности имеются в газетных отчетах.

В общем к середине лета отношения между администрацией и населением еще более ухудшились. Недоверие друг к другу все более и более усиливалось.

Отражением этого было назначение ревизии дел Отдела Социального попечения. Уже и раньше ходили слухи о предстоящей ревизии дел городского управления.

Городское управление все время казалось инородным телом. Требовалось или удаление этого органа (почти хирургическое) или приспособление его к своим вкусам. На последнее при создавшихся условиях очень трудно было рассчитывать. А на операцию не хватало смелости: что скажут „союзники“. Поэтому избран был обходный путь.

Решили попробовать познакомиться сначала с той частью деятельности городской управы, в которой, по мнению градоначальства, скорее всего можно было найти прорезы и прегрешения. Отдел социального попечения, в ведении которого сосредоточивались большие денежные суммы, так как в эксплоа-

тация его находились театр и Приморский бульвар, был наиболее удобным для первоначальной ревизии. Кроме того, этот отдел казался оплотом меньшевиков, и разгром его имел бы с точки зрения власти большое значение. Несомненно, если бы такой разгром удался, он повлек бы за собой последствия хотя бы по одному тому, что, как потом оказалось, в числе служащих отдела были не только меньшевики, но и 2 коммуниста, вошедшие при смене власти в первый ревком, один в качестве председателя, а другой — члена его.

Очевидно, в градоначальстве имели правильное чутье, хотя и не обладали достаточным политическим умением и тактом.

Ревизия была назначена, и спецы от градоначальства начали работать. Но в процессе ревизионной работы выяснилось, что в деятельности отдела имелись лишь некоторые сравнительно второстепенные дефекты, все шло более или менее правильно, и никаких заделок для привлечения кого бы то ни было к суду отнюдь не имеется.

Таким образом, первый опыт не удался.

И тогда, вместо нащупывания и осторожных шагов, возник проект роспуска выборного состава городского самоуправления и замены его новым по назначению. Если бы это случилось, то исчезла бы для населения единственная отдушина — городская дума.

В этих условиях натиска и назревающей угрозы, в качестве средства самообороны, созрела мысль раскрыть природу власти перед французскими кругами, поддерживающими ген. Врангеля. Составлена была записка и секретно представлена верховному комиссару Франции на юге России графу де-Мартеллю. В составлении этой записки принимали участие наиболее ответственные городские деятели. Я не только не участвовал в ее составлении, но даже и не знал об ее существовании до тех пор, пока не услышал о ней со стороны. Я не видел текста ее и после. Но, конечно, содержание ее совсем не трудно было отгадать. В ней говорилось, конечно, об антидемократизме правительства ген. Врангеля, его монархических настроениях и может быть о том, что ген. Врангель не заслуживает поддержки французского правительства и французского общественного мнения, хотя эта поддержка и была ему авансом оказана.

Все обстоятельства, связанные с подачей записки, и самое ее содержание, должны были, по мысли инициаторов, храниться втайне. Между тем, неизвестно каким образом все стало известным ген. Врангелю.

Она произвела на него очень сильное впечатление и уязвила его в самое больное место. Его стремились лишить поддержки Франции. Конечно, было от чего волноваться. Он не мог удержаться от того, чтобы не заявить представителям печати, что он возмущен подачей этой записки и считает ее неуместной и бестактной, при чем назвал в качестве авторов записки городского голову и двух членов управы. Когда городской голова хотел по этому поводу с ним побеседовать, чтобы отвергнуть свое участие в этом деле, ген. Врангель в приеме отказал, добавив: „Если городской голова желает убе-

даться, пусть обратится к графу Мартелли и в поданной ему записке увидит свою подпись“.

Тем дело и кончилось. Городской голова не стал ходить к графу Мартелли убеждаться в авторстве.

Осведомленность ген. Врангеля казалась нам тогда просто поразительной. Трудно было допустить, чтобы граф де-Мартелль сознательно выдал авторов записки. Каким же образом записка могла стать известной ген. Врангелю? Если не произошло случайного и не прямого осведомления ген. Врангеля об этом со стороны графа де-Мартелли, то остается допустить, что в этом деле играло роль хорошо поставленное осведомление.

Записка характеризует финальный период власти ген. Врангеля, момент яркого взаимного расхождения власти и населения...

В это время приезжал из Парижа В. Бурцев. В задачу его, повидимому, входило внести примирительную струю в отношения между властью и населением, если возможно наладить их и создать известного рода контакт. Однако, в этом деле он успеха не имел.

Прохожу мимо таких вопросов „большой политики“, в которой городское управление не имело никакого отношения, как земельное, как экономическое совещание, безуспешно пытавшееся наладить финансы и государственное хозяйство и т. д.

Несмотря на видимые успехи, правление ген. Врангеля склонялось к закату, и чувствовалось в конце сентября 1920 г., что приближается момент трагической развязки. Только это странное время могло породить проект прот. Востокова итти против Советской России крестьянским ходом в надежде, что перед ним падут все стены, все препятствия. И только в это время высшее церковное управление могло серьезно и тщательно обсуждать подобной проект, полный наивности, чудачества и веры в возможность чуда.

„Чудо“ не приходило. А время близилось к концу. Прошли еще две, три недели и случилось то, что висело в воздухе над всем творчеством почти целого года и что неминуемо должно было случиться, так же неминуемо, как падает снег, идет дождь или ночь сменяет день.

VIII. Эвакуация.

Прорыв фронта стал известным в Севастополе уже в среду 28 октября по стар. стилю. На следующий день был отдан официальный приказ об эвакуации. В приказе говорилось, чтобы решались на эвакуацию лишь те, кто считает ее для себя необходимой, так как еще не обеспечено гостеприимство для эвакуирующихся ни одной страны и садящиеся на корабль, вероятно, будут принуждены жить некоторое неопределенное время на море. Возможность эвакуации была обещана всем, а для осуществления ее еще до издания приказа об эвакуации все пароходы, не исключая находящихся в частной собственности, были отданы в распоряжение лиц, которым была поручена посадка на пароходы.

Эвакуация отступающих войск была распределена по трем направлениям: на Ялту, на Феодосию и на Севастополь. Это помогло избежать слишком значительного скопления народа в каком-нибудь городе и сократило шансы на беспорядочность эвакуации.

Уже с вечера четверга (29-го) потянулись к графской пристани вереницы желающих попасть на корабль и расположились там в ожидании посадки. Посадка началась на следующий день и продолжалась и в субботу. Екатерининская улица была запружена извозчиками, повозками и людьми на значительной части своего протяжения. Трудно было протискиваться даже по тротуарам сквозь эту толпу людей. Среди этой массы эвакуирующихся можно было видеть большое разнообразие всяких положений. Там были не только военные, и не только лица, принимавшие какое-либо активное участие в управлении, но и люди самых разнообразных профессий, никогда не участвовавших в управлении и в войске ген. Врангеля. И напротив, часто люди которым для сохранения личной безопасности безусловно было необходимо уезжать, почему-то раздумывали, колебались, метались от уже принятого решения к тяжелым сомнениям, передумыванию и проч.

Во всяком случае город, на две трети состоявший в это время из населения пришлого, не коренного, находился в состоянии как бы нервной лихорадки.

Первое состояние усиливалось кое-где начавшимися грабежами и поджогами находившейся на пути к вокзалу мельницы Родоканак. Здесь помещались базисные склады военного ведомства и склады американского красного креста. На мельнице, несмотря на усиленный вывоз из нее продовольствия и обмундирования, находились еще огромные запасы всяких товаров. Пожар принял грандиозные размеры и, начавшись около 7 часов вечера 30 октября (ст. стиля) в пятницу, закончился лишь днем в субботу 31 октября. Одновременно с развитием пожара мельница подверглась разграблению, и немало жаждавших жизни погибло в огне.

Возникал вопрос о необходимости организации охраны города и населения и об обеспечении его продовольствием.

Надо определенно констатировать, что этими вопросами власть совершенно не интересовалась. Правительства уже с пятницы не существовало. Гражданское управление сидело на кораблях. Остались только военные, исполнявшие свою роль организаторов эвакуации до конца. Может потому, что они были заняты или по другим причинам, но мысль об остающемся населении была им чужда. Они думали только об отъезжающих.

Естественный представитель остающихся — городское самоуправление — вполне сознавало свои обязанности перед ним и поэтому решило войти в сношения с ген. Врангелем по вопросу об организации охраны населения и продовольствии. Так как городской голова был в это время в отъезде, ведение переговоров легло на меня.

В прошлом перед нами имелась аналогия: Крымское Краевое правительство, объявив в 1919 году эвакуацию, передало всю власть полностью городскому самоуправлению.

К чему нужно было теперь стремиться? Условия прежней и текущей эвакуации различались друг от друга очень серьезно. Крымское Краевое правительство было правительством по преимуществу гражданским. Оно в действительности не имело для себя военной поддержки. Поэтому, как только прорыв фронта в 1919 году стал совершившимся фактом (при наличии совершенно разложившейся армии), было совершенно целесообразной мерой передать всю власть городским самоуправлениям. Более того: вероятно— это было единственной возможностью. Другое дело— эвакуация войск ген. Врангеля. Здесь сохранялась военная организация в Крыму. Здесь гражданское правительство, прекращая свою деятельность, вполне заменялось на время военной властью.

Но первоначально городское самоуправление и не претендовало на передачу ему власти. Во всяком случае, отправляясь утром 30 октября, в пятницу, во дворец главнокомандующего для переговоров с ген. Врангелем, я должен был по поручению управы предложить организацию городской охраны населения лишь в виде подсобной к общей охране, для поддержания порядка в городе, но не для замены этой последней.

Во дворце, во дворе, я увидел какого-то генерала, без шапки, направлявшегося в соседний флигель.

Сославшись на то, что я представитель городского самоуправления и желал бы иметь беседу с ген. Врангелем, я просил его сообщить, к кому необходимо по этому поводу предварительно обратиться.

Вместо ответа на мой вопрос он отослал меня к Н. С. Долгополову, одному из членов последнего правительства Деникина, на том основании, что ген. Врангель поручил ему сношение со всеми общественными организациями.

Хотя я сомневался в возможности получить от Долгополова ответ на свои вопросы, но, полагая, что он по крайней мере окажет содействие к их скорейшему разрешению, я отправился искать его в Морское Собрание. Там я его не нашел и снова возвратился во дворец.

На последних ступеньках подъема на Чесменской улице я случайно встретил ген. Артифексова, так неудачно до сих пор справлявшегося с квартирными неурядицами в городе. Он был дежурным генералом. Я указал, что эвакуация проходит неизмеримо хуже прошлой (это мнение свое я потом изменил) и потому необходимо поручить охрану населения городу. Он согласился со мной и указал, что единственный человек, могущий устроить свидание с ген. Врангелем, это— ген. Шатилов. Когда меня привели к ген. Шатилову, я узнал в нем того генерала, который отослал меня к Долгополову. Я осведомил его о цели своего визита. На это он, повышая голос, сказал: „Да ведь я же вам сказал, что об этом надо говорить с Долгополовым. Зачем вы беспокоите главнокомандующего? Что вам вообще надо?“

Я ответил: „Я нахожусь во дворце, как представитель городского управления, и поэтому имею право быть в нем; пока главнокомандующий сохраняет за собой власть, он обязан разрешать все вопросы управления. Могу ли я надеяться в дальнейшем на корректность с вашей стороны?“

В ответ на это ген. Шатилов, сбавив тон, пригласил меня в свой кабинет (до этого объяснение происходило в канцелярии).

В кабинете беседа приняла более нормальный характер. Я сообщил, что городское самоуправление считает необходимым расширить полномочия управы в отношении обеспечения охраны и снабжения населения.

В виду этого следует разрешить городу организовать городскую охрану и принять серьезные меры к организации продовольствия населения.

„Охрану города вы главнокомандующий, вы я поручить городскому самоуправлению не находили возможным. Главнокомандующий за охрану порядка ручается. Кроме того, надо принять во внимание, что сюда прибывает целый корпус“, — ответил мне ген. Шатилов.

„Что же касается продовольствия, то я немедленно отдам приказ Государственному банку предоставить вам соответствующие суммы“, — продолжал он. Затем, на своем бланке Начальника штаба главнокомандующего он написал:

„30 октября 1920 г. Главнокомандующий поручает городскому самоуправлению принять меры к организации продовольствия населения. Государственному банку, по заявлениям самоуправления, оказывать содействие выдачей свободных сумм начальнику снабжения, передать в распоряжение самоуправления освобождающиеся запасы. Охрану города, командование принимает на себя ген. Шатилов“.

Я объяснил, что городской охраной не имеется в виду полностью заменить общую охрану. Кроме того, в городской охране встречается надобность еще и потому, что может оказаться промежуток времени между уходящей и новой властью.

На это ген. Шатилов заявил: „Промежуток этот не превысит одного часу“.

Все сказанное им меня не вполне убеждало, и я настаивал на беседе с ген. Врангелем.

На это он поспешил сообщить, что я напрасно добиваюсь свидания с ген. Врангелем, что он является его личным другом и оба они держатся одинакового мнения. В беседе с ген. Врангелем нет надобности.

Я продолжал быть настойчивым. Нехотя и лишь уступая моим настояниям, он поднялся на второй этаж в кабинет ген. Врангеля и через несколько минут возвратился, заявив, что главнокомандующий занят, принять меня не может и вполне согласен с написанным в приказе Шатилова.

На этом наша беседа окончилась.

Для полной характеристики всего описанного надлежит отметить, что инцидент имел место в тот момент, когда продолжительность власти главнокомандующего измерялась часами.

В тот же день (30-го октября) мое хождение во дворец было доложено в заседании городской думы, на котором присутствовали и представители профессиональных союзов.

После заслушания доклада было заявлено от имени исполнит. комитета профсоюзов, что исполнит. комитет решил предложить городской

думе обратиться к существующей власти с просьбой о передаче не только охраны, но и всей власти над городом целиком городскому самоуправлению. В иных условиях профсоюзы участия в охране города принять не могут.

Это предложение было принято, избрана делегация из 5 человек и поручено последней вновь немедленно же отправиться во дворец для переговоров.

Таким образом, городская дума в вопросе об охране заняла еще более радикальную позицию, чем та, на которой стояла городская управа (и а).

Делегация была принята ген. Врангелем только на следующий день (в субботу 31 октября), около 12 часов дня, когда представители города были вызваны для переговоров с ген. Врангелем, ген. Артифевым.

Ген. Врангель принимал делегацию в вестибюле дворца, заявив, что имеет для беседы не более 1-й минуты. Председатель городской думы пытался подробно осветить общее положение вещей, но тотчас был прерван ген. Врангелем, указавшим, что у него нет времени для подробных переговоров. Делегаты указали тогда на необходимость организации городской самоохраны в виду возможных эксцессов.

„Самооборону не считаю возможным допустить ни в коем случае, — сказал он в ответ. — „Большевистские элементы воспользуются этим, чтобы помешать эвакуации. Это недопустимо“.

На указание делегации относительно необходимости охраны в переходное время ген. Врангель решительно заявил: „Переходное время население ощущать не будет. Перерыва не будет. Я уйду лишь тогда, когда на улицах будут идти бои и когда последний солдат сядет на корабль“.

В то время происходил пожар на мельнице Родоканаки. Делегация указала на это, как на возможное начало грабежей и бесчинств, на что ген. Врангель заметил: „один смертный приговор я подписал, и если будет надо, я подпишу еще сто приговоров“.

Дальнейшие переговоры по практическим вопросам и недоумениям он предложил вести с ген. Скалоном.

С ген. Скалоном городское самоуправление сговорилось значительно скорее. Он заявил, что не имеет возражений против городской охраны, но желает, чтобы охрана начала свою деятельность, когда командование найдет это возможным. На этом и состоялось соглашение. Ген. Скалон предложил вести работу по организации самоохраны полным темпом и поддерживать с ними связь. Когда понадобится городская охрана, она может быть пущена в ход.

Ген. Скалон подошел к вопросу практически и по-деловому разрешил его.

Я остановился на описании переговоров между городским самоуправлением и командованием относительно охраны более или менее подробно, так как это были последние сношения населения и власти.

Всеми действиями по посадке на суда лично руководил ген. Врангель безостановочно разъезжавший между пароходами на моторной лодке и отдававший то там, то здесь приказанья. Аппарат, воспринимавший их, в точности и немедленно выполнял его волю. Видно было, как стихия беженства и отчаяния постепенно укладывается в определенные организационные рамки

*

и малолушие сменяется успокоением доверия. Эвакуация прошла с точки зрения технической более или менее удовлетворительно. Уже в субботу 31 октября все сидели на пароходах. И хотя отступающие части подходили еще весь день и всю ночь на воскресенье, но посадка производилась за городом у Стрелецкой бухты, без всякого замешательства и даже мало заметно для горожан.

Видимо в последний день эвакуации ген. Врангель понял, что по отношению к населению и к городскому самоуправлению он был не совсем прав. У него явилось желание поправить дело и, во всяком случае, покинуть город по-хорошему. Только этим можно объяснить его желание проститься перед отъездом с представителями города и вызов городской делегации для беседы. Представители города, еще накануне лишённые возможности говорить с ним или говорившие по заказу в течение буквально одной минуты, были приглашены ген. Врангелем. Все недоумевали — зачем. Никаких дел как будто уже не было. Оказалось — для прощания.

В это время ген. Врангель помещался уже в гостинице „Кист“ на Приморском бульваре.

Во встрече делегации чувствовалась некоторая приветливость, может быть даже вынужденная, сквозь крайнюю усталость.

Ген. Врангель указал на царское в городе спокойствие. А это подтверждает его мысль о преждевременности городской охраны и надежности военной.

Затем он сообщил, что пригласил делегацию специально для того, чтобы попрощаться с ней, как с представителями городского самоуправления, и просил передать городской думе прощальный привет.

„Я прошу вас, — продолжал он, — передать также городской думе, что дарю городскому самоуправлению 100 лошадей“.

В это время отступающие части бросали по пути своих лошадей, и они, бедняги, скитались голодные, а затем и падали от истощения. В городе бродили они по улицам и всякий мог присвоить себе их, как бесхозяйственную вещь. Но при общем недостатке фуража держать лошадей было невозможно. По той же причине городу трудно было кормить уже имеющихся у него обозных лошадей. Получив этот подарок, делегация не сочла возможным умолчать, что принятие его связано с очень серьезными практическими затруднениями.

После непродолжительного обмена мнениями по поводу второстепенных вопросов беседа закончилась.

Это была последняя встреча.

В воскресенье, когда уже все уезжавшие были на кораблях, произошло и своеобразное прощание армии с городом. Отряд юнкеров прошелся по улицам с пением:

„Гриней урд, лине юнкера,
„За матушку Россию,
„За русского царя“.

В ночь на понедельник власти уже не было. Город был предоставлен сам себе. Несмотря на это никаких эксцессов замечено не было: ушедшая власть в психике населения уже заменилась новой: чувство подчинения новому порядку возникло раньше, чем пришла фактически власть, его олицетворявшая. В эту осеннюю ночь можно было до осязательности ясно ощущать, что истоки государственности кроются в человеческой душе, что действие непонятных и загадочных сил, приведшее к фатальной развязке, проявляет свое действие и дальше, что одна из страниц русской истории перевернута.

Проф. А. В. Болдырь.

Думы о былом.

Георгий Гогелиа (Оргениани).

Телеграф принес скорбную весть о смерти одного из видных анархистов Георгия Гогелиа. Товарищ Гогелиа играл выдающуюся роль в русском анархическом движении. „Хлеб и Вольческое“ направление возглавлялось товарищ. Гогелиа. Тов. Гогелиа был широко известен в кругах французского синдикализма и имел значительное влияние на многих передовых рабочих синдикалистов. В его скромной квартирке в Париже часто можно было встретить французских рабочих, горячо обсуждавших основные вопросы тактики и теории. Здесь не место вдаваться в подробную оценку литературной и практической деятельности тов. Оргениани. Из его работ наиболее известны „Чикагские мученики“, „О революции и революционном правительстве“, „Откуда произошел революционный синдикализм“, „Об интеллигенции“ и целый ряд статей по теории и тактике классовой борьбы, помещенных в „Хлеб и Воля“, „Буревестник“, „Голос Рабочего“, „Рабочее Знамя“, „Рабочий Мир“, „Путь к свободе“. С особенной горечью приходится отметить пропажу многих рукописей, из которых наиболее ценной представляется критика парламентской демократии.

Георгий Гогелиа был первым основателем заграничной русской анархической газеты „Хлеб и Воля“. Позже он редактировал ежедневный анархический орган в Грузии. Два слова о характере литературной работы тов. Гогелиа. Принято думать, что тов. Гогелиа является ортодоксальным последователем П. А. Кропоткина. Это требует значительных оговорок. Уже в области теории тов. Гогелиа за последнее время стал отмежевываться от наивного материализма Кропоткина. Правда, этому наивному материализму тов. Гогелиа не противопоставил диалектический, а примыкал к эмпирио-критицизму. Даже несомненно блестящая работа Кропоткина „Великая Французская революция“ не совсем удовлетворила Гогелиа. Он согласился со мной, а раньше он ожесточенно спорил — в том, что даже здесь Кропоткину не удалось отчетливо выявить свое понимание массового творчества. В области тактики же тов. Гогелиа по существу резко расходился с Кропоткиным. Помню: в третьем номере „Хлеб и Воля“ была напечатана статья Черкезова по вопросам тактики, статья, пропитанная насквозь либерализмом. Статья вызвала возмущение левых и всех революционных анархистов. Можно было

бы предположить, что тов. Оргенани, как редактор, солидаризуется с этой статьей. Но дальнейшие статьи тов. Оргенани показали яснее ясного, что тов. Оргенани принимает классовую точку зрения. Тов. Оргенани не был марксистом, но он старался выявить ту сторону творчества Михаила Бакунина, в которой проявлялась классовая точка зрения. Не всегда, не во всем и не сразу тов. Гогелиа делал все практические выводы из классовых предпосылок, но в общем и в целом, в процессе своей работы от отмежевывался от либерального анархизма Черкезова и других.

Яснее всего, этот отход от Кропоткинской тактики проявился в период империалистской войны. Большинство анархистов переходит в лагерь империалистов; во главе этого течения, увы, стоит учитель и личный друг тов. Гогелиа П. А. Кропоткин. Горько, стыдно и мучительно Гогелиа за революционное знамя! Болезненно переживает он необходимость разрыва с Кропоткиным. Но Гогелиа безоговорочно переходит в лагерь интернационалистов и ведет вместе с нами непримиримую борьбу с шовинистическим угаром.

Тов. Гогелиа был революционным синдикалистом лучшего его периода. Приблизительно, в 1905-м, 1907-м г. французский синдикализм несомненно выражал революционное направление рабочих масс. Французский синдикализм боролся с парламентским кретинизмом и с вырожденцами-ренегатами реформизма. Буйно и бурно хлопотала и кипела жизнь в рабочих кварталах Парижа. Синдикализм пытался организационно оформить это массовое движение. Буржуазия трепетала в ожидании близкой социальной революции. Эрве, нынешний погромщик и лакей Пуанкаре, тогда щеголял анти-милитаризмом, талантливый интеллектуальный авантюрист Жорж Сорель пытался соединить марксизм с бергсонизмом и с вишневизмом. Характерно, что уже тогда тов. Гогелиа весьма скептически относился к Сорелю и явно не доверял Эрве. Но скоро, неожиданно скоро догорели огни и облетели цветы активной революционности французского синдикализма. И как только наметилась тенденция перерождения революционного синдикализма в нео-реформизм, тов. Гогелиа тревожно забил в набат. Приблизительно к этому времени относится ряд блестящих статей, помещенных на страницах американского „Голос Рабочего“. В этих статьях Гогелиа вскрывает ложь и беспринципность лозунга „Нам не нужен ни Бакунин, ни Маркс“, вскрывает тот факт, что под флагом единого синдикализма живут и сотрудничают не только различные, но и враждебные направления пролетарской мысли и тактики, дается анализ этих течений. Моя статья в „Рабочем Знамени“ о догматическом и критическом синдикализме была в рукописи тщательно просмотрена тов. Гогелиа и им целиком одобрена.

Недаром статьи Гогелиа и моя статья вызвали недовольство и резку, но несколько не убедительную критику, со стороны синдикалистов, меньшевиков.

Я ничего, увы, не могу сказать об отношении Гогелиа к борьбе между нами, „анархо-большевиками“, и анти-советскими анархистами. Знаю, что тов. Гогелиа переживал мучительный духовный кризис. Но важнее всего то, что злая и жестокая болезнь уже цепко схватила за горло тов. Гогелиа.

Мне рассказывал тов. Шатов об одном выступлении Гогелна на митинге. Народу в ленинградском цирке набралось множество. Все с нетерпением ждут выступления Гогелна. Гогелна берет слово, но мысль ему не повинуется... Мысль вспыхивает, но сейчас же как будто угасает... А между тем тов. Оргенани был оратором исключительной силы и мощи. Он „брал аудиторию“ не внешней формой изложения, не богатством образов, а цельностью, страстностью и убежденностью. Слушатели чувствовали, что перед ними человек, который знал „одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть“, — борьбу.

Еще в юности тов. Гогелна со скорбью наблюдал картину неравенства, лицемерия и яла буржуазного общества. С революционными теориями Гогелна не был знаком. Рано овладел им пессимизм. И вот тов. Гогелна, не подготовленный и не сформировавшийся, знакомится с пессимистической теорией Шопенгауэра. Ему кажется, что мир действительно арена мук и страдания, что счастье — иллюзия, равенство — несбыточная мечта, борьба, — бесплодная трата сил. Но это влияние длится недолго. Революционный темперамент, кипучая жизненность толкают его к практической работе. Тов. Гогелна знакомится с практикой и теорией революционной борьбы. Пессимизм уступает место боевому оптимизму.

Два слова о личности тов. Гогелна.

Есть люди, для которых мысли как будто бы только „надстройка“ над их личным бытием; между мыслью, переживанием и волей „колесо причинности не вертится“. Рассказывают о Сократе, проповеднике мудрости и покорения вожделений разумом, что его застали в обществе далеко не мудрой и вожделений несколько не преодолевшей гетеры. На вопрос: „Как совместить, Сократ, твоё учение с твоим поведением?“ мудрец будто отвечал: „У меня только голова Сократа. Во всем остальном, а не лучше других людей“...

Тов. Гогелна знал только, если позволено так выразиться, мысли, непосредственно связанные с волей и душевным укладом. Когда-то Струве послал упрек русской интеллигенции в том, что она — интеллигенция — превращает категории логики в вопросы совести. Этот „упрек“ целиком приложим к тов. Гогелна. Редко приходится наблюдать, чтобы вопросы отягченной мысли превращались в вопросы жизни и личного поведения.

Я жил с тов. Гогелна в Италии. Он тогда остро переживал кризис французского синдикализма. Но действительно, переживал как индивидуальную трагедию, как конфликт двух мотивов в собственной душе. Даже отдаленный вопрос о соотношении классовых сил, поскольку изменение в этом соотношении обязует к перемене тактики, все это Гогелна переживал как свою биографию.

Характерный, в этом отношении, эпизод рассказал мне редактор „Буревестника“ тов. Раевский.

Тов. Раевский встретил тов. Гогелна на одной из парижских улиц. Гогелна был встревожен и глубоко опечален.

„Зайдите ко мне, тов. Раевский, мне нужно с вами поговорить о чем-то очень важном“.

И было впечатление, что с тов. Оргемани приключилось что-то не доброе. Пришел. Тов. Гогелна был мрачнее тучи. Он явно волновался. И наконец сказал:

„Вот что Максим. Я за последнее время много занимался вопросами статистики. И я пришел к тому заключению, что пролетариат почти нигде не представляет сплошного большинства. Это означает, что пролетариату придется тащить за собою груз мелкой буржуазии и ремесленников.

Тов. Раевский согласился с этой возможностью и со всеми вытекающими отсюда тактическими последствиями, но все-таки не понимал тона скорби, смущения, почти личного несчастья, которым были пропитаны слова тов. Оргемани.

„Но ведь это означает страшное замедление темпа социальной революции! Это означает, что „на второй день“ мы должны будем заниматься мучительно-длительной „переваркой“ мелко-буржуазной публики, это означает почти вынужденная программа-минимум!..“

И тов. Гогелна умолял, упорно и горестно думая все об одном. Вот эта целостность, вот эта способность переживать проблемы темпа революции, как проблемы личной радости или горя, накладывала печать своеобразной страстности и фанатизма, столь неприятной людям холодненьким и умненьким.

Помню одно собрание в Женеве. Выступал Чернов. Оратор пытался дать очерк социологии эсэров, при чем игнорировал Кропоткина, как теоретика принципа взаимопомощи. Ему отвечал Гогелна. Казалось бы, вопрос довольно таки отвлеченный. Но Гогелна, у которого мировоззрение было единым, внутренне-спаянным, органическим целым, отрицал это деление на отвлеченные и конкретные вопросы, и в свой ответ он вложил столько огня, страсти, что слушатели были буквально захвачены.

Да, Гогелна знал „одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть“ — борьбу.

Борьбою жил и к борьбе призывал умерший тов. Георгий Гогелна. (Оргемани).

Имя его не будет забыто победившим пролетариатом.

И. С. Гроссман-Рошин.

Библиография.

Т. Шевченко. Дневник. Редакция, вступительная статья и примечания И. Я. Айзенштока. Издательство „Пролетарий“ (Харьков). 1925, 6° XXXI+289 стр. Цена 2 р. 20 коп.

Наконец „Дневник“ Шевченка дождался нового и притом полного издания, достойного и этого замечательного памятника, и самого поэта, его автора! Издание исполнено ревностным шевченковедом И. Я. Айзенштоком со всем вниманием, которого заслуживала поставленная им себе задача, и во всеоружии потребных для того познаний. Текст „Дневника“ писанного, как известно, на русском языке (за очень малыми исключениями отдельных фраз и выражений), напечатан по новой орфографии; на русском-же языке напечатаны и предисловие и все примечания; но документы (письма), введенные в текст примечаний и писанные на украинском языке, — переданы в подлинной орфографии; с правильностью всех этих приемов нельзя не согласиться. Наконец, следует сказать, что издание снабжено подробным именным указателем, вполне необходимым в подобного рода книгах, и что оно украшено рядом воспроизведений с портретов самого Шевченка (отметим любопытный, впервые опубликованный автопортрет, исполненный в 1849 г. в Оренбурге) и других лиц, зарисованных поэтом — художником (М. М. Лазаревского, М. С. Щепкина, К. А. Шрейдерса, супругов Зигмунтовских (?), Герцена) и вида Новопетровского укрепления, в котором столько лет томился Шевченко под солдатской шинелью; со стороны технической эти воспроизведения, правда, оставляют желать многого, но все же дают хорошую иллюстрацию к некоторым моментам „Дневника“. Текст „Дневника“ охватывает время всего лишь в 13 месяцев — с 12-го июня 1857 до 13-го июля 1858 г. и в печатном издании занимает только 164 страницы, — но внутреннее богатство этого памятника изумительно. Прежде всего, — это драгоценный и надежнейший источник биографического значения, сообщающий в подкупающе-искреннем и откровенно-бесхитростном изложении автора все факты его внешней и внутренней биографии за целый год, в течение которого в жизни его произошли такие важные события, как освобождение из ссылки, житье в Нижнем-Новгороде с эпизодами любви к Е. Б. Пшумовой, пребывание в Москве и, наконец, долгожданное возвращение в Петербург. Нельзя без щемящего чувства читать, с каким томлением ожидал Шевченко разрешения покинуть свою „тюрьму“ — Новопетровское укрепление, в котором ему, как рядовому солдату, приходилось терпеть жестокие унижения и даже оскорбления от местного, грубого подчас пьяного офицерства (стр. 1, 18—20, 32 и др.) и всякого иного начальства, от смотров и т. под.; страх постоянной зависимости от этого начальства преследовал его до такой степени, что он и во сне иногда пугался своего ефрейтора или капитана (стр. 77, 86). Его протестующая натура связывается в постоянной нескрываемой несправедливости к Николаю I, которого он, вслед за Герценом, называет „Тормазом“ и „неудобозабываемым“ (стр. 77, 79, 82, 87, 94, 109, 126, 136, 154); рассказывая про слышавшую им игру скрипача-самоучки, он слышит в ней „стоны поруганной крепостной души“ (стр. 73), которая и в нем самом так часто возмущалась против тупого барства (стр. 80), и царей (стр. 80—81), вызывая сочувственный вопль за „смердов“ (стр. 79, 93), симпатично к революции (яко Барбье „Собачий

мир" в переводе Бенедиктова (стр. 86—87 и 88—90), к „славному рыцарю“, „коммунисту“ Ст. Разину (о котором он сообщает любопытную легенду, стр. 75); восторгаясь Герценом (стр. 103 и др.), благоговей перед декабристами, с которыми сталкивает его судьба (Анненков, Волконский, Штейнгейль, — стр. 105, 144, 161). Читая „Дневник“ отдаешь должное силе духа поэта, его выдержке, способности бороться с окружающим злом и при всем этом сохранять не только ясность души, но и природный юмор и любовь к людям, и стремление к творчеству. Как тонко наблюдательны его характеристики, напр., суругов Зигмунтовских (стр. 22—23), солдата — украинца Скобелева (стр. 33—34), поэта и пушкинского приятеля Аркадия Родзянко (стр. 35)! Как жив рассказ о столкновении тестя с зятем, — в виде водевиля (стр. 6, 31); сколько чистомалороссийского юмора в его рассказах об Афанасьеве Чужбинском (стр. 26—27); о кавалергарде Апрелеве, с которого он писал портрет (стр. 27—28); как остроумно Самара названа им „первой гильдии отроковидей“ (стр. 79); как любопытно описание Астрахани, сколько видно при этом наблюдательности и изумительной любознательности (стр. 65—71), как легко наблюдение о нелюбви великорусского престяжника, в противовес украинцу, к зелени и вообще к природе (стр. 43)! Но всех блесков гениального ума, рассыпанных по страницам этого интимнейшего „Дневника“ не перечтешь: они встречаются поминутно, поражая читателя на каждом шагу. „Дневник“ интимен в высочайшей степени, — в этом его особенная ценность. Мы узнаем сокровенные думы Шевченко, его взгляды — на свое поэтическое призвание (стр. 25), на вдохновение (стр. 35), на вопросы философские (стр. 30); он предается мечтам о будущей судьбе своей (стр. 16—17, 35), изливает любовь к своей „прекрасной, бедной Украине“ (стр. 7, 25, и др.), вспоминает эпизоды своей прежней жизни, высказывает суждения по вопросам литературным (о Державине — стр. 85, об Островском и Л. Толстом — стр. 98, 99, 118), художественным, дает отзывы о своих знакомых и т. д. и т. д. Он сам сознает, еще сидя в Новопетровском укреплении, в ожидании свободы, что, случайно начатый, его „Дневник“ оказался очень удачным начинанием, сделавшись для него „в эти томительные дни ожиданий“ столь же необходимым „как стражушему врач“, — и мы должны лишь согласиться с мнением редакции „Основы“, в которой еще в 1861—1862 гг. впервые были опубликованы отрывки из „Дневника“ Шевченко. „Дневник“ этот „драгоценен по своей правдивости, простоте, искренности и по автобиографическим подробностям... Шевченко как поэт, художник и человек, полнее всего высказывается в „Дневнике“. Кто внимательно прочтет его, от начала до конца, тот сразу составит себе живое представление об этом гениальном явлении и не только будет удивляться ему, пораженный многосторонностью ума и сердца этого дивного самоучки, широтой и истинностью его взгляда на жизнь и искусство, но и полюбит его, как человека. Ценности „Дневника“ в биографическом отношении вполне соответствует, как указывает на то в своем предисловии И. Я. Айзеншток, — и литературная его ценность: в нем найдется немало важных данных для характеристики психологии творчества Шевченко, в частности, — для суждения о процессе его творчества, о тех путях, которыми шла его мысль в работе над интересовавшим его сюжетом; найдутся указания на то, что поэт читал, какие суждения он слышал, с кем сталкивался и какие влияния испытывал. Не менее велика ценность „Дневника“, как литературного произведения определенного жанра; на последней стороне „Дневника“, как памятника литературного, редактор оставившись в предисловии с особенною подробностью (стр. XXIV—XXX), справедливо отмечая, что если „Дневник“ Шевченко изучен в значительной степени, как библиографический документ, и отчасти, как документ историко-литературный, то задачей дальнейших исследователей должно явиться изучение Дневника, как литературного произведения.

Прикличания редактора, которыми объясняется текст „Дневника“, исполнены И. Я. Айзенштоком с исчерпывающей щедростью и полнотой, не оставляя необъясненным почти ни одного места, нуждающегося в объяснении для рядового читателя (стр. III); и не столько в упрек ему, сколько в дополнение укажем, что следовало бы сказать хоть что-нибудь

об упоминаемых Шевченко В. Н. Погожее — поклонник поэта (стр. 125), Ю. В. Смирновой (стр. 147), Порценок (стр. 13 и др.). Из них Василий Николаевич Погожев (род. 1802, ум. до 1866 г.) — был майор путей сообщения, в 1857 г. — член Общего Присутствия V Округа путей сообщения в Ярославле; он оставил очень интересные воспоминания, напечатанные в „Историческом Вестнике“ 1893 г. (№№ 6 — 10); отец сосланного Порценок, — Антонов Иванович, состоял в 1857 г. причисленным к министерству государственных имуществ, но за что построжал сын его, нам неизвестно. Упоминаемые Шевченко Дороховы (стр. 27 и 108 и др.) — две разные личности: первая — вдова героя Отечественной войны, звалась Авдотья Яковлевна и была, рожденная Протасова; она умерла 25 апреля 1849 г., 58 лет, в Чернигове, где видывал ее Шевченко и где она погребена в соборе Троицкого монастыря; вторая, у которой часто бывал Шевченко в Нижнем-Новгороде в 1857 — 1858 гг., — была вдовой А. Я. Дороховой сына Руфина Ивановича (Долохов у Льва Толстого), звалась Марья Александровна и была дочерью А. А. Плещеева, приятеля Жуковского, который принимал участие в судьбе и ее самой, и ее мужа; об этом см. подробно во II томе известного нами „Архива Раевских“, стр. 241 — 242 и 413 — 414, где приведены довольно подробные сведения о М. А. Дороховой (ум. 1867), которая собиралась было выйти замуж за декабриста П. А. Муханова. По поводу упоминаемого Шевченко „вездесущего, вечного жидо брехуна Элькана“ (стр. 148) следовало бы сказать, что этот курьезный и сомнительной репутации человек звался Александром Львовичем (он умер в 1868 г.), был журналистом, либреттистом, переводчиком; о нем можно найти много сведений в разных мемуарах; его биография написана Н. О. Лернером (см. „Русск. Стар.“ 1908 г. № 12, стр. 607 — 613), а современная характеристика находится в сб. „Пушкин и его современники“, вып. XXIX — XXX, стр. 108 — 110. О смешном толстике — кавалергардском полковнике Василии Петровиче Аврелеве (стр. 27 — 28) можно узнать из IV тома Сборника биографии кавалергардов (С.-Пб. 1908, стр. 94 — 95), где помещена о нем биографическая заметка (род. 1805, ум. 1855), портрет и карикатура. Следовало бы сказать несколько слов об известном художнике-портретисте Зарянке (стр. 40), которого Шевченко назвал „Зарянко“, а редактор смешал с автором Н. Зорянкою (стр. 170); можно было бы дать больше сведений и о художнике Михайлове (стр. 177), как товарище Шевченка, о котором он не раз упоминает. По поводу М. С. Кржисевич сошлемся на нашу заметку о ней по поводу писем Глинки к А. П. Керн, — в сб. „Музыкальная Летопись. Статьи и материалы под ред. А. Н. Римского-Корсакова“, изд. Мысль, Пгр. 1923, стр. 49, и укажем, что краткий некролог ее помещен был в „Русской Музыкальной Газете“ 1905 г., № 18, стр. 535; из него видно, что эта интересная женщина умерла в мест. Сенца, близ Полтавы, 28-го марта 1905 (а не 1906, как напечатано в „Музык. Летописи“), около 80 лет от роду. Наконец, укажем, что по поводу упомянутого на стр. 67-й Шевченко грека Варвараца, устроителя канала в Астрахани, следовало бы сказать, что поэт ошибся в написании имени этого мецената и что это был грек-миллионер Иван Андреевич Варваца (род. 1750, ум. 13 янв. 1825; его биографию можно найти хотя бы в старинном Энциклопедическом Словаре Плюшара); точно так же следовало бы оговорить, что „декабриста“ Персидского, упоминаемого Шевченко (стр. 151), не существовало, и что поэт в чем-то ошибся, т.-е., что встреченный им старый декабрист звался не Персидским, а как-либо иначе; однако мы не нашли в отделе примечаний следовавшей к этому имени ссылки 313-й, как не нашли еще примечаний за №№ 111 и 112 (стр. 206). Впрочем, как мы сказали, мы не ставим всех этих небольших промахов в упрек И. Я. Айзенштоку, ибо проделанный им труд велик и исполнен с полным знанием дела и с очевидною любовью; маленькие же промахи эти лишний раз подтверждают старую истину, — что не ошибается только тот, кто ничего не делает, при следующем издании „Дневника“ Шевченка все указанное нами, без сомнения, было бы исправлено и самим автором, работы которого вообще очень тщательны.

Б. Медведовский.

Декабрист М. М. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири. Редакция и биографический очерк С. Я. Штрайха. Москва. Всесоюзное Общ-во политкаторжан и ссыльно-поселенцев. 1925.

Близится столетие с того времени, когда на Сенатской площади, по царскому приказу, батарея артиллерии в тусклых сумерках зимнего дня 14 декабря нещадно косила из пушек „матешников“, поражая картечью бегущий народ... В связи с этим, естественно, множится литература о декабристах, основоположниках борьбы с деспотическим строем. Сто протекших лет не только не ослабили интереса к этим рыцарям духа и дела, а, напротив, в значительной мере его повысили и закрепили. Литература о декабристах — обширна. При всем том, каждая новая попытка осветить духовные образы того или иного из этих воодушевленных свободой деятелей Александровской эпохи представляет бесспорное и неотъемлемое значение.

Ив. Ив. Пущин, товарищ и ближайший друг Пушкина по Царскосельскому Лицею его первого блистательного выпуска, прошедший тридцать лет в сибирском изгнании и заточении, занимает в этой галерее свое особое место. Он даже по отзывам людей такого образа мыслей, как Н. И. Греч, являлся покровителем угнетенных, гонителем неправды, человеком благородных, добродетельных порывов, „память об уме, сердце и характере которого не исчезнет навеки из глубины души"... Он оставил задушевные и колоритные записки о пленительных лицейских годах в общении и дружбе с величайшим нашим поэтом, который считал его, Пущина, своим первым, бесценным другом. Эти записки, начатые еще в Сибири и завершенные в конце пятидесятых годов, впервые обнаружены были в значительной своей части Е. И. Якушкиным в „Атенсе“ в 1859 г., позже в несколько дополненном виде — Герценом в „Полярной Звезде“, Л. Н. Майковым, за исключением последних страниц — в 1899 г., при чем первое полное издание их с подлинной рукописи появилось лишь в 1907 г. Документ эпохи, эти записки замечательны тем, что в них с необычайной ясностью, правдивостью и простотой отразился на фоне тогдашней лицейской жизни облик как самого Пущина, так и гениального нашего поэта; и, не смотря на давность лет, нас от них отделяющую, записки эти сохранили живой, можно сказать, поэтический интерес. — Постановлением Комитета Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев по празднованию столетнего юбилея восстания декабристов и изданы эти записки и письма Пущина из Сибири, сопровождаемые историко-биографическим и библиографическим комментарием, С. Я. Штрайха; ему же принадлежит и биографический очерк, в котором с чувством неподдельной любви и пиетета рассказано про взаимоотношения лицейских друзей Пушкина и Пущина, про юношеские годы Пущина, про его общественно-политическую деятельность, про его пребывание в Сибири и возвращение в Россию. Письма Пущина, из которых большая половина публикуется здесь впервые, еще интимнее сближают с духовной личностью этого исключительной души и литературной одаренности человека. Нет необходимости останавливаться на этих письмах подробно: и в основном, и в деталях, как в записках, так и в письмах — Пущин все тот же. Но эти письма, значительное большинство которых, как уже было отмечено, появляется здесь впервые, все же дополняют, так сказать, дорисовывают знакомый портрет. В этом же смысле надобно сказать и про напечатанные здесь извлечения из показаний Пущина по делу о восстании 14 декабря — „И. И. Пущин в процессе декабристов“. Здесь приводится как первое показание, данное им тотчас по доставлении его в Алексеевский равелин так и последующие его ответы следственной комиссии. Эти показания еще раз с полной отчетливостью вызывают в сознании благородную тень, героический образ того, кто по приговору, впоследствии измененному, верховного уголовного суда, включен был в рубрику „государственных преступников первого разряда, осужденных к смертной казни отсечением головы“...

Таковы материалы, из которых составила эта привлекающая живое внимание книга: здесь сгруппированы ценные по своему значению факты, отображены пылкая, возвышенная душа и ясный, светлый ум, встающие на озаренных мыслью и отвечающих

умиротворенной грустью страниц. Новое в книге — в эпистолярной ее части. Но подбор материала, тщательно проверенные и прокомментированные тексты, любовное отношение к излагаемому, рисуют в конечном итоге образ, — образ одного из „великой передовой фаланги вождей“, как писал Герцен в „Колоколе“ при известии о кончине в его подмосковной деревне Ив. Ив. Пущина.

М. Королюцкий.

Новые книги по истории крестьянских волнений.

В наше время, когда трудящиеся массы властно выступают на арену истории и громко заявляют о своем праве и желании творить новые общественные формы, интерес к их истории сильно обострился. В частности, обострился интерес к истории борьбы трудящихся за лучшие общественные и политические формы, за лучшие условия своего существования. Пусть эта борьба в прошлом иногда была мелка, мало заметна, пусть она была мало сознательна, а порою являлась лишь стихийным выражением народного протеста против насилия и гнета или выражением его гнева и отчаяния, но все-таки как сами трудящиеся массы, так и все те, кто чутко прислушивается к их грозной поступи на исторической арене, с жадностью всматриваются в проявления активной воли и протеста этих масс в прошлом.

К сожалению, до последнего времени история трудящихся в России было посвящено сравнительно мало внимания. Если отдаленные века и подверглись некоторому изучению, то про XVIII и XIX этого сказать нельзя. Правда, последние 10-летия XIX в и XX век изучались у нас довольно внимательно, и положению трудящихся в эту эпоху посвящены многочисленные исследования, в особенности статистико-экономического характера. Но нельзя того же сказать об истории трудящихся в XVIII и первой половине XIX века. Для XVIII века, да и то только для второй половины его, много сделал незабвенный историк русского крестьянства В. И. Семевский, но история крестьян 1-й половины XIX в. еще ждет своего исследователя. То, что сделано в этой области, есть лишь ничтожные крохи того, что еще нужно сделать здесь. В. И. Семевский много сделал для истории крестьянского вопроса указанной эпохи, но ему не пришлось проработать историю быта крестьян, проделать ту громадную кропотливую работу, которую он сделал по отношению к крестьянам в эпоху Екатерины II. Многие исследователи делали более или менее серьезные экскурсии в историю экономического развития России той эпохи, в частности, в историю помещичьего хозяйства, в историю обрабатывающей промышленности, останавливаясь в связи с этим и на положении трудящихся, но изучения специально истории трудящихся масс России той эпохи не было или почти еще не было.

Еще менее сделано для изучения истории борьбы трудящихся за свое экономическое и политическое освобождение. Здесь уже приходится отмечать отдельные островки изученного или лишь намеченного к изучению. По истории волнений трудящихся в 1-й половине XIX века кое-что сделал все тот же В. И. Семевский, очень немного — Аваляни, еще 2—3 исследователя, и больше, пожалуй, не на ком остановиться. Есть ценные местные исследования, есть некоторый запас мемуарной литературы, кое-каких корреспонденций в легальной и нелегальной периодической литературе, но все это разбросано, разобщено и ждет еще обобщающего исследования.

Впрочем, следует сказать, что и объективные условия для исследования борьбы трудящихся за освобождение были до последнего времени крайне тяжелы. Богатейшие архивные материалы лежали под спудом, и проникнуть к ним можно было зачастую с большими затруднениями. Со времени революции работа над историей трудящихся значительно облегчилась. Двери архивов распахнулись для этих целей. На архивный материал по истории труда набросились с большою жадностью. Появилось много мелких исследователей, которые погрузились в изучение архивных дел. К сожалению, не все они являются работниками, надлежащим образом подготовленными. История тру-

давшихся подверглась новой опасности со стороны проникновения в ряды исследователей лиц с недостаточной научной подготовкой. Поэтому, горько приветствуя появление новых работников над историей трудящихся, приходится внимательно и критически относиться к их историческим работам.

Указанное оживление интереса к истории трудящихся вызвало появление целого ряда периодических и непериодических изданий, книг, брошюр, статей, посвященных вопросам по истории труда. В частности, по истории борьбы крестьян за свое освобождение мы имеем за последние годы крайне ценные материалы, о крестьянских волнениях XX в. (изд. Центроархива) и ряд книг: 1) П. П. Маслов „Крестьянские движения“ (Москва, 1923 г.). 2) Проф. Пичета „История крестьянских волнений в России“ (Минск 1923 г.). 3) Елена Коц „Крестьянские движения от пугачевщины до 1905 г.“ (Ленинград, 1924 г.). 4) И. Игнатович „Борьба крестьян за освобождение“ (Ленинград, 1924 г.). 5) Флоровский „Воля, панская и воля мужицкая“. (Одесса, 1921 г.). Из этих книг наиболее благоприятное впечатление производит книга Флоровского. Правда, это небольшое исследование местного характера и касается только первых годов после освобождения крестьян (волнения в Новороссии от 1861 — 1863 г.), но материал в книжке проработан хорошо, и книжка является небольшим, но ценным вкладом в скудную литературу по истории крестьянских волнений. — Книга проф. Пичета, не более, как популярный компилятивный очерк, при том на спех составленный по сборникам. Но в ней есть ряд извлечений из архивных дел Московского Дворянского Депутатского собрания за 50-е годы XIX столетия. Эти извлечения, сделанные очень подробно, к истории крестьянских волнений имеют мало непосредственного отношения, но они ценны для истории крестьян вообще. Книга Маслова, представляя собою перепечатку части его книги „Аграрный вопрос в России“, ничего нового не дает. Книга Е. С. Коц сама по себе представляет мало научного интереса, являясь также лишь популярным компилятивным очерком. Но так как сам автор придает своей книге научное значение, указывая во введении, что некоторые части книги („вопрос о побегах и отчасти о крестьянских волнениях“ эпохи Николая I) написаны по новым архивным материалам, „предварительно обработанным“ автором в статьях, помещенных в „Архив истории и труда России“ (№ 5 и 9) и в „Русском Промысле“ (№ 2), то приходится говорить подробнее, как о книге, так и о ее статьях, и произвести оценку их с научной точки зрения. Это тем более нужно сделать, что Е. С. Коц принадлежит к числу именно тех историков-архивистов, которые появились в революционное время, как результат расширившейся возможности работать в архивах.

Е. С. Коц сильно ошибается, полагая, что ее статьи о крестьянских волнениях¹⁾ основаны на новых архивных материалах. Те архивные дела, которые она просмотрела для статей, уже давно проработаны автором данной заметки, и выводы из них вошли в те самые статистические данные, которыми она оперирует в своей книге и о которых упомянула в одной из своих статей.

В отношении же „обработки“ этих материалов статьи Е. С. Коц доказывают ее неумение обращаться с архивным материалом и его обрабатывать.

Прежде всего, совершенно недопустимо делать какие бы то ни было выводы на основании нескольких архивных дел о крестьянских волнениях, которые побывали у нее в руках (всего 8 дел).

Во-вторых, незаметно, чтобы она делала критическую оценку документов, применяла сопоставление их, сравнение и т. д. Е. С. Коц, видимо, брала одно из донесений, наиболее крупных, и перелагала его, доверяя на слово николаевским чиновникам в их объяснении причины волнения и всех обстоятельств дела. Не видно, чтобы она была в курсе мемуарной и иной печатанной литературы, в которой она могла бы почерпнуть сведения и о тех волнениях, о которых пишет. Она, повидимому, считает достаточным знакомство только с одним архивным делом, не ведая, что претендующий

¹⁾ См. „Русское Прошлое“ № 2 и „Архив истории и труда в России. № 9.

ан обработки архивного материала обязан быть в курсе печатного материала по тому вопросу, о котором пишет; неведомо ей, очевидно, и то, что при обработке архивного материала приходится делать иногда и побочные изыскания архивного и иного характера, порываться иногда в том же, иногда в другом архиве, имеющем связь с изучаемым делом. Помимо этого Е. С. Коц допускает ряд неточностей при самом изложении тех дел, которые у нее имелись на руках. Мы имеем полное основание сказать, что те архивные материалы, на основании которых написаны статьи Е. С. Коц я не новы и не обработаны автором.

Чтобы не быть голословной в своем отзыве о работах Е. С. Коц, остановлюсь подробнее на некоторых делах. Возьмем хотя бы волнение крестьян помещицы Брекшиной, принадлежавших до того Макининой. Е. С. Коц излагала его по делу департамента полиции исполн. мин. внутр. дел за 1835 г. №360; а между тем в том же центральном архиве мин. внутр. дел о тех же крестьянах имеются дела в департаменте полиц. исполн. за 1830 г. № 420 и в департаменте общих дел (о свободных хлебопашцах) за 1828 г. № 368 и за 1831 г. № 435. Е. С. Коц, не потрудившись порываться в архиве и поискать добавочные сведения, имела таким образом в своем распоряжении неполные сведения, что отразилось, конечно, и на ее суждениях о крестьянах. Между прочим она называет права крестьян на волю „мишными“, между тем по существу и по смыслу закона крестьяне имели основание надеяться на успех своего иска о воле. Не поставив его в связь ни с развитием законодательства о свободных хлебопашцах ни с другими делами об исках крестьян об увольнении в свободные хлебопашцы, Е. С. Коц признает за крестьянами только „жизненную правду и справедливость“ и отрицает „правду формальную“. Но недаром начальник 1 отделения департ. полиц. исполнит., ставший потом чиновником мин. внутр. дел по особ. поручениям, Баранов, взялся за это дело и настойчиво вел его. В деле, которое было в руках Е. С. Коц, сохранились его замечания и указания, что дело крестьян Макининой могло принять другой оборот, если бы к ним относились более внимательно и беспристрастно, как то было с крестьянами Рычкова. Е. С. Коц не учла также экономического момента в волнении 1835 г., жалоб крестьян на управление, тяжесть оброка, разоренность и меры помещика к их облегчению, которые, видимо, были приняты, когда на их положение обратил внимание министр внутр. дел. Изложение хода самого волнения, которое, является собственно переложением 1—2 донесений губернатора Суковкина, сделано довольно правильно. Нужно заметить лишь что волнение по ошибке отнесено к 1834 г. (стр. 83), между тем как выступление крестьян произошло в январе 1835 г. Самое столкновение крестьян с губернатором изложено довольно полно, хотя и с некоторыми неточностями. Непонятно почему Е. С. Коц не сочла нужным даже упомянуть, что крестьяне были преданы военному суду, по приговору которого 6 человек были прогнаны сквозь строй через 100 чел. в раз и отданы в военную службу, в арстантские роты или в Сибирь на поселение, смотря по годности; 22 человека должны были получить по 50 ударов розгами с отдачей в военную службу или ссылкой в Сибирь на поселение тех из них, которых помещица не желает принять в именные.

Неверно изложено и дело крестьян гр. Борха. Дело это глубоко любопытное для психологии казенных крестьян, какими по существу были крестьяне гр. Борха, собственно не может служить примером борьбы помещичьих крестьян. Здесь велась борьба против закрепощения, а не за освобождение от крепостного ига. Ведь только в 1840 г. Государственный Совет окончательно признал „Яноволь собственностью гр. Борха, так что яновольские крестьяне не могут считаться „закрепощенными сравнительно недавно крестьянами, еще сохранившими память о своей волюности“, как то говорят Ел. Коц (стр. 80). Это скорее казенные крестьяне, хотя и бывшие арендными но хорошо знающие, что они все же казенные; 1840 г. это были только что закрепощенные крестьяне. Ел. Коц совершенно несответственно действительности говорит, что гр. Борх начал „присвоение“ имения с 1778 г. (стр. 85); Яноволь не был „присвоенным“ гр. Борхом (стр. 80—85). Вопрос о Яноволе был спорным, восходил до

вопроса о правах польской короны, о надукновом праве, и вопрос этот решался в свое время различно в правительственных инстанциях. Гр. Борх был лишь одной из заинтересованных сторон и стоял на одном понимании этого вопроса, а другие разрешали его иначе, считая что за гр. Борхом нельзя признать права вотчинного владения Яноволем. Ошибочный взгляд Ел. Коц на дело крестьян гр. Борха получила опять-таки потому, что она принимала без критики слова донесений и не пыталась разыскивать однородных дел в архиве. Как и в мяхнинском (крекминском), деле Ел. Коц пользовалась только одним архивным делом. А если бы она заглянула в дело № 289 за тот же год того же департа. полиц. исполн. (о неповиновении крестьян старосте людинской законной власти), то почерпнула бы больше сведения о деле и не судила бы о нем односторонне. Указание на присвоение Яноволем гр. Борхом в вотчинное владение, присвоение, начавшееся в 1778 г. взято буквально из представления Атренькова от 28 сентября 1874 г. ген.-губернатору Дьякову. Но все выражения Атренькова не значат еще, что он излагал истинное положение дела. Зная дело № 289, заключающее в себе сведения о волнении яновольских крестьян в 1836 г., Е. С. Коц больше разобралась бы и в причинах волнения, и в психологии яновольских крестьян.

В том же деле указано, что мнение до смерти гр. Борха ¹⁾ находилось в его пожизненном владении, а затем взято было в ведение Витебской Казенной Палаты до отдачи его в аренду. В пожизненное же владение Яноволь был пожалован в 1778 г. вдове Ив. Борха Людовике и ее сыну Иосифу Борху. Еще большие сведения о Яноволе получила бы Е. С. Коц, если бы заглянула в архив б. министерства земледелия и госуд. имуществ. Если бы Е. С. Коц познакомилась со всеми указанными делами да порылась бы в соответствующей печатной литературе ²⁾, то; работа ее не носила бы следов поверхностного знакомства с архивным делом. Без такой работы Е. С. Коц совершенно напрасно взялась за изложение такого сложного и запутанного дела, как волнение крестьян гр. Борха. Помимо этого Е. С. Коц напрасно излагает конец волнения Яноволем в сгущенных красках. Достигается это ею тем, что она изложила только первоначальный приговор военного суда, который был последующими инстанциями смягчен, о чем ею только упомянуто. Первоначальные приговоры характерны для военных судов того времени по делам о крестьянских волнениях, но не для отношения правительства крестьянам или для судьбы волнующихся крестьян. Если бы мы вздумали приводить первоначальные приговоры военных судов, как эпизоды волнений, то оказалось бы, что волновавшиеся крестьяне при Николае I предавались суровейшим наказаниям вплоть до смертной казни. Незачем окрашивать действительность в черный цвет, когда она и без того черна. В действительности приговор военного суда над крестьянами гр. Борха был смягчен и яновольцы понесли меньшие наказания, чем то описала Ел. Коц. Шпидрутенами были наказаны 10 человек, один наказан розгами (400 ударов) и остальные были прощены ³⁾.

Дело о волнении крестьян Закашевского освещено также неправильно. Придавая и здесь большое значение правовым причинам, Ел. Коц тем не менее указывает лишь на непризнание крестьянами инвентаря 1808 г., совершенно игнорируя иск крестьян о воле, а именно о признании за ними мешанских прав. Она игнорирует также влияние польского мятежа и политики правительства в юго-западном крае в области крестьян-

¹⁾ Между прочим Е. С. Коц ошибочно относит смерть Иосифа Борха к 1833 г. Она произошла в 1835 г.

²⁾ О волнении 1836 г. говорится в „Воспоминаниях ген. И. Ст. Жиркевича“—Русская Старина, 1890 г. № 8, о волнении крестьян гр. Борха см. также „Материалы для истории крепостного права“, стр. 45, 46, 59, 60—61.

³⁾ Ел. Коц между прочим ошибается, говоря о волнении крестьян гр. Борха в 1839 г. В 1839 г. было волнение в михайловской части людинского староства, а не в яновольской. Крестьяне яновольской части, о которой идет речь, волновались в 1840 г. (см. упомянутое представление Атренькова).

ского вопроса. Экономическому фактору Ел. Коц отводит слишком мало места, а между тем он также имел место в этом волнении, особенно при увеличивающемся разорении крестьян из-за иска воли, частых постоев воинских команд и волнений. Из изложения Ел. Коц мы имеем крайне смутное представление, сколько раз и как сильно волновались эти крестьяне и какова была судьба Трояновки и Лесневки.

В деле крестьян Подивановой обследованы и изложены крайне неполно доводи самих крестьян в защиту своих прав на волю. Расстрел пушками был произведен тогда-когда толпа была еще совершенно мирной. Выстрелы косили толпу, а она, даже по изложению губернатора, даже не шарахнулась на войско, хотя бежать ни в бок, ни назад она не могла. Была только свалка при попытках казаков отодвинуть телеги, загораживавшие от них толпу; тогда-то и пострадал один казак. Подтверждение мирного настроения толпы Е. С. Коц могла бы найти в изложении этого волнения Кулиных²⁾.

Думается, что после всего сказанного ясно, что мы были правы в своем утверждении, что архивные материалы, которыми пользовалась Е. С. Коц, ею не проработаны. Она приступила к использованию архивного материала будучи мало знакомой с имеющимися уже в науке исследованиями по этому вопросу. Архивный материал не подвергнут ею критической обработке, изложен недостаточно... Ею не произведено не обходимых добавочных архивных выискиваний и незаметно знакомства с журнальной и другой печатной литературой, касающейся изучаемых ею волнений. Недостаточно изучена Е. С. Коц и специальная литература по крестьянскому вопросу. Она, например, совершенно не разбирается в статистических данных о крестьянских волнениях при Николае I. Отмечая разницу между статистическими данными Игнатович и В. И. Семевского о причинах волнений, Е. С. Коц не отдает себе отчета³⁾ о причине расхождения цифр того и другого исследователя и не пытается даже выяснить ее. Ей, повидимому, известно, что Игнатович делала свои выводы главным образом на основании изучения подлинных архивных дел. В. И. Семевскому же приходилось делать сводку главным образом по отчетам министра внутренних дел, т.-е. полагаться на определение причин волнений чиновниками, составившими отчеты. Определения же эти были очень поверхностными. Чиновники вслед за губернаторами нередко видели только искания воли там, где были серьезные экономические причины. Поэтому в подсчетах В. И. Семевского, — помимо того, что имеющиеся у него данные относились к меньшему промежутку времени — должны были вкрасться невольные ошибки, ибо проверить свои данные по подлинным архивным делам он не имел возможности. Его статистические данные любопытны лишь для характеристики, что считало причинами крестьянских волнений само министерство внутр. дел.

Социологическое объяснение причин крестьянских волнений дано у Ел. С. Коц довольно точное и ясное, но это еще не значит, чтобы изложение крестьянских волнений соответствовало ее социологическим предпосылкам. Заявив во введении к своей книге, что основная причина волнений „несоответствие между ростом производительных сил и формами земледелия и землепользования“ (стр. 5) в тексте Ел. Коц посвящает очень мало места характеристике экономических причин волнений, почти

²⁾ Кулины — материалы к изучению истории революц. движения в России. т. I. Женева — „Народные волнения в царствование Николая I“ стр. 11—12. О крестьянах помещика Колонтарова см. также: Флеровского, „Три политические системы“, Самарина сочинение, т. II, стр. 29, 35. И. Игнатович, „Борьба крестьян за свое освобождение в истории освобождения крестьян изд. „Жизнь для всех“ 1911 г. стр. 60—61.

³⁾ См. книгу Е. С. Коц, „Крестьянские движения“, стр. 78 и статью „К выяснению причин крестьянских волнений в Николаевскую эпоху“. — Арх. ист. труда в России. № 9, В статье, помещенной в ж. „Русское Прошлое“ не видно даже следов знакомства со статистическими данными Игнатович, что указывает и на незнание с последнею статью В. И. Семевского, помещенною в Энциклопедич. словаре изд. бр. Гранат.

игнорирует их, посвящая в в то же время много внимания правовым причинам, считая правовой момент „крайне характерным“ (стр. 78) для крестьян, полагая, что крестьянское движение „субъективно чаще всего ставило себе целью избавление от крепостной зависимости данного помещика (стр. 95), что в „большинстве“ случаев крестьяне стремились вовсе освободиться от помещичьего владения („Арх. ист. тр. в России“, № 9 стр. 42). Вопреки фактам, вопреки приводимым ею же самому цифрам (правда в приложении), Е. С. Коц утверждает, что „за исключением массовых волнений последних лет, предшествовавших освобождению, это были почти всегда разрозненные попытки освободиться из-под власти данного помещика и „стать казенными“. „Арх. и ист. тр. в России“, № 9 стр. 42). Если бы Е. С. Коц внимательно проштудировала, как другие исторические работы по эпохе Николая I, так и архивные материалы, бывшие у нее в руках, то она в них нашла бы не мало фактов, указывающих на преобладающее значение экономического фактора в крестьянских волнениях. Подчеркивание правовых причин является, думается, результатом поверхностного знакомства Е. С. Коц с несколькими наудачу взятыми архивными делами о крестьянских волнениях. Только изучение массы архивного и иного материала дало бы ей некоторое знание причин волнений а без такого изучения лучше не осмеливаться делать скороспелые выводы из небольшого количества непроработанных архивных данных.

Из работы Е. С. Коц единственно статья „Побеги помещичьих крестьян в николаевскую эпоху“ („Архив. ист. тр. в России“, кн. 5) может иметь научное значение, правда, очень ограниченное, ибо касается лишь 30-х годов XIX столетия. Те архивные материалы, на которых она основана, извлечены, правда, только из 4-х архивных дел б. министерства внутр. дел (о побегах на кавказскую линию и в Анапу) но, действительно, эти дела до сих пор, насколько мы знаем, никем не использованы. Если бы была уверенность в умении Е. С. Коц работать над архивными материалами, то эту статью можно было бы зачесть в число тех кирпичиков, из которых должна в будущем содаться история крестьян XIX века. Но из всего того, что нами указывалось выше, ясно, что такое доверие к автору быть не может. Насколько можно пользоваться этой статьей, можно сказать, лишь внимательно ознакомившись с подлинными архивными делами, из которых черпала Е. С. Коц материал для своей статьи. Такой работы мы, к сожалению, сделать не могли. Однако даже беглый просмотр одного из них (№ 6132 за 1834 г. деп. бол. исп. м. вн. д.) обнаружил невинительное отношение Е. С. Коц к тексту подлинника, из-за чего может получаться неправильное освещение и изложение фактов. Например, указание воронежского губернатора, что большая часть крестьян ушла в другие губернии в голодный год превратилось у Е. С. Коц в факт ухода „большинства“ крестьян. Подобные ошибки лишний раз указывают, что к архивным работам Е. С. Коц нужно относиться с большою осторожностью. Думается, что продуктивнее заново проработать архивный материал, чем заниматься проверкою архивных „изысканий“ Е. С. Коц. Без проверки же мы не рекомендуем пользоваться ее статьями, а, следовательно, и теми частями книги, которые на них основаны.

Из этого краткого обзора вышедших книг мы можем заключить, что фактически нового и ценного по истории крестьянских волнений 1-й половины XIX в. появилось крайне мало, и следует пожелать, чтобы литература по этому вопросу быстрее обогащалась новыми научными исследованиями.

Единственно только статья Е. С. Коц о побегах, помещенная в № 5 „Архива Истории Труда“, может претендовать на некоторое научное значение, хотя и очень ограниченное, „ибо использованный ею материал касается лишь 30-х годов и выбран ею из 4 дел, хранящихся в архиве б. министерства внутр. дел. Но ближайшее знакомство с подлинными архивными делами обнаруживает такое извращение фактов, такое неумение автора разобраться в тексте подлинника, что всякое доверие к архивным „изысканиям“ Е. С. Коц подрывается в корне. Так, говоря о побегах из Воронежской губ. в 1833 и 1834 годах, Е. С. Коц заявляет, что вопрос об истинных при-

чинах исбегов „во всей официальной переписке замалчивается“ и „только изредка попадаются штрихи живой жизни, просачивающиеся через толщу канцелярских отношений“. В подтверждение она приводит выдержки из донесения жандармского полковника Коптева, который, по ее словам, „получил от воронежского губернатора поручение“ выяснить причины побегов. Если же обратиться к соответствующему архивному делу, то и при беглом просмотре обнаружится, что воронежский губернатор никакого отношения к Коптеву не имел. Расследование Коптева явилось результатом вмешательства Николая I в дело о побегах из Воронежской губ., о чем Коц должна была знать. В руках у нее был черновик всеподданнейшей записки министра внутр. дел Блудова от 20 июля 1834 г. об этих побегах, было отношение от Танеева от 24 июля 1834 г., к Блудову о повелении Николая I „уведомить подробно о сем происшествии гр. Бенкендорфа для принятия нужных по сему мер“ (л. 20). Был в ее руках и черновик отношения Блудова к шефу корпуса жандармов гр. Бенкендорфу от 27 июля, где сообщалось повеление Николая I с приложением копии с донесения воронежского губернатора. В деле имеется ряд отношений Блудова к гр. Бенкендорфу (от 9 июля, от 3 и 18 сентября—л. 25, 28, 34), из которых Е. С. Коц должна была знать, что гр. Бенкендорфу препровождались копии с донесений воронежского губернатора о побегах. Наконец Коц несомненно читала донесение самого гр. Бенкендорфа от 23 декабря 1834 г. (л. 61) за характерною его подписью, где он сообщал Блудову, что получив известие о повелении Николая I, он „тогда же поручил полковнику корпуса жандармов Коптеву, обстоятельно разведать, что побудило означенных крестьян к такому побегу, кто именно виновные в подготовке их к оному и не было ли тому причиною притеснение и жестокое с ними обращение их помещиков гр. Бенкендорф вместе с тем прислал Блудову и копию с донесения Коптева, которую и пользовалась Е. С. Коц. Она не только читала, но и списывала из этого донесения гр. Бенкендорфа, ибо эта самая выдержка приведена у нее в статье. И тем не менее действие гр. Бенкендорфа она приписывает воронежскому губернатору, отношения первого принимает за донесение второго. Это обнаруживает не только полное неумение разбираться в официальной переписке, имеющейся в архивном деле, но и крайне небрежное отношение к работе вообще. С такими приемами и навыками лучше не браться за архивную работу, ибо она ничего, кроме вреда, не принесет.

И это не единственная ошибка Е. С. Коц. Ее изложение побегов из Воронежской губ. в 1833 и 1834 г. г. вообще полно неточности, искажениями фактов. Она, напр., характеризует эти побег, как побег крестьян „партиями“. беря это выражение, как факт, из первого донесения воронежского губернатора, между тем из всех последующих донесений губернатора и из донесения Коптева видно, что налицо был уход в голодный 1832 г. 9 крестьян из имений Мечниковой и Горяинова, при чем некоторые из них ушли на заработки по выданным им официально билетам; крестьяне эти зашли, в Анапу, записались там под другими именами и вернулись в 1834 г. на родину с целью взять с собой семейства. Они были тогда же арестованы, преданы суду и приговорены к наказанию плетью. В 1834 г. было поймано исправником собственно лишь 2 бежавших крестьянина этих же помещиков, да 9 человек крестьян помещицы Лужиной, ушедших на заработки, подозревались в побеге. Вот и все бежавшие „партии“, о которых сообщил воронежский губернатор в подкрепление своего первого донесения. На каком основании Е. С. Коц говорит, что в этих „партиях“ были и ушедшие с разрешения помещиков в хабаровские губернии Курскую и Орловскую—нам неизвестно, да, вероятно, неизвестно, и Е. С. Коц, ибо официальная переписка таких сведений не дает. Не менее странно, что Коц говорит о „приказании“ выслать крестьян, отпущенных в Орловскую и Курскую губ. „немедленно по миновании срока выданных им билетам“, в действительности такое „предписание“ было дано губернатором „градским и земским полицам вверенной ему губернии“ и говорится о каком-то „сообщении“ по поводу побегов орловскому и курскому губернаторам (донес. от 5 июля 1834 г.—л. 1 и об.). Стоит упомянуть и о таком смелом создании исторических „фак-

тов", как уход „большинства“ казенных поселян и помещичьих крестьян Воронежской губ. в 1833—34 г.г. на зиму со скотом в хлебобродячие губернии. В донесении же губернатора, послужившим материалом для такого факта, говорится лишь, что неурожай заставил уйти туда большую часть казенных поселян и помещичьих крестьян“ Е. С. Коп, очевидно, читает донесение так, как ей нравится, и не пытался разобраться, говорится ли в донесении о большей части, или о большой части крестьян, смело говорит о „большинстве“ их. Историк не может субъективно создавать большинство, основываясь лишь на неясных выражениях подлинников.

Подводя итоги сказанному о работах Е. С. Коп, приходится признать, что в ее лице мы имеем дело с крайне неумелым, малосведущим в затронутых ею вопросах работником, который к тому же обладает завидною смелостью обобщений и толкований архивного материала, совершенно несоответствующей степени ее подготовки к историческим работам. С таким багажем лучше не браться за исторические исследования.

И. Игнатович.

А. П. Чапыгин.

РАЗИН СТЕПАН.

Исторический роман.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Москва, Соляной бунт.

V.

Набат над Москвой ширится, полыхают над старым городом красные облака; жестяные главы на многих церквах стали золотыми.

— Стрельцы тоже по нас?

— Их тоже жмали — мстятся?

Нашли палача. Палач не посмел перечить народу.

— Ходил твой кнут по нас — нын пущай по боярам ходит!

— Палач пошел в Кремль; за палачом толпа — кто потрезвее. Стрельцы — те пошли во хмелю.

Подай Плеще-е-ва-а!

— Самого судить будем!

В деревянном дворце царя видимо решили судьбу царского любимца.

На обширном крыльце с золочеными перилами стоял матерый, ширококостый молодой царь в голубом каbate ¹⁾ с нарамниками, унизанными жемчугом. Близ царя воевода

¹⁾ Кабат — царская верхняя одежда с бармами или нарамниками.

Долгорукий, в черной бороде проседь, из-под густых бровей глядят так же сурово ястребиные, желтые глаза. Князь одет по-старинному в длиннополом широком плаще-коце, застегнутом золотой бляхой на правом плече. Сзади царя кучка бояр.

Перед царем, кланяясь в землю часто и униженно, сверкая лысиной, ползал на коленях пузатый боярин с пухлым лицом и сивой бородой. Черная однорядка волочилась за ним, слезая с плеч.

— Государь! государь! служил ведь я тебе и родителю твоему — себя не жалел! попомни услуги — пошто даешь меня на поругание холопам? гож я, гож еще! тож и буду служить псом верным и службу где дашь — туда отъеду, и какую хошь службу положи...

Царь отвернулся, молчал. Сказал Долгорукий резко и громко:

— Вор ты, судья! — за службу кара.

— Бью и тебе челом, князь Юрий!.. Молви за меня государю слово — за душу мою постой, а я...

Круглые глаза князя глядели сурово на судью:

— Лазал перед государем с оговором — нынь молви?

— Ой, князь Юрий! пошто мне тебя хулить, ой то ложь, князь!

— Подай сюды Плещея-а!

Долгорукий молодо и звонко сказал:

— Палача сюда!

Плещеев, подавленный, уткнув лицо в полу однорядки, плакал.

На крыльцо поднялся палач. Облапив, понес Плещеева вниз по ступеням, но обернулся и спросил:

— Провожатый дьяк — кто?

— Казни судью! вина его ведома.

Долгорукий отошел в глубь крыльца.

— Бояре! родные мои, кровные, молю, молю молю! — кричал Плещеев и, встав на ноги, упирался. Стрельцы, помогая палачу, пинали Плещеева.

Царь и бояре видели, как волокли Плещеева. Царь плакал. Кто-то из бояр сказал:

— Допустим смерда к расправным делам и не то увидим!

Бояре придвинулись к перилам, глядели, охали, а в это время на крыльцо по-кошачьи мягко вбежал человек в сером сукмане, пал перед царем на колени и заговорил, кланяясь:

— Не осуди, государь! дай молють слово...

Царь попятился, но сказал:

— Говори!

— Не стрельцы мутят народ, государь, а пришлый детина, коего роду не ведаю; приметины его — ширококопость, лицо в шадринах малых, голос, как медяный колокол!

— Уловите заводчика! Царь отошел к дверям в сени. Человек в сукмане хотел незаметно юркнуть с крыльца, но его уцепили за полу, из-под полы истца вывернулся и покатился вниз по ступеням тулумбаз¹⁾. Старый боярин, в синей котыге с тростью в руке держал истца за полу, шел с ним вниз и говорил:

— Уловите заводчика, справьте государю угодное... в кабаках водку огнем палите — к водке бунтовщик липнет, да примечайте, которого...

— Наших, боярин, много посекали бунтовщики в погребках боярина Морозова...

— А, зато и посекали, что дураки! дураков и бить; киньте сукманы, шапки смените, людишками посацкими да смердами оденьтесь. Истец хотел итти, но боярин держал его. Старик вскинул волчий глаза, прислушался к говору бояр и тихо заговорил:

— Ежели ты, холоп, еще раз полезешь на царские очи, то будешь бит батогами, язык тебе вырежут воровской! твое есть сей день счастье, что палач поганил, по слову Юрия князя, крыльцо! Иди — ищи...

Не смея нагнуться поднять тулумбаз, истец быстро исчез.

— Государь выдал! — крикнул палач, ведя Плещеева. Много рук подхватили палача и судью под воротами Кремля, а на площади заухало тысячью глоток:

— Наш теперя — а!

Толпа бросилась к палачу, на нем затрещала рубаха, свалилась шапка, тяжело придавили ногу. Палач толкнул от себя судью:

— Сгоришь с тобой!

¹⁾ Род бубна с вогнутой внутрь чашечкой. обтянутой пузырем.

Толпа подхватила судью: сверкнули топоры, застучали палки по голове Плещеева. Кровь судьи забрызгала в лица бьющим.

— В смирной одеже!

— Сатана-а!

— Бархаты вишь дома-а!

Платье Плещеева в минуту расхватили, по площади волокли голое тело. На трупе, с безобразным подобием головы, болтались куски розовой шелковой рубахи, втоптаные в мясо ногами народа.

— А, наши дьяка ухлябали!

— Назарку Чистова сделали чистым!

— Тверская гори-и-т!

— Мост неглинный гори-и-т!

— Большой кабак истцы зажгли!

— Туды, робяты-ы! Сколь водки сгибло-о.

В сумраке резной и ясный, как днем, стоял Василий Блаженный. Зеленели золотые главы Успенского собора, Кремлевская стена, вспоминая старину конца Бориса и польского погрома, вспыхивала, тускнела и вновь всплывала ясная и мрачная.

Раздвинув набухшие, отливающие сизым облака, стояло прямое пламя над большим царевым кабаком.

Пестрая толпа с зелеными лицами лезла к огню. На людях тлели шапки и, казалось, не народ, а бояре выкатывают из пламени дымные бочки с водкой. Народ, в бархатных котыгах и ферязях, бил в донья бочек топорами.

— С огня, братаны!

— Пей, товарищи!

— Сгорит Москва!

— Али пить станет негде?

— Гори она, боярская сугрева!

— Слушь, братаны, сказывают, царь залез в смирную одежду-у?!

— Так ли еще посолим!

Пили, как в подвалах Морозова: шапками и сапогами. Дерево на мостовой, политое водкой, загорелось. Горела и сама земля. На дымной земле валялись пьяные, свое и боярское платье горело на людях — люди ворочались, вскакивали, бежали и падали, дымясь, иные корчились и бормотали. По ногам и

головам лежащих прошел кабацкий завсегдатай поп-растрига, плясавший по кабакам в рваном подрыснике. С кем-то другим, таким же пьяным они тащили обезображенный труп Плещеева. Растрига, мотаясь, встал на головни, на нем затлелась рваная запояска, задымились подошвы рясы.

— Спускай!—крикнул он и бросил, раскачав, прямо в огонь тело судьи.

— Штоб ему еще раз сдохнуть!—и запел басом:

— Человек лхой,
Дьявол душу упокой
А-а-лиллуня!

— Горишь, отец!

— Был отец, нынче голец!

В стороне, белея кафтаном, в бархатном картуре, стоял широкоплечий казак. Правую руку держал под полой, где была сабля. Он думал:

— Эх, сколь народу свалилось, а бояр? Мал чет... и, повернувшись, прибавил вслух:

— Ну да еще впереди все!

Широко шагая, шел дымными улицами—ело глаза, пахло горелым мясом. Народ по улицам лежал, как большие головни. Атаман тоже изрядно выпил, но поступь его была тверда. Только душе хотелось простора и рука сжимала рукоять сабли.

Он был не далеко от знакомого тына, уже ступил на старое пожарище и тут только заметил, что за ним идут три человека стороной:

— Эти не хмельны? истцы! Один из троих подошел к атаману, на нем чернела валеная шапка и серел фартук торговца:

— Эй, слушь-ко, боярской сын!

Атаман сдвинул каптур на затылок, повел глазами:

— Не светло, а зрак твой видной—не ворочай глазом, я человек простой!

— Чего тебе?

— Ты зряще купил экой каптур—ен морозовской и кафтан турской бога...

— Дьявол!

Атаман вырвал из-под полы пистолет, шелкнул курок, но кремь дал осечку. Подбежали еще двое—атаман шагнул

быстро к первому, ударил торговца по голове дулом, парень осел, не охнув. — А вы? крикнул он грозно — двое бежали прочь. Атаман гнался долго за двумя и скрипел зубами, но бегали исты скоро. Он проводил их глазами за Москворецкий мост, вернулся к убитому, поднял его и сунул в яму, в которой когда-то выгорел столб.

Сам не зная зачем, навалил на яму два обгорелых бревна:
— Бревна не на месте, а тут чорту крест!

Знакомым путем прошел через пожарище и скрылся в кустах обгорелой калины.

VI.

За столом на широких ладонях лежит курчавая голова.

Ирина, в шелковом летнике, в кике бисерной по аксамитному полю, разливает в большие чаши мед.

— А и что-то закручинился голубь-голубой? — пей вот!

Атаман поднял голову. Взгляд потускнел, на худошавом лице усталость.

— Жонка! не зови меня голубем — сарынь я.

— Ой, то слово чужое, а что такое сарынь, милой?

— Сарынь? слово бусурманское — сокол, а по-нашему, по-казацки — коршун!

— Уж лучше я буду звать тебя соколом — не кручинься, пей, вот так...

— Ух, много пил — а и крепкий твой мед! не кручинюсь... плечи и руки томятся по делу — много его на Москве, да во Пскове наши играть зачинают... меня же тянет на Дон.

— Жонка видно ждет там? и зачем ты, сокол, такой сладкой уродился?

— Думаешь... приласкаю, а рука за пистоль тянется — убить... боярыню нын приласкал.

Глаза женщины загорелись злым:

— Змею ласкать? змея, сокол, всегда с жигалом!

Атаман, выпивая, обмолвился раздумчиво:

— Есть у меня чутье, как у зверя — и знаю я... убить или простить... тут надо было так — простить...

— Пей! я напедила... вишь ты какой?.. погоди-ка, чекнемся.

Она потянулась к нему и, чекаясь, сверкнула напакками вышитых жемчугом рукавов — обхватила его за шею, целуясь:

— Не висни, жонка!

— Аль уж не любишь?

— Не лежит душа к любви... другое вижу... вижу далеко.

— А я ничего не вижу, люблю тебя, как молонью. Страшной сегодня Москву видела — ой, страшная была Москва! и что ты с собой заветное носишь, что народ за тобой так липнет? готов был народ все изломать, и бога и царя кинул. А я бы уж, если б воля была, приковала сокола к моей кровати золотой цепью, перлами из жемчугов опутала бы кудри и не выпустила, не отдала никакой чужой красе, выпила бы твою кровь и тут померла с тобой, какой хошь лихой смертью.

— Кинь! то пустое...

— Не пустое, сокол! голова мутится, сердце горит — так бы и пошла да предала себя: «на-те, волки, ешьте! помереть хочу. Нет мне жисти — люблю!»

— Забудь все — пей, дьявол!

— Гуляют да пьют, а бояре тут!

Голос хрипел из распахнутой двери. На убогих ногах горбун, звеня железом, вполз в горенку.

Рука упала на саблю, атаман вскочил на ноги:

— Эй, старик! где вороги?

— То, гостюшко, кошуню я! Пустое говорю — нет ни бояр, ни истцов, а вот на торгу висит грамота, а на ней списаны твои приметы и грамоту чтут люди всякие...

— Ой, дедко! — скоро как и грамота?

— Сам чел и люди чли и пьян и тверез всяк у той грамоты стоял, а платится за твою голову, гостюшко, цена не малая, три ста рублей московскими, да тулуп рысей, да шапка, тому, кто тебя уловит...

— Мекал я — тут меня дошли.

— Пей, мой боженька!

— Не бог я и богом быть не хочу... ходил по монастырям, на народ глядел... веру пытал верю ли я, не знаю того... ведаю одно — народ молит бога с молитвами, слезами да свечами, а кругом виселицы, дыба и кнут... богач жиреет, а на-

род из последних сил тянет свой оброк... от воеводы по лесам бежит — палачам за поноровку, чтоб мене били, последние гроши дает, а у кого нет, чем купить палача, ино бьют до костей... пытал я бога искать, да не востер в книгочеях, а вот брат мой старшой Иван Разин чел книги хорошо и все клянет... не бога искать ныне время, искать надо, как изломить к народу злобу боярскую...

— Нынь, милой, не одних истцов пасись, а всякого — имать будут тебя все.. срежь-ко свои кудри, оставь их бедной Ирихе... Откажи ей кудерышки — ведь унесешь любовь, а я кудри буду под подушкой хоронить, слезами поливать и стану хоть во снах зреть ту путину дальнюю, где летает мой сокол желанный... Слушь? Вот, что я удумала...

— Говори, жонка — дрема долит!

— Обряжу я тебя в купецкую однорядку, брови подведу рыжим, усы и бороду подвешу... сама купчихой одержусь, и пойдем мы с тобой через Москву до первых ямов, да найдем лошадей, я-то оборочусь сюда, а ты полетай в родиму сторону.

— Спать, жонка! а там на постеле додумаю, быть ли мне в купчину ряженым или на саблю надею скласть — спать!..

— Ой, на перинушке дума не та! и не дам я тебе думать иных дум, сокол, постельные думы — особые.

— Пей, дедо, с нами!

Горбатый старик, примостившись в углу под образами на лавке, приклеил около книги старой, большой и желтой две восковых свечи, читал:

— Пей, старой!

— Сегодня, гостюшко, я не пью... сегодня вкушаю иной мед — мудрых речения...

— Бога ищешь? Кинь его к матери! ха, ха, ха.

— Ну его! снеси меня, Степа... снеси на постель и спать...

Свечи погашены. Сумрачно в горнице. Сидит в углу старик, дрожат губы, спрятанные в жидкой бороде, водит черным пальцем по рукописным строкам книги. На божнице у спасова лика черного, в белом серебряном венце, горят три восковых свечи. Спит атаман молодой, широко раскинув богатырские руки, иногда свистит и бредит, к его лицу склонилась жен-

щина, кика ее, мутно светя жемчугами и дорогими камнями, лежит на полу у кровати.

Женщина упорно глядит, иногда водит себя рукой по глазам. Вот придвинулась, присосалась к щеке спящего, он тревожно пошевелил головой, но, не открывая глаз, она быстро сунулась растрепанными волосами в подушки. Дрожит рубаха на ее спине, колыхаются тихие всхлипыванья. Переворачивая тяжелый лист книги, горбун чуть слышно сказал:

— Ириньца! не положи себя, перестань зреть лик, очи упустят зримое, сердце упомнит...

Она шопотом заговорила:

— И так-то я, дедко, тоскую, что мед хмелен, а хмель не берет меня...

Горбун, перевернув, разгладил лист книги.

ЧАСТЬ II.

Войсковая старшина и гулебщики.

I

Батько атаман на крыльце. Распахнут кунтуш. Смуглая рука лежит на красной широкой запояске. Из-под запояски поблескивает ручкой серебряный, турецкий пистоль. Лицо атамана в шрамах, густые усы опущены — под бараньей шапкой не видно глаз, а когда атаман поводит головой, то в правом ухе блестит серебряная серьга с изумрудом.

— Ге, ге, козаки! кто из вас силу возьмет, тому чара водки, другая меду.

— Ого, батько!

Недалеко от широкого крыльца атамана, ухватясь за кушаки, борются два казака. Под ногами дюжих парней подымается пыль, пыль, как дым, серебрится при луне. Сабли казаков брошены, втоптаны в песок, лишь медные ручки сабель тускло сверкают, когда борцы их топчут ногами. Лица казаков вздулись от натуги, трещат кости и далеко кругом пахнет потом.

Иные из казаков обступили борцов, лица при луне бледные, бородатые, усатые и молодые чмокают, ухают и разбойно присвистывают;

— У щоб тобя свиня зъила!

— Панько, держись!

— Лух, не бувай глух!

На синем небе серая туча в темных складках облаков — из-за тучи, словно алам на княжем корзне — луна... За белыми хатами-пристройками атаманова двора, мутно-серый в лунном отсвете высокий плетень.

От рослых фигур бродят, мотаются по земле черные тени, кривляются, но борцы, подкинув друг друга, крепко стоят на ногах.

По двору к крыльцу атамана идут три казака — старый, седой и два его сына. Обступившие борцов казаки кричат:

— Бувай здрав, дед Тимоша-а!

— Эге, здрав ли, дидо?

— Хожу, детки! Здрав...

— Живи сто лет!

— Ого, борьба у вас?

— Да вот Панько с Лухом не мало ходят.

— Стенько! покидай их...

Старик оборачивается к сыну.

— Степана твоего знаем, не боремся!

— Ого, трусите, хлопцы?

Атаман встретил гостей:

— Бувай здрав, козаче — родня, и хрестник тут? без отписки круга на богомолье утек, то неладно. козак!

— Поладим, хрестный! подарю тебя...

Атаман поцеловал крестника в щеку, похлопал по спине:

— Идешь, козак, молиться, а лезешь в кабак напиться?..

— Хмельное, хрестный, пить люблю!

— Ведаю... хорошо пил, что про твое похмелье вести из Москвы дошли...

— За мою голову Москва рубли сулила... не уловила — сюда вишь путь наладили?

— Нашли путь, хрестник! путь к нам с Москвы старой...

На двор прибывали казаки с темными лицами, в шрамах, бородатые, в грубых жупанах из воловьей шерсти:

— Эй, батько! давай коли сидеть по делу.

— Давай, отаманы молодцы!

Натаскали скамей, чурбанов, досок, расселись. Молодежь встала поодаль. Борцы подобрали с земли шапки и сабли, ушли.

Атаман начал:

— Открываю круг! Я, братья матерые казаки, хочу кое-что поведать вам, иное вы и сами про себя знаете, но то, иное, надо обсудить по-честному! Задымили трубки:

— Тебя и слушать, Корней Яковлевич!

— Говори!

— По честному сказывай!

— Скажу — слушайте: зазвал я вас, братья атаманы, есаулы и матерые козаки, на малый круг, Москву познать и вольность старую, козацкую обещать. Без письменности нынче будем говорить...

Атаман сел на верхнюю ступеньку крыльца. Сел и старик со старшим сыном, младший подросток стоял, прислонясь к перилам. Атаман, блеснув серьгой, покосился, сказал младшему Разину:

— Фрол! сойди-ка к хлопцам, то с нами сядешь, старых обидишь, а нужна будет — за отцом зайдешь. Младший сын старика сошел с крыльца. Заговорил старик:

— Ты, родня-атаман, ведай; Тимофей Разя не любит из веков Москвы и детям не велит любить... Москва давно хочет склевать козацкую вольность... Москва посадила воевод по всей земли Русской, одно лишь на вольном Дону не сидят воеводы... на вольном Дону козак от поборов боярских не бежит в леса, а идет в леса доброй волей в «гулебшики» — зверя бить, рыбу ловить, да гостем гостит за ясырем по морям... дуванит на Дону свою добычу по совести...

— Ото правда, дид!

Отозвались снизу.

Атаману показалось, что дверь в сени за его спиной слегка приоткрылась, он оглянулся, поправил шапку и заговорил:

— Таких слов, дед Тимофей, не надо сказывать тогда, когда от Москвы посланцы живут у нас — это вольному козачеству покор и поруха. Москва имеет каждое наше слово и уши у ней далеко слышат...

— Эй, отец атаман! за что ты так говоришь, что чует мое старое сердце — преклонен много царю с боярами... ой, дуже преклонен!

Под кудрями бараньей шапки вспыхнули невидимые до того глаза атамана, но он выколотил о крыльцо трубку, набил ее, закурил от кресала и тогда заговорил спокойно:

— Откуда ты проведал, старый казак, что Корней падох на московские порядки? вы, матерые козаки, судите по совести; холоп я или козак?..

— Козак, батько Корней!

— Козак матерой в боях вырос!

— Еще, отаманы браты, сбил меня Тимофей — с прямого слова, а хочу я довести кругу, что посланец боярин от Москвы не пустой пришел, пришел он просить суда над Степаном Разиным, чем виноват мой хрестник, пускай кругу поведает сам!

Молодой казак встал:

— Или мне, батько хрестный, и вы, матерые низовики, место не в кругу козацком, а на верхнем Дону?

Атаман, покуривая, прошептал:

— Пошто встал, хрестник, и ране времени когти востришь? Сиди — свои мы тут, без письма судим.

— Пускай кругу обскажет козак, что на Москве было?..

— Говори-ка, Стенько!

— Москва, матерые козаки атаманы, зажала народ! Куды ни глянь — дыба, кнут — народу соли нет, бояре под себя соль взяли...

— Ото што-о?..

— «Глянул на торгу — шумит народ. Веди на бояр, соль добудем!» Судите по совести, зовут козака обиженные, мочно ли ему не итти? Пошли, убили, царь того боярина сам выдал...

— Чего еще? — царь выдал!

— Дьяка убили — вор был корыстной, ну ино — хлеб режут, крохи сыплются, пограбили царевых ближних... бояре грабят, пошто и народу не пограбить бояр?.. Мстился народ, а утром глянул: висит на торгу бумага — «имать атамана» чту — мои приметы. Угнал я на Дон, а на Дону сыск от бояр... да и мало ли наших козаков Москва замурдовала?

— Ой, не мало, хлопец!

— Не выдаем своих!

— Гуляй, Стенько! на то ты козак...

— Отписать Москве «поучили де его своим судом».

— А ты, хрестник, берегись Москвы! потому и дьяков не позвал в круг я...

— Не робок, пускай ловят!

— Еще скажу я вам, матерые козаки, в верхних городках много село беглых с Москвы, люд все боле пахотной и люд тот землю прибирает. Годится ли такое?

— Оно верно, Корней! не годится козаку землю пахать...
— Пушай украинцы пашут!
— За посошным людом идут воеводы!
— За пашней на Дон потекут чужие порядки, у Московии руки загребущие!

— Оно так, братья атаманы, матерые козаки, не примать бы нам беглых людей — не борясь с Москвой, себя оборонить!

— Эй, Корней! отец, как же обиженных не примешь?

— Как закроешь им сиротскую дорогу?

— Не согласны, братья?

— Не согласны!

— А это Москву на нас распаляет!

— Вот еще, Корней, слушь! Москва попов шлете нам и попы убогие старцы — убогих своих много...

— Нам московского бога не надо! В Москве, братья козаки, все кресты да церкви — богов много, правды нет!

Атаман перебил Разина:

— Ты, хрестник, бога не тронь! Бог один, что у Москвы, что у нас. Москва ближе нам, не Литва она, не татаре...

— Люты ляхи, нам матерые козаки, лют турчан, ино Москва не мене люта!

— Не позабывайте, братья атаманы, что Москва шлет жалованье, шлет хлеб — за то, что чиним помешку турку и татарве... мой хрестник, Стенько, младон, не ведает, что исстари от Москвы на нас идет зелье и свинец, а ныне и народом надо просить помочь: турчин загородил устье Дона, завязил железными цепями, выше Азова поставил кумфаренный город с башнями, от того нет козаку хода в море!

— Добро батько! пушай Москва помочь даст зельем и народом.

— Народ московский не дюж на военное дело!

— А слабы свои, те немчинов пушай шлет!

— Немчин худо идет в рейтары, в козаки не гож, а в стельцы итти не думает!.. немчин на команду свычен — у нас же свои атаманы есть.

— Есть атаманы!

— Еще, вольное козачество, слышьте старого козака Разю?

— Слушаем, дедо, сказывай!

— Прошу у круга отписку на себя, да на сына Степана, хочу итти с ним в Соловки к Зосиме-Савватию, раны целить!

— Ото дело — дид!

— Раны меня изъедают и за старшого Ивана, что к Москве в отаманы отозван, воевать с поляками, свечу поставить — ноет сердце, сколь годов не вижу сына...

— Тебе отписку дадим, а Стеньку не надо-ть... он и без отписки ходит!

— Я благодарствую кругу!

— Писари есть!

— Печать батько Корней пристукнет!

— Я ж много благодарствую вам!

— Еще что есть судить?.

— Будем еще мало, атаманы молодцы! так хрестника моего Степана Москве не оказывать?

— Не оказывать!

— Стенько с глуздом! недаром один от молодежи он в кругу...

— То правда, братья! еще спрос: с Москвы на Дон не закрывать сиротскую дорогу?..

— Не закрывать!

— Пушай от воевод народ спасается!

— Патриарх тоже лих! и от патриарха...

— Помнить надо, атаманы молодцы, что на Дону хлеба нет, а пришлые с семьями — есть хотят!

— По Волге патриарши насады с хлебом ходят!

— Исстари хлебом с Волги живы, да рыба есть.

— С украины — запорожья!

— Оно отаман сказал правду — думать надо, как с хлебом?.

— Додумаем, когда гулебщики вернутся, да с ясырем с моря, большой круг соберем!

— Нынче думать надо-о!

Круг шумел, спорил. Атаман знал, что бросил искру о хлебе, что искра эта долго будет тлеть. Он курил и молча глядел на головы и шапки казаков. Обойдя шумевший круг, во двор атамана, пробираясь к крыльцу, вошла нарядная девка с крупной фигурой и детским лицом, в красной шапочке, украшенной узорами из жемчугов. Под шапочкой русые косы, за-

витые и уложенные рядами. Степан Разин встал на ноги, соскочил с крыльца, поймал девуку за большие руки, поволок в сторону и негромко, торопливо спросил:

— Олена, ты зачем?

— К атаману...

Казак, не выпуская загорелых рук девки, глядел ей в глаза и ничего не мог прочесть в них, кроме каприза:

— Ой, Стенько! не жми рук.

— Забыла, что наказывал я?.

— Уж не тебя ли ждать? по свету везде бродишь, девок поди лапаешь, а я сиди и не пляши!

Она подкинула ногой в сафьянном, желтом сапоге, на нем зазвенели шарики-колокольчики.

— Хрестный дарил сапоги?

— Не ты, Стенько дарил?

— Жди, подарки есть!

— А нет, ждать не хочу!

— Не ладно Олена! К старому лезешь. Женюсь, бить буду.

— Бей потом — теперь не твоя!

Зажимая трубку в кулаке, атаман поднялся во весь рост и крикнул:

— Гей, девчина! и ты козак — кругу мешаєте...

— Прости, батько, а я хотела к тебе.

— Гости, пошлю за тобой, Олена, а ныне у нас будет сговор и пир пошлю, рад тебе!

— Я приду, Корней Яковлевич!

— Прошу и жалую! пошлю, жди...

Девка, позванивая сапожками, быстро исчезла, Степан поднялся не крыльцо. Атаман сказал, тихо, слышно было только Разину:

— Хрестник! не лезь батьке под ноги. Тяжел я — сомну.

В голосе атамана под шуткой слышалась злоба и, повысив голос, Корней крикнул:

— Атаманы молодцы! вас есуалы и матерые козаки, прошу в светлицу наше немудрое яство отведасть.

— Добро, батько отаман!

Заскрипело дерево крыльца, круг вошел в дом.

В хате атамана на дубовых полках ряд свечей в серебряных подсвечниках. На столе тоже горят свечи, стол поставлен на сотню человек, покрыт белыми, с синей выбойкой цветов, скатертями. На столе кувшины с водкой, яндовые с фряжским вином, пивом и медом. Блюда жареных гусей, куски кабана и рыба: чебаки (лещи), шамайки жареные. На больших серебряных подносах пряники, коврижки, куски мака, густо обсыпанного сахаром. Пониже полки белые стены в коврах. На персидских и турецких коврах ятаганы, с ручками из «рыбьей зубы», сабли, пистолы кремневые серебряные и тяжелые ржавые, те, с которыми когда-то атаман Корней являлся к берегам Анатолии, даходил бурными ночами «в охотники» мимо Азова по «гирлам» в море за ясырем и зипуном. По углам пудовые пищали с золочеными курками-колесами, из колес пищалей висят обожженные фитили. Тут же в углу на длинной изукрашенной рукоятке атаманский чекан с обушком и булава.

Гости обступили стол, но не садились. Хозяин, сверкнув серьгой в ухе, сказал:

— Прошу, не бояре мы, а вольные атаманы — на земле брюхом валялись, у огней боевых сидели — кто куда сел, тут ему и место!

Сам ушел в другую половину, завешанную ковром, вскоре вернулся в атласном, красном кафтане, на нем с серебряными шариками-пуговицами, петли, кисти и петлицы из тянутого серебра. Поседевшие усы висели попрежнему вниз, но были расчесаны и пушисты. К столу атаман вышел без шапки, голова по-запорожски обрита, на голове черная с проседью коса. Он сел на скамью в конце стола, поднял волосатую руку с жуковиной, золотым перстнем на большом пальце, на перстне именная печать, крикнул молодо и задорно:

— Пьем, атаманы, за белого царя!

— Пьем! пьем, батько!

Зазвенели чаши, иные, роняя скамьи, потянулись чокаться. Держа по своему обычаю в левой руке чашу с медом, Корней Яковлев протягивал ее каждому, кто подходил позвенеть с ним. Многие целовали атамана в щеку, украшенную шрамами.

Выпивая, гости раздирали руками мясо, сам хозяин, засучив длинные рукава московского кафтана, брал руками ку-

ски кабаньего мяса, глотал и наливал ближним гостям, что попало под руку. Около стола бегали два казачка-мальчика, наполняли чаши гостей, часто от непосильной работы разливая вино:

— Лей, козаченьки! богат Корней отаман!

Богат батько!

— Не один разбойной глаз играет на его черкасском жилье!

Дальные, наливай сами! кричал хозяин.

— Не скупимся, батько!

Слышалось чавканье ртов, несся запах мяса, иногда пота, едкий дым табаку — многие курили. Дым и пар от многих голов подымались к высокому курному потолку.

— И еще пьем здоровье белого царя!

— Пьем, батько!

Когда хозяин кричал и пил за белого царя, не подымал чаши старый казак Тимофей Разя и сын его Степан тоже: после слов хозяина «и еще пьем» старик закричал, его слабый крик, заглушенный звоном чаш, чавканьем и стуком о сапоги трубок, был едва слышен, но кто услышал, тот притих и сказал соседу. Старик заговорил:

— Ой, козаче! Слушайте меня, отаманы...

Сказывай, дедо-о!

— Слышим!..

— А-а, ну!

О горе нашем козацком сказывать буду! Было, детки, то в Азове... на покров, полуживые от осады, мы слушали грамоту Белому Царю, пади он под копыто коню, хрест ему целовали, да друг с другом прощались и смерть познать приготовились, в утро мокрое через силу по рвам ползли, глеждали по насыпям, а дошли — в турецком лагере пусто... в уторопь бежали, настигли Турчина у моря у кораблей, в припор рушницы побили много, взяли салтанское большое знамя и кольцо не упомню малых знамен...

— Бредит козак! То давно минуло.

— Ты не делай мне помешки, Корней отец!

— Ото, козак древний — говори!

— Вот, детки, тогда и позвалось «великое войско донское». Знатная станица пошла в Москву от Дона — двадцать

четыре козака с есаулом, но скоро Москва забыла нашу кровь, наши падчие головы и нужи сиденья в Азове... указала сдать город Турчину и нам было сказано: «Воротись по своим куреням, кому куда пригодно!» . Ото, братья козаки, царь белой, не пьет за него Тимофей Разя-а!

— Не пьет за царя старый козак — и мы не будем пить!

Старики говорили, слабым голосом кричал Разя: — «что добыли саблей не отдадим даром!»

— И мы не отдадим, козак!

— Батко-о! где гость от Москвы?

— Путь велик, посол древний — опочивает.

Дверь в другую половину светлицы атаманского дома завешана широким ковром — вышивкой, подаренным Москвой за службу Корнею-атаману: на ковре вышит страшный суд. По черному полю зеленые черти трудятся над котлом с грешниками. Котел желтый — пламя шито красным шелком, лица грешников синим. Справа светло-голубые праведники, слева, в стороне, кучка скрюченных грешников, шитых серым. Картина зашевелилась, откинулась, степенно и медленно, не склоняя головы, из другой половины к пирующим вышел седой боярин с желтым лицом, тощий и сухой, в парчевом, золотом и узорчатом кафтане, отороченном по подолу соболем, ступая мягко сафьянными сапогами, подошел к столу, сказал тихо:

— Отаманам и всему великому войску всей реки — Великий государь всея Руси Алексей Михайлович шлет свое благоволение государское...

В старике боярине все было мертво, только волчьи глаза глядели из складок морщинистого лица зорко не по годам.

Хозяин подвинулся на скамье, крытой ковром. Гость истово покрестился в угол и степенно сел:

Кто-то крикнул:

Слушь-ко, боярин! сказывают — царь у боярина Морозова в кулак зажат.

Вино в тебе, козак, блудит! то ложь... ответил боярин и оглянулся на дверь, завешанную картиной-ковром: оттуда вышел мальчик-татарченоч в пестром халате и на золотом

подносе, украшенном резьбой и финифтью, вынес серебряный, острогорлый кавказский кувшин. Татарченоч бойко поставил все это перед боярином и исчез. Не подымая глаз боярин сказал:

— Кто стоит за правду, того ренским употчеваю...

— А ну, боярин—всех потчуй!

— Того, кто мне люб, отаманы молодцы!

Гости шумели, кричали бандуриста. Кто-то колотил тяжелым кулаком в стол и пел плясовую:

„Ой, кумушка! ой, голубушка!..

Свари мне чебака.

Чтобы юшка была-а!..

Иные, облокотясь тяжелыми локтями на стол, курили. Хозяин кричал дежурных по дому казаков, приказывал:

— Браги, водки и меду, хлопцы!

— Ото, батько! живой не поберешь ноги...

Московский гость обратился тихо и ласково к Тимофею Рази:

То, старичек, козаче, правду ты молвил, про Москву—много обиды от Москвы на душе старых козаков... Много крови пролили они с Турчином в оно время и все без проку—пошто было Азов отдавать, когда козаки город взяли и отстояли славу свою на веки-веков...

— То правда, боярин!

— А я о чем же говорю?... И мир тот, по которому Азов отошел к турчину, все едино был рушен, вновь бусурману занадобилось чинить помешку а ныне таки-есть указанье—повременить...

— Да вот и чиним, а в море ходу нет!..

— Азов город надобный белому царю. За обиды, за старые раны и тяготы, ныне забытые, выпьем-ка винца—я от души чествую и зову тебя на мир с царем!

— С царем по гроб не мирюсь! пью же с тобой, боярин, за разумную речь.

— Пей во здравие в сладость душе...

Боярин налил из кувшина чару душистого вина. Старый казак разом проглотил ее и крикнул:

— За здравие твое, боярин-гость! Э-эх, вино по жилам идет и сладость в меру—налей еще!

— И еще доброму козаку можно.

Желтая, как старый пергамент, рука потянулась к кувшину, но на боярина уперлись острые глаза—в воздухе сверкнуло серебро, облив вином ближних казаков, кувшин ударился в стену, покатился по полу. Вывернулся татарченоч, схватил кувшин и исчез. Гости, утираясь, шутили:

— Лей вино-о!

— В крови да вине козак век живет! Степан схватил старика за плечо:

— Отец! пасись Москвы, от нее не пей.

— Стенько! нешто ты с глузда свихнулся? —ой, вино-то какое доброе?..

Боярин неторопливо перевел на молодого Разина волчьи глаза и беззвучно засмеялся, показывая редкие, желтые зубы.

— Ты, молотчий, по Москве шарпал, за то опозднился—мы с отцом твоим ныне за мир выпили...

— Ты пил, отец?..

И еще бы выпил!—я. Стенько ныне спать... спать — и доброе ж вино... ну спать!

Сын помог отцу выбраться из-за стола. Лежа на крепком плече сына старый Разя, едва двигая одеревеневшими ногами, ушел из атаманского дома. На крыльце старика подхватил младший сын, а Степан вернулся к гостям. Гости шумно разговаривали. Степан Разин прошел в другую половину атаманского дома, и когда его плотная фигура пролезла за ковер, боярин вскинул опущенные глаза и тихо спросил атамана:

— Познал ли, Корнеюшко, казака того, что Москву вздыбил?

От вина лицо атамана бледно, только концы ушей налились кровью. Особенно резко в красном ухе белела серебряная серьга. Помолчав и обведя глазами гостей атаман ответил:

— Не ведаю такого... поищем, боярин!

— Я сам ишу и мекаю—тут он, государский супостат... приметки мои не облыжны: лицо малость коряво... рост, голос... у нас, родной, Москва из веков тем взяла, что ежели кто в очи пал, оказал вид свой, тот и на сердце лежит—тут ему хоть в землю вройся—не уйти... такого Москва сыщет...

С ушей на лицо атамана пошла краска. Суровое лицо в шрамах стало упрямым и грозным. Зажимая волосатой рукой тяжелую чашу, он стукнул ею по столу и сказал:

— На Дону, боярин, мало сыскать -- надо взять, а ненароком возьмешь, да и сам в воду с головой сядешь!

— Эй, Корнеюшко! и то все ведаю... но ежели тебе боярский чин по душе, а царская шуба по плечу, то Москве поможешь взять того, от кого великая поруха быть может боярству, да и Дону вольному не малая беда...

— Подумаю боярин и не укроюсь -- шуба и честь боярская мне по душе!

— Вот и мекай, Корнеюшко, как нам лучше да ближе орудовать...

Атаман неожиданно встал за столом и зычно немного пьяно заговорил:

— Гой, атаманы, есаулы молодцы

— Батько, слушь!

— Слышим, батько-о!

— Голутьбу, отаманы приказуем держать крепко! приказую вам открыть очи на то, что с пришлыми по сиротской дорожке стрельцами, холопами и мужиками наша голутьба нижних и верхних городов сговор ведет... и ныне та година, когда царь белый мужиков и холопей присвоил накрепко к господину — много их побежит к нам и промышляйте о хлебе еще сказываю я!

— Не лей, Корней, на хмельные головы приказов!

— Лей вино, батько-о!

Переменив голос на более мягкий, атаман махнул рукой, бросив зазвеневшую чашу на пол, крикнул:

— Ге, гей, — дивчата!

Видимо, знали обычай атамана, ждали его крика — в сени хаты с крыльца побежали резвые ноги, комната наполнилась молодыми казаками и девками в пестрых нарядах. Появился музыкант с домрой и бандурист седой, старый запорожец. Атаман вышел из-за стола вместе с боярином. Крепко выпивший Корней Яковлев не шатался, только поступь его стала непомерно тяжелой. Пьяная казацкая старшина не тронулась

с мест и даже не оглянулась. Круг ел и пил, как будто бы в светлице кроме них никого не было.

— Эге, плесавки!

Атаман сорвал с двери московский подарок, кинул с размаха в угол, открыл другую половину, пришлые затопали туда. Бандурист в запорожском выцветшем костюме, красных штанах и синей куртке сел на пол, согнув по-турецки ноги, он зачастил плясовую. Домрачей в рыжем московском кафтане стоя вторил бандуристу и припевал, топая ногой:

Ах ты, домра, ты домрушка!
А жена моя Домнушка,
Пироги, блины намазывала
Стару мужу не показывала!
То лишь Васеньке ласковому.
Шатуну женам угодливому
Ясаулу разбойничку —
Человеков убойничку!

— Ото московско игрыще! «Свари мне чебака — а.
А нехай ее чертяка зыист!

Музыкант продолжал:

Я бы взял тебя, Васенька,
Постегал бы ты плеточкой,
Потоптал бы подметочкой.
Вишь боксы упокойным стать,
Не случится с женой поспать!¹⁴

Молодежь плясала. Позванивая колокольчиками на сапогах, плавала лебедем Олена в белой рубахе. Лицо ее не покраснело, как у прочих, но покрылось бледностью, от-того на бледном лице полузакрытые искристые, от наслаждения пляской, выделялись темные глаза и черные плотно сошедшиеся брови.

— Эх, Олена, дивчина! краше твоей пляски нет... кричал атаман, его тяжелый сапог слышен был, когда он топал ногой. Золотистые косы девки распустились, крутились в воздухе, сверкая красными бантами на концах.

— Стой, девчина-бес!

Зазвенев колокольчиками последний раз она топнула ногой и встала.

-- На же тебе!

Атаман набросил на шею девке тяжелое ожерелье из золотых монет.

За топотом ног не слышно песенников, чуть доносилось жужжание струн и звон подков на сапогах.

У белой стены, прислонясь спиной, стоял высокий казак, худощавое лицо хмуро. Глаза следили за Оленой. Атаман шагнул, опустил на плечо казака тяжелую руку:

— Эге, хрестник! нет плясунов — всех Оленка кончила...

Разин тряхнул буйными кудрями, молчал и как будто еще плотнее налег широкой спиной на стену:

— Приутих куркуленок! рано от гнезда взлетел... не то иные — учатся колоть, рубить, а ты на мах поганого пополам секешь, видал сам, видал, — и, дыша в лицо Разину хмелем, атаман тихо, почти шепотом прибавил; разбойник! но я люблю тебя, Стенько...

— Изверился я, хрестной!

— Не-ет! — атаман открыл рот и отшатнулся. Разин свистнул, отделился от стены:

— Место дай, черти!

Плясуны сбились в кучу к окнам. Взвилась над волосами сабля, засверкали подковы на сапогах. На кровати атамана, крытой ковром из барсовых шкур, сидел московский гость, его волчьи глаза следили за плясуном неотступно, но видел боярин лишь черные кудри, блеск на пятках плясуна да круг веющей сабли. От разбойных посвистов у боярина холодело в спине, а плясун ходил, веял саблей, его глаза при колеблющемся, тусклом пламени свечей, поставленных также на дубовой полке, горели, как у зверя. Московский гость вздрогнул, втянул голову в плечи и закрыл глаза, потом открыл их и тяжело вздохнул: высоко над его головой чуть звеня стукнула, вонзилась в стену сабля. Казак стоял на прежнем месте у стены, дышал глубоко, глядел, как всегда, угрюмо-спокойно. Зазвенели шаркуны на сапогах, Олена подбежала к нему, прижалась всем телом, сказала:

— Стенько, я люблю!

— Брось батьку дар!

Девка сорвала с шеи монисто, бросила на пол.

— К отцу, Олена.. благословимся, эй, хрестный! пошли саблю, у тебя своя лучше. Олена и казак ушли.

Атаман молча пнул с дороги брошенное девкой ожерелье и громко закричал пирующим:

— Гости, прими ноги! на чужый коровай очей не порывай. со стола не волоките ничего...

— Скуп стал ба-а-тько-о!

Хата атамана медленно пустела и наполнялась прохладой. Ушли все, только московский гость сидел с ногами на постели. крестился, шептал что-то. Атаман молча сел на край кровати.

— Зришь ли, Корнеюшко, молодца? таким быть не место, как он... таких скакунов земля-мать долго не носит...

— Знаю боярин!

— А и знаешь, Корнеюшко, да не все, чуешь ли беду, а я ее чую? Холопи на Дон бегут и Дон их примает!.. много их и веком бегало, а бунт не всегда крепок... бывает он тогда, когда такая рука, да удалая голова здынется из матерней утробы. и ныне знаю я, ежели не изведем корень старого Рази казака... его понесут завтра...

— Эге! вино твое не простое, боярин Пафнутий?

— Старичка нынче отпоют.

Атаман встал, зашагал по горнице и, видимо больше думая о своей обиде, тряхнул головой:

— Оленка-бес!

— Станешь боярином, Корнеюшко, ино мы тебе родо-витее и краше невесту сыщем...

Атаман подошел к двери, где недавно пировал круг, крикнул:

— Гей, козаки!

Боярин вздрогнул:

В светлицу вошли два дежурных казака:

— Проводите боярина в дальнюю хату, где дьяки спят... там ему налажено место!

Московский гость встал и не кланяясь подал атаману сухую, холодную руку:

— Доброй ночи, отаман! и доброй ночью посмекай, как быть лучше и что мной тебе наведено о том... ведаю я людей, тяжко тебе с вольного Дона неволю снять?... спихни эту не-

волю на нас. Москва она государская, людишек и места в ней много — Москва знает, что кому отсесть.

— Прощай, боярин!

Гость ушел, а атаман ходил по светлице, пока не оплыли до углей свечи.

II.

Фрол силился удержать старика, Тимофей Разя висел на руке сына, его гнело к земле. Голова вытянулась вперед, от света луны серебрилась щетина на казацкой голове:

— Ой, бате, грузишь, что каменной!

Старик выпрямился, остановился, сказал:

— Фролко! и ты берегись Корнея... Корней дюже хитрой, а пуше... старик не мог подыскать слова, память его слабела, мысли перескакивали — он вспомнил старое, бормоча запорожскую песню:

А шо то за хыжка,
Там на вырижку?
Ляхи сидилы,
Собак лупылы,
Ножи поломалы
Зубами тягалы...

Богдану — Батька! а тож с крулем увяз...

Эге, Фролко! кабы «гуляй городыну» ¹⁾ подволокли к московским палатам, да из фальконетов тай из рушниц пальнуть в царские, светлые очи! жисти не жаль бы за то старому козаку, пропадай козак!..

— Бате, идем же скорее!

— Эге, Фролко! — стой! дай мне на месяц, на небо поглянуть... Вырос я на поле, на коне, на море, ух, ты козацкий город! запорожский корень, на себеряном блюде стоишь... месяц, вода — хо-ро-о-шо!

Пришли в хату. Фрол с трудом уложил большого старика на кровать. Подошел, откинул доску, закрывавшую

¹⁾ Гуляй городына — башня, ходящая на колесах с лядьми; ее придвигали к осажденному городу.

окно: степной, свежий ветер подул в застоявшийся воздух. Густое лунное пятно упало в дыру окна. Молодой казак подошел к столу, в корыте светца нашел огниво, высек огня, зажег дубовую лучину, потом вторую, воткнул в черное железо:

— Сыну — Фролко?

— Что, батя?

— Налей, козак, в корец арьяну с водой... мало воды лей!..

Черноволосый подросток, сбросив из воловьей шерсти кожух на скамью, дернул кольцо двери в подвал, слезал туда и принес в ковше деревянном кислого молока с водой.

Добре сыну, нутро жжет, и пот долит... сам я — дай руку! щупай, вот... весь, як будто крыга весной, холодной и шершавой, а нутро—што черти пули льют в поход на ляхов...

«А що то за хьжка?»

Там на «вырыжку»? и голоса не стало, а добре пел еще сей день, язык как камень... сыну, дай еще арьян!

— Да, батя, у нас нет боле... може, у Стеньки есть арьян, то хата его на замке — годи, я поищу под рундуком ключа.

— А-а? заперто! не ищи... будь тут... «ножи поломалы, зубами тягалы»... добрая, Фрол, песня—мы под Збаражем ляхам играли ее... ха, ха... тай под Збаражем, штоб ему Бурляя кончили ляхи — еге, богатырь был Бурляй! в шесть рук Синоп пожог... фунт табаку совал в трубку, пищаль ли саблю в руки и бьет мухаммедан, как саранчу... коло лица, ночью огонь! от табаку усы и чуб трещат... один сволачивал челн в море со всей боевой поклажей... в шинок влезет, того гляди потолок обвалит... ого, коня на плечо подымал с брюха... жжет нутро! ой, Фрол, — жжет, слушай:

— Я тут, батя!

— Хто там цапает? пищит, слушай... а?

— Сокол, видно, цепкой опутался он так!

— Эге, сокол?... сокола буде, не надо держать — тебя и Стеньку он не знает, а мне, видно, мал свет... раздень!

Фрол стал раздевать старика.

— Тащи все! тащи прочь, дай чистую рубаху... вот, вот — ладно! пойду на майдан — выйду объявить: женится старый козак Разя.

«Повенчала его сабля... сабля... сабля»...

Старик с трудом встал. Лицо горело пятнами, веки опухли, мешками опустились на глаза.

Шатаясь и худо видя пол, в длинной белой рубахе, босой на желтых искривленных ногах подошел к окну, где пищал сокол:

Птица злобно рвала клювом цепочку, клюв потрескивал:

— Стой — сарынь! давно не был на воле... стой же, пушу... Фрол, помоги, не вижу...

— Он щипется, батя!

— Ну, козак! всякому удалому козаку — смерть на колу, а худому у жонки в плахе, не бойсь, рук не порвет до плеч...

— Я не боюсь, да он крутится!

Сокол пищал злобно, рвал цепочку, мелькал сизыми клочьями перьев. Старик взял его в руки и тихо сказал: сарынь, — жди!

Сокол злобно вертел головой, но не клевался и ждал. Фрол распутывал на нем ржавую железную цепочку: — Отстегни, сыну, — выпустим... слышал, что-то видно?... слышал, не спраста он...

— Ночью не полетит?

— Полетит — спущай цепку: сокол, почуяв свободу, прыгнул за окно.

— Полетел?

— Да, взвился ишь!

Старик, не морщась, заплакал:

— И месяца не вижу... темно... тьма, тьм-а... поклон — сарынь сыну Ивану что в отоманы... ой, жжет! Фрол, арьян, арьян! Москва... Стенько сказал, а а... держи — Фрол, где ты?..

Подросток не мог удержать старого казака. Тимофей Разя осел на пол, седая голова на тонкой, коричневой от загара шее, низко склонилась. Фрол, напрягаясь, силился поднять отца, чувствовал, что не может, и опустил холодное как камень тело...

Подросток беспомощно постоял над мертвым отцом и ушел на кровать, уткнувшись в заячьи шкуры, заменявшие подушки, заплакал: ему казалось, что он виноват в смерти отца:

— Не дать ему сесть до полу, жил бы?

Отец, как Стеньку, так и его учил владеть саблей, на коне скакать, колоть пикой. Умел старик во время упрекнуть и поддержать храбрость.

— Батя мой, батя...

Лунный свет падал в окно, когда Фрол поднял голову; ему послышались голоса, лунный свет в окне стал шире, а по телу Фрола пошли мурашки. Он все забыл и слушал, полукрыв рот, голос девки:

Девка, не зная и не желая того, волновала подростка Разю:

— Стенько, не обрядна я и не пойду к твоему батьке... годи, завтра обряжусь, не бойсь приду, буду, как все, тебя в мужья просить...

— Оленка, перестань! не надо — нарядна, куда больше — сегодня отцу все скажешь, а завтра на майдан — народу поклонись и я скажу — «Беру тебя в жоны!» попа к чорту...

— Ну ин ладно!

Торопливые руки начали шарить дверь. Фрол вдавил лицо в заячьи шкуры:

— Эй, Фролка! Сатана ты, где огонь?

— Погас, огниво в светце, лучина!

Слышно было, как тяжелая рука била кресалом по камню:

— Фрол! — где батя?

— Гляди на полу.

Лучина попала сырая, снизу вороха. Степан ударил нетерпеливо по светцу и погасил тлеющие огарки. Полез под кровать рукой, нашарил ящик, вынул две сальных свечи зажог.

— Эй, Фрол! пошто на полу отец?

— Он застыл, Стенько!

— А, а-а! Фрол, беги на площадь — ту близ, справа до-роги хата, в ей греки живут — и баньяны разны — понял?

— Понял!

— Там знаю я — немчин лекарь проездом стал, води его... скажи... да, на вот талер — еще дам! скажи не пойдет — с пистолем, заставлю.

— Бегу, Стенько! скажу...

— Ой, Олена, ежели мой отец отравно пил, я московитов бояр не спущу даром... Ты гляди — рука? — она камень, так не помирают с добра... Подойди — старик мертвой, а не бойсь — золотой... В море малого меня брал пищали заряжать... учил переходить на конь — реки. и первый я из всех рубил, колол, от атамана уздечки, седла, зато дьявол! что сказываю? все знаешь сама.

— Знаю...

— Ходи, не бойся — вот его рука, подымаю, — он живой, дал бы согласие... а? ты моя Олена? беда, ой беда! батька старый Тимоша, отец, отец! Молодой казак стоял на коленях и тербил свои кудри. Девка держала казака за плечи:

— Долго? пойдет ли немчин? ино сам пойду.

— Ты плачешь. Стенько? я буду крепко любить...

— Не целуй, не висни, Олена! и не знаю я... что?

Открылась дверь. Торопливо почти вбежал Фрол, за ним двое немчинов в черных плащах вошли в хату. На головах черные шляпы с высокими тульями и белым перьем. Оба в башмаках при шпагах. Один остался у дверей, оглядывался подозрительно. Другой на тонких ногах решительно подошел, нагнулся к мертвому, потрогал под набухшим веком остеклевший глаз старика, пощупал холодную руку:

— Ту светит! ту светит! — призывал он. Степан водил огнем свечи, куда показывал лекарь.

— tot! Помер, можно казать...

— Отрава или нет? Да правду сказывай, черная сатана!

— Мой правд — завсегда — правд! Стар... сердце, — пил вина?

— Пил — был на пиру?

Другой черный подошел и, не трогая старика, нагнулся, долго внимательно глядел на мертвого.

— Не знайт! — сказал лекарь, — пил вина, от сердца ему смерт... шварц дас гезихт? — обратился он к другому, как бы призывая его в свидетели. Тот молчал.

— Уходишь, немчин?

— Зачиво больше ту?

— Бери талерь, пришел — бери! и все же лжешь ты, черный дьявол!

— Нейт, лжа, нейт, қозак!

Немцы ушли.

Луна была такая яркая, что песок по узким улицам белый днем, белым казался ночью. Шли иностранцы мимо шинков, закрытых теперь: воняло водкой, чесноком и таранью. Синие тени, иногда мутно-зеленые лежали от всех построек, от мохнатых крыш из камыша и соломы. Тени от деревьев казались резко и хитро вырезанными. Немцы прошли, мимо часовни с образом Николы, прибитым под крестом, возглавляющим навес. Часовня рублена из толстого дуба, навесом походила на могильные голубцы, похоже было, что часовню рубил тот же мастер. Здесь иностранцы пошли медленно. Доктор сказал.

— Пришлось много спешить нам! дикари грозились... устал я...

Кругом была тишина и безлюдье, только изредка выли собаки и где-то далеко, далеко в камышах голодно отзывался шакал.

Другой немец спросил:

— Почему, доктор, ты удержал истину? старый дикарь явно оравлен...

— Я много наблюдал эти и иные страны — московиты, узнав от врача правду, о насильственной смерти, убивают не виновника ее, а того, кто вывел им причину смерти, ибо преступник далеко, но возмущение тревожит сердце варвара... эти же, кому пришли мы свидетельствовать о смерти, еще более дики, чем московиты. и невоздержны в побуждениях, подсобно римским легионерам, в походе они убивают даже своих начальников и возводят других... убить для них — высшее наслаждение, потому им правда не нужна! Мой друг, мы в сердце самой Скифии, а не в Европе... заработав от них плату за наше беспокойство, мы за сохранение жизни своей обязаны благодарить всевышнего бога, что можем еще приносить пользу той стране, которая дала нам жизнь... Немцы говорили на гольштинском наречии.

— Какая прекрасная женщина находится при этом варваре — ты посмотрел на нее, доктор?

— О, да! у ней могучее тело и детское лицо, но там так темно и, как везде у дикарей — очень скверно воняет шкурами

и рыбой... могу засвидетельствовать: взгляд казака необыкновенный и голос проникает до сердца. Зная истину, я с трудом удержал ее, чтоб не сказать ему — о, тогда нам пришлось бы бежать отсюда, ибо не знаем мы, какие последствия были бы нашей правды... я же хочу подождать баньянов, рассчитывающих на барыши от разбойников... я намереваюсь с купцами поехать в Индию — страну Браминов, целебных растений и великих чудес!

— Здесь глубокий, песчаный грунт, доктор, я изорвал чулки, а носить неуклюжую обувь не привык.

— Вы правы! я думал об этом. Немцы неторопливо и разговаривая вошли в большую хату на площади — постоянное пристанище иностранных купцов.

III.

В обширной хате в глубине атаманского двора устроились московские гости — боярин и три дьяка.

Внутри хата убрана под светлицу: ковры на стенах, на полу тканые половики, большая печь с полаткой и трубой — хата не курная, как у многих, хотя в ней пахнет дымом, а глубокий жараток набит пылающими углями. Окна затянуты тонко скобленным бычьим пузырем, свет в избе тусклый, но рамы окна можно сдвинуть на сторону — открыть на воздух. Опасаясь жадных до государевых тайн ушей, боярин Пафнутий Киврин не открывал окон, но, распахнув дверь в сени, выпускал жаркий и угарный воздух избы. Боярин встал рано, открыв новгородского дела синий сундук, окованный узорчатым серебром, достал дедовский, медный, под золотом, складень с изображением многих праздников, примостил раскрытый складень в углу на столе и, приклеив перед ним восковую свечу, зажег ее лучиной.

Раньше, чем встать на колени перекреститься, проворчал:

— Образов нет, а чтут ся христианами... в церкви почасту войну решают...

И, держа пальцы в двуперстном сложении, крепко пригнетая их во время креста ко лбу и груди, стал молиться. Мутный свет ползал по его желтому голому черепу. Боярин не зашекивал дверей в горенку, где жили дьяки — он любил досма-

тривать своих людишек. Во время молитвы лезла в голову неотвязная мысль, боярин размахистее молился, стучал лбом, кланяясь в землю, но не мог устоять, подумал: «здесь надо с людишками иной потуг, ино сбегут в козаки, тайны наши разглаголят».

Против дверей, в другой половине, дьяки обедали. На широком столе с голубой скатертью стояло большое блюдо жареных чебаков, с поливкой из красного перца, тут же насыпанная до краев сушеными шемайками — мелкими рыбами, площадка глазированная, красной глины:

— Штоб их сотона взял чубатых! просил баранины, они же, трясца их бей, щусей нажарили, — зычным басом сказал молодой дьяк в нанковом кафтане длинноволосый и русый.

— Запри гортань! — тише... боярин на молитве, лжешь. Зри-ко — тут леши, да корюха сушена...

— Бузу завсегда лопают, нам ублажают ее... просил квасу — нет! Мне брюхо натянуло с бузы, как воеводский набат...

— Ой, Ефим! станешь в ответе боярину... Ой, детина, мотри...

Ели дьяки руками, поевши покрестились, вытерли руки о полу кафтанов. Два бородатых дьяка, Ефим молодой, едва показались усы.

Молились дьяки своим образам, в хате хозяйских образов не было. В половине дьяков на стене висела только лубочная картина местного изготовления: неуклюжий казак в красной шапке в синей куртке, в штанах красных, заправленных в сапоги не по ноге, колот длинной пикой сломившегося назад ляха в зеленом кафтане, в голубой шапке с красным пером. Внизу крупная надпись: «Бисов Ляше, у Богдана батька пляшет», младший из дьяков, вторя скрипу отодвигаемого окна, громко испустил газы, говоря:

— Хорошо бы у чубатых! свет велик, только ветром песку много метет, зубы скрегчат...

— Сказываю, боярин на молитве, пождал бы спущать дух, поспеешь, мы вон терпим...

— Ни, што, знает он.

— Знать тебя знает, да на Москве в гости зазовет — в разбойном там спустить, у заплочного...

Молодой дьяк тряхнул волосами:

— Бит так бывал от него, а у заплечного мне быть не к месту, я не тать.

Кончив молиться, боярин степенно и строго вошел к дьякам, захватив по дороге свой посох. Дьяки низко поклонились касаясь пальцами полу.

— Утомился, боярин? просим отведать наше немудрое яство! Я обедки приберу, сменю скатерть и кликну, чтоб дали самолучших яств...

Молодой дьяк говорил суетливо, готовый бежать. Боярин остановил:

— Не вместно мне с вами — зван к отаману, а вот дух густичь беспричинно... клоп за тобой, детина, ездит, как за ханским посланцем вошь в кибитке.

Старшие дьяки стояли, склонив головы, ждали, когда боярин будет говорить тихо, почти шопотом, тогда боясь, но боярин ровно и громко продолжал. — Взят ты мной, Ефим, юнцом малым, книжному урядству обучен и чернила приправлять, а ныне дозволение я оказал тебе многое, даже листы государю составлять доверился, ты и не помыслишь, сколь великой чести уподоблен — клопа ведешь за собой...

— Прости, боярин, то клоп от тихого испускания духа живность имеет, от трескотного старания не зарождается...

На возражение дьяка боярин стукнул посохом в пол и нахмурился, что-то хотел сказать, но в воздухе за окном слышалось многоголосое пение, прогремело:

— Ура-а, бра-а-ты!

Вздогнула земля от залпа пушек. Боярин побледнел:

— Что это? Ефим, беги, проведай!

Бородатые дьяки бросились к окнам. Младший стоял спокойно.

— То, боярин, с моря шарпальники вошли, свои чубатые стрету бьют...

Боярин ожил:

— Вот за то и люблю тебя, Ефим, что знаешь все, что затевается у них... ох, угарно у меня, голова что-то скомнет, на ветер-ба ино ладно, да боюсь...

— Чего убоился, боярин?

— Ведь мы послы от государя, мног народ очи откроет, а народ вор, злонравной народ! Отаманов своих мало слушает, так зло бы кое над нами не учинили?..

— Страх мал, боярин! Турской посол, персицкой и иные в их городишке почасту стоят, мы как все — сбыкли они к послам, ей-бо!

— А, так? я вот ормяк накину и пойдем — ормяк хоша скорлатной да покроем всего к месту ближе...

— Дай подмогу тебе, боярин!

Молодой дьяк вывернулся впереди боярина в сго половину. Пожилые с завистью глядели вслед; когда боярин занялся платьем, один сказал:

— Обезит нас Ефимко! боярина водит, как выжлеца на ремне...

Другой также чуть слышно ответил:

— То правда, Семенушко! обезал уж...

Боярин Пафнутий с дьяками неторопливо вышли за плетень атаманского двора...

Со сторка видно им реку белую от солнечного света. На серебре струй московские гости увидали страшные им челны «шарпальников», длинные с длинными веслами, почерневшие от воды и порожского дыма, опутанные толстыми ребрами пучков из прутьев камыша. В челнах люди — в бархате, золотой и серебряной парче, в ксврах, в красных шапках запорожцы, в бараньих — донцы

— Сатанинское сборище... Боярин, бодая песок посохом, двинулся вперед. Дьяки за ним.

Толпа казаков выскакивала из челнов на пристань. На пристани другая толпа своих била в котлы — литавры, играла на трубах и дудках. Тут же с берега стреляла холостыми из длинных пушек на дубовых колесах. По серебристой воде ползли тучи дыма, пахнущие порохом.

Крики сотен голосов:

— Бра-а-ты с моря-а!

На бревенчатую пристань казаки из челнов вели пленных (ясырь). Мужчин связанных и оборванных, с чужими бронзовыми лицами, в крови и царапинах. Полуголых женщин

в пестрых штанах. Женщин казаки вели несвязанными и за косы. Один запорожец, саженого роста с усами вниз, падающими на могучую грудь, в разорванной синей куртке, в плаще из сизого атласа, скрепленном у подбородка золотой цепью, коричневыми руками с безобразными жилами держал за косы двух молодых турчанок и, когда подходил с ними к кому-нибудь из мужчин, то кричал пленницам:

— А ну, перехрестись!

Турчанки неумело крестились.

— Покупай, братья, ясырь-всяка, хрестится, жена будет!

Лица вернувшихся с моря в черной крови, в запекшихся шрамах, рухи тоже. Пестрая толпа с пристани направилась к часовне на площадь.

— К Мыколы! Морскому святому молебен за живое вертание с моря...

— Хто письменный? он пушай и попом буде!

— А ну хрестись!

— Гундосый, ты?

— Тарануха?! козак, здоров? дай пощупаю — жив...

Люди, вырвавшись из зубов смерти, из холодной утробы моря, радостно до ошаления смеялись, кричали, пели. Недослушав молебна, растекались по улицам, лезли в шинки, пили и ели. Кричали:

— Гей, крамарки (торговки) подавай бузу, тарань шемайку...

Торговки с корзинами из тонкого камыша жались к шинкам и бойко распродавали рыбу, хлеб, куски жареной баранины. В одном месте московские гости увидели будку, закрытую дубовыми бревнами с трех сторон, открытую с четвертой, закиданную камышевой крышей с дерном. В ней на ярком солнышке, на обрубке дерева сидел весь коричневый и рваный в лохмотьях красных штанов, в лаптях и синей выцветшей куртке-зипуне, запорожец. Уличный цирюльник ржавым кинжалом скоблил ядреную голову казака, поливал ее из широкого глиняного горшка мутной водой, мылил куском грязного мыла. Тут же точил свою полуаршинную бритву о точило, стоявшее на земле, поливал точило той же водой из горшка, правил нож о голенище сапога.

Запорожец, когда цирюльник с треском, словно счищая с крупной рыбы чешую, начинал скоблить его голову, жмурясь от солнца, кричал:

— Эге, добре! брий, хлопец, гладенько, не зрежь тилько оселедьца. Гоздек (колтун) у запорожцев не живет, живет гоздек у донцов — воны волосы рошат, запорожци усы мають бород им не надо! то московитска краса... запорожцу бороду не можно носить, то яйцки козаки носят, воны тож московитски данники. Иногда соскакивал с головы ляпак кожи, поцарапанное во многих местах бритьем скуластое лицо цирюльника хмурилось, он начинал усердно мылить порезанное место, поливая водой и смывая с лица казака льющуюся кровь. Казак успокаивал цирюльника.

— Плюй, хлопец! и посыпь земли. То не кровь, кака то кровь? запорожска шапка красна; пид ей крови не видно!

Боярин сказал:

— Дьяче! все надо досмотреть и дослыцать... он отошел от ларя цирюльника, встал в другом месте.

— Засвежи его сотону! — сказал про себя молодой дьяк, глядя на работу брадобрея, но, вскинув глаза, увидал, что боярин и два дьяка впереди пошел к ним.

Тут четверо казаков, накинув на себя вместо жупанов ковры персидские и турецкие, кричали о своих подвигах:

— Наспускали мы им, братья, нехристям, бревен, колотят тьи бревна о цепи — бурун метет волны... мы-ж в камышах ждем!

— Стой, Лаврей! не то... дай я скажу: тьма, ветер, голову с плеч рвет, а турчин, знай, дует по бревнам из пушек! бревна тай лезут на цепи, кидает их, цепи брежчат, как в аду, а турчин вое: «Алла. Алла! Бузлы-джи! ого, бусурман, и тебе на берегу холодно? да так и отсиделись в камышах, а как они иззябли, да палить утихли — мы скок в море.

«Бей мухаммедан!»

С саблей, усатый, в синем нарядном кафтане, подошел атаманский писарь.

— И все вы, братья, тут проскочили мимо Азова?

— Не, козак! иные переволоклись в миюс с донца, миюсом в море, да и к нам тож пристали.

Толпа прибывала и теснилась; слушали, расспрашивали вновь. Удальцы, чтоб, наконец, отвязаться, обратились к писарю:

— А ну письменный! кажи ты, что знаешь ..

— Чого ему знать? он у Корнея у круга сидит!

— Будую вам, козаки-браты, честь, как запорожский отоман Серко судил с салтаном...

— Эге, добре!

— То послушаем! на бочку, ставай на бочку...

Прикатали бочку, доску поперек дна кинули, подняли писаря:

— Чти-и!

Человек в синем поправил шапку, саблю одернул, вытащил из-за пазухи пачку бумаг, посплюнвив палец, перелистал и крикнул, взглянув на головы и шапки:

— А ну, не бодайтесь! бумагу спрятал, а которую читать бережно и медленно развернул, прочел громко: «кошевой отоман Серко Крымскому Хану мураду».

— Эй, чего чтешь?—чти к салтану турецкому!

— А-ту, к турецкому салтану бумагу, я, козаки-браты, в станичной избе заронил, не сыщу!

От многих рук, вскинутых вверх, по белому песку замотались голубые и синие тени.

— А нехай ее чертяка зъист!

— Чти, коли Крымскому.

— Ну, козаки, чту: «Братья наши запорожцы с вождем своим воюючи в човнах по Евксипонту ко-с-ну-ли-сь мужественно и самых стен Константинопольских и оные довольно окуривали дымом мушкетным, при великом султанове и всем мешканцам царе-градс-ки-им сотворили страх и сме-те-ние и некоторые одле-гле-йшие селения Константинопольские запаливши толь счастливо и з многими добы-чами до коша своего по-вер-гнули».

— То Нечай с Бурляем запорожцы! хорошо привиталися с Турчином.

— И мы нынь его не забуваем!

Боярин сказал:

— Примечайте, дьяче, шарпальникам государев запрет ни што, приказано им турчина не злить...

Толпа, потная и пьяная, лезла слушать, надеясь, что писарь будет читать бумагу к султану. Солнце жгло головы и плечи. В глубоком небе чуть заметно, как муха на голубом высоком потолке, стоял над толпой какой-то воздушный хищник:

— Куркуль реет?..

— Где? не вижу—эге, высоко!

— Высоко, бисова школа!..

Писарь слез с бочки, козаки с моря кричали:

— Ты, письменный, пошто Дону служишь?..

— Служи запорожью!

— Запорожцы никому не продались! низовики продались Московскому царю.

— А бо-дай, вона выдыхала царьская Московия и с царем из родом его!

«С турчином греха не заводить и ждать указа», ведь так, боярин, писано государем и великим к нязем? — спросил один дьяк.

Боярин, гневно тыча в песок посохом, водя по толпе глазами, сказал шепотом:

— Разбойники позорят поносным словом имя государево, не гоже нам быть тут! Москвичи двинулись дальше.

ОТКРЫТА на 1925 год ПОДПИСКА

на

3-й год издания

„Рабочий Суд“

52 номера в год

Издаваемый при ЛЕНИНГРАДСКОМ ГУБЕРНСКОМ СУДЕ журнал

„РАБОЧИЙ СУД“

имеет задачей отражать всю законодательную жизнь Советской России и разъяснять гражданам вопросы Советского права, как в области судебной, так и административной.

„Рабочий Суд“ представляет необходимое руководство и полезное пособие для Госучреждений, общественных и частных организаций, кооперативов и трестов, жилищариществ и торгово-промышленных предприятий.
а также для всех граждан, ведущих деловую работу.

В журнале сотрудничают ответственные работники—юристы, знатоки Советского права, и работники коммунального хозяйства.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: — с доставкой и пересылкой на 12 месяцев—10 руб.

Допускается рассрочка: при подписке 4 р., 1 мая—3 р. и 1 августа—3 р.

Наряду с журналом „РАБОЧИЙ СУД“ в 1925 году, по образцу прошлого года издается особый приложение двухнедельный иллюстрированный журнал

„Суд идет!“

Изобразить Суд во всех стадиях процесса, на всех путях искания истины— в работах обвинителя, защитника и судьи, развернуть картины преступлений, осветить уголки преступного мира, дать галерею типов преступников, прошедших перед Судом, показать результаты розыскной работы органов дознания, ознакомить с жизнью мест заключения на новых началах трудового исправления, раскрыть все, что преступно и враждебно новому революционному строю жизни, разоблачить дорев люционное прошлое, со всею его затаенною неправдою, его былым гнетом и насилием, осветить недостатки отживающего быта и отметить недочеты нового уклада жизни, вскрыть „богатое наследство“ старого строя—обывательщину и мещанство, суеверие и предрассудки, и наметить пути и способы izbьть его в новых условиях трудовой, просвещенной жизни—программа нашего журнала.

Каждому должна быть близка и интересна работа Суда, потому что пред Судом проходит вся наша жизнь, вся ее правда и неправда, и познать эту работу и готовиться к ней должен каждый сознательный гражданин, каждый трудящийся Советского государства: каждый из нас—будущий судья, народный заседатель, общественный обвинитель, защитник.

в 1925 году

„Суд идет!“

24 номера.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ: за год 6 руб.

Допускается рассрочка: при подписке 3 руб.—остальные 3 руб.—1-го мая.

Подписка принимается

в конторе: Ленинград, Проспект 25 Октября д. № 54
а также чрез особо-уполномоченных агентов и вoвсех почтово-телеграфных учреждениях СССР.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1925 год
№ 6 ЖУРНАЛА „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ ВЫШЕЛ И РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ.

“ВЕСТНИК ЗНАНИЯ,”

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Ответственный редактор академик-профессор **Вл. М. Бехтерев.**

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ знакомит читателей с новейшими достижениями научной и художественной мысли в общедоступном живом изложении, иллюстрируя богатый и разнообразный материал рисунками, портретами, чертежами и репродукциями с картин и фотографий.

ДЕВИЗ ЖУРНАЛА: самодеятельность, самообразование, организованный творческий труд.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА: Бехтерев, Вл. М., акад.; Богданов-Катков, Н. Н., проф.; Бонди, Вл. А., Большаков, А. М., проф.; Богаевский, Б. Л., проф.; Боцловский, Вл. Ф.; Быков, П. В., Вагнер, В. А., проф.; Вейнберг, Б. П., проф.; Васильковский, П. Е., проф.; Генкель, А. Г., проф.; Генкель, Г. Г., проф.; Гервер, А. В., проф.; Греков, Б. Д., проф.; Гушин, Б. П., проф.; Глазенап, С. П., проф.; Глинка, К. Д., проф.; Груздев, В. С., проф.; Грузенберг, С. О., проф.; Гуров, В. А., радио-инж.; Дебу, К. И., проф.; Державин, Н. С., проф.; Загребин, В. Д., проф.; Коган, П. С., проф.; Кони, А. Ф., акад.; Котляревский, Н. А., акад.; Кузнецов, С. С., проф.; Ловягин, А. М., проф.; Лукомский, Вл. К., проф.; Луначарский, А. В., Наркомпрос, проф.; Лященко, А. И., проф.; Малеин, А. И., проф.; Марр, Н. Я., акад.; Модзалевский, Б. Л., проф.; Морозов, Н. А., проф.; Надсон, Г. А., проф.; Нелимов, А. В., проф.; Новорусский, К. В., проф.; Ольденбург, С. Ф., акад.; Оршанский, А. Г., проф.; Палибин, И. В., проф.; Передольский, В. В., проф.; Перельман, Я. И., Платонов, С. Ф., акад.; Позднеев, Д. М., проф.; Пресняков, А. Е., проф.; Рожевец, Р. Ю., Рымкевич, П. А., инж.; Салтыков, Л. Н., проф.; Святский, Д. О., проф.; Серебряков, К. К., приват-доцент, Синов, И. А., проф.; Сум, Н. Э., проф.; Тан-Богораз, В. Г., проф.; Усков, М. В., проф.; Федченко, Б. А., проф.; Ферсман, А. Е., акад.; Фармаковский, Б. В., проф.; Чехов, Н. В., проф.; Ширев, А. Г., Шокальский, Ю. М., проф.; Шнейберг, П. Н., проф.

В ТЕЧЕНИЕ 1925 Г. ПОДПИСЧИКИ „ВЕСТНИКА ЗНАНИЯ“ ПОЛУЧАТ:

24 №№ ЖУРНАЛА: ОЧЕРКИ И СТАТЬИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЯ И ОБЗОРЫ
12 КНИГ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ НАУЧНОГО ХУДОЖЕ-
СТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА.
ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХ СОЧИНЕНИЙ. В ОБЩЕСТ. ФОРМЕ ЗНАКОМЯЩИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ С ПРОГРЕССОМ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ.

- КНИГА**
1. ПОЗНАНИЕ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ СССР. Акад.-проф. А. Е. Ферсмана.
 2. РАБОТА ГОЛОВНОГО МОЗГА. Акад.-проф. Вл. М. Бехтерева.
 3. ПОРАБОЩЕННЫЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ. Инж. П. А. Рымкевича.
 4. НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ. Проф. В. В. Передольского.
 5. В МИРЕ НЕЗРИМЫХ РАБОТНИКОВ ПРИРОДЫ. Проф. А. Г. Генкеля.
 6. УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ. Проф. К. И. Дебу.
 7. НАУКА О МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ. Проф. Б. В. Фармаковского и проф. Б. Л. Богаевского.
 8. ГРЕЗЫ И ДУМЫ ВОСТОКА. Очерки литературы Персии, Японии и Китая. Проф. Г. Г. Генкеля.
 9. МИКРОСКОП, КАК ЕГО САМОМУ СДЕЛАТЬ. Приват.-доцента К. К. Серебрякова.
 10. ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ В ПОЛЕ. Заслужен. проф. Д. Глинки.
 11. КАК САМОМУ ПОСТРОИТЬ ПРИЕМНУЮ РАДИО-СТАНЦИЮ. Радио-инж. В. А. Гурова.
 12. ИЗУЧЕНИЕ БЫТА НАРОДОВ. А. Д. Александрова.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на журнал «Вестник Знания» **8 рублей** с пересылкой. Допускается рас-
срочка: при подписке 4 руб. к маю 4 руб.

Цена номера в отдельной продаже 60 коп., с пересылкой 75 коп.

Подписка принимается в Главной Холторе Издательства „Л. Л. Сейкин“
Ленинград, Стремянная, д. № 8.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ленинград, Дом Книги, проспект 25 Октября, 28. Телефон. 132-44, 570-14.
Москва, Тверская, 51. Телефон 3-92-07, 4-92-31.

2-й год
издания

„ЗВЕЗДА“

2-й год
издания

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

Под редакцией И. Майского

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1925 ГОД

В течение 1925 года выйдут шесть книг, размером в 20 печатных листов каждая

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

В. Апушкин, А. Аросев, Р. Арский, А. Безыменский, В. Богораз, (Тан), А. Бубнов, Н. Бухарин, И. Васильев, В. Вегман, В. Вересаев, Б. Вишневский, Г. Горбачев, Б. Горев, И. Груздев, Ш. Дволайцкий, Дюрэ, П. Жуков, В. Зазубрин, Г. Зиновьев, Мих. Зощенко, Всеv. Иванов, И. Ионов, Н. Иорданский, В. Итин, С. Канатчиков, Ив. Касаткин, проф. Кашкадамов, А. Коллонтай, И. Кологривский, А. Крайский, Г. Кржижановский, М. Козырев, Л. Крицман, акад. П. Лазарев, Г. Лелевич, Ю. Либединский, И. Майский, С. Минин, проф. Н. Морозов, Том Мен, Ник. Никитин, Н. Осинский, М. Павлович, Е. Панфилов, А. Е. Плотников, Е. Преображенский, Карл Радек, Лариса Рейснер, С. Родов, М. Н. Рой, Г. Роланд-Гольст, И. Садофьев, Г. Сафаров, Дж. Серрати, Д. Сверчков, Д. Святский, С. Семенов, Г. Смоленский, Л. Сосновский, Ал. Тверяк, Н. Тихонов, А. Н. Толстой, Л. Д. Троцкий, К. Федин, проф. А. Ферсман, проф. Ю. Филиппенко, Клара Цеткин, Г. Цыперович, А. Черновский, Мариэтта Шагинян, К. Шелавин, проф. Л. Штернберг, И. Эренбург, В. Яковлева, Н. Яковлев и др.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА: художественная проза и поэзия, русская и переводная; общественно-публицистические статьи; научно-популярный отдел; критика и библиография; систематические обзоры международного положения и внутренней жизни СССР.

В 1924 году в журнале, между прочим, было напечатано: „Парижские олеографии“ и „Бунт Машин“ Алексея Толстого; „Из дневника 1918 года“ Александра Блока; „Копейки“ Сергея Семенова; „Европа и Россия“ Андрея Белого; *Неизданные рассказы* Н. Г. Чернышевского; „Песнь о великом походе“ Сергея Есенина, *поэмы и стихи* Н. Тихонова, А. Безыменского, Ильи Садофьева, Мих. Герасимова, Осипа Мандельштама.

В публицистическом отделе статьи: Г. Зиновьева „В. И. Ленин—гений, учитель, вождь и человек“, „Великий перелом“, В. Ленина „О карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме“, Ларисы Рейснер „В тени Гималаев“, статьи И. Майского, Ж. Дюрэ, Тома Мэна, Дж. Серрати, А. Луначарского, Н. Семашко и др.

В научно-популярном отделе поместили статьи: проф. Д. И. Мушкетов, Н. Рынин, ак. П. Лазарев, Я. И. Перельман, ак. В. Ипатьев и др.

В отделе критики статьи: Г. Плеханова, Г. Якубовского, Г. Лелевича, М. Майского, П. С. Коган и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА С ПЕРЕС. НА 1 ГОД — 10 РУБ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА:

При подписке—3 р. 50 к.

При выходе № 5—3 р.

При выходе № 3—3 р. 50 к.

Цена отд. номера—1 р. 80 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Торговым Сектором Госиздата: Ленинград, Дом Книги, Просп. 25 Окт., 28. Москва, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский, 4; а также провинциальными отделениями и представительствами Госиздата.

Во всех книжных магазинах имеются в продаже № 1, 2, 3, 4 и 5 за 1924 год.

Адрес редакции: Ленинград, Пр. 25 Октября № 28, Дом Книги, комн. 17.

Издательство „БЫЛОЕ“
НОВАЯ КНИГА
С ЦАРЕМ В ТОБОЛЬСКЕ

ВОСПОМИНАНИЯ **В. С. ПАНКРАТОВА**
комиссара Временного Правительства при Николае II
Цена 60 коп.

ПЕЧАТАЕТСЯ
РУССКИЙ РОКАМБОЛЬ

(Приключения И. Ф. Манасевича-Мануйлова)

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
Ленинград, Дом Книги, Проспект 25 Октября, 28. Телеф. 132.44, 570-14.
Москва, Тверская, 51. Телефон 4-92-07. 4-92-41.

„ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА“

Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в Чрезвычайной
Следственной Комиссии Временного Правительства (в 1917 г.).

Редакция **П. Е. Щеголева.**

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

- Том I — Допросы и показания Хвостова, А. Н. Климовича, Протопопова, Хабалова, Васильева, Штурмера, Бурцева, Наумова, Андроникова. Стр. XXX+432 Ц. 1 р. 75 к.
Том II — Допросы и показания Добровольского, Манасевича-Мануйлова, Макарова, Беляева, Голицына, Щегловитова. Ц. 2 р. 75.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

- Том III — Герасимова, Спиридонова, Комиссарова, Курлова, Воейкова, Трусевича, Вирубовой, Белецкого, Горемыкина, Виссарионова.
Том IV — Чхеидзе, Рейна, Фредерикса, Золотарева, Джунковского, Маклакова, Н., Челнокова, Иванова, Н. И.
Том V — Покровского, Н. Н., Головина, Ф. А., Хвостова, А. А., Игнатъева, Велепольского, Плева, Рейнбота, Волконского.
Том VI — Лодыженского, Маркова II, Нератова, Веревкина, Гучкова, Милюкова, Дубенского, Шингарева, Чаплина.
Том VII — Поливанова, Коковцова, Родзянко, Щербатова, Ледницкого, Лядова, Шувалова.

ВЫЛОЕ

№ 3 (31)

1925

Ленинградский Гублит № 14424.

Тираж 4500 экз. — 15.

Гос. уч.-практ. школа-типография имени тов. Алексеева. Ленинград. Красная, 1.

Помещичье хозяйство декабристов.

Дворянские гнезда Каховских, Повало-Швейниковских, Янушинных, Вишневыских.

В бывшем архиве сената сохранились описи атласам, планам и картам губерний и областей России; при некоторых из них имеются поузловые сборники экономических примечаний к городам, селениям и земельным усадьбам в огромных, красиво переплетенных фолиантах. Составлены они всего по 11-ти губерниям, и потому в целом, как статистический материал, не представляют особой ценности; но они могут служить интересным материалом для отдельных справок по земельным владениям и сельскому хозяйству помещиков и сельских обывателей в пору полного расцвета крепостного права. В числе помещиков нашлось не мало родителей и дедов декабристов. И тут эти краткие, сухие примечания все-таки бросают некоторый свет на хозяйственную и социальную обстановку, среди которой росли эти ранние революционеры из привилегированного сословия.

О полноте описаний земельных владений той или иной семьи не может быть и речи: в нашем распоряжении всего 11 губерний. Отсутствие примечаний к губерниям черноземного юга и Поволжья скрывает от нас самые доходные имения знатных вотчинников, да и множества представителей среднего слоя дворянства; отсутствуют Калужская, Орловская и многие губернии Севера и Сев.-Запада. Но и то немногое, что имеется налицо, все-таки, думается, заслуживает некоторого внимания обнаружения и должно быть присоединено к огромному материалу по истории декабристов и всколыхнувшегося вокруг них общества.

Не все примечания одинаково составлены; одни полнее, внимательнее отмечают подробности хозяйства, сколько вырабатывают заводы, например, сколько потребляют сырья и дров; другие короче, суше, иногда туманны и даже сбивчивы. Иные описания невнимательны к чинам и отчествам помещиков, что затрудняет исследователя, ищущего владельцев по определенному списку или генеалогии. Досаднее всего неполнота и неопределенность в отрывках о положении крестьян. Обычно они располагаются на три категории: 1) крестьяне на пашне, обрабатывающие землю частью на помещика, частью на себя, выполняющие, конечно, и другие повинности, о которых примечания всегда умалчивают; 2) на господском издеальи; трудно определить,

чем эта категория отличается от первой ¹⁾; и та и другая говорят о крестьянах, состоящих на барщине. Следует думать, что в этой категории повинности захватывают время и труд крестьян. 3) крестьяне на оброке, при чем изредка встречаются указания на его размеры. Оброки взимались не только деньгами, но часто и натурой, доставкой припасов.—Встречаются однако досадные уклончивые отметки: „крестьяне занимаются хлебопашеством и скотоводством“, и чаще всего в описании Тульской губ., конца 20-х и начала 30-х г. Любопытны указания на зажиточность крестьян; обычное, можно сказать, стереотипное определение: „зажитком средственны“; изредка мелькает: „зажитком хороши“,—своего рода аттестация помещику. Отзвук: „зажитком худы“, нашлись в одном Дмитровском у. Московской губ.

В своих выписках я пропускаю описания почв, сохраняя указания на чернозем; не привожу однообразных перечислений пород зверей в лесах и рыб в реках, отмечая лишь красную рыбу; указываю только на хороший и худой зажиток крестьян.

Свое изложение я начну с двух семей декабристов, относительно которых я имею кое-какие сведения из дел департамента герольдии, связав их с их земляками и предполагаемыми родственниками ²⁾. Эта маленькая группа принадлежит к среднему, отчасти, к мелкому слою дворянства. Первым выступает со своей родней П. Г. Каховский, яркий представитель той поры, когда отдаленные отзвуки периода бурь и стремлений на Западе переливались в настроения романтизма, герой интересной статьи Б. Модзалевского ³⁾ и прекрасной биографии П. Щеголева. Любопытно, что среди его родных кое-кто проявлял оригинальную, размахистую смелость затей, не оправдаваемую общей экономической обстановкой; таков отец декабриста, колл. асс. Григорий Алексеевич Каховский.

В департаменте герольдии сената ⁴⁾ сохранилось дело о дворянстве Каховских с маленькими родословными выписками, возникшее, как все подобные дела, вследствие утраты родовых документов. Смоленск со всей губернией тяжело пострадал от войны 1812 г. Множество документов погибло в городе и в усадьбах, и их владельцам пришлось много хлопотать о восстановлении своих прав. Капитан в отставке Аполлон Иванович Каховский начал дело о своих правах на дворянство в 1821 г. и в прошениях ссылался на свидетельство своих двоюродных братьев, Никанора и Петра Григорьевичей

¹⁾ В известном труде В. Семевского „Крестьяне в царств. Екатерины II“ встречается безразличное употребление терминов: на нахле и на наделъ. Стр. 47-я, напр. в прил.

²⁾ Все материалы, которыми я пользовалась, хранятся во 2-м отд. юрид. секции Ленинградского отд. Центархива.

³⁾ „Былое“ 1924 г. № 26 „Сто лет тому назад“.

⁴⁾ В дворянской родословной книге, сост. с 1787 по 1808 г., по Смоленской губ. Каховских не записано.

я самых знатных родичей, графов Каховских, сыновей ген.-аншефа Михаила Васильевича К., пожалованного в графы Павлом I. Оба брата, флота кап.-лейтенант Никанор и корнет Петр в 1821 г. были уже в отставке, — первый 30 лет от роду, а Петр — 20-ти, что противоречило его показанию, что он родился в 1797 г. ¹⁾ Ссылка на декабриста с братом встречается только раз, в начале дела; позже — опасного родственника нигде не называют. — Дело сообщает некоторые сведения о предках декабриста. Каховские или Коховские — выходцы из Польши, шляхтичи герба Нечуй, ведут свой род от шляхтича Юрия К., чьи сыновья Елевферий-Филипп, Матвей и Севастьян после взятия Смоленска приняли в 1655 г. русское подданство и православие. Им дали по 20 крестьянских дворов в селении Юры с деревнями. Служили они в ротах смоленской шляхты, дослуживались до стольников; получали новые поместья. После смерти стольника Филиппа Юрьевича осталась 291 душа крестьян. Полковник Василий Осипович в 1740 г. владел 647-ю душами, но оставил 6-х сыновей, что очень раздробило его владения. Сын его Михаил Васильевич, окончивший шляхетский корпус, делал блестящую карьеру, отличившись в турецкие войны и при завоевании Крыма, получил чин ген.-аншефа, служил генерал-губернатором пензенским и нижегородским и перед отставкой стал графом.

Потомство Ивана Осиповича Каховского не так многочисленно; оба внука его, Иван и Григорий Алексеевичи, дослужились только до чина коллежского ассесора и не обладали большими богатствами. Экономические примечания по Смоленской губ., составленные при Павле I (ген.-аншеф еще не именуется графом) знают Ивана Алексеевича тят. советником; за ним числятся в Поречском у. № 54. Сельцо Алексино (дворы не указаны) с деревнями Заваль и Красный Холм — всего 17 дв., 92 д. м., 102 ж. — Да деревня Новая, новопоселенная ²⁾, 6 дворов, 22 души м., 24 ж. Всего за дядею декабриста 114 душ м., 126 ж., вместе с совладельцами здесь 46 дворов, 199 душ м., 765 дес. пашни, 171 — покоса и 4590 лесу строевого. — За этим же №-м именование жены его Екатерины К. (без отчества) — деревня Катерининская, Фугалы тож, 5 дворов, 20 м., 17 ж. Крестьяне их на пашне.

Имение отца декабриста, Григория Алексеевича Каховского, в Смоленском у. № 124. Село Преображенское, вновь поселенное, 7 дворов, 23 души м., 19 ж. ³⁾ На суходоле, церковь каменная с оградой каменной. (Дома и усадьбы нет.) Сельцо Усть-на-Днепре и р. Сомине. 4 двора, 18 м., 23 ж., Деревня Заболотье, 10 дворов, 37 м., 42 ж. Всего у отца декабриста 21 двор, 78 м., 84 ж. (совладельцев нет), 234 д. пашни, 70 покосу, 217 лесу. Крестьяне на пашне. В этой местности гонят лес по Днепру — занятие местных крестьян.

В этих кратких отметках рисуется очень своеобразное отношение помещика к своим хозяйственным задачам: маленький чиновник, обладатель

¹⁾ П. Щеголев, Каховский. Стр. 6.

²⁾ После разделов Польши и расширения границы на западе, в Смоленской губ. заметно усиленное заселение свободных мест.

18 душ, поселяет часть их на новом месте не для устройства себе нового гнезда, нового центра своего хозяйства, а как бы только для того, чтобы воздвигнуть каменный храм и оградить его, как монастырь, камнем. Следует помнить, что в ту пору встречалось еще мало каменных церквей по деревням; богатые и знатные вотчинники спокойно довольствовались деревянными. Напрашиваются догадки: купцы охотно ставили храмы в благодарность за счастливый оборот дел, за особенно выгодные подряды; а чиновник? Не умилялся ли провидение, спасаясь от суда за то, что схватил лишний куш, обделал темное дело¹⁾? Во всяком случае, такое строение очень крупная жертва для маленького человека. Где было гнездо этого странного помещика? Где родился и проводил ранние годы обреченный держатель 14-го декабря? Опять набегает догадка. Б. Л. Модзалевский думает²⁾, что мать его была из рода Повало-Швейковских. Неподалеку, в том же Смоленском у. жила титулярная советница Нимфодора К. (без отчества), владела селом Старинкой с господским деревянным домом и плодовым садом, и деревней Старинкой, с 5-ю дворами, 17 душ. м., (чино мог быть записан по старой бумаге). А поблизости находились имения бабки декабриста Повало-Швейковского, вдовы статской советницы Анны Ивановны (владелицы более 800 душ), — Старина Старая и Старина Новая с 63 душ. м. Только это сходство названий и намекает на возможность переселения отданных в приданное за дочкой Каховской душ. Тогда Старинка могла быть родным гнездом будущего декабриста. Пропуск отчества Нимфодоры К. (мужа вдовы Повало-Швейковского звали Иваном Яковлевичем), оставляет близость ее к П. Г. Каховскому в области очень туманных предположений³⁾.

Интересны бесцельные, ис-дворянски смелые размах хозяйственных затей другого родича Петра Григорьевича. В Краснинском у., за поручиком Николаем К. записано: № 349. Сельцо Аннополь, 1 д., 10 м., 11 ж. Каменный господский дом в 4 этажа с 2-мя плодовыми садами и оранжереями, 2 мельницы. Рядом 4 деревни, хорошо населенные. Всего 79 дв., 288 м., 299 ж., 1033 д. пашни, 47 покоса, 218 лесу дровяного. Крестьяне на пашне. И название сельца и размеры дома, напоминающие старо-польские вельможные замки, свидетельствуют о высоких претензиях владельца. По родословной тогда было два поручика Николай К.: немолодой в отставке, Николай Васильевич, брат графа-аншефа, и поручик граф Николай Михайлович, старший сын последнего. Поручик дядя, состоятельный и расчетливый помещик, имел уже в Ельнинском у. каменный двухэтажный дом с садами и оранжереями, и неправдоподобно, чтобы он решился на постройку другого огромного жилища. Поэтому, обладателем замка следует считать молодого графа Нико-

¹⁾ По указанию некоторых лиц, в бывшем государственном архиве хранится дело о чиновнике Каховском.

²⁾ „Былое“ 1924 г. № 26, стр. 11, прим. 24

³⁾ В дворянской родословной книге по Смолен. губ. (1787 — 1808 г.) записано за вдовой Ан. Ив. Пов.-Шв. одна дочь Анна; но в книге не значится масса дворян; да и в родословных частях пропуски.

лая. К тому же, близ Аннополя за № 409, где он назван Михайловичем, в селе Прилепове и новопоселенной деревне Трутневой у него 130 мужск. д. и земля с совладельцем и, повидимому, знатной родственницей кн. Софьей Вас. Друцкой-Соколинской, вместе с ним заселявшей деревню. Этот Николай К. умер подполковником ранее 1820 г. Упомянутое выше дело называется только его братьев¹⁾.

Сам ген.-аншеф владел близ города Поречья крупной частью огромной Поречской волости № 5, где за ним 44 сельца и деревни со вновь поселенными, — 582 д., 2106 м., 2391 ж. Крестьяне его на пашне. Всех мужских душ в волости 14.670, а пашенной земли 46.584 д. и 89.749 д. лесу. Но смоленская почва плохо кормила трудников, и крестьяне промышляли здесь рыбной ловлей, рубили барки, делали сани и колеса. В Краснинском у. за аншефом только небольшая пустошь в совладении со вдовой кн. Друцкой-Соколинской.

Старое гнездо Каховских—село Юры с 8-ю деревнями под общи- № 347 во владении потомков Елевферия Каховского Богдана и полк. Николая Васильевичей; за ними 60 дв. с 174 м. душ. Всего с совлад. Геденовым в селе не менее 80 дв. В нем деревянная церковь, деревянный господский дом Каховских. У Богдана винокуренный завод, у Николая мельница-сушивальня; работают у них свои крестьяне. 2 мучные мельницы (не указано чьи). В двух ближних сельцах тоже по господскому деревянному дому. Всего в Юрах с округой (считая совладельцев) 347 дв., 1259 м., 1297 ж., 1895 д. пашни, 86 пок., 4647 лесу строев., 131 д. неуд.—За Богданом К. всего 204 м. д., за полк. Николаем—373 души; а за поручиком Николаем в 4-х здешних деревнях 31 дв. 143 м. д. Крестьяне всей округы на оброке, даже в Юрах, где они работают на заводе и сушивальне, что возбуждает подвох, точно ли отстка.

У поручика Николая Вас., называвшегося иногда „Нечуй-Каховский“, главные имения в Ельнинском у. № 179 Сельцо Холм, душ. 29 м. 17 ж. Дом господ каменный в 2 этажа; сад регулярный с оранжереями. Винокуренный завод в 2 куба, работает своими крестьянами, дает 4400 ведер. Мельница. Всего с 2-мя деревнями, тут у него 18 дв., 119 м. д., 112 ж., 435 пашни. 39 пок., 684 дес. лесу дровяного, 140 неуд. земли. Кр. не на пашне. В 4-х других селениях у него 21 дв., 81 м., 75 ж. В Смоленск. у. в 2 деревнях (совл. Энгельгардт и Колтовские) у него 21 дв., 112 м., 108 ж. — Деревни Поляна и Слободка принадлежат ему одному: 24 дв. 103 м., 108 ж., 520 д. пашни, 168 лесу. Крепкий, расчетливый хозяин, этот Каховский при своих 587 душах не жалеет средств на свой комфорт, судя по размерам его усадьбы. Его единственная пустошь 223 д. покоса аттестована: покосы хороши. Крестьяне его всюду на пашне или издолье; в с. Холме, не имея дворов, они, д. б., живут на заводе; в двух его ельнинских деревнях они промышляют скупкой и продажей хлеба. В этом же уезде хозяйничал неотмеченный в родословной

¹⁾ Его мать была из рода Друцких-Соколинских.

подполковник Михаил Вас. К. За № 166 в сельце Дубасице у него деревянный господский дом с плодовым садом, винокуренный завод, работает своими крестьянами. Всего с 4-мя деревнями 62 дв., 336 м., 304 ж., 1159 пашн., 2871 лесу строевого. Крестьяне на пашне. Поблизости (№ 164) в сельце Хлопине у него 4 дв., 39 м., 33 ж. Крестьяне на изделье, и вероятно, строгом: на каждый двор приходится 18 ч. населения, а рядом много лесу. Всего за ним 375 душ. У декабриста был еще состоятельный родич — обер-кригс-комиссар Александр К. (без отчества), не отмеченный в родословной. В Краснинск. у. у него 2 сельца с двумя деревянными домами, один с плодовым садом, местожительство его семьи, с 3 деревнями. Всего в них 56 дв., 225 м., 210 ж., 1113 д. пашни, 632 лесу. Пруды. Мельница. Крестьяне на пашне. В 5—7 других деревнях его крестьяне 196 душ на оброке. В Дорогобужском у. за ним еще 97 м. душ. Всего у него 518 душ. м.

Можно отметить еще малолетних К-х, Василия, Александра и Катерину, без отчества. У них в Смол. у., село Тетюшено на Днепре, 10 дв. 45 м., 48 ж. Церковь деревянная с каменной колокольней. Дом господский деревянный, с регулярным садом. 2 мельницы, одна сукновальня, другая мушная. Близь него 10 деревень с новопоселенной; всего здесь 65 дв., 286 м., 276 ж., 730 д. пашни, 531 покоса, 2536 лесу, да 640 д. неудобной. В Пустоши еще 711 д. лесу строевого у Днепра. В других 3-х деревнях у них еще 43 м. души.

Беднее всех Каховских — племянники аншефа майор Аристарх, поруч. Михайло и девица Харитонья Борисовичи, имеющие всего 28 душ в Ельнинском у. — 4 помещицы К., неизвестно чьи жены, владели две по 90, и 95 м. души, другие несколькими душами.

Таковы были именья Каховских до 1812 г., когда через губернию дважды прошли полчища Наполеона и русские армии, разгромили и снесли массу селений. Помещичьи хозяйства испытали тяжкие потрясения. Совершенно изменилось положение декабриста с братом. Отцовское именье исчезло, и у них в руках оказалось маленькое сельцо Тифеневское ¹⁾ Смоленской губ. Примечания так описывают его: № 20. Сельцо Тифенское, что при межевании состояло деревня, колл. асс. Глеба Алексеевича Баскакова и жены его Александры Петровны. За ним 1 дв., 2 м., 3 ж. За нею 3 дв., 23 м., 24 ж., 153 д. пашни. 5 покосу, 36 лесу дров., 14 д. неудоб. На р. Есени (2 арш. шир. 2 ар. глубины). Дом господский деревянный с плодовым садом, дачи по обе стороны большой дороги из Смоленска в Рославль. Крестьяне на пашне, кроме хлебопашества, промыслов не имеют. Других селений в уезде за Баскаковыми не числится.

По показаниям декабриста, сельцо принадлежало им еще до 1812 г., подвергалось разорению и обременено долгами. Выходит так, как будто еще отец обменял свои деревни, растеряв значительную часть душ, или просто лишился их.

¹⁾ Так у П. Щеголева „Каховский“, стр. 5.

Состоятельные родичи Каховские, несомненно, очутились после военных бедствий, и Петру Григорьевичу было с кем попутешествовать за границей, мог он и позаимствовать денег на путешествие... если он в самом деле прожил два года за границей. По свидетельству увлеченной им Салтыковой, он не говорил по-французски, а только понимал французскую речь. Странно, как русский той поры, за 2 года пребывания за границей, не заговорил по-французски. Неужели и здесь оказалась свойственная Каховскому неудачливость?

О многочисленном роде Повало-Швейковских имею очень мало сведений, — почти ничего. Он тоже польского происхождения: первые представители его приняли русское подданство тоже в половине XVII в. Их потомки служили стольниками, полковниками, генералами над смоленской шляхтой. Ген.-от-инф. Яков Иванович Пovalo-Швейковский, отличавшийся в походах 1799 и 1807 г.г., не значится среди смоленских помещиков. Декабрист Иван Семенович принадлежал к самой состоятельной ветви рода, чем резко отличается от своего предполагаемого кузена П. Г. Каховского. За смертью его деда, ст. сов. Ивана Яковлевича, экономические примечания заставят главной владелицей семейного имущества бабушку Анну Ивановну, урожд. Тумило. Стат. советница, вдова 60 л., пишет о ней дворянская родословная книга по Смоленской губ.¹⁾ (около 1800, так как декабрист записан 4-летним). У нее четыре сына: 1) „Константин, при дворе ее величества камергером, 37 лет, женат на кн. Наталье Дмитриевне Трубецкой“, у них двое маленьких детей. 2) „Семен, прем.-майор, 36 л., женат на 2-й жене Пелагее Богдановне Верховской; у них сын Иван 4 лет“ (декабрист). От первой жены дочери: Настасья 12 л. Катерина 11 л., Пелагея 10 л. 3) Яков, 35 лет, ген.-майор армии²⁾. 4) Иван, 25 лет, поручик легко-конного полка. Дочь Анна 27 лет.

За Анной Ивановной с детьми наследственных 183 муж. д., 190 жен. — ее приданных 624 м., 681 ж. душ; да покупных 5 м., 6 ж.

Экономические примечания не знают ни Константина, ни Якова Ивановичей. Найти поручика Ивана среди др. Иванов многочисленного рода очень трудно. Вероятно, камергер отошел к знатному роду жены, а холостые братья, генерал и поручик, занятые службой, не отделялись от матери. Но Семен Иванович, отец декабриста, явился уже обладателем солидного состояния, около 500 м. душ, и повидимому многое получил после смерти отца (ум. до 1796 г.); могла помочь и первая женитьба на Азанцевской. За 2-й женой, Верховской, числилось всего 3 дв. с 10-ю муж. д. Во всяком случае детство декабриста протекало среди полного довольства и до получения наследства богатой бабушки. А последняя, судя по примечаниям, владелица 100 слишком душ, была энергичная хозяйка. Ее главное гнездо в Духовщинском у., приданое село Родынь (№ 372) 6 дв., 55 м., 57 ж. с каменной церковью и каменным господским домом. Ей было из чего строить или под-

¹⁾ Лист. 97, ст. 2-я.

²⁾ Не он ли ген.-аншеф, герой первых лет борьбы с Наполеоном?

держивать эти здания. Тут же у нее работал „своими людьми“ винокуренный завод в 4 куба (следовательно, мог вырабатывать до 7—8 тыс. ведер в год). Кругом рисковались ее деревни. Всего в этих местах, считая село, у нее 67 дв. 330 м., 317 ж., 1410 д. пашни, 178 покосу, 2479 лесу строевого и др. Крестьяне ее на издělьи, кроме хлебопашества, занимались пчеловодством. Этот промысел был тогда в почете во многих местах Смоленской г. На издělьи и крестьяне ближней деревни Бародулиной, тоже пчеловоды. — В Смоленском у. за вдовой записаны 13-ть селений. В селце Лаврове (№ 281) у нее господский дом деревянный и опять винокуренный завод в 4 куба. Здесь с 2-мя деревнями у нее 137 м. д.

В селце Губине (№199)—о дв., 18 м., 16 ж., еще господский деревянный дом и 3-й винокуренный завод. К этому номеру приписаны упомянутые выше деревни с оригинальными названиями Старина Старая, Старина Новая. Всего в этой населенной округе у Анны Ивановны 41 дв., 223 м., 206 женщ. среди многих совладельцев; общих с ними угодий 3618 д. пашни, 116 покосу, 840 лесу. Крестьяне на пашне, занимались пчеловодством. У нее одной 3 винокуренных завода, если не четыре; обилие представителей рода Повало-Швейковского вокруг селения Полом в 199 номере лишает возможности точно установить, не имела ли вдова и здесь завода, и в селце Надве (№1907), четвертого господского деревянного дома с плодовым садом. Должно быть, энергичная помещица лично гостила в своих усадьбах, как древняя княгиня Ольга на погостах, ради лучшего надзора, суда и расправы. К сожалению, нет подробных указаний, сколько заводы поглощали зерна, своего и покупаемого. Почва в губернии не отличается плодородием; урожан часто неудовлетворительны; они были скудны и сто лет тому назад, по свидетельству И. Д. Якушкина¹⁾; крестьянам едва хватало на пропитание и посев. А винокурение, очень доходная привилегия помещиков, поглощало запасы хлеба, необходимого населению.

Семен Иванович Повало-Швейковский хозяйничал тоже расчетливо и прижимисто. В Ельнинском уезде, в селце Климшине (№ 219) у него о дв., 26 м., 23 ж., господский дом деревянный, мельница и тоже винокуренный завод в 4 куба, работает своими крестьянами, которые очевидно живут при нем, не имея своих семейных дворов. В общем с двумя деревнями тут у пр.-майора 15 дв. 86 м., 104 ж. Угодья обще с совладельцем Рачинским; количество пашни указано неразборчиво, лесу 1189 дес. Крестьяне на издělьи. — В Смоленском у. в селце Булове (№ 633) 7 дв. 75 м., 78 ж.; деревянный господский дом с садом вероятно от Верховских, так как за женою Пелагеей Богдановой числилось 3 дв. 10 м., 15 ж., да 1 двор за ее сестрой, девицей Дарьей Верховской. Земля общая с селом Лобковым поруч. Михаила Повало-Швейковского. Всего 33 двора, 181 м., 187 ж., 7130 пашн.²⁾, 1515 лесу дров. Крестьяне на пашне. В селе Сверчкове 7 дворов, 43 м., 38 ж., (совл.) 420 д. пашни и немного других угодий (совлм.). Церковь деревянная

¹⁾ Записки, стр. 26 — 27.

²⁾ Количество пашни вряд ли точно.

Крестьяне на пашне. При обилии лесных угодий у смоленских помещиков удивляют частые случаи „уплотнений“, по современному выражению, крестьянских дворов 20-ю и более обитателями. Недаром Смоленская г. считалась особенно типичной по напряженности крепостного хозяйства. Там же в сельце Ракиславичи с 2-мя деревнями у майора 23 дв., 87 м., 67 ж., с совл. Маявской 698 д. пашни и мелких угодий.

В Рославльском уезде в селе Лахи, с деревянной церковью, и в деревне Куковеня у него 25 дворов, 101 м., 113 ж. с совластелицей Храповицкой, всех 57 дворов, 1489 десятин пашни, 1590 лесу, крестьяне на пашне.

В Краснинском уезде в двух деревнях № 385 майор имел 22 двора, 104 м., 100 ж. с 619 десят. пашни. Крестьяне на пашне. Разбросанные по 20 селениям его подданные представляли хорошее состояние около 500 м. душ.

Несколько сбивчивые, вследствие многочисленности родичей Повало-Швейковских, примечания все-таки слегка освещают общую обстановку жизни, среди которой протекало детство мальчика, будущего декабриста; и в усадьбе отца, и в хоромах бабушки он видел перед собой винокуренный завод „уплотненные“ жилища крестьян, барщинных страдников и батраков завода. Если многовековая прививка общего духа крепостного порядка, мощно сказывавшаяся и на хороших людях старого времени, ослепляла и его в юности, не позволяла замечать „рабства дикого“, в атмосфере которого он родился и воспитывался, то позже, в годы зрелости, — по возвращении из-за границы, он сознавал весь его ужас и роковое влияние на русскую жизнь.

В роде Повало-Швейковских очень мало мелких бедных помещиков. Именница поручиков, титулярных советников, разбросанные по 5, 6 местам, в общей сложности дают кругленькие цифры. Сарота девица Катерина (без отчества) в 14-ти деревеньках Рославльского уезда, имела 344 м. душ, винокуренный завод, без дома и усадьбы. У титулярного советника Якова Ивановича 190 м. душ; у надворного советника Федора 210; а у отставного поручика Степана Фомича — всех 412 м. душ. У всех этих помещиков много совладельцев из родичей и земляков. Одинокие помещицы, вдовы и девицы владели 45, 35-ю м. д. Только прапорщик Василий, да майор Николай с детьми имели менее 20 д.ш.

Отсутствие родословной, крупного семейного дела, выясняющего отношения родичей, пропуски отчеств в примечаниях, лишают возможности выяснить, кто по родству близок декабристу, кто далек, что в стирину имело большое значение. Нет указаний на то; с какой линией Повало-Швейковских состоял в родстве по жене ген. П. П. Пассек, член Союза Благочестия, вольтернянец и просветитель, так выпукло и ярко освещенный в статье Б. Модзалевского¹⁾.

О роде наиболее известного из смоленских декабристов И. Д. Якушкина нашлось очень мало сведений. Род очень немногочислен, считая с женами, всего лиц 10, с очень скромными достоинствами. Его самый богатый,

¹⁾ „Былое“ 1924 г. № 24, стр. 8 и след.

повидимому, представитель. титулярный советник Александр Иванович Якушкин имел всего 144 м. душ. Его имения в Дорогобужском у. № 398, Сельцо Лисичино, О дв. 12 м., 10 ж. господский деревянный дом. Винокуренный завод о 3-х кубках, работает своими крестьянами. Всего с тремя близкими деревнями у него 29 дв. 144 м., 160 ж., 450 десятин пашни, 2735 десятин лесу. Мельница. Крестьяне на пашне. У жены его титулярной советницы Прасковьи в двух сельцах 26 мужских душ. За отсутствием родословной трудно сказать, в какой степени родства с декабристами состояла эта чета.

Следующий за ним по состоятельности, капитан Семен Андреевич Якушкин, дед декабриста (не дядя ли?), владетель 99 мужских душ в 3 селениях Вяземского уезда и одном Юхновского. № 933. Сельцо Жуково. 7 дворов, 36 м., 22 ж., на р. Дыме (6 саж. шир., 3 вершка глб.). На ручье безымянном 3 пруда. Дом господский деревянный с плодовым садом. Мучная мельница. — Деревня Арефина, 6 дворов, 24 м., 30 ж. (у совладельца, артиллерийского майора Ивана Ивановича Барышникова 12 дворов. 44 м., 41 ж.). Всего за уезд. № 425 дворов, 104 м., 93 ж., 602 десятины пашни. 20 десятин покосу, 40 лесу дровяного. Крестьяне на оброке, некоторые занимались содержанием пчел. За капитаном (№ 933) в деревне Истоминной 5 дворов, 27 м., 45 ж. (у совладелицы Анны Казакуцкой 2 двора, 6 м., 5 ж.). Всего 7 дворов, 33 м., 48 ж., 114 десятин пашни. 11 покосу, 2 лесу, 3 неудобной. На р. Дыме. Крестьяне на оброке. № 850. Деревня Бели, 4 двора, 25 м., 18 ж. (Петр Гайдуков совладелец в одной земле). 60 десятин пашни. 4 покосу, 248 десятин лесу. При озере безымянном. Крестьяне на пашне.

В Юхновском уезде у капитана в сельце Лебедеве (№ 384) всего 11 мужских душ.

Вот, что представляло знаменитое Жуково при отцах тех крестьян, чья судьба была предметом долгих забот и размышлений сурового и твердого декабриста. Примечания совсем не знают сыновей капитана Якушкина: а они были уже зрелыми людьми в пору их составления, и декабристу было 6—8 лет. Среди помещиков Якушкиных нет ни одного Дмитрия. Сам Иван Дмитриевич гозориг ¹⁾, что получил Жуково от дяди, своего опекуна. По бедности при небольшом состоянии имел разные полубарские затей, держал музыкантов и певчих; 20 человек музыкантов продал сыну фельд. Каменского за 40 тыс. р. Если Жуково и заселилось гуще за 25 лет, то не могло процветать при таком барине, и крестьяне радостно встретили молодого наследника, прося избавить их от притеснений и поборов. — Интересно, к какой семье принадлежал И. И. Барышников, совладелец дяди по деревне Арефиной. Декабрист называет своего соседа (в 1824 г.) Барышникова очень богатым помещиком: в его владениях обращались очень жестоко с крестьянами. В. И. Семевский рассказывает, что вяземский купец Барышников в 1774 г. купил имение Н. Салтыкова в 1. 200 душ ²⁾ на имя гр. Н. Г. Орлова, 200 человек крестьян

¹⁾ Записки, стр. 26—27 и 30.

²⁾ Крестьяне в царствование Екатерины II. Т. I. стр. 76

повели за 50 верст работать на его винном заводе. По приходе двое рабочих упали в котел и сварились. На доклад об этом Барышников сказал: „Мне недорого достались, всякая душа по 15 коп. (вероятно, имение взято за долг), хотя и все до одного пропадете, я об этом сожалеть не стану“. Купец вскоре добился дворянства. Не к его ли потомству принадлежали соседи Якушкина¹⁾.

Следующей в роду по состоятельности является девица Мария (без отчества) Якушкина с 76 душами в том же Вяземском уезде. Жила она вместе с другой девицей—Прасковьей в сельце Красные Навесы (№ 949) Богдановской вол. У них вместе 4 двора, 8 м., 11 ж., 26 десятин пашни, 120 лесу. Дом господский деревянный: крестьяне у них на пашне и занимались пчеловодством. За девицами не числилось пустошей, и трудно себе представить, как они хозяйничали на 26 десятинах. В других деревнях: а девицей Марией (№ № 450 и 946) всего 72 м. душ и тоже мало пашни. — У прапорщика Ивана Игнатьевича в том же уезде в 3 деревнях 68 душ при обильном количестве пашен — 646 дес. — Далее корнет Степан Алексеевич Якушкин с 41 душой; при нем корнетша Марфа с малолетними детьми владела 18-ю душами. — Далее прапорщик Михаил Михайлович с 37 душами. У него новопоселенное сельцо в Дорогобужском уезде (384)—Владимирское, Литвино т.ж. — 15 м., 17 ж. душ. Господский дом деревянный. Мельница. Крестьяне, видно, работали и жили в усадьбе. Рядом тоже новопоселенная деревня Мишенская, его жены Анны со вдовой Анной (?) Якушкиными, 22 м. душ, 214 пашни (на всех 37 мужских душ), 165 десятин пашни. Крестьяне на пашне.

В бывшем департаменте герольдии нашлось два дела о семье Якушкиных (№№ 3308 и 55).

Предок рода, Федор-Ян Ольгович Якушевский, приехал из Польши к вел. князю Василию Васильевичу около 1422 г. и тотчас будто бы, получил 26 деревень с 320 крест. дворами в Гжатском у. — Жуково, повидимому, давнее гнездо Якушкиных. В хозяйстве последних — предков, дедов и дядей декабриста, заметна неустойчивость, частые перемены числа крестьян по деревням. В 1763 г. за прадедами Григорием и Степаном Федоровичами состояло 228 душ; (в Жукове тогда было дворовых и крестьян 85 рев. душ, в Арефиной 14, Истоминон и Михалево 47 душ). — Через 20 лет, в 1782 г. за сыновьями [деда Андрея Степановича, за Семеном, Иваном и Сергеем Андреевичами было 322 души муж., 290 ж. — В Жукове дворовых 20 м., 22 ж., крестьян более 80 рев. душ. (неясно Е. Ш.); в Арефиной 57 м., 46 ж.; Илиной — 29 м., 28 ж.; Истоминой — 79 м., 76 ж.; в новопоселенных деревнях: Бели 29 м., 48 ж.; Здымской — 15 м., 17 ж.; Арефиной 2-й 40 м., 37 ж. — Отец декабриста, тит. сов. Дмитрий Андреевич почему-то не числился с братьями; когда он умер — неизвестно.

В 1810 г. дядя и опекун декабриста, Семен Андреевич просил дворянских свидетельств для опекаемых, перечислив наличных 6-ти их родичей

¹⁾ У декабриста Н. Басаргина был родственник богатый полковник Барышников, обеспечивший ему жизнь в Сибири. У него Басаргин жил с 1857 г. в Дорогобужском уезде. Смоленской губ. Спр. Басаргин, Записки, стр. 208.

он, Семен, 57 л., капитан в отставке, холост; за ним имения: в Вяземском у. селцо Жуково — 153 ревиз. души: в Бельском у. Павлово. — 35 муж. душ. У него брат родной Иван, 52 л., холост; имения за ним не состоит (?); две сестры: девица Татьяна 50 л., замужняя Катерина 48 л. Сын умершего брата Дмитрия Ан. реевича — Иван (деж.), недоросль 17 л.; за ним дрв. Арефино — 35 рев. душ; у него сестры: Варвара 18 л., замужняя, девица Елизавета 15 л. (за кем Замужем тетка и племянница — не указано).

В 1813 г. умер Семен Андреевич. После него осталось в Вяземском у. 141 рев. душа, в Бельском у. 17 душ. и более доходное имение в Орлов. губ. Малоарханг. у. селцо Сабурово — 121 рев. душа и 203 дес. земли в Ливенском у. Таким образом, его состояние оказалось значительнонее того, что описывали примечания. — Холостой дядя Иван Андреевич взял Сабурово с господ. домом (без одного крестьянина, которого почему-то возвратили в Смолен. губ.) и большую половину Ливенской земли. Племянник Иван Дмитриевич, уже офицер, получил все Смоленские имения — 158 рев. душ (кроме дворовых музыкантов, проданных графу Каменскому за 40 тыс. Не на эти ли деньги куплено Сабурово?), одного крестьянина с семьей и 91 дес. земли в Ливенском у. Еще ранее покойный дядя-окекун записал за ним родовую дрвню Арефино с 35 душами и 310 дес. земли.

Таким образом юный декабрист начал свою самостоятельную жизнь с состоянием в 193 рев. души в родной губернии при одном селском хозяйстве, без винокурен, сукновала и пр. доходных предприятий своих земляков и соседей.

Из двух его сыновей Вячеслав рано умер; поддерживал отца в Сибири и заботился о делах некоторых его товарищей-декабристов младший сын, Евгений Иванович (р. в 1826 году), известный библиофил и знаток обычного права. Он сберег и умножил отцовское достояние. Через 9 лет после кончины Ивана Дмитриевича (1857 г.) в 1866 г. он имел в Вязем., Рославльск. и Бельском у. д. 3500 дес. земли и на них 485 временно-обязанных крестьян.

Вот какими рисуются к началу XIX века родные гнезда 3-х семей боевых декабристов, смоленских уроженцев. В этой же губернии владели именными представители богатых, аристократических родов. В Вяземском уезде страдали под игом управляющих 752 мужские души подданных Марии Ивановны — жены Авраама Ивановича Анненкова вице-губ. Харьков. и Курск. губ., родственницы очень богатой особы, редкостной даже для того времени по беззастенчивому самодурству своевольной барыни, Анны Ивановны Анненковой, матери декабриста Ивана Александровича. В 8-х верстах от Жукова ее деревня Каблукова 17 дворов, 93 м., 96 ж., 279 десятин пашни, 60 покосу, 147 лесу (№ 931). Крестьяне на пашне. В этом имении, читаем в записках И. Д. Якушкина, управляющий придумывал ежегодно новый способ вымогательства с крестьян. Так он объ-

явил, что их барыня, живущая в Курской губ., приказала прислать к себе несколько взрослых девок для обучения их коверному искусству; разумеется, крестьяне, чтобы откупиться от такого налога, заплатили все, что только могли заплатить.¹⁾

В Сычевском уезде майор Петр Александрович Нарышкин, повидимому декабриста Михаила Михайловича, владел 759 м. душами во многих деревнях, поселенных после генер. межевания. Камергер кн. Николай Алексеевич Голицына, (д-д Валериана Михайловича) расселил 230 душ по 32 новым поселкам. У обоих крестьяне на оброке. Сами владельцы вряд ли когда-либо появлялись в смоленской глуши.

Позволю себе приложить к этому очерку кое-какой материал из семейной хроники рода мало известного и неигравшего видной роли декабриста Ф. Г. Вишневого, хотя его род и не имел представителей в Смоленской губ.

В департаменте герольдии севата сохранилось два дела о дворянстве Вишневских с маленькой родословной; первое — дела декабриста, второе его самого, о внесении в дворянскую книгу его жены и дочери. Родоначальник, Федор Вишневский, прибыл в Россию очень юным из Трансильвании при царях Иване и Петре; в 1728 г. оказался подполковником и вступил в „морскую и сухопутную службу“ (сразу). В 1744 г. произведен в ген.-майоры и затем отправлен императрицей Елизаветой в Венгрию с хозяйственными поручениями (в них входила закупка вин). Вишневский умер за границей в 1749 г., а благоволившая к нему царица велела поставить памятник на его могиле. Сын его Гаврила жил недолго; в 1742 г. вышел в офицеры из шляхетного корпуса, а в 1752 г. уже умер, успев завести связи со знатною женьтибой на княжне Мещерской, дочери ген.-поручника и коменданта СПб. крепости. Оба его сына, Иван и Федор, проявили себя очень деловыми людьми. Действительный статский советник Иван Гаврилович служил в палате уголовного суда в Киеве, а затем был губернским прокурором. Федор Гаврилович служил в конной гвардии, женился на княжне Прасковье Барятинской, дочери бригадира кн. Федора Гавриловича; а в 1778 г. вышел по болезни в отставку полковником армии и занялся обширным хозяйством. У него было 9 человек детей (6 сын. и 3 доч.), позже много внуков, и он до самой смерти в 80-х г.г. хлопотал по делам огромной семьи. По его формулярному списку 1788 г. за ним числилось в 4-х уездах Костромской губ. в Тульской и Тамбовской — своих, приданных и купленных 820 мужских душ и дом в Москве, где он обычно жил. Через 10-12 л. примечания по Тверской губ. насчитывают за ним в Весьегонском уезде еще 137 мужских душ, которыми он владел рядом с братом прокурором. Только по этим данным мы можем судить, как эти потомки дела — практика на все руки — вели свое хозяйство. У братьев помещик селцо Щербово (№1114), 19 дворов, 85 мужчин, 68 женщин. Дом господский деревянный, с садом. Кузница, 2 ветряные мельницы; пользуются ими крестьяне (очевидно даром, безобратно). Вокруг селца 6 деревень;

¹⁾ Записки И. Д. Якутина, стр. 37 а.

дворы всюду почти пополам. Всего за этим № у них 89 дворов, 263 м., 264 ж. 1595 десятин пашни, 325 покосу, 1162 лесу строевого. Крестьяне на оброке, имеют всякие мастерства: кузнецы, плотники, портные и т. д., ходят по паспортам в разные города. Женщины ткнут и делают другие работы на продажу. Зажитком хороши. Рядом 2 пустоши — 400 десятин пашни, 409 покосу и 930 лесу строевого. Прокурор владел в Вельегонском и Кашинском уездах 469 м. д. Его крестьяне всюду на оброке, имеют тоже аттестацию — зажитком хороши. У него много №№ пустошей, но не случайно оторвавшихся мелочных угодий, а подбор ценностей, — хороших покосов, лесов. Особенно охотно собирает он участки строевого леса; у него их насчитывалось более 8 тыс. десятин.

Таким образом дед декабриста к началу XIX века имел состояние в 1000 душ, если не больше. Обилие детей, дочерей, требовавшее неизбежного приданого, очень сократили это хорошее состояние.

Любопытен служебный аттестат отца декабриста, Гаврилы Федоровича, выданный из Московского университета в 1833 г. с уловительным видом из Казанского университета в 1828 г. По образованию он, по старинному недоросль, в 1776 г. записан унтер-офицером в Измайловский полк; в 1793 г. он только прапорщик, а в 1795 г. уже в отставке подпоручиком за болезнью. Лет 13 жил он без службы; женился на дочери надворного советника Еропкина, Софии Михайловне. За это время, по сведениям проф. Н. Загоскина ¹⁾, он успел промотать несколько состояний (?). В 1808 г. определен в экспедицию Кремлевского строения. В 1817 г. прикомандирован к министерству юстиции; был чиновником особых поручений при министре юстиции; в 1819 г. поступил в министерство внутренних дел, когда оно соединилось с полицией, и вышел из него в 1820 г. В 1821 г. Вишневский в почтовом департаменте в чине коллежского советника. Наконец в 1823 г. определен комитетом министров в Казанский университет инспектором студентов и директором Педагогического Института ²⁾. Пригласил его и устроил дело знаменитый попечитель Магницкий, который якобы, зная его 20 лет, аттестовал по „благовоспитанию и нравам (своим к просимому месту совершенно способным“, а по бедности и большому семейству достойным преемной помощи (Вишневский ходатайствовал о вспомоществовании).

Лицо, нигде не учившееся, с сомнительным служебным стажем, не имевшее ничего общего с делом научного преподавания, в ту пору реакции могло быть так выдвинуто только благодаря самой гибкой благонамеренности и показному ханжеству. Первое время Вишневский очень угодил начальству: его сделали председателем строительного комитета университета, тогда очень деятельного и важного, наградили 1500 р. за отличную службу. Магницкий был такого высокого мнения о его дарованиях, что хотел посредством его осуществить свою давнюю мечту — учредить университетский благородный

¹⁾ Н. Загоскин. История Казанского университета, т. IV, стр. 325.

²⁾ По университетскому уставу 1804 г. при университетах состояли также институты для приготовления учителей.

пансион¹⁾. Он исходатайствовал Вишневному разрешешие принимать к себе воспитанников с тем, что, когда их соберется значительное число, передать их университету. Пансион был открыт; но скоро о нем пошли такие слухи, что произвели ревизию (визитацию). Родители жаловались, что дети забывали у Вишневого то, что знали; за полным отсутствием надзора увлекались безобразными шалостями, грубили, болели от простуды; один умер жабой. Требуя 1000 р. в год за ученика, Вишневский кормил их общим столом казенно-коштных студентов, который значительно вздорожал в силу этого. Магницкий очень разочаровался в недавнем фаворите. Вскрылось его нерадение, отсутствие надзора над студентами и институтом; ваделал хлопот его строптивый нрав, административный произвол, неуважение к университетскому совету, резкие личные ссоры и стычки; все это не подобало лицу, которому «вверено христианское воспитание студентов». Однако в начале 1825 г. Вишневский все-таки одно время исправлял должность директора университета, но не был в ней утвержден. События 14 декабря и суд над сыном, повидимому, не повлияли на его положение. Сам Магницкий стремился лишить Вишневого инспекции, но не успел, оставленный сам. Его оставили от нее и института только в августе 1826 г., назначив непреременным членом строительной комиссии. Бывший казанский студент Панаев²⁾ в своих воспоминаниях хорошо отзывается о жене Вишневого: она умная, образованная, видного происхождения, из рода Еропкиных. Магницкий в Казани часто проводил у нее вечера. Может быть именно эта пожилая разумная женщина, мать девяти детей, смягчала тяжелые последствия права своего мужа. Служба его окончилась довольно странно: осенью 1827 г. Вишневого причислили к московскому учебному округу и сделали директором училищ Владимирской губернии, уволив от Казанского университета, а затем летом 1828 года уволили и от директорства, которого он так и не успел принять. Формуляр не знает за ним никаких имений, многим повидимому заведывал еще дед, Федор Гаврилович. Он же заботился и о внуках. Будущего декабриста, Федора Гавриловича, старшего из 9 детей неудачного клиента Магницкого, он записал в дворянские книги и устроил кадетом в Можайский корпус; но внук скоро оказался в Морском корпусе, откуда вышел гардемаринном в 1813 г. Служба юноше удавалась. В 1816 г. он мичманом переведен в гвардейский экипаж, плавал одно время под коандой знаменитого впоследствии кап. Лазарева: побывал в английских и французских портах, и его кампания считалась вдвойне. Лейтенантом Ф. Вишневский командовал ротой гвардейского экипажа; командировался в Кронштадт обучать матросов строевой службе, за что перед 14-м декабря получил двойное жалование. Затем, как политический преступник, разжалован в солдаты и отправлен в Закавказье, где началась борьба с Персией. Морик участвовал в горных походах и многих стычках, получал рубли как царскую милость;

¹⁾ История Казанского университета т. IV, стр. 326 и след.

²⁾ История Казанского университета т. IV, ст. 520.

под командой Паскевича участвовал в штурме Карса, а с князем Бебутовым — Ахалциха. Формуляр внимательно и подробно отмечает подвиги разжалованного декабриста; о нем было кому похлопотать среди родни бабушки и матери. В 1829 г. он унтер-офицер, а в начале 30-х г. офицером возвращен во флот, оттуда вскоре вышел на штатскую службу и проявил в ней практичность и деловитость своих дедов. До 1838 г. Вишневский служил в Опекуновском Совете, — в экспедиции сохранный казны. Затем стал чиновником особых поручений начальника Уральских заводов при беспокойных и ответственных поручениях; посылался на заводы Губиных для разбора дела по жалобам рабочих на управителей и успешно кончил это деликатное поручение, как — не сказано; и тотчас был командирован на Нижегородскую ярмарку контролировать выгодность закупок заводских комиссаров, и все материалы оказались купленными дешевле и лучшего качества. Это дело поручалось ему и в следующие годы. Вишневскому приходилось также свидетельствовать денежную казну комиссаров в Ирбите. В эти же годы он занимался ревизией судебных дел военных и горных начальников. В 1840 г. ревизовал Мостовые золотые прииски и провожал золотые транспорты в Петербург. В 1842 г. деловитый декабрист вышел в отставку, по домашним обстоятельствам. Жил в Москве, потом в имении в Костромской г., которое продал в 1846 г. и переехал в Москву. В 1847 г. он женился на вдове чиновнице, прижил дочь, а когда она подросла, начал дело о внесении ее с матерью в дворянскую книгу. Дело тянулось до 1866 г., его вел тогда частный ходатай. Сам Вишневский умер в 1863 г.¹⁾

Е. Щепкина.

¹⁾ „Алфавит декабристов“. Ред. А. Сиверса и Б. Модзалевского.

Новые письма М. А. Бакунина.

26 апреля 1925 г. скончался Александр Александрович Корнилов, не успев довести до конца свой трехтомный труд „Хроника семейства Бакуниных“, составленный по неизданным материалам обширного семейного архива Бакуниных, собранного сестрой Михаила Александровича Бакунина Татьяной и женой его брата Натальей Семеновной и предоставленного Бакуниными в пользование и распоряжение А. А. Корнилова.

I том этого труда, относящийся к 1810 — 1840 гг. и носящий название „Молодые годы Михаила Бакунина“, доводит повествование до первой поездки Михаила Александровича за границу. Он напечатан отд. изд. в 1915 г. в Москве. II том, названный „Годы страстий Михаила Бакунина“, охватывает период времени от 1840 до 1857 года, т.-е. до времени водворения Михаила Бакунина в Сибирь; он вышел в свет в 1925 г., через несколько дней после смерти его автора.

Остальные письма М. А. Бакунина, сохранившиеся в архиве и относящиеся к периоду от 1857 по 1875 г., т.-е. ко времени его пребывания в Сибирь и за границей после бегства из Сибири, должны были войти в III том хроники, обработку которого прервала смерть автора. Они ныне и предлагаются к печати.

Первое письмо из Сибири написано Михаилом Александровичем матерю, тотчас по прибытии его в Омск.

„Милая маменька. — Вот я и в Омске, куда я прибыл благополучно вчера, 28-го марта, благодаря истинно доброму поручику Медведеву, с которым Вы познакомились в Премухине. — Но Омск кажется не есть последнее место моего назначения; впрочем, куда бы я не был отправлен, я знаю, что всюду буду сопровожден Вашею любовью и Вашим благословением и потому поеду бодро и с легким сердцем. Будьте покойны, милая маменька, все пойдет к лучшему, и я уже никогда не буду более для вас причиной тревог и горя. Одно несколько смущает меня, кажется мне неостанет денег, данных Вами мне на дорогу; неостанет только на первый год: мне нужно будет завестись своим хозяйством и может быть купить домик; приучиться самому хозяйничать, научиться самому покупать, продавать, ходить, одним

словом, на своих собственных ногах. — а Вы знаете, какой я не практический человек в хозяйственном отношении. Впрочем, так как я не дурак и имею твердую волю выйти с честью из этого окончательного испытания, то надеюсь, что сделаюсь со временем (постараюсь, чтоб как можно скорее) порядочным хозяином, — а покамест должен прибегнуть к Вам и к Вашей великодушной помощи. Деньги же и все другое прошу Вас пересылать на имя генерал-губернатора западной Сибири его высокопревосходительства генерала Гасфорда.

Что сказать вам еще, милая маменька, и вы все, мои милые братья и сестры? Когда поселюсь окончательно, постараюсь написать Вам письмо подробнее и удовлетворительнее. Теперь же кроме просьбы о денежном вспоможении и кроме желаний Вам всего лучшего, ничего сказать не могу; чувствую только, что чем более от Вас отдалюсь, тем сильнее, глубже и горячее вас люблю. Я весь живу в вас, и как-то дико еще является мне мысль о своей собственной жизни, так в продолжение восьмилетнего удивления отвык я от всякого самостоятельного существования; но всмотрюсь, привыкну и постараюсь быть пугным и дельным человеком в тех новых условиях, которые мне ныне назначены.

Пишите мне, ради бога, чаще и как можно подробнее обо всем, до каждого из вас касающемся, — Николай, вспомни свое обещание, и ты, Павел, и все братья и сестры, все пишите, — на Алексея я как-то более всех надеюсь — ведь Вы сами же говорите, что он из вас всех самый аккуратный. Впрочем, Татьяна и Павел, берегите свое здоровье и берегите маменьку, — Александр и Алексей, служите, а ты, Паша, вместе с Николаем и маркизом Гуго ¹⁾ занимайся хозяйством. Обнимите всех моих племянниц и племянников. Обнимите Julie ²⁾ и нашу добрую хотя и столь изменчивую Хяону (Николаевну ³⁾). Ольге Ивановне также мой поклон. Но прежде всего обнимите заочно милую, добрую, умную сестру Катю Бакунину ⁴⁾ и ее сестер, — а также и Елизавету Ивановну ⁵⁾ и все ее семейство, которые так много обо мне старались. Скажите им, что доколе я жив, я буду неизменно и горячо посить их память в своем сердце. Не позабудьте также дядюшку Алексея Павловича ⁶⁾, его милую жену и его не менее милую дочку, — одним словом кланяйтесь и благодарите всех, кто хранит обо мне дружескую заботу. Кате и Елизавете Ивановне я напишу, как будет только возможно.

¹⁾ Гавриил Петрович Вульф, муж сестры М. А. Бакунина, Александр Александрович.

²⁾ Julie Nidel — старая гувернантка.

³⁾ Хяона Николаевна Безобразова, жившая у Бакуниных.

⁴⁾ Екатерина Михайловна Бакунина, известная сестра милосердия, игравшая видную роль в освобождении Михаила Бакунина из крепости.

⁵⁾ Елизавета Ивановна Пушкина, дочь бывшего коменданта Петропавловской крепости И. А. Набокова, заботившаяся о Бакунине и переписывавшаяся с ним со времени его заключения.

⁶⁾ Алексей Павлович Потгребский, единокровный брат матери М. А. Бакунина.

Прощайте, маменька благословите меня на новый путь. — прощайте, сестры и братья.

Ваш Михаил Бакунин.

29-го марта 1857-го года.

Город Омск.

Зимой 1859 г. М. А. писал в Петербург своим двоюродным сестрам Екатерине и Прасковье Михайловне Бакуниным:

„Милые сестры. — писать много некогда, а потому скажу вам в двух словах в чем дело. Посылаю и рекомендую вам Сибирского Ломоносова, казака — отставного поручика Потанина (Григорья Николаевича) ¹⁾, оставившего службу для того, чтобы учиться, и горящего непобедимым желанием слушать лекции в Петербургском университете. Он молодой человек дикий, наивный, иногда странный и еще очень юный, но одарен самостоятельным, хотя и не развитым умом, любовью к правде, доходящей иногда до непристойного дон-кихотства, — вообще он не успел еще жить в свете, вследствие чего говорит и делает странные дикости, но все это современем оботрется. Главное, у него есть ум и сердце. Он все отдает старому отцу, который с своей стороны не держит его эгоистически при себе и желает только, чтоб он сделался человеком. Потанин так горд, что ни за что в мире не хотел бы жить на счет другого. В нем три качества, редкие между нами, русскими — упорное постоянство, любовь к труду и способность неустойчиво работать и, наконец, полное равнодушие ко всему, что называется удобствами и наслаждениями материальной жизни. Поэтому я надеюсь, что он не пропадет в Петербурге, — и в самом деле делается человеком. Приласкайте его, милые сестры, и в случае нужды, не откажите ему ни в совете, ни в рекомендации. Ему трудненько будет жить и перебиваться в Петербурге, но он непременно туда хотел ехать, и я не считал себя вправе держать его. Здесь с своим еще неопределенным и не созревшим направлением он пропал бы или изгадился, а между вами, вы к нам относитесь, как Западная Европа к вам — между вами пожалуй выйдет из него что-нибудь дельное и доброе. Итак, передаю вам его в руки, уверенный, что насколько Вам будет возможно и насколько он сам заслужит уметь будет, — вы будете ему помощниками и доброжелательницами.

О себе ничего еще положительного не знаю — но Муравьев, Корсаков ²⁾ и вы так положительно обещаете мне доброе, что я успокоился совершенно и жду ваших благ с легким сердцем. Я счастлив, друзья, и стараюсь, чтоб жена моя была так же счастлива. Это теперь первая забота и задача моей жизни. Мы будем оба писать вам на-длин. А покамест обнимаю вас за нее и за себя. Милые, милые сестры, хлопочите, сколько можете и болес-

¹⁾ Григорий Николаевич Потанин, впоследствии знаменитый путешественник и общественный деятель.

²⁾ Генерал-майор М. С. Корсаков, будущий генерал-губернатор Восточной Сибири.

чем можете о деле Бородукова в Сенате. Ведь они, он особенно, праведники перед господом. Они мои друзья, — ибо первые в Томске дали мне почувствовать сердце, и в этом деле их последний кусок хлеба. Напомните Корсакову, если он еще в Петербурге, что он лично обещал Марии Николаевне хлопотать за нее. И не теряйте времени, потому что дело кажется должно скоро решиться.

А ты, милая Катя, почему не написала ни строчки моей жене, — она так свято чтит твои имя и так радовалась, что ты к ней напишешь. А тебя, Паша, обнимаю и благодарю от всей души за твои милые письма к ней. Пиши к нам чаще, мой друг. Мы будем отвечать тебе также часто. Письма, в которых не будет заключаться ничего особенно до меня касающегося, чтобы хотя и совершенно невинного свойства, могло бы возбудить нехотят любопытство 3-го отделения, — такие письма адресуй прямо на имя Юлии Михайловны Квятковской ¹⁾ в Томске для передачи Антонины Есаверьевне ²⁾. Другие же письма пиши на имя моего друга: Его Благоверному Ивану Ивановичу Герману — г-ну ветеринарному врачу в г-де Томске — и подчеркни только фамилию Германа, как я сделал. В письме не говори обо мне ни слова, пиши его как будто бы к Герману, — оно нераспечатанное перейдет в мои руки. Из Иркутска пришлю тебе другой адрес.

Недавно получил письмо из Премукина. Славу богу, что маменьке лучше. Потанин пришел за письмом ³⁾.

4-го Марта 1859 — Томск.

Сестрам Eudoxie. Chaterine et Pachette.

Милые Сестры — что ж Вы меня не поздравляете! — Бедь я стою на ногах, я свободен! — Теперь полно писать скучно-жалобные письма, буду придерживаться слога более описательного. А будет что изучать и описывать, и будет также, что делать. Как ни мало на первый раз предлагаемое жалование, я безусловно доволен. Мих. Сем. Корсакова, которому так много обязан (равно как и вам, мои неизменные защитницы и помощницы) — ждать здесь не стану, — увижусь с ним в Иркутске, куда едем завтра. Прошу вас выразить Александру Максимовичу Княжевичу мою глубокую благодарность за его предстательство. Я буду лично благодарить его письмом из Иркутска. И так вырвался я из Томского болота, — а впрочем, зачем бранить Томск — я жаловаться не должен — нашел двух, трех людей, — нашел родное семейство и жену друга-ангела. Les Ozersky ont été pour moi parfaits jusqu'au dernier moment. Ils sont repartis hier pour Barnaoul. — Quant à moi je m'en

¹⁾ Мать жены М. А. Бакунина.

²⁾ Жена М. А. Бакунина.

³⁾ На этом письме не было даты, но карандашом сверху отмечено числом, собиравшим архив: „1859. з. и. а.“.

vais rejoindre mon noble et bien-aimé Николай Николаевич ¹⁾ — avec lequel j'espère passer quelques semaines, — et au mois de Mai — Voque la galère — nous irons manger des huîtres sur l'Océan pacifique. ²⁾ — Неведомый, огромный край. пустынный теперь, но богатый огромной будущностью и уже оживленный неутомимой энергией великого духа — ведь это просто чудо — есть от чего пробудиться всей было заснувшей романтике юности и старой русской охоте к бродяжничеству. Впрочем, не бойтесь, друзья, бродяжничать и бездельничать я не буду — буду учиться делу и по лучшему разумению стараться делать дело. Первым условием моим было, что я не расстанусь с женой, — поеду с ней на Амур. Она у меня молодец, ничего не боится и всему радуется, как дитя. Я же буду беречь ее, как цветок своей старости. Нам будет весело вместе, — и никогда ни я, ни она не забудем, что по крайней мере в половину мы вам всем обязаны. Из Иркутска буду писать более и пришлю свой адрес — а покамест пишите на имя Германа.

Прощайте, и вы также благословите нас на дальний путь и на новую жизнь — будет о чем писать вам.

Ваш брат и друг

М. Бакунин.

На этом же листке приписка жены М. А. Бакунина, Антонии Ксавьерьевны:

„Я перед вами виновата, chère cousine Прасковья Михайловна. Вы написали мне такое милое письмо, я же до сих пор вам не отвечала. Трудно было писать в выжидательном расположении духа, в котором мы находились. Теперь же мы благодаря вашим стараниям достигли желаемой цели, и я буду писать Вам из Иркутска; постараюсь передать Вам все свои впечатления. Буду писать также из Амура, от которого я жду чудес. Теперь же должна проститься с вами, надо собираться в дорогу. Обнимите за меня сестру Екатерину Михайловну; и верьте в преданность сестры вашей.



М. А. Бакунина.

С неизданной фотографии нач. 60-х г. Из собрания А. А. Корнилова.

Антони Бакунина.

¹⁾ Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский.

²⁾ Озерские безупречно относились ко мне до последнего момента. Они отравились вчера в Барнауле. Что касается меня, то я еду вновь соединиться с моим благородным и горячо любимым Николаем Николаевичем, с которым я надеюсь провести несколько недель, — а в мае месяце — будь, что будет! — мы отправляемся есть устрицы в Тихом океане.

Писем, относящихся к концу 1859 г. и к 1860 г., в архиве не сохранилось. В 1861 г. Михаил Александрович писал брату Николаю уже из Иркутска:

1-го февраля 1861. Иркутск.

Любезный брат. — Пишу тебе вероятно в последний раз до получения от тебя ответа на мои письма, которые хочу дополнить следующими замечаниями: лучше всего было бы разумеется, еслиб, возвратив мне права, мне просто и без всяких ограничений позволили ехать в Россию, к этому должно стремиться всеми силами; — но если они уж считают меня до такой степени человеком опасным, что в избежание моего постоянного пребывания в России готовы отказать мне во всем, — тогда можно сказать им, что я прошу только шести или даже четырех-месячного отпуска с тем, чтоб, повидавшись с матушкою и с вачи, ехать обратно в Сибирь. Разумеется, что нужно, чтоб у меня было в Сибири дело и средства к существованию. Мне кажется, что хорошо бы было, если б маменька обратилась прямою просьбою к государю; одна старость ее даст ей на это право. Наконец если вы убедитесь в решительной невозможности выхлопотать мне позволение теперь ехать в Россию, — но только в случае решительной невозможности, — то пусть мне возвратят права без права возвращения в Россию, на первое время; такое решение было объявлено на днях полит. преступнику Веберу, представленному Муравьевым к полному освобождению. Через это он хоть в Сибири сделался человеком свободным, равноправным со всеми, — а я ведь до сих пор связан по рукам и по ногам. Я предвижу всевозможные случаи, предоставляя вам полную свободу действовать, как вам покажется лучше. Вспомните только, что вы никогда не найдете более удобного времени и что если вам не удастся освободить меня теперь, то вероятно никогда не удастся. От вас, от вашего умения, от вашей веры в успех, — ведь на свете нет ничего невозможного, — и от вашей энергии зависит теперь вопрос: увидимся ли мы на этом свете или нет? — В Сибири я не сгину, это верно; только отказавшись от правильного планетного течения, мне придется опять сделаться кометою. А не хотелось бы и не легко — с женою очень будет трудно, один бы я не задумался. Но с нею и не расстанусь, прежде ж чем предпринять что-нибудь с нею вместе, надо 10 раз подумать. Обдумав дело, я решился подождать еще немного, пожалуй еще год, но никак уж не более, если увижу действительную и на чем-нибудь определенном основанную надежду на скорое освобождение. От вас же жду во всяком случае полной искренности и правды. Вы поступили бы очень худо, если б вздумали обмануть меня на счет моего положения. Так позволено поступать врагам, а не Вам, — а малейшей нелепости, недобросовестности, противуречия с Вашей стороны будет достаточно, чтоб подвинуть меня на самые головоломные предприятия. Я стал ко всему и ко всем недоверчив и меня обмануть, убаюкать будет трудно — а еслиб и удалось, то я никогда не прошу обмана. Я обращаюсь к вам на прежних основаниях, хотя редко что не изменяет я в жизни, сужу

о вас по себе и верю в вас, как в себя, — но если вы изменились, если я вам надоед, скажите откровенно, жаловаться я не стану, — требую от вас только во всем безусловной правды. —

Я просил тебя, Николай, если это возможно без ущерба для моей чести, не разрывать моих отношений с Бенардакн, напротив.



Гегель.

С портрета, писанного пером М. А. Бакунных и подаренного им сестре — А. А. Бакуниной. (Из собрания П. Е. Щеголева).

определить, укрепить и устроить мои деловые с ним отношения, не скромничая, не дон-кишотничая и соблюдая, по возможности, мои выгоды. Тут представляются два возможные случая: или мне дадут позволение ехать в Россию или нет. В первом случае он должен знать, что я поеду в мае, и, вероятно, не откажется дать мне средства ехать в Россию, как делает это для всех служащих по его делам. Во втором же, я б желал, чтобы он мне дал поручение на Амур до Николаевска; он узнал бы от меня без сомнения всю истину на счет того, что делается и что можно сделать и предпринять в этом крае, а правда в делах, правда за 6.000 и за 10.000 верст

драгоценна. Во всяком случае, я не возьму менее 3000 руб. сер. жалования, при его полном содержании, как это делается в Сибири, и чувствую себя способным принести ему пользы и на 6000 р. жалования. Говорить нечего, что я не соглашусь остаться в его службе, если он мне не даст настоящего дела и не сознает своей ошибки.

Если Вы найдете необходимым разорвать мои отношения с Бенардаки, — не худо бы было, если бы Вы рекомендовали меня другому петербургскому или московскому капиталисту. Но в этом отношении на Вас надежда плоха, то ли было бы дело, если б я сам мог побывать в Москве или в Петербурге. Прощайте, братья, простите сухой тон моего письма, но что делать, на душе сухо, а все-таки я Вас горячо люблю и попрежнему в Вас верю. Маленька, благословите нас, будем надеяться, что скоро свидимся.

Ваш М. Бакунин.

Еще одно слово. Если меня не освободят, если разорвутся мои отношения с Бенардаки и Вы не найдете для меня другого дела, тогда необходимо будет продать мою часть имения, заплатить мои долги и выслать мне остальное, какое бы оно не было. Другого выхода я не вижу. Я живу теперь в долг и кроме этого мне нужно заплатить еще 600 р. долга. — Тесно и плохо и мало надежды, и все-таки я не теряю ни веры, ни духа.

— Буду до конца бороться. —

Сохранилось еще письмо М. А. Бакунина от того же времени к Наталье Семеновне Корсаковой (впоследствии жена его брата Павла Александровича ¹⁾):

Я не имею удовольствия быть с Вами знакомым лично и все-таки, зная дружбу Вашу к моему семейству, решаюсь прибегнуть к Вам с всепокорнейшею просьбой. Будьте добры, передайте или перешлите прилагаемое письмо к брату Николаю, кому-нибудь из сестер или из братьев, только, пожалуйста, не по почте и как можно скорее. Письмо не удобочитаемое и по содержанию своему для меня очень важное. — Кроме того, я писал брату с Клингенбергом, который, вероятно, не застал брата в Петербурге. Если можно, возьмите письмо мое у Клингенберга и отошлите так же не по почте в Премухино. А если увидите кого-нибудь из моих, скажите им, что стыдно лениться, вот уж ровно год, как я не получаю от них ни строчки. Видите ли, Наталья Семеновна, как худо иметь репутацию доброй и симпатичной...

Р. S. Еще одно слово: пользуясь Вашим добрым приглашением, переданным мне в прошедшем году, я через курьеров буду постоянно пересылать Вам мои письма в Премухино с просьбою только не посылать их туда

¹⁾ Начало письма с обращением, а также и то место, где находилась подпись (перед Р. S.) оторваны.

по почте, а сколько возможно с доверенными людьми.—Матушка, братья и сестры, вероятно, также будут посылать Вам свои письма ко мне, которые Вам будет легко доставлять ко мне через курьеров, или, если письма совершенно невинного содержания, даже по почте, только с двойным конвертом и с внешним адресом на имя Михаила Семеновича ¹⁾, который очень добр для меня. Не правда ли, Вы не вознегодуете на меня за смелость, с которой я к Вам обращаюсь? Вы друг моих родных и друзей, и я обращаюсь к Вам, как к лицу родному.—Прошу Вас, передайте мой почтительный поклон тетушке равно как и всему семейству Вашему, а Александра Семеновича поблагодарите особенно за участие, которое он во мне принял.

Письмо М. А. Бакунина к Д. Е. Бенардаки.

Милостивый Государь

Димитрий Егорович.

Полее полугода ждал я ответа на письма, в которых я так подробно и кажется так ясно изложил Вам и свое положение, и свои желания, и, наконец, вместо всякого ответа, услышал от Михаила Семеновича Корсакова, что Вы не считали нужным поручить мне какое-либо дело и смотрели на деньги, полученные и получаемые мною из Вашей кассы, как на нечто вроде даровой пенсии или подарка.—Признаюсь, Милостивый Государь, такое известие сильно меня встревожило и оскорбило. Никогда в жизни никто не смел думать о мне, чтоб я был способен к темным услугам, чтоб я согласился принять от кого бы то не было подавание и быть чьим бы то ни было пенсионером. Что ж дало Вам право думать обо мне так низко?

Я знаю по слухам, а теперь и по собственному опыту, что Вы не читаете большей части писем, Вами получаемых; иначе и не могло бы произойти между нами такого странного недоразумения. Но на сей раз уверен, что Вы сделаете для меня исключение. Вы оскорбили мою честь и должны сознаться в ошибке, без сомнения невольной, но тем не менее требующей полного удовлетворения.

Позвольте, Милостивый Государь Димитрий Егорович, изобразить Вам в третий или четвертый раз весь ход моих отношений с Вами. В начале 1859-го года, рекомендованный Вам А. М. Княжевичем и М. С. Корсаковым, я был снисходительно принят Вами служащим в Амурскую Комп.,—оставил же ее в конце ноября того же года не по capризу, а по необходимости, вследствие убеждения, что, при ложном и пагубном направлении, данном ей ее Сибирским Главноуправляющим, я не мог принести в ней ни малейшей пользы. Об этом я имел честь неоднократно доносить Правлению Компании в продолжение лета 1859-го года, а Вам писал лично через Ю. А. Волкова в мае прошедшего года. В доказательство ж, что Правление Компании было довольно мною усиленными стараниями, прилагаю благодарность, мною от него полученную и подписанную Вашим собственным именем.

¹⁾ Михаил Семенович Корсаков, брат Натальи Семеновны.

Оставив службу Амурской К^т в конце ноября, я хотел уж писать Вам и просить Вас о другом назначении, но был удержан Волковым, который мне тогда объявил, что он ожидает из Петербурга полномочия на управление всеми делами К^т. Он изъявлял намерение дать ей направление совсем иное и уговорил меня в ней остаться, обещая в ней место и занятие, при которых, принося действительную пользу Компании, я мог бы и вполне обеспечить свое семейное существование. В таких надеждах, или лучше сказать, в такой уверенности, прожил я, ничего не делая и не предпринимая, до отъезда Волкова в Петербург. Между тем, мои финансы, уже расстроенные, вполне истощились, и я стал брать у Юрия Александровича деньги не в подарок, а заимообразно, в счет будущего жалования. Я брал их совершенно спокойно, во-первых, потому, что считал будущность свою крепко обеспеченною, а во-вторых потому, что знал, что в самом крайнем случае буду всегда в состоянии выплатить долг мой из части в имении братьев, мне принадлежащей. С уверенностью ждал я возвращения Волкова из Петербурга: встретившись с ним в Томске, в марте прошедшего года, я узнал от него, что Вы мало интересуетесь Амурскою Комп., и что, вследствие его рекомендации. Вы, вероятно отыскиваете о мне, будто бы даже сказали: „такого человека жаль оставлять в Амурской Комп., мы найдем для него и другое занятие“. Вслед за Волковым, я поехал, по его приглашению, к нему в Красноярск, где и прожил с ним полтора месяца в Вашем доме, ожидая решения моей участи. Много мы с ним толковали, много было сделано разных предположений, но ни одно не состоялось, и наконец, перед самым его отъездом, положено было, что я отправлюсь в Иркутск в звание чиновника особых поручений по всем Вашим делам, кроме откупных, и буду получать, впредь до Вашего окончательного решения, 150 рубл. месячного содержания, с обещанием, что я, по приезде Волкова в Петербург, получу от вас определенное назначение и жалование, сообразное той пользе, которой Вы от меня ожидать будете. Вместе с ним я отправил к Вам письмо, в котором так ясно, так определенно высказал Вам, Милостивый Государь Дмитрий Егорович, свои ожидания и твердое намерение ни минути не оставаться в Вашей службе, если не надеется когда для меня настоящего дела, что недоразумений на этот счет быть не могло. К тому же М. Волков, с которым я говорил так много, обещал мне дополнить письмо это своими пояснениями, которые я в том уверен, не склонились к моему бесчестью. Наконец я присовокупил к письму братскую записку оденггах, изятых мною из вашей кассы, с просьбою дать мне год сроку для их уплаты, в случае если служба моя Вам не понадобится. Каким же образом могли Вы подумать, что я согласен жить у Вас на пенсии и брать у Вас деньги даром? К счастью, я сохранил оригинал этой записки и посылаю Вам ее ныне вторично.

Долго я ждал Вашего ответа. Положение мое было нестерпимо, но я сносил его единственно только потому, что, полагаясь на уверение Волкова, ждал каждый час, каждую минуту, что Вам угодно будет наконец поручить мне настоящее дело. Не дожидаясь ничего ни от Вас, ни от Волкова, я писал

еще раз в августе: письмо это взялся передать Вам в собственные руки г-н Зыбин, отправленный отсюда курьером. Сомневался, чтоб Вы его читали, так резко я высказал в нем обидную невыносимость своего положения, прибавив, что если Вам, богатому человеку, ничего не стоит бросить две, три тысячи в год, то мне, человеку, дорожающему своей честью, не приходится принимать ни одной копейки даром.

Наконец получил я от Волкова первое письмо от 13-го августа: в нем извещал он меня о том, что, вследствие разговора Александра Максимовича Княжевича с Вами, я должен получить от Вас письмо „весьма удовлетворительного содержания“. В сентябре писал он мне еще раз: он говорил с Вами, сам читал Вам мое письмо и уверял меня, что „дело мое устроено“. Наконец получил я от него же третье письмо, в котором он пишет следующее: „Дмитрий Егорович теперь заграникою, но по приезде его оттуда, Вы непременно получите письмо от него, я за это ручаюсь. До сих пор я сделал, что мог, но мог немного, теперь будет лучше. Ваше дело кажется прочно устроено“.

Обманутый этими уверениями, я решился жать до приезда Михаила Семеновича Курсакова, который, уезжая из Иркутска, обещал мне поговорить с Вами.

— Он возвратился, и я узнал от него, что Вы изволите смотреть на деньги, полученные и получаемые мною, как на подарок или как на даровую пенсию, жертвующую в пользу не знаю кого и чего. Из уважения к себе и не желая вас оскорблять, Милостивый Государь Дмитрий Егорович, не стану входить в дальнейшее разбирательство: не могу впрочем не заметить, что если б Вам было угодно прочесть мои письма, то Вы не позволили бы себе судить о мне так низко. Пожалуй, Вы не виноваты: Вы человек очень сильный, очень важный, очень богатый, привыкший с пренебрежением смотреть на людей безденежных. Меня Вы не знаете, на чтение же писем человека, Вам совершенно чуждого, у Вас не достало ни времени, ни охоты, — и Вы судили о мне по множеству других прибегающих к Вашей щедроте под разными благовидными предлогами. Гораздо более виню я Юрия Александровича Волкова, с которым я говорил так много, так определенно, так ясно, и который не умел объяснить Вам, что я не принадлежу к разряду продажных людей, берущих деньги за дела нечистые или даром.

Мне ж остается одно: убедившись, что Вы не находите выгодным для себя поручить мне настоящее дело, я должен немедленно оставить Вашу службу и возвратить Вам сполна все суммы, мною от вас полученные. Из прилагаемой записки видно, что я был должен Вам по 1-е мая 1860-го года три тысячи триста семьдесят пять рублей (3375 руб. сер.). Прибавив к ним тысячу восемьсот руб. (1800 руб. сер.), взятых мною за службу у Вас без всякого дела от 1 марта 1860 года по 1-ое марта 1861-го года, получим пять тысяч сто семьдесят пять рублей (5175 руб. сер.) даром мною от Вас полученных, которых я считаю себя обязанным возвратить Вам как можно скорее. — Брату, как естественному

представителю моей чести и моих обязательств, я поручил к Вам явиться и привести мое дело в совершенную ясность. Я потерял драгоценный год в ожидании дела, обещанного мне Вашим именем; надеюсь, что Вы не откажете мне в годовом сроке для уплаты Вам моего долга.

С истинным почтением честь имею быть,

Милостивый государь

Димитрий Егорович,

Вашим поворным слугою

М. Бакунин.

14-го января 1861

Г-д Иркутск.

Р. S. Прошу прощения за чернильные пятна. Переписать письма не успею.

Копия с записки, посланной мною через Г-на Волкова Господину Бенардаки 1-го мая 1860-го года из Г-да Красноярска.

В Амурскую Компанию я вступил 1-го марта 1859-го года. А. В. Белоголовый положил мне жалования в год 1000 руб. серебр., а на время, проводимое мною вне Иркутска по делам К^о, содержания 50 руб. сер. в месяц. Кроме того, я получил от него на подъем из Томска в Иркутск 700 руб. сер., из которых 350 руб. на счет компании, а 350 руб. заимообразно, с вычетом из моего жалования.

Приехав в Иркутск в половине марта, я до 1-го июня оставался без всякого дела. А. В. Белоголовый видимо затруднялся мною, не зная, кажется, как и куда меня поместить, и я поневоле должен был смотреть на получаемое мною жалование, как на даровую пенсию; а между тем он требовал, чтоб я заключил с ним контракт на три года на этих невозможных для меня условиях, — бедных в финансовом отношении, обидных в нравственном.

Опасаясь на первую пору показаться требовательным и неблагодарным, не имея с другой стороны возможности согласиться на требования Андрея Васильевича, и наконец, не желая брать дарового жалования, я по собственному движению письменно сделал следующее предложение: считать мою службу не с марта, а с 1 июня, а 250 руб. сер., взятые мною за март, апрель и май, считать за деньги, данные мне займы, равно как и все 700 руб., полученные мною на подъем из Томска, если я не заключу с комп. контракта на следующий год, на каких бы то ни было условиях; таким образом, что если контракт между нами заключен будет, я останусь должен компании всего только 350 руб. сер., если ж мы напротив разойдемся, то буду должен ей 950 руб.

Контракта я не заключил и не считаю себя способным продолжать службу в Амурской компании, а потому по совести считаю себя должным Компании 950 руб. сер.

Затем, за шесть месяцев, от 1-го июня по 1-ое декабря 1859-го года, проеденных мною в Забайкалье по делам компании, я получил жалование 500 р. и 500 р. содержания, — итого 500 р. сер. После чего перестал получать или требовать что-либо от компании.

Ю. А. Волков, войдя в мое финансовое положение, дал мне от Вашего имени займообразно и в разные времена 2425 руб. сер.

Я желал бы, милостивый государь Дмитрий Егорович, чтоб Вам угодно было принять 950 руб., должны мною Амурской комп., также на себя; таким образом я был бы вам должен всего три тысячи триста семьдесят пять рублей (3375 р. с.) и просил бы Вас вычитать их постепенно из жалования, которое Вам угодно будет мне назначить, если Вы удержите меня в своей службе, в противном же случае дать мне год срока для их уплаты.

М. Бакунин.

Писем из Сибири в архиве больше не имеется. Как известно, в самом конце 1861 г. Михаил Бакунин бежал из Сибири, и следующие из сохранившихся в архиве писем к родным писаны уже из Лондона.

3-го февраля
22-го января 1862. Лондон

14 Alfredstreet Bedfordsquare. W. C.

Мои милые — брат Александр у меня в Лондоне, он пробыл здесь около двух недель и сегодня вечером обращается вспять в свою прекрасную Флоренцию. Мы с ним много толковали и теоретически и практически. Практически сошлись, как всегда мы, братья Бакунины, сходиться будем. Теоретически мы живем в разных мирах: он живет еще в абсолюте. Мы стараемся жить как умеем в мире действительности и часто друг друга не понимаем.

— Но для меня, по крайней мере, мир теоретический теперь не главный мир, — и так мы сошлись как друзья и братья, и весь Премухинский мир ожил для меня с его приездом. Мы решили с ним, что нам, братьям, следует по возможности восстановить сознательное, практическое единство между собою, чтоб мы жили и действовали за одно, по одному направлению, стремясь хоть и из разных положений и мест к одной цели.

— Это будет хорошо и для Вас, а для меня необходимо, потому что, соединясь с Вами, — если соединение только возможно, — я перестану стоять на воздухе.

— Я Вам недавно писал подробно и много и послал адреса, по которым Вы можете писать мне. Надеюсь, что вы воспользуетесь ими и прежде всего уведомите меня о моей жене. Все уверяют меня, что правительство ее не задержит. Не стану говорить Вам, с какою заботою и с каким нетерпением я жду ее; в этом отношении, как и во всех других, совершенно полагаюсь на Вас. В случае правительственных затруднений обратитесь к моему и

Вашему знакомому Николаю Павловичу Игнатьеву, он Вам поможет. Милые братья, я в последнее время совсем разорил Вас, но нечего делать, к кому же мне и обращаться за советом и помощью, как не (к) Вам. Вот Вам мой настоящий бюджет или лучше сказать мой дефицит:

Я уехал из Иркутска, взяв с собою 800 руб. сер. (из 1000 руб. Вам известных) — 200 руб. оставил жене.

За 800 руб. сер. бумажками я получил в Кяхте всего 2600 франков. С этим поехал из Иркутска. До Японии издержал 600 франков. В Юагаме должен был разменять остальные 2000 фр. на мексиканские доллары с большою потерей, за 1 мекс. доллар = $6\frac{1}{2}$ франков, и получил таким образом 310 долларов, из которых должен был издержать в продолжение 10 дней в Юагамском отеле, где жизнь баснословно дорога, около 70 долларов. За переезд из Юагамы в С-н Франциско 200 долларов. Так что, приехав в С-н-Франциско, не имел более 30 долларов в руках.

В С-н Франциско занял 300 долларов америк.

В Нью-Йорке 300 долларов

600 долл. по курсу здешнему

3000 фр.

да от Герцена получил 2000 „

и итого 5000 фр. долгу.

Итак, путешествие от Иркутска до Лондона стоило мне всего около 7600 фр. = немного более 2000 руб. сер. (из которых 800 Вы, вероятно, уж заплатили).

Винюват, не совсем так: я привез с собой в Лондон из этих денег: 240 долларов амер. = 1200 фр., из которых выплатил 200 долларов долга в С-н Франциско и 200 фр. прожил здесь в Лондоне. Так что собственно долга у меня осталось 4000 фр., а вся дорога стоила = 6600 франк в.

Приехав сюда, я нашел у Герцена 575 франков, присланных мне Василием Петровичем Боткиным, из которых я издержал уж 175 франков.

Бюджет мой поэтому следующий:

Долгу: 4000 фр.

Имения: 400 фр.

По вашему согласию и по совету Александра возьму у Тургенева Ивана Сергеевича

1000 руб. сер. = 3500 фр.

Выплатчу из них:

остальные 500 фр. в С-н Франциско

1500 фр. в Нью-Йорке

2000 фр.

останется у меня — 1500 франков

грустно с братом расстаться, но и Италия тает, точно домой; из Флоренции напишу Вам о моей поездке в Россию. — При этом письме посылаем Вам 2 фотогр. портрета брата, один Танюше по праву, а другой на семью.

— Сказать Вам больше нечего. До свиданья, будьте здоровы и пишните; до свиданья.

Ваш А. Бакунин.

Мишель велит послать не 2, а 3 портрета, — ну все-таки один Танюше по праву, а другие 2 на семью. А. В.

27
15 февраля 1862. Лондон.

10. Grove Terrace. Grove Road.
St Johns Wood. — N. W.

Братья — Пишу Вам в четвертый раз из Лондона и не сомневался в том, что письма мои до Вас дошли. — Неужели же Вы не могли отыскать возможности отвечать мне, — я Вам послал столько верных адресов, указаний, путей для переписки. — Ведь Вы понимаете верно, как мне тяжело не знать ничего о жене. — А ведь я до сих пор ничего, ничего не знаю. Ради бога, пишните, пишните всю правду, что б там такое ни было, — не бойтесь огорчить, испугать меня — я крепок — пишните правду и как можно скорей. — Неизвестность невыносима. — Я виделся с Александром — он артист и должен остаться артистом. — В мыслях мы с ним часто расходились, в чувствах, в любви мы близки, как все останемся до гроба близки друг к другу. — Письмо это Вам отдаст Маркиз де Траверсе или Толь (?) — вместе с моею вступительною статьею. — Я не мог молчать долее, (хотя) знал, что появление ее может затруднить поездку жены. Однако люди влиятельные меня уверяли, что правительством не станет ее задерживать. Когда ж я увижусь с ней? — Ради бога, напишите хоть слово. — Если не получили моих писем и не знаете других путей, спросите у Маркиза, — он Вас научит, как писать мне. Он славный человек, немножко легкомыслен, но благороден с ног до головы — а Вы, милая маменька, и Вы, сестры, помните ли Вы меня? Тяжелое теперь время настало, всем тяжело, все должны привыкнуть к лишениям и жертвам, и все-таки великое и прекрасное время.

Дай нам бог всем силы и веры и уже до конца.

Пишите скорее и дайте мне мою Antonie.

Ваш М. В.

Не зовите Александра из Италии. Для сохранения, для укрепления его здоровья необходим теплый климат. Его легче не пришло еще в нормальное состояние после опасного испытания ¹⁾. Его дух еще в болезненно-нервоз-

¹⁾ В феврале 1861 г. Александр Бакунин стрелялся во Флоренции, вследствие какого-то неудачного романа.

ном состоянии. Он любит неправильно, но кажется страстно любит. — Дай бог ему счастья, дай бог, чтоб он не скоро разочаровался. Он мне сказал, что может быть маменька с сестрами и детьми придет в Италию — хорошо бы было, если б это осуществиться могло. — Но где возьмете денег, которых ни у кого теперь нет. — Да, теперь нужно много веры и силы. — Будем же крепко держаться друг за друга, вместе будем сильнее.

Прощайте, друзья, — когда ж я получу Ваши письма? — Когда узнаю что-нибудь о жене?

$\frac{15\text{-го}}{3}$ апреля 1862 — Лондон.

10. Paddington green. W.

Милая сестра ¹⁾ — Какое счастье для Павла и для нас всех, что ты в это смутное и тяжелое время стала его женою, а нашу сестрою. Я лично тебя не знаю, но много слышал и читал о тебе, и от всей полноты сердца поздравляю нас, тебя, Павла в особенности, и подаю тебе братскую руку на неизменную веру и дружбу. Спасибо тебе за первое и единственное письмо, полученное мною из упрямно-молчаливого Премухинского мира, за первое известие о жене. Известие об арестовании двух братьев ²⁾ дошло до меня прежде твоего письма. Оно возбудило, конечно, во мне мучительное беспокойство, беспокойство бессильного, который не может помочь, но вместе с тем и чувство гордости, чувство светлой, хотя и грустной радости. Честь и слава им. Чем бы ни кончилось их дело, они и все тверские дворяне, поднесившие адрес, заявили себя самоотверженными защитниками несомненного, великого права и вместе политического разума. Да, только этим путем можно спасти массу дворянства от страшной народной резни, только самоуничтожением дворянства может быть обеспечено широкое и спокойное развитие русской свободы. Тверские дворяне действуют ныне консервативно, правительство же революционно. Иди оно еще год или два таким путем и вся Россия, а с нею и петербургская власть, потонет в крови. Впрочем, для последней, кажется, нет спасения. Чтoб спастись, она должна была бы переродиться, на это у ней не достанет ни ума, ни воли, ни запаса жизненных сил. Жил и умрет Петербург Немцем — а для Немцев в России теперь места нет. — Ну да бог с ними! Возвращаюсь к братьям. Какое счастье, что Павел свободен, на нем лежит теперь все семейство. Павлу нечего говорить, чтоб он не компрометировал себя попустому. Он умен и ты умна, ни необходимость (сторожности теперь ясна. Ты просишь меня не компрометировать

¹⁾ Письмо это написано Наталье Семеновне Вакуниной, урожденной Корсаковой, вышедшей замуж за Павла Алекс. Бакунина в августе 1861 года.

²⁾ Николай и Алексей Бакунны, в числе 13 тверских мировых посредников, за отказ руководствоваться в своей общественной деятельности распоряжениями правительства и за обещание заменить их указаниями общества, в феврале 1862 г., были посажены в Петропавловскую крепость, а затем приговорены сенатом к двухлетнему заключению в смирительном доме. Но в конце июля они были освобождены и возвратились в Премухино.

братьев прокламациями, я вижу, что братцы и сестрицы представили тебе меня, как какого-то абстрактного, безмозглого и бессердечного революционера, шумящего без цели, без толку и с утра до ночи пишущего прокламации... и что за слово смешное, — кто пишет и кто читает теперь прокламации.

Такое же мнение о себе я читал в одном письме брата Николая к Тургеневу, да и давно знаю, что оно укоренилось в голове братьев. — Сначала это огорчало меня, потом я махнул рукой. Кружки бывают часто бессознательно самодовольны и всегда упорны. Этим мнением о моей персоне объясняется странный факт, болезненно поразивший меня два года тому назад и услышанный мною впервые от графа Н. Н. Муравьева-Амурского, а именно, что братья не только не желали, но боялись моего освобождения. Оно же (было) причиною неудовольствия, восчувствованного ими при получении известия о моем бегстве. При всей дружбе ко мне, в которой я не сомневался, они порешили вопрос, и сестры подтвердили, что мне следует оставаться в Сибири; оно было бы и для всех покойно и для дела полезно, — и когда услышали о моем бегстве, так безжалостно разрушившем устроенный ими порядок, они без сомнения воскликнули, а брат Николай обиняком написал: „Ну, вырвался полумумный, то-то будет нам, умным, мешать!“. — Поверь мне, милая Natalie, горюет об этом не мое самолюбие, но моя надломленная вера... мне жаль той святой солидарности, которая между нами некогда существовала и теперь существовать могла бы, должна бы, но разорвана. Возвратимся к братьям. По всем известиям, они скоро будут свободны. Итак, друзья, есть надежда, что Вы скоро хоть на короткое время успокоитесь. Увы! теперь не время наслаждения и спокойствия. Времена великие, но жестокие наступают. Лихо морю-океану расколыхаться, не скоро оно потом успокоится. Все паллиативные средства, придумываемые ныне, только ускорят разгром. Надо готовиться к буре — хотите, не хотите, но надо — ни от Вас ни от кого она не зависит. Она во всей атмосфере, и в этом отношении я не ошибаюсь: во мне есть инстинкт бурной птицы. Приближается для нас всех испытание страшное; дай бог, чтоб каждого из нас оно нашло на своем месте и в силе. Держитесь крепко друг за друга, верьте друг в друга, любите друг друга. Такая любовь, как Ваша семейная любовь, в такое время, как наше, сокровище, отрада и сила. А мне дайте скорее мою милую Antonie. Наконец я хоть немного успокоился, прочитав ее письмо к Николаю от 3-го января. Но и тут меня кольнуло в сердце грустное соображение. Значит, брат, и один только брат, писал ей не ранее декабря или конца ноября. Мои же письма из Иркутска были получены в Премухине в мае, в июне, последнее ж в первых числах июля. В них я умолял маменьку, сестер, братьев вызвать Antonie в Премухино. Предполагая, что у братьев нет денег, я написал Тургеневу. Зачем же Николай отказался от 1000 руб., предложенных сим последним, в то время как я с возможною ясностью, кажется, объяснил братьям, что необходимо, чтоб Antonie не оставалась ни одного лишнего дня в Иркутске. Во-вторых, я умолял их всех немедленно и прежде всего, даже когда и денег не было бы, написать моей бедной, оставленной

мною жене соборное, доброе, родственное письмо, дабы она могла наконец поверить, что у меня, что у нее есть семейство в России, готовое принять ее с горячим чувством и с открытыми объятиями, — чтоб хоть скольконибудь ее успокоить и чтоб дать ей почувствовать, что она не оставлена, не забыта.

И что ж, вот что значат *théories gréconçues*¹⁾, как они забывают не только здравый рассудок, но даже сердечные инстинкты. Мудрый Премухинский Санхедерин решил, что в этом отношении я вру, и что так же в делах так близко, так исключительно касающихся до меня он, как и во всем прочем, смылит более меня. Забыв, что на расстоянии 5000 верст самому острому пониманию трудно конструировать обстоятельства, отношения и вытекающие из них необходимости. Признаюсь, *Natalie*, что такое систематическое пренебрежение к моим соображениям, мольбам, законным требованиям, это высочайшее самодовольствие кружка, в себе заключенного, встреченное мною там, где я искал любящей семьи, это неожиданное равнодушие к моей жене в таких обстоятельствах — все это возбудило в сердце моем негодование глубокое и нужно мне было услышать об аресте братьев, чтоб вспомнить и снова почувствовать, что у меня есть еще братья.

Прости мне, милая сестра, это неприятное объяснение, но я хочу быть с тобою в отношениях серьезных, а потому и должен сказать тебе, что думаю и чувствую. — Братьям, сестрам я не пишу, да и писать не буду — мне надоело писать безответно, — а во-вторых, мы так мало понимаем друг друга, что нам и говорить нечего. — Я остался им верен и продолжаю любить их от всей души, радуюсь их успехам, горжусь их благородными действиями, но мне надоело, да наконец я нахожу себя недостойным толковать и объяснять себя людям, которые ни слушать, ни понять меня не хотят. Будем жить и действовать врознь. Я нашел здесь своих друзей, свой мир и свое поле для действия, — и несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, на все печальные последствия моего бегства из Сибири, благословляю его каждый день. — Ты должна сердиться на меня более других за Михаила Семеновича²⁾. — Да, я виноват перед ним и все-таки не каюсь. — Правительство, братья осудили меня на гнание в Сибири. Но я не считал себя вправе и просто не хотел хоронить в Сибирских пустынях тех сил, той мысли и того призвания на дело, которые я в себе ощущал, наперекор мнению братьев. Убедившись из письма брата Николая, полученного мною в апреле 1861-го года, и из других источников, что меня из Сибири выпустить не хотят, — я решился. — Я знал, что мое бегство возбудит неудовольствие Премухина, но не предчувствовал, правда, чтобы оно могло простираться так далеко, что братья и сестры не захотят написать даже одного доброго слова жене — *das war ein ganz neues Erlebnis*³⁾. — Знал, что оно будет стоить денег и что у

¹⁾ Предвзятые теории.

²⁾ Михаил Семенович Корсаков, генерал-губернатор Восточной Сибири, брат Натальи Семеновны Бакуниной.

³⁾ Это было нечто совсем новое.

меня кроме долгов ничего нет. — Знал, что оно навлечет большие неприятности на Михаила Семеновича и что я не мог иначе совершить его, как обманув его безбожно. — Я оставлял жену в Иркутске, бедную, грустную, молодую, беспомощную, без всякой другой опоры, кроме семейства ее доброго, истинно благородного, но бессильного, не обеспеченного даже в своем собственном существовании, — не знал, правда, что я потерял право рассчитывать для нее на сердечную поддержку моего премухинского семейства — на том основании, что у нас разные политические штандпункты. — Знал, что ей будет и горько и тяжело без меня в Иркутске, а она вместе с моим делом для меня все в жизни — и несмотря на все это, посоветовавшись с ней одной, решился — решился, уверяю тебя, не легкомысленно, но после долгого, долгого размышления, после упорной и мучительной внутренней борьбы, с полным сознанием всех трудностей, неудобств, всех возможных последствий и жертв, сопряженных с моим предприятием. — И теперь говорю, я сделал то, что должен был сделать, а судьи мне — моя совесть да мои друзья. Другого суда над собою я не признаю. Если братьям угодно присоединить голос свой к укоряющей меня части публики, они вольны, но для меня этот суд не существует. — Пишут мне из Петербурга, что правительство будто бы собиралось освободить меня, когда получило известие о моем бегстве — и в таком случае я поступил хорошо. — В России я мешал бы братьям, был бы чужим между ними, был бы связан и боязнию мешать им и исключительностью своего положения, не мог бы и молчать, не мог бы говорить свободно. — Здесь я на своем месте и между своими, совершенно свободен, и даст бог, буду по своему не бесполезен. — Вот Вам и моя прокламация.

До Вас, милые братья и сестры, у меня только одна просьба. — Помогите мне вызвать мою жену сначала из Иркутска к Вам, потом из Премухина в Лондон. — Мне кажется, что когда Вы ее узнаете, Вы ее полюбите; она, право, этого стоит. Но не в том дело, а ее люблю и мне она необходима. — У Вас нет денег, я знаю. Как мне тяжело говорить с Вами о деньгах. В этом отношении Вы принесли мне столько жертв и всегда поступали сомнительно с таким самоотвержением, что я не нахожу слов, чтобы выразить Вам свой стыд, свою горесть, что снова должен просить Вас с помощью. — И. С. Тургенев, который в мае месяце будет в Питере, и податель этого письма, друг мой, Налбандов, вполне уполномоченный мною во всем, что касается до жены и на которого Вы можете положиться, которому можете довериться безусловно, обещали мне достать Вам взаймы около 2000 руб. — Из них 1500 руб. должны быть посланы жене в Иркутск, а 500 руб. употребиться на ее путешествие из Премухина в Лондон. — Пожертвуйте еще эти 2000 руб., — и пусть этим покончатся между нами все денежные счета. — Я надеюсь, что деньги будут посланы жене в мае месяце. Положим, она получит их в конце июня. — Тогда в начале августа она может и должна быть в Премухине. — А потом друзья мои похлопочут о скорейшем препровождении ее из Премухина в Лондон. — Налбандова рекомендую Вам, как отличного человека. — Он так же, как Вы, никакой политической солидарности

со мной не имеет. — Да мало он и смыслит в политике, он человек торговый. Но я безусловно полагаюсь на его честность, на его бесконечную доброту и на его добрую волю. — Если Вы только сами найдете возможным помочь мне, он будет вам драгоценным и неутомимым помощником. — По получении этого письма и переговорив с Налбандовым, прошу Вас, напишите немедленно к жене, предупредите ее о присылке ей денег к такому времени и пригласите ее ехать к Вам как можно любезнее, — не спрашивая ее более, хочет ли она ехать или нет, — вопрос, который после моих писем к Вам из Иркутска был странным и, позволяете сказать, неуместным вопросом, — скажите ей, чтобы она готовилась к дороге. — А ты, милая Natalie, если не совсем отвернешься от меня, прочитай это письмо, напиши брату своему Михаилу Семеновичу и попроси его, чтобы он помог моей жене отыскать удобный, приличный и безопасный случай для выезда из Иркутска. — Она должна ехать с семейством, с чиновничьим или с купеческим — у меня было все устроено, — но Вы рассудили иначе, — а случаи не часто встречаются. — И еще одна просьба — не о том, чтобы Вы мне писали, — этого я не ожидаю и не надеюсь, — но чтобы Вы передавали Налбандову все, что по Вашему усмотрению меня интересовало и мне передано быть может. — Он знает, как писать мне. — Жена моя нашла средство писать мне из Иркутска, — Вы не умели, значит не хотели, — или бы мне пришлось упрекнуть Вас в глупости, — но от такого греха перед Духом святым, боже меня избавь!

Прощай, милая Natalie, — плохое я написал письмо в ответ на твоё коротенькое, но теплое письмо, — и бог мне свидетель, что я сел писать с другим чувством, но что так долго мучило самую глубину моего сердца, помимо моей воли, вырвалось наружу, — ведь я разорвал два письма, это третье — видно, лучшего не напишу — так пускай идет себе. —

Обнимаю тебя и наперекор всем Вам буду любить Вас по своему.

М. Бакунин.

9 мая 1862 — Лондон.

10. Paddington green. W.

Милая Наташа, я писал тебе, в ответ на твоё короткое, но теплое письмо, письмо предлинное и презлое, в котором вылилась вся желчь, накопившаяся во мне, вследствие непонятного молчания и апатии братьев. — Это письмо придет к тебе, без сомнения, прежде и оно лучше выскочит мои постоянные, неизменные чувства к Премухинскому миру. — Я остался и никогда не переставал быть верным ему. — Тебя любил по рассказам и по письмам братьев, прежде чем ты стала женою Павла, — а теперь отношусь к тебе, как к сестре и верному другу. Павлу не пишу особенно, потому что он не пишет, а мне писать понапрасну надоело. — Но ведь все равно, ты и он теперь одно лицо. — Все говорят, что братья легко отделаются.

Итак, они не пропадут ни для семейства, ни для дела. — Слава богу — а для пользы дела они стали только сильнее — и это слава богу.

— Мне кажется, что со времени моей последней (*одно слово не разобрано*) они более чем когда-нибудь стали смотреть на меня, как на человека отрезанного, чуть ли не отверженного. Постарайся убедить их в неглупости такого воззрения и понять, что мы здесь далеко не абстрактные головорезы, — что мне нужно связаться и действовать вместе, — что еще не один человек, имевший прамые дела с Лондоном, еще не компрометировался, — а если и были исключения, то происшедшие из собственного тщеславия людей попавшихся. — Объясни им, что в связи крепость и что в сущности между ними и нами нет различия. — Мы не Французы, не Англичане, не Немцы, даже не Итальянцы, не абстрактные революционеры, не анархисты, — а русские, живущие только для России и ощущающие потребность в беспрестанных свежих сношениях с живою, деятельною Россиею, без которых мы давно бы выдохнулись истал и бы именно теми осадками, неудобоваримыми абстрактами, за которые они нас, особливо меня, принимают. Я все еще не могу переварить письма Николая к Тургеневу.

Милый друг — прошу тебя — пиши как можно чаще жене, хоть самые коротенькие письма — и сестер и Павла проси ей писать, — чтобы она наконец почувствовала и поверила, что Вы ей родные души. — В конце Мая или в начале Июня (по Вашему) ей будут посланы 2000 или 1500 рубл. — Тогда зовите ее к себе в Премухино, всеми силами. А ты напиши Михаилу Семеновичу, чтоб он ей помог найти попутчиков — всего лучше семейство чиновничье или купеческое.

— Помогите же ей, ради бога, выбраться из Сибири — и скорее, скорее.

Скоро к Вам придет мой истинный и верный друг, который привезет Вам от меня злое письмо, — устройте с ним все дело — только, решительно без промедлений и отлагательств. Имя его Налбандов. — Он и И. С. Тургенев пошлют жене моей деньги — и будут Вам ревностными помощниками в этом деле.

Если Вы не знаете, как писать ей — что было бы очень странно — то отдавайте или пересылайте Ваши письма Маркизу де Траверсе в Петербург, — а в его отсутствие жене его Маркизе Марии Николаевне де Траверсе.

Адрес их:

В Гончариской улице, в доме Прокоповича — с просьбою доставить их жене в Иркутск.

Им же пересылайте Ваши письма ко мне, если Вы наконец решитесь мне писать — и будьте уверены, что все, как ей так и мне, будет верно и безопасно доставлено.

А это письмо сожгите ради имян.

Ваш верный и ненаменный друг и брат, а не абстрактный революционер, как Вам по почте из Италии писал по моей просьбе брат Александр.

М.

В это письмо вложена неоконченная записочка, следующего содержания, на которой, рукою лица, собиравшего архив, написано карандашом:
„1862 — лето“.

Благодарю вас за ваше доброе письмо, любезный Сазонов; из письма Мельгунова вы увидите, что я не в Париже, а в Люке (*Lus sur mer*) в полутора часа от Саян. — Мельгунов приехал сюда брать морские ванны, но не берет, — а я купаюсь как в *S^t. Malo* 2 раза в день, — и также как в *S^t. Malo* вожусь с (последнее слово не окончено).

16/4 Мая 1862 — London.

10. Paddinton green. W.

Братья—прежде всего я должен просить у Вас прощения за бранчивый тон письма, посланного мною Вам с Господином Налбандовым. Это была последняя вспышка моей прошедшей веры в Премухино. Потеряв веру, я потерял право с Вами браниться. — Видит бог, что не легко мне расстаться с иллюзией целой жизни. — Но всякий возраст имеет свои обязанности. — В молодости хороша вера, в наши лета необходимо ясное сознание. — Желая оправдать свое суждение перед Вами, обращаюсь к фактам.

Во-первых, ясно, что Вы не хотели моего возвращения из Сибири в Россию. — Спешу оговориться. Причины Вашего нежелания видеть меня у себя были исключительно политического свойства: я не подходил под Вашу систему и Вы боялись, чтоб я не помешал ее правильному развитию. — Из письма с Налбандовым вы увидите, на каких фактах я основываю такое убеждение.

К тому же даже за отсутствием других фактов, письмо Николая к Тургеневу было бы достаточным доказательством.

По тем же самым причинам, Вы были очень недовольны моим бегством из Сибири. — Решаясь бежать, я предугадывал это, — Вы отпели меня не только в умственном, но и в нравственном отношении, и потому мое воскресение не могло быть Вам приятно. Вы полагали, что во мне не осталось способности быть полезным, поэтому Вам казалось удобнее, чтоб я оставался в Сибири. Я рассудил иначе. Видя, что у меня нет поддержки в России, убедившись окончательно из письма Николая, что я осужден и Правительством и Вами на тихое гниение в Сибири, я решился бежать; и по старой привычке, между решением и делом не прошло много времени. Я знал, что Вы будете недовольны, но надеялся, что помимо общих философских конструирований и политических соображений, в вас проснется и скажется наша старинная, святая, помимоусловная любовь, в которую я верил, на которую тогда полагался еще безгранично, — несмотря на все слышанное и испытанное.

Я так верил в эту традиционную премухинскую дружбу, что не побоялся оставить жену в Иркутске с 200 рублями да с долгами, уверенный, что Вы немедленно сделаете все возможное, чтобы успокоить ее, чтобы дать

ей почувствовать, что она не покинута, а потом, чтоб вызвать ее к Вам из Сибири. Я особенно просил Вас о первом, зная, что она, по какому-то чувству, оказавшемуся верным инстинктом, не верила в действительность Вашей дружбы ко мне. — Приближаясь к Лондону, я был уверен, что найду там письма и от нее и от Вас... и во всех расчетах ошибся. Приветственных писем из Петербурга и Москвы я получил много, от Вас ни слова. О жене ни слуха, ни духа. Потом стал получать письма и от нее и от ее родных, даже от посторонних в Иркутске, от Вас же все ни слова. А между тем Вам не трудно было понять, каково мне было оставаться без всякого известия о ней. Я писал Вам об этом из Лондона, умоляя Вас написать мне хоть одно слово — все напрасно. Наконец я получил единственную коротенькую записку от Natalie, которая только вскользь упомянула о моей жене, говоря, что она живет, здорова и ждет денег в Иркутске. О том же, писали ли Вы ей, что именно писали, что хотите, что можете сделать — опять-таки ни слова, точно как будто бы это было для меня совершенно постороннее дело... Вот я и задумал думу. — Братья не пишут — что б это значило? Находят ли они, что писать в Лондон невозможно или уже из рук вон опасно? Это значило бы сомневаться в вашем уме, в Вашей нравственной твердости. — К тому же я Вам объяснял через Малиновского, как переписываться легко и безопасно. Все другие пишут, одни Вы молчите. — Пришлось искать других причин, и как ни больно было, сказать себе, что тут кроется, если не неприязнь, то положительное равнодушие. В этом мнении я утвердился, когда узнал, что до самого декабря Вы не находили нужным написать слово жене, а в декабре написали для того, чтоб поставить ей странный вопрос: действительно ли она хочет ехать ко мне. — Ну, тогда мне все стало ясно. Больно мне было, и написал я Вам глупое, раздражением дышащее письмо с Налбандовым. Еще раз простите. Говорят мне теперь, что Вы положительно не желаете, чтоб жена моя ехала к Вам. Зная причину, т.-е. истинную суть наших отношений, я этому не удивляюсь. Вы исключили меня из Вашей среды. Покоряюсь факту, не рассуждая о нам с Вами, это было б противно моему достоинству. И так дело между нами ясно. И если я могу Вас в чем упрекнуть, так только в одном: зачем заставили Вы меня так долго томиться и ждать и не сказали мне честно и смело всей правды? Потеряв надежду на Вас, я принял бы другие меры. Впрочем, похороним прошедшее и перейдем к настоящему.

Друзья мои, И. С. Тургенев и М. Л. Налбандов, один по старой, другой по новой дружбе, — взялись хлопотать об освобождении жены моей из Иркутска и о приезде ее, сначала из Иркутска в Россию, потом из России в Лондон. — На это необходимы, во-первых, 2000 руб. сер.

Теперь вот в чем вопрос, сообразив все денежные жертвы, уже Вами мне принесенные со времени моего появления в Петропавловской крепости и до сих пор, — по справедливости, имею ли я право просить вас, чтоб Вы дали мне еще 2000 руб. — А если по Вашим расчетам я это право имею, в состоянии ли Вы не найти их немедленно, но поручиться за них на

определенный срок перед Тургеневым и Налбандовым, которые в таком случае составят или помогут Вам составить неотлагательный заем. На столько Вы меня не забыли, чтоб заподозрить меня в недостойных сомнениях насчет Вашей честности, я верю не только в честность, но и в великодушие Ваше, которое несколько раз испытывал на себе. — И так не в этом дело, — я требую от Вас во имя моей чести, чтоб Вы отныне не приносили мне никаких жертв. — Если я забрал более, чем мне по Вашим расчетам следовало, скажите. — Если Вы не можете поручиться, ни обязаться займом — также скажите. Тогда друзья мои примут другие меры.

Другой вопрос: Жена моя непременно будет скоро в России. — Желаете Вы, чтоб она по дороге ко мне заехала в Премухино или нет? — Мне кажется, что это было бы приличнее. Если Вы со мною согласны, то потрудитесь сами и попросите сестер, а может быть и матушка согласится написать ей пригласительное письмо. — Я ручаюсь Вам в том, что она пробыдет у Вас не долго. Только в таком случае прошу Вас написать ей тотчас же по получении этого письма. Если же не можете и не хотите, то скажите прямо моим друзьям. В причины Вашего нехотения ни я, ни они входить не станут. Но так как поездка жены ни под каким видом не должна быть более отложена, они найдут другое почтенное семейство, которое согласится принять ее на дороге.

Итак, братья, я Вас прошу теперь только об откровенных, коротких и определенных ответах на эти два вопроса Тургеневу и Налбандову, а если хотите — и мне. Они возьмются переслать мне Ваше письмо.

Мне ж остается искренно пожелать Вам, во-первых, скорее свободы и потом успешного продолжения так благородно начатого великого и святого дела.

М. Бакунин.

Ни одного письма от 1863 г. в архиве не сохранилось.

1 окт./20 сент. 1864. Стокгольм.

Любезные братья. Не имея о Вас никакого известия, я решился принять предложение доброго шведа Карла Карловича Астранда или по-шведски Остранда, прожившего около 20 лет во главе машинного завода в Тверской губернии. Он мне любезно предложил писать Вам через него, уверяя, что он имеет верное средство доставить Вам мое письмо. Хорошо ли это средство или нет, я здесь решить не могу, но так как не имею другого, Вы же так упорно молчите, то решился попробовать его. Если Вы найдете его годным и захотите со мной переписываться, то будете отвечать мне тем же путем.

В противном же случае, я сам, по крайней (мере) этим путем, писать Вам более не стану. Я прибыл сюда 6-го сентября, оставив жену сначала в Антиньяно, теперь же во Флоренции в добром семействе. Устроил здесь довольно хорошо свои дела, так что буду иметь в год за корреспонденцию на французском языке — шведы же переводят на шведский — около, даже более

4000 франк. Хорошо бы было, еслиб Вы могли прислать мне не 500 руб. сер., как я прежде просил, а 1000 руб. вдруг. Тогда бы, заплатив еще кой-какие беспокойные долги, с помощью корреспонденции я стал бы на ноги, и долго, долго не стал бы беспокоить Вас. Впрочем, если не можете, пришлите 500, а того не можете, так ничего не присылайте. Тяжело будет, а ведь все-таки не пропаду. Прислали мне из Флоренции письмо какого-то г-на Шварца, который пишет мне, что будто Вас знает. Жалуются, что я не отвечал на его первое письмо, которого я не получал, и дает мне rendez vous к 13-му сентябрю в Милане, а я был в это время уже в дороге. Чрезвычайно мне жаль, что я не мог его видеть, ни даже отвечать ему. Если Вы действительно его знаете и если он того стоит, скажите ему мое сожаление. Я пробуду здесь до 12-го октября. Отсюда поеду в Христианию, где пробуду только три, четыре дня, так что около 20-го буду в Лондоне, а в первых числах ноября во Флоренцию, т.-е. в новой столице Италии, будет дорожно — досадно. Попробую скоро писать Вам через г-на Нинделя. Впрочем, все это будет зависеть от того, захотите ли (закончите?) Вы наконец жестокое молчание или нет.

Всех вас, сестер обнимаю.

Ваш М. Б.

Пишет мне также г-н Шварц, что будто брат Павел собирается за границу — правда ли?

Письмо М. А. Бакунина (начала не сохранилось) к Павлу Александровичу и Наталье Семеновне Бакуниным, которые в декабре 1864 года уехали за границу и в первой половине 1865 г. жили во Флоренции и Сорренто с Михаилом Александровичем; на письме карандашом помечено: „1865 год — весна“.

...„прилагаю письмо Мамоновой к кастелянше этого замка, какой-то Синьоре Marie. Будьте добры, милые друзья, поезжайте по получении сего письма втроем в Vico. Прочтите письмо Мамоновой и осмотрите квартиру, о которой она говорит, с огромным садом, с великолепными террасами и с окнами на море. Осмотрите также комнаты, которые были заняты дочерьми Герцена и которые, говорят, так прохладны, что они в них простужались. Торгуйтесь, торгуйтесь! до-нельзя — на тебя, Соня¹⁾, надежда, — Наташа была когда-то практична, да ее испортил Павел, а Павла испортил Алексей, аристократ премухинского дома. Если ж Вы на себя не надеетесь, не встретили ли Вы в Сорренте или в Неаполе истинно практичного человека, итальянца или не итальянца, который бы мог помочь Вам поторговаться по-итальянски? Вооружившись таким образом всякою возможною помощью и советом и благоразумием, отправляйтесь в Vico к Signore Marie с письмом Мамоновой, осмотрите ее квартиры и торгуйтесь в цене. Нам нужно будет большую спальню, мне кабинет с окнами на море, общий салон, комнату:

¹⁾ Безобразова, жившая с Бакуниным в Сорренто.

для трех дам, другую комнату для двух кавалеров. Кроватей: *minimum*—5, *maximum*—8. Вероятно, с числом кроватей возрастает и цена. Желательно было бы знать, сколько за каждую лишнюю кровать? Всю квартиру нанять с постельным и столовым бельем и с занавесками. Комнат: *minimum*—4, да кухня, *maximum*—5 или 6, да кухня. Мамоновы советуют взять квартиру этажом выше той, которую они занимали—2-d étage. Они платили за нижнюю: 5 комнат и кухню 120 фр. в месяц—меблированную и с бельем. На эту цену и мы пожалуй согласимся, а если возможно дешевле, так дешевле. Посмотрите же, друзья, и если Вам квартира покажется и хороша и пригодна и с садом и с видом на море и не дороже 120 ф.ф. за пять хороших комнат и с кухнею—то удержите ее для нас и сделайте контракт от 15-го июня до конца сентября. Если дороже, то напишите скорее и все в подробности. Да, кстати, уже напишите и о ценах: что стоит в *Vico* фунт говядины, фунт рыбы, фунт масла, яйца, молоко? Да сколько в неаполитанском фунте унций? (В тосканском—12 унций). Если мы не поедем компаниею в *Vico*, то поселимся на лето, с женою вдвоем, в Сорренте. Тетюшка говорит, что она прожила с Соней целое лето в каком-то отличном отеле, в котором за три комнаты и со всем содержанием: обедом, завтраком, чаем etc. etc. платила в день только по дукату (4 fr. 20 c.) с человека. Можно ли нам будет там устроиться так же дешево, или еще дешевле? Одним словом, надеюсь, друзья, что вы все это разузнаете, определите и устроите (как) можно толковее, определеннее и для нас выгоднее,—и немедленно о всем напишете. Прежде *Vico*, а потом уж, как *pis-aller Sorrento*. И напишете, не будет ли уж слишком жарко в Сорренте? В *Vico*, говорят, прохладнее. Я поехал бы, пожалуй, и 1-го июня—если б не деньги. Здесь жизнь становится чрезвычайно дорога и душна. Нельзя ли будет так устроить, чтоб вместо *Lago di Como* мы прожили бы некоторое время вместе на Неаполитанском заливе? Ясно, что вам придется Соню взять сюда. Привезите ее скорее, хоть в половине мая,—мы бы их благословили и отправили б венчаться в Швейцарию,—а вы возвратились бы с нами в *Vico* или *Sorrento*. Деньги твои, Павел, не пропадут—лишь только получу от Мамонова, возвращу должны тебе 450 франков. На-днях узнаю, когда именно Мамонов должен получить деньги. Он говорит, что ни в каком случае не позже половины июня—только прашли расписку, да не откладывая. С тетюшкой мы видимся изредка. Теперь *Paterno* утверждает, что Губернатис не мог быть профессором,—что он хорошо знает свою Италию, в которой такой молодой человек никогда не допустится до профессорской кафедры. Я обещал ей принести печатное доказательство того, что Губернатис был действительно профессором при здешнем университете. Завтра пойдем вместе к Ге, с которыми встречаюсь в первый раз после вашего отъезда. И грустно и весело было читать письма сестер. Да, они настоящие люди. Милая Саша¹⁾, ей должно быть очень тяжело. И Александру не легко. Он остался верен себе и выбрал плохую минуту

¹⁾ Сестра М. А. Бакунина, Александра Александровна Вульф.

для своей проповеди (?). А впрочем, может быть, его вызвали—и принужденный говорить, не мог же он говорить противно своему убеждению. Да правду сказать, для того, кто любит действительно, вера в бессмертие души бедное утешение. Ну, а если кто им утешиться может, мешать не надо. Смерть—потеря безвозвратная и бесконечное горе, из которого я понимаю только одно утешение: остающиеся должны сомкнуться теснее, дабы горячее любить друг друга, и в этой любви хранить свято и живо потерянного. Если б я был на месте Александра, я бы молчал, как он теперь молчит, а соглашаться против убеждения и утешать не стал бы. И может бы мое молчание оскорбило бы их более моих слов. Мне хочется хоть на неделю еще встретиться с вами—бог знает, встретимся ли мы в другой раз. Тебя, Наташа, я всю целиком принял в душу и люблю как сестру по Премухинскому. Не меня одного, ты победила Антосю. Она даже взяла лист бумаги, чтобы тебе написать, — но вряд ли письмо ее пойдет с этим письмом.

Ну, обнимите за меня нашу милую невесту. Что, как-то она ведет себя? Умно или плохо? Губернатица вижу довольно часто, у него теперь в голове только попы да свадьба.—Так постарайтесь же, мои милые, — сослужите службу. Говорят Мамоновы, что Signora Marie уступит верхнюю квартиру на 2-м этаже — 6 или 7 комнат — даже за 100 франков.—Да отвечайте скорее.

Ваш М. Б.

В июне 1865 г. Михаил Александрович писал им же уже по отъезде их в Россию:

18/6-го июня. Sorrento — 1865.

10¹/₂ час. утра.

Villa Athanasia.

Вот мы и одни.—Грустно было возвратиться в Sorrento и не найти Вас, друзья мои.—Вы уехали, Антосю со своей мольбой осталась дома.—Принишников отправился за покупками.—Я поехал в Posilippo к графу Rissardi.—Он меня встретил приветливо.—Нашел я в нем человека умного и образованного, искреннего, но довольно умеренного либерала.—Он подарил мне две книги своего сочинения. Одна называется „Dell (неразобр.) d'essere felice“ и в ней написано: questa Sentenza bellissima: che alcune volte due vizii affatto contrarii conducono allo stesso misero fine. Quindi il proverbio francese: Les extrêmes se touchent, e l'adagio latino: In media stat virtus ¹⁾. Он федералист и, пожалуй, клонится к республике: желает познакомиться и познакомить свою жену, которую я еще не видел, с Антосею, „я обещает познакомить нас с людьми обоего пола, принадлежащими к его обществу.— В 12 часов отправились мы с Antonie к Miss Reeve. Она полюбила Антосе

¹⁾ „Это прекрасное изречение: иногда два совершенно противоположные недостатки ведут к одному и тому же несчастному концу. Отсюда французская поговорка—противоположности сходятся и латинское изречение: благополучие в золотой середине.“

и обещала приехать к нам в Sorrento. — Потом пошел с Прянишниковым к морю есть *frutti di mare* — ел и суп из морских улиток: *zuppo di boncolea* и *purgo a la Santa-Lucia*. — Суп еще ничего, а пурпа решительно не понравилась, — *le jeu ne vaut pas la chandelle* ¹⁾. Но я теперь успокоился, узнав, что такое *frutti di mare*, — лучше всех *salamasa*, которую мы ели с Вами. — Сначала уехал Прянишников, а вскоре отправились и мы. Сели на пароход — поднялся ветер, род бури с дождем: борьба Ормудза Трамонтана с Арманом Широко. — Пароход качало, Антоса притихла, побледнела, бедняжка, чуть-чуть не до рвоты. — Приехали вечером в 7 часов. — Но лишь только вышли на берег, вспомнили Вас. Дженbero и жена и племянник его стали о Вас спрашивать. Пошли мы уныло вверх по горе — у ворот встретила нас Фортунателла — хозяйку и Теку. Ну, разумеется, расспросы о Вас, в которых не участвовала только одна длинношерстая Тека, да и она как будто бы расспрашивала о Вас своим недоумевающим взглядом. Рооса все еще выезжать не хочет, вследствие чего я вот что решил сегодня. Весь этаж принадлежит по праву мне, об этом хозяина не спорит. Вследствие этого я предлагаю через нее г-ву Рооса нанимать у меня две комнаты, свою маленькую и залу, которую он обязан взять непременно, за два франка в день. Прибавив еще мои два за три комнаты, хозяина будет получать 4 франка в день. Таким образом квартира мне будет стоить всего 60—62 фр. в месяц. Если же он не согласится, то должен будет очистить квартиру, за которую я буду платить 3½ в день. Сегодня это должно решиться.

Итак, вошли мы вчера вечером в свои комнаты — и невыразимо грустно стало нам об этом. Антосенька грустила не менее меня. Фортунателла устроила нам чай на террасе, туда перетаскили мы свои два кресла; потемнело, мы пили чай без свечей — ночь была душно-теплая. Победил Широко. Сидели мы долго и говорили о Вас. Антосенька совсем размягчилась, кормила и ласкала Теку. Пошел дождь. В 10 часов перешли в мою комнату и я приступил к своим мемуарам. В половине 12-го легли спать. Ночь была бурная, шел проливной дождь с громом и молнией. А сегодня встал в 7 час. Воздух чистый, свежий. Напился кофе один. В девять встала и Антосенька. Мы пошли с ней погулять, умеренно дошли до дачи Сиракузской и назад; и вот, прежде чем сесть за статью, мне захотелось рассказать вам все это, друзья мои. А теперь буду писать статью.

21 июня Sorrento — рано утром.

Потекла наша правильная жизнь, и мы оба ею довольны. Я серьезно принялся за работу. Поутру пишу письмо к Герцену, вечером мемуары, Милая Антоса с своей стороны серьезно принялась за хозяйство, покупает, распоряжается и пишет счета. Вчера после обеда варила варенье. Жизнь наша идет по часам; я встаю в 6-7 часов, обливаюсь и отправляюсь гулять. захожу к сеньоре Розалии и покупаю фруктов на 6-10 су — вишни, маленькие

¹⁾ Игра не стоит свеч.

грушки для Антоси и фиги, последние еще дороги, за 6 штук 5 су, с тех пор, как ты, Наташа, уехала, апельсины пошли в отставку. Антося встает в 8-9 часов и отправляется купаться, а я, возвратившись (неразобрано), пью кофе и читаю Bukle на террасе. Товариществует мне Тека. Кстати, мы ее всю коротко остригли, чуть-чуть не выбрили. Остались усы да шерсть на бровях да на хвосту. Таким образом мы и ее и себя избавили от миллиона блох. Но зато она сделалась такая голенькая, что Антося на нее смотреть не может. Вчера Женнерно выкупал ее в море и вычесал всю жесткую щеткой. Ну вот, напившись кофе и прочитав несколько страниц Бёкля, под синим итальянским небом, закусывая блестящие мысли его... (конец страницы письма оторван; продолжение на другой странице): обед нам стоит 2f. 20с. или 2f. 40с. После обеда иду в café, сейчас является святой маленький Митрофан и смотрит в глаза и спешит перед другими позвать мне руку, публики впрочем немного — ты выбрал самое демократическое café, — публика не приходит, а только народ. Потом иду спать — в 5½, иду купаться, и после купанья иду с Антосею гулять. До сих пор еще знакомых нет, ни Sciscagelli ни Giordano не являлись. В отчаянии я написал Miasse Reève, прося ее доставить нам рекомендательное письмо к какому-нибудь иностранному или даже неаполитанскому семейству, проживающему в Sorrento. Авось познакомимся с кем-нибудь. Мне будет приятно, а для Антоси необходимо. Она у меня сделалась такая добрая, такая милая — надо же ее потешить. Вечером, наконец, на террасе пьем чай, а потом она читает романы, а я пишу мемуары, ложимся в 11-12 часов. Вот Вам вся наша жизнь, милые друзья. Теперь опишите Вы нам свои странствования. Как гуляли в Риме? Застали ли и обедали ли с нашим цыганом во Флоренции? Видел ли моих поляков? Познакомились ли с Козловским? Без сомнения, Вы, как скоро приедете в Женеву, отправитесь к Борнеманам. Обвините их от нас и напишите о них. Ну, а теперь, Павел несколько... (конец письма не сохранился).

Писем от 1866 года не сохранилось. Следующие два письма, 1867 и 1868 г. писаны из Швейцарии.

24-го сентября, 1867. Genève.

Друзья и братья — я нахожусь в беде, и Вы, если только есть малейшая возможность, должны мне помочь. В долгу, как в шелку, а денег ни гроша. Я Вам написал длинное и обстоятельное письмо. — Не знаю, дойдет ли до Вас. Теперь ограничусь несколькими словами. Более всего тяготит меня долг Княгине Оболенской — около 7000 франков. Она теперь сама нуждается в деньгах. Если можете, пришлите, сколько можете, par un traite sur Rotschild payable a vue ¹⁾ на имя Princesse Zoë Obolenskaja — адрес ее: Genève — Place des Alpes № 7 au Second. — Она получает, и мы с нею поделимся, если что делить будет. Не стану расточать перед Вами цветов красноречия, они между нами не нужны. — Вы сделаете, что можете.

¹⁾ Векселем на предъявителя на дом Ротшильда.

Теперь к другому вопросу: как ты, милая сестра Саша, могла вообразить себе, что я женил Александра Морда? Во-первых, я знал что он был якобы помолвлен с Любою, которую от души поздравляю с освобождением от человека приятного, но далеко не серьезного и не характерного — миленького, маленького, хорошенького и умненького, любящего полусвет, потому что ясное солнце ему не по глазам, и который вечно проживет в закоулках, потому что большая дорога, прямой путь, всякая определенность ему не по силам. Милая Саша, я был равнодушным, но совершенно бездейственным свидетелем его нового счастья. Его жена славная девушка, теперь женщина — умнее, сильнее, шире его. Воюсь, что ей станет под конец тесно с ним. А к ней у меня более симпатии, чем к нему. Милая Саша, я никогда не занимался устройством так называемого счастья, зато подымал иногда людей во имя их достоинства и права — это другое дело. Так ты поэтому несправедливое обвинение с меня смочи и вообще вспомни, что судить вдали от судимого трудно, а потому будем менее друг друга судить и более сколько можем — любить — это будет вернее и лучше. А ты, милый друг, Наташенька, на нас за долгое молчание не сердись. Мы исправимся. А ты пиши: *Poste restante, Venise*, куда мы постараемся перебраться через месяц.

Обнимаю Вас всех

М. Б.

Антося уехала в Interlaken к заболевшей Кате Мордвиновой — жене Вашего, отнюдь не моего соженика.

7-го Июля 1868 — Suisse

25 Июня

Clarens — Basset — Puenzieux (?)

Любезные братья. — Я не собирался к Вам писать — но вот представился хороший случай, а вместе с тем и обстоятельство, которое почти насильно заставляет меня взяться за перо. — Я услышал, Оля и Катя скажут Вам от кого, что Вы или окружающие Вас за Вас жалуются, что я бессовестным образом, эгоистично вынуждаю Вас приносить мне огромные жертвы, что я разоряю Вас. — Любезные братья, я хочу думать, что все это основано на большом недоразумении и что такие поклепы вышли не от Вас. — Жертв и от Вас не требовал и никогда не соглашусь принять их от Вас — не имел на них ни малейшего права. Я, фактически, а теперь без сомнения и нравственно и умственно, отрезанный от Вас ломоть. Я не могу быть и называться членом Вашей патриархальной коммуны. — не ношу Ваших взаимных тягот, а потому и не имею права пользоваться Вашими выгодами. — Я думал однажды, и был в этом мнении поддержан Вами самими, что в Вашем общем мнении есть и моя часть, — а так (как) коммунистическое пользование общим мнением для меня, по известным обстоятельствам, невозможно, — то я просил

Вас несколько лет тому назад, — если только возможно без ущерба для Вас самих, — выделить мне мою часть, — вычтя из нее все, что Вы мне, по Вашему убеждению, выдали лишнего в продолжение последних годов. — На этот счет я Вам послал в прошедшем году кажется очень ясную и определенную записку, в которой мне прибавлять нечего — прочтите ее еще раз, если Вы только ее сохраняли, и дайте ее прочесть тем, которые, на основании слов, услышанных в Премухине или в Торжке, упрекают меня в том, что я обобрал сначала брата Александра, а потом был причиною, что брат Алексей, с которым я так жадно обедался в Antignano, не мог более оставаться за границей, в то время, как того требовало его здоровье. — Мне грустно и жаль, что такие мысли, чувства и мнения могли найти себе место в Премухине и распространиться оттуда далее. — Ну да справедливость при таком материальном и нравственном разделении, каково наше, дело трудное — и потому не станем более говорить об этом. А для избежания будущих недоразумений, — прошу Вас еще и в последний раз: объясните, определите мое положение и один раз навсегда напишите мне: есть ли у меня что-нибудь? — 0 или +? Если ж +, то сколько именно и в какое время и на каких условиях я могу его получить. Я буду счастлива, если он окажется достаточным, чтобы освободить меня от долгов. — А я должен теперь около 12 тысяч франков. — Это мое последнее слово Вам о делах. — Огненные делайте, как хотите, и говорите, что хотите, — я буду молчать.

Вот уж скоро год, как мы живем в Швейцарии. — В сентябре прошедшего года мы приехали на Интернациональный конгресс в Женеву и с тех пор жили подле Vevey. — Я здесь менее уединен, чем в Италии, нашел живую русскую и интернациональную среду и потому могу по вкусам и числам действовать. Не стану распространяться о сущности наших дел, — так как между нами в этом, как и во многих других отношениях, солидарности нет никакой. Оля и Катя расскажут Вам нашу ежедневную жизнь, при нашем уединении довольно разнообразную и нескучную. — Катю Вы без сомнения полюбите, а Ольгу Мордвинову я от души полюбил. — Она человек славный, а главное бунтовщица неисправимая, что мне, как неисправному бунтовщику, разумеется, очень нравится. Поздравьте от меня как следует племянницу Ольгу с новым счастьем. — Кто их венчал? Не брат ли Павел? А кстати, пусть он знает, что в продолжение трех лет, прошедших со времени нашего последнего свидания, я успел очистить свой ум от последних остатков гнилого спиритуализма, а теперь занимаюсь освобождением его от всякого доктринаризма. — Так что он не согласился бы теперь признать меня даже своим дядьком. Премухинская церковь в праве предать меня анафеме. Я преклонюсь перед приговором и наперед подписываю его.

А все-таки, мои милые братья и сестры, помимо всех дел, теоретических и практических, выне нас разделяющих, я чувствую себя в праве сказать, что Вас очень, очень люблю и счастлив бы был, еслиб мог с кем-нибудь из Вас встретиться.

Ваш М. Бакунин.

На отдельном отрывке бумаги, без даты, вложенном между этими письмами, написано рукою М. А. Вакунина:

„Мысль и чувства истинные передают струнам гармонию, гармония есть истина, а потому если хотите знать истину, не прибегайте к обману: всякий обман тщетен, он исчезает пред оком всевидящим, как волна перед скалою! М. Вакунин.“

За период 1869—1874 г.г. писем в архиве не имеется. Последние два письма Михаила Александровича, посланные им одновременно, относятся к 1875 году.

1-го марта
17-го февраля 1875. Лугань.

Братья—София Ксав. порадовала меня добрым известием: Вы наконец решились выделить мне мою часть. Для меня это известие было вдвойне радостным: во-первых, оно обещает мне скорое разрешение вопроса о моем семейном существовании; а во-вторых, — и поверьте, это не последняя радость—оно открывает мне возможность восстановить прежнюю, глубокую веру в вас—разумеется не прежде, чем за добрыми словами последуют добрые дела.

Ну уж, если вы решились на справедливое дело, прошу вас, не медлите более и не тяните нескончаемой нити—рубите, где развязать не сумеете, не совершите все на чистоту, сполна и как можно скорее, если б даже эта скорость должна бы была повлечь некоторый ущерб для меня. В сущности я все-таки выиграю, потому что, чем скорее я получу весь капитал, отложив известную сумму на покупку и устройство виллы, тем скорее возможно мне будет жить не с самого капитала, а с процентов его.

София Ксав. Вам скажет и другую причину, по которой эта поспешность стала неотвратимой необходимостью. Следуя ее же советам, я купил виллу, заплатив уже 3000 фр. задатка, и должен буду выплатить известные суммы в известные сроки, а именно 3500 фр. 1-го Апреля (по вашему 20-го Марта) а остальные 27 тысяч франков 1-го Окт. (19-го Сентября).

Уступая моему настоятельному требованию, София Ксав. приедет к вам не одна, а с одним из близких друзей ее семейства, человек испытанной честности и к тому же чрезвычайно умный, соединяющий поэтому в себе два качества, редко встречающиеся в одном и том же лице.—Он поможет Вашей и ее неумелости.

Вскоре потом приедет к Вам и отец Антоси и Зози, Ксаверий Васильевич Квятковский, которого не нахожу нужным рекомендовать Вам, потому что он рекомендует сам, как добрейший и преданнейший человек в мире. Он займется исключительно продажей моей части.—Надеюсь, что Вы не откажетесь помочь ему советом, сообщением полезных сведений и нужными рекомендациями.

Ну, о деле этом более ни слова. Хочу верить опять в Вашу добрую Волю, а неумелости Вашей помогут.

Когда все материальные расчеты и вопросы кончатся между нами, — а надеюсь теперь, что они кончатся скоро, — тогда, братья, мы заговорим опять о нашей древней премухинской дружбе.

Может быть, один из Вас, а может быть, и все, один за другим или с другим решитесь сделать последнее путешествие к старому брату, перед его последним путешествием в гроб. Очень желал бы я встретиться хоть раз с Николаем и попробовать с ним последнее теоретическое и практическое взаимное объяснение. Может быть, мы и столковались бы. И тебя, милую сестру Сашу, горячо желаю видеть. — Ведь мы с тобою два последние могикана из самого первоначального премухинского мира, начиная с той поры, как мы бегали вокруг висящих ламп и как я с Татьяною уходил на остров. Много, много воспоминаний возникло бы между нами при встрече, — вежливо же мы никогда не встретимся? — Да, я желаю видеть всех, всех с горячею братскою радостью обниму — приезжайте только. Теперь Вам будет это легко: в политическом отношении безопасно, так как я живу отныне вне всякой политики, а в финансовом также удобно: Вам будет стоить только дорога в Лугано и обратно, здесь же, в нашем доме, разумеется, не издержите ни копейки. А какие прогулки отсюда: Lago Maggiore, lagodi Como, Милан в двух шагах. — Не только всех Вас, приглашаю незнакомых мне племянников и племянниц, — *ceux qui voudront venir, serons les bienvenus* ¹⁾. — Но главным образом Вы все приезжайте — Павел и Алексей, да и ты, Николай, Вы мне поможете советом в устройстве дома, а главное сада и огорода. — я хочу устроить здесь маленькое царство небесное, знаешь, и климат и почва, все удобно — будет масса фруктов, овощей и цветов, — воскресим память отца. — Павел, знаком ли ты с *Ucaliptus Globolous*? — Великолепное Австралийское дерево и здесь растет не по дням, а по часам? А ты, Наташа, не сердись на меня за то что я тебя прозвал министром финансов — приезжай только, обнимемся и все будет ладно. —

А тебя, брат Саша, благодарю за 150 руб. — очень нам помогли — приезжай к нам с женою. — Ваш М. Бакунин.

1-го Марта, 1875.—Лугано.

Ну, милая Зося ¹⁾, послушался я тебя и, основываясь на твоих уверениях и на положительных обещаниях, переданных тобою мне от имени братьев, я не только что торгую, но уже купил виллу, заплатив за нее, неделю тому назад, 3000 фр. задатка, с тем чтоб всю остальную сумму, 27 тысяч фр., выплатить не позже 1-го Октября. Ты спросишь, как и где я достал 3000 фр. — Занял, мой друг занял, голубушка, у добрых людей, сроком до 1-го Апреля, по здешнему стилю, по 6 процент. в год. — Ты спросишь меня, зачем я так поторопился? А по следующим трем причинам:

1-ая) После долгого и тщательного искания, мы убедились, что другой такой хорошей, во всех отношениях удобной и относительно дешевой виллы мы вблизи от Лугано — (а эта близость, как ты сама знаешь, составляет для нас необходимость) — не найдем. 2-ая) Если бы мы ее не купили теперь, то потеряли бы ее наверное; и наконец, 3-ья) потому что с началом весны,

1) Все кто захочет приехать, будут желанными гостями.

2) Софья Ксаверьевна Квятковская.

через месяц или много через два, цены на виллы вообще здесь непременно и значительно повысятся, вследствие конкуренции покупателей, особливо Миланских, привлекаемых ныне сюда устанавливающеюся железною дорогою; да и вообще кажется, что Лугано стало чрезвычайно привлекательным для иностранцев, не исключая и русских.

По всем этим причинам, пораздумав и порассудив этот вопрос между собою, взвесив про и contra и выслушав также и мнение нескольких деловых приятелей, мы, т.-е. Антося, Ксаверий и я, единодушно решили совершить *Salto mortale*, а потому и сделали вышеозначенный заем и покупку. Последнюю сделали на мое собственное имя, так как это теперь не представляет более ни малейшего затруднения, неудобства или опасности. Ведь я громко и заведомо всех, кого это интересовать может, решительно и безвозвратно отказался от всякой политической деятельности, от всякого вмешательства прямого или косвенного, явного или тайного, в публичные дела равно Европейские, как и русские. Значит меня оставит в покое, так же, как и я всех оставлю в покое. Приобретение же собственности, в здешнем кантоне на мое имя, будет первым шагом для приобретения права гражданства, а оно будет необходимо для нашего общего спокойствия, и главным образом для детей, особенно же для Карлуги, который будет иметь отечество и крепкую почву для образования и жизни.

Итак, друг Sophie, худо ли, хорошо, умно или глупо, дело сделано, решительный шаг совершен, мы перековырнулись из бездомных цыган в собственников, по крайней мере номинальных, не имея, правда, еще ни копейки в кармане. — Теперь надо действовать решительно, быстро, чтоб не попасть нам впросак и чтоб избегнуть больших неприятностей и потерь значительных. — Прежде всего надо, не мытьем, так катаньем, достать к 1-му апрелю (по здешнему, а не по Вашему православному стилю), около 5000 фр., скажем 1500 рублей, — из которых 3000 фр. на уплату долга, а 2000 фр. на житье.

Поэтому мы решили, что Папа Ксаверий, не ожидая от тебя более ни новых писем, ни зова, завтра же поедет к тебе. Но для того, чтоб отправить его, надо было достать еще 300 фр.; вследствие чего мы заключили вчера новый заем в 500 фр., из которых 300 Ксаверию, а 200 оставляем себе на житье, в ожидании от Вас будущих и самых близких благ — 300 фр. будет достаточно отцу для того, чтобы доехать до Варшавы. Но на какие деньги поедите Вы с ним и с Шорм. к братьям? Ты видишь, милый друг, что без третьего займа в Варшаве, Вы никаким образом обойтись не можете. Ждать 500 рубл. от Николая совершенно напрасно. Спасибо ему, если он только не будет противиться и не будет мешать исполнению данных тебе обещаний. — Но ждать от него деятельной и к тому же быстрой помощи. позволь мне тебе сказать, милая Зося, очень не остроумно! — Я говорю это тебе, основываясь на десятилетнем опыте.

Итак, совершение займа в Варшаве, в двести или в триста рублей, оказывается неизбежною необходимостью. Но именно в этом Отче Ксаверии

будет тебе драгоценным помощником; что тебе, как женщине, как гонимой Рани, покажется трудным или даже невозможным, то ему, при его простом отношении прямо к делу, bez tych zadnych wykretow, — будет относительно чрезвычайно легко. Там множество людей знают его, как самого честного и верного человека, к тому же и церемониться ему будет не надо: ведь дело, по твоему собственному уверению, самое верное; значит, вопрос только в методах, так как же не найти средства извернуться?

На счет же Вашей поездки в деревню, вот моя мысль. Ехать туда, на первую пору, всем вместе втроем, т.-е. тебе, Ксаверию и Порму, было бы неудобно. Да Ксаверию, вначале, там нечего было бы и делать, напротив же содействие Пормы будет именно в самом начале необходимо, так как он должен помочь тебе и братьям в деле выдела и получения тобою моей части. Итак, пусть Папа останется на несколько дней в Варшаве, а ты как можно скорей отправляйся с Помером к братьям. Для меня и вопроса в том нет, должна ли ты сама ехать туда или нет. Непременно должна, и не откладывая. Вспомни, мой друг, что в сущности ты еще не сделала ничего. Выслушала более или менее симпатичную болтовню, накормилась словами; но тот же десятилетний опыт доказал мне, что чем щедрее братья на слова, тем скупее они на дело. Не стану разбирать причины: нерадивость, неумелость, деревенско-патриархальная распушенность и запущенность или что другое, но факт стоит крепко: чем больше у них слов, тем меньше дела. — Ты рассчитываешь на переписку с ними, и совершенно напрасно. Братья собаку съели в искусстве отмалчиваться; они унаследовали его от покойного отца, которого не даром все считали великим дипломатом и называли Итальянцем. Это великолепнейшее средство для того, чтоб отделываться от докучливых, хотя бы и самых законных требований: оно удобно, покойно и ловко, потому что наименее утруждает и наименее компрометирует, а между тем оно чрезвычайно действительно... Ты ждешь, что тебя позовут. Ну, моя милая, будешь ждать долго, да и вряд ли дождешься. Ведь спали же они до сих пор, почему ж им не спать и теперь. Ты, правда, их разбудила, они как будто бы оживились и даже разгорячились; но ты уехала, и вот они заснули опять, погрузившись попрежнему в сладкие грезы об абсолюте. Ты должна знать, что они живут, действуют и смотрят на все во всем и на все предметы, на людей и на вещи, с точки зрения вечности, по рецепту известного брата Павлу философа Спиноза; ну а эта точка зрения имеет главным свойством обращать всю жизнь в ряд более или менее радостных или утешительных грез. Значит сон вошел в их природу. Итак, Зося, если ты действительно хочешь привести начатое тобою дело к счастливому окончанию, поезжай туда сейчас же и оставайся при них будильником, неотступным и даже, если нужно, несносным, не давая им спать и не позволяя им погружаться в обычные сладкие грезы, нарушая самым прозаическим образом гармонический строй их милых сновидений, до тех пор, пока они самым действительным и прямым, т.-е. формально деловым образом не сдержат окончательно и вполне данного тебе обещания. — Я уверен, что дело будет сделано, и скоро, лишь

только ты поедешь туда. — До тех же пор, пока будешь переписываться с ними, все будут пустыни, пустоцвет, пустословие.

Ты пишешь, что тебе неловко и совестно ехать к ним без зова, что они, пожалуй, увидят в этом доказательство недоверия в честность их обещаний. Но тут вопрос не о честности, но об умелости и главным образом о способности к энергическому и быстрому действию. В неумелости они сознались сами, и надеюсь, что в них достаточно самосознания, чтоб признать, что они гораздо более соперники, чем деятели. Значит им обижаться нечего, — *la plus belle fille ne pouvant donner que ce qu'elle a*. Ты же, милая Зося, поставлена к нам в такое отношение, что ты не только не имеешь никакой нужды, но не имеешь права церемониться с ними. Ведь ты хлопочешь не о своих интересах, ты уполномочена в чужом деле, которыми ты не могла бы, без измены, жертвовать для соблюдения китайских церемоний. Наконец, если ты не можешь решиться сама, — как ты должна бы была сделать по совести, — то поезжай неотлагательно к братьям и вози к ним Пормепк. прямо от моего имени, потому что я положительно и настоятельно требую этого от тебя. Скажи им это и, если хочешь, если найдешь нужным, покажи им, пожалуй, это письмо.

Если они обидятся, то будут несправедливы. Все предыдущие факты дают мне право, да заставляют меня так думать, говорить и действовать. — Ты хочешь, чтоб я написал им горячее братское письмо, чтоб изгладить жесткое впечатление, произведенное на них моим первым посланием. Милый друг, ты даже не подозреваешь (?), с какою горячею и глубокою радостью я подаю бы им братскую руку и попросил бы их простить мне оскорбительные сомнения и несправедливые уверки, если б мог только действительно убедиться, что они правы, а же был виноват. Между нами и мною, по крайней мере с моей стороны, не может быть вопроса о самолюбии. Я с восхищением уличил бы себя самого в лгуначестве, в слепоте, даже в несправедливости, если б только, не обольщая себя, мог бы в себе восстановить прежнюю, глубокую веру в них. Ты не знаешь, да и знать не можешь, как драгоценна была для меня, долго, долго, почти до последних годов, премухинская святость и как упорно я верил в ненарушимость ее. Но на старости лет смелно быть мечтателем, и я должен был уступить и преклониться перед силой фактов. — Не весело, правда, на старости лет, чувствовать вокруг себя холодную пустыню, не находишь себе более ни силы, ни охоты, ни достаточной страсти и веры, чтоб наполнить ее богами новыми. — Но для меня, благодаря сохранившейся во мне страсти к правде, есть нечто еще более несносное, чем эта пустыня.

Это призраки, самсобольщения и ложные утешения всякого рода — и ненавистник символов, фикций, иллюзий. Хочу действительности, и пусть действительность эта бедна, но без обмана. В этом моя гордость, спасение моего достоинства. — Вот почему, мой друг, несмотря на все мое горячее желание верить в братьев, я не поверю до тех пор, пока не буду убежден не словами, а фактами.

Прилагаю тебе письмо к ним, которое прошу тебя передать им собственноручно. Оно не так горячо, как ты желаешь, но зато оно искренно. Это нас всех достойнее и для всех лучше.

Возвращаясь к делу; и вот тебе, в немногих словах, полная инструкция:

1-ое) Лишь только отче Ксаверий придет к Вам в Варшаву, на другой же день его приезда, ищите денег. Займите, во что б ни стало, по крайней мере сумму, необходимую для Вашей поездки в деревню, две или три сотни рублей; если можете занять достаточно, чтоб покрыть и Ваши необходимые издержки, и прислать нам немного, хоть 500 фр. для уплаты моего долга, то, разумеется, будет еще лучше. Но прежде всего думайте о себе, о средствах переезда для тебя, Порм. и отца.

2-ое) Лишь только доставите нужные деньги, поезжай, не теряя более минуты, с Порм. к братьям в деревню. Папу оставьте на несколько дней, но только на несколько дней, в Варшаве. Порм. пусть остановится в Торжке, а ты отправляйся в Премухино и скажи братьям: во-первых, [что ты поехала к ним, не ожидая их сюда, уступая моему неотступному требованию; а во-вторых, потому что совершенные нами, на вышеозначенные сроки, долг и покупка не позволяют Вам более терять ни одного дня и требуют от тебя и от них самого решительного и быстрого действия; и наконец, в-третьих, что ты, все повинаясь моему требованию, привезла с собою Порм. и просишь их позволения вызвать его к ним в деревню, так как совет и помощь Порм. тебе необходимы для честного и добросовестного исполнения возложенного на тебя поручения.

3) Порм. будет действительно необходим и именно в самое первое время, для совершения раздела, для определения, выдела и получения тобою моей части. Сейчас же приступите к этому разделу и, не теряя ни одного дня, с согласия братьев, вызывайте к ним в деревню отца.

4) Лишь только он придет, не прерывая главного дела, сейчас же общим советом и решением приступайте к заложеню или к продаже какой-нибудь, разумеется, небольшой доли моего имущества. Помните, что 1-го апреля, по здешнему стилю, значит в 20-му марту по русскому стилю, а должен заплатить 3000 фр., и если не заплачу, то подвергаюсь опасности их потерять. Но Вы постарайтесь реализовать сумму по крайней мере в 5000 фр. — скажем в 1500 рублей — так как Вам нужно будет заплатить и свой Варшавский долг и иметь в руках достаточно денег для поездки Вашей к нам — значит и 5000 фр. будет мало. Постарайтесь реализовать 3 или 4 или даже 5 тысяч рублей — это нам совсем развяжет руки и даст возможность приступить в мае к перестройкам и переделкам, необходимым для того, чтоб нам можно было перейти в начале октября в свой дом.

Хочу надеяться, что братья не откажутся помочь Вам в этом деле первой реализацией. Как ни велика их неумелость — а я думаю, что не неумелость, а нерадивость и распушенность их велики — они все-таки лучше знают положение дел в своем крае чем вы, и их помощь будет для Вас

драгоценна. Надеюсь, что, увлеченные Вашим примером и для того, чтоб хоть несколько искупить свою десятилетнюю дремоту, они также хоть немного расшевелиятся.

5-ое) Лишь только Вы реализуете эту первую сумму, ты, Зося, передав отцу или одному или вместе с Порм., как Вы сами найдете возможным и наиболее удобным, полномочье с инструкцією для полной и окончательной продажи, — рекомендовав ему не останавливаться перед жертвою нескольких сот рублей, если только можно будет посредством этой жертвы ускорить окончание всего дела, — ты, Зося, возвратись в Варшаву, забирай маму и вместе с нею и с деньгами отправляйся прямо к нам. в наши объятья.

На счет же денег я здесь справлялся, как выгоднее их прислать или привезть, русскими ли кредитными билетами или векселем какого-нибудь петербургского банкирского дома, на Парижского Ротшильда? На этот вопрос мне не умели здесь дать объяснения, надо будет разузнать в самом Петербурге. Я думаю, что посредством банкиров будет выгоднее.

Ну, милый друг, теперь мне остается только крепко, крепко обнять тебя. Надеюсь на тебя, как на каменную гору.

Твой М. Б.

Передай маме прилагаемое письмо.

Из писем Бакунинского архива не видно, когда и как именно совершился выдел Михаилу Александровичу $\frac{1}{6}$ части имущества. В одном только письме Натальи Семеновны к Алексею Александровичу (от 4 февраля 1875 г.) есть упоминание о предполагаемой продаже леса, стоимость которого, по расчету Николая Александровича, превышает стоимость $\frac{1}{6}$ части имения. Из источников архива можно еще установить, что в конце февраля 1875 г. отец и дочь Квятковские приезжали в Премухино и прожили там две недели.

Писем М. А. Бакунина в архиве больше не сохранилось. В июле 1876 г. он, как известно, скончался в Берне.

Сообщила Е. Корнилова.

В провинции.

Из воспоминаний ¹⁾).

1 Шестидесятники—Ведерников. Голиков, Хвощинская (В. Крестовский).

Нашлись в Скопине люди, с которыми я крепко сдружился. Поглед отъездом на место один из моих московских знакомых, узнавши, что я еду служить земским врачом в Скопинский уезд, сообщил мне, что, кажется, в Скопине живет его знакомый по 60-м годам, и просил передать привет. Я скоро нашел Ивана Васильевича Ведерникова.

То была одна из трагедий русской жизни, — трагедия личной жизни и трагедия русской науки, каких было много за время самодержавия. В начале 60-х годов Ведерников по окончании курса был оставлен при Московском университете по кафедре химии (кажется, на место профессора Ляскового) и, вместо заграничной командировки, отправлен на два года в Петербург работать с уже тогда гремевшим Менделеевым. Там он вошел в кружок молодых ученых, литераторов, разночинцев, начинавших выходить на революционный путь. Он был близок с Д. И. Писаревым и много рассказывал мне о нем, но его мировоззрения не разделял и в этом отношении деликом принадлежал к кружкам, группировавшимся около Худякова и Ножина, к которым также тесно примыкал и молодой Н. К. Михайловский.

Ведерников очень высоко ставил Худякова — с которыми вместе и жил — но совершенно особое отношение было у него к Ножину. Не экспансивный, сдержанный, осторожный в своих суждениях, Ведерников считал Ножина гениальным человеком, исключительного ума и таланта, человеком, какого он больше не встречал в жизни. Говорил, что Ножин оказывал огромное влияние не только на учащуюся молодежь, группировавшуюся около него, но и на молодых ученых и между прочим на Михайловского. Говорил, что основные положения статьи Михайловского — „Что такое прогресс“ были развертыванием тех самых философских и естественно-научных широких концепций, которые высказывались Ножиным в его беседах и намечались в его писаниях.

Когда возникло Каракозовское дело, Ведерникова, как жившего с Худяковым и вращавшегося в одних кружках, арестовали, продержали в тюрьме

¹⁾ Первые главы воспоминаний С. Я. Елпатьевского см. „Былое“, № 2, стр. 100—118.

и выслали на родину, в Кавказскую губернию, без обозначения срока, с тем фактическим ограничением прав, каким подвергались выслаемые. И прежде всего с гибелью ученой карьеры,—возврата к кафедре Ведерникову не было.

Он долго скитался в поисках заработка, служил одно время в Пронске секретарем Съезда Мировых Судей, пока не был принят в акцизное ведомство, куда требовались честные люди, которые не поддавались бы взяткам и где поэтому поневоле мирились с политической неблагонадежностью.

Акцизным чиновником я и застал Ведерникова в Скопине. Небольшого роста, сгорбленный, с добрыми и печальными глазами, он был молчаливый, задумчивый и редко принимал участие в общем разговоре. Оживлялся только тогда, когда поднимался вопрос о 60-х годах, когда вспоминал он о том большом и светлом, что разворачивалось тогда, о близких и дорогих ему людях, которых бесцутная русская жизнь разведала и не дала проявить то ценное, что несли они в себе.

Оживлялся он и глаза его были не скучные и не унылые, когда ему рассказывали о движении 70-х годов, о семидесятниках, о том, что мы верили, на что надеялись, за что бились. И случалось, этот молчаливый, сосредоточенный человек после долгого вечернего собеседования говорил мне — какая радость в его душе оттого, что дело их, шестидесятников, не погребло, что мы, семидесятники, еще строже и прямее поставили вопросы, которые ставили они...

По натуре, по всему психическому складу, он был типичным ученым, и химия была и оставалась для него дорогим, самым близким его уму и сердцу. Как-то раз я увел его с собой в деревню. Ведерников был другой, не городской, сбегала с него сумрачная тень, он радовался полям, простору, своему освобождению от городской акцизности.

И помню, вечером заговорил о химии. Долго говорил — и не прерывал его — о будущем химии, о неизбежном синтезе химии и физики, о перспективах, которые открываются пред химией, предсказывал то, что должно спустя вскрылось в эволюции физики и химии. С горячим увлечением говорил о том, что может дать в будущем человечеству химия, даже в области решения социальных проблем.

Я помню его взволнованный голос, одухотворенное лицо, — это был не скопинский акцизный чиновник. Это была философия и поэзия химии, то был широкий размах мысли, и я тут только понял, как жадно и пристально продолжал он следить за прогрессом химии в России и на Западе, чем была для него химия. И чем бы мог быть для химии этот скромный, тихий, задумчивый человек, акцизный чиновник, исполнявший добросовестно свое акцизное дело.

Жили они с женой скромно и одиноко. В местных делах И. В. участия не принимал, кроме двух-трех знакомых, родственных им по духу, по прошлому, почти никто у них не бывал. Сбытовка была типичная интеллигентская — в квартире было только то, что нужно для еды, для сна, для книг, для занятия детей и только росла выпирала из обстановки, не-

много розвившейся от студенческой. Жил он скудно — трое из детей уже учились в гимназии и по вечерам И. В. приходилось заниматься с ними.

Была еще у него трепетная привязанность, тайна его сердца, скрашивавшая его жизнь — несколько десятин, как-то уцелевших от родового имения в Зарайском уезде. Он ничего не получал от своего именища и, наоборот, вкладывал в него все, что смог сберечь из своего скудного жалованья. И еще более вкладывал души своей нежной любви — все надеялся когда-нибудь бросить службу и поселиться в своем маленьком лесочке из березок, дубков и липок. Я был там. Все было маленькое, крошечное, молодняк-лесок, аллея с просветом между деревьями, лужок, крохотный прудок, избышка из двух-трех комнат, в которой еле могла уместиться его семья.

Весело было ходить с ним по его владениям. Он любовно следил за ростом каждого дерева, и нужно было слышать, как расхваливал он свой, правда, ласковый и милый пейзаж. Все было для него особенно мило — и прудок, и аллея, и его Зарайское небо, что смотрело на его землю.

Его мечта не осуществилась. Я знал, что Водерников долго продолжал служить, все не выходила пенсия и попрежнему служба редко отпускала его в родную землю. А провесший в тех местах ураган, должно быть, разметал по ветру все, что берегло и хранилось Водерниковым.

И злая жизнь словно издевалась над ним. Второй его сын, Василий, способный юноша, готовился к кафедре геологии — ему было уже обещано оставление при кафедре, но незадолго до сдачи выпускного экзамена он был арестован по какому-то политическому делу, два года просидел в тюрьме за ткацким станком и был выброшен с разбитой мечтой о кафедре. Я видел его после тюрьмы. Он с таким же увлечением говорил о геологии, о своих работах по геологии на Кавказе, с каким отец его о химии, и так же, наконец, должен был отказаться от своего любимого дела и устроился на окраине на Кавказе в какой-то землеустроительной комиссии.

Так издавна ломались людские жизни в России. И, повторю, то было трагедией не только личной жизни, но и трагедией русской науки. Люди одаренные, горячо преданные науке, но не отказывавшиеся от своей гражданской чести, попадали в тюрьмы, в долгие ссылки, лишались возможности работать в своем любимом деле. Профессора снимались с кафедры и шли служить в частные учреждения или работать в журналистике. Я помню, специализировавшийся по санскритскому языку очутился в конце концов десятником на постройке железной дороги. И задолго еще до недоброй памяти Кассо шло оскудение и запустение профессорских кафедр, так резко сказавшееся после великого подъема, могучего расцвета русской науки в 60-х годах, когда можно было ждать, что русская наука засверкает блестящими именами.

Елена Васильевна, жена Водерникова, была также шестидесятиницей со всем тем характерным, что легло на людей шестидесятых годов. В ней не было той печали, которая тенью легла на ее мужа, она была живой, всегда

бодрой, смело и мужественно встречала то, что посылала ей жизнь. Было в ней светлое и ясное, должно быть с тех пор, как семнадцати лет, кончивши институт, убежала она из родительского дома — помещичьего дома той же Казанской губернии — в Петербург учиться, когда победно остригла свою косу — символ отречения от старого мира — когда вдыхала в себя бурное и радостное, чем дышала первая половина шестидесятых годов. Для той восторженности, того гордого и смелого, того победного, что было в тогдашней жизни, сохраняла она, мать пятерых детей, переживая тяжелые и скучные годы, обреченная на жизнь в скучном уездном городе, на жизни особняком, уединенно, где так редко были встречи с людьми близкими по духу, родственными по настроению.

И в том одиночестве и пустынности, в котором она жила, музыка заполнила ее душу, заменила ей общество друзей, близких. Проснувшись в ней музыка, очевидно давно лежавшая в душе и забытая, заброшенная в шестидесятые года, когда людям было не до музыки. Когда ей делалось скучно и отпускали от себя хозяйственные заботы, она садилась за рояль и играла долгие часы.

Елена Васильевна просвещала и меня на счет музыки. Когда я приезжал из участка в город, я любил бывать у нее днем, когда дети бывали в гимназии, она садилась за рояль и подолгу играла мне. Знакомила меня с Моцартом и Шубертом, Шуманом и Шопеном, но ее любимцами были Бетховен и Лист. И должно быть великий Бетховен и бурный Лист напоминают ей о том большом и бурном, что было в шестидесятых годах. Случалось, она останавливалась на музыкальной фразе, поворачивала ко мне свою коротко остриженную, начинавшую седеть голову с молодыми глазами и начинала говорить о больших людях, с которыми встречалась она в молодости, в особенности о тех же Худякове и Южине; рассказывала о новом и бурном, что входило тогда в жизнь, как по-новому перестраивалась жизнь, нравы, быт.

И как-то раз, тоже за роялем, рассказала, как встретилась она в Петербурге с И. В. Ведерниковым, как полюбили они друг друга и решили жить без обрядов, не венчавшись. Они находили — и он и она — что венчанье, официальный брак, кладут какие-то цепи на людей, что самое хождение вокруг аналога являлось для них чем-то пятнавшим, опорачивавшим и унижавшим их чистую любовь.

Им все-таки пришлось в конце концов ходить вокруг аналога, когда у них уже было двое детей. Жизнь в маленьком провинциальном городе вроде Пронска видела нечистое в том, что они считали самым чистым, и недружелюбно смотрела на невенчавшихся супругов. И вышло, что двое старших детей носили фамилию матери — Гололобовых, а трое младших — Ведерниковы.

Так и жили они долгую согласную жизнь, и я знал, что заботы и тяготы многосемейной и скудной жизни и все то нудное и тяжелое, что приходилось переживать, никогда не омрачали эту сложившуюся в шестидесятых годах крепкую и нежную семейную жизнь.

Таким же шестидесятиником, хотя и полной противоположностью Водерникову, был Андрей Никифорович Голиков. Он был буйный разночинец, типичный представитель того разночинца, который так шумно вышел в 60-х годах на русскую улицу, заполнил общественные учреждения, ряды литературы, рекрутировавшиеся раньше преимущественно из дворянской среды. выделял кадры революционных деятелей и создал общественную атмосферу, которая так резко разилась от атмосферы 40-х и 50-х годов.

Голиков был сын дьячка из северных губерний—говорил на о, в молодости слушал лекции в Петербургском университете и был исключен оттуда за политическую неблагонадежность. Долго потом скитался в качестве учителя по дворянским усадьбам, — был на кондичиях, как говорили тогда, — но уже залогом до моего приезда обосновался в Скопине в качестве частного поверенного.

Он был хороший юрист, так отзывался мне о нем долго спустя один из старейших и наиболее уважаемых московских адвокатов. Патентованного адвоката в Скопине не было, у Голикова была значительная практика в городе, но прежде всего он был крестьянский адвокат и среди крестьян уезда пользовался неограниченным авторитетом.

У Голикова была не совсем обычная манера обращения с клиентами. Помню, я как-то ночевал у него в стареньком домике, который он снимал у какой-то мещанки. Еще с утра я заметил трех крестьян, которые почему-то не шли в дом и с котомками за плечами стояли за тыном, окружавшим плохенький садик. Стоявший в середине большой, широкоплечий крестьянин с благообразной бородой, босой, с расстегнутым воротом рубашки таинственно поманил меня пальцем и боязливым шопотом спросил:

— Дона Микифорыч-то?

Я не успел ответить, как за мной загремел голос Голикова.

— К чорту. Пошли к чорту... Вон...

Я никогда не видел Голикова в таком бешенстве, лицо у не стало белое, как бумага, нижняя челюсть тряслась и целый поток крепких слов сыпался на головы стоявших за тыном людей. Крайние стояли молча, смиренно, с покорным и жалостным видом, а владелец благообразной бороды прятался за тын. Время от времени борода поднималась из-за тына и ласковый тенорок пробовал говорить успокоительно:

— Ты постой. Микифорыч. Дайкость я обскажу тебе... Но на голову его сыпалась еще более злые слова, и он снова приседал за тыном.

— Так и скажи обществу, — гремел голос Голикова, — плевать я хочу на ваше дело. Идите к барину в лапы. Пропили совесть, подлецы. Пошли вон. Чтобы духу вашего не было...

Я ушел, не дождавшись конца сцены, а вечером Голиков рассказал, в чем дело. Он давно вел дело, — тяжбу крестьянского общества с помещиком, захватившим крестьянские луга, и в последнюю минуту, когда дело налаживалось и подходило к концу, управляющий помещика заманил к себе этих трех уполномоченных общества, напоил их и подсунул благообразной

бороде, деревенскому грамотею, и его товарищам подписать какую-то бумагу, содержания которой они хорошенько и вспомнить не могли, но которой, прославившись, испугались. В конце концов Андрей Никифорович смился.

— Все дело испортили... — он знал уже содержание бумаги, — придется долго возиться...

Он был высокий, крупный, с громким голосом, с порывистыми движениями. По улице не ходил, а бегал, одетый в лето и зиму в какое-то полукафтанье вроде дьячковского подрясника. У него были большие волосатые руки, седеющие волосы стояли торчком прямые и жесткие, как иглы у ежа, большая рыжая борода была тоже не выщипанная и весь он не гибкий, без лавилин, прямой и суровый.

Все, что он вынес из 60-х годов, лежало в нем глубоким пластом, нерушимым и неизменным, крепкой заповедью и раз навсегда определило его убеждения, моральные основы — свободу и независимость духа, то победное, о чем я уже говорил, — все, вплоть до устройства его личной жизни, его быта, поведения... Взятку он называл взяткой, воровство воровством, глупости, которые проделывало начальство, глупостями. В городе его считали дерзким, озорным, смутьяном и немного побаивались. Когда я вспоминаю, как Голиков на улице, в трактире Ульяна Ивановича, в лавках, где собиралась публика, говорил не стеснялся громко о том, что делается в банке, в городской думе, в полицейском управлении — обо всем, что говорилось обывателями шопотом, на ухо, — и вспоминаю, что никто не трогал его — я думаю, что в то бесправное, шопотное, боязливое время, человек, считавший себя в праве громко обсуждать общественные дела, человек не боявшийся, возбуждал некоторый страх своей непопулярностью, что именно дерзость его служила до известной степени защитой для него. „Лучше не связываться“...

Был еще у Голикова указующий перст на жизненном пути — Прудон. Как-то вечером застал он меня на постоялом дворе за чтением „Капитала“ Маркса, я только что получил по почте забытый в Москве том — и заинтересовался толстой книгой. Когда я рассказал ему, над чем работал Маркс, какую роль играл он в Западной Европе и как в последнее время русская молодежь зачитывается им — он совершенно удовлетворился моими объяснениями и уверенно выговорил:

— А, это как у нас был Прудон...

Прудон залег в нем таким же глубоким пластом, как и все наследие 60-х годов. И быть может было некоторое внутреннее сродство этого русского дьячковского сына с упрямым Безансонским мужиком, — как характеризовал Прудона Герцен, — дожившимся грубо и дерзко в скованное давними навыками тонное парламентское собрание, покрывавшим французов своими резкими выступлениями.

Андрей Никифорович зарабатывал порядочно, но деньги не держались у него, и жил он на студенческий манер в маленькой квартирке в две комнаты с потрохенной старой мебелью. Прислуги не держал и только по утрам приходила женщина прибрать в комнатах и состряпывать немудрый обед. Его

потребности были ограничены до минимума и некоторый отпечаток аскетизма лежал на всей его жизни. Собственности он не имел и в слова „собственность“, „собственник“ вкладывал ядовитый оттенок.

И должно быть Прудон был виноват в единственном расхождении Голикова с заветами 60-х годов, в его отношении к женскому вопросу. Как и Прудон он находил, что женщина должна быть только женой, матерью и хозяйкой и нечего ей заниматься общественной деятельностью и путаться в несвойственные ей высшие духовные сферы. На этой почве у него не раз возникали горячие споры с женой Ведерникова, неуклонной поборницей женского равноправия.

— Дуры! — как-то говорил он мне, бегут чего учиться. Вот жених у ней, — он назвал фамилию Скопинской девицы, собиравшейся ехать в Москву на Георгиевские курсы, — хороший парень, подходящий, — она на курсы. Дура...

Когда я уличал его, что именно этой дуре он дал деньги, чтобы ехать на курсы, что помогал и другим подобным „дурам“ — он оправдывался.

— Да ведь голодать будут. Какое уж тогда ученье... Разве они что-нибудь соображают?

Женой Голикова была Мария Евграфовна Михайловская, первая жена писателя Николая Константиновича Михайловского, скоро разошедшаяся с Михайловским. Их супружеская жизнь устроилась не по обычному, на совсем особый лад. Мария Евграфовна жила в Москве и только изредка приезжала в Скопин. Голиков по судебным делам часто ездил в Москву — оба жили отдельной самостоятельной жизнью. Марию Евграфовну я мало знал, Е. В. Ведерникова говорила мне, что Михайловская была в 60-х годах типичной „нигилисткой“ — в мое время она также обратилась к музыке и, насколько мне известно, жила в последнее время уроками музыки.

Была у Голикова еще привязанность, — друг, с которым он делил свою скопинскую жизнь, — его собака, огромный сен-бернар. Лев. Где Голиков раздобыл такое чудовище — я не знаю, но такого размера сен-бернара я не встречал и в Швейцарии. Как-то раз мне пришлось взять Льва в Москву — там останавливались в изумлении, когда Лев бежал по Московским улицам за моей пролеткой, а Голиков, возвратившись из Москвы, с гордостью объявил мне, что там, в зоологическом саду измеряли большого африканского льва и его, Голиковского, Льва, и последний оказался больше ростом. В другой раз с меньшей гордостью рассказывал, что щенка от Льва купили за 800 рублей, что Львом кормится целая семья его знакомых, имеющая сен-бернарскую суку и продающая щенят от Льва.

Лев в значительной мере наполнял жизнь хозяина. Голиков водил его гулять, у Льва была отдельная комната, не хуже чем у хозяина, мягкий матрац. Сам Голиков серьезно уверял, что Лев не переносит обычного собачьего питания. Я не знаю, часто ли сам Голиков принимал ванну, но Льву полагалась раз в неделю теплая ванна и сам хозяин мыл его. Он также сам расчесывал чудную волнистую шерсть Льва и серьезно уверял меня, что

никогда не простужается только потому, что не носит других носов, кроме как из шерсти Льва. Это был культ Льва. Голиков уверял меня, что Лев понимает человеческую речь и между прочим не выносит бранных слов. Лев умеет определять людей с нравственной стороны, хорошо разбирается, кто порядочный человек и кто жулик, и соответственно устанавливает свои отношения.

Когда я поехал в Рязань на съезд земских врачей, Ведерниковы дали мне письмо к их давней и близкой знакомой Надежде Дмитриевне Зайонч-ковской, урожденной Хвоцинской, писавшей под псевдонимом — Крестовский.

Одно время она была значительным явлением в русской литературе, ее повестями, в особенности „Большой Медведицей“, зачитывалась молодежь конца 60-х и первой половины 70-х годов. К тому времени, когда я с ней познакомился — то было в 1879 году — она уже отходила от литературы и, давно овдовевшая, жила почти безвыездно в Рязани.

Было тихо и уютно в комнатах небольшого дома, особняка, усадьбы, какие еще оставались в таких старых городах, как Рязань, когда-то державных и шумных и давно заснувших глубоким сном. В большом кресле сидела сгорбленная старушка с коротко стриженными седыми волосами, казавшаяся совсем маленькой от глубокого кресла, в котором сидела. И так велика казалась сигара, которую курила маленькая женщина с завадшим лицом и живыми молодыми глазами.

Должно быть не часто приходили в тихий особнячек люди, интересовавшиеся литературой, так оживленно стала она рассказывать последние литературные новости...

... Недавно была в Петербурге... Встретила в редакции „Отечественных Записок“ молодого писателя, красивого юношу — Гаршина — фамилия...¹⁾ О нем много говорят теперь в литературных кругах — многого ждут... Письма получила — Михайловский и Салтыков все об одном пишут — злитесь цензура на „Отечественные Записки“ — жмут. И вообще с литературными делами плохо притесняют...

Она была тоже шестидесятиница. Когда разговор зашел о Тургеневе, она заволновалась и острое враждебное чувство засветилось в ее глазах. Стала говорить, как Тургенев не сумел понять людей 60-х годов, как искажал в „Отцах и Детях“, как наклеветал на „детей“.

Было в комнате, как в келье: жили две женщины (Н. Д. жила с родственницей), покончившие с личной жизнью, уединившиеся от окружающего мира. Все было в прошлом, были воспоминания. И все кругом было давнее, ушедшее — и старинная мебель, и старые портреты, и вязанные салфеточки, и безделушки на маленьких, вычурных столиках, служивших неизвестно для каких целей. Мир был за пределами сонного города, там в Петербурге, где билась шумная и сложная литературная жизнь, где все спорили отцы и дети,

¹⁾ Тогда только что появился его „Четыре дня“.

откуда присылали вот эти свежие книжки „Отечественных Записок“. что так жадно ждались, так жадно разворачивались.

И все поминались в разговоре и давние, давно ушедшие люди и живые — Салтыков, Михайловский. Н. Д. прижимала мне ящички ситар и говорила:

— Вот эти Михаил Евграфович прислал, а эти Михайловский завез, когда на Кавказ ехал...

2. Скопин.

Среди полей стоял город. И поля определяли физиономию города, быта его. В уезде и городе не было заводов и фабрик, кроме мельниц, винокуренных заводов и всяких предприятий, связанных с хлебом. Бывшие в уезде каменноугольные копи почему-то часто мевали владельцев, то открывались, то закрывались и не играли значительной роли ни в отхожих промыслах крестьян, ни в жизни города. Проходила мимо города железная дорога, но по-старому через поля двигались гурты скота из южных степей и, как в былые времена, украинские чумаки двигались за солью в Крым, так в мое время целые крестьянские обозы с первой порошей уезжали на Дон, на Волгу за мерзлым судаком.

Для деревни торговали купцы, для деревни имелись мельницы, круподерки, лабазы для ссыпки хлеба. Городские мещане поставляли съемщиков помещичьих садов, арендаторов мельниц, конторщиков и управляющих для имений и просто землепашцев, как крестьяне обрабатывавших земли, прилежавшие к городу. И, кажется, наиболее значительное ремесло в городе была выделка горшков и целая слободка горшечников тянулась на окраине города.

„Общества“ в собственном смысле слова не было, не было даже места, где могли бы собираться городские люди — клуба, общественного собрания — и трактир Ульяна Ивановича был местом, где изредка по званым устраивались вечера с танцами.

Интеллигенции мало было. Земства и городские самоуправления не обростали еще тогда всем тем, что явилось в последнее время. Мало было учителей, медицинского персонала, не было техников, инженеров, агрономов, всякого рода инструкторов — не было третьего элемента, сыгравшего потом такую крупную роль в совидательной работе самоуправлений и оказавшего заметное влияние на местную жизнь. Не было патентованных адвокатов, кроме уездного и городского полицейских врачей, в городе был только один врач, заведывавший земской больницей, и горожане стали обращаться ко мне по воскресеньям, когда узнавали о моем приезде в город.

И тем не менее тогдашний Скопин не был обычным уездным сонным городом. В нем были мужская и женская гимназии, что совсем было редкостью для уездного города по тем временам, недурно составленная библиотека, город был вымощен, что тоже не часто бывало в уездных городах.

И была необычно шумная жизнь, — в городе работал городской банк, знаменитый, гремевший по всей России Скопинский банк. А во главе банка

Иван Гаврилович Рыков, вершивший судьбы не только банка, но и города, могший с известным правом сказать: „Скопин это — я“.

По всей России расходились широковещательные рекламы, звавшие вкладчиков в Скопинский банк и обещавшие проценты, каких не могли давать другие банки. Подчеркивался русский характер банка и православие и благочиние. И текли со всей России деньги в Скопин, особенно много от старинного уклада людей, от духовенства, от монастырей, от архиереев. Помню, когда приходилось в поездках в Москву встречаться с денежными людьми, имевшими вклады в Скопинском банке, и говорить, что банк лопнет, люди не хотели верить и негодовали.

— Иван Гаврилович не какой-нибудь немец¹⁾, настоящий русак. Этот не обманет.

И дело велось действительно не по иностранному, а попросту, без заморских ухищрений и хитросплетений. Удивительные рассказы ходили по городу об этой банковской простоте. Приходит нужный человек, полезный банку человек, и хочет позанимствовать. Иван Гаврилович будто бы придвигает полуоткрытый сундук и проситель запускает руку и забирает, сколько рука может захватить. Может быть, это была легенда, но вот что по секрету рассказывали мне банковские служащие и что потом стало известно всему городу. Был старичок, почтенный скопинский купец, подручный Ивана Гавриловича. Заболел старичок, решил, что помирать, и на прожиток детям завернул в платочек денежок из банковской кассы — говорили, несколько сот тысяч, и ушел домой помирать. И сколько ни грозил Иван Гаврилович наследникам судом, продажей имущества, те благополучно соблюли родительские деньги. Так все и велось.

Я помню, в одном рассказе Глеба Успенского живописалось, как при ревизии такого же банка в банковском сундуке вместо денег оказалась только двойчатка ореха, что кладется для счастья — кажется, немного больше досталось и вкладчикам, когда банк лопнул, как широко раздувшийся радужный мыльный пузырь, но это случилось значительно позже, а в мое время банк процветал и Иван Гаврилович Рыков гремел на всю Россию.

Он был желанным гостем для Петербурга, куда часто ездил, где покупал статьи, а главное молчание нужных газет, и — рассказывали сведущие люди, широко воспособлял Петербургское чиновничество до высоких персонажей включительно. И этому можно было верить, судя по той позиции, какую занимал он в городе и губернии. Не только никто из властей держащих не чинил препон в его головокружительной, явно мошеннической деятельности, но власти вытягивались в струнку пред Иваном Гавриловичем.

Совершенно солидные местные люди не как анекдот рассказывали мне, что при прежнем губернаторе, которого я уже не застал, скопинский исправник обязан был в полной парадной форме встречать Ивана Гавриловича на вокзале, когда тот возвращался из Петербурга или из Рязани. Рассказывали

¹⁾ Около этого времени лопнул банк Струсберга.

не успел как-то, исправник переодеться и явился на вокзал запросто и Иван Гаврилович при публикации накричал на исправника.

— Я вас, исправников, вагон выпущу.

Система правления Ивана Гавриловича банком и городом была не очень замысловатая. Он связывал и привязывал к себе наиболее видных гласных и вообще влиятельных людей в городе широким кредитом, таким, из которого не мог вылезть обыватель. Векселя переписывались и всегда можно было уничтожить обывателя, который задумал бы бунтовать против банка. А в думе были гласные горшечники из слободки, которых Иван Гаврилович покупал оптом и в розницу.

Были обыватели, не кредитовавшиеся в банке и все-таки одобрявшие деятельность Рыкова — они указывали, что только при помощи субсидии банка существуют гимназии, открылась библиотека, устраиваются мостовые в городе.

Он был несомненно умный человек и крупная властная человеческая индивидуальность. Я раз только мельком видел его. Большой, широкоплечий, вутуловатый, с тяжело нависшим большим лбом, из-под которого смотрели угрюмые острые глаза, он был бы замечен во всякой толпе.

Кончил он плохо. Его присудили к ссылке на поселение в Восточную Сибирь, и он очутился в том же Енисейском Округе, где жил тогда я в ссылке. Банковские воровские люди в общем не дурно устроивались в Сибири, но Ивану Гавриловичу не повезло. Его привезли в большое торговое село, — одно из тех, что играли в Сибири роль городов, местные купцы оказались вкладчиками Скопинского банка, и Рыкову объявлен был бойкот — так рассказывали мне. Ему не сдавали сколько-нибудь удобного помещения, и должен он был ютиться в холодной сырой избе; на улицу ему нельзя было показываться, его открыто ругали, мальчишки улюлюкали и бросали в него камнями. Мне рассказывали, что он забрасывал прошениями и губернатора, и генерал-губернатора, и своих бывших петербургских покровителей о переводе его в какой-нибудь город, но, кажется, он скоро умер в том же селе.

Рядом с верноподданными Ивана Гавриловича Рыкова были в городе люди непокорные, не соблазнявшиеся легким банковским кредитом и не считавшие правильным, чтобы городские гимназии и библиотека и скопинские мостовые устраивались на счет грабительских банковских денег.

Наиболее уважаемым человеком в городе был купец Брежнев, умный, строгий, мало разговорчивый, застегнутый человек. Он был горячо предан реформам 60-х годов, в особенности придавал большое значение земству и несмотря на то, что вел крупное хлебное дело, состоял членом уездной земской управы, что было несомненным ущербом и помехой его торговому делу.

На почве земской службы я и сошелся с ним довольно близко. В земской управе это, можно сказать, был единственный земский работник, и он один старался, насколько мог, помочь моей медицинской работе. Очень радовался повышению обращений больных в мою амбулаторию и только улыбался, когда председатель напоминал мне, что я расходую слишком много лекарств,

как ни один из моих предшественников. И в земском собрании он был одним из немногих гласных, которые защищали дело медицины и народного образования.

Иногда мне приходилось лечить его и, случалось, я подолгу засиживался у него в его чистеньких, тихих, задумчивых комнатах в беседах о том, чем должны быть земства и городское самоуправление, о конституционалистах тверского земства, о том, что несет борьба революционеров с самодержавной властью.

Брежнев не кредитовался в банке, не шел ни на какие сделки с банковской партией, и уже одно то, что этот умный, строгий и честный человек был против Рыкова и его банковской деятельности, придавало особый вес его выступлениям в городской жизни.

Пересыпкин также не кредитовался в банке и не шел на сделки с банковской партией.

Он был другого типа, скептик, иронический ум, своего рода нигилист, как определял я его для себя. Смелся над дворянством, смелся над укладом тогдашней купеческой жизни, издевался над своими начетчиками — семья издавна была по старой вере — и не ходил ни в православную церковь, ни в свою моленную. В особенности издевался над банком и над банковской партией: он лучше всех знал, что делается в банке, и громче всех говорил о делах его.

Скептически относился и к земству и городскому самоуправлению и не многого ждал от работы их, пока все не переменится, и может быть потому особенно интересовался деятельностью революционеров, которые собирались все переменить, и тщательно читал печатавшиеся тогда отчеты о политических процессах.

Пересыпкин был интимным другом Голикова и, повидимому, много принял из голиковской веры — перепало ему, очевидно, кое-что и от Прудона — но нельзя сказать, чтобы он говорил с чужого голоса, — повидимому, в нем шла сложная внутренняя работа. Это был новый тогда, в глухих углах тип поднимавшейся личности, освобождающегося человека, сбрасывавшего с себя старые одежды, отрекавшегося от веры и навыков мысли прошлого и от психологии окружающей среды.

Долго спустя я встретил за границей крупного, крепкого старика, когда-то делавшего большие дела на Волге, долго бывшего городским головой в своем городе и из крепкого в вере старообрядца и ярого монархиста ставшего атеистом и республиканцем. Когда я с ним познакомился, он уже ликвидировал свои дела на Волге, покинул навсегда Россию и жил одинокий в своей вилле за границей, окруженный книгами по философии и общественным наукам — он овладел французским языком — погруженный в неостанавливавшуюся работу мысли. Когда однажды мои знакомые спросили его, как он, раньше неистовый монархист, ушел от самодержавия, он ответил:

— Если я с богом совладел, то с царем прикончить было плевое дело. То было потруднее...

Пересыпкин ушел от веры, ушел и от царя. Террористические акты не причиняли ему никакого огорчения — он расценивал только, умно или неумно было задумано, умело или неумело технически дело было обставлено. Не боялся полиции, ушел от страха перед начальством, от трепета, которым не переставал трепетать рядовой обыватель.

У него была собственность, он вел хлебное дело, но как-то равнодушно, по инерции, не было у него жадности к деньгам, приобретенью и, как говорил мне Голиков, охотно отдавал деньги не на свои дела. Ему было за тридцать, он был не женат и не собирался жениться, не вел знакомства с старыми купеческими семьями, жил замкнуто с двумя своими сестрами в отцовском доме с широким двором, окруженным лабазами, для сыпки хлеба, и отводил душу в беседах с Голиковым, с которым видался ежедневно, когда тот бывал в городе.

Как у Голикова его Лев, так и у Пересыпкина была своя страсть — гусиные бои. В городе не было тогда ни театра, ни цирка, ни кинематографа, гусиные бои привлекали много любителей и устраивались на обширном дворе Пересыпкина. Помню, у него была драматическая неделя, когда он очень волновался: прошел слух, что один из любителей боев привез из соседнего уезда непобедимого бойца. Пересыпкин верил в своего кривого гусака, потерявшего в боях один глаз и тем не менее побеждавшего всех противников, — но и он и Голиков, интересовавшийся всякой борьбой и уважавший всякую храбрость, очень волновались, тем более, что проигравши держал своего бойца в тайне, и слухи разrostались.

Прямо с боя они пришли ко мне в номер, где я останавливался, — торжествующие и возбужденные, и Голиков художественно передавал, как кривой гусак долго только отбивался, а когда враг утомился, сразу перешел в яростное наступление и заклевал противника.

— Все сбоку, сбоку. Нацелился здоровым глазом, — в восторге говорил Голиков.

Были и другие обыватели, не связавшие себя с банком и державшиеся независимо. Образовалось даже своего рода „сообщество“. Президентом был Голиков, а клубом, заговорщицким местом был кабинетик в трактире Ульяна Ивановича — не слишком конспиративное помещение, так как только жиденькие перегородки отделяли кабинетик от общего зала, где гудела машина и звенели чайники.

Мне не знакомы были жизнь и люди уездного города, и я с интересом всматривался в Скопинскую жизнь. Через год после поступления на службу моя жена заняла место учительницы в Скопинской гимназии и ранним утром по воскресеньям я стал аккуратно приезжать из своей деревни в город и прямо с постоялого двора направляться в трактир Ульяна Ивановича, где в предобеденное время неизменно заседали Голиков и Пересыпкин, иногда Брежнев и другие сообщники. Здесь сосредотчивались все новости по городу и уезду, сюда стекались всякие слухи, достигавшие из губернского города, из Москвы

и Петербурга, здесь же и обсуждались они и отсюда расходились по городу и уезду.

То была оппозиция Рыкову, оппозиция думским заправщикам, оппозиция не очень благонадежная и в политическом отношении. Случалось, из общего зала, куда, нужно думать, доносился гудевший голос Голикова и громкие взрывы его смеха, являлись к нам перебежчики из банковского лагеря, чем-нибудь обиженные Рыковым, и ставили нас в курс последних банковских махинаций. Иногда забегал на минуточку лысенький лукавый Ульян Иванович, по условиям своего дела ублажавший всех гостей, но в тайниках своей души склонявшийся на сторону оппозиции, и шопотом сообщал, о чем говорилось в общем зале и то секретное, что выбалтывали ему в подпитии вечерние посетители трактира ¹⁾.

Появлялись в кабинетике деревенские люди, крестьяне, клиенты Голикова, знавшие, где его нужно искать, знакомые Брежнева и Пересыпкина. Они приносили нам сообщения о том, какие разговоры идут у крестьян на счет питерских „пронсшестваний“, и уносили от нас последние новости, и мне случалось иногда слышать в деревнях эти новости в том виде, в каком выходили они из нашего кабинетика. Выпивалось безмерное количество чаю, и мальчик-половой едва успевал приносить чайники со свежим кипятком... Иногда меня разыскивали городские больные, и тут же, в соседнем кабинетике я принимал их.

Больше всего удивляла меня в настроении местных людей, — я говорю об обществе, о чиновничьей, купеческой и мещанской обывательской среде, — постепенный уход от самодержавия, который наблюдался уже тогда, в конце 70-х и в начале 80-х годов.

Приходило известие о покушении на царя. Учителю уездного училища, мастеру писать в выпиренном стиле, заказывалось верноподданническое послание. Нехотя, ругаясь, разыскивали чиновники треуголки и шпаги, облакались в парадные мундиры, шли в собор на обязательное благодарственное молебствие и расходились оттуда, обсуждая, ловко или не ловко произведено покушение. А толпа городского населения оставалась равнодушной и тоже рассматривала покушение более с точки зрения смелости террористов и умелой или неумелой организации покушения.

Не особенно возмущалось и дворянство. После освобождения крестьян вплоть до воцарения дворянского царя — Александра III, когда дворянство снова собралось около престола, существовало некоторое охлаждение в верноподданнических чувствах дворянства, а дворяне-помещики, помнявшие еще крепостные времена и не забывшие učinенной им „обиды“, открыто злорадовались.

¹⁾ По местным нравам считалось неприличным пить водку и вообще спиртные напитки днем в трактире.

— Вот вам и реформы. Достукались...

Понятно мне было и равнодушие чиновничества — я не говорю о полиции — набравшегося из разночинцев и деклассированного дворянства, меня удивляло купечество и мещанство. У меня живо было еще в памяти, как всего за год до переезда в Скопин, за нами, студентами, гнались мясники из Охотного ряда. Я прожил всю университетскую жизнь, давая уроки, довольно близко соприкасаясь с некоторыми московскими купеческими домами и хорошо знал приверженность этого купечества к царю и престолу. И даже не только тогда.

Долго спустя, когда уже дворянский характер царствования Александра III явственно вскрылся, когда народившееся университетское купечество уже было в некоторой оппозиции к самодержавию, довольно известный в Москве купец рассказывал мне, как он был представлен Александру III. В один из приездов в Москву царь посетил домовую церковь какого-то казенного учреждения, куда этот купец соорудил на свой счет новый иконостас. К сожалению, я не помню всего рассказа, — плохо впрочем, под напором охвативших его чувств помнил и сам купец своего свидание с царем и только несколько раз повторяя мне: — „Так прямо подошел ко мне и говорит: „Ты говоришь...“

— Но я хорошо помню конец его рассказа:

— Как я ехал оттуда, какими улицами — не помню. Себя не помнил. Приехал домой, бухнулся в постель и давай реветь. Реву и реву. Четыре часа ревел. Жена прибежала — испугалась, за доктором хотела посылать.

— Чего ты? говорит.

А я и вымолвить ничего не могу, реву на голос и только. Когда-когда ошел...

Он рыдал от восторга, благоговения, от безмерного счастья, что видел царя, что царь стоял перед ним лицом к лицу и говорил ему: „Ты?..“

И какой царь! Не царь, а цариче. Пудов на восемь, подковы гнет. Знакомый купцу генерал в карты с царем играл, так рассказывал: перед ужином, пока в карты играли, царь восемнадцать рюмок водки пропустил, все селедочкой, как мы, грешные, закусывал — и ни в глаза. А за ужином всякое винное добавление — и ничего. И хозяин настоящий, аккуратный, — сам папиросы набивает. Счета ему большие за папиросы подсовывали...

Вот такого отношения преданности, благоговения, обожания я совсем не встречал в нашем городе. Если не поднималась еще вражда, если вырвавшийся через 25 лет на улицу лозунг „Долой самодержавие“ даже шопотом промежду себя еще не выговаривался обывателем, но глубокое равнодушие, уход от царя были уже налицо, и не было озлобления против „злодеев“, устраивавших „злодейские“ покушения, так определялись они на страницах большинства тогдашних газет, на царя и его слуг. А те же Скопинские люди рассказывали мне, как по-другому было встречено пятнадцать лет перед тем покушение Караказова, как негодовала тогда толпа.

А газеты несли в провинцию отчеты политических процессов — тогда еще они печатались — речи Бардиной, и рабочего Петра Алексеева, и Мыш-

кина, и др., говорившие о произволе и насилии, о неправде, царящей в России, о всем том, о чем думал, не смея выговорить, провинциальный обыватель. И обыватель с недоумением и с некоторым испугом, но и с невольным сочувствием всматривался в этих странных, трудных для его понимания людей, отказавшихся от личной жизни, уходявших от личных интересов и отдававших свою жизнь на борьбу за счастье других, за благо народа, за водворение правды на земле.

3. Обыск.

Помню, зимой в поздние сумерки, когда я возвращался с объезда больных по участку, у околицы соседней деревни ждали два конных полицейских, долго разыскивавшие меня по участку, и сообщили, что меня ждет начальство. Не позволено было зайти в больным этой деревни, и так в сопровождении двух полицейских я и приехал домой.

У крыльца стояла толпа крестьян, молча расступившаяся предо мной. В столовой было начальство, — исправник, молодой жандармский офицер, жандармы, понятые и мой приятель мировой судья Н. И. Барцев, приехавший предупредить меня об обыске, но успевший приехать только за полчаса до остальных гостей. Я не встречал раньше исправника и слышал только, что он не обычного типа, сделал карьеру из сельских учителей — умный и хитрый. Жандармского офицера я тоже не встречал.

Оказалось, что до приезда ко мне они произвели обыск у проживавшей в Скопине в качестве учительницы гимназии моей жены и привезли ее с собой. Начался обыск, — воистину удивительный обыск. Разделение властей — повсеместное тогда явление — сразу почувствовалось. Ротмистр предложил мне указать мой кабинет, — в других комнатах обыск не производился, — мы пошли вдвоем и только в дверях, полуоборотившись к оставшемуся сидеть на диване исправнику, ротмистр бросил фразу:

— Может быть, и вам будет угодно?

— Нет, что уж. Вы лучше это умеете делать... Исправник махнул рукой и остался сидеть на диване и беседовать с мировым судьей.

Ротмистр небрежно перебрал бумаги, валявшиеся на письменном столе, и вдруг, неожиданно наклонившись ко мне, полупошопотом спросил:

— За который ящик вы не бонтесь?

Я невольно взглянул ему в лицо, оно внушало доверие, и я указал на правый ящик стола. Мы торжественно вынесли ящик в столовую, положили перед исправником и стали разбирать накопившиеся там письма. Князь такой-то звал меня полечить его, княгиня из далекой усадьбы сообщала о ходе болезни ее сына и спрашивала, что делать дальше, ротмистр прочитал вслух любовное письмо генерала князя Кропоткина ¹⁾. Исправник морщился, когда ротмистр предлагал ему ознакомиться с содержанием писем моих пациентов,

¹⁾ Родной брат харьковского губернатора и двоюродный брат Петра Алексеевича Кропоткина.

важных людей, проезжавших в это лето в свои имения, и делал вид, что мало интересуется тем, что ему подносят.

Так обыск и кончился. Довольно долго тянулся допрос, который велся в том же деликатном тоне и в котором уже исправник не принимал никакого участия. Ротмистр допрашивал по поводу Евгении Николаевны Фитнер, проживавшей у меня в предшествовавшее лето и в ту же осень арестованной в Петербурге по делу взрыва Зимнего Дворца.

Ни о Пьянкове, ни о других гостях того лета меня не спрашивали.

Для окружающих обыск был большим событием. Кухарка и няня моих детей стали прятать вещи и как-то успели отнести в погреб шкатулку жены, которой она, очевидно, придавала большое значение. А за крыльцом толпа крестьян все росла и стало проявляться в ней недружелюбное отношение к приезжим гостям. Во время допроса кухарка вызвала мою жену, оказалось, в толпе поднялся шум и начались пререкания между крестьянами и приезжими полицейскими, — толпа решила было не продавать сена и овса, которого требовали жандармы и полицейские, и послышались бранные окрики по адресу их. Жене пришлось уговаривать крестьян прекратить шум, чтобы не повредить мне, и продать то, чего требовали приезжие.

Николай Ив. Барцев рассказал мне потом, как они разговаривали с исправником, когда мы с ротмистром разбирали бумаги в кабинете.

— Ну, здесь нечего искать, — любезно говорил исправник, здесь уже знали, ждали... Да и люди повидимому бывалые, на-чеку. А вот в городе поискать, например, у некоторых мировых судей, на полках между делами ¹⁾.

— Ну, что же, — так же любезно ответил мой приятель: — поедьте сейчас же ко мне и произведите обыск. Если найдете что-нибудь — ваше счастье, а не найдете — ваша физиономия пострадает.

— Вы все шутите, Николай Иванович, — сказал исправник. И разговор продолжался в прежнем любезном тоне.

В этот раз я не был арестован, с меня только взята была подписка о невыезде из пределов уезда, и я продолжал служить земским врачом.

Моей жене, конечно, пришлось оставить учительство в гимназии.

4. Арест.

Прошло несколько месяцев, меня не трогали. Я продолжал работать в амбулатории, в больнице и разъезжать по участку. Работы все прибавлялось, и за работой я стал понемногу забывать об обыске и допросе. Я начал даже хлопоты о поступлении на службу в Московское земство, — мне захотелось пополнить свои клинические недочеты, поработать в хорошей больнице — тогда уже московские земские больницы были прекрасно обставлены — и

¹⁾ Н. И. Барцев имел не очень благонадежное прошлое, у него тоже бывали раньше обыски. Он долго работал в Губернском земстве по народному образованию, пока по цензу жены не был избран мировым судьей нашего уезда.

познакомиться с организацией земского медицинского дела, не такой хаотичной и примитивной, как в нашем уезде.

По воскресеньям я продолжал ездить в город, только двадцать верст от моего села. Как-то раз жандармский офицер, обыскивавший меня, пригласил меня полечить его детей, и скоро с ним и с его женой у меня сложились дружеские отношения.

Арест, как и обыск, был также не совсем обычный. В одно из воскресений в кабинетик Ульяна Ивановича, где мы по обычаю собирались, заглянул жандарм и поманил меня пальцем.

— Ротмистр просит ваше благородие. Только уж пожалуйста сейчас, что-то очень нужно. У меня и извозчик готов, сказал он, когда я пообещал было приехать через полчаса. Ротмистр знал, где меня искать, этот самый жандарм не раз также по воскресеньям вызывал меня из кабинета Ульяна Ивановича, когда болел кто-нибудь из детей ротмистра, и я был уверен, что меня зовут по такому же поводу.

В гостиной я застал жену ротмистра. На мой вопрос о мальчике, которого незадолго перед тем я лечил, она начала, путаясь и запинаясь, говорить какие-то несуразные слова.

Вошел ротмистр, также смущенный, и тоже начал было говорить какие-то пустяшные слова и потом уже позвал меня в кабинет и вместо всяких объяснений показал полученную им из Петербурга телеграмму о моем аресте. Известие все-таки не было совсем неожиданное для меня, и я просил известить мою жену и спросил, скоро ли меня отправят в тюрьму.

— Супругу вашу я тотчас же уведомя, а в тюрьму вас не отправлю. Не могу.

И на мое недоумение продолжал:

— Не могу. Вы не знаете, что за тюрьма здесь. Гнилушка, грязь, вонь, камеры холодные, гулять негде. Клоака... Вы останетесь у меня.

— Как это у вас? Вот здесь, в вашей квартире?

Я невольно рассмеялся.

— Да, здесь. Вот кабинет в вашем распоряжении. Вы будете арестованы, только останетесь у меня. Это очевидное недоразумение. Несомненно сегодня или завтра придет телеграмма отправить вас в Петербург. Какой смысл держать меня здесь, когда все дело, все обвиняемые в Петербурге?

Скоро был подан обед, растерянный вид хозяев прошел, мы скоро беседовали как добрые знакомые. В сумерки ротмистр даже разрешил мне — с соблюдением всяких предосторожностей — навестить тяжело больного моего близкого знакомого, который с нетерпением ждал меня, как врача. Он спросил, кого бы я желал повидать, и на вечер пригласил в гости моих друзей, с которыми был только шапочно знаком — Ведерникова с женой, А. Н. Голикова и мирового судью Борцева. Вечер прошел очень оживленно, опять-таки как в кругу мирно собравшихся добрых знакомых. Хозяева, муж и жена, были любезны и предупредительны.

Утром никакой телеграммы не пришло. Я стал настаивать, чтобы меня отправили в тюрьму, но ротмистр продолжал уверять меня, что телеграмма вот-вот получится. И опять говорить, что это недоразумение, и все повторять, что не может отправить меня в местную тюрьму-клоаку. И опять весь день я провел в его квартире.

Как-то мы разговорились в его кабинете, и ротмистр откровенно рассказывал мне свою историю.

Был он пехотный офицер и влюбился в теперешнюю жену свою, дочь богатого помещика, привыкшую жить в хорошей обстановке. Кроме жалования у него ничего не было, отец невесты не хотел отдавать дочь за офицера, живущего на грошовое армейское жалованье, да и сам он не желал вводить жену в обстановку жизни полковых дам и после короткого раздумья поступил в жандармы. О своей жандармской деятельности он избегал говорить — кажется, в то время и не было у него особых политических дел — и только рассказывал, что за последнее время все учащаются случаи „оскорбления величества“ в деревнях и что по приказу свыше они не дают уже хода таким делам и стараются как можно скорее потушить их.

Приехала из деревни жена с детьми, и весь день до глубокой ночи провели мы вместе в квартире ротмистра. Когда и на следующий день никакой телеграммы не получилось, я категорически потребовал, чтобы меня отправили в тюрьму. Я говорил ротмистру, что тот же исправник может довести куда следует и что мне уже неприятно оставаться у него, раз мое пребывание может повредить ему. Ротмистр все не хотел отпускать меня, говорил, что по закону он имеет право держать арестованных при жандармском управлении; но, в конце концов, уступил, и я был отправлен, наконец, в тюрьму.

С великим удивлением я вспоминаю необычный обыск и еще менее обычную обстановку моего ареста. Я имел сведения о дальнейшей судьбе ротмистра, он дослужился до генерала и начальника губернского жандармского управления и — передавали мне — не так уже, как меня, обыскивал и арестовывал. Быть может, частью это объяснялось временем моего ареста, то было время правления Лорис-Меликова, так называемые „именины сердца“, а быть может виновата была молодость ротмистра, — не втянулся еще в настоящую жандармскую работу.

5. Тюрьма.

Чувство глубокого покоя охватило меня, когда я перебрался в тюрьму. Я испытывал это и потом, когда после напряженной работы приходилось садиться в тюрьму, но никогда это чувство отдыха и покоя не было так полно и глубоко, как в этот раз.

И, пожалуй, мне именно тогда нужен был этот отдых. После сыпного тифа мне не пришлось отдыхать и сразу, как только я воротился из клиники Захарьина, мне пришлось войти в большую работу, в частые длительные разъезды по участку. Легочный туберкулез, в общем очень благоприятный

после тифа, протекал хуже, чаще бывала повышенная температура, чаще появлялись кровохарканья ¹⁾.

Отдых был глубокий и полный. Можно было спать непробудным сном целые ночи и утром просыпаться с легким сердцем без тревоги за участь бывавших на моих руках и на душе тяжелых больных, не нужно было трастись в телегах или по снежным ухабам в мороз, в мятель, где однажды я чуть не замерз.

И можно было погрузиться в книги, которые я так забросил за два года, и прочитавшие многие, что давно нужно было прочитавшие и на что все не хватало времени.

Можно было думать долгими думами обо многом, что накопилось в душе за два года большого жизненного опыта, сделать пересмотр того, с чем я ехал на работу в земство, — передумать те думы, которые урывками приходили в голову за два года и над которыми опять-таки некогда было подумать вплотную.

Здесь в тюрьме я стал писателем. У меня явилась мысль написать повесть из пережитой жизни 70-х годов, и я с жадностью засел за работу.

Жизнь в тюрьме улеглась тихая, покойная, размеренная. Утром являлась в тюрьму моя жена, ее прямо пропускали в мою камеру, — и я диктовал ей это первое мое литературное произведение, — повесть „Озимь“. Никто нам не мешал, и короткий зимний день проходил за работой. В три-четыре месяца я и кончил ее ²⁾. А вечером сидел за книгами и за обдумыванием того, что нужно было диктовать на следующий день.

Тихо... Заперли камеры арестантов. Потухли последние звуки тюремной песни, все одной и той же каждый вечер, которую пела вся тюрьма оба этажа. Казалось, пели сами гнилые старые тюремные стены — нудной и грустной песни, полной вздохов и жалоб, которая и сейчас через сорок пять лет стоит в моих ушах, — и я оставался один с своими думами.

Тогда входил надзиратель и звал меня идти на прогулку, на узенький тесный дворик, где весь день толпились арестанты и куда только поздним вечером, после запора камер, выпускали меня на прогулку.

Их было два надзирателя, дежурившие через день. Один был пакостник прогивный, скупавший у арестантов одежду, пускавший арестантов за 15 коп. в женские камеры — и я с ним не ходил на прогулку, — неприятна была его лукавая физиономия. Зато другой, Васильич, скоро стал моим приятелем. Строгий и непоколебимый служака, он требовал от арестантов

¹⁾ Он обнаружился, когда я студентом 5-го курса выздоравливал от возвратного тифа в той же клинике Захарьина — сильным легочным кровохарканьем. Мне было предожжено уехать в Крым, что я, конечно, не мог сделать.

²⁾ Судьба повести была довольно неутешительная. Она была принята Станюковичем в журнал „Дело“, но как раз перед обыском и арестом самого Станюковича; провалялась в жандармском управлении и только в 86-м году была напечатана в журнале Н. К. Михайловского „Северный Вестник“. Я несколько раз порывался издать ее отдельной книжкой, но из-за художественных ветодей так и не издал.

исполнения порядка, но зато и не мешался в арестантскую жизнь с теми ненужными пустяками, из которых складывается тюремная жизнь, и потому несмотря на его строгость арестанты уважали его пререкания, и в его дежурство никогда не возникало нелепого шума, который часто бывал в дежурство его товарища. И с ним я непременно выходил на прогулку. Гулять собственно говоря было негде в маленьком дворике, на целую четверть занятой кухней.

Мы садились на ступеньке, крылечка и начинались у нас долгие беседы по душам.

Он был старый николаевский солдат, долго воевал с горцами на Кавказе и только, когда под Севастополем оторвало у него ногу, освободился от тяжелой службы. Был в нем старинный уклад давней жизни и по старинному носил он седые бакенбарды на своем тонко вырезанном, должно быть когда-то красивом лице. И было ему, должно быть, положительно скучно от его надзирательской службы, от руготни с арестантами, и он рад был поговорить с человеком по душам. Рассказывал мне свою жизнь военную. Все было как следует... Чеченец или, например, черкес, конечно, нас, а мы его. Иной раз побьем их всех и от аула синь-пороха не останется, зато случалось и нам навладет... Все просто, как следует... Но было у него тяжелое воспоминание, очевидно, давившее его и не уходившее от него, судя по тому, как часто возвращался он к этому эпизоду своей военной жизни, где было не как следует.

„... Послали это нас... казаки бунтовали на Кубани. Большая ста-ница... Как сейчас помню церковь в конце, а перед церковью народ собрался, бабы впереди с ребятими и казаки, а против них мы с пушками... Стрелять начали...“

И должно быть тяжело было старику старое воспоминание, он все вздыхал и говорил:

— Ах ты, боже мой. Такая история, такая история... Как сейчас вижу.

А после прогулки опять книги и думы. И было совсем тихо, и только огромные черные тараканы шуршали, пробираясь между листами моей по-вести и изредка падали с потолка на мою голову.

Тюрьма была старая, прогнившая, казалось, никогда не ремонтировавшаяся, с гнилыми рамами, в которых дул ветер и пробирался мороз, вонь неслась из загаженного узенького дворика, но я мирился с этим, так легко свободно и просторно сиделось мне в тюрьме.

На несколько часов пропускали мою жену прямо в камеру, и мы писали, книги доставляли мне всякие и без длинных процедур, а „Русские Ведомости“ я получал аккуратно прямо с почты, как всякий подписчик. Изредка навещали знакомые и тоже пропускались прямо в камеру.

Не забывали меня и деревенские люди. Навестил как-то Дмитрий Васильевич. Раз вызвали к воротам, там стоял сапожник, который лежал у меня в больничке, со старостой его села, — слышались они, что меня скоро выпустят, и пришли сказать, что все ждут, чтобы я обосновался у них вольным

доктором и что насчет помещения и больницы и всего прочего все у них обмозговал. И еще помню обычный крик со двора часовых:

— Доктора, к воротам.

У открытой калитки ворот стоял большой бородатый крестьянин — староста одного из сел моего участка. Поздоровавшись, поговорили, а потом староста перекрестился на церковь и протянул мне два медных пятака:

— Прими Христа-ради. Поминаем про тебя...

С арестантами образовались дружелюбные отношения. Большинство было из нашего уезда, некоторые знали меня лично, другие были наслышаны. И бродяги сибирские, которых было несколько человек из тех, что называли себя крестьянами нашего уезда и как таковых препровождали для опознавания, относились ко мне с почтением (кажется, я был первый политический, сидевший в скопинской тюрьме), как к политику, — политиков они знали по Сибири и уважали за их стойкость и презрение к опасностям, что высоко ценилось в арестантской среде.

Кое с кем из арестантов образовались приятельские отношения, в особенности с бродягой Савелием, тосковавшим о воле ¹⁾. Моя камера редко запиралась, и случалось, у меня подолгу засиживались арестанты, интересовавшиеся, что пишут в газетах. Не пишут ли там чего-нибудь про их, арестантов, не сбавят ли срока, не родился ли кто-нибудь или не женился ли в царской семье, что должно, по их мнению, облегчить их участь.

Толпа была серая, тусклая, с обычными деревенскими преступлениями, воровством, лесными пожарами, поджогами, убийствами из-за ревности или в пьяном виде, в драке. Пол-деревни сидело за увоз господских снопов с поля. И бродяги были не дикие, только бахвалившиеся своим знанием Сибири и вравшие про свои подвиги.

Только дети семейств, сосланных в Сибирь по приговору общества, вносили некоторое оживление в крестьянскую толпу. Шумно и оживленно делалось, когда приходили пересыльные партии. И случалось, встречались интересные, яркие люди. Помню, когда пришла одна из таких партий, по всей тюрьме пошел говор, что привели старообрядческого архиерея. Ко мне в камеру вбежал старый бродяга и рассказывал, что архиерей этот, с которым он встретился в Сибири, очень важный у старообрядцев, ставивший попов, сулит и радит, что сибирские купцы миллионщики, — он назвал несколько фамилий, у меня в памяти остались только Трапезниковы, — очень почитают этого архиерея, укрывают его в своих заимках и всячески берегут.

Под вечер явился ко мне познакомиться и сам архиерей: высокий, широкоплечий, с большой, в порядке содержимой бородой, он imponировал своей наружностью, несмотря на грязную, рваную арестантскую одежду. И в тоне его, в манере говорить, в том, как держался, чувствовалась большая сила, властность человека привыкшего управлять другими. Он шел „на признание“ — обычная по тогдашним временам история. Арестованный где,

¹⁾ Я описал его в рассказе „Савелий“.

то в Пермской или Уфимской губ., как беспаспортный, он назвался крестьянином из соседнего Пронского уезда. Заранее все было подготовлено, старообрядческая семья, в которой давно пропал сын, должна была признать за своего и он должен освободиться. Ему не доставало только, во что одеться, у меня был лишний костюм, и вечером, когда заперли арестантские камеры, я просунул ему в окошечко сверток с костюмом.

Он был интересный человек. Вся жизнь его прошла в скитаниях, сидениях по тюрьмам; он несколько раз переходил границу, бывал в Австрии, в Белой Кринице, в Румынии у старообрядцев; говорил, как легко переходить границу, и удивлялся, что мы, политические, не хотим и не умеем использовать те пути, которыми пользуются они, старообрядцы, и, между прочим, предлагал мне, если бы я пожелал эмигрировать, устроить отправку мою за границу. Он дал мне адрес в Керчь какого-то странноприимного дома, я должен был сказать условный пароль и назвать его имя, я забыл — рассказать где и как мы встретились, и уверял, что меня хорошо примут, снабдят надлежащим хорошим паспортом и отправят в Румынию к своим людям.

Кажется, единственный раз за полгода сидения в тюрьме я волновался, потянуло меня на волю. Была тихая, кроткая, полная каких-то ожиданий ночь, какие бывают перед Пасхой. Затихла езда по городу, замолкла, не пела и не ругалась тюрьма, смутный говор доносился из камер.

Было слышно, как капали из жолоба на камни мостовой редкие капли прошедшего дождя, и смутным шорохом доносился с реки шум ломающихся льдин.

Я всегда любил пасхальную ночь, а к ледоходу у меня с детства было особое отношение. Еще мальчиком я целые дни, не отрываясь, смотрел, как ломаются и сталкиваются льдины, и эта страсть смотреть на ледоход осталась у меня на всю жизнь. И вот я особенно жадно прислушивался к доносящемуся с реки шороху ломавшихся льдин.

Стучала по коридору деревянная нога Василичча и изредка звякали тюремные ключи на его поясе.

— Может отпереть, С. Я.? — он заглянул в мое окошечко.

Я лежал на койке, мне не хотелось двигаться, уходить от шума реки. Седые бакенбарды снова показались в окошечко.

— Больно скучно что-то... и, не дожидаясь ответа, Василичч отпер мою камеру.

Мы вышли на двор и сели на крылечке. Дождь вымыл грязь со двора, блестела лужа около фонаря, словно вымытые горели звезды.

— Вот и светлое воскресенье пришло... выговорил Василичч. — Так-то вот. Всяк человек ждет.

Он тихо опустил голову и ронял короткие фразы, и чувствовалось, что в душе его было беспокойно, что ему нужно было непременно кому-то сказать то, что лежало в его душе. Помню тихий задушевный рассказ его.

— Вот я тебе скажу,—как-то сразу перешел на „ты“,— вдову я взял за себя, с дитем. Девятый год теперь пошел Насте. Такая девочка удивительная... Ко мне привержена — и сказать нельзя... Иду я с дежурства, а она уж ждет, за полверсты выбежит от слободки, и дома не отходит, непременно чтобы рядом со мной за столом сидеть. Мать так не любит. Ну так вот...

Солдатик с ружьем подходил к нам, слушал и снова шагал по дворику скачущими унылыми шагами.

— Какой я муж... — Васильич вытянул свою деревянную ногу. — а она, жена-то, молодая, в силе. На базаре ларь держит, со всяким народом видится, разговоры пошли, смеяться стали надо мной, про Степана столара, — у нас же на слободе живет — поминать стали. Обидно было. Побить думаю, да что толков. А тут Настенька обвинит за шею, прижмется, тепленькая такая... Вот так-то. Пришли мы с заутрени прошлую пасху, говорю: „Христос воскрес!“ А жена-то бух мне в ноги, плачет, в три ручья разливается, за руки хватает, прибей, говорит, меня, избей, всю избей, вышиби из меня Степана“. Подумал я, говорю: живи, Аннушка, как живется... Христос с тобой. Что уж... Разговляться стали... Так и прошло все. Живем. Теперь и смеяться перестали, видят, что у меня сердца нет.

Ударил соборный колокол, запели городские колокола, сквозь щели тюремных ворот было видно, как возвращались из церкви люди с зажженными свечами, которые не гасли в тихой ночи.

— Христос воскрес! — обратился ко мне Васильич. Мы расцеловались. Подошел солдатик, помался, а потом снял картуз и похристосовался со мной и с Васильичем. Я вернулся в камеру.

А на другой день начались визиты. Я не говорю уже о моих друзьях, приезжал городской голова, обращавшийся ко мне за советом, мировые судьи, нотариус, член земской управы, кое-кто из уезда. Люди входили в мою камеру, как входят в гостиную к своим знакомым, поздравляли, христосовались, сидели; сообщали новости, как будто это была не тюрьма, а квартира знакомого, которого нельзя не навестить в Пасху. И приносили куличи, пасхи, присылали гостинцы знакомые и мало знакомые люди, и приношениями заполнилась моя камера, их собралось так много, что я долго угощал ими тюрьму...

Когда я вспоминаю обстановку моего ареста и все мое полугодовое сиденье в Скопинской тюрьме с ежедневным писанием совместно с женой повести, с получением газет, а часто и писем прямо с почты, с свободным доступом ко мне друзей и знакомых, мне просто не верится, что все это было так. И мне думается, что не личным только составом скопинских людей и не одними Лорис-Меликовыми сердцами можно объяснить все это мое удивительное сиденье. Все это свидетельствовало прежде всего об уходе от правительства и об огромном интересе, который возбуждали в обществе люди, борющиеся с правительством.

Может быть, влияла и новинка необычности. Я не помню, сидел ли до меня какой-нибудь политический в скопинской тюрьме.

6. В ссылку.

Я знал, что дело окончится ссылкой. Уже из того, что меня все полгода не допрашивали и оставляли сидеть в провинциальной тюрьме, было ясно, что мной особой не интересовались и что дело кончится административной ссылкой. Лорис-Меликов, с которым выделась хлопотавшая за меня мать моей жены, предложил мне даже самому выбрать место ссылки, одну из шести губерний: Архангельскую, Вологодскую, Вятскую, Пермскую, Уфимскую и Астраханскую и посоветовал выбрать Астраханскую.

— Я туда назначил хорошего губернатора, — помнил он ¹⁾.

Я выбрал не Астраханскую, а Уфимскую губернию, так как надеялся полечиться там кумысом от моего туберкулеза и потом уговорили меня мои Скопинские друзья. Они написали обо мне Д. Д. Дашкову, занимавшему видное положение в Уфимской губернии, земцу и владельцу завода около Уфы, который, они надеялись, устроит мне место врача. При этом мне предоставлено было право ехать в Уфу на свой счет без провожатого. Я прожил несколько дней в городе, ликвидировал дела, посещал моих знакомых.

Проводы были шумные, даже торжественные. На вокзале провожать меня собралось много народу, были люди, которых я и не знал, кто-то распорядился подать шампанского и с бокалом в руках прощался я с моими скопинскими друзьями и знакомыми. Было похоже на проводы новобратных, уезжавших устраивать свое гнездо. Под шумные и сердечные пожелания собиравшейся толпы отправился я, недавний арестант, в ссылку.

И в Москве я прожил несколько дней, как вольный человек, как обыкновенный проезжающий. Был 1880 год, время наиболее яркого развертывания революционного движения. В Москве было шумно и оживленно. Наш кружок, стоявший в центре московского студенческого движения, в который входили кроме меня С. В. Мартынов, П. П. Викторов, В. С. Лебедев и П. П. Кащенко, значительно увеличился и деятельность его стала шире и глубже. За два года моей службы в земстве, вокруг нашего кружка сгруппировалось много новых молодых талантливых студентов — Старынкевич, Юлий Бунин ²⁾, Амиров, П. С. Анненков ³⁾ и другие. В. С. Лебедев и С. В. Мартынов были уже в непосредственной связи с исполнительным комитетом партии Народной Воли ⁴⁾.

Друзья тащили меня на студенческий вечер, где Лебедев и Мартынов познакомили меня с новыми людьми и между прочим с Теллазовым (умер в Петропавловской крепости). Помню, Ермолова воодушевленно декламировала:

¹⁾ Кажется, Протасова-Бахметьева.

²⁾ Старший брат писателя Ивана Бунина.

³⁾ Отец известного художника Анненкова.

⁴⁾ После 7-го марта оба стали членами Исполнительного Комитета.

„Идет, гудет зеленый шум, весенний шум“, — и впечатление огромного оживления, весеннего зеленого шума унес я в ссылку от переполенного зала студенческого вечера и от шумной Москвы.

Я попал в Нижний-Новгород к последнему пароходу, уходившему в Уфу. Был октябрь, глухая осень. Под свинцовым небом Волга казалась угрюмой, неприязненной. Замирала жизнь на ней, пустыли и умирались пристани, редкие грузовые и пассажирские пароходы спешили в затоны, на зимнюю стоянку. Где-то под Козьмодемьянском нас захватил туман, какой я потом только раз видел на Черном море. Сутки стояли мы посреди Волги на якоре и еще полсуток, и казался вечностью этот густой, как стена, туман, окутавший Волгу, берега и наш пароход. Особенно жутко было ночью. Время от времени пароход кричит жалким испуганным криком, нередко откуда-то из тумана отбивается такой же испуганный вопль.

Пароход был маленький, тесный и битом набитый запоедавшими на ярмарке уфимскими людьми, служащими уральских заводов, мелкими промышленниками, сплававшими на ярмарку лубок, плашку. Крутом меня были крепкие мускулистые люди, с смелыми уральскими глазами, в поддевах, с остриженными в свобку волосами, и рассказывали мне про липовые леса, что тянутся на сотни верст, про Златоуст и Уральские горы, про степи южной части уфимской губернии, где башкиры по летам живут в кибитках и где чахоточные люди выпивают по ведру кумыса в день и выдвораживают от всяких чахоток.

Помню первое утро по приезде в Уфу. Выпал огромный снег. Большие белые хлопья бесшумно падали на землю, белая стена стояла перед окнами и закрывала от меня улицу, весь мир.

И белая стена встала перед моей душой и закрыла то, что было позади. Кончилась одна жизнь, начиналась другая, новая жизнь. Было тихо, мирно и как-то особенно уютно. Была вера, было спокойно и ясно на душе.

С. Елпатьевский.

Революционная Одесса в конце 70-х годов.

Из студенческих воспоминаний.

Об И. М. Ковальском я впервые узнал в бытность мою студентом Новороссийского Университета, во время лекции химии, которую читал покойный профессор Вериго. Это было в 70-х годах прошлого столетия, университет был еще молодой, студентов было мало, так как медицинского факультета в нем еще не существовало. Помню, у нас на первом курсе всего было 20 человек студентов, и это несмотря на то, что естественное отделение физико-математического факультета по своему составу профессоров могло бы по праву считаться первым в России. Достаточно назвать имена Сеченов, Мечникова, Ценковского, А. О. Ковалевского, чтобы составить себе представление об университете того времени. Когда все мое внимание было сосредоточено на том, что говорил Вериго, мне товарищ по парте незаметно подсунул четвертушку серой мелко-исписанной бумаги. По окончании лекции я пробежал содержание бумажки и меня удивило не только само заглавие, но и содержание написанного. Излишним считаю приводить текстуально и то и другое, а скажу лишь, что автор предлагал создать кружок студентов, поставивший себе целью сохранить физическое здоровье молодежи и вместе с тем избавить молодых девушек—швей и портних—от эксплуатации хозяек и позорного ремесла. По окончании лекции, в раздевальне химической аудитории собрался небольшой кружок студентов, которые вели горячий спор с кем-то, стоявшим посреди них. Это был юноша лет 18—19, выше среднего роста, широко и плотно сложенный, с круглой головой на короткой шее, с большими круглыми светлыми глазами и светлыми же короткими волосами на голове, без всякой растительности на лице. Замечательно было выражение его глаз: пылкое, энергичное, решительное и смелое. Такое выражение, вероятно, бывает у фанатиков. Студенты того времени не носили формы, и этот юноша был в длинной, наподобие хитона, серого цвета одежде.

Это и был Ковальский, автор только-что упомянутого проекта. Он горячо, с сильной, жестикულიцией что-то доказывал, объяснял, убеждал, но слушатели резко на него нападали, а иные даже подсмеивались и иронизировали. Звонок, возвещавший о следующей лекции, заставил прекратить спор, и все отправились в другую аудиторию. На следующий день в студенческой столовой, помещающейся на Княжеской ул., состоялась сходка, назначенная между прочим

для обсуждения проекта Ковальского. Автор выступил было с подробным изложением сущности дела, но его ежеминутно прерывали возгласами нетерпения и, наконец, заставили умолкнуть. Хотя Ковальский говорил с большим жаром и убеждением, но мысль его не встретила сочувствия по многим причинам и после недолгих возражений проект был провален, а огорченный автор укрывлся в дальнем углу.

Был ли Ковальский действительным студентом, вольнослушателем или ни тем, ни другим—точно никто не знал; он редко являлся на лекции, посещал разные факультеты, но, повидимому, нигде не занимался серьезно и чаще всего можно было его видеть в нашей столовой. На какие средства он жил, где жил и что делал раньше, тоже никому не было известно. Судя по внешности, поговору, можно было думать, что он из семинаристов. Говорил он не то заикаясь, не то спотыкаясь, и походка его была особенная: он всегда ходил медленно, твердо, стуча большими сапогами, немного припадая на одну ногу. Лицо его всегда было серьезное, сосредоточенное, улыбка редко на нем появлялась. В течение всего учебного года он несколько раз выступал на студенческих сходках, но то в качестве автора каких-то оригинальных проектов, то в качестве оппонента. Однако, говорить ему много не давали товарищи, нетерпеливо обрывали, а подчас и зло подтрунивали. Но Ковальский не обижался, а только уходил с места, огорченный и грустный. В конце концов студенты так привыкли к его смиренной фигуре, к его странным проектам, что перестали обращать на него внимание.

Наступила весна, начались вакации, студенты разъехались, кто в другие города, кто на дачи. У нас была небольшая библиотека, и так как заведывавший ею студент куда-то уехал на лето, то Ковальского выбрали временным библиотекарем, но и в роли библиотекаря он оказался таким же оригиналом, как во всем остальном: он выдавал подписчикам книги для чтения не только в назначенные дни и часы, но во всякое время дня. Я уверен, что Ковальский без возражения выдал бы любому студенту книгу, если бы тот явился к нему поздно ночью и поднял с постели. Мало того: я довольно часто встречал Ковальского в страшную одесскую летнюю жару, шествовавшего своей обычной тяжелой мерной походкой по пыльной дороге, ведущей к приморским дачам, с грудой книг под мышкой. Бывало спросишь его: куда, Ковальский, идете?

„Да, вот, ответит он, несу товарищам книжки на дачу, им самим ве-
дусуг приходить в город“. А товарищи эти часто жили на дачах в 8—10 верстах от города. Делалось это Ковальским, разумеется, вполне бескорыстно и охотно.

Осенью, когда возобновлялись занятия в университете и открылась студенческая столовая, я застал Ковальского уже в новой роли: он заведывал в ней буфетом, в котором отпускались фрукты, пирожные и всякие скромные сладости. И в этом деле Ковальский оставался верен себе, т.-е. исполнял свои обязанности тщательно, строго, соблюдая главным образом интересы столовой. Так, например, отпуская виноград, он за отсутствием весов чуть ли

не считал каждую виноградинку, словно боясь, как бы не передать лишней. Не знаю, получал ли он какое-нибудь вознаграждение за исполнение обязанностей библиотечника или буфетчика, думаю, что нет, и единственно, чем он пользовался за эти услуги,—это в течение лета библиотечной комнатой, а зимой даровым обедом, а обед в ту пору стоил не более 20 копеек. В этом звании буфетчика Ковальский пробыл всю зиму, а в следующее лето он исчез с университетского горизонта и никто из товарищей не имел понятия о том, куда он скрылся, словно в воду канул. И только с его улодом студенты так часто, а порой и довольно жестоко, подтрунивавшие над Ковальским, почувствовали, что его не достает, (не достает не только в качестве бескорыстного библиотечника и буфетчика, но и человека особенного, незаурядного, внесшего в нашу студенческую жизнь рядом с неосуществимыми проектами что-то хорошее, теплое, сердечное; и все, что им ни делалось, было облечено в какую-то скромную форму, в какой-то долг, им самим на себя взятый.

Прошло несколько лет. И успел за это время и покинуть Одессу, и снова в нее вернуться. Справился я у бывших университетских товарищей и друзьях и знакомых, спросил между прочим о Ковальском, но никто в точности не знал о нем ничего. Ходили смутные слухи, будто он перешел на нелегальное положение, проживает в Николаеве, где занимается политической пропагандой среди матросов. Говорили тоже, будто Ковальский несколько раз был арестован, но бежал, при каких-то особенно исключительных обстоятельствах, спасаясь каким-то чудом.

Перед самым концом русско-турецкой войны, в последних числах января 1878 года, я проживал в Одессе на Садовой ул. Однажды, поздней ночью слышались революционные выстрелы недалеко от моей квартиры. Когда я выбежал на улицу, то увидел, что соседний дом, принадлежавший Колпазовскому, оцеплен полицией и жандармами, а внутри дома продолжались выстрелы и заметна была какая-то возня и слышался шум. Оказалось, что жандармы открыли в третьем этаже этого дома тайную типографию и явились с целью произвести обыск и облаву. Отряд жандармов, во главе с офицером, осаждал квартиру, причем стреляли и осаждавшие и осажденные революционеры. Во главе последних был Ковальский, кинжалом равнявший жандармского офицера. Он был первым революционером, осуществившим на деле незадолго перед тем принятое решение—оказывать вооруженное сопротивление при всякой попытке жандармов и полиции произвести обыск или арест, долго бился и, кажется, навсегда остался инвалидом.

По случаю войны, Одесса находилась на военном положении и потому, по распоряжению Командующего войсками Одесского военного округа, все арестованные по делу о вооруженном сопротивлении во главе с Ковальским преданы были военному суду. С 19 по 24 июля того же 1878 г. дело это разбиралось в одесском военно-окружном суде. Суд приговорил Ковальского подвергнуть смертной казни через расстреляние, остальных сослать в каторгу на разные сроки, а женщин на поселение в Сибирь.

Приговор этот не был сразу подтвержден командующим войсками, а отправлен предварительно в Петербург, где, повидимому, долго обсуждали вопрос о применении смертной казни в политическом процессе, ибо с 1866 г., со времени дела Каракозова, в России не было ни одной политической казни. Только 2-го августа на рассвете, после получения из Петербурга телеграфного распоряжения, над Ковальским был приведен в исполнение смертный приговор.

Трудно передать волнение, которое вызвано было процессом Ковальского в образованной части местного общества, главным образом среди молодежи, не взирая на глухую летнюю пору и сильную жару. Так как попасть в зал заседания суда было не легко, то значительные толпы молодых людей мужского и женского пола день и ночь окружали здание суда и жадно следили за ходом процесса, справляясь о подробностях у счастливых, проникавших в зал заседания; но волнение и возбуждение публики дошло до крайнего предела, когда в конце 4-го дня судебного заседания она узнала о смертном приговоре, — до того это было и непривычно и неожиданно. Дело в том, что незадолго перед этим тем же военно-окружным судом разбиралось дело студента Фомичева, обвинявшегося в пропаганде среди солдат, т.-е. в преступлении, которое особенно строго каралось в то время, и тем не менее Фомичев был оправдан. Разумеется, наивно было бы ожидать оправдательного приговора Ковальскому и его товарищам, но мысль о смертной казни не укладывалась в понятия тогдашнего общества, почему-то верившего в невозможность такой расправы после целого ряда лет, не затемненных ни одною политической казнью.

Волнение вокруг здания суда стало принимать такие размеры, что полиции пришлось пустить в ход энергические средства, чтобы разогнать толпу. Толпа рассеялась, но небольшая часть ее бросилась от здания суда по направлению к приморскому бульвару. Это было около 7 ч. вечера, время когда разряженные одеситы и одеситки густыми толпами прогуливаются по аллеям бульвара. И вот, неожиданно, среди этой пестрой толпы, на одной из скамеек появляется совсем молоденькая красивая девушка, окруженная несколькими молодыми людьми, и, становясь во весь свой большой рост, обращается к гуляющим приблизительно с такими словами: „Вы здесь гуляете, наслаждаетесь чудным вечером в то время, как ваших братьев и сестер приговаривают к смерти и каторге за то, что они добиваются вашей свободы, вашего благополучия! Вы спокойно смотрите, как они гибнут за нас, и верите, что их судит суд, тогда как на самом деле это ничто иное, как Шенякин суд!“ Еще что-то хотела прибавить девушка, но дюжий полицейский стащил ее со скамейки и хотел увлечь за собою, но при помощи подоспевших друзей она вырвалась и побежала по направлению к Екатерининскому скверу. Но тут внезапно загородил ей дорогу молодой артиллерийский офицер, как оказалось потом, граф Сиверс, который, видя погоню за ней полицейского, схватил бежавшую за шиворот. Девушка оглянулась, повернулась к нему лицом и, что было силы, дала ему пощечину. Это было для

офицера так неожиданно, что он выпустил из рук пойманную, и та, пользуясь суматохой и поддержкой своих молодых друзей, вскочила в пролетку и скрылась. Это была четырнадцатилетняя Виктория Гуювская...

К чести офицеров полка, я должен сказать, что поступок Сиверса не остался безнаказанным, — судом офицеров он был исключен из полка и должен был оставить Одессу.

Как известно, после неудавшегося 2 апреля 1879 г. покушения Соловьева на жизнь императора Александра II, для борьбы с крамолой были приняты самые энергичные меры.

В Петербурге, Харькове и Одессе были учреждены временные генерал-губернаторства, снабженные чрезвычайными полномочиями, и такие же полномочия предоставлены были московскому, киевскому и варшавскому генерал-губернаторам. Началась новая эпоха правительственной борьбы с терроризмом, и в этой борьбе обе стороны проявили максимальную энергию. Из названных генерал-губернаторств наибольшей ревностью и свирепостью ознаменовали себя Киевское и Одесское, в первом работал генерал Чертков, во втором — генерал Тотлебен. Относительно последнего надо сказать, что он был человек чисто-военного уклада, чуждый административной практике, прославивший себя во время обороны Севастополя и при осаде Шлевы; весьма неохотно принял он на себя новое звание. В помощь ему был назначен тайный советник Панютин, которому присвоена была должность заведывающего гражданской частью при генерал-губернаторе и который прошел хорошую школу в бытность свою во время польского восстания на службе у знаменитого виленского сатрапа Муравьева. И действительно, Панютин оказался отличным учеником своего учителя. Все знали, что Тотлебен совершенно отстранил от себя всякое вмешательство в политические дела, предоставив их в бесконтрольное ведение Панютину, к которому он питал неограниченное доверие, благодаря рекомендациям высших петербургских сфер.

Первым делом Панютина было очистить Одессу от неблагонадежных элементов, для чего он потребовал от местного жандармского управления список подозрительных в политическом отношении лиц. Как составляются подобные списки — известно всем. По большей части, в основание берутся агентурные сведения недобросовестных агентов, заинтересованных в том, чтобы доставить начальству как можно больше сведений и как можно больше имен. Таким образом в руках Панютина оказался список, заключавший в себе 150 человек, из которых едва ли часть имела на самом деле какое-нибудь отношение к политике.

Все внесенные в список немедленно были арестованы и вскоре сосланы в административном порядке в Сибирь на срок 3—5 лет. В числе сосланных был между прочим Сергей Николаевич Южаков, мирно занимавшийся литературной работой в качестве сотрудника одной из Одесских газет. Его водворили в Красноярске, откуда он начал посылать корреспонденции в „Русск. Ведомости“, а по возвращении из ссылки сделался постоянным сотрудником „Русского Богатства“.

Еще менее прикосновенен был к политике секретарь одесского городского головы — Гернет, весьма талантливый работник, единственный грех которого состоял в том, что на его приморской даче находили себе приют все бездомные или укрывающиеся люди, без всякого отношения к политике. Еще большее изумление у одесситов вызвала ссылка некоего Чандацкого, делопроизводителя городской управы, грешившего лишь тем, что любил хорошо покушать. Можно было бы пополнить список таких „неблагонадежных элементов“ огромным числом лиц, если бы у меня под рукой находился соответственный материал.

Очистивши таким образом политическую атмосферу одесского генерал-губернаторства, Патишин принялся за более серьезные дела; а они кстати вскоре нашлись.

После приговора одесского военно-окружного суда над Ковальским, на приморском бульваре произошла небольшая демонстрация, героиней которой явилась 14-летняя девочка по имени Виктория Гуковская.

После демонстрации ей удалось благополучно бежать и скрыться на одном из близких к городу хуторов, где ее тщательно оберегали друзья и товарищи. По молодости лет, ей скоро наскучило это сиденье на одном месте, и она вопреки советам друзей, переодевшись в мужской костюм, стала появляться в городе, нередко на самых людных улицах, чуть ли не на виду у полиции. Полиция между тем ее усиленно разыскивала, ибо тогдашний одесский градоначальник, граф Левашев, издал строжайший приказ о поимке этой преступницы, для чего по всему городу расписаны были от его имени объявления, в которых излагались некоторые подробности демонстрации на бульваре, назывались ее имя и фамилия и требовалось содействие обывателей для указания ее местопребывания.

Викторию Гуковскую я знал лично за два года до этого события. Это была очень красивая, чрезвычайно симпатичная девочка, светлая блондинка с золотистыми косами, с прелестными умными голубыми глазами и с большим темпераментом. У нее были редкие способности ко всем предметам, и она делала значительные успехи как в науках словесных, так и в математике, 13-ти лет она, можно сказать, шутя прошла весь курс гимназии, и я уверен, что, если бы обстоятельства благоприятствовали, из нее могла выйти выдающаяся женщина. При том она отличалась редкой добротой и отзывчивостью, любила поэзию и музыку.

К сожалению, домашняя обстановка ее была неблагоприятная, и она-то по всей вероятности и послужила главной причиной ненормально сложившейся жизни. Отец ее был довольно богатый человек, имел в Одессе аптеку, а в уезде имение в несколько сот десятин; но как он, так и его жена отличались изумительной безалаберностью и бестолковостью, вели детей своих акривь и вкось, а отец, сверх того, был очень скуп, особенно, когда дело шло о расходах на воспитание детей.

Чувствуя Виктория все это понимала и относилась к родителям не только холодно, но даже неприязненно. Летом 1878 г. семья Гуковских поселилась

в своем имени, и, чтобы не прерывать занятий детей, приглашен был домашний учитель в лице очень юного студента,—обязанность его заключалась в том, чтобы заниматься всеми предметами с 14-летней Викторией и ее 9-летним братом, за что он удовольствовался чрезвычайно скромным вознаграждением, а это было самое важное для Гукковского.

Неизвестно, какие успехи делали в течение лета молодые Гукковские но Виктория за это время успела пройти весь курс политической агитации и пропаганды. С нею за несколько месяцев произошла огромная перемена, начиная с ее внешности, одежды и кончая отношением к всему окружающему. Прежде всего она решила бросить всякое ученье, говори, что не к чему заниматься наукою, когда вокруг царит бедность и несправие, а затем ей стало нестерпимо жить в богатой обстановке родительского дома и она ушла от своих родных, поселившись где-то на окраине города, на так называемой Молдаванке. Поселилась она не одна, а с целой компанией из юношей и девиц, составивших как бы нечто вроде коммуны из 8—10 человек, занимавших всего одну большую комнату. Повидимому, родители Виктории не отнеслись серьезно к ее поступку, по крайней мере не видно было старания вернуть девочку домой. В числе членов названной коммуны была известная в то время среди украинцев поэтесса из народа,—Агафья, или как ее чаще всего называли, Гапка Ищенко. Сначала покровители интересовались и занимались ею, а потом или это им наскучило, или же они убедились, что поэтический талант у нее довольно жалкий, и ее бросили на произвол судьбы. Молодая девушка с очень некрасивой внешностью, отставшая от деревни, неподготовленная к какому-либо умственному труду, вскоре опустилась до того, что не стала брезгать уличным ремеслом и даже, что еще хуже, сделалась негласной сотрудницей охраны. Как впоследствии оказалось, она-то и выдавала всех обитателей коммуны, в том числе Чубарова, слившего под именем „капитана“, и еще несколько видных революционных деятелей.

По всей вероятности, она и открыла убежище Виктории Гукковской, когда та после известной демонстрации на бульваре скрылась от полиции за пределы города. Однажды ночью ее схватили и посадили в тюремный замок.

Любопытно, что одесский градоначальник, граф Левашов, вместо награды получил Высочайший выговор от Александра II за историю с Гукковской и вынужден был подать в отставку, и с тех пор его административная карьера кончилась. Зато Паниютин воспользовался этим делом, к которому пристегнул несколько других лиц, настоящих революционеров, и создал большой процесс, известный под названием дела Лизогуба и других. К этому делу было привлечено, помнится, 28 человек, кроме Гукковской, Лизогуб, Давиденко, Логовенко, Виттенберг, Чубаров, Федоров-Гобст и др.; все они обвинялись в пропаганде среди рабочих и матросов, изготовлении взрывчатых веществ, устройстве террористических актов и во многих других преступлениях. Дело это разбиралось в одесском военно-окружном суде, который приговорил пятерых—Лизогуба, Чубарова, Давиденко, Логовенко и Виттенберга — к смертной казни через повешение, несколько человек к каторжным работам, а остальных,

в том числе Викторину Гуковскую, к ссылке в Восточную Сибирь. Когда Виктория, после годичного заключения в тюрьме, очутилась на скамье подсудимых, ей еще не было полных 15-ти лет, и назначенный ей судом защитник поставил вопрос о разуме и вменяемости подсудимой, принимая во внимание, что в момент совершения преступления ей не было еще 14 лет, но Виктория, взволнованная, вскочила с места и заявила судьям: „Я отлично понимала, что делала, поступила сознательно и не просила защитника ссылаться на мое неразумие и отвечаю за все свои поступки“.

Хотя суд и удалился для совещания по поднятому вопросу, но это было сделано лишь ради внешнего приличия, ибо приговор над всеми был заранее составлен Панютиным и суду только оставалось выполнить юридическую процедуру, об этом говорили почти открыто, все возмущались подобной насмешкой над правосудием, некоторые даже жаловались Тотлебену, но тот и слышать не хотел ни о чем, говоря, что он в такие дела не вмешивается, что кроме Панютина никто не должен их касаться. Многие родители, родственники, друзья арестованных или осужденных обращались непосредственно к Панютину. Иные матери даже ползали на коленях у его ног, но его ничто не трогало. В числе просительниц была и мать Викторин, которая, правда, несколько порядно спохватилась, чтобы спасти несчастную девочку. Однако, ни ее просьбы, ни слезы ни к чему не привели; Панютин даже не согласился дать Викторину родителям на поруки до суда, и 14-летняя девочка провела целый год в одиночном заключении, при чем свидания с нею разрешались Панютиным с большим трудом и крайне редко. Единственно, что было им разрешено — это передача пищи и кое-каких книг, благодаря чему Виктория во время процесса имела довольно здоровый вид, и знавшие ее до суда находили даже, что она за год сидения похорошела. Один из военных судей вскоре после процесса сообщил, конечно по секрету, своему приятелю и вместе моему знакомому, что Гуковская производила на всех судей большое впечатление, как своею наружностью так и смелым поведением...

С первой партией ссыльных Викторину этапным порядком отправили в Сибирь, в г. Красноярск. Здесь она прожила год, в течение которого мать посетила ее два раза. Проживала Виктория в Красноярске вместе с одною из сосланных годом раньше по делу Ковальского. Как мне впоследствии передавал С. Н. Южаков, тоже попавший в Красноярск по милости Панютина, Викторинела очень уединенный образ жизни, ни с кем не сближалась, много читала. На всех знавших ее и до и после ссылки, она производила обаятельное впечатление своей нежной душой и недюжинным умом. Видно, она сильно грустила, редко улыбка освещала ее лицо. Она охотно делилась получаемыми от родителей средствами со многими ссыльными. Так прошел в Красноярске год, и в конце его, однажды днем, когда хозяйка Викторин вернулась домой, она с ужасом увидела ее недвижно висевшей на крюке посредине комнаты. Эта смерть потрясла всю колонию ссыльных своею неожиданностью и безвременностью.

А. Фрейденберг.

Неизвестные эпиграммы В. С. Курочкина.

В экземпляре „Собрания стихотворений Василия Курочкина“ из библиотеки П. А. Ефремова, принадлежащем теперь известному библиофилу Л. Э. Бухгейму, во втором томе, на отдельном белом листочке находим следующую собственоручную запись П. А. Ефремова:

„Незадолго до смерти В. С. Курочкин вечером у меня, при Д. П. Сильча (евском), продиктовал две стихотворные заметки, из числа многих „слагавшихся“ им от скуки в крепости. Подписать просил не его именем, а Николая Омега, т.-е. Щербина:

1:

Сто человек, никак, ты запер в казематы,
И мало — все тебе, все мрачен, как чума ты!
Утешься, ведь господь царя благословил —
Отвел от родины тягчайший из ударов!
— Эх, братец! Чорт ли в том! Ведь я бы загорел.
Сто тысяч в крепости, когда б не Комиссаров.

2:

Холеру ждали мы, и каждый был готов
Дняту соблюдать и жить себе здорово.
Но фурия хитра: надула докторов —
Прислала за себя из Вильны — Муравьева ¹.

Сообщил Н. Нахим

¹) Обе эпиграммы В. С. Курочкина направлены против гр. М. Н. Муравьева-Вилenskого, бывшего председателем высочайше учрежденной Следственной Комиссии, производившей в 1866 г. следствие по каракозовскому делу. В. С. Курочкин, арестованный в связи с тем же делом, просидел в Петропавловской крепости с 14 апреля по 23 июня 1866 г. Временем заключения и датируются обе эпиграммы.

Союз Борьбы за освобождение рабочего класса в 1900—1901 годах.

В нынешнем году исполняется 30 лет со времени основания „Петербургского Союза Борьбы за освобождение рабочего класса“. О самых первых годах этой организации, сыгравшей видную роль в революционной борьбе нашего пролетариата, имеется ряд документальных свидетельств и воспоминаний. Наоборот, о последних годах деятельности „Союза“, особенно о таких важных, переломных, как 1900 и 1901-й, кажется, почти ничего нет. Между тем именно в эти годы обозначилось довольно большое изменение в характере рабочего движения. Этот период знаменуется ростом самостоятельности и политического сознания рабочего авангарда, выступавшего уже на арену политической борьбы в 1901 году.

Сильнейший промышленный кризис, вызвавший значительную безработицу и увеличивший недовольство рабочих, рост правительственных репрессий, развитие социал-демократической пропаганды и агитации — все это создавало благоприятную атмосферу для политического воспитания петерских рабочих. Параллельно с этим и организация меняла свои лозунги и свою тактику.

II.

Знаменательным явлением в жизни петербургского „Союза Борьбы“ 1900 года было возникновение и развитие рабочей организации с рабочим комитетом во главе, сыгравшим видную роль в руководстве пролетарским движением. В сентябре 1900 г. организация официально объявила о своем существовании в воззвании, помещенном в № 9-м „Рабочей Мысли“, в котором она излагала свои задачи и призвала всех пролетариев, желающих бороться за лучшую жизнь, в свои ряды. Но зачатки рабочей организации относятся к более раннему периоду. По мере того, как росло рабочее движение и социал-демократия от кружковой работы переходила к массовой агитации и руководству массовым движением, все чаще вставал перед ней вопрос об организации передового авангарда и привлечении наиболее развитых рабочих в руководящий коллектив. И среди рабочих высказывались нередко жалобы на централизм и опеку интеллигенции. Ведь „Союз Борьбы“ 95 — 97 г., как отмечает Горев в своих воспоминаниях, „был не организацией рабочих, а организацией для рабочих, — организацией с.-д.-интеллигентов“.

Я не буду останавливаться на организационных спорах того времени, они достаточно освещены в литературе. Упомяну только, что уже во время знаменитых стачек 96 и 97 годов появились районные объединения рабочих. Они выделяли из себя центральную агитационную группу, носившую название рабочего комитета. „Союз Борьбы“ после долгих споров решил принять в свой руководящий центр двух представителей рабочего комитета, но

наступившие потом аресты и провал организации помешали осуществлению этого проекта ¹⁾).

В последующие годы этот вопрос в той или иной форме снова выплывал наружу. Наконец, он получил разрешение в 1900 году, когда рабочая организация пустила более прочные корни в пролетарской среде. Начало ее положено было на Выборгской стороне, где в конце 90-х годов возник рабочий союз при деятельном участии одного рано погибшего талантливого члена „Союза Борьбы“ Алексея Петровича Сафонова ²⁾).

1900 и 1901 годы были годами кризиса, наступившего после расцвета промышленности 96 — 97 г.г. Безработица, массовые сокращения на фабриках, ухудшение положения рабочих масс и растущее глухое брожение среди них ставили перед социал-демократией серьезные и трудные задачи. Нужно было оформить это недовольство, ввести его в организованное русло, не дать ему стихийно вылиться в разгром фабрик и заводов и придать движению политический характер. Это возможно было только при помощи организации, если не массы, о чем тогда не могло быть и речи, то хотя бы ее передового авангарда, который мог бы взять на себя руководство этими массами. Таким образом, необходимость рабочей организации диктовалась самой жизнью. В октябре 1900 г. вышел печатный устав ее, из которого видно, что она являлась неразрывною частью „Союза Борьбы“. На уставе мы немного остановимся, так как он очень характерен для своего времени.

Организация имела следующее устройство: периферию ее составляли заводские и фабричные центральные группы, которые объединялись в свою очередь в районные объединения, а последние возглавлялись центральным комитетом „Союза Борьбы“.

Заводская центральная группа являлась базой для организации сознательных рабочих отдельного предприятия. Она ведала делами организации, агитации и пропаганды на заводе. Она основывала заводскую кассу, в которую организованные рабочие вносили по 2 коп. с заработанного рубля. Половина этих взносов поступала в стачечный фонд, находившийся в ведении центрального комитета, остальная половина оставалась в распоряжении заводской ячейки и шла на духовные и материальные нужды ее членов. Организованные рабочие в предприятиях из конспиративных соображений делились на кружки, не больше 10 человек в каждом. С этими кружками пропагандисты вели занятия. Выборные представители кружков составляли центральную группу завода. А представители центральных заводских и фабричных групп образовывали районные объединения, которые ведали делами района. Каждый район выбирал из своей среды представителя в центр.

В центральный комитет, кроме рабочих, выборных от районов, входили еще представители от исполнительных групп (пропагандистов, группы, веда-

¹⁾ „Раб. Мысль“ № 12, некролог Сафонова.

²⁾ К. Т. Тахтарев. Очерк петербургского рабочего движения 90-х годов.

ющей сношениями с заграницей и провинцией, издательской и кассовой). Центральному комитету принадлежало общее руководство делами организации.

В виду громоздкости центра, из него выделена была агитационная группа, ведавшая делами агитации и организации рабочих и получившая название „рабочего комитета“. Он состоял из представителей районов и одного выборного от всего центра. Из конспиративных соображений „рабочий комитет“ собирался отдельно от остального центра.

Из исполнительных групп важнейшей была, конечно, группа пропагандистов. Она ведала делами пропаганды, вырабатывала программы занятий в кружках и находилась в тесной связи с рабочим комитетом. На ее собраниях присутствовал представитель рабочего комитета, а ее члены посещали собрания районных объединений.

Для редактирования газеты, брошюр и листов программного содержания набиралась редакция из трех лиц. Два из них избирались рабочим комитетом и один от всего центра.

Изложенный здесь вкратце устав обладал многими недостатками, он был продуктом переходной эпохи. Одним из его недочетов, вызвавшим много упреков, было объединение задач экономической организации с задачами политической. Но это опять-таки диктовалось условиями времени. Тогда не разрешались никакие легальные профессиональные союзы, рабочая масса была аморфна и политически неразвита; чтобы подойти к ней и втянуть в организацию, нужно было прежде всего затронуть ее экономические интересы. Заводские Кассы на случай стачки были первой понятной формой боевой организации для рабочего класса, и они легли в основу данного устава. В задачи его входило также проведение демократического выборного начала и развитие самостоятельности периферии.

Рабочему комитету он отводит видное место в руководстве всей работой. Остановимся подробнее на деятельности последнего. В делах организации рабочих и агитации рабочий комитет пользовался полной автономией, и имя его все более завоевывало известность в рабочих кварталах. В кружки все распоряжения передавались от имени рабочего комитета.

На его обязанности лежало также издание агитационной литературы. Кроме листов, отвечавших на нужды того или иного завода, он издавал также периодический орган, называвшийся „Рабочим листком“. Формат его был не больше 4 страниц, а часто и меньше, предназначался он для массового читателя, к пониманию которого и приспособлялся. Статьи писались часто самими рабочими, тут же помещались небольшие рассказы и стихи местных пролетарских поэтов. Всех номеров вышло 10.

Состав центрального коллектива не был постоянным. Аресты вырывали поодиночке его членов, на смену их вступали новые.

Из лиц, входивших в него, я помню Марию Вильямовну Кистяковскую (урожд. Беренштам), заведывавшую сношениями с заграницей и провинцией. В 99-м году Мария Вильямовна работала еще вне рамок „Союза Борьбы“, она принадлежала к так называемой группе 20-ти, слившейся в начале

1900 года с „Союзом“. Находясь в центре, Марья Вильямовна была в постоянной оппозиции к экономизму, но по мягкости характера особого противодействия не оказывала. Она выбыла из строя весной 1901 г.

Представителем группы пропагандистов в центре был вначале Александр Эдуардович Рерих — студент-лесник, его заменил впоследствии тоже лесник Константин Семенов. Дмитрий Минич Зайцев, окончивший Лесной Институт, известный в районе под кличкой Андрей Ивановича, был влиятельным членом рабочего комитета, в который он входил как выборный от центра. Он был одним из наиболее убежденных последователей „экономизма“. После весеннего провала его место занял Иван Петрович Покровский, врач Марининской больницы, впоследствии социал-демократический депутат III Думы.

Подвижной, увлекающийся и легкомысленный в вопросах конспирации, он часто вызывал за это мои нарекания, так как мне в качестве заведывающей техникой приходилось быть сугубо конспиративной.

Последние весенние месяцы 1901 г., когда нас осталось немного, мы частенько с ним встречались и спорили. Мы принадлежали к двум борющимся течениям. Я была поклонница „Рабочей Мысли“, он с более политическим уклоном.

Кассиром Союза был инженер Альберт Эдуардович Тилло. Он занимал какой-то высокий служебный пост (где он служил, я уже не помню), что особенно ценилось и имело значение для его функции — хранителя союзных капиталов. Помню, что мы его очень оберегали и окружали большой конспирацией, его имя было мало кому известно в организации. Ему, кажется, удалось избежать всяких провалов. Состав рабочего комитета я точно не знаю. Хотя мне приходилось исполнять, главным образом, задания рабочего комитета, но из конспиративных соображений я не сносилась непосредственно с рабочими и имела главным образом дело с Зайцевым и Покровским. Видными рабочими тогда считались: Волков Василий Васильевич, работавший на заводе Лесснера, он обвинялся как представитель Выборгского района, затем два рабочих Путиловского завода — Иван Петров и Петр Андреев. Им тоже в вину ставилась принадлежность к комитету ¹⁾.

Из пропагандистов я встречалась с Лидией Андреевной Марковой, энергично работавшей за Невской заставой. Занимая должность библиотечарши при „Невском Обществе устройства народных развлечений“, она имела возможность близко сталкиваться с рабочими на легальной почве. Ее общительный, живой характер помогал ей быстро сходитьсь с рабочими. В своей библиотеке она завязывала связи, которые передавала потом организации. По ее словам, видными рабочими, с которыми она имела дело, были: Федор Сергеев с фабрики Торнтон, Иван Голубев с Александровского Механич. завода и еще чертежник Василий Грибакин, работавший там же. Они были представителями кружков. К группе пропагандистов принадлежали еще студент Лесного института Марцелий Петрашкевич (Струмилин), электротехник Мавромати, тех-

¹⁾ Дела Департамента Полиции. 4 делопроизводство. О „Союзе Борьбы“ 1901 г. № 82.

нолог Давид Самойлов, универсант Чердапцов и еще многие другие. Из лесников я встречалась еще с Николаем Гермогеновичем Смидовичем, прозванным в своей дружеской среде „Скандалистом“ за его шумный, веселый нрав. Он привлекался еще, кажется, в 99 году; потом временно отошел от работы, чтобы усыпить бдительность полиции, но весной 901 года он снова вошел в ряды пропагандистов. Технической группе удалось к осени 900 года наладить типографию, составлявшую ее гордость. Это была первая типография „Союза Борьбы“, и теперь мы могли выпускать печатные произведения, хотя и с большими техническими изъянами. Вначале шрифта было мало, и он был разного калибра, что придавало нашим листкам пестрый вид. Нередко посреди слова, набранного корпусом, конфузливо ютилась буква петита, а в длинных произведениях из-за нехватки некоторых букв допускались nepозволительные сокращения слов. Помню один курьезный случай. Готовился № 2 „Рабочего Листка“, писанный одним видным рабочим. Редакция „Рабочего Листка“ находилась всецело в руках „Рабочего Комитета“, но остальная часть центра, или по крайней мере некоторые его представители, не раз высказывали недовольство произведениями агитационной группы. Так было и с злополучным листком. Он носил заглавие „Что такое экономическая борьба и как нужно бороться“. Написанный неулыбчивым стилем, но просто, приспособляясь к психологии серого читателя, он излагал мысль, как экономическая борьба неизбежно приводит к политической, и объяснял, что такое политическая борьба. Свои мысли автор подкреплял цитатами из евангелия.

Я ждала выхода листка с большим нетерпением, именно в виду возникших разногласий. Но, получив свежий номер, с ужасом увидела, что слова „царствие божие“, послужившие предметом нареканий и часто повторявшиеся в листке, сокращены из-за недостатка букв в ц. б. Как поняли эти сокращения читатели — не знаю; но говорят, что листок, несмотря на технические недочеты, пользовался успехом.

Впоследствии нам удалось пополнить нашу типографию шрифтом. Приобретение шрифта было тогда делом не легким. Привлекались к делу и рабочие, именно наборщики, таскавшие понемногу шрифт из своих предприятий. Делались заказы и в другие города. Помню, один чемодан со шрифтом погиб при получении с вокзала.

Организация нашей типографии уже описана т. Устинович в „Красной Летописи“ (№ 2), и потому я не буду останавливаться на ней. Скажу только несколько слов о сотрудниках нашей группы, скромно и беззаветно несших тяжелую, дающую мало удовлетворения и в то же время опасную работу техники. Типография, до более прочной установки у Нонны Феликсовны Устинович в Комаровских домах на Невском, путешествовала из квартир в квартиру. Одно время она нашла приют в квартире т. Суткового. Николай Сутковой и его сестра Наталия Григорьевна (десгафтичка) принимались усердно за работу. Но появились какие-то угрожающие признаки, кажется, арест кого-то из их знакомых, и типографию пришлось спешно сложить. Потом ее приютил на короткое время технолог Константин Эдуардович Рерих;

кажется, там работа не наладилась, и, наконец, она водворилась у Устинович. Константин Эдуардович был вообще моим деятельным помощником и много содействовал оборудованию техники. Помню, я частенько бегала в здание Технологического Института, в стенах которого происходили передачи технических принадлежностей и сработанных листов. Там же в химическом отделении технолог Порай-Кошиц отливал красочные валики, а в механическом отделении оттачивались различные механические части нашей техники.

В детской больнице на Песках я посещала врача Андрея Фомича Сулима-Самойло, который помогал в организации складов для литературы.

Мария Константиновна Любинская, служащая Тульского земельного банка, работала для нас на пишущей машинке, отбивая восковые трафареты для mimeографа. Мария Николаевна Наталь, впоследствии судившаяся по делу Ростовской вооруженной демонстрации в 1903 г., помогала в устройстве передаточных квартир и вместе со своими подругами, курсистками рождественских курсов, участвовала в развозке сработанного материала.

Два имевшиеся у нас mimeографа часто меняли свои места, переезжал с Вас. Острова на Пески и даже в Лесное, так что я не помню фамилий лиц, работавших на них.

Работой технической группа была завалена. Кроме отдельных агитационных листов и периодически выходившего „Рабочего Листка“, мы издавали еще популярные пропагандистские листки, называвшиеся: „Письма о наших порядках и непорядках“. Их вышло пять номеров. Помню следующие темы: „Откуда казна берет деньги“. (Листок знакомит с косвенными и прямыми налогами.) „Куда идут народные деньги“. (Рассматривает роспись 901 г.) „Какие у нас суды“. „Защита личности в Англии“...

Эти листки писались особой литературной группой. В состав ее входили: Миней Леонтьевич Хейсин, впоследствии видный работник в области кооперации (умер). Лидия Васильевна Щеглова (впоследствии жена Хейсина) и, если не изменяет мне память, литератор Неведомский (Миклашевский).

III.

Обострение классовых противоречий, вызванное кризисом, наложило свой отпечаток на тактику петербургского „Союза Борьбы“. Являлась необходимость искать новые формы борьбы, больше останавливаться на политических вопросах, резко подчеркивать политические лозунги. Это видно уже из программы, выпущенной в октябре 1900 г. вместе с уставом. В ней говорится:

„Принимая во внимание, что конечною целью рабочего движения является экономическое и политическое его освобождение, что может быть достигнуто только социал-демократическим движением народных масс, „Петербургский Союз Борьбы“ ставит своей задачей развитие сознания этих масс помощью пропаганды и агитации по всевозможным конкретным поводам окружающей жизни. Считая, что отстаивание своих насущных интересов, как бы мелки они ни были, воспитывает рабочие массы в социалистическом

сознании и подготавливает группы активных борцов за рабочее дело, Союз оказывает такой борьбе всякое содействие, стараясь придать всякому неорганизованному движению форму организованной сознательной борьбы против капиталистической эксплуатации и царского произвола. Средства борьбы — частичные забастовки, общие забастовки и политические демонстрации¹⁾.

Здесь впервые выдвинут вопрос о политической демонстрации, как средстве борьбы.

Перемена тактики особенно резко подчеркивается в № 11 „Рабочей Мысли“ в статье „Насущный вопрос“. В ней говорится, что последние 5-6 лет петербургского рабочего движения были годами борьбы за частичные улучшения на экономической почве. Они не прошли бесплодно. Завоеванием их является закон 2-го июня 1897 г. Завоевание это, конечно, ничтожно. Но эта борьба всколыхнула рабочие массы от вековой спячки. „Теперь, когда мы достигли этого, когда создался и закалился авангард рабочих-борцов за рабочее дело, когда само дело перестало быть достоянием кучки убежденных людей и переходит в руки широких рабочих масс, самой жизнью властно и настойчиво выдвигаются в первую очередь новые задачи и цели... Настает? время решительной и настоящей борьбы, борьбы против всего, что давит и гнетет нас... время борьбы за права наши, за нашу жизнь, за свободу“...

Далее говорится о новых формах борьбы, о необходимости подчеркивать политические лозунги, объясняется смысл и значение этих лозунгов и статья заканчивается призывом:

„Все рабочие, весь рабочий класс должен подняться как один, одушевленный одним порывом, одною мыслью о своем освобождении — подняться и в массовых политических стачках и уличных шествиях со знаменами и флагами в песнях, речах, многочисленных собраниях в требованиях десятков тысяч листов, расклеенных и разбросанных по всей столице, заявить о самом себе, о своем праве на жизнь и свободу“!..¹⁾).

Глухое брожение масс, вызванное безработицей, серьезно занимало внимание рабочей организации, начиная с ее верхов и кончая периферией.

В районных собраниях и в заводских ячейках не раз рабочие указывали на беспокойное настроение, царящее у них на заводах. На очереди стоял вопрос, какой [дать организованный] исход повышенному настроению масс и как политически оформить это движение. Вопросы эти дебатировались и в центре и в периферии еще с конца 900 года. В кружках пропагандисты читали рефераты о причинах кризиса и о том, как западно-европейский пролетариат борется с ним, обсуждались различные формы борьбы, указыва-

¹⁾ № 11 „Рабоч. Мысли“ был первым номером, вышедшим под исключительной редакцией Союза Борьбы. Это подтверждает Тахтарев в своей книжке „Очерк петерб. раб. движ. 90-х годов“. Предшествующие номера частью редактировались за границей, частью в Петербурге — между заграничной группой и Союзом проходили трения по вопросам редакции, так что союз не может нести ответственность за физиономию предшествовавших номеров.

лось на непригодность стачки во время застоя, говорилось о демонстрации. Демонстрация как форма борьбы была уже знакома у нас. Но пролетариат ею еще не пользовался, рабочие слышали, что бунтуют студенты, выходя на Невский. Ветровская демонстрация 97 года была еще в памяти у передовых представителей пролетариата, но для серых масс эта форма борьбы была еще чужда. Организовать эти массы и двинуть их с окраины к центру было делом не легким. Немало сомнений высказывалось о возможности и успехе этого начинания. Но несмотря на колебания, на вопрос, сделанный рабочим комитетом, большинство районов ответило утвердительно, не видя другого способа дать исход всеобщему возмущению.

Большинство склонялось к устройству демонстрации 1-го мая, т.-е. 18 апреля по старому стилю. Этот праздник уже становился знакомым и близким петербургскому пролетариату. Кроме того, хотели выиграть время, чтобы хорошенько подготовиться. Мнения и проекты кружковых и районных собраний доводились до сведения рабочего комитета через своих представителей и здесь уже сводились воедино и подвергались окончательной переработке. На основании комитета было приготовить соответствующую литературу для пропаганды идеи демонстрации в массах. Номера „Рабочего Листка“ 6-9-10 посвящены этому вопросу. В них объяснялось, что такое кризис и отчего он происходит. Разбирались лозунги, которые должны быть выставлены на знаменах демонстрантов: 8 час. раб. день, свобода стачек, союзов, собраний и печати, участие народа в управлении страной. № 10 Листка заканчивался следующими словами:

„Товарищи рабочие, будет с нас голодухи, довольно хозяйского произвола и гнета царского правительства. Просыпайся, готовься к борьбе. Приближается тот час, когда рабочая организация кликнет клич и позовет всех голодающих и поработанных всех вместе тысячной толпой требовать смело и дружно работы и хлеба, жизни и свободы. И тогда все, кому тяжело живется, кто хочет бороться за лучшую жизнь, все присоединяйтесь к нам, идите и требуйте“!...

Кроме кружковых и районных собраний, рабочая организация устраивала вечеринки с целью распространения своего влияния на более широкие круги рабочих. На них приглашались не только организованные рабочие, но и сочувствующие. Здесь обсуждались разные злободневные вопросы, произносились речи, затем пели революционные песни. Закуска, выпивка и танцы служили для отвода глаз полиции. Для устройства таких вечеринок пользовались разными предложениями: свадьба, помолвка, именины какого-нибудь рабочего, встреча нового года. Они устраивались без разрешения полиции, но полиция часто о них была хорошо осведомлена. В секретных сообщениях охранного отделения имеются любопытные данные о них. Так, в сообщении за № 68 от 17 февраля 1901 г. говорится о вечеринке, состоявшейся под Новый год в квартире рабочего Ивана Сергеевича Волнистова за Нарвской заставой. Там было до 50 человек, в том числе 10 интеллигентов. Говорились речи, между прочим выступал студент университета Черданцев, он го-

ворил о необходимости ввести в современное рабочее движение элемент политической борьбы и о необходимости грандиозной демонстрации 1-го мая.

В другом донесении, за № 367 ¹⁾ сообщается о вечеринке, устроенной 27 января 1901 г. комитетом рабочей организации в чайной села Смоленского на Шлиссельбургском тракте. Туда собралось 80 человек рабочих и 4 интеллигента. Фамилии интеллигентов названы полностью: лесник Марцелий Петрашевнич, технолог Давид Самойлов, универсальн Черданцев и электротехник Мавромати. Интеллигенты и рабочие говорили речи, пели революционные песни, декламировали стихи и даже дошли до произнесения клятвы, что ни один из присутствующих, будучи солдатом, не направит дула своего ружья на своих товарищей-рабочих. Много толковали о том, что рассчитывают на уличную демонстрацию 1-го мая, надеются на нее собрать до 30 тысяч человек, а если она не удастся, то устроят праздник 1 мая где-нибудь на Невских островах.

В дополнительном секретном сообщении ²⁾ о той же вечеринке упоминаются фамилии рабочих, принимавших деятельное участие в ней, именно Петров Николай Петрович, рабочий Путиловского завода. Его секретное сообщение аттестует как представителя Нарвского района, Никифоров Григорий, представитель Шлиссельбургского тракта, Серов — председатель кружка фабрики Торнтон, и Строгонов Андриан — представитель завода Семьяниковского. Николай Петров в своей горячей речи говорил „о необходимости идти вперед по пути рабочего социализма“, „лечь костями за правое дело“, и „организуя кружок, всегда помнить, что их конечная цель борьба с правительством“.

Полиция имела, очевидно, своих агентов в недрах рабочей организации. Недаром она знала так хорошо и настоящие фамилии и роли каждого участника. Она была осведомлена не только о вечеринках, но и о некоторых районных собраниях, которые обычно были более конспиративно обставлены.

Так в донесении за № 84 ³⁾ сообщается, что 29 января вечером состоялось районное собрание представителей Нарвского тракта в доме № 10 в 7-ой Роте Измайловского полка, под руководством Мавромати.

Из рабочих были Андреев, Петров, Серов и др. На этом собрании рабочий Андреев сообщил, что комитет рабочей организации поручил ему поставить на обсуждение данного собрания вопрос о подготовке демонстрации к 1 мая, с привлечением к участию в ней безработных рабочих.

Рабочий Ник. Петров горячо высказывался за демонстрацию. Он говорил: „Пора показать правительству нашу силу и потягаться с ним. Очень может быть, что наше шествие в день 1 мая встретят войсками и выстрелами, но

¹⁾ Дело департамента полиции, 4 делопроизводство, о „Союзе Борьбы“, 1901 г. № 82, т. 1. Записка отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице, Февраль 1901 г.

²⁾ В том же деле.

³⁾ То же дело.

через наши трупы продолжайте идти вперед с революционными песнями и красными знаменами, на которых будет написано: свобода, равенство и братство“.

После речи Петрова голосование единогласно постановило, что районное собрание Нарвского тракта принимает предложение комитета об устройстве демонстрации 1 мая.

Все эти секретные сообщения повели к тому, что 30 января многие видные работники „Союза Борьбы“ были арестованы. Было сделано 85 обысков и 38 арестов. В числе арестованных находились Петрашкевич, Мавромати, Самойлов, Черданцев, рабочие Волков, Петров, Андреев и многие другие ¹⁾.

Но рабочая организация еще была не разбита и продолжала свою работу, пополняя свои ряды и заменив выбывших из строя новыми.

Описываемые годы характеризуются не только брожением среди рабочих, но и растущим недовольством в широких кругах интеллигентного общества, в особенности в его наиболее чуткой и отзывчивой части—студенческой молодежи. После студенческих забастовок 98 и 99 гг. правительством были изданы так называемые „временные правила“, на основании которых министр просвещения мог сдавать в солдаты студентов, принимавших участие в беспорядках. Впервые временные правила были применены в январе 901 г. в Киевском университете за участие в неразрешенной сходке. 183 студента отданы были в солдаты на срок от 1-го до 3-х лет. Затем, новым ударом министр Боголенов выхватил 28 петербургских студентов и одел в серые шинели. Эти меры, незаконные и жестокие, вызвали не только возмущение учащейся молодежи, но нашли отклик и у обывателя, обычно терпеливо сносившего правительственный произвол. Первым сигналом был выстрел Карповича, убивший Боголенова 14 февраля 1901 г., но этим дело не ограничилось. Еще в январе петербургские студенты собирали сходки, устраивали нелегальные вечеринки, где обсуждали вопрос о том, как ответить на вызов правительства.

Об одном из этих собраний имеется секретное сообщение охранки ²⁾. В нем говорится, что 20-го января в 32 № по Моховой улице, в квартире коллежского советника Гагина-Михайловского состоялась вечеринка, посвященная памяти декабристов. На вечеринку было приглашено до 200 человек. Кроме курсисток и студентов, были и представители рабочих кружков.

В сообщении упоминается, что об этой вечеринке имеются два агентурных донесения; одно из рабочей среды, другое из интеллигентной ³⁾. Таким образом, находились отбросы и среди рабочего класса и интеллигенции, шедшие на службу полиции и осведомлявшие ее. Рабочие тогда еще не научились, как расправляться со своими предателями. Из участвовавших лиц указаны были: литератор Филиппов, председательствовавший на собрании, затем редактор „Жизни“ Ермолаев, адвокат Никонов, литератор Клейнборт, студенты:

¹⁾ То же дело Департамента Полиции. 4 делопроизводство, № 82.

²⁾ Дело департамента полиции о „Союзе Борьбы“ 1901 г. № 82, т. I. Записка по отделению по охранению обществ. безопасности, № 54, от 8 февр. 1901 г.

³⁾ Провокатором со стороны интеллигенции был известный М. И. Гурович, см. „Былое“ № 16—1921 г., статьи Л. Клейнборта.

Петрашкевич, Мавромати, Самойлов и др. Из 15 рабочих, присутствовавших на вечеринке, названы в донесении фамилии уже известных путловцев — Николая Петровича Петрова и Петра Васильевича Андреева. Реферат о декабристах был только предлогом для собрания. Главным образом оно было посвящено вопросу об устройстве студенческой демонстрации. Некоторые высказывались за нее, другие против. Между прочим Петрашкевич и один горняк предлагали устроить совместное шествие рабочих и студентов. На вечеринке не принято было никаких определенных решений.

Впоследствии, когда студенческая организация окончательно вырешила вопрос об устройстве демонстрации 4 марта, она вошла в переговоры с „Союзом Борьбы“. Последний, считаясь с мнением, высказанным еще раньше районами, о желательности демонстрации 1 мая, не принял предложения студентов о совместном выступлении.

Мотивы были следующие: нужно было беречь силы к весне, „Союз“ надеялся, что демонстрация 1 мая сможет привлечь действительно широкие массы рабочих и выставить свои чисто-пролетарские лозунги, теперь же осталось мало времени, чтобы развить широкую агитацию, студенческое выступление могло найти отклик только среди передового слоя рабочих, а его нужно было оберегать от провала.

Но „Союз“ ошибся в своих расчетах. Многие передовые рабочие были охвачены всеобщим возбуждением, царившим тогда, и, несмотря на решение центра, явились в значительном количестве на Невский.

Дикая и варварская расправа полиции над безоружной толпой вызвала бурю негодования во всем обществе. Даже в самых скромных обывательских семьях, привыкших молчать и терпеть, горячо обсуждались события. В каждой семье были или сын или дочь или кто-нибудь из родственников, попововавших кулака или нагайки. Появились выражения протеста со стороны различных организаций. Группа известных писателей в 79 человек за полными подписями обнародовали открытое письмо, в котором горячо протестовали против насилий полиции.

„Мы полны ужаса“, — писали они: — „перед будущим, ожидающим страну, огданную в полное распоряжение кулака и нагайки“!..

Правительство почувствовало, что оно зарвалось, и, желая обелить себя и восстановить народ против бунтующих студентов, выпустило сообщение, где извратило все факты. В нем говорилось, что студенты бесчинствовали в Казанском соборе, и для оурачения святыни правительство принуждено было принять решительные меры. В темноте народной и в его религиозных предрассудках оно всегда искало себе союзников. „Союз Борьбы“, в ответ на это затемнение народного сознания, выпустил прокламацию „К событиям последнего времени“. В ней он разоблачал наглую ложь правительства и рассказывал об истинной причине демонстрации и о зверствах полиции.

События 4 марта вызвали массовые обыски и аресты, но главным образом среди студенчества и интеллигенции. Социал-демократической организации они почти не коснулись и она продолжала свою подготовку к 1-му Мая.

Настроение было бодрое. Участие рабочих в событиях 4 марта подавало надежды на успех майской демонстрации. Кроме того, из всех городов приносились волнующие вести. Демонстрации в Москве, Харькове и Киеве прошли при большом участии рабочих.

Работы было немало. Печатались и распространялись майские листки. В кружках пропагандисты с рабочими обсуждали технику шествия, знакомились с изданной на mimeографе особой инструкцией, распределяли роли. Жены рабочих готовили красные флаги. Рабочий комитет, зная, что демонстрация поведет за собою большие провалы, предложил кружкам идти не целиком, а оставить по несколько человек на заводе для сохранения связей.

Демонстрация назначалась на 22 апреля старого стиля. Оно приходилось на воскресенье. Рабочие должны были собираться на Невском и планировать по нем, ожидая сигнала. В 12 часов должен быть дан сигнал и всем предлагалось двинуться по направлению к сигналу.

Но в ночь на 18-ое апреля произошли массовые аресты и обыски, сделавшие большие опустошения в рядах организации. Демонстрация не удалась. Хроника 12-го номера „Рабочей Мысли“ сообщает, что на Невском все-таки собралось тысячи три рабочих, было много и студентов и другой публики. Дефилировали войска. Но не было дано обещанного сигнала, и все мирно разошлись. Были единичные аресты рабочих на улице.

Чем объяснить неудачу демонстрации? Конечно, аресты передовых рабочих спутали и расстроили организацию дела. Но не в них только причина неудачи. Расставленные войска и отряды конной полиции у застав Нарвской и Невской, которые задерживали и спрашивали всех идущих в город, тоже отпугивали нерешительных и мешали свободному движению к центру. Но все-таки главная причина неуспеха не внешняя, а внутренняя. Широкие слои пролетариата не были подготовлены к такой форме борьбы, и им не доставало массовой организации. Не будь арестов 18-го апреля, передовой слой пролетариата и организованные рабочие вышли бы на Невский, но вряд ли бы удалось привлечь туда неосознательные, широкие слои рабочих. Они нашли иную форму для выражения своего недовольства, более знакомую им и менее организованную.

Тяжелые дни переживали мы, оставшиеся на воле. Взято было много видных пропагандистов, между прочим Семенов, Тарасов, Лидия Маркова член комитета Зайцев и его жена Анна Сергеевна, помогавшая ему в работе. Арестовано до 35 человек рабочих¹⁾. Разбит рабочий комитет, пострадали районы, нарушена была связь с заводами. Прошло некоторое время, пока организация оправилась и восстановила свой аппарат, а в это время рабочая масса бурлила на окраинах. 1 Мая старого стиля начались волнения на Выборгской стороне на бумагопридильне Чешера²⁾. Рабочие забастовали и выставили чисто-экономические требования: уничтожение сверхурочных ра-

¹⁾ См. „Рабочая Мысль“ № 12.

²⁾ См. Дело Департ. Пол. 1901 г., 4 деп., о комитете рабочей организации, за № 337, т. I.

бот, увеличение расценки, сокращение рабочего дня. К ним вскоре присоединилась и соседняя фабрика Воронина. Забастовщики двинулись к заводу Лесснера, призывая его присоединиться. Затем стала ниточная мануфактура, завод Барановых и ф-ка Бернгарта. Явилась конная полиция и жандармы толпу разогнали на улице нагайками; там и сам происходили стычки с городскими, рабочие защищались камнями; много было раненых с обеих сторон. Происходили массовые аресты. Затем волнения перекинулись за Невскую заставу. 7-го мая произошла знаменитая Обуховская оборона, кончившаяся постыдной комедией суда над обуховскими рабочими. За нее заплатились многие борцы рабочего класса несколькими годами каторги. Но об Обуховском деле много писалось, и потому я не буду останавливаться на нем и скажу только несколько слов.

Поводом к волнениям послужило следующее:

Обуховцы, решив праздновать 1 мая, не вышли в числе 1200 человек на работу после полудня. Администрация ответила на это увольнением. Но уволить всех 1200 чел. ей было невыгодно. На первое время выбрали 10 чел., наиболее деятельных, и им объявили расчет. Это вызвало возмущение всех рабочих. Завод забастовал, требуя приема уволенных. Явилась полиция, начались стычки; защищаясь, рабочие пустили в ход камни. Полиция прибегала на помощь матросов, а затем и солдат. В результате убито 12 рабочих, много раненых и арестованных¹⁾.

Вся Невская застава заволоновалась. За Обуховским заводом остановился Семинниковский, затем Николаевские железнодорожные мастерские, карточная фабрика, завод Берга. Движение носило стихийный характер. В нем не доставало организованности. Не было общих требований. Каждый завод выставлял свои мелкие экономические требования. Рабочие потом жаловались, что первые дни чувствовалась большая потребность в листах, а их как раз и не было. Потом союз оправился, завязал связи и снова наладил работу. Работать приходилось в тяжелых условиях, нас было мало, запросов к нам много. Техническая группа хотя и уцелела, но в ее рядах тоже были изъяны. Типографию пришлось сложить, за арестом одного из сотрудников, именно В. И. Калашниковой; ее переносили с одного места на другое, но как следует наладить при мне уже не удалось, работали главным образом mimeографы. Чувствовался большой недостаток в пропагандистских и агитаторских силах. Неутомимый Покровский, известный в рабочей среде под кличкой Василия Ивановича, все свои свободные часы проводил за Невской заставой. Его велосипед хорошо был знаком всем шпикам Шлиссельбургского тракта и номер его записан был в охранке.

Рабочий комитет пытался в выпускаемых листах осветить события и внести побольше организованности. Предполагалась всеобщая забастовка, но она не удалась. Заводы то останавливались один за другим, то снова, не добившись ничего, принимались за работу. Обуховский бастовал два раза.

¹⁾ См. „Рабочая Мысль“ № 12 13.

Семяниковский три раза — 8 и 15 мая, затем 7 июня, Александровский чугунно-литейный завод 17-го мая и 7 июня. Балтийский завод 30 мая¹⁾. Вообще весь май и июнь месяцы прошли в беспорядочных забастовках, кое-где происходили столкновения с полицией.

Весенняя погода благоприятствовала устройству рабочих собраний за городом, в поле. Их было несколько на Шлиссельбургском тракте. Обсуждался вопрос о всеобщей забастовке, которую хотели назначить 28-го мая, но с нею дело не сладилось, вскоре снова выступил вопрос о демонстрации.

13 июня объявлен был общий расчет на Семяниковском заводе. Это подлило масла в огонь. На ближайшем собрании рабочих на Шлиссельбургском тракте горячо обсуждался вопрос о том, что нужно поддержать Семяниковцев. Решено было устройство демонстрации на 17-ое июня. Эта мера была отчаянная, после всех провалов трудно было надеяться на ее успех. Но она отвечала возбужденному настроению, царившему тогда в рабочих кварталах. Рабочий комитет выпустил листок, приглашавший всех рабочих поддержать выброшенных на улицу Семяниковцев и выйти на Невский с требованием „хлеба и работы“.

16-го июня ночью произошли снова аресты. Это был полный разгром организации. Среди рабочих арестованы: — Сонин (Семяников. зав.). Алекс. Гущин, Богданов, Голубев Ив., Григорий Яковлев, они все обвинялись как представители кружков, кроме того, работницы — две сестры Сомовы и Анастасия Ивановна Ермолина. Последнюю я знала и встречалась с нею в тюрьме. Она работала на фабрике Штиглица. Скромная и застенчивая, она была очень предана делу.

Из интеллигентов были арестованы Хейсин, Покровский, технолог Янов Пономарев, М. Любинская, Екатерина Маркова, Наталия Занцевич, М. Нагель. Была арестована и я. Многие из них впоследствии пошли в ссылку в Вологодскую и Архангельскую губ., а Покровский был сослан на 5 лет в Восточную Сибирь²⁾.

Подводя итоги пережитых годов, можно сказать, что рабочее движение за это время окрепло и выросло, и его политический авангард выступил уже на арену политической борьбы. Это явление отмечает и „Рабочая Мысль“. В двенадцатом номере, в передовице говорится о росте политического сознания пролетарского авангарда:

„Вот почему рабочие все решительнее присоединяют к борьбе с капиталом борьбу с русским деспотическим правительством. В своих листах они выставляют, рядом с требованиями сокращения рабочего дня и повышения расценки, также требования свободы союзов, собраний, печати, отмены министерских циркуляров, уничтожения военных судов над рабочими... Эта политическая окраска рабочего движения является, пожалуй, наиболее знаменательным фактом последних событий“...

¹⁾ См. „Рабочая Мысль“ № 12—13.

²⁾ См. Дело Денирт. Пол. 1901 г. № 417.

Рядом с Петербургом росло рабочее движение и в других городах. В Москве, Харькове, Киеве рабочие проявили свою политическую активность участием в демонстрациях и выставлением политических лозунгов.

Рабочее движение уже начало выходить из узких рамок борьбы на своих фабриках и заводах, у него проявились общие задачи и цели. Период кустарничества для социал-демократии приходил к концу. До сих пор движение ограничивалось рамками города, связь с другими городами хотя и существовала, но носила случайный характер. Хотя на заголовках листов и красовалась надпись Российской Соц.-Демокр. Раб. Партии, но фактически каждый город жил своею жизнью, движение было разрознено, в нем царил идейный разброд. Нужно сказать, что „Рабочая Мысль“, как орган петербургских рабочих, мало {делала в направлении установления партийного единства. Но годы, прошедшие после первого партийного съезда 1898 г., не прошли даром; они были годами внутреннего строительства и политического воспитания рабочего авангарда, но теперь все насущней становился вопрос об едином идейном и организованном руководстве движением, объединении во всероссийском масштабе. И этим делом предстояло заняться „Искре“.

М. Логачева-Пилецкая.

Толстой и Короленко.

Личные встречи Толстого с Короленко были редки и непродолжительны. Они познакомились в 1888 году; пятнадцать лет спустя Короленко снова посетил Л. Н-ча—во время тяжелой его болезни, в Гаспре, в 1902 г.; в последний раз писатели встретились за три месяца до смерти Толстого.

Тол-тому никогда не приходилось высказываться о писательском даровании Короленко сколько-нибудь обстоятельно. Но одно ускольз сделанное о нем замечание дает основание предполагать, что Толстой причислял Короленко к перворазрядным писателям: „Часто у хороших писателей встречаются непростительные небрежности: у Успенского я, например, прочитал где-то, что он шел с шурином и деверем, или у Короленко, что когда ударили в светлый звук, было светло от месяца, а паша не может быть в полнолунии. Мне давно еще все говорили о Печерском. Я раскрыл и прочел, что русский мужик „ронит“—и выражение какое нелепое!—двухсотлетний дуб, чтобы сделать оглоблю или ось. Ну, где он найдет такого дурака? С меня было довольно, и я не стал читать его. Эти примеры из Успенского и Короленко, разумеется, незначительны, это просто обмолвки. Но иногда делаются такие же ошибки психологические; когда в повестях и рассказах люди делают то, чего они не могут делать по своему душевному складу—это ужасно. А такими ошибками преисполнены все произведения Андреевых и др. Да и у Горького это на каждом шагу“¹⁾. Косвенной оценкой может несомненно, служить, также и включение нескольких рассказов Короленко, в изданиях рукозодного Толстым „Посредника“²⁾.

Сохранилось мнение Толстого и о Короленко-публицисте. По прочтении знаменитого „Бытового явления“, Толстой тотчас же написал автору в следующих словах о своем впечатлении: „Сейчас прослушал вашу статью о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удержаться от слезы,

¹⁾ А. В. Гольденвейзер. „Возле Толстого. Записки за 15 лет., т. I. М. 1922, стр. 89-90. Дата записи 25/VII—1902. Ср. В. Ф. Лазурский. „Воспоминания о Л. Н. Толстом“. М. 1911, стр. 41-42.

²⁾ Здесь были напечатаны следующие произведения Короленко: „Приемыш“ (№ 119; „В дурном обществе“ (изд. для инт. чиг., XXIII); „На Волге“; отрывок (в сборн. „Доброе Дело“, XXVIII); „Тени“, фантазия (XXX).

а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь за эту и по выражению и по мысли, а главное по чувству превосходную статью“ ¹⁾). Последовавшее затем ответное письмо Короленко с именованном о новом смертном приговоре послужило, по собственному признанию Толстого, импульсом к писанию „Нет в мире виновитых“ ²⁾). Встречи с Короленко приносили Толстому, по его же словам, большую радость ³⁾; а в последний приезд Короленко в Ясную Поляну Толстой так отзывался о нем: Короленко мне очень понравился. Он очень милый, умный. Я с ним утром поговорил о религиозных вопросах. Он стоит на научной точке зрения, но он все-таки понимает многое“ ⁴⁾). Этот отзыв остался последним.

В свою очередь, в сознании Короленко Толстой стоял, как „явление стихийно-подавляющей формы и размеров“ ⁵⁾). Весьма оригинален отзыв Короленко о Толстом, как о писателе, — лично ему высказанный: „Короленко сказал, что страдает иногда бессонницей. Л. Н. спросил его:— „А вы в таких случаях не читаете романы?“— „Нет, Л. Н., в таких случаях, не при вас будь сказано, я Толстого читаю. Я на ночь могу читать только самое лучшее, а плохие книги меня так расстраивают, что я совсем уснуть не могу“ ⁶⁾). Короленко присылал Толстому „авторские экземпляры“ некоторых своих писаний, с прочувственными надписями.

Но с Толстым-моралистом Короленко был в раскладе. Он первый в критической литературе о Толстом обратил внимание на классовый состав толстовских персонажей: „В нем всего устойчивее отразились два полюса крепостной России: деревенский дворянин и деревенский мужик. Нашего брата, горожанина-разночинца, чья жизнь вращается между этими полюсами, великий художник не видит, не хочет знать и не желает с ними считаться... совсем нет ни самостоятельной городской жизни, ни фабрик, ни заводов, ни капитала, оторванного от труда, ... ни трестов, ни союзов рабочих, ни политических требований, ни классовой борьбы, ни забастовок...“ ⁷⁾).

Материалист и революционер, Короленко толстовской проповеди „непротивления злу“ и „царство божие внутри нас“ противопоставил формулу — „царство божие чудится ... мы не можем последовать за Толстым в страну его мечты... одной проповеди не достаточно даже для воспитания... необходимо шаг за шагом разрушать и перестраивать формы общественной жизни“ ⁸⁾). Эту мысль Короленко проводит во всех своих статьях о Толстом; но едва ли где-нибудь столь резко и четко—в применении к самому себе,—как в письме, впер-

¹⁾ Письмо от 27/III — 1910. „Письма Л. Н. Толстого“, т. II, № 554. Ср. В. Ф. Булгаков. „Лев Толстой в последн. год его жизни“. М. 1920, стр. 123.

²⁾ А. В. Гольденвейзер, *op. cit.*, т. II (М. 1923), стр. 11.

³⁾ Ср. „Гол. Минувш.“, 1922, № 2, стр. 13.

⁴⁾ А. В. Гольденвейзер, т. II, стр. 214 (7/VIII—1910).

⁵⁾ „Гол. Мин.“, 1922, кн. II, стр. 4.

⁶⁾ А. В. Гольденвейзер, т. II, стр. 211.

⁷⁾ Полное собрание соч., изд. „Нива“, том I, стр. 305, 309.

⁸⁾ *Ibid.*, стр., 314, 324.

ные ниже публикуемом. Не признавая толстовских методов социального переустройства, Короленко, однако, не скрывал тех критических элементов „учения“ Толстого, которые на практике, несомненно, сыграли роль в революционном движении, и высоко ценил „искренность его неустанных исканий правды“. А от личных свиданий с Толстым у Короленко навсегда осталось „впечатление такое, как будто на длинном пути, загроможденном всякого рода жизненными впечатлениями, яркими и тусклыми, крупными и мелкими, важными и неважными,— три раза весь этот житейский туман раздвигается, и на расчищенном месте является яркий образ крупного замечательного человека... Человека, идущего куда-то бодро и без усталости“¹⁾.

Сам Короленко подробно описал свои три посещения Толстого²⁾: последнее же их свидание почти стенографически зафиксировано сразу двумя мемуаристами Толстого³⁾.

Однако взаимоотношения обоих писателей в те длинные промежутки времени, которыми разделялись однодневные их свидания, остаются неизвестны,— так как из их переписки доселе было напечатано лишь одно письмо Толстого о „Вытовом явлении“⁴⁾. Нижеследующими письмами, не бывшими еще в печати, этот пробел несколько восполняется.

1. Письма Толстого к Короленко.

1.

[20 января 1904 г. Ясная Поляна.]

Очень вам благодарен дорогой Владимир Галактионович за присылку интересной книги с вашим интересным предисловием¹⁾. Я был очень болен, когда казаки были у меня. Ваше предисловие объяснило мне их посещение. На очень, очень важные мысли наводит это удивительное и трогательное явление.

Дружески жму вам руку

Лев Толстой.

1904, 20 Янв.

¹⁾ „Гол. Мин.“, 1922. II, стр. 3. После смерти Толстого Короленко напечатал в редактируемом им журнале „Посмертные записки Федора Кузьмича“, со своей статьей об источниках этой незавершенной повести Толстого; однако, страницы Толстого о казачьем наезде уже по выходе книжки журнала были цензурным комитетом вырезаны. (См. „Русск. Бог.“. 1912 — № 12, стр. 1 — 34 и 364 — 376.)

²⁾ „I. — Великий Пилигрим. II. — Разговор с Толстым. Максимализм и государственность. III. — Из письма к Т. А. Богданович“. („Гол. Мин.“, 1922, № 2, стр. 3 — 14; ср. также в № 1, первые гл. „Земли, земли...“).

³⁾ 1. — А. В. Гольденвейзер. Т. II (М. — П. 1923), стр. 297—291. 2 — Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Толстого В. Ф. Вулгакова. Изд. 3-е (М. 1920), стр. 282 — 287.

⁴⁾ „Письма Л. Н. Толстого“, т. II, № 554.

2.

Ясная Поляна.
16 Августа 1908 года.

Уважаемый Владимир Галактионович,

Близко знакомый мне человек ²⁾ просит меня устроить в печати прилагаемую статью ³⁾. Статья эта дневник его впечатлений, как рабочего среди рабочих. Все здесь написанное совершенно правдиво и дает потому очень верное впечатление о состоянии и преимущественно духовном — рабочих. Автор человек очень образованный и чрезвычайно чуткий и не лишенный литературного дарования, потому думаю, что статья эта может пригодиться для вашего журнала ⁴⁾.

Кроме того должен сказать, что человек этот теперь очень нуждается и рассчитывает на гонорар, и потому я очень просил бы Вас безотлагательно известить или меня, или его по прилагаемому здесь адресу о том, будет ли или не будет принята его статья ⁵⁾.

Рад случаю непосредственно напомнить Вам 'о себе и о нашем, хотя и притом личном знакомстве ⁶⁾.

Дружески жму Вам руку

Лев Толстой.

II. Письмо Короленко о Толстом.

9 сент. 1917. [Полтава].

Многоуважаемый

[Михаил Александрович] ⁷⁾.

Вы сильно преувеличиваете мое значение, как писателя. Говорю это не из скромности, а потому что это правда. Не может быть и речи о каком бы то ни было сравнении с силой и значением слова Л. Н. Толстого. В Европе меня знают очень мало. Но это не так еще важно. Важнее то, что если бы даже Толстой был жив, то и его призыв к миру имел бы немного значения. Эта война — огромный стихийный взрыв, приготовленный всем укладом жизни народов, и отвлеченная моральная проповедь тут не поможет. Над делом мира работают люди много сильнее меня, но — трудно найти такие слова, которые могли бы сами по себе заковать и усмирить демонов войны. Если хотите, — Россия уже сказала важное призывное слово, — своим лозунгом мира без захватов. Но слов тут мало. Нужны дела. Дела народов.

Мне кажется, Вы, как и многие, ошибаетесь, считая, что и я придерживаюсь идеи Л. Н. Толстого об абсолютном непротивлении. Логически это позиция самая сильная. Но она стоит вне грешной жизни и потому остается без влияния на нее. Свой взгляд на войну и мир в нынешних обстоятельствах я уже высказал в „Русских Ведомостях“ (с 15 августа, №№ 186, 188, 191, 194 и 196) в очерках: „Война, Отечество и Человечество“. Когда эта работа появится отдельно, я Вам пришлю ее. Вас наверное очень разочарует и огорчит моя точка зрения. Она далека от абсолютных простых поло-

жений. на которых стоял Л. Н. Толстой. Но увы! Я долго и мучительно думал над этим вопросом, и то, что я сказал в своих очерках, — это все, что я могу сказать с убеждением и по совести.

Желаю Вам всего хорошего

В. Л. Короленко

Полтава, Малая Садовая, № 1 — мой постоянный адрес.

Комментарии к тексту писем.

1) Г. Т. Хохлов. „Путешествие уральских казаков в Беловодское царство“. С предисловием В. Г. Короленко. Записки имп. Геогр. Общества по этнографии, т. I. СПб. 1903. 8°. 112 стр. Поводом к появлению этой книги в свет послужило следующее событие. Еще с конца 90-х гг. творческое воображение Короленко интриговал замысел романа — на фоне пугачевщины вывести интеллигента, воспитанного в духе просветительской философии XVIII ст. С целью более глубокого проникновения в „сюжет“, Короленко летом 1900 года отправился в гнездо пугачевщины — Уральск. Здесь ему привелось познакомиться с тремя казаками-старообрядцами, которым взбрело на ум (по маршруту с легендарными странами и городами) достичь „Беловодского царства“. — Подробности этой встречи см. в кн. Ф. Д. Батюшкова: „В. Г. Короленко как человек и писатель“. М. 1922, ч. II, гл. 2-я.

В результате этой встречи получилась названная книга. „Авторский экземпляр“ ее находится в Яснополянской библиотеке. На титульном листе его — автограф Короленко: „Льву Николаевичу Толстому от глубоко и искренно уважающего В. Л. Короленко. Январь 1904. Полтава. Не все листы книги разрезаны; исправлено (рукой Короленко?) несколько опечаток.

2) Павел Александрович Буланже, недавно умерший единомышленник Толстого, деятельный сотрудник „Посредника“; автор ценного исследования „Как работал Толстой над „Хаджи-Муратом“ („Русская Мысль“ 1913 — VI, стр. 69 — 93) и ряда статей о Толстом; принимал участие в подготовке к изданию „Посмертных худож. произвед. Толстого“.

3) „На промислах“. (Из дневника рабочего).

4) Т.-е. для „Русского Богатства“, редактором которого В. Г. Короленко состоял.

5) Рекомендуемая Толстым статья была напечатана не в „Русском Богатстве“, — а в „Познании России“ (ежемесячн. литерат. и общ.-экономич. журн.), 1909 г. №№ I (56 — 92), II (77 — 94), III (38 — 72). Подписана псевдонимом — П. Хлебников.

6) Как сказано выше, до этого Толстой и Короленко встречались дважды — в 1888 и 1902 гг.

7) Адресат — д-р медп. М. А. Никитин, причислявший себя к последователям Толстого, знакомый Короленко; письмо адресовано „на австрийский фронт“, где Никитин заведывал летучим госпиталем. Заключенные в скобки слова заменяют два слова подлинника.

Новопубликуемые письма хранятся в „стальном“ архиве Толстовского Музея в Москве. Первые два извлечены из копировальной книги писем Толстого. Это (по раз заведенному в Ясной Поляне порядку) механические отпечатки подлинников, тотчас же по написании сделанные „канторским“ способом — под прессом, на листах увлажненной папиросной бумаги; стало быть, они являются не просто копиями, но точными репродукциями оригиналов, и не только в отношении текста, но и со стороны палеографической. Первое письмо написано Толстым собственноручно; второе же — лишь им подписано, а самый текст, под диктовку Толстого, напечатан на „Ремингтоне“.

Письмо Короленко печатается с подлинника.

С. М. Брейтбург.

М. П. Драгоманов о Тургеневе.

(Из вновь найденных материалов).

Мне случилось летом 1924 года побывать в Полтаве и познакомиться там с прекрасным краевым музеем, который тогда руководился историком и археологом Мих. Як. Рудинским¹⁾. В рукописном отделе музея заведывавшая им сестра его Евг. Як. Рудинская любезно представила мне для рассмотрения большую пачку писем покойного Михаила Петровича Драгоманова, русских, к его сестре, и украинских, к племяннице, талантливой писательнице „Лесе Украинке“. Их набирается несколько десятков, они относятся к длинному ряду лет (от 50-х до 90-х прошлого века), и в них содержится богатый материал для его биографии и для истории идейного украинского движения, в котором Мих. Петр. долго являлся одним из первых вождей.

Эти письма представляют остатки драгомановского семейного архива, находившегося в старом доме его родителей в уездном городе Гадяче Полтавской губернии, растерянного с течением лет и в буре событий: все, что удастся спасти, рукописного и вещественного, в различных пунктах „Полтавщины“ тщательно собирается и хранится деятелями Музея²⁾.

¹⁾ Это учреждение („Центральный Музей Полтавщины“) — одно из замечательнейших местных хранилищ памятников старины и современности, истории и быта не только на Украине, но и в России. Он помещается в прекрасном здании, построенном в украинском национальном стиле еще по почину полтавского губернского земства, которым начато и собиране материала, но последний приведен в систему и научно развернут, а также постоянно пополняется и расширяется нынешними главными работниками музея с изумительным знанием, умением и любовью. Можно только желать, чтобы работа таких преданных делу компетентных специалистов вместе с подготовляемыми ими учениками-краеведами упрочивалась на местах: ими создаются драгоценные орудия научного познания края.

²⁾ Весною нынешнего года в заседании Центрального бюро краеведения при Рос. Акад. Наук мне удалось прослушать интересный доклад московского профессора Н. К. Писанова „Областные культурные гнезда в России“. Он дает отличный „краеведческий“ подход для изучения развития русской культуры по литературным памятникам и движениям, исходившим из провинциальных центров. Приложение этого принципа к Украине, думаю, также принесет большую пользу и обнаружит неизвестные культурные факты и течения. Специально, — захожушний Гадяч при первом же внимательном взгляде на его духовное прошлое вскрывает наличность в нем такого „гнезда“. Уже в 1814 г. там родился Амвросий Метлинский (ум. в 1870 г.), поэт и историк народной словесности, и не оставил связи с местом рождения дальше. Его труды и сборники имели значение для развития знакомства с творчеством украинского народа. В Гадяче

В годы поездок и продолжительного пребывания моего за границей в 90-х годах прошлого века судьба подарила мне счастье многократных встреч с этим замечательным человеком, которые привели меня к близкому знакомству, глубокому почитанию и дружбе с ним, и я теперь с истинным интересом вчитывался в неожиданно открывшиеся для меня подлинные строки его к близким и любимым людям: привлекательный образ покойного, оригинального, умного, превосходно образованного и безукоризненно чистого человека вставал из них в воображении с удивительной яркостью. Тот из его украинских соотечественников, который, в настоящую эпоху, когда началось возрождение украинской культуры, возьмется за полную обработку жизни и деятельности одного из самых лучших сынов Украины, до сих пор недостаточно оцененного, должен иметь в виду эти письма, к сожалению, дошедшие до нас лишь с большими пробелами: потому-то я считаю себя обязанным указать на них вообще.

Сам же я нынче воспользуюсь с разрешения М. Я. и Е. Я. Рудинских, которым приношу душевную благодарность, — интересными данными, заключающимися в названных письмах, о последней встрече М. П. Драгоманова с И. С. Тургеневым в самом конце жизни второго. Они характерны для личности обоих, великого писателя-художника и даровитого, стойкого ученого и публициста. Рядом с этим я напоминаю, что уже сделано было раньше Драгомановым для знакомства с наследием Тургенева в изданиях, оставшемся почти неизвестным широким образованным кругам в России в силу появления его за границей в то время, когда на писаниях М. Н. и его публикациях лежала еще печать полицейского запрета цензуры. Я говорю об обнародованных им письмах Тургенева к Герцену ¹⁾.

I.

Самым важным для поставленной цели является большой отрывок из длинного письма М. П. Драгоманова к сестре — Е. П. Косач, помеченного „7 octobre, Chemin de Dancet 14, Genève“. Начну с напечатания этого, еще не появлявшегося в литературе, сильного и содержательного текста. Затем прибавлю нужные замечания и пояснения.

„Я на вакациях сидел в Женеве и даже хуже обыкновенного, так как совсем остался без денег, проездивши свою порцию на дорогу в Париж

выросла семья Драгоманова, в которой служили литературе, кроме самого Мих. Петр., сестра его О. П. Косач, писавшая под именем „Олены Пчелки“, и дочь ее „Лесь Украинка“. К „гадзичанам“ принадлежали еще братья Рудченки, Афанасий („Панас мирный“) и Иван („Иван Билый“), выдающиеся беллетристы. Если поискать следов их жизни на родные и отзвуков их работы там, можно, вероятно, восстановить заслуживающую изучения живую местную ячейку культурной жизни, в числе членов которой, может быть, отыщутся и совсем забытые имена, поддерживавшие скромную, но реальную, традицию.

¹⁾ „Письма К. Д. Кавелина к Ив. С. Тургеневу и Ал. Ив. Герцену“, с объяснительными приращениями М. Драгоманова (Женева, украинская типография, 1892).

довольно бесплодно в практическом отношении, хотя интересно в идейном. Между прочим прельстился темой Маруси Богуславки зятя M-me Viardot — M-r Duvigneau. Будет писать оперу, которую, чего доброго, увидим на сцене в Париже года через 2. Вышло это так: весной получил просьбу Тургенева сообщить ему список переводов на западные языки легенд и песен скандинавских и славянских. Отписал, но ответа не получил по причине тяжелой болезни старика. В конце июня был в Париже и спрашиваю об общих знакомых: на что — мол нужны были легенды. Говорят, Дювернуа писать что-либо хочет (на славянскую тему), концертное или даже оперное. — Ого говорю, на оперу даже я сам либретто берусь составить, программу, конечно... Расскажите. — Рассказываю, нравится. Говорят: вот во вторник все поедет к старику в Буживаль (ему было очень лучше, боли совсем почти было улеглись и галлюцинации прошли), там повторите. — Поехали. Тургенев одобрил и очень пожалел, что на сей раз не было Дювернуа. Назначили другое свидание, где и Дювернуа прельстился. Теперь дело пошло всерьез. Вот только смерть И. С. приостановила работу. Дювернуа повез тело И. С. в Россию. Есть подозрение, что его жена — дочка И. С. Она прекрасная испанка, вроде матери, которая совершенная Юнона, по моему, и до сих пор, — но в носу есть что-то подозрительное, орловское ¹⁾. С телом повез, Дювернуа и венок наш из искусственных цветов, иначе не доехал бы до России: фон из дуба, на нем темнокрасные розы с голубыми незабудками — Украина и вечная память ²⁾. На ленте: „à Tourguéneff la presse oukraïniennne“. Я не люблю соваться в манифестации, представлять кого-нибудь без полномочий. Но меня горько обидело, что в некрологе Т-ва ни Дело, ни Батьковщина не вспомнили о переводе Нар(одных) Опов(иданий) М(арка) В(овч)ка, ни о заступничестве за нашу печать на конгрессе 1878 г. Такую же память обнаружила и „Зоря“, и я написал львовским олухам (с которыми я давно не имею сношений), чтобы послали телеграмму M-me Viardot, а я-мол венок устрою. Телеграммы они, кажется, и не послали, а венок, спасибо приятелям, устроили, и зятя Виардо обещали поместить надлежаще и в Петербурге. Только я обжегся на расходы (100 фр.), так что за венок до сих пор остаюсь должен, ибо в доме у нас теперь (в ожидании Людмилиных денег) и 10 фр. не имеется. Зато на душе спокойно; хоть дорогой старик не увидит сам все-таки лучше, что мы не оказались свиньями перед его гробом. (О, сколько свинства показали перед этим гробом всякие российские (люди) и революционные, и умеренно-либеральные, и консервативные. Не хочется рассказывать только). Боюсь удлинить письмо, изливаясь на тему о смерти Тургенева. А скажу тебе все-таки, что очень она меня опечалила этажданная п.

¹⁾ Автор передает здесь о Марianne, младшей дочери Полины Виардо, слух, легко возникающий и еще легче распространяемый досьежными языками. Он нарушает картину открытого тесно дружеского союза Тургенева со всею семьею Виардо и ничем не подтверждается. „Орловский нос“ — очень неуловимый признак.

²⁾ Вечную память обозначали, конечно, незабудки, Украинку же — красные розы. ибо это так траурный цвет.

принимая во внимание страдания старика, даже желательная кончина. В последний визит мой он сказал: Да, нужно очень привязаться к жизни, чтобы терпеть то, что и терплю. Я его лично знал мало, виделся раз 5 — 6, да письмами столько же обменялся (два письма у меня есть очень характерные). Обидно — жалко мне было видеть его бесхарактерность и просто трусость в общественных делах. Но такого изящного благодушия и доброты и такого широкого понимания всего, всего человеческого и умом, и сердцем, я ни в ком из русских не видел. Да, большая это была душа. И никогда я не забуду, как она глядела на меня в последние два визита мои в Буживале из огромных глаз большущей, но похудевшей головы И. С., лежавшего на кровати. Замечательно, что в этих глазах совсем не видно было двухлетней болезни человека, а видны были только божественный ум и такая же благость. Мне кажется, что одни эти глаза должны были очищать все окружающее. А вот поди же ты с нашим отечеством и соотечественниками...“ —

Прежде всего, хочу разобраться в том отрицательном, что автор высказывает здесь о Тургеневе и что называет „бесхарактерностью“, даже „трусостью“ его в „общественных делах“. Думаю, здесь неудачно комбинированы вместе три слова, сейчас поставленные в кавычки. Для полной верности надо было бы пропустить слово трусость или заменить его другим — робость, нерешительность, и дальше сказать не в общественных делах, а „при столкновении с людьми“. Так сохранена была бы правда и яснее выразилась бы мысль самого М. П. Клеветники и зложелатели, действительно, не раз обвиняли И. С. в общественной трусости, а также в мелком самолюбии и даже подслуживании из жадности славы. Иногда в таком же смысле легкомысленно „прохаживались“ над ним в безответственных путках или необоснованном раздражении небеспристрастные приятели. Но ни одного сколько-нибудь убедительного, объективного факта первым не удалось привести; вторые же, может быть, сожалели сами о своей неосмотрительности, если необдуманные остроты распространялись, как пятнающая образ И. С. сплетня.

М. П. Драгоманов нельзя причислить к подобным хулителям Тургенева. Я в том твердо убежден на основании личного общения с ним. Мы много говорили о Тургеневе во время долгих и разнообразных, увлекательных бесед с ним (он был замечательный рассказчик). Происходили они как раз в те годы, когда он занимался Тургеневым по материалам-герценовского архива ¹⁾.

¹⁾ Сын Герцена — Александр Александрович (профессор Ломанского университета и его дочь — Наталья Александровна отдали в распоряжение Драгоманову все оставшиеся после него бумаги, и М. П. с большой любовью занимался их исследованием, готовя к печати документы первостепенной важности. Очень печально и в этом отношении, что смерть постигла его слишком рано. Если бы архив Герцена оказался обработан Драгомановым, конечно, и позднее полное собрание его сочинений появилось бы в гораздо более совершенном виде, чем неудачное издание под ред. Лемке. В связи с обнаружением писем знаменитых корреспондентов Герцена, изданию которых способствовала группа русских ученых и общественных деятелей

Но его, как публициста и политика, расстраивала, порою даже возмущала в Тургеневе недостаточная общественная активность, и поэтому он невольно подчеркивал в нем черту, о которой говорит и здесь, но прибегая к неудачным (чересчур резким) выражениям, не гармонизировавшим с его общей оценкой личности И. С.

В приложенных к его изданию писем Тургенева воспоминаниях Драгоманов касается также „слабохарактерности“ И. С., неумения его настаивать на своем в практическом деле, его уступчивости перед натиском грубых, отсутствия в нем „боевого“ темперамента. Мих. Петр. часто мне жаловался не то, как, бывало, ничтожества, даже просто наглые люди брали верх при соприкосновении с этим замечательным по нравственной тонкости человеком, как Тургенев пассивал перед дерзкою выходкою или бесперемонностью, теряясь и робей. Такой недостаток чаще всего отражался неприятно и тяжело на жизни и интересах самого Тургенева, а не общественного дела, к которому тот был причастен по убеждению.

Тургенев по натуре, конечно, не был нисколько политиком, но „страдала ради вудейского“ он не отступал от убеждения; опасаясь за свою „шекуру“ И. С. нередко оставался пассивен, но не кривил душою. Литературная деятельность его, особенно прямое выступление заведомо против мнений и пристрастий тех, кого он больше всех любил и уважал, — прогрессивнейшей части русского общества, — в его „социальных романах“ по вопросам, в которых он расходился с ними, ясно обнаруживает способность быть твердым, не страшиться укоров, даже рисковать популярностью там, где он видел свой писательский долг. Тургенев легко признавал свои недостатки ¹⁾, но за правду свою умел стоять горой. Он сам легко принимал, как заслуженные, сыпавшиеся на него даже несправедливые обвинения вследствие болезненной строгости и неуверенности в себе; но в глубине сознания он находил для своей совести и чести опору в чувстве исполненной обязанности, возложенной на него жизнью через подвиг писателя-гражданина. Он сам раз сильно высказал это: „Ни за одну строчку, написанную мною, мне не приходилось краснеть, ни от одной строчки отказываться. Пусть кто другой скажет то же самое ²⁾“.

Один русский поэт сказал: „Дело писателя — дело тяжелое и не под силу иным“.— Оно было под силу Тургеневу не только в области чистого художественного творчества, но и в развитии им общественной мысли и борьбе за свободу мирными способами упорной идейной работы, какие признавало целесообразным его мирозерцание. От „Записок Охотника“ через „Дым“,

в России, к которой принадлежал и я, мне довелось летом 1890 года побывать (для совещания об этом вместе с Драгомановым у А. А. Герцена, жившего на краю Лозанны в живописной villa Montalegre в кругу своей большой семьи).

¹⁾ В одном письме к Герцену (22 июля 1857 г.) он прямо говорит о себе: „моя овечья натура“.

²⁾ См. письмо к А. П. Filosofoвой 18 августа 1874 г. (Первое собрание писем, стр. 239). Ср. другое (к Е. Я. Колбасину, 11 июня 1880) там же, стр. 360.

„Отцов и детей“ до „Нови“ мы видим Тургенева определенным защитником движения России вперед к свободному и демократическому строю. Таковы же были и личные отношения Тургенева к деятельности его друга (но и противника по многим политическим взглядам) Герцена за границей: горячая поддержка, даже активная помощь ¹⁾ в том, что соответствовало его идеалам, но независимая критика того, что представлялось заблуждением или тактической ошибкой.

Такова же была позиция Ив. С. по отношению к другим русским зарубежным писателям, например, к политическим изданиям Петра Лаврова: он сочувствовал и помогал его журналу „Вперед“, как трибуне вольной печати, протестуя против рабства цензуре, которое царило в России, но всегда возражал против революционных крайностей в идеях и действиях, которые по его понятиям разрушали свободу или подрывали возможность ее расширения в России ²⁾. Он даже открыто выступал против актов политических репрессий русского правительства ³⁾, преклонялся перед доблестью самоотвержения в революционерах, даже когда против их актов возмущалась его душа и резко расходилась с ними его политическое и моральное сознание ⁴⁾.

¹⁾ Тургенев неуклонно читал „Колокол“, искренно радовался его выступлениям, когда он защищал благо свободы, сообщал ему важные сведения и документы, но искренно и прямо критиковал вредные, по его понятиям, увлечения.

²⁾ Так объясняется и печатное возражение Тургенева против наименования его „другом Лаврова“ в газете „Temps“ (в 1832 г.). Он тем только хотел показать, что не может считать себя с ним солидарным, ибо такая характеристика противоречила действительности, и Тургенев не мог допустить искажения истины о себе, как писателе. Личной же дружбы между ним и Лавровым не было; особенно последний поворот в направлении Лаврова, то-есть, сближение его с народолюбцами вызывал определенное несогласие и протест в Тургеневе. Драгоманов в „Воспоминаниях“ неправильно оценивает этот эпизод, приписывая его боязни за себя. Неверно толкует он также в своем предисловии к изданию известного письма Белинского к Гоголю, „поведение“ Тургенева во время его поездки в Россию в 1879 г. От него ждали того, что он не мог и не хотел осуществить, и осуждали за то, что он заявил свое умеренное политическое credo. Можно не соглашаться с ним, но нельзя винить его в отступничестве от того, чего он не разделял.

³⁾ Так он не колебался напечатать в газете „Temps“ (1879 г. 2 ноября) сочувственное предисловие к рассказу русского автора (И. А. Павловского).—„Водиночном заключении; впечатления пингиса“ (напечатана в „Русских Проплеях“ III, 258) Ив. Серг. подчеркивает жестокость этого мероприятия русского правительства против политических врагов.—Это обстоятельство навлекло на Тургенева доносы со стороны „Московских Ведомостей“, особенно гнусную статью Болеслава Маркевича, на которую он дал твердую отповедь в „Вестнике Европы“, 1880, февр. „Ответ ивгороднему обывателю“. Ср. „Собр. Соч.“ изд. Маркса. XII, 363).

⁴⁾ Это мы видим в известном его стихотворении в прозе—„Порог“ (напечатано М. О. Гершензоном в т. III „Русских Проплеих“ (стр. 52 и 209). Оно вдохновлено было образом Перовской. Оценка Мих. Петровичем террористического направления в русской революции близка к взгляду И. С. Тургенева на этот вопрос. См. его брошюру „Le tyranicide en Russie. Текст ее напечатан за границей в русском переводе в „Политических сочинениях“ М. П. Драгоманова (изд. „Освобождение“).

Драгоманову неприятно и тяжело было наблюдать в Тургеневе, которого он высоко чтил как писателя, дефект воли, как бы нарушавший цельность высокого образа „большой души“, как он сам называл Ив. С-ча в выше приведенном письме. Он потом говорит об этом, всегда дорожа беспристрастием. Так в воспоминаниях М. П. передает один разговор, происшедший у него с Тургеневым по поводу „Нови“ в 1878 г. на парижской квартире Ив. С-ча (rue de Douai 50)¹⁾.

„Когда я вошел в его комнату, он сказал мне с видимой радостью: „А знаете,—Вера Засулич уже за границей“.—Разговор пошел главным образом о „Нови“²⁾, при чем Тургенев рассказал, что смысл романа пострадал много от выпуска цензурой двух сцен: одной, где изложен разговор Маркелова с губернатором после ареста, а другой (целая глава), в которой описано хождение в народ Марианны.—эта Марианна как женщина оказалась более способною подойти к будничной жизни крестьян, чем переодетые студенты,—и возбудила к себе симпатии и доверие мужиков. Правда, они сразу догадались, кто она, однако, толковали с нею по душе, и один старик сказал ей: это все правда, барышня, что ты говоришь о том, как нас обижают бары; мы это и сами знаем,—да ты научи, как нам избавиться от этого“. На мои вопросы о том, почему же в иностранных переводах романа не пополнены эти пропуски, и на замечание о том, что ни один европейский писатель его славы не позволит цензуре так обращаться с его романами³⁾, Тургенев ответил: „Вы хотите от меня борьбы,—а я для нее стар и не чувствую силы для не-, не вижу поддержки. Ведь мне пришлось бы или стать эмигрантом, или бы меня арестовали в России“. Ну, арестовать Вас,—позволил я себе рассмеяться,—арестовать Ивана Сергеевича Тургенева. Это немощно сильно даже и для русского правительства. Посмотрели бы мы, какими буквами было бы напечатано в Парижских, например, газетах: „L'arrestation de M-r Ivan Tourguèneff“. Ив. Серг. ответил, что на западе это не было бы принято к сердцу, а в России нельзя было бы никому протестовать“.

Но, как показывает сообщенный нами до сих пор неизвестный арсипен из дружеской переписки Драгоманова,—Михаил Петрович отлично понимал, что не в этом недостатке политического темперамента крылась суть духовной природы Тургенева. В политической области Драгоманов без колебания справедливо признавал Тургенева несомненным и решительным противником абсолютизма в России (См. „Воспоминания“, стр. 227). Большого от него требовать было нельзя. Но сила и величие его лежали не в том. И Мих. Петр. отлично видел корень этой духовной природы Тургенева не в политических его действиях, правильных или неправильных, твердых или слабых, а рядом с первоклассным художественным даром—именно в „богоравном“ уме, все

¹⁾ Привожу этот рассказ из малоизвестного в широких кругах издания.

²⁾ Драгоманов отмечает, что в молодой женевиской русской эмиграции он знал людей, которые совсем не довольны „Новью“.

³⁾ М. П. забывает, что и цензуры на западе такой нет.

по его меткому выражению понимающем¹⁾, в этой светло горящей в нем и никогда неугасающей „благости“²⁾. Я считаю, что отчужденное выделение и сопоставление вместе этих двух замечательных свойств является заслугой Драгоманова в построении характеристики личности Тургенева, и это смягчает ощущение незаслуженного и необоснованного резкого тона при упоминании о раздражавшей его черте, иногда рисовавшейся ему политической уклончивостью.

Такое сочетание ума и благости особенно подчеркивается настоящим письмом, и автор его, которого вообще нельзя назвать выдающимся стилистом — сила языка Драгоманова заключается в его внутренней прямоте и правдивости, — нашел для воплощения своей мысли замечательно выразительные слова и речения. Как хорошо говорит он о взгляде глаз Тургенева, который должен был победоносно очищать все и всех кругом. Конец приведенного письма настроением своим слагается в нечто напоминающее „стихотворение в прозе“, — так проникнуто оно живым обаянием личности ушедшего с земли писателя, обвешено горем о только что понесенной утрате, такая найдена им для изображения поэтическая форма. Здесь „пропорция“ между элементами души восстанавливаемого человеческого образа показана гораздо более верно и весь синтез почуян глубже и реальнее. Вот почему особенно радостна была мне находка этого важного документа.

Очень ценно у Драгоманова в описании последней встречи с Тургеневым еще одна подмеченная им чрезвычайно значительная черта его предсмертного образа или душевного состояния. Любит подчеркивать в Ив. С-че его мнительность перед болезнями и всегда будто бы державший его в тисках страх смерти. И здесь некоторые находили повод говорить о „малодушии“ его. Изучение истории последней долгой ужасающей болезни Тургенева, которая свела его в могилу, и картина того, как мужественно претерпевал он страшный недуг, свидетельствует, наоборот, о необычайной силе его духа перед лицом нечеловеческих страданий³⁾ Письмо М. П. подтверждает такую прямо героическую стойкость в перенесении мук и изумительную живучесть в умирающем страдальце разнообразных высших духовных потребностей.

¹⁾ Драгоманов не раз с удивительной силой и редко проявлявшимся в нем наружно умилением говорил мне об этой всепобеждающей силе ума И. С., ярко блиставшей в нем при самой первой встрече, о редкой широте и свободе его мысли, разносторонности интересов... Тургенев сам, повидимому, почитал в людях именно это высокочеловеческое свойство, вероятнее всего, и не чувствуя того, каким первостепенным воспителем его был он сам. Тургенев так пишет Я. П. Полонскому, когда услышал о смерти Тютчева: „Одним светлым и чутким умом, одним хорошим человеком меньше“ (21 февр. 1873 г. Перв. Собр. Писем, стр. 218); также Фету „Милый, умный, Федор Иванович, проща, — прощай!“; (Фет, Мои восп. II, 278).

²⁾ Очень хорошо выявляют ее письма Тургенева к Полонскому Я это пытаюсь показать в заметке о них в сборнике в честь А. Ф. Кони. — Сам Тургенев сказал в „Двор. гезде“: „Будь только человек добр, его никто отразить не может“ (Сочинения, изд. Маркса, III, 271).

³⁾ См. ст. Л. Утевского в петербургском „Тургеневском сборнике“ под. ред. А. Ф. Кони (и отдельно 1923 г.).

Точная дата двух последних свиданий М. В. Драгоманова с Ив. Серг. не устанавливается письмом; но она выводится из данных напечатанных им (в том же томе переписки Тургенева с Герценом) писем Тургенева к нему лично: второе происходило 4-го июля 1833 г.; первое, стало быть, немного дней перед тем ¹⁾ Итак, Ив. С-чу оставалось еще прожить меньше двух месяцев: он скончался 22 августа в 2 часа дня. И что же?—Как только страдания давали ему некоторый отдых, тотчас же захватывали его вновь различные замыслы, здесь например, желание внушить французскому композитору мысль обработать музыкально-славянский народный сюжет. Он для этого—несмотря на измученность, на истощение сил—сейчас же ищет поддержки в человеке, который компетентен ему в этом помочь, и выдерживает два разговора с ним. Каково было физическое его состояние—видно из приведенных слов, сказанных тогда Тургеневым в присутствии Драгоманова о том, что только особая любовь к жизни могла бы дать надолго силу терпеть то, что ему суждено переносить. И между тем в глазах его не видно было совсем признаков двухлетней жестокой болезни; в них блистал лишь неумиравший могучий дух.

Драгоманова можно прямо назвать почитателем Тургенева. Помимо громадного таланта Ив. С-ча, который Драгоманов умел глубоко чувствовать, и указанного „свободолюбия“, трижды для него дорогого, М. П. связывала с этим почитанием еще великая любовь к высшим ценностям культуры, европейской цивилизации, и признанием огромной важности для России усвоения лучших достижений Европейской науки, философии, искусства и общественности ²⁾. Первенствующая роль в прогрессе человечества—образованность, просвещение народа, М. П. постоянно горячо и настойчиво проповедывал своим нередко забывавшим эту истину украинским друзьям, а то и „россиянам“ вообще.

В той же серии писем к сестре, из которой извлечен выше цитированный большой текст, попадаетесь очень характерное место о такой любви М. П-ча к высокому просвещению, которую глубоко пронизаны все его писания.—Письмо датировано 4-16 мая 1893 г. (из Софии, ул. Денкоглу). Дело идет о планах семьи Драгомановых переселиться тогда из Болгарии в Па-

¹⁾ Письмо Тургенева на французском языке: Les Frères Chalet (это название виллы Вярдо в Буживале, где жил И. С.) le 29 juin 1833 „Mon cher Monsieur Dragomanof je suis chargé par mon ami Monsieur D(uvernoy) de vous faire savoir, qu'il se met à votre disposition pour toutes les heures qu'il vous plaira à partir de samedi. Recevez mes meilleurs compliments Ivan Tourgeneff“. Только подпись сделана тут руками И. С. Третьего же июля М. П. получил телеграмму: „Avez-vous reçu ma lettre? Je vous attends demain Tourgeneff“. Имя приятеля, через которого велись переговоры, Др-не называется, но указывает, что при совещании присутствовала Нат. Александровна Герцен.

²⁾ Надо вспомнить речи Потугина в „Думе“, в которых так отстаивается значение западных влияний для России. В воспоминаниях о Белинском Ив. Серг. особенно выдвигает, что тот „пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы—вот в чем состоял смысл его деятельности. — Чувствуется, что это их разделенная вера“.

риж, так как ему становилась непосильна профессорская деятельность под давлением поразившей его неизлечимой болезни (аневризма аорты). Он стремился устроиться в Париже около постоянной научно-литературной работы. — „Пока определенного дела не найдено. Надо дальше искать; но ты никак ошибаешься по вопросу о чужести и близости. Общее правило: если нельзя жить на родине, то лучше жить в больших центрах, ибо цивилизация там же родина, — в ней найдешь родственников и соседей“. — Это очень выразительно и для Тургенева, и для Драгоманова.

Интересны в том же смысле и дальнейшие слова в этом письме: „Кроме того, и россияне в Париже всегда пропасть. В последнее время опять стала между ними появляться порядочная и образованная молодежь. Правда, сразу от нее отдает разными толстовщинами; но в Европе односторонности скоро пополняются, а на симпатичный и широкий хоть инстинктами фонд легко ложится и широкая идейная (основа). Это не то, что австро-славянская ограниченность интересов и грубая эмпиричность умов при эгоизме сердец“.

В эти годы, 1888-м и следующих — М. П. познакомился лично или узнал о них от парижских приятелей — с группой близких мне друзей — Вернадскими, Ольденбургскими и другими, и я имею фактические основания думать, что он говорит здесь именно о нашем кружке, к которому относился с симпатией. Только „толстовцами“ мы не были; в нас жила лишь сильная струя, направлявшая нас к моральному совершенствованию жизни, пожалуй косвенно воспринятая отчасти от влияния Толстого, но может быть, еще больше от общения с зачаточным русским-позитивистом Нильямом Фреем, с которым мы очень сблизились в Петербурге в 1885—86 г. г. Он резко отличался от Льва Толстого глубоким признанием науки и культуры вообще, что и было характерно свойственно нашему кружку¹⁾. Потому-то и тургеневские, и драгомановские призывы находили в наших умах и сердцах живой отклик, который Мих. Петр. не всегда встречал в своих галицких и русско-украинских учениках и последователях. Он часто жалуется на это в своих письмах так же и в тех, какие я сейчас изучаю. В душе глубокого, искреннего украинского патриота постоянно горит мечта о присоединении родины „европейской цивилизацией“, которую в наши дни Освальд Шпенглер ошакивает, как закатывающуюся; Драгоманов же правильно чувствовал в ней неиссякаемые ключи обновления.

Кроме вывинутых в предыдущих строках существенных особенностей, характеризующих душевную фигуру И. С. Тургенева в его предсмертные дни, при том нарисованных живыми правдивыми красками, полными теплоты и прозорливости, подсказанной любовью к нему, — приведенный отрывок его письма к сестре затрагивает еще дорогой для М. П. Драгоманова вопрос о симпатии И. С. к Украине.

¹⁾ Письма Фрея к Льву Толстому напечатаны М. О. Гершензоном в II томе его „Русских Пропинзлей“, почему-то, впрочем, без первого (главного); оно нацано заграницей.

На одре смерти Тургенев живо заинтересовался рекомендованным Драгомановым сюжетом для оперы, взятым из старой украинской „думы“ о Марусе Богуславке. Самый мотив этой думы характерен для Драгоманова. В ней поется об украинской девушке „поповне Марусе“ из Богуслава ¹⁾, попавшей в плен к туркам и ставшей любимой женой некоего магната. В неволе она поставила себе целью избавлять от оков и отпускать на волю рабов, взятых в полон из сынов ее родины. Паша, уезжая, доверял ей ключ от темницы, а она освобождала казаков в великий день пасхи. Сама же она наказывала им не присылать за нее выкуп из отчизны, ибо она „потурчилась, побусурманилась“; но так, должно быть, она замаливала свои грехи ²⁾. Тургенев одобрил тему, и такое сочувствие, явившееся Драгоманову как бы последним приветом умирающего, оживило в его душе доброе чувство к великому русскому писателю, уходившему с земли.

М. П. очень дорожил тем, чтобы на гроб И. С. был возложен венок от украинской печати. Он сделал это на свой страх и кошт и горько воспринял равнодушие своих собратьев-галичан к понесенной русской литературой утрате. В *post scriptum* к тому же большому письму, которое здесь комментируется мною, он пишет: „Письмо пролежало... Пока прочитал о похоронах Тургенева в Питере. Наш венок спрятали ³⁾, а помимо сего Украина ничем себя не заявила“.—В другом письме ⁴⁾ М. П. сообщает также с горьким чувством: „Дело ⁵⁾ не напечатало письма ко мне Тургенева, который писал, что он вполне согласен с предисловием к Федьковичу ⁶⁾ и находит, что только на этой дороге — живая вода, а все остальное — иллюзия и труп. Прибавь, что даже Франко ⁷⁾ через которого послана копия этого письма, вот уже 1½ месяца молчит о нем. Обо всем пишу, а о письме Тургенева молчит: Дума, може, забуде...“

В воспоминаниях о Тургеневе Драгоманов рассказывает об этом эпизоде: „В 1876 г. я послал ему из Вены повесть Федьковича, который представляет для Карпатской Руси то же самое, что Марко Вовчок для российской Украины,—с моим предисловием (писанным по-украински) о галицко-русской литературе, в котором я делаю, между прочим, характеристику двух течений в ней: старого, неправильно принимавшего в России за общерусское, и нового,

¹⁾ Поселение это существовало еще в XI в. Теперь это местечко Кавевского уезда Киевской губернии.

²⁾ Дума о Марусе Богуславке обработана М. Старичком в виде драмы (см. „Киевская Старина“, 1899, 11—12).

³⁾ Очевидно, по предписанию столичной полиции.

⁴⁾ К той же Ольге Петровне Косач, без даты, но по всей вероятности, в ближайšie годы после смерти Тургенева.

⁵⁾ Галицийско-украинский журнал.

⁶⁾ Осип Федькович (1838)—украинский писатель, беллетрист и поэт. Драгоманов написал предисловие к изданию его повестей (Киев, 1876).

⁷⁾ Иван Франко (1856—1916), талантливый украинский поэт и политический деятель в Галичине, стоявший в тесных дружески-ученических отношениях к Драгоманову.

украинофильского или народного. Ответом на эту посылку было первое письмо ко мне И. С.

Нахожу полезным (для цельности обозрения) перепечатать здесь это коротенькое письмо, помещенное в приложении к изданию писем Кавелина и Тургенева к Герцену (стр. 209):

„Париж, 50, rue de Douai, вторник: 21/9 марта 76. Милостивый Государь, я получил в один день и Ваше письмо, и повести г. Федьковича. Искренне благодарю Вас за столь лестный знак внимания. Я успел—и без большого затруднения—прочесть Ваше предисловие—и могу сказать, что разделяю вполне Ваш образ мыслей—в чем я, впрочем, не сомневался, зная Ваши прежние труды и Ваше направление. Как только я прочту повести г. Федьковича—я позволю себе выразить Вам, с полной откровенностью, мое мнение. Заранее чувствую, что тут только и бьется ключ живой воли¹⁾—и все остальное либо призрак, либо труп. Примите уверение в совершенном уважении и преданности. Ваш покорный слуга Ив. Тургенев“.

Тургенев, стало быть, соглашается с точкою зрения Драгоманова в понимании украинского вопроса.

М. П. много хлопотал о напечатании писем Тургенева к Герцену, и это было нелегко сделать в виду полного отсутствия средств. Сочувствующие в России собирали их и так желание его было исполнено. 6 мая 1892 г. он сообщает сестре из Софии: „В Женеве, наконец, вышли²⁾ письма Кавелина и Тургенева к Герцену, издание, которым я очень дорожил, как, по моему, чрезвычайно важным для истории общества и литературы. Прибавил я там письма Тургенева ко мне, из коих два очень интересны³⁾, и свои воспоминания о Тургеневе, о которых я не смею судить, но, кажется, есть и там кое-что интересное специально для украинцев о некоем украинофильстве Тургенева“.

Воспоминания Драгоманова нельзя назвать удачными. В них много, с одной стороны, не идущих к делу подробностей, с другой,—они освещают личность Тургенева белю и однобоко, как поверхностно было и непосредственное знакомство между ними. Ныне печатаемое письмо дает важную поправку для представления о том, как рисовал себе и как ценил Тургенева Мих. Петрович. Но по вопросу об отношении Тургенева к украинству в них есть известные данные.

Нынешние (но и прошлые) деятели по освобождению (или возрождению) украинской культуры ставят долгое утеснение их родины в вину не только царскому правительству, но и русской интеллигенции вообще, даже прогрессивной: последняя, они утверждают, никогда не относилась к Украине с долж-

¹⁾ М. П. поясняет: Дело идет о „народно-украинском“ направлении в галицко-русской литературе.

²⁾ Автор пишет по-болгарски—плезли (вышли) и прибавляет: Куда лезе шь (идеши), говорят болгарские женихи даже русским своим невестам.

³⁾ Одно из них здесь приведено; во втором говорится о сборнике стихотворений революционных поэтов—„Из-за решетки“.

ным пониманием к ее общественным и культурным нуждам, с уважением и сочувствием к ним, недостаточно твердо признавала равноправие украинской культуры, не проявляла активного участия в отстаивании ее самобытности. Многие, даже лучшие, будто бы, находили, что ей, как исключительно „мужицкой“ (простонародной), правильнее всего слиться с русской на будущие времена, сохраняя память лишь о своем прошлом¹).

Не могу отрицать некоторого основания для такой инкриминации²). Во всяком случае, русские писатели и ученые в большинстве повинны в недостаточно серьезном внимании к жестокому факту долгих насилий российского императорского правительства против украинства. Но оглулено так говорить несправедливо: долгие поколения русских образованных деятелей много вложили труда и любви в изучение украинской старины и современности, в защиту права украинского народа на свободную жизнь.

Здесь не место в краткой заметке по другому вопросу подбирать для доказательства того систематические возражения; но радостно вспомнить в виде примера из ученого мира имя такого крупного поборника Украины, как покойный Алексей Александрович Шахматов; можно указать еще А. Я. Ефименко, М. М. Ковалевского, В. А. Мякотина. Из литературного же мира сам собою вырастает светлый образ Ивана Сергеевича Тургенева, которого сам Михаил Петр. Драгоманов назвал „укаинофилом“ в том смысле, в каком слово это применяется к „великороссу“.

В беседах с М. П. Драгомановым Тургенев выражал сожаление, что ему не удалось ближе познакомиться со страной Украины и ее населением, всегда возбуждавшем в нем горячие симпатии, — У малороссов, говорил И. С. — есть особый вид идеализма и твердости, крайне привлекательный по сравнению с утилитаризмом и распущенностью великороссийскою“.

Ив. Серг. мало затрагивал Украину в своих произведениях: но те фигуры сыновей и дочерей ее, какие выступают в них, например, Михалевич в „Дворянском Гнезде“ и Мария Павловна в „Затишье“, написаны с серьезною и вдумчивою симпатиею, как „положительные“ типы. Если же встречаются у него шуточки или насмешки над страной „хохлов“, то они влагаются в уста явно худых людей, как Пигасов в „Рудине“, и стало быть осуждаются автором³).

В воспоминаниях своих Драгоманов рассказывает, как Тургенев на международном литературном конгрессе 1878 года во время Парижской всемирной выставки отстаивал интересы украинской литературы, представляя конгрессу

¹) Выдвигали, как ранний пример, отношение Белинского к Шевченко.

²) Вспомню относительно недавних времен взгляды, высказывавшиеся Муретовым в „Русской Мысли“ (1913—1916) редакции П. Б. Струве—См. об этом превосходную статью покойного И. А. Покровского („Юрид. Вестн.“ 1916, III).

³) Мих. Петр. возмущается, что „некоторые украинцы, вспоминая Пигасова, повторяют печально глупости о том, будто бы Тургенев был нерасположен к украинской литературе“.

напечатанную тогда брошюру Драгоманова — и защищая поддерживающую ее резолюцию. Это также вызвало в нем благодарное чувство.

Об отношении Тургенева к литературе братского народа, обитающего на многострадальном русском юге, существует очень хорошая основательно, документированная статья даровитого, рано погибшего юного писателя Юрия Никольского. — „Тургенев и писатели Украины“ (см. „Русская Мысль“, 1914, авг.). — В ней тщательно собран материал о знакомстве Ив. С. с Т. Шевченко и М. А. Маркович (Марко-Вовчок). Эти данные подтверждают интерес и благожелательство Тургенева к украинскому миру, и М. П. Драгоманову было бы дорого увидеть эту работу, выпущенную из-под пера „русского“ автора ¹⁾.

Симпатия Тургенева к Шевченко и признание его сильного поэтического дара засвидетельствовано его собственными воспоминаниями о нем, они короткие, но тепло написаны с его удивительным умением рисовать лицо и понимать душу изображаемого. Их непременно надо ввести в полное собрание его сочинений, включив в „Литературные и житейские воспоминания“. О Марке Вовчке Ив. Серг. говорит в предисловии к его переводу ее „Украинских Народных Рассказов“ (СПб. 1859), и остались его письма к ней, открывающие нежно дружеские отношения между ними ²⁾. Тургенева, несомненно, влекла к себе украинская стихия.

Мы отметили, что Драгоманов называет Тургенева „украинофилом“. Сейчас указано, что такое суждение подтверждается и другими фактами кроме тех, которые он приводит в цитированном письме и в воспоминаниях. Но надобно знать, что „украинство“ самого Драгоманова цельное и убежденное, проникшее все его идейное мирозерцание и эмоциональную душу, также отличалось ярко индивидуализированным своеобразием. Думаю, что и последнее сближало его с настроенными Тургенева в однородных вопросах.

Мих. Петр. хотел всем сердцем свободы Украины, возрождения и процветания ее собственной, особой культуры, он глубоко верил, что из нее, если падут стеснения, вырастет могучее целое, которое воплотится в красивом и сильном родном языке, в поэтическом и научном творчестве, в оригинальных и типичных формах социального и духовного быта. Он боролся всеми силами идейного труда в печати, путем организации общественных элементов в украинских землях, за движение к эмансипации отчизны; — но никогда не ставил он целью и идеалом отделение Украины от России. Он мыслил об их свободном, федеративном единстве, которое добыто будет не кровавым столкновением между двумя родственными нациями, членами одного сложного великого организма, а внутренним пробуждением в сознании обеих необходимости независимого и равноправного союза.

¹⁾ Очень рекомендую интересующихся Тургеневым и украинским вопросом ознакомиться с этой статьей.

²⁾ Напечатаны в „Минувших Годах“ 1908, кн. 8.

Никогда также не противопоставлял он, как силы, враждебные друг другу, великороссийскую и украинскую культуры; никогда не считал, что украинская литература, чтобы развернуться, должна отвернуться от русской. Признавая более высоким развитие, достигнутое первой, хотя и при влиянии на нее в различные моменты течений, шедших от второй, он вызвал к необходимости неразрывного общения и взаимодействия между обеими для общей пользы. Такая точка зрения, как основа его русско-украинской идеи, проникает все, — повторяю, недостаточно изученные — сочинения Мих. Петр. Драгоманова. Именно из уст его я много раз слышал, как он горячо утверждал, как постоянно проповедывал своим друзьям, ученикам и сотрудникам, что пропадет все дело Украины, если они отрекутся от русской литературы. Он сам ее отлично знал и любил; всегда образы, из нее взятые, иллюстрировали развивавшиеся им взгляды, приносили наслаждение и удовлетворение его вкусу.

В такой замечательной, истинной гуманности и широте понимания Мих. Петровича сущности обще-русского вопроса, дела освобождения всей родины общими силами живых ее частей, в дружном единении, — крылся для меня один из основных источников неотразимого очарования духовной личности его, радости и смысла общения с ним.

Драгоманов, говоря, всегда доказывал украинцам, печатно и устно, что тесное единение с европейской и русской культурой — необходимый путь для их подъема. Прочитанные мною в Полтаве интимные письма его к кровно близким его людям подтверждают, что такое воззрение было действительно плотью и кровью его духа до конца жизни. Хочу заключить настоящую заметку подбором убедительных выписок из его слов. Это все будут письма к О. П. Косач, и в них развивается взгляд, с которым близко сходился Тургенев.

Интересна, прежде всего, высказываемая им (6 мая 1892 г. из Софии), так сказать, принципиальная декларация.

„Реакционное человеконенавистничество очень уже разыгралось теперь и в Петербурге, и в Москве, и в Киеве, и в Львове, — да и в Берлине и Париже. Наши „люди“ думают, что они Америку открыли, а они только подымают, даже несомненно оригинально, Катковщину, Бисмарковщину, Булавинщину, тем часом, когда настоящая спасительная Америка для нашего времени заключается в проповеди всемирной солидарности на 1 мая, в требованиях которой протест против милитаризма так же полезен в эту минуту, как 8-часовой рабочий день, а в иных случаях даже полезнее. Отчего же это поняла майская книжка „Вестника Европы“, а наши „люди“ не понимают и махают мечами картонными в то время, как страдают от мечей стальных“.

Современный историк украинской литературы С. А. Ефремов совершенно верно характеризует общеполитическую „ориентацию“ М. П. Драгоманова, как „космополитизм в цели и национальность в виде средства“, единство человечества в солидарности наций, сохраняющих свое бытие для будущего, и борьба за свободное существование наций для настоящего. Интернационализм есть мирное сотрудничество между свободными и равноправными нациями, — общечеловеческая федерация.

Еще раньше (20 апр. 1884 из Женевы) он в таком же смысле обращался к своим: „Я бы советовал всем хохляким фольклористам выписать Мелюзину¹⁾; полезно было бы ее читать, чтобы не так уже народничать, как „Киевская Старина“, которая что ни напишет о народной словесности, то все выходит глупо, потому что на границах Украины небо с землею сходится“.

Это и теперь наблюдается — реальный факт такого сужения горизонта, и он, конечно, вызывает ослабление культурных сил от разъединения. Пусть же вырастет над головами нынешних искренних украинских деятелей такой обширный небесный свод, который обнял бы свободным единым покровом прежде всего все земли, раньше именовавшиеся Великою, Малою и Белою Россиею. Пусть не будет под ним никому холодно и душно. Пусть и дальше открывает он вольный простор к общению с другими народами.

Призыв приобщаться к высокой культуре постоянно звучит в словах М. П. каждый раз, когда он мыслит об интересах дела Украины, а эта мысль не покидает его никогда. Одним из способов для этого он выставлял не прерывное ознакомление с русскою литературою.

„Мне бы хотелось (читаем в письме 9 апр. 1886 г. из Женевы) поговорить о культурных вопросах, да не знаю, хватило ли бы бумаги. Мне кажется, что ты все-таки оптимизируешь, да к тому же не все бока положения увидела. Культурничество — дело хорошее, да плохо уже то самое, что такое слово в ходу: оно (я знаю) отделяется и даже противопоставляется (и даже не без вражды) другим терминам: политика, общественность, а между тем эти последние термины должны входить в идею о культуре²⁾. Особенно это разделение и противопоставление опасны в виду ближайшего будущего. В Западной Европе теперь начинается волна экономически-общественного движения, которая будет гораздо сильнее, чем волна 1866—1874 г.г.³⁾. Она несомненно так или иначе отразится и на Востоке. Вот я и боюсь, чтобы культурники не оказались опять между двух стульев, а то и просто назади. Предупредить это можно было бы только внимательным слежением за всеми сторонами европейской культурной жизни. Но этого слежения я не вижу и признаков. Казалось бы, немудрая вещь было бы читать постоянно по две-три ревию, французских и английских, которые и с своими тенденциями, но все же дают факты, да из газет, хотя бы le Temps. Та ба⁴⁾. Мало того, я слышал, что завелись такие самобытники, которые и на российскую литературу плюют. — Я этому не поверил, но получил с полгода тому назад письмо от

¹⁾ Солидный французский журнал по сравнительному изучению народной словесности.

²⁾ У нас в те годы в радикальных кругах понятие культурник противопоставлялось понятию революционер и употреблялось с оттенком осуждения так же, как слово „либерал“. М. П. правильно возражает против выделения политики из культуры, против сужения понятия „культура“.

³⁾ Очень жаль, что автор глубже не поясняет своей мысли.

⁴⁾ Украинское речение, вроде — „где уж“.

одного, который на все корки раскатывал эту литературу, как язву для галичан. Господь бог сердцеведец, знает, что я далеко не обожал российскую литературу¹⁾, и что если бы от меня зависело, я с удовольствием бы воплотился от матери-англичанки, чтобы иметь своим „материнским языком“ речь Шекспира, Дарвина и Гладстона и им подобных, но я не могу не видеть, что при всех своих слабостях,—зависящих и независящих,—российская литература из всех славянских не только наиболее отзывается на общечеловеческие существенные вопросы, но даже пытается говорить о них с известной оригинальностью, что составляет причину, почему теперь российских писателей переводят на расхват на европейские языки. И вот это-то время наши культурно-самобытники фыркают против нее, в то же время оставаясь в неведении иностранных языков (или даже хуже, как мой корреспондент, который их ведает, но держит себя так, теперь, как будто бы и не ведал, и около себя плодит неведающих). Ну, и выходит, что мы (отстаем), ибо не только на Наталье Полтавке, но и на Кропивницком (да вознесет его впрочем, Аллах), Петербурга и Москвы не обскачешь. Не обскачешь их и на Шевченко,—тем более, что, как я убеждаюсь ежедневно, даже он отчасти благодаря таланту, а отчасти благодаря восприимчивости к петербургским (все-таки европейским) влияниям 1859—60 г.г. оказывается даже слишком европейцем для украинофилов и до сих пор“.

Конечно, И. С. Тургеневу радостно было слышать от М. П. Драгоманова такую оценку той духовной стихии русского народа, которую он сам со славою воплощал, двигал и укаршал, и в сердце его симпатия к Украине, должна была укрепляться от встреч с таким беспристрастным украинцем, в своем беспристрастии особенно преданным родине. Драгоманов был западником как и Тургенев, но у обоих это западничество было „патриотическим европееизмом“ и патриотизм Тургенева открывал ему сердце для симпатии к Украине, а украинский патриотизм Драгоманова влек его навстречу к России. Он мне часто говорил, что любил ездить в Москву, особенно же в Петербург, потому что там знакомиться и общаешься с умными и хорошими людьми, которые помогают не заскорузнуть и не застыть.

„Знаю, какое неблагоприятное дело защищать теперь российскую культуру (возвращается он еще раз к этому вопросу 23 дек./3 янв. 1891 г. из Софии Влахийская улица). Вот недавно какой-то мудрец из Московии приписал мне даже защиту полицейских. А все таки движется и Россия²⁾. Вот уже Посредник продает Тургенева и др. за 2—3 коп. Я бы от души желал³⁾, чтобы был Крымский Тургенев, но хорошо, если в Крыму прочитают и Орлов-

¹⁾ Автор хочет, наверно, сказать, как видно из контекста: „не все в ней приемлемо без критики и не считаю ее выше всех других“.

²⁾ Е риг аі тигоге! Это восклицание Галилея Драгоманов не раз повторяет в своих письмах.

³⁾ Всегда, когда надо назвать какого-нибудь великого русского писателя, он вспоминает после Пушкина именно Тургенева. Последние слова здесь служат ответом на сочувственный отзыв сестры о крымских татарах.

ского. Тот же Посредник продает за 2—3 коп. не только Толстого, но и Эпиктета и Марка Аврелия, тогда как украинщики, поставив свою культуру под формулу львовского митрополита, мотивируют свое культурное ренегатство необходимостью бороться с ренегатством национальным. Насчет „единственной мировой культуры из славянских“ — теперь нечего спорить. Вопрос решен именно миром, который весь знает Пушкина и даже Короленко и не знает не только Котляревского, но даже Нечуя¹⁾. Он было узнал Шевченко, так кто же виноват, что сыны его не захотели идти вперед, и повернули назад, — ну и перестали интересоваться публику. И как нарочно именно теперь поднимают спор о своих правах на величие (зри спор с Пыпиным из-за Ом. Огановского). А дело просто: не предавайся чело́веконенависти, иди вперед, работай — и получишь такое место среди мира, какое отвечает твоим силам и мировым потребам“.

Наконец, в полном созвучии с тургеневскою оценкою блага свободы раздаются следующие глубокие слова Драгоманова (4/16 мая 1898 г. София ул. Денкоглу):

„Во Франции, как и везде, собственно, несколько наций. Противен во Франции слой политикующий, частью потому, что он деморализован тремя веками деспотизма и веком революции (которая по необходимости у французов была больше холопскою, чем цвиическою, и никогда не вела к свободе, а всегда к перемене деспотизма с сохранением того же чиновничества, шпионства и т. д.). Но есть Франция учащая и учащаяся, шьющая, пекущая и т. д., — которая независима от политикующей и кричащей, — делает свое дело. Когда-нибудь они перевернут последнюю, и Франция приравняется к Англии“.

Мих. Петрович Драгоманов трудился для приближения того же для Украины и для России, не противопоставляя, а соединяя оба дорогие образа: он был не только украинский, но и русский деятель. Его лучшая мечта всегда была и остается целью лучших русских людей и вряд ли верен горький афоризм Гете — „Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein“²⁾.

Радостно, что можно дружественно сочетать образы двух писателей — Тургенева и Драгоманова — не одинаковых по величине таланта и заслуг, но действовавших в однородном направлении при искании и раскрытии культурной правды.

Ив. Гревс.

Полтава, 20 июля ст. ст. 1924 г.

¹⁾ Упоминается М. С. — члв. укр. беллетрист.

²⁾ Тургенев вспоминает эти слова в письме к Герцену 25/13 дек. 1867 Изд. Драгоманова, стр. 198).

Письмо П. А. Кропоткина.

Весной 1907 г. перед самыми экзаменами зрелости, которые мы, гимназисты 8-го класса Ташкентской гимназии, собирались держать и которые заполнили все наши помыслы, на одном из последних занятий, во время шумной перемены гимназический „сторож“-швейцар принес мне письмо, присланное на мое имя нашими швейцарскими друзьями, студентами, кончившими нашу гимназию. Раскрыв конверт, я с волнением и смущением увидел, что это было письмо Петра Алексеевича, который с необыкновенным вниманием тотчас же ответил нам на сомнения, возникшие у нас в небольшом гимназическом кружке, занимавшемся изучением его трудов. Очень тщательно и с большим интересом, „по гимназически“ протрудировали мы его замечательную книгу „Взаимная помощь, как фактор эволюции“. Новая и неожиданная для нас точка зрения автора, подчеркивавшего на биологических примерах важность принципа взаимопомощи, так нас вдохновила и разволновала, что мы, не смущаясь и не колеблясь, изложили автору наши недоумения и противоречия. Текста этого письма у меня, к сожалению, не сохранилось; где-нибудь в бумагах покойного среди сотни подобных посланий оно спокойно пребывает, но дело не в нем, а в необыкновенных свойствах характера Петра Алексеевича, который не считал возможным оставить без ответа даже гимназической критики. С чуткой готовностью прислал он нам несколько приветливых слов и из далекого Лондона откликнулся в еще более далекий азиатский Ташкент, где его юные почитатели любили его и пытались изучать его замечательные произведения.

В. Н. Терновский.

Viola Cottage, Bramley Kent.
4 мая 1907 г.

Дорогие товарищи.

Очень вам благодарен за ваши замечания по поводу „Вз[аимной] Пом[ощи]“. В моих дальнейших работах буду иметь их в виду. Если в русск[ое] изд[ание], кот[орое] я сейчас готовлю (полное, без сокращений), войдет одна статья, напеч[атанная] мною в Швеции, и ответ на вопрос нек[оторых] студентов, — вы уже найдете в ней ответ на некоторые сомнения.

*

Вообще понимаю, товарищи, ваше бедовое положение в Турк[естане];
вдали от книг, где приходится довольствоваться немногими популярными
книгами. Знаю по опыту и понимаю, что за неимением лучшего вы поль-
зуетесь Эспинасом. Но увы, он не натуралист, и его знание природы ограни-
чивается Брэмом. Иначе он не забыл бы рыб, а если бы знал немного био-
логии, он знал бы, что стадность сущ[ествует] и у простейших.

Стадность, общ[ественность] и взаимная пом[ощь], конечно не одно и
то же. Но нет общ[ественности] без взаимной помощи и нет сколько-
нибудь развитой взаимной пом[ощи] без общ[ественности].

Как разум, как наблюдательность, и т. д. и взаимная пом[ощь]
явл[яется] в природе в различных степенях развития и сознательности. Но
у меня сейчас в руках работа, из кот[орой] видно, что если сила орла, сла-
бость пчелы, быстрота зайца и медленность черепахи, черная окраска и белая
зимняя спячка и жизнь круглый год и т. д. являются поперемен[но] защи-
тельными средствами в борьбе за сущ[ествование] для разн[ых] видов, то
взаимная пом[ощь] оказыв[ается] фактором прогрессивного развития
для всех видов.

Виды, ныне живущие одиночно, в стадии регрессив[ного] развития, —
вымирающие виды.

Вот если вернется ледн[иковый] период и начнется регрессивная
эволюция, тогда м[ожет] б[ыть] (и то весьма сомнительно) одинаковая
жизнь и борьба за сущ[ествование] в том виде, в каком ее понимает Мальтус
и проповедуют поголовно невежественные журналисты буржуазии, окажется
полезной для сохранения вида. Пока этого нет.

Взаимная пом[ощь] самое сильное орудие в борьбе за существование.

Но дела в России так поглощают все мое внимание и время, что реше-
тельно некогда теперь заниматься такими научными вопросами. Моя работа
об Этике (начатая в английском журнале) лежит спокойно на полке.
Сейчас, почти все мое время, за исключ[ением] хлебного заработка, идет на
начатую нами здесь газету „Листки Х[леб] и В[ола]“ двухнедельную, которой
— редактор. Доходит ли она до вас?

Извините за краткость — страшно занят. Писем — гряда.

П. Кропоткин.

„Взаимная пом[ощь]“ служит для обоснования Этики. Но для изучения
анархизма нужно, прежде всего, подвергнуть строгой критике,
ломке, ходячие понятия о государственности и псевдо-
науку государственников. Чт[обы] стать социалистом — нужна
критика капитализма; т[акже] — ч[тобы] понять анархизм нужна критика
государственности.

Покушение на цареубийство в 1907 г.

(Процесс Никитенко, Синявского, Наумова, Проккофьевой и др.).

(Из залы суда).

I.

С 7 по 15 августа 1907 г. в сторевшем ныне здании С.-Петербургского Окружного Суда, в исторической зале 1-го его отделения, где слушались все наиболее выдающиеся за последнее пятидесятилетие уголовные и политические процессы, Петербургский военно-окружный суд в течение недели, при наглухо-закрытых дверях, слушал громкое по тому времени дело отставного лейтенанта флота Бориса Николаевича Никитенко и его сообщников, всего в количестве 18 человек, по обвинению их в тягчайшем из бывших в царской России преступлений — в составлении заговора на цареубийство.

Согласно обвинительному акту и правительственному сообщению, в свое время появившимся в газетах, этот заговор замыслило сообщество, называвшееся „боевой организацией при центральном комитете партии с.-р.“ и имевшее в своем распоряжении „склад оружия и средства для взрыва“, при чем помимо цареубийства в планы сообщества входило также и убийство тогдашнего главнокомандующего войсками гвардии и петербургского военного округа великого князя Николая Николаевича и председателя совета министров гофмейстера Столыпина.

Все обвиняемые по этому делу были по обвинительному акту разбиты на следующие три группы:

I. В первую группу, наиболее ответственную, были отнесены пять человек 1) Борис Николаевич Никитенко, 22 лет, 2) именовавший себя мещанином Китом Михайловым Пуркиным, 27 лет, 3) сын начальника петергофской дворцовой почтовой конторы Владимир Александрович Наумов, 26 лет, 4) Мария Алексеевна Проккофьева, 24 лет и 5) дочь купца Анна Савельевна Пигит, 23 лет. Всем этим лицам вменялось в вину, что, состоя членами упомянутой боевой организации, заведомо для них поставившей упомянутые выше цели своей деятельности, они „заведомо сообщая направляли деятельность других членов организации на собиранне необходимых сведений как для совершения цареубийства, так и для лишения жизни великого князя Николая Николаевича“, при чем осуществить задуманное они не успели по обстоятельствам.

от их воли не зависевшим, так как 31 марта 1907 года были арестованы. Это преступление, называвшееся на языке закона „приготовлением“ к царевубийству, было предусмотрено 3 ч. 101 ст. упол. улож. и каралось смертноу казнью.

II. Во вторую группу, наиболее многочисленную, были отнесены десять лиц: дворяне: 1) Валентин Викторович Колосовский, 19 лет, 2) прис. пов. Михаил Евгеньевич Федосьев, 32 лет, 3) жена его София Константиновна Федосьева, 29 лет, 4) прис. пов. Борис Фавстович Тарасов, 35 лет, 5) его жена Ольга Петровна Тарасова, 24 лет, 6) жена воспитателя Александровского Лицея Антония Магнусовна Эмме, 23 лет, 7) Вера Александровна Педькова, 22 лет, 8) Екатерина Александровна Бибергаль, 27 лет и 9) именовавший себя потомственным почетным гражданином Сергеем Дмитриевичем Булгаковским, 29 лет. Эти лица обвинялись в том, что, вступив в упомянутую организацию, заведомо для них поставившую упомянутые цели своей деятельности, и находясь в постоянных и тесных сношениях с названными выше руководителями организации, они совместно с ними обсуждали план царевубийства, а также и лишения жизни Николая Николаевича, и с этой целью предоставляли свои квартиры для конспиративных свиданий руководителей организации, а также и исполняли их отдельные поручения, сводившиеся к собиранию необходимых для осуществления их замыслов сведений. Такие их действия были предусмотрены 2 и 3 ч. 102 ст. упол. улож., каравшиеся бессрочной каторгой.

III. И наконец в третью группу были отнесены четыре лица, а именно: 1) воспитатель Александровского Лицея Константин Густавович Эмме, 29 лет, 2) прис. пов. Дмитрий Захарович Чиабров, 30 лет, 3) педагог Александр Михайлович Завадский, 28 лет и 4) потомственный почетный гражданин Александр Яковлевич Брусов, 28 лет. Этии лицам вменялось в вину пособничество совершению предположенных террористических актов, выражавшееся в том, что, не принадлежа к боевой организации, но зная о ее существовании, они для приготовления задуманных ею тяжких преступлений, с целью оказать ей содействие, предоставляли членам организации для их встреч и совещаний, свои квартиры, куда можно было проникнуть только по определенным, заранее условленным паролям. Согласно 51, 2 и 3 ч. 102 ст. упол. улож., коими были предусмотрены эти деяния, названным обвиняемым угрожало то же наказание, что и обвиняемым второй группы, — но оно могло быть значительно понижен, если бы суд признал оказанное ими содействие несущественным для осуществления целей организации.

Из обвинительного акта не видно, чтобы у обвиняемых созрел какой-либо определенный план царевубийства. Таких планов видимому было несколько, и сообщники ни на одном из них еще окончательно не остановились. В числе таких планов обвинительный акт указывал: 1) убийство царя в Баболовском парке, где Николай II имел привычку ежедневно кататься между 2 — 5 часами дня и где свободно проходили из соседних деревень в Царское Село чухонки-молочницы; в виду этого, по предположению одного

из сообщников — Наумова — „женщина, одетая в чухонский костюм и с коромыслом на плечах“ могла с успехом совершить требовавшийся террористический акт; 2) убийство царя в собственном его кабинете, куда имели свободный доступ казаки-конвойцы, постоянно подававшие государю письма и телеграммы: таким образом революционер, одетый в конвойную форму, мог проникнуть в самый кабинет, при чем ему надо было лишь сказать двум казакам, занимавшим пропускные посты и не знавшим в лицо всех конвойцев, что он идет с пакетом или телеграммой к государю; так же и в той же форме легко было проникнуть в находившуюся под кабинетом государя дежурную комнату камердинера, где по мысли другого заговорщика — Пуркина, „можно было бросить взрывчатый снаряд и тогда „Сам полетит“ и 3) вступление одного из членов организации, Наумова, обладавшего хорошим голосом, в певческую капеллу и получавшего затем благодаря этому возможность в качестве придворного певчего неоднократно бывать в непосредственной близости к царю при часто совершавшихся во дворце молебнах, панихидах и прочих богослужениях по поводу разных семейных событий в царской семье. Повидимому, на этом последнем плане и остановились, так как Наумову начали давать деньги на обучение пению, и Никитенко регулярно платил ему для этой цели из средств организации свыше 200 рублей в месяц.

Все эти данные были почерпнуты обвинительною властью главным образом из показаний казака Л.-Гв. Собственного его величества конвою — Николая Ратимова, сыгравшего в этом деле центральную роль, а также и обвиняемого Наумова, подтвердившего на предварительном следствии показания этого казака. По рассказу этих двух лиц, познакомившихся случайно в Новом Петергофе еще летом 1906 года и затем неожиданно между собою сошедшихся на почве недовольства и осуждения существовавших порядков, Наумов предложил конвойцу сначала заняться пропагандой между казаками конвоя и чинами сводно-гвардейского батальона, с целью подготовки их к бунту, при чем дал конвойцу для раздачи казакам четыре экземпляра так называемого „Выборгского воззвания“. В виду затем жалоб Ратимова на тяжесть режима, установленного тогдашним, незадолго перед этим назначенным, дворцовым комендантом генералом Треповым, Наумов склонял конвойца убить Трепова, но вследствие его отказа перешел к расспросам о том, где бывает Трепов и когда он выезжает из Петергофа.

О своем знакомстве с Наумовым и о бывших между ними разговорах Ратимов, опасаясь, повидимому, возможных для него неприятных последствий, доложил по начальству. Последнее, в лице командира конвоя, направило его к заведывавшему дворцовой охраной жандармскому полковнику Спиридовичу, который с своей стороны разрешил конвойцу поддерживать дальнейшее знакомство с Наумовым, но с тем, чтобы обо всем, происходящем от сего знакомства, немедленно докладывать ему, Спиридовичу.

Но знакомство Ратимова с Наумовым временно прекратилось, так как последний переселился в Петербург, и возобновилось лишь в январе 1907 года после того, как в конце предшествующего года Наумов познакомился сначала

с Штифтарем (Зильбербергом), одним из организаторов убийства петербургского градоначальника, генерала фон-дер-Лауница, а затем и через посредство Штифтара — с Никитенко. В последних числах января Наумов через одного общего знакомого вызвал Ратимова к себе в Петербург, при чем встретил его весьма дружелюбно и накормил обедом. В разговоре „с глазу на глаз“ Наумов, по словам Ратимова, сказал ему, что „на него предполагается возложить большую обязанность, что на него вся надежда“, что только он один может спасти Россию и если при этом пожертвует собою, то имя его, Ратимова, сохранится в истории и будет переходить из рода в род. На вопрос Ратимова, в чем дело, Наумов прямо заявил, что он, Ратимов — „должен убить государя“ при первой к тому возможности, например, стоя на посту, зарубить его шашкой или застрелить. Но когда испуганный конвоец решительно отказался от этого, то Наумов, продолжая его убеждать в указанном смысле, обольщал исторической славой, говоря, что в случае согласия Ратимова, он сейчас же сообщит о нем, как о герое, в свою партию с.-р. Но конвоец наотрез отказался от цареубийства. Тогда Наумов стал расспрашивать его о приезде в Царское великих князей Николая Николаевича и Владимира Александровича, а также министра Столыпина, при чем добавил, что Владимира Александровича пока следует оставить, так как он не живет „здесь“ — но Столыпин „у них на мертвой доске“, за ним неотступно наблюдают. В конце разговора Наумов заявил конвойцу, что им, вероятно, больше не придется видаться, что его, Ратимова, познакомят с другими лицами, с которыми он должен быть вполне откровенен и по этому поводу будет извещен письмом по адресу: „до востребования 600/13“. При этом Наумов дал Ратимову те пароли, при помощи которых он мог посещать конспиративные квартиры и быть уверенным, что встретит лиц, принадлежащих к партии, а именно при входе в квартиру Ратимов должен был сказать: „здравствуйте, я от Владимира Александровича“, а когда впустят, спросить: „здесь ли Ольга Александровна“, после чего дан будет ответ: „Я — Ольга“ тем именно лицом, мужчиной или женщиной, с которыми следует быть вполне откровенным. Вместе с тем Наумов дал Ратимову для скорейшего разыскания той квартиры, которая ему будет впоследствии указана письмом в качестве места свидания с революционерами, чистый бланк визитной карточки, объяснив, что карточка такого же формата окажется прибитой на дверях этой квартиры.

Неделю спустя Ратимов получил от Наумова письмо по адресу: „до востребования 600/13“ следующего содержания: „Дорогой Коля, я живу теперь на другой квартире. Приезжай как можно скорее, между 2 и 5 часами дня по адресу Садовая 80, кв 8. Уваж. Ольга“. Отправившись, с разрешения начальства на эту квартиру, оказавшуюся квартирой воспитателя лица Константина Густавовича Эмме, Ратимов нашел на входных в нее дверях визитную карточку совершенно тождественную с той, которую ему дал Наумов. Ратимова впустил сам Эмме, появивший ему, после сказанных им вышеприведенных паролей, руку, а затем познакомивший его с Анной Савельевной Пигит, проживавшей тогда в Петербурге, на квартире Эмме, под именем

Нины Залинина, после чего Эмме ушел, а казак остался с Пигит. Последняя просила его подождать прихода „нужного человека“, при чем дала ему какую-то книжку, в которой рекомендовала прочесть статью „Несколько дней на Потемкине Таврическом“. Пигит между прочим говорила Ратимову, что он очень нужен для них, как человек, близко стоящий ко двору и могущий дать важные сведения, при чем в разговоре сравнивала его с Перовской, объяснив значение последней. Не дождавшись „нужного человека“. Ратимов ушел, предварительно уговорившись с Пигит о последующих свиданиях. Спустя несколько дней конвоец снова с разрешения начальства приехал на квартиру Эмме, при чем его опять встретили хозяйка квартиры и Пигит, которая, оставшись с ним наедине, стала доказывать ему необходимость убийства великого князя Николаевича и министра Столыпина. Во время их разговора пришел Наумов, который сказал, что сейчас должен приехать „капитан“ или его заместитель, а если и последний не придет, то, указывая на Пигит, Наумов сказал: „Можете быть вполне откровенны с товарищем“. Затем Наумов ушел, и вскоре явился заместитель „капитана“ Кит Пуркин, который на вопрос Ратимова об имени и фамилии, заметил: „Мы—безымянные, а если хотите, называйте меня Арсением Николаевичем“. Он сразу стал расспрашивать конвойца о его службе, о расположении дворца, о том, можно ли постороннему человеку проникнуть во дворец. Опасаясь быть убитым за дачу неверных сведений, так как таковые могли быть проверены через „своих людей“, о которых Наумов раньше говорил Ратимову, последний объяснил Пуркину, что посторонний человек в конвойной форме может легко пройти во дворец, так как конвойцы постоянно носят государю письма и телеграммы. Пуркин, прервав Ратимова замечанием, что лицо его, Пуркина, не подходит к казацкому лицу, заметил, что „у них“ есть подходящий на то человек ¹⁾, при чем подробно рассматривал одежду на Ратимове конвойную форму, расспрашивал, где и как ее можно снять, на что Ратимов дал соответствующие указания. Затем, по просьбе Пуркина, Ратимов набросал для него план царскосельского дворца с указанием того входа, по которому конвойцы обыкновенно носили царскую корреспонденцию, — а ранее Ратимов передал Наумову такой же план Баболовского парка и той дороги, по которой обычно катался государь.

Таким образом при свиданиях Ратимова с Наумовым и Пуркиным обсуждались, повидимому, первые два плана цареубийства: в Баболовском парке и в царскосельском дворце. По словам же Наумова, он с Никитенко остановился на третьем — на убийстве царя во время богослужения придворным певчим, коим должен был сделаться Наумов, начавший для этого, по совету Никитенко, и на дававшиеся последние деньги, обучаться пению.

Однако, при последнем свидании Ратимова с Пуркиным, имевшем место 13 марта на квартире Веры Александровны Педьковой, по Николаевской ул.

¹⁾ На судебном следствии возникло предположение, что таким „подходящим“ человеком мог явиться подсудимый Никитенко. по своему росту и стройной фигуре подходящий для исполнения роли конвойца.

д. № 14, кв. 33, выяснилось, что планы царевубийства повидимому террористами оставлены, так как Пуркин сказал Ратимову, что ими решено пока „самого“ оставить (под словом „сам“ разумелся царь), а заняться великим князем Николаем Николаевичем и Столыпиным, для чего им необходимо иметь точные сведения о времени приезда этих лиц в Царское. Пуркин поручил конвойцу доставлять эти сведения условными телеграммами на имя Никитенко, по адресу родственника последнего — присяжного поверенного М. Е. Феодосьева (Кирочная д. 26, кв. 6 Феодосьеву-Никитенко). Условный шифр телеграмм заключался в следующих словах: в каждой телеграмме всегда должно было стоять слово: „приезжайте“. Затем слово: „захворал“ означало „утро“, „заболел“ — „вечер“. „Иван“ и „Отец“ — Столыпина, а „Степан“ и „Дядя“ — Николая Николаевича. Таким образом депеша: „Приезжайте, заболел Иван“ должна была означать, что Столыпин приезжает вечером. Этот шифр, а также и адрес Феодосьева Ратимов записал на листке, который он вырвал из лежавшего на столе Педьковой блок-нота.

Утром 30 марта, в 10 ч. 25 м. утра на квартиру Феодосьева поступила телеграмма „Приезжайте заболел Степан“, а в 11 ч. 53 м. ночи на 31 марта вторая: „приезжайте захворал Иван“. Обе эти телеграммы, отправленные из Царского Села, были без подписи, при чем и на их подлинниках не был указан отправитель, а было поставлено обычное в таких случаях слово „проездом“. Феодосьевы переслали эти телеграммы на Ярославскую, на квартиру Никитенко, при чем вторую из них С. К. Феодосьева переслала утром 31 марта через посыльного, вручившего ее дворнику дома Никитенко. 1 апреля Ратимов получил от неизвестного лица открытое письмо, без подписи, с упреками за сообщение неверных сведений.

О всех своих переговорах с революционерами, а также и о последовавшем между ними соглашении осылке упомянутых условных телеграмм Ратимов тотчас же докладывал полковнику Спиридовичу, в результате чего за Наумовым и названными его сообщниками было установлено филерское наблюдение, которое прежде всего установило связь Наумова и Никитенко с Владимиром Штифтаром (Зильбербергом) и его женой Ксенией Зильберберг („товарищ Ирина“), членами боевого отряда при центр. комитете партии с.-р., организовавшими в декабре 1906 г. убийство генерала фон-дер-Лауница. Из этих лиц „товарищ Ирина“ в начале февраля 1907 г. поселилась в Петербурге, по Ярославской ул. в доме № 1, вместе с Никитенко, по паспорту его сестры — Людмилы, а в качестве прислуги у них жила под именем крестьянки Дарушичевой — Мария Алексеевна Прокофьева, родная сестра Прокофьева, погибшего в декабре 1906 г. в Петербурге, в гостинице „Гранд-Отель“ при сопротивлении полиции и имевшей в революционных кругах прозвище „невесты“ Сазонова — убийцы Плеве. Дальнейшим наблюдением были установлены сношения всех перечисленных выше лиц с Валентином Викторовичем Колосовским, привлеченным к дознанию по обвинению в принадлежности к „боевой организации партии с.-р.“ и жившим по паспорту Юцкевича, мещанкой Екатериной Александровной Бибергаль, проживавшей по документу Ста-

хевич, слушательницами высших женских курсов Верой Цедьковой и Надеждой Филиппенко и двумя неизвестными, проживавшими: один под именем Сергея Дмитриевича Булгаковского и другой — Валентина Сперанского. Свидания этих лиц между собой происходили в квартирах Александра Михайловича Завадского, Александра Яковлевича Брусова и присяжного поверенного Михаила Евгеньевича Феодосьева, родственника последнего Бориса Фавстовича Тарасова и Дмитрия Захарьевича Чмаброва, при чем у последнего обыкновенно по понедельникам от 8 до 9^{1/2} час. вечера, а у Тарасова — по пятницам в 6^{1/2} час. веч. Вход в эти квартиры был по паролям; так, например, в квартиру Чмаброва впускали лишь тех, кто говорил, что он от Александра Яковлевича.

В отношении именовавшегося Булгаковским было сверх того выяснено, что в начале апреля 1907 г. он выезжал в Севастополь, повидимому, в связи с замыслами комитета „Таврического союза партии с.-р.“ организовать убийство великого князя Николая Николаевича, приезд которого в Крым ожидался 16 апреля. Накануне этого дня, т.-е. 15 апреля, упомянутый комитет был арестован, при чем у одного из видных его членов, врача Архангельского, у которого между прочим, в бытность свою в Крыму был Булгаковский, были обнаружены в его городской квартире и на даче в подвале с замаскированным входом: две большие тайные типографии с огромным количеством шрифта, большой склад с.-р. литературы и склад оружия из нескольких винтовок-карабинов и револьверов с большим количеством боевых патронов. Пребывание Булгаковского в Крыму совпало также и с произведенными боевой организацией таврического союза партии с.-р. ограблением севастопольской почтовой конторы, а равно и местной земской больницы.

Начиная с 31 марта, все перечисленные лица, за исключением скрывшихся Сперанского, Надежды Филиппенко и „товарища Ирины“ были постепенно арестованы. Обыски, произведенные у некоторых из них, дали следующие результаты.

1) У Никитенко оказалось несколько подложных паспортов, три телеграммы без подписи от 30 марта: одна — „Приезжайте, заболел Степан“, другая — „Приезжайте, захворал Иван“ (обе из Царского Села) и третья с приглашением „повинтить“, записная книжка с четырьмя чертежами, в одном из которых эксперты признали план пути, по которому можно было проникнуть внутрь царкосельского дворца, в помещение под кабинетом государя, и письмо из Выборга, в котором неизвестная корреспондентка, подписавшаяся инициалами: „В. П.“, высказывала, что ужасно опечалена инцидентом с „дядей“ (13 февраля 1907 г. было произведено неудавшееся покушение на жизнь великого князя Николая Николаевича путем положенного на путь царкосельской жел. дор. разрывного снаряда).

2) У Феодосьевых найдено большое количество революционной литературы, обширная переписка по организации кронштадтского военного мятежа с указанием причин его неудачи и собственноручной заметкой Софии Константиновны Феодосьевой, списки команд военных судов с кратким обо-

значением характеристики личного состава в смысле революционного настроения и много явок различным чинам флота, входившим в состав военно-революционной организации. (По этому поводу при Пет. Губ. Жандармском Управлении производилось особое дознание, к которому С. К. Феодосьева была привлечена в качестве обвиняемой.)

3) У Педьковой — три записные книжки, в одной из которых имелись записи цифр и букв, расположенных по клеткам (шифр), в другой — ряд зашифрованных адресов, в том числе квартир Чиброва, Тарасова и Врусова, и в третьей — между прочим запись о долге в кассу с.-р. партии.

4) У Тарасовой — собственноручная запись ее о рассылке революционной литературы во многие местности России и письмо, в котором неизвестный автор говорит, что он и его товарищи „только в лице Тарасовой и Екатерины Александровны (Бибергаль) встретили действительных социал-революционеров, людей партийных, даже энтузиастов“;

и 5) у Бибергаль — несколько подложных паспортов, в том числе тот, по которому она жила на имя Стахевич, 480 экземпляров „Солдатской Газеты“ (изд. партии с.-р.), большое количество иногородних адресов, а также письмо из Одессы, заключавшее в себе просьбу сообщить фамилию того военного судьи, который судил двух матросов, „казнивших офицера“.

Помимо всех перечисленных и отобранных у обвиняемых документов, к делу в качестве вещественных доказательств были еще приобщены: представленные Ратиновым и полученные им: 1) три письма: одно, заключавшее в себе приглашение на квартиру Наумова и написанное несомненно рукой последнего, другое, приведенного выше содержания, с приглашением на квартиру Эмме и за подписью „уваж. Ольга“, написанное, согласно заключению эксперта, рукой обвиняемой Антонины Эмме, и третье, открытое, от 1 апреля, без подписи, содержавшее в себе упреки по адресу Ратимова за сообщение неверных сведений, 2) листок из блок-нота с записью шифра условных телеграмм и оказавшийся несомненно вырванным из блок-нота, найденного при обыске у Педьковой, 3) данная Ратимову Наумовым визитная карточка, оказавшаяся совершенно тождественной с визитной карточкой, снятой с дверей квартиры Эмме, и 4) восстановленные Ратиновым при следствии планы царскосельского дворца и Баболовского парка, оказавшиеся соответствующими действительности.

На предварительном следствии пятеро из обвиняемых, а именно: Прокофьева, Пигит, именовавший себя Булгаковским, Тарасов и Бибергаль отказались дать какие-либо показания. Остальные же, не признавая себя виновными в предъявленных им обвинениях, дали следующие объяснения:

1. Наумов — что в ноябре 1906 года он случайно познакомился сначала со Штифтаром (Зильбербергом), а затем при посредстве последнего и с Никитенко, которые при дальнейшем знакомстве сообщили ему о существовании „боевой“ организации при центральном комитете „партии с.-р.“, членами которой они, по их словам, состояли. Посвятив его в планы этой организации, Никитенко и Штифтарь предложили ему принять участие в их

осуществлении, взяв на себя, в виду его проживания в Петербурге и некоторого знакомства с придворными порядками, исполнения главнейшего из них — царубийства. Для осуществления этого и было предположено вступление его в придворную певческую капеллу, а для обучения его на этот предмет пению—Никитенко стал платить ему из средств организации деньги, примерно до 200 р. в месяц. По словам Наумова Никитенко говорил ему, что в распоряжении организации имеется склад взрывчатых снарядов самой усовершенствованной техники. Помимо царубийства, организации подготовила убийство великого князя Николая Николаевича и Столыпина, но эти террористические акты не состоялись, так как оба названных лица не проезжали в сроки, указанные в полученных Никитенко условных телеграммах, в виду чего отправителю этих телеграмм — Ратимову ими и было отправлено упомянутое выше открытое письмо с упреками за сообщение неверных сведений.

2. Никитенко — что, не состоя в партии с.-р., он не мог принимать и не принимал никакого участия в боевой ее организации, денег партийных Наумову не платил, никаких конспиративных квартир не посещал и значения оказавшихся у него при обыске телеграмм не знает, так как телеграммы эти, а равно и вообще всю корреспонденцию, получавшуюся им на адрес его родственников Феодосьевых, он должен был передавать другому лицу, назвать которое не желает. Об оказавшихся в его записной книжке чертежах Никитенко сначала отозвался запечатыванием, а затем при вторичном допросе заявил, что все они относятся к какой-то местности в Крыму и никакого отношения к его деятельности в Петербурге не имеют. Не отрицая затем своего знакомства с Пуркиным и Наумовым, Никитенко заявил, что горничная Дарушичева, оказавшаяся затем Прокофьевой, была им нанята по газетному объявлению, но назвать других лиц, с которыми был в сношении, кроме родственников своих Феодосьевых и Тарасовых, отказался.

3. Пуркин — признавая свое знакомство с Никитенко, совершенно отрицал свои встречи и беседы с Ратимовым.

4. Педькова — что, разделяя убеждения партии с.-р., она вместе с тем ни к каким действующим организациям этой партии не принадлежала и только, по просьбе ее личного знакомого Сперанского, оказывала этой партии разные мелкие услуги. Такой услугой было и предоставление ею ее квартиры для свидания Пуркина с конвойцем, при чем о цели и характере этого свидания она не знала. Сперанский же познакомил ее с Никитенко и дал ей затем ряд адресов, почти на все дни недели, где в известные часы, она в случае встретившейся надобности, могла бы всегда его разыскать: эти адреса в зашифрованном виде и оказались в отобранной у нее по обыску записной книжке.

5. Супруги Эмме — что своей квартиры для конспиративных свиданий никогда никому не предоставляли, никакого конвойца у себя не принимали и не допускают, чтобы их знакомая Пигит принимала без их ведома каких-либо своих знакомых в их квартире. Из обвиняемых они знают Никитенко, Пур-

кина. Наумова, Педькову, Пигит, а также и Сперанского, но о принадлежности их к какой-либо революционной организации им ничего неизвестно. В частности Антония, Магнусовна Эмме решительно отрицала, чтобы она писала конвойцу письмо за подписью „уважающая Ольга“.

6. Супруги Феодосьевы — что их родственник Никитенко жил одно время у них в качестве секретаря Михаила Евгеньевича, но затем переехал на Ярославскую, куда они и пересылали продолжавшую поступать на их квартиру его корреспонденцию, а в том числе и полученные на его имя 30 марта две телеграммы, не зная, очевидно, их содержания.

7. Тарасова — знает из обвиняемых своих родственников Никитенко и Феодосьевых, а также и Бибергаль, с которой познакомилась в ссылке. Найденная у нее при обыске нелегальная литература дана ей лицом, назвать которое она не желает.

8. Колосовский — состоит членом партии с.-р. и знает нескольких лиц из боевой организации при центральном комитете партии, но назвать их не желает.

и 9. Завадский, Брусов и Чнабров — более или менее одинаково объяснили, что они своих квартир для конспиративных свиданий никому не предоставляли, но будучи, людьми одиночками и не бывая часто и особенно по вечерам дома (а Завадский даже и совсем не жил в нанятой им исключительно для выборного цеха квартире), — они разрешали своим знакомым пользоваться их квартирами, и возможно, что последние предоставляли их каким-либо другим лицам, им неизвестным, и о цели и характере собраний которых они также не были осведомлены. В частности Чнабров показал, что он действительно согласился предоставить свою квартиру для собраний профессиональных союзов рабочих, юрисконсультом коих он состоял; из всех посещавших его он по фотографическим карточкам признал: Пуркина, Штифтаря, Никитенко и Пигит, — но на совещаниях их никогда не присутствовал.

II.

Приведенные данные обвинительного акта в связи с показаниями обвиняемых и послужили предметом судебного разбирательства 7 — 15 августа 1907 г. С.-Петербургского военно-окружного суда. В состав суда входили четыре строевых (армейских ¹⁾ подполковника, в качестве так называемых временных членов суда, соответствовавших, в сущности, по своей юридической неподготовленности присяжным заседателям гражданских судов, но лишь одетых в военную форму, и председатель, военный судья — единственный таким образом юрист в этой коллегии. Обвинителем являлся один из помощников военного прокурора, а на скамьях защиты сидели виднейшие тогда предста-

¹⁾ В кулуарах суда говорили, что, в виду характера подлежащего разбору суда дела (посягательство на царя), судьями были назначены именно „армейские“ подполковники, а не гвардейские, которые могли бы быть заподозрены в протерпанстве.

вители адвокатуры обеих столиц: Маклаков, Андреевский, Зарудный, Муравьев, Раппопорт, Соколов, Базунов и другие.

Дело, как уже упомянуто выше, слушалось при наглухо-закрытых дверях. В зал судебного заседания не были допущены даже обычные посетители „закрытых“ заседаний, а именно чины судебного ведомства и адвокаты, имевшие однако по закону право сидеть при „закрытых дверях“. Благодаря наплыву судебных чинов и особенно судейской и адвокатской молодежи, „закрытые“ заседания отличались, как известно, от „открытых“ или публичных тем, что на первых присутствовало обычно значительно больше публики, чем на вторых. Для процесса Никитенко было сделано исключение: из судебной публики были допущены лишь немногие, по особым рекомендациям, а адвокатскую молодежь и совсем не пустили. Так же тщательно были профильтрованы родственники обвиняемых, тоже имевшие по закону право присутствовать в заседании, из них были допущены лишь самые близкие. На свободных местах отсутствовавших присяжных заседателей сидело несколько чиновников министерств двора, военного и внутренних дел, исполнявших, повидимому, обязанности репортеров для своих министров. На тех же скамьях сидел и единственный представитель печати—сотрудник „осведомительного бюро“, нередко дававший в прессу весьма краткие и отрывочные сведения, прошедшие к тому же предварительную цензуру председателя суда. Пытался было попасть в зал заседания нововременский Столыпин,—но и ему, несмотря на его ссылку на своего всемогущего брата, было председателем отказано.

Судебное заседание началось с привода временных членов суда к присяге, после чего защитой было сделано два заявления об отложении дела: 1) на том основании, что обвиняемым не было предъявлено для обозрения поллиное дело, несмотря на состоявшееся о том определение суда, отмененное однако, по словам одного из защитников, Департаментом Полиции, не нашедшим возможным сделать распоряжение о препровождении обвиняемых из крепости в помещение военного суда для обозрения дела, и 2) в виду того, что пятерым обвиняемым первой группы было предъявлено в обвинительном акте более тяжкое обвинение, а именно приготовление к царевубийству, предусмотренн. 3 ч. 101 ст. угол. улож. и грозившее смертию казнию, в сравнении с тем, которое им было предъявлено на предварительном следствии — участие в преступном сообществе, предусмотренн. 2 и 3 ч. 102 ст. того же улож. и которое грозило лишь бессрочной каторгой.

Оба эти ходатайства защиты были отклонены судом: первое — на том основании, что, по удостоверению председателя суда, никакого определения суда, будто бы затем отмененного Департаментом Полиции, не состоялось и что Департамент не встречал препятствий к предъявлению обвиняемым следствия, не находя лишь возможным препровождать для этой цели обвиняемых в суд; и второе—что при условии рассмотрения дела „по законам военного времени“ не только не возбраняется предъявлять в обвинительном акте и даже на судебном следствии новые обвинения, не предъявленные на пред-

варительном следствии, но даже и приступать к судебному рассмотрению без всякого предварительного следствия, в порядке 1334 ст. Военн. Суд. Уст. на основании лишь данных полицейского дознания.

При последовавшем затем опросе подсудимых об их личности, двое из них пожелали открыть свои настоящие имена и преданный суду под именем Кита Пуркина заявил, что он бывший студент С.-Петербургского университета Борис Степанович Синявский, а подсудимый, именовавшийся Булгаковским, объяснил, что он бывший студент Новороссийского университета Моисей Давыдович Рогальский.

По прочтении затем обвинительного акта суд приступил к допросу обвиняемых, начав таковой с допроса Наумова, оговорившего на предварительном следствии большинство остальных обвиняемых. Очевидно, чтобы дать Наумову возможность подтвердить свои объяснения, существенно изобличавшие многих из обвиняемых, все остальные подсудимые, на время допроса Наумова, были по распоряжению председателя удалены из залы заседания.

Наумов, сильно волнуясь, дал пространное объяснение, произнесенное совсем подавленным голосом и прерывавшееся неоднократно истерическими рыданиями. Объяснение его, развитое затем и дополненное при последующих неоднократных допросах его на судебном следствии, сводилось к следующему. Ни к каким политическим партиям он никогда не принадлежал, отличался всегда просто либеральными, передовыми взглядами. Как-то летом 1906 года он в саду петергофской почтово-телеграфной конторы встретился с конвойным казаком Ратимовым, с которым и разговорился, по поводу проезжавшего мотора, на тему о научных открытиях. Конвоец говорил, что многим интересуется, хотел бы пополнить свои знания, заняться саморазвитием, но при существующих у них в дворцовом управлении порядках это немислимо. Он стал было читать газеты, но и за это невинное занятие был посажен под арест. Таким образом разговор перешел на политику, при чем конвоец резко осуждал существовавший у них режим, сделавшийся особенно тяжелым со времени назначения дворцовым комендантом генерала Трепова. Тогда Наумов, имея в виду обычные в то время террористические акты, посоветовал ему убить Трепова, но конвоец на это не согласился. После этого первого свидания, они еще несколько раз встречались и обыкновенно беседовали на политические темы, при чем оказывались единомышленны. Конвоец просил у него книжек или брошюр, в том направлении, в каком велись их беседы, в виду чего Наумов и дал ему как-то четыре Выборгских воззвания. Затем осенью 1906 года Наумов поселился в Петербурге, где, имея весьма ничтожный заработок, нуждался до того, что иногда есть было нечего. Обедая раз случайно в столовой Технологического института, он познакомился там с оказавшимся впоследствии Штифтарем (Зильбербергом), который, узнав, что он благодаря службе своего отца имеет отношение к придворному ведомству, заинтересовался им и через несколько дней к нему пришел, при чем увидев наглядно его стесненное материальное положение, ссудил его деньгами. С Штифтарем они вели разговоры также на револю-

пионные темы, окончившиеся тем, что Штифтар, назвав себя социалистом-революционером, предложил ему за деньги доставлять сведения о приездах в Царское Село высокопоставленных лиц. Нуждаясь крайне в деньгах, он на это согласился, после чего Штифтар пригласил его на Зверинскую улицу в неизвестную ему квартиру, оказавшуюся впоследствии квартирой Завадского, где познакомил его с Никитенко, которого называл „капитаном“. Никитенко рассказал ему о том, что во флоте существует сильное революционное движение, в ответ на что он, Наумов, сообщил, что таковое есть даже и в собственном его величества конвое, рассказав о знакомом ему конвойце и о взглядах последнего. Никитенко просил его познакомить с этим конвойцем, в виду чего он, встретив через несколько дней в поезде одного своего знакомого почтового чиновника, пригласил конвойца через последнего к себе, передав свой адрес из хвастовства зашифрованным (он любил хвастаться близостью к революционным организациям). По приезде затем к нему Ратимова, он, по поручению Никитенко, стал расспрашивать его о выездах в Царское Село великого князя Николая Николаевича и Столыпина, при чем Ратимов обещал ему все эти сведения узнать и сообщить. Сверх того и уже по собственной инициативе конвоец добавил, что ему также известно, где и когда можно встретить государя, и при этом нарисовал Баболовский парк и ту дорогу, по которой обыкновенно катался государь. По поручению Никитенко Наумов назначил конвойцу свидание с Никитенко сначала на квартире Эмме, по Садовой ул. № 80, а затем и в других местах. Однако эти сношения с революционерами начали его, Наумова, под конец тяготить, но он не мог развязаться с ними, так как получал от Никитенко деньги, приблизительно по 125 р. в месяц. Для того, чтобы не нуждаться более в этом заработке и освободиться от революционеров, он и надумал поступить в капеллу, надеясь таким путем и благодаря своему голосу приобрести хороший заработок. Накануне своего ареста он в последний раз хотел взять у Никитенко денег, с каковой целью и послал ему 30 марта телеграмму: „Приезжайте повингить“, означавшую, согласно бывшему между ними уговору, просьбу о деньгах. Когда же Никитенко, придя к нему утром 31 марта сообщил, что скоро он услышит „важные новости“, то он передумал и взял у него еще 150 рублей на экипировку и переезд в Петергоф. Оканчивая свое показание, Наумов с истерическим плачем крикнул на всю залу, что самую большую подлость в жизни он сделал, когда оговорил на следствии Никитенко в том, что тот его подговаривал убить государя и советовал ему будто бы в этих видах поступить в капеллу. Ничего подобного никогда не было, и он, воспитанный в известных традициях, никогда бы на это не пошел, тем более, что „всякое пролитие чужой крови противно его существу“.

Равным образом он никогда не подговаривал и Ратимова на убийство государя и просил его лишь по поручению Никитенко доставлять сведения о проездах великого князя Николая Николаевича и Столыпина. Речь шла исключительно о последних двух, но отнюдь не о государе. Свой ложный оговор Никитенко на предварительном следствии Наумов объяснял тем, что

надеялся этим путем на скорое освобождение, которое ему было обещано следователем, если он такое показание даст. Давая ему деньги, Никитенко, по словам Наумова, объяснял, что он дает ему не собственные деньги, а из фонда партии социалистов-революционеров, в интересах которой и должен собирать требуемые от него сведения, в награду за что он будет принят в боевую организацию, имеющуюся при центральном комитете этой партии.

На вопросы сторон, Наумов, между прочим объяснял, что ему не известно в какой именно квартире на Зверинской улице он познакомился с Никитенко, и услышал впервые от следователя, что это была квартира Завадского, которого он ранее не знал и никогда не видал. Ни номера дома, ни номера квартиры он следователю не говорил, так как тогда их забыл. По этому поводу затем было выяснено, путем допроса сидевшей в публике матери Завадского, что квартира ее сына находилась во втором этаже на одной площадке с квартирой его родителей, между тем, как, по словам Наумова он ходил в квартиру, расположенную не ниже четвертого этажа.

Вслед за Наумовым и также в отсутствие других обвиняемых была допрошена подсудимая Педькова, которая, не признавая себя виновной в предъявленном ей обвинении, объяснила, что она действительно оказывала некоторые незначительные услуги партии соц.-рев., но делала это исключительно по просьбам и из личной симпатии к скрывшемуся Сперанскому, и при том совершенно не зная, для каких целей эти услуги нужны. Вместе с тем она не могла даже и предполагать, что ее помощь нужна для совершения каких-либо террористических актов, так как ей было хорошо известно, что центральный комитет партии незадолго перед этим постановил приостановить террористическую деятельность, и боевая организация партии прекратила свое существование. Обнаруженные у нее по обыску записные книжки с имеющимися в них зашифрованными записями она получила от скрывшегося Сперанского и значения записей в первой из этих книжек она не знает, так как Сперанский ей их не объяснил. Находящиеся же во второй книжке зашифрованные адреса квартир Чиброва, Брусова и Тарасова Сперанский ей разъяснил, дабы в случае надобности она могла ими пользоваться. Что же касается записи о долге в кассу соц.-рев., то таковая относится еще к 1905 году, когда, состоя слушательницей высших женских курсов, она задолжала находившемуся при курсах книжному складу изданий партии с.-р. указанную в книжке сумму, которую и не успела выплатить: между тем склад этот был закрыт, в виду чего она и вписала свой долг тогда же, т.-е. в 1905 г. в свою записную книжку.

По окончании допроса Педьковой в зал заседания были введены все остальные подсудимые, при чем они были ознакомлены с существом данных в их отсутствие обвиняемыми Наумовым и Педьковой, показаний. После этого слово было предоставлено подсудимому Никитенко, который дал весьма обстоятельные объяснения, сущность которых сводилась к тому, что, не принадлежа к партии соц.-рев., а лишь разделяя ее воззрения, которым он сочувствовал еще во время своей службы во флоте, он, по выходе в отставку и переехав на

жительство в Петербург, вошел в более близкие сношения с этой партией, желая посвятить свои силы той части ее деятельности, которая окажется более для него подходящей. Наиболее отвечала его склонностям и способностям боевая деятельность, но в это время центральный комитет партии постановил прекратить террор как в виду исполненного правительством обещания о созыве второй государственной думы, так и того, что террористические акты в виду их учащения перестали производить какое-либо впечатление на население. Не разделяя этого взгляда, обязательного однако для всех членов партии, он и не вступил официально в ее ряды, а задался целью, за свой личный страх и риск, собирать на всякий случай для будущего времени, когда взгляд большинства членов партии может под влиянием событий измениться, разные сведения, могущие быть полезными для выполнения покушения на какое-либо высокопоставленное лицо. В этих видах он и вошел в сношения с Наумовым и другими лицами, не имея однако определенного намерения готовить покушение именно на государя, каковой террористический акт разным образом до сих пор в цели партии совершенно не входил. Задуманное им таким образом предприятие было частным делом небольшой группы лиц, а отнюдь не партийным выступлением. Если же он говорил Наумову, что действует по поручению партии с.-р. и обещал даже, как показывал Наумов, принять его в боевую организацию партии, то говорил он это с исключительной целью придать себе больший авторитет в глазах Наумова, который был „для нас“ человек чужой, нанятый исключительно для получения полезных им сведений, за доставление коих он иногда ссужал Наумова деньгами. Телеграмму без подписи от 30 марта с приглашением „повинтить“ он получил от Наумова, и телеграмма эта, согласно их уговора, действительно означала просьбу о деньгах, которые он и принял у Наумова 31 марта. При этом никаких разговоров между ними о „важных новостях“, о чем показывал Наумов, не было.

Все эти объяснения Никитенко давал спокойным, твердым голосом и вообще держал себя с большим достоинством. В этом двадцатидвухлетнем юнше чувствовалась большая выдержка, недюжинный характер.

Следующим из обвиняемых был допрошен Синавский, который, не признавая себя также виновным в предъявленных ему обвинениях, произнес весьма пространную речь, первую половину которой он читал по тетрадке. Начало ее было приблизительно следующее: „я признаю себя социалистом и революционером, — но не социалистом-революционером, так как не разделяю программы этой партии по аграрному вопросу. Я принадлежу к великой партии пролетариата, но и с этой партией, называемой российской социал-демократической партией, я не во всем схожусь.

„Главное мое расхождение с ней заключается в том, что она отрицает единственный террор, — я же его признаю и считаю необходимым в условиях русской жизни. И при том, конечно, террор „центральный“, а не убийство низших агентов власти. „Террористов воспитывает русская жизнь“, — воскликнул Синавский и в пояснение этого привел следующие три факта из своей биографии, которые оказали решающее влияние на его мировоззрение:

во-первых, детские его годы протекли в провинции „в атмосфере участка“ (его отчим был полицейским приставом) и он с 8—9 лет неоднократно присутствовал при избивении людей. Будучи ребенком, он целовал городских, чтобы они не были... На его глазах умер от двухдневных пыток в участке один еврей, при чем отчим подсудимого, преданный за это суду, сумел от такового освободиться, дав крупную взятку следователю. Под влиянием этих первых впечатлений своего детства он уже с 16 лет сделался революционером, а террористический акт Карповича указал ему дорогу и служил ему в дальнейшем путеводной звездой. Во-вторых, переехав затем в Петербург, он стал давать уроки сыну своего дяди, который также состоял начальником одного из петербургских „застенок“, и он опять был свидетелем истязаний, слушателем стонов избиваемых. Великое пролетарское движение 9 января 1905 г. сделало его ревностным приверженцем Российской социал-демократической партии, — и он было охладел к террору, но печальная русская действительность заставила его вернуться к мысли о необходимости террора. В конце того же года в его жизни произошел третий факт, бесповоротно сделавший из него убежденного террориста. 14 декабря этого года он был во время уличных беспорядков арестован при втором участке петербургской части, где слышал, как участковый пристав двух валявшихся у него в ногах и просявших прощения проституток, доставленных в участок за какую-то провинность, предложил отдать „для развлечения“ находившимся в том же участке солдатам, о чем и сказал начальствовавшему над этими солдатами офицеру, который, в чести этого офицера, ответил на это предложение „убийственным молчанием“. Возмущенный слышанным, он, Синявский, высказал приставу свое откровенное мнение по этому поводу, упомянув также и о дарованных манифестом 17 октября свободах. Пристав ответил: „Мы покажем вам манифест 17 октября“, — после чего Синявский был избит казаками, а затем сослан в Архангельскую губернию. Бежав вскоре оттуда, он был вынужден перейти на нелегальное положение и под именем Кита Пуркина в конце 1906 года появился вновь в Петербурге. Здесь он предложил свои услуги „боевой организации при центральном комитете партии соц.-рев., но последняя от них отказалась, заявив, что благодаря обилию своих террористов, в услугах с.-д-ов не нуждается. Узнав затем об образовавшейся при с.-р. партии военно-революционной организации, в которой могли участвовать лица, не состоявшие в партии, и даже не социалисты, он примкнул к этой организации и работал в ней вплоть до своего ареста. Деятельность в этой организации его, однако, мало удовлетворяла, так как в ее программу не входил террор, но тем не менее и в ожидании благоприятного случая, когда бы он мог принять участие в каком-либо террористическом акте, он работал в этой организации. В качестве ее члена, он и познакомился с конвойцем, которого ему указал Никитенко и при содействии которого он предполагал поставить пропаганду в конвое. При первом же свидании с этим конвойцем он стал расспрашивать его о службе в конвое, о порядках в Царском Селе и совершенно случайно, без всякой задней мысли, спросил его, видел ли он когда-нибудь государя. Конвойец

начал ему подробно объяснять, где и когда можно видеть государя, какие посты нужно пройти, чтобы попасть во дворец, но он его прервал, сказав, что это совсем его не интересует и что им гораздо важнее иметь сведения о времени приезда в Царское Село Николая Николаевича и Столыпина. Конвоец обещал доставлять эти сведения, о чем он затем и передал Никитенко, не сказав последнему ни слова о своем разговоре с конвойцем про государя, так как не придавал этому разговору никакого значения. Для сообщения требовавшихся сведений он действительно передал конвойцу условный шифр, который, однако, предполагался для писем, а не для телеграмм, и должен был касаться уже бывших проездов названных лиц, а не предстоявших. Интересовались они, т.-е. Никитенко и он, этими сведениями не в качестве членов какой-либо партии, а как частные лица, и Никитенко вел какую-то статистику этим проездам, в виду чего ему и важны были бывшие проезды. В подтверждение этих своих слов Синявский сослался на то, что в условном тексте не указывалось часа проезда, а обозначалось лишь время дня (утром или вечером) и что вторая телеграмма („приезжайте, захворал Иван“) была доставлена Никитенко через 13 часов после получения ее на квартире Федосьевых, что, конечно, не могло бы быть, если бы сообщенные в телеграмме сведения были для них срочны. Затем на вопрос одного из защитников Синявский ответил, что дальнейших свиданий с конвойцем и не предполагалось, так как из разговоров с ним он убедился в невозможности вести пропаганду в конвое.

По выслушании приведенного показания Синявского суд перешел к допросу остальных обвиняемых, которые, ответив кратко на предложенные вопросы об их виновности отрицательно, более подробных объяснений не дали. При этом подсудимая Прокофьева вообще никакого ответа суду не дала, промолчав на предложенный ей председателем вопрос о виновности. Вообще Мария Алексеевна Прокофьева не проронила, кажется, ни одного слова за всю долгую неделю судебных заседаний по ее и ее сообщников делу. Она сидела в первом ряду обвиняемых почти совсем неподвижно, устремив свои вдумчивые глубокие глаза в какую-то определенную точку и будучи, повидимому, мыслями весьма далеко от этого, казалось, совсем ее не интересовавшего процесса, представлявшегося ей, очевидно, какой-то совсем ненужной, пустой формальностью. Как и в Никитенко, в ней, несмотря на ее молодость, чувствовалась большая убежденность, искренность, верность своим идеям.

III

По окончании допроса обвиняемых суд перешел к допросу свидетелей, коих явилось свыше 40 человек. Первыми были допрошены свидетели обвинения, и прежде всего Ратимов, по верноподданническому усердию коего, по мнению прокуратуры, было обнаружено угрожавшее царю злодеяние, или благодаря провокации коего, как то доказывала защита, было искусственно создано все это дело. Надо отдать справедливость, что, как этот конвоец —

очень толковый, смегливый казак—так и допрашивавшийся вслед за ним его учитель, жандармский полковник Спиридович—тоже один из наиболее способных жандармских офицеров—с большим умением и ловкостью отражали все делавшиеся на них со стороны защиты в указанном смысле нападения. Сбить их оказалось трудно, и оба эти свидетеля полностью и вполне согласно между собой подтверждали данные ими на предварительном следствии показания, легшие в основу составленного по настоящему делу и приведенного выше обвинительного акта. Ратимов, между прочим, дополнял существовавшие у революционеров планы посягательства на императора еще одним, о котором ему еще летом 1906 года как-то говорил Наумов: план этот будто бы состоял в том, чтобы при содействии конвойцев лишить государя свободы и затем доставить его вместе с другими членами царствующего дома, а также и министрами в государственную думу и передать их всех „на правосудие народа“. По предложению суда конвоиц в заседаниях начертил планы: 1) Баболовского парка и 2) Александровского дворца в Царском Селе, которые, по его словам, он будто бы передал: первый—Наумову, а второй—Синявскому, повторив при этом все те объяснения, которые при начертании этих планов он ранее давал подсудимым, и в частности о том пути, по коему в Баболовском парке, в часы прогулок царя в этом парке, могла его встретить революционерка, переодетая молочницей, а также и о том пути, по которому можно было проникнуть в находившееся под кабинетом государя помещение дворцовых лакеев, чтобы там подложить разрывной снаряд. На вопросы защиты Ратимов объяснил, что он начертил план царскосельского дворца по просьбе о том обвиняемого Синявского, а не по собственной инициативе, и сделал это лишь после вопроса Синявского, как проникнуть во дворец. По сличении затем нарисованных Ратимовым на суде планов с теми, которые он же изобразил на предварительном следствии, а также и с теми, которые при осмотре следователем Баболовского парка и царскосельского дворца были составлены последним, выяснилось, что все эти планы между собой сходятся и вполне соответствуют действительности.

Дабы покончить с этими планами и избегая несколько вперед, надлежит отметить, что при дальнейшем ходе судебного следствия был оглашен протокол произведенного через сведущих лиц (военных инженеров) сличения снятого судебным следователем плана царскосельского дворца с одним из тех планов, который под № 1 значился в записной книжке Никитенко, при чем согласно заключению экспертов планы эти оказались весьма сходственными, и, пользуясь имевшимся в записной книжке Никитенко планом „в связи с словесными объяснениями к таковому конвойца“, можно было проникнуть во дворец. По этому поводу обвиняемый Никитенко с своей стороны объяснил, что план, значащийся в его записной книжке под № 1, не имеет никакого отношения к царскосельскому дворцу, а составляет снимок с какой-то местности в Севастополе и сделан им еще несколько лет тому назад. Вообще же эта отобранная у него при обыске записная книжка—старая, никакого отношения к Петербургу не имеет, и ею он в Петербурге не пользовался.

К этому объяснению обвиняемого один из его защитников (у Никитенко было два защитника — присяжные поверенные Андронников и Никонов) добавил, что на плане в книжке Никитенко не обозначено того коридора, по которому злоумышленник должен был проникнуть в помещение дворца, и что по его мнению этот коридор являлся существеннейшей частью всего плана. Между прочим, по тому же поводу был допрошен в качестве свидетеля один из бывших сослуживцев Никитенко по Севастополю, некий офицер Б., выпущенный защитой на собственный счет из Крыма, который удостоверил, что один из имевшихся в записной книжке планов, а именно обозначенный под № 4, несомненно относится к хорошо известной свидетелю в окрестностях Севастополя местности, при чем Б. в присутствии суда начертил на бумаге означенный план, вполне совпавший с тем, который имелся в книжке Никитенко. Показание этого свидетеля вызвало заявление прокурора, пояснявшего, что обвинительная власть придает значение лишь первым трем планам, изображенным в книжке Никитенко, а отнюдь не тому, который значится под № 4 и относительно которого прокурору лично известно, что он относится к Севастополю, а не к Петербургу.

Весьма длительное, продолжавшееся более двух часов и обстоятельное показание Ратимова окончилось маленьким инцидентом, выразившимся в том, что конвоец решительно отказался ответить на предложенный ему одним из защитников вопрос о том, из какой местности он родом и к какой станции приписан. На возражение защитника, что он не понимает уклонения от ответа на этот вопрос, казак хладнокровно ответил, что он потому не хотел отвечать, что не желает быть убитым. Это заявление вызвало негодующий протест на скамье защитников, при чем кто-то из последних крикнул: „Мы и не собираемся вас убивать“. Возникший было инцидент был прекращен председателем, объявившим, что хотя несомненно отсутствие какого-либо умысла со стороны предложившего упомянутый вопрос защитника, тем не менее свидетель в праве на него не отвечать, раз сообщение просимых у него сведений вызывают у него опасения за свою жизнь.

При допросе следующего свидетеля, — жандармского офицера, заведывавшего розыском в Крыму, возник еще один инцидент по поводу того, что свидетель отказался на вопрос защиты указать тот источник, из которого он почерпнул доложенные им суду сведения об участии подсудного Рогальского в ограблениях в апреле 1907 года в Крыму земской больницы и почтового отделения, сославшись на то, что эти сведения им получены из агентурного источника, раскрыть который он по долгу службы не в праве. Происшедшее по этому поводу весьма резкое пререкание между свидетелем и защитником было пресечено председателем, объявившим, что он разрешает свидетелю на подобные вопросы не отвечать и что суд совершенно удовлетворен заявлением свидетеля, что источник, из коего он почерпнул упомянутые сведения, представляется для него, свидетеля, несомненно достоверным.

Показания ведавшего охраной царя полковника Спиридовича, свидетельствующего, что ему по докладам Ратимова становились тотчас же и до



Никитенко. Борис Нико-
лаевич, казнен.



Синявский, Борис Степанович.
он же Пуркин, казнен.



Наумов. Владимир Александр.
казнен.



Прокофьева. Мария Александр.



Бибергаль. Екатер. Александр.



Голосовский. Валнт. Викт.



Пирит. Анна Савельевна.



Омел. Анна Матвеевна.



Богальский, Монсей Давыдович. }
он же Бугаковский.



Феодосьев, Михаил
Евгеньевич.



Феодосьева, София Конст.



Тарасов, Борис Фаветович.



Педькова, Вера Александр.



Эмме, Конст. Густавович.



Тарасова, Ольга Петровна.

мельчайших подробностей известны все шаги и переговоры обвиняемых, дали повод одному из последних заявить суду, что при таких условиях казалось бы, надлежит прийти к заключению, что все меры к охране государя были приняты и что никакой действительной опасности его жизни не угрожало.

Между прочим, по поводу принимавшихся к охране императора мер на суде выяснилось, что, несмотря на крайнюю громоздкость, сложность, большую стоимость для казны и немалую обременительность для обывателей этих мер, в них имелся весьма существенный пробел. По словам одного из конвойных офицеров, подтвердившего данное ранее по этому поводу показание Ратимова, в царю, в его кабинет, мог действительно совершенно свободно и беспрепятственно проникнуть любой человек, одетый в конвойную форму, так как находившиеся на пропускных постах казацкие урядники не знали в лицо всех своих товарищей, а иных каких-либо мер для удостоверения личности проходящего во дворец конвойца установлено не было.

Со стороны обвинения был допрошен еще один свидетель-чиновник петербургского охранного отделения, заведывавший наружным наблюдением, показанием которого прокурор рассчитывал связать обвиняемых второй и третьей группы с первой и таким образом установить их причастность к задуманному главными из подсудимых преступлению. Но этот свидетель не оправдал возлагавшихся на него прокурором надежд. Он говорил весьма неуверенно, с чрезвычайно продолжительными паузами и почти все время и притом очень медленно и неясно читал принесенные им с собою в суд заметки, заключающие в себе сводку отдельных записей из дневников наружного наблюдения. При этом оглащенные им записи, удостоверявшие свидания подсудимых между собою на конспиративных квартирах, не всегда совпадали с теми, о которых тот же чиновник свидетельствовал на предварительном следствии, на основании, по всей вероятности, тех же филерских дневников, и причину такого разногласия свидетель разъяснить не мог. Сверх того, в отношении некоторых из этих свиданий, свидетель не мог установить часа, в который именно эти свидания происходили, и на предлагавшиеся в этом отношении со стороны защиты вопросы отвечал, что эти обстоятельства в находившихся при нем записках не значатся. Так как свидетель этот между прочим показал, что „по правилам охранного отделения наблюдение ведется лишь до швейцара дома, в который входит наблюдаемый, а дальнейшее наблюдение начальством запрещено“, то осталось не установленным, в какую именно квартиру входил тот или иной из наблюдаемых обвиняемых. Обратило на себе внимание также то обстоятельство, что, отмечая целый ряд свиданий обвиняемых, свидетель, на основании своих „дневников“, не устанавливал едва ли не самого важного из них, а именно последнего свидания Синявского с Ратиловым 13 марта на квартире Пельковой. „Дневники“, по которым упомянутый чиновник давал свои показания, были изложены на нескольких печатных бланках охранного отделения, таковые бланки, согласно ходатайству защиты и несмотря на возражения прокурора, были, по постановлению суда, приобщены к делу.

После допроса еще трех, четырех свидетелей обвинения, не внесших своими показаниями ничего нового в дело, суд перешел к допросу свидетелей защиты, которых последняя доставила в количестве около 30 человек. Показания этих свидетелей, сводившиеся главным образом к даче хороших отзывов о нравственных и личных качествах обвиняемых, также не дали ничего нового в смысле освещения обстоятельств этого дольно-таки темного и неясного дела, главным образом, в его наиболее существенном пункте — по вопросу о том, имело ли действительно место приготовление к царевнству или таковое явилось лишь плодом пылкой фантазии конвойного казака и его бывшего единомышленника, а затем подсудимого — Владимира Наумова.

Из показаний свидетелей этой группы наиболее интересными были следующие:

Прежде всего два родных брата Наумова, которые, и особенно подробно старший его брат Александр, указывали на дегенеративность, а потому и некоторую душевную ненормальность их брата Владимира. По их словам, — мать подсудимого умерла в чахотке через одиннадцать месяцев после его рождения; отец его, а равно и дед, были алкоголиками, при чем этому обстоятельству свидетель Александр Наумов приписал также то, что у жены его, свидетеля, дважды рождались мертвые дети, а родившаяся живую дочь через год умерла. Подсудимый Владимир Наумов, по словам его братьев, уже с ранней юности страдал сильными головными болями, сопровождавшимися рвотой, и был подвержен частым приступам беспричинной тоски и апатии. Он постоянно менял характер своей деятельности, часто бросал без видимых оснований начатое дело, за которое всегда брался с надеждами на исключительный успех: так, он брался то за книготорговлю, то за торговлю ядом для крыс, то за государственную службу и ни на какой из этих отраслей деятельности не остановиться не мог. На протяжении приблизительно восьми-десяти лет он шесть-семь раз покушался на самоубийство, но обыкновенно негодными средствами или в такой обстановке, что его попытки к лишению себя жизни могли быть предупреждены. В последнее время, по словам его брата Александра, подсудимый занялся пением, увлекался мыслью, что он может сделаться знаменитым певцом, хотя у него слух, по определению учителя музыки, ниже среднего. При этом, по совету своих знакомых, он пытался поступить в придворную капеллу, что было известно всем его родным, не смотревшим, однако, серьезно на такое его намерение.

Приведенные показания братьев Наумовых дали основание защите возбудить ходатайство об обращении дела в полном его объеме к исследованию на предмет исследования умственных способностей обвиняемого Наумова, так как, по мнению защиты, в зависимости от разрешения этого вопроса, стоял вопрос о виновности всех обвиняемых, ибо все настоящее дело возникло в сущности из действий Наумова, вошедшего в сношения с Ратимовым и затем оговорившего на предварительном следствии других обвиняемых. Однако это ходатайство защиты, согласно с заключением прокурора, поставившего, что для исследования умственных способностей Наумова, показания

его братьев не дают достаточного основания, было судом отклонено, при чем суд не нашел даже нужным вызвать в суд психиатра и подвергнуть Наумова психиатрическому исследованию хотя бы в судебном заседании.

Обратило на себя внимание также показание свидетеля Прокофьева, отца подсудимой Прокофьевой и ее брата, застрелавшегося в декабре 1906 года в гост. Гранд-Отель, в Петербурге. Этот свидетель остановился главным образом на том, что наименование в обвинительном акте его дочери „невестой“ Сазонова лишено всякого основания. По словам свидетеля его дочь познакомилась с Сазоновым лишь в пятнадцатилетнем возрасте, после чего не видела его в течение 3-х лет. Когда же затем Сазонов, выславший в административном порядке в Сибирь, следовал через г. Уфу и временно содержался в местной тюрьме, дочь свидетеля пыталась иметь с ним свидание, для чего и назвалась его невестой, каковое обстоятельство и послужило поводом сначала местному обществу, а затем и прессе вызывать ее невестой Сазонова. Указывая далее, что дети его много претерпели от притеснений административных властей, что и побудило их вступить на революционный путь, старик Прокофьев вместе с тем утверждал, что ни дочь его, ни тем более сын, никогда ни к каким революционным партиям не принадлежали.

О непричастности к этим партиям также и обвиняемого Колосовского показал на суде некий Щ., его товарищ по гимназии, удостоверивший, что Колосовский в феврале 1907 года вышел из партии с.-р. Равным образом и товарищи по лицу обвиняемого Юмме, дав ему общую характеристику, как человека очень хорошего, кроткого и правдивого, не допускали мысли о принадлежности его к какой-либо крайней революционной партии, а тем более такой, которая в своей тактике пользовалась бы террором. Такую же характеристику дали и товарищи по адвокатуре обвиняемым Феодосьеву, Тарасову и Чиаброву.

IV

В связи с допросом одного из свидетелей защиты—известного Бенедикта Мякотина—вновь перед судом возник поставленный обвиняемыми вопрос о том, что никакого заговора против жизни императора не существовало, и во всяком случае партией с.-р. царубийство еще не было поставлено в порядок дня. В этом именно смысле категорически высказался в заседании Гос. Думы 7 мая 1907 г. депутат соц.-рев. Ширский, сказавший буквально следующее: „Никакого заговора нет. Партия социалистов-революционеров как имеется об этом сообщение в думской группе от ее центрального комитета, к упомянутому заговору, если таковой действительно существовала или существует, а не выдуман с провокационной целью, никакого отношения не имеет“¹⁾. В правдивости этого заявления, по словам свидетеля Мякотина, не приходится сомневаться, так как революционная этика не допускает ложных сообщений в своих официальных заявлениях. Однако опрошенный

¹⁾ Ств. Отч. Гос. Думы. Сессия II. заседание 34. 7 мая 1907 г. стр. 229.

по этому поводу полковник Спиридович заявил суду, что, по имеющимся у него сведениям, приведенное заявление Ширского не соответствует истине, и собравшаяся вслед за тем в Терриоксах конференция партии с.-р., состоявшая из представителей ее центрального комитета, Петербургского и областных комитетов, а также и рабочих союзов, высказала свое порицание думской фракции этой партии по поводу того, что Ширский не имел достаточно гражданского мужества открыто признать, что обнаруженное правительством приготовление к царевубийству было организовано центральным комитетом.

На вопрос прокурора, от кого Спиридович получил эти сведения, свидетель сослался на начальника петербургского охранного отделения полковника Герасимова, сообщившего ему таковые вскоре же после думского заседания. Придавая этому показанию свидетеля весьма важное значение, прокурор просил вызвать полковника Герасимова для допроса. Однако это ходатайство прокурора встретило горячее возражение со стороны защиты, от имени которой один из защитников заявил, что на допрос Герасимова защита может согласиться лишь в том случае, если суд обяжет Герасимова указать источник его сведений, а так как суд на это согласен, очевидно не даст, то и допрос Герасимова будет беспечным. При этом, по словам того же защитника, ничего подобного тому, что рассказывают со слов своих агентов жандармские офицеры Герасимов и Спиридович, на терриокской конференции не происходило, и высказанное думской фракции порицание касалось совсем другого вопроса.

Суд после непродолжительного совещания постановил; ходатайство прокурора удовлетворить и полковника Герасимова вызвать в качестве свидетеля. Но Герасимов, опасаясь, повидимому, возможного на него покушения, так как считал себя уже давно приговоренным боевой организацией, не счит для себя безопасным явиться в суд, а прислал заявление о невозможности для него в виду серьезной болезни ноги прибыть в судебное заседание. Тогда суд постановил допросить свидетеля на дому, для чего и выбыл в полном составе вместе со всеми подсудимыми и защитниками в квартиру свидетеля, находившуюся в помещении охранного отделения, Мойка 12, где 12 августа в одном из зал отделения и было открыто судебное заседание.

Герасимов вошел в зал, опираясь на костыль и сильно прихрамывая, при чем по словам лиц, его знавших, он был будто бы несколько подгримирован. По принятии присяги он с разрешения суда занял в виду болезненного состояния ноги место в кресле перед судом, положив больную забинтованную ногу на другое кресло. Герасимов с большим апломбом и тоном, не допускавшим возражений, категорически заявил, что по имеющимся у него сведениям, источника ¹⁾ которых он по долгу службы открыть не может, покушение на царевубийство несомненно подготовлялось центральным комитетом партии, и что противоположное заявление по этому поводу с.-р. Шир-

¹⁾ Одним из этих источников полк. Спиридович в своей книге: „Партия социал-демократическая и ее предшественники. Петроград 1918“, называет Азефа (выписка на стр. 379).

ского в Гос. Думе, сделанное им по уполномочию того же центрального комитета, было несомненно ложное ¹⁾. Выяснилось это с несомненностью на термимской конференции партии, собравшейся в скором времени после означенного выступления Ширского, при чем некоторые из членов Петербургского комитета возбудили вопрос о том, на каком основании центральный комитет в заявлении Ширского отказался от участия в этом деле, — на что со стороны центрального комитета последовал ответ, что это было сделано по тактическим соображениям. Сверх того, свидетелю также известно, и притом вполне достоверно, что 1 июля 1906 года состоялось постановление центрального комитета о возобновлении террора, и отмены этого постановления пока не последовало, да и фактически террор не прекращался. Переходя затем к характеристике образа действий партии с.-рев. в связи с показанием свидетеля Мясотина о том, что партия в своих официальных заявлениях никогда не прибегала к ложным сообщениям, — полковник Герасимов с своей стороны высказал, что, по его мнению, названная партия весьма широко пользуется ложью во всех тех случаях, когда находит это нужным по тактическим соображениям. В качестве примера свидетель сослался на помещенную в представленном им № 2 от 12 июня 1907 г. печатного органа центрального комитета партии „Знамя Труда“ статью, озаглавленную: „убийство Черняка царским правительством“. В этой статье неизвестный автор указывал, что убийство Черняка совершено агентом петербургского охранного отделения Викторовым, получившим за это от правительства 3.000 р. и звание личного почетного гражданина, — в подтверждение чего в статье

¹⁾ Позднее, в № 3 „Знамя Труда“ центральный комитет партии вновь подтвердил словесное заявление Ширского в следующем, помещенном в этом №, официальном и не вызвавшем никаких сомнений сообщении;

„7-го мая 1907 года, в ответ на сделанное министром Столыпиным в Думе заявление о раскрытии подготовлявшегося одной из организаций „партии соц.-рев.“ заговора против царя, представителях думской группы соц.-революционеров заявлено было, что „партия соц.-рев.“ к упомянутому заговору никакого отношения не имеет. В настоящее время из обвинительного акта по делу о „заговоре“ обнаруживается, что обвинение предъявлено к целому ряду лиц, часть которых действительно состоит членами „партии соц.-рев.“. Центральный комитет заявляет, что партия вела, ведет и будет вести до фактического свержения самодержавия террористическую борьбу, стараясь довести ее до максимальных размеров; что эта борьба направлена против всех агентов правительственной власти, не исключая, как это заявлено в № 1 „Знамя Труда“ от 1 июня 1907 г., и представителей династии, и что партия никогда своих террористических актов и замыслов не скрывает.

По поводу предъявленного обвинения центральный комитет вторично подтверждает, что данной группе лиц, искусственно составленной следственной властью, никакого поручения на совершение террористического акта против царя давно не было и что эта группа такого покушения не готовила.

Если же сообщения обвинительного акта о переговорах, которые будто бы велись отдельными лицами о плане дворца, о царских поездках и проч., хотя бы в малейшей степени соответствуют действительности, то это следует отнести к области простых информации, которые может вести всякий член партии“. Подпись: „Центральный комитет партии социалистов-революционеров“.

приводится будто бы подлинная переписка министров: внутренних дел, иностранных дел и юстиции. По словам Герасимова агента с фамилией „Викторов“ ни при петербургском охранном отделении, ни при Департаменте Полиции никогда не имелось, и все напечатанные в приведенной статье документы очевидно подложны и сфабрикованы центральным комитетом при содействии одного уже известного охранному отделению мелкого чиновника м-ва юстиции с исключительной целью известить на правительство заведомо ложное обвинение и что ложность этой статьи уже доказана производящимся следствием. На вопрос защиты, производится ли по этому поводу жандармское дознание или предварительное следствие, Герасимов весьма резко заявил, что он на этот вопрос отвечать отказывается, так как „все равно через три дня все будет известно“. На следующий вопрос того же защитника, принадлежит ли упоминавшийся им чиновник м-ва юстиции, сфабриковавший, по его словам, документы по делу Черняка к партии с.-р., Герасимов не менее резко ответил, что и на этот вопрос он отвечать не желает, находя его не относящимся к делу. Возмущенный, повидимому, высокомерным тоном Герасимова, прис. пов. Маклаков демонстративно вышел из зала заседания.

Два других защитника, присяжные поверенные Зарудный и Соколов, обратились к суду с заявлением о том, что приведенный свидетелем Герасимовым пример о ложной, будто бы, статье в газете „Знамя Труда“ отнюдь не опровергает авторитетного свидетельства Мякотина, так как упомянутая газетная статья отнюдь не являлась официальным сообщением от имени центрального комитета партии и помещение в этой статье означенных документов, буде они действительно подложны, указывает лишь на то, что редакция газеты была введена в заблуждение тем чиновником м-ва юстиции, который доставил эти документы в редакцию.

На дальнейшие вопросы сторон о террионской конференции полковник Герасимов показал, что эта конференция собралась не по вопросу о заговоре а по целому ряду других вопросов тактического и программного характера. Вопрос же о заговоре возник случайно, при чем, по имеющимся у свидетеля сведениям, в петербургском комитете наблюдалось сильное недовольство центральным комитетом за его образ действий в настоящем деле.

Приведенное показание начальника петербургского охранного отделения было признано судом решающим по вопросу о партийном характере вменяемого подсудимым в вину злоумышления, и ходатайство защиты о новом вызове и дополнительном допросе свидетеля Мякотина для проверки показания полковника Герасимова было судом отклонено на том основании, что „возбужденный Мякотиным вопрос является совершенно выясненным только что выслушанным показанием Герасимова“¹⁾.

¹⁾ В дальнейшем, уже после февральской революции, Б. В. Савинков, упоминавший в своих воспоминаниях, помещенных в „Былом“ № 2, февраль 1918 г., „дело о заговоре“ и давая характеристику Никитенко, пишет: „Борис Николаевич Никитенко, перевезший меня на боте из Севастополя в Румынию, в конце 1906 года приехал

Допросом полковника Герасимова закончился допрос главнейших свидетелей. В дальнейшем суд перешел к осмотру приобщенных к делу вещественных доказательств и оглашению показаний не явившихся свидетелей. Осмотр вещественных доказательств суд начал с осмотра полученной Ратимовым записки с подписью „уважающ. Ольга“, приглашавшей его на свидание на квартиру Эмме, при чем через вызванного прокурором эксперта-каллиграфа было произведено сличение почерка, коим была написана эта записка с несомненным почерком обвиняемой Антонины Эмме, заподозренной в авторстве этой записки. При этом подсудимой Эмме судом было предложено записать в присутствии суда записку такого же содержания. По сличении этой записки с той, которая была получена Ратимовым, эксперт-каллиграф пришел к заключению, что, как по начертанию отдельных букв, так и соединению некоторых письменных знаков, почерк обеих записок совершенно тождествен, в виду чего по мнению этого эксперта не могло быть сомнений, что полученная конвойцем записка написана именно подсудимой Эмме. С таким категорическим заключением эксперта-каллиграфа совершенно разошелся выслушанный судом вслед затем вызванный защитой эксперт, известный судебный фотограф Буринский, который, объяснив, что без лабораторного исследования, безошибочного заключения о сходстве почерков делать нельзя, вместе с тем и не менее категорично заявил, что между несомненным почерком Эмме и тем, коим написана приписываемая ей записка, нет абсолютно ничего общего и характеры обоих этих почерков настолько различны, что не может быть и речи о том, чтобы эта записка была написана рукою Эмме. Сверх того, по мнению Буринского, способ, коим

в Петербурге вошел в боевую организацию Зильберберга (Штифтар). После ареста последнего, оставшиеся члены организации делали приготовления к покушению на царя. Никитенко в числе других товарищей был арестован 31 марта 1907 года (стр. 54). Говоря же про Ксению Зильберберг („Ирина“), Савинков указывает, что она принимала участие в покушении „и на царя“ и после ареста 31 марта 1907 г. выехала за границу“ (стр. 53).

Затем, по сведениям подк. А. И. Спиридовича, в приведенной уж выше книге его: „Партия соц.-революционеров и ее предшественники. Петроград, 1918 г.“, еще „в конце 1912 года, на заседаниях Парижской группы содействия“ по настоящему вопросу несколько раз выступал член партии Колосов, критикуя живую поведенья центрального комитета. Колосов доказывал, что как бы ни были велики интересы партии, во имя которых действовал центральный комитет, отказываясь от дела Никитенко, комитет не имел нравственного права не считаться с интересами личности, которых игнорировать нельзя... Взгляды Колосова по настоящему вопросу были развиты и в выпущенной им в те годы за границей брошюре: „Из области партийной этики“.

Далее Спиридович сообщает, что „после падения самодержавия, уже на допросах работавшей при Временном Правительстве чрезвычайной следственной комиссии некоторые члены партии впервые официально признали партийность подготовки покушения на царя, производившейся отрядом Никитенко. Тогда же партийность заговора удостоверил официально и Бурцев, вложивший записками об этом деле одного из лиц, принимавших в нем непосредственно участие“ (стр. 382 — 383).

производит исследование эксперт-каллиграф, весьма примитивен, так как нельзя сравнивать рисунки отдельных букв, сходство между собой конх не имеет решительно никакого значения, без обсуждения общего характера письма, и совпадения в начертании отдельных букв весьма часто встречаются в почерках разных лиц. В виду такого заключения Буринского, защита Эмме заявила ходатайство о производстве лабораторно-фотографического исследования почерков, коими написаны подвергавшиеся исследованию документы, но судом это ходатайство было отклонено, после чего попросил слово обвиняемый Никитенко, категорически заявивший, что письмо за подписью „уваж. Ольга“ написано вовсе не Эмме, а неизвестной, проживавшей с ним в одной квартире по паспорту его сестры Людмилы Никитенко и ныне скрывшейся „товарища Ирины“.

Допрошенный затем в качестве эксперта по брошюровочной части переплетчик Б. удостоверил, что переданная Наумовым конвойцу для розыска той конспиративной квартиры, на которой они должны были увидаться, визитная карточка подсудимого Эмме, по своему материалу и формату, совершенно тождественна с карточкой того же Эмме, которая была прибита на дверях его квартиры по Садовой ул. 80. Спрошенный по этому поводу подсудимый Эмме признал, что обе карточки принадлежат ему. Тот же эксперт удостоверил, что представленные Ратимовым два отрывных листка из блок-нота, на которых он в квартире Педьковой писал по указанию Синявского условные телеграммы о приездах в Царское Село великого князя и Столыпина, совершенно тождественны; как по проколам, так и по размеру и свойству бумаги с листками блок-нота, взятого при обыске у обвиняемой Педьковой. Последняя, спрошенная по этому поводу, не отрицала того, что означенные листки могли быть оторваны Синявским от ее блок-нота.

Затем были оглашены протоколы осмотра отобранных при обыске у обвиняемых и перечисленных выше вещественных доказательств, а также и представленный прокурором № партийных „известий центрального комитета партии с.-р.“, из коего яствовало, что совершенные в декабря 1906 года крупные террористические акты, а именно убийство 9 декабря в Твери чле а гос. совета графа А. П. Игнатьева, 15 того же декабря асмолинского губернатора Литвинова и, наконец, 21-го, петербургского градоначальника фон-дер-Лауница были совершены: первые два—летучим боевым отрядом центрального комитета партии с.-р., а последнее—центральным боевым отрядом той же партии.

Было оглашено также весьма характерное письмо отца Никитенко к сыну своему Глебу, младшему брату подсудимого, от того времени, когда Борис Никитенко находился еще на военной службе. Отец весьма скорбит о замеченной им перемене и образе мыслей старшего сына и говорит, что последний выходит по его совету в отставку, так как с его революционными убеждениями оставаться на военной службе нельзя, и что Борис, по своей честности и прямоте, сам это понимает. Далее отец Никитенко пишет, что Борис стал отличаться крайним образом мыслей только потому, что, будучи

человеком весьма добрым и бесхарактерным, окончательно подпал под влияние Ольги Тарасовой (подсудимой) и что он окончит тем, что поступит на службу не в Добровольный флот, как предполагалось, а к „террористам и жидам“.

По ходатайству защитника Соголова были приобщены к делу и оглашены аттестаты о службе Б. Н. Никитенко, из коих видно, что он был аттестован своим начальством, как великолепный во всех отношениях офицер, прекрасных нравственных качеств и выдающихся служебных достоинств.

Защитник подсудимого Завадского предъявил суду два разрешения министерства народного просвещения от 17 мая 1907 года на открытие Завадскому в Петербурге частного реального училища и обще-образовательных курсов, обращая внимание суда на то, что к тому времени, т.-е. к маю 1907 г., в охранном отделении уже должны были быть сведения о явочном характере квартиры Завадского, и так как означенное разрешение выдано с согласия петербургского градоначальника, то несомненно, по мнению защиты, оглашавшиеся на суде чиновником охранного отделения дневники филерских наблюдений составлялись задним числом.

Из показаний неявившихся свидетелей, по ходатайству прокурора были между прочим оглашены протоколы допроса:

а) Анастасии Михайловы, прислуги той квартиры, в которой нанимала комнату подсудимая Педькова: свидетельница показала, что Педькова предупредила ее о приходе „казака“, которого велела впустить в свою комнату, и что вернувшись домой после ухода „казака“, который никого не мог дожидаться, Педькова, узнав, что он ушел, сказала: „очень жаль“. По этому поводу подсудимая Педькова объяснила, что о предстоящем приходе к ней на квартиру конвойца она знала и отсутствовала умышленно по приказанию Сперанского, запретившего ей присутствовать при свидании казака с другими лицами. И что слова „очень жаль“ ею были сказаны в целях конспирации перед прислугой,

и б) Б., учителя пения, к которому в январе 1907 года обратился подсудимый Наумов с просьбой обучить его петь, при чем он получал с него 40 рублей в месяц. Из показания свидетеля видно, что Наумов торопил его, требовал, чтобы он подготовил его в три или четыре месяца, хотя способности у него были слабые.

Допрошенный затем судом об участии певчих придворной капеллы, в которую стремился попасть Наумов, в дворцовых церковных службах, один из чинов конвоя объяснил, что певчие этой капеллы участвуют иногда в молебнах, совершаемых в каком-либо из внутренних покоев дворца, и в таких случаях они могут оказаться в расстоянии лишь нескольких шагов от государя. Спрошенный по тому же вопросу брат подсудимого, свидетель Николай Наумов, служивший в капелле, показал, что придворная певческая капелла делится на три части, так называемую: „большую, среднюю и малую церковь“, и только последняя часть капеллы назначается на церковные службы во внутренних покоях дворца и в нее попадают только лучшие певчие и то

после двухгодичного испытания в „большой и средней“ церкви, а новичку, в особенности если он не обладает выдающимися дарованиями, и нельзя рассчитывать попасть в эту часть.

Затем защитой было предъявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля для опровержения показания полковника Герасимова о Терриокской конференции содержащегося в доме предварительного заключения студента петербургского университета Бориса Лойко, обвинявшегося по 126 ст. Уг. Улож. и арестованного, по сведениям защиты, сейчас же по его возвращении с Терриокской конференции (Герасимов между прочим показал, что в связи с названной конференцией и за участие в таковой никто арестован не был). Свидетель Лойко, допрошенный без присяги, в виду его отказа принести таковую, объяснил, что он не только не знает, что происходило на Терриокской конференции, но даже не знает, была ли таковая.

Допросом этого свидетеля было закончено судебное следствие, после чего суд перешел к выслушиванию прений сторон.

V.

Прения сторон начались с весьма пространной, продолжавшейся более трех часов и мало удачной речи помощника военного прокурора. Начал прокурор с заявления о чрезвычайном значении настоящего дела и о связи его с историческим заседанием государственной думы 7 мая 1907 г. Упомянув затем о том негодовании, которое вызвал один слух о предполагавшемся царевубийстве во всем русском народе и о тех всеподданнейших телеграммах, которые в неисчисленном количестве со всех концов России „до сегодняшнего дня обращаются к подножию престола“, — прокурор перешел к подробному изложению фактических обстоятельств дела. По словам прокурора весь собранный по этому делу обвинительный материал в своих существенных частях сводится к а) показанию Ратимова, б) показанию Наумова на предварительном следствии, при чем прокурор не придал никакого значения весьма существенному изменению этого показания на суде (снятию оговора с Никитенко в подговоре на царевубийство), в) дневникам филерского наблюдения, г) шифрованными записями в записной книжке Педьковой, подтвердившим частично данные филерского наблюдения, д) плану царскосельского дворца, оказавшемуся в записной книжке Никитенко, и е) показанию полковника Герасимова. Совокупностью всех этих данных устанавливалась, по мнению прокурора, совершенно бесспорно, личность в настоящем деле именно „приготовленная“ к царевубийству, а не только „умысла“ или „образования сообщества“ для совершения такового, как то полагала защита. Во второй части своей речи прокурор перешел к отдельным уликam в отношении каждого из подсудимых, стремясь охарактеризовать степень участия каждого из них, о вменяемом им всем в вину общем преступлении. Вся речь прокурора, несмотря на частые попытки оратора блеснуть красотой слога и образными выражениями, страдала вместе с тем отсутствием какой либо общей, руко-

водящей мысли и чрезвычайной бледностью представленных доказательств в отношении многих из подсудимых, особенно принадлежавших, по квалификации обвинительного акта, ко второй и третьей группам. Между прочим никакого различия между этими двумя группами прокурор не провел и не указал, почему одни лица отнесены к одной группе, а другие — к другой. Закончил свою речь прокурор громкой, но весьма мало удачной, как с ораторской, так, пожалуй, и с политической, по тем временам, точки зрения, фразой. Именно, обвинитель с большим пафосом воскликнул: „убивайте, кого хотите, можно убить кого угодно, убейте обвинителя по настоящему делу, но оставьте в покое царя, царя-реформатора, даровавшего России конституцию“. Сопоставление себя с царем и признание не признававшейся самим царем „конституции“, которой, по выражению одного из сановников того времени у нас тогда „слава богу не было“, — звучало по меньшей мере оригинально в ушах государственного обвинителя, одетого к тому же в военный мундир. В смысле наказания прокурор энергично настаивал на применении ко всем обвиняемым первой группы — высшей меры, сказав при этом, что подсудимыми руководили в их действиях отнюдь не „любовь к родине“, как это утверждают они, а „мсть и жажда террора“.

Значительно более сильное впечатление произвели речи защитников, особенно некоторых, Андреевского, Зарудного и Рапопорта. Почти каждый из защитников, не ограничиваясь защитой своего подсудимого, давал общую характеристику процессу и центральному в нем вопросу — о существовании самого заговора на цареубийство и приготовления к этому террористическому акту. Вопрос этот был особенно обстоятельно разобран в речах прис. пов. Соколова (защитника Синявского и Пигит) и Андреевского (защитника Федосьевой), при чем первый из них осветил этот вопрос с точки зрения юридической, а второй — психологической, в которой так силен был покойный большой русский оратор. Н. Д. Соколов, разбирая весьма обстоятельно состав преступления, в котором обвинялись подсудимые, приходил к выводу, что ни с точки зрения уголовного закона, ни судебной практики (решение пр. сената по делу Готца), ни равно уголовной теории (мнения лучших русских криминалистов профессоров Таганцева и Сергиевского), — в действиях подсудимых, если даже и считать их установленными в полном объеме обвинительного акта, нельзя усмотреть признаков приготовления к цареубийству, предусмотренного 3 ч. 101 ст. Уг. Ул., и единственное, в чем их можно признать виновными, если даже и признать, что цареубийство входило в их план, что у них возникал подобный „умысел“, это — в составлении с указанною целью преступного сообщества, что предусмотрено 102 ст. Уг. Уложения. Если же признать, как то находит защита, что в план обвиняемых цареубийство совсем не входило, то виновность их может быть квалифицирована лишь по 126 ст. того же уложения. Защитник указывал, что так и смотрели на это дело гражданские судебные власти, пока дело в стадиях предварительного следствия находилось в их ведении, — а военный прокурор, к которому затем перешло это дело, повысил это обвинение, не имея к тому никаких

новых данных. Далее оратор находил, что по русскому уголовному праву приготовлением к совершению преступления может почитаться приобретение или приспособление средств, необходимых для определенной цели, но отнюдь не одно лишь предварительное соби́рание сведений. Правда, эти сведения могли быть необходимыми для составления известного плана, по которому соби́ралось действовать данное сообщество — но пока этот план не выработан и к осуществлению его не приступлено, не может быть и речи о приготовлении. По настоящему же делу никакого ровно плана составлено не было и прокурор не может указать, каким же способом предполагено было произвести покушение: а) в Баболовском ли парке — переодетой чухонкой-молочницей, б) в парсосельском ли дворце переодетым конвойцем, или наконец в) путем определения Наумова в придворные певчие. Но цели царубийства вообще у подсудимых и не было, замысел этот окончательно был оставлен самими же членами кружка, что достаточно ясно видно из сказанных Свиявским Ратимову слов „самого мы пока оставим“. Заканчивая свою речь прис. пов. Соколов полагал, что ко всем подсудимым вообще, в случае признания того или другого из них виновным, суд должен отнестись снисходительно, так как действительность их никакого материального вреда не принесла и оставалась только в пределах „умысла“, при чем к легшему в основание всего дела показанию конвойца надлежит отнестись с особой осторожностью, так как этот свидетель передает не только наблюдавшиеся им факты, но и факты, им самим созданные.

С другой стороны к тому же вопросу подошел присяжный поверенный С. А. Андриевский, начавший с того, что, прослушав внимательно все дело, он вынес искреннее убеждение, что „все дело о заговоре есть сплошное недоразумение“ и что если суд хочет быть по этому делу на высоте исторического положения, то должен это доказать своим приговором. Имеются четыре виновных (защитник перечислил их: Никитенко, Свиявский, Наумов и Пигит, а предано суду — 18). Переходя затем к обстоятельствам дела, оратор останавливается прежде всего на первом знакомстве Наумова с конвойцем летом 1906 года и говорит, что „в это пьяное время“, время государственной думы, „Думы народного гнева“, когда престиж правительственной власти был уже в значительной степени подорван, — неуравновешенный, весьма недалекий и близкий к психопатизму Наумов увлекся модной тогда темой — революцией, и вообразил, благодаря „близости своей ко двору“ и случайному знакомству с конвойным казаком, что ему, Наумову, суждено сыграть самую крупную роль в революции и обессмертить свое имя, перевернув весь ход истории. С другой стороны, весь преданный своему долгу службы, горячий патриот и славный малый, конвойный казак, поняв из слов Наумова о возможной опасности для государя, насторожился и решил, выведав от Наумова все планы революционеров, к которым, как хвастался Наумов, он принадлежал, в отношении государя, предать их в руки властей. Казак спокойно слушал всю болтовню Наумова и думал: „болтай себе, болтай, а как только начнется действительная опасность — я спасу государя“. В противополож-

ность другим защитникам, Андреевский находил, что роль Ратимова в этом деле была „безупречна и так должен был поступить каждый честный солдат“. Таким образом союз Наумова и казака был основан не на терроре, а исключительно на личности государя. Но тут-то и началось недоразумение, легшее в основу разыгравшейся в жизни Наумова трагедии. Он, упоенный мечтами об ожидающей его славе, втирается в общество революционеров и знакомится с террористами, которые видят в нем и в конвойце, с которым он их знакомит, превосходный материал для осуществления своих террористических планов, но не в отношении государя, которого они, по своим соображениям, пока не трогали, а в отношении высших правительственных лиц. Происходит недоразумение, обнаруживающееся при первых же свиданиях конвойца с террористами. Бравый конвоец заботится исключительно об особе государя, а террористы — получением нужных им сведений для истребления начальства, от государя поставленного. И потому конвоец на этих свиданиях все время говорит о государе, — а террористы, слушая его мельком, переводят разговоры на другие темы. При последнем торопливом свидании вопрос окончательно выясняется. Террорист Снявский прямо говорит „самого мы пока оставим“, и устанавливает текст условных денег, касающихся приезда вел. кн. Николая Николаевича и Столыпина.

Конвоец успокаивается: „от царя отступаются“, и роль его в деле, в сущности, кончена, почему дальнейшие свидания с ним и не возобновляются. Вместе с тем распадается и союз его с Наумовым, который во всем этом деле сыграл самую бессмысленную роль и теперь сам не понимает, как он попал в такое положение. Оратор усиленно подчеркивает имеющее в деле решающее, по его мнению, значение показание Никитенко, который самым категорическим образом утверждает, что даже и помысла покушения на государя не было. „Словам Никитенко надо верить. Он был честным офицером и сделался таким же честным революционером. Ему терять нечего, и, приняв на себя роль царевубийцы, он со своей точки зрения приобретает историческое бессмертие. Отступаясь от этой роли, он по собственному почину терлет право на это бессмертие и низводит себя на степень рядового террориста, и не дело суда награждать его теми лаврами, которыми он, по своей честности, не считает себя в праве украсить. Суд своим приговором должен засвидетельствовать перед всей мятущейся Россией, что особа монарха и ныне вне революции. Это чрезвычайно важно знать для всей России, это важно и для престола“.

Об историческом значении этого процесса упомянул в своей речи и защитник подсудимого Эмме, прис. пов. Базунов, сказавший, что „этот процесс несомненно попадет в историю, которая отнесется снисходительно к прокурору, возбуждающему неосновательные обвинения, но строго осудит суд, ронящий свое достоинство неправосудным приговором“.

На этом же вопросе, о наличии в действиях обвиняемых приготовления к царевубийству, останавливались и многие из остальных защитников. Так, прис. пов. Зарудный, установив вопросы, в которых защита сходится с прокуратурой (принадлежность некоторых подсудимых к террористам, наме-

рение совершить террористические акты в отношении высших правительственных лиц, возникновение умысла о царубийстве) оратор резко отмежевывается от прокуратуры по капитальнейшему вопросу дела (о „приготовлении“ к царубийству), категорически утверждая, что вопрос о царубийстве, возникший было в разговорах конвойца с Наумовым, был тотчас же оставлен, как неприемлемый, и все, что было в этом направлении, не пошло далее простых разговоров, не имевших никакого практического значения. Приговором суда, по мнению защитника, должно быть непоколебимо установлено то положение, что вопрос о монархии в России есть вопрос в настоящее время бесспорный для всех партий, и его не ставят пока даже террористы, принадлежащие однако, по своим убеждениям, к республиканцам.

Существенно, по мнению защитника, и то, что партия с.-р., открыто выставившая на своем знамени террор, не скрывавшая в общем своих планов, ни разу еще до сих пор не обмолвилась ни в одном из своих печатных изданий тем, чтобы вопрос о царубийстве для нее назрел. Сопоставляя заявление в государственной думе соц.-рев. Ширского с показаниями полк. Герасимова на суде, защитник приходит к выводу, что последний был очевидно введен в заблуждение своим агентом, присутствовавшим на Терновской конференции. Касаясь затем показания Герасимова о ложном сообщении партии с.-р. по делу Черняка, защитник не усматривает в этом показании противоречия с показаниями Мясотина, удостоверившего, что партия никогда заведомо не сообщает неправды в своих официальных сообщениях. Если по делу Черняка сообщение партии и было, как то полагает Герасимов, неверно, то во всяком случае партия ложно освещала деятельность правительства, а не свою. Находя, что ни одна уважающая себя политическая партия не станет в собственных своих интересах открыто говорить ложь, защитник говорит, что, как по существу, так и по здравому смыслу и по совести, показание Герасимова не может опровергать заявление Ширского. В виду всех этих соображений Зарудный находит, что по настоящему делу совсем не могут быть применены ни 101 ст. Угол. Улож. (приготовление к царубийству), ни 8 ч. 102 ст. того же Уложения (сообщество для царубийства), а лишь 126 ст., предусматривающая образование сообщества для ниспровержения существующего строя.

Защитник Никитенко, прис. пов. Никонов также находил, что подсудимые не могут быть признаны виновными в приготовлении к царубийству, так как ничего реального, ничего конкретного в смысле осуществления заговора не было сделано и вся организация этого заговора была, если так можно выразиться, чисто кустарная. Защитник обращал также внимание суда на то, что подсудимым вменяется в вину склад оружия и взрывчатых веществ, — неизвестно где находящийся. На суде промелькнуло лишь сообщение о складе, обнаруженном в Севастополе у врача Архангельского и состоявшем из четырех карабинов и патронов. По мнению защитника совершенно невозможным представляется предположение, чтобы действующая в Петербурге боевая организация посылала за оружием для совершения террористических актов в Севастополь. Защитник просил судей проявить гражданское мужество и признать

подсудимых виновными лишь в том, что они совершили. „Государство не может бороться со своими политическими врагами путем неправосудных приговоров.

Оно может уничтожать своих врагов, казнить их без суда, но прикрываться именем суда, это — подрывать веру в правосудие, веру в монархический принцип. Правосудие, совершенное именем его величества, не может совершать несправедливости. Подсудимые не могут быть признаны виновными в приготовлении к царевубийству, так как из слов Синявского, переданных Ратимовым („пока самого оставим“), ясно, что они этот умысел оставили и не имеется ни малейших намеков, чтобы этот умысел был возобновлен“.

Защитники Наумова присяжные поверенные Елисеев и Муравьев находили, что никакого приготовления к царевубийству не могло быть и потому, что Наумов, который по замыслу террористов будто бы предназначался для царевубийства, был совершенно неподходящим для этой роли. По словам Муравьева, Наумов был не деятелем революции, а ее жертвою. Его слабая, болезненная воля, желание порисоваться и материальная нужда, вовлекшая его в положение зависимости от революционеров, создали те неблагоприятные для него условия, которые заставили его оказывать известные услуги революции, выразившиеся, однако, исключительно в том, что он познакомил революционеров с конвойцем. Последний в судьбе Наумова сыграл роковую роль. Получив указания от своего непосредственного начальника — командира конвоя „не искать сближения с Наумовым, но и не уклоняться от такового“, — конвоец, к сожалению, получил также из другого источника и другие, более широкие полномочия. И косвенным результатом этих полномочий и явились вмененные Наумову в вину действия. Задумав расстаться с революционерами, Наумов решил поступить в капеллу, которая, как видно из показания одного из служащих в этой капелле, не могла его приблизить к государю, а скорее удаляла от него. Получая, однако, деньги от Нижитенки, Наумов таким образом „спекулировал“ с революционерами на их же средства. Они платили ему деньги, чтобы иметь в придворной сфере своего человека, он брал эти деньги чтобы уйти от них. История с капеллой есть ни что иное, как шантаж с его стороны. Далее оратор указывал, что предполагаемое преступление абсолютно не могло быть совершено, так как власти, бывшие все время в курсе сношений конвойца с Наумовым, конечно, не допустили бы никакого покушения. Находя также, что Наумов, как человек не идейный, не может быть признан и членом какого-либо преступного сообщества, защитник полагал, что его можно обвинять только лишь в пособничестве такому сообществу. Горячо возражая затем против заявленного прокурором требования о применении к подсудимым первой группы высшей меры наказания и перефразируя то место речи прокурора, когда последний говорил, что обвиняемыми руководила не „любовь к родине“ как они это утверждают, а лишь жажда террора, присяжный поверенный Муравьев говорит, что чувство мести, а не любовь к родине руководит теми, кто требует высшей меры наказания. Закончил свою речь Муравьев выражением твердой уверенности, что „по этому бескровному делу и в приговоре не должно быть крови“.

Другой защитник Наумова, прис. пов. Елисеев, обратил между прочим внимание суда на то явно несообразное обстоятельство, что Наумов будто бы предлагал Ратимову совершить царубийство лишь через несколько месяцев после того, как тот же Ратимов решительно отказался от сделанного ему предложения убить Трепова, при чем, по словам Наумова, Ратимов даже испугался этого предложения.

Браткую, но очень сильную и убедительную речь произнес думский Демосфен, защитник обвиняемого Феодосьева, прис. пов. Маклаков, давший на основании свидетельских показаний яркую характеристику своего подзащитного. Обращаясь затем к имеющимся в отношении Феодосьева уликам и указывая, что таковые сводятся: 1) к дневникам филерских наблюдений, установивших неоднократные посещения квартиры Феодосьевых подсудимыми Никитенко, Тарасовым, Бибергаль и единичное — Рогальским, 2) найденным в его квартире² материалом по Кронштадскому бунту и 3) передаче корреспонденции, в том числе упомянутых условных телеграмм на имя Никитенко — этому последнему, защитник обращает внимание суда на несерьезность этих улик. Посещавшие Феодосьева, Никитенко и Тарасовы — его родственники, а первый из них сверх того и секретарь, Бибергаль — подруга по высшим курсам Ольги Тарасовой, а Рогальский, если и был, хотя филер мог и ошибиться, то в день (14 марта) доказанного отсутствия супругов Феодосьевых из дому и, следовательно, не у них, а у Никитенко, который в качестве секретаря занимался в их квартире. Что касается до оказавшихся при обыске в его квартире документов по Кронштадскому восстанию, то, не говоря о том, что таковые составляют вещественные доказательства по другому делу, по которому уже привлечена в качестве обвиняемой жена Феодосьева, самое обнаружение их в квартире Феодосьева после того, как он уже знал об аресте Бибергаль, передавшей, по ее словам, ему эти документы и участницы, по словам обвиненных, того же сообщества, в котором будто бы состоял и Феодосьев, убеждает Маклакова лишь в том, что, беря эти документы на хранение, он не знал их содержания. Иначе, узнав об аресте Бибергаль и поняв, что полиция нашла на след заговора, он немедленно бы или отвез эти документы для хранения в безопасное место или бы их уничтожил. Так же несостоятельна и третья улика; корреспонденцию на имя Никитенко Феодосьев вполне добросовестно передавал по назначению, очевидно, не зная о ее содержании, что видно уже из того, что он делал это без соблюдения элементарнейших правил конспирации, доверяя „условную“ телеграмму посыльному, который в свою очередь отдает ее дворнику дома Никитенко. Затем срочная по своему содержанию телеграмма, полученная вечером, была передана посыльному лишь в 2 часа следующего дня. На последней уликe подробно остановился прис. пов. Андреевский — защитник Софии Константиновны Феодосьевой, получившей вторую „условную“ телеграмму. По словам Андреевского — Феодосьева, получив эту телеграмму вечером 30 марта и узнав из ее содержания весьма важные для заговорщиков сведения — о предстоящем проезде Столыпина, — вызывавшие, казалось бы,

необходимость в немедленной, срочной передаче их по назначению и вообще в целом ряде экстремных распоряжений, должна была немедленно, „на лихаче“ или „моторе“, оповестить соучастников о получении этой телеграммы, „надо всю ночь работать“. Что же делает Феодосьева? — спрашивает защитник. Она ложится спать и лишь на другой день, в 2 часа дня посылает телеграмму Никитенко. Это—либо имена заговорщиков, либо—сумасшествие. Так как ни того, ни другого нет, остается одно объяснение: она не знала шифра, она не поняла этой телеграммы. Такое ее поведение, по выражению старинного закона, „лучшее всего света доказательство“ ее невинности.

Не менее обстоятельному и едкому разбору подверг имевшиеся в отношении Константина Эмме улики его защитник — присяжный поверенный Вазунов, указавший между прочим, что Эмме ставят чуть ли не в главную вину то, что, когда Рагимов пришел к нему на квартиру, он, Эмме, бывший лиценст и воспитатель лицей, подлил простому казаку руку. Нельзя, по словам защитника, преувеличивать значения пустых, не имеющих никакого значения обстоятельств. Во время слушания этого дела, в одном из перерывов, в судейском буфете, один товарищ прокурора подал руку официанту. Эмме человек чрезвычайно занятой, рассеянный и удивительно добродушный. Руку он подал чисто машинально, не разобрав, кто пришел. Люди с достатком и занятые живут интересами, особыми от своих жен, и часто не знают их знакомых, как жены не знают знакомых мужей. Эмме не имел времени и не мог вмешиваться в дела своей жены, а тем более ее подруги — Пигит.

Ту же тему более подробно развивал защитник Антоний Густавович Эмме, присяжный поверенный князь Эристов, указавший, что если в квартире Эмме имели место какие-либо встречи других лиц, то во всяком случае в этих свиданиях супруги Эмме никакого участия не принимали и смотрели на приходящих незнакомых им лиц, как на посетителей их квартирантки Пигит, связанной с Антонией Эмме давней дружбой еще по гимназии. Непричастность Антонии Эмме к какому-либо сообществу защитник выводил еще из того обстоятельства, что наружное наблюдение не отметило ни одного посещения ею кого-либо из привлеченных к делу лиц. Переходя затем к оценке экспертизы письма за подписью: „уваж. Ольга“, приписываемого экспертом-каллиграфом подсудимой Антонией Эмме, защитник находит, что метод исследования по сходству отдельных букв, принятый этим экспертом, представляется совершенно не научным, тогда как экспертиза известного судебного фотографа Вуринского, пришедшего к диаметрально противоположным выводам, отвечает всем требованиям науки. Вскользь защитник указал на совпадение подписи „Ольга“ с именем сестры Эмме, жившей в той же квартире, но от вызова этой свидетельницы он отказался, опасаясь того, что она, желая выручить Антонию Эмме, могла бы это письмо признать своим, хотя на основании объяснения подсудимого Никитенко защитник считает установленным, что упомянутое письмо было написано проживавшей в квартире у Никитенко по паспорту его сестры: „товарища Ирины“ (Зиглерберг).

Присяжный поверенный Переверзев, защитник обвиняемых Бибергаль, Рогальского и Брусова, указывал, что зарегистрированные наружным наблюдением посещения Бибергаль квартиры Феодосьевых и Тарасовых не имеют никакого значения, так как эти лица — ее давнишние близкие знакомые. Что же касается до найденных у нее при обыске подложных паспортов, из коих по одному — на имя Стаевич — она проживала, а также и значительного количества революционной литературы, защитник находил, что как эти предметы, так равно и документы, перевезенные подсудимой Бибергаль в квартиру Феодосьевых и там обнаруженные по обыску, не имеют значения для настоящего дела, так как составляют лишь архив революционной деятельности, известной организации, который и был сдан на хранение, конечно, не члену боевой группы, подверженному ежеминутной опасности обыска и ареста, а лицу, не возбуждающему своей деятельностью никакого подозрения. По мнению оратора — Бибергаль, быть может ранее и принимавшая участие в какой-либо крайней партии „отходила от революции“, но еще не успела порвать все многочисленные связи со своими бывшими товарищами и единомышленниками, доказательством ее желания вернуться на легальное положение и заняться мирным научным трудом может служить то, что прошение свое о принятии на курсы, которое защитник представил суду, она подписала своей настоящей фамилией. В отношении Рогальского прис. пов. Переверзев указывал на отсутствие улики: вменяемое ему в вину посещение 14 марта квартиры Феодосьевых, где в то время находились Никитенко, сверх спорности этого посещения, может быть также объяснено тем, что названный подсудимый заходил к Феодосьеву, как к адвокату посоветоваться по таготевавшему над ним: уголовному обвинению по г. Одессе (из оглашенной на судебном заседании справки видно, что Рогальский, он же Бугаковский, был в Одессе привлечен в качестве обвиняемого по 2 ч. 126 ст. Угол. Улож., но остался не допрошен, так как скрылся). Относительно третьего своего подзащитного — Брусова — защитник выразил свое глубокое недоумение тому, что он привлечен к настоящему делу в качестве обвиняемого, так как он скорее должен был бы выступать в качестве свидетеля, ибо никакого уличающего его материала в деле нет и таковым не может служить оказавшийся в записной книжке Педьковой его полужашифрованный адрес.

Защитник Педьковой и Колосовского прис. поверенный Ратнер указывал, что все обвинение Педьковой основано на ее знакомстве со скрывавшимся Сперанским, который подвел ее так же, как Никитенко Феодосьевых.

Педькова, по просьбе Сперанского, предоставила свою квартиру для свидания Ратникова с Синавским, не зная о цели предстоявшего свидания, что явствует уже из того, что ее намеренно удалили с квартиры во время свидания. Обнаруженная у нее записная книжка с зашифрованными записями передана ей также Сперанским, при чем шифр этих записей весьма оригинален: фамилии и улицы не зашифрованы, а лишь номера домов. Педькова не скрывала, что она оказывала небольшие услуги Сперанскому, зная, что он социалист-революционер, но она не была посвящена в дело боевой организа-

ции. Не все то, что делают социалысты-революционеры—незаконно, они участвовали и в законодательной деятельности, и знакомство с ними или оказание им услуг в легальной части их деятельности еще не есть преступление. Дав затем характеристику обвиняемой на основании в высшей степени дельного о ней отзыва директора высших женских курсов Фаусека, защитник настаивал на том, что она не может быть обвинена по 102 ст. Уг. Улож. и если суд не найдет, что она уже достаточно наказана предварительным арестом, то он ходатайствует о применении к ней карательных постановлений закона за пособничество к преступлению, предусмотренному 1 ч. 126 ст. того же Уложения.

В отношении подсудимого Колосовского прис. пов. Ратнер просил о полном оправдании, находя, что весь имеющийся о нем материал сводится к тому, что, согласно филерским записям, к нему 8 февраля три или четыре раза заходил подсудимый Никитенко. Других улик не имеется и до 8 февраля, а равно и после этого числа, о Колосовском никто ничего не слышал.

Равным образом о полном оправдании подсудимого Завадского просил и его защитник — прис. пов. Баунов. Обвинение Завадского было также основано исключительно на филерских записях. Но наружное наблюдение ведется лишь до ворот дома, и куда дальше идет наблюдаемый, в чью квартиру, филер не знает. Дом, в котором жил Завадский со своими родителями, шеститажный, между тем по словам Наумова он был в квартире, находящейся в 4-м или 5-м этаже, — значит не в квартире Завадского. Вместе с тем Наумов категорически заявил, что до встречи на скамье подсудимых он никогда ранее Завадского не видал и даже не слышал его фамилии. Таким образом очевидно, что фамилия Завадского появилась из секретных сведений, но таковые могут быть основанием для подозрения, для ареста, для скамьи подсудимых — но не для судебного приговора. Невозможно также допустить, чтобы сознательный конспиратор устраивал конспиративную квартиру рядом с квартирой своих родителей. Указывая затем, что Завадский, как ученый зоолог, педагог и сотрудник газеты „Слово“, был всегда вне политики, защитник находил осуждение его по настоящему делу совершенно недопустимым!

Из всех речей защиты наиболее может быть сильное впечатление произвели красноречивые слова прис. пов. Зарудного и Раппопорта, сказанные: первым — в защиту Прокофьевой, и вторым — Чиаброва.

Отметив трагическое значение в жизни Прокофьевой незаслуженно приклеенного к ней титула „невесты Сазонова“, которого она знала еще тогда, когда последний ничего иного, кроме „Московских Ведомостей“ не читал, и утверждая, что Сазонова в качестве убийцы Плеве она никогда не видала, и вспоминая попутно, что Сазонов даже после этого убийства, лежа раненый в больнице, в бреду говорил: „против царя я ничего не имею“ — оратор в чрезвычайно прочувствованных и трогательных выражениях обрисовывает нравственный облик обвиняемой, основной чертой которого является ее безграничная доброта. Находя, что Прокофьевой ставится в вину лишь тот факт, что она была горничной у Никитенко и что никаких иных данных по отно-

шению ее не имеется, защитник полагает, что этот факт сам по себе был бы достаточен для оставления ее по старому процессу „в подозрении“, но не для обвинения при действии суд. уставов Александра II, в тяжчайшем государственном преступлении. Заканчивает Зарудный свою речь красивым сравнением подсудимой с тихой лампадой, от которой расходятся во все стороны тихие, спокойные лучи. Красивая, спокойная наружность обвиняемой, несколько напоминающая иконописца Васнецова, дает этому сравнению известное основание, и, подчеркивая вновь ее незлобивость, защитник говорит, что суд, вынеся ей обвинительный вердикт, к которому она приготовлена, считая его предрешенным, прочтет в ее глазах „ненависть, не злобу, а прощение судьям“; если же будет оглашен оправдательный вердикт, то в тех же кротких глазах засветится „благодарность и уважение к вашему правосудию“.

Последним из защитников говорил прис. пов. Раппопорт, защитник обвиняемого Чиаброва. В чрезвычайно сильной по искренности чувства и силе убеждения, с большим подъемом произнесенной речи оратор указывал на совершенное отсутствие улик в отношении его подзащитного, признанное почти и самим обвинителем, заявившим, что третья группа обвиняемых, к которой принадлежит и Чиабров, изобличается одними записями в дневниках филерских наблюдений. Но записи эти, как выяснилось на суде, далеко не точны, и придавать им серьезное значение нельзя. Наилучше характеризует эти записи, по мнению защитника, то обстоятельство, что, отмечая целый ряд никому неизвестных и может быть совсем и не бывших свиданий между обвиняемыми, филеры упустили отметить самое серьезное свидание между Снявским и Ратиновым, имевшее место 13 марта в квартире Педьковой. (Обстоятельство) это, по мнению Раппопорта, весьма характерно и свидетельствует, что к этим „записям“ надо относиться весьма осторожно, и в крайнем случае они могут служить разве лишь основанием к подозрению. „За подозрение же и по подозрению русский суд не осуждает“. Далее защитник указывает на заключающееся, по его мнению, внутреннее противоречие в самом обвинении, предъявленном Чиаброву. Он, как и все остальные обвиняемые третьей группы, обвиняется в том, что, не принадлежа к составу сообщества, но зная о таковом, его целях и планах, оказывал членам его содействие, предоставив в их распоряжение свою квартиру. Не принадлежа к сообществу, нельзя, по мнению защитника, знать его планы и намерения: заговорщики не рассказывают таковых первому встречному. Установленное наблюдением троекратное посещение квартиры Чиаброва совершенно неизвестными ему Никитенко, Пигит, Сперанским и один раз Педьковой, объясняется совершенно естественно тем, что он оказался такой же жертвой образа действий Сперанского, какою явилась и Педькова. Квартира Чиаброва была крайне удобным помещением для подобных совещаний. У него, человека холостого, и с его разрешения в его отсутствие часто собирались для совещания члены профессиональных союзов, юринкомсультом которых он состоял. Об этом стало известно Сперанскому от одного из членов этих союзов, Александра Яковлевича Майоранского, и он решил воспользоваться этим обстоя-

тельством для своих целей. Вот почему ясный, входивший в квартиру Чнаброва, должен был говорить, что он пришел „от Александра Яковлевича“, и тогда его беспрепятственно пропускали. Заканчивает свою речь защитник сердечной характеристикой обвиняемого, его личного друга и товарища, попавшего совершенно случайно в тяжелую беду. Указывая, что Чнабров есть так же, как и многие из подсудимых, случайная жертва революции, которая „подобно бушующему океану, обдаст своими брызгами случайных прибрежных жителей“, и скорбя, что не мог привести в суд для обрисовки светлой личности обвиняемого его друзей, как это сделали другие подсудимые, оратор в трогательных выражениях говорит о тех душевных муках, которые в настоящее время переживают на далеком Кавказе его старуха-мать и подростки-сестры, после чего, обращаясь к подсудимому с горячими словами утешения, восклицает: „Мужайся, Чнабров!“.

Речи защитников вызвали краткое возражение прокурора, который, не касаясь более фактической стороны дела, представил лишь целый ряд юридических соображений, в силу которых, по его мнению, в настоящем деле имеются налицо все признаки преступления, вменяемого „приготовленным“ к царубийству, а не только „умысла“ или „сообщества“, как то полагала защита. Вместе с тем прокурор указывал на невозможность удовлетворения ходатайства защиты о признании некоторых из обвиняемых виновными лишь по 126 ст., и остальных по 102 ст., усматривая в таком вердикте, буде таковой последует, логическое противоречие. Окончил свою вторую речь прокурор указанием возможности для суда смягчения участи тех из подсудимых, виновность которых в предъявленном им по обвинительному акту преступлении не будет судом признана вполне доказанной. Таких обвиняемых суд должен признать виновными в недонесении, при чем в виду нахождения на скамье подсудимых трех из семей (Феодосьевых, Эмме и Тарасовых), прокурор напомнил судьям о не вменяемости по закону недонесителей преступлений своей жены или мужа, но правило это, дополнил прокурор, не относится к отдаленным родственникам, а тем более к „домашним секретарям“ (нарек на подсудимого Феодосьева). Мотивируя далее заявленное им в первой речи ходатайство о применении высшей меры наказания к главным обвиняемым, прокурор говорит, что необходимость в применении тягчайшего наказания вызвана кровавыми действиями партии соц.-революционеров „ведущей революцию по трупам и в море крови“.

После кратких реплик защитников, сводившихся, главным образом, к ходатайствам о возможном смягчении участи тех из обвиняемых, которые будут признаны виновными, было предоставлено последнее слово обвиняемым. Некоторые из них — Прокофьева, Пигит, Рогальский, Бибергаль и Колосовский — отказались от этого своего последнего права. Также не пожелал ничего сказать в свою защиту и Никитенко, произнесший буквально следующее: „Я считаю своим нравственным долгом вновь самым категорическим образом подтвердить, что Феодосьевы никакого отношения к моей деятельности не имеют. Элементарное правило конспирации не увеличивать в пись-

менных документах количества фамилий лиц, являющихся сообщниками. В виду этого если бы Феодосьев был моим сообщником, я никогда бы не выставил в своем условном адресе его фамилии, а я даже и для телеграмм дал адрес: „Феодосьеву-Никитенко“. Все сказанное относится и до Тарасовых“. Обвиняемый Синявский весьма вызывающим тоном сказал: „Считаю свои объяснения законченными“, а Наумов, наоборот, совсем подавленным тоном проговорил: „Я рассказываю во всем, мне очень тяжело“. Остальные подсудимые, кратко повторяя дававшиеся ими ранее объяснения, категорически отрицали свою виновность. Подсудимая Педькова, производившая вообще очень симпатичное впечатление, дает без всякой рисовки простым и естественным тоном объяснение своему случайному, как она говорит, участию в этом деле. Резюмируя кратко все имеющиеся против нее данные и заявляя, что она, будучи предана в сущности лишь своим учебным занятиям, вместе с тем мало интересовалась политикой, куда ее подруги даже и не допускали, зная, что она не твердо ознакомлена с различиями партийных программ. Не отрицая, что она сочувствовала программе партии соц.-рев., детальные подробности которой, однако, ей были плохо известны, она действительно оказывала некоторые услуги Сперанскому, считая таковые безразличными и не предполагая даже о его замыслах. Подсудимый Завадский, отрицая предоставление им своей квартиры заговорщикам для конспиративных целей, сказал, что он прощает Наумову, „по необдуманности своей навакшего на него подозрение“. Подсудимый Чнабров: „Все уже сказал защитой, я — ни душой, ни телом не виноват“.

Последние слова подсудимых были окончены 16 августа в 11 ч. 30 м. дня. Суд удалился для совещания и в 4 ч. 35 м. того же дня вынесена резолюция, согласно которой:

а) признаны виновными в приготовлении к посягательству на священную особу государя императора и осуждены к смертной казни через повешение подсудимые: 1) Никитенко, 2) Синявский (Пурин) и 3) Наумов. Из них Никитенко и Синявский, кроме того признаны виновными в участии в сообществе, составившемся для насильственного посягательства на изменение в империи установленного законами основного образа правления, при чем сообщество это не имело в своем распоряжении средств для взрыва или склада оружия;

б) признаны виновными в участии в таковом же сообществе и приговорены к ссылке в каторжные работы подсудимые: 4) Пигит, 5) Роговский (Булгаковский), 6) Бибергаль — на восемь лет каждый, и 7) Колосовский — на четыре года.

в) осуждены за несущественное пособничество описанному выше преступному сообществу к ссылке на поселение: 8) Прокофьева, 9) Педькова, 10) Тарасова, 11) Константин Эмме и 12) Антония Эмме

и г) оправданы: 13) Михаил Феодосьев, 14) София Феодосьева, 15) Тарасов, 16) Завадский, 17) Чнабров и 18) Врусов.

Приговор суда все осужденные, за исключением Наумова, с которым сделался истерический припадок, выслушали спокойно.

17 того же августа этот приговор был объявлен осужденным в окончательной форме, причем председательствующим был разъяснен порядок обжалования с указанием, что срок для подачи кассационной жалобы истекает 18 августа.

Осужденные через присяжного поверенного Соболева просили о выдаче им копий приговора.

21 августа 1907 года смертный приговор над осужденными Б. И. Никитенко, Б. С. Синявским и В. А. Наумовым был приведен в исполнение на Лисьем Носу, где, по слухам, тела казненных и преданы земле.

И Маркелов.

Савинков и Корнилов.

Печатаемая ниже записка Савинкова о Корнилове писана в сентябре 1917 года. Над страной нависали грозовые бури октября. Корнилов, вчерашний и завтрашний герой русской буржуазии, генерал, которого в мечтах своих она видела русским повторением Кавеньяка, усмирителя безумного года и который на самом деле проделывал в это время карьеру неудачного честолюбца Дюмурье, сидел в Быкове, охраняемый теканцами, подследственный юстиции Временного Правительства за попытку государственного переворота. Но „Быковский узник“ оставался сосредоточием надежд, чаяний и упований. Он был в „фокусе“ текущей политики. Сегодня обойденный и разжалованный правительством адвоката Керенского, он на следующем повороте классовой борьбы неминуемо должен был оказаться во главе сомкнутого, сплоченного фронта контр-революции.

А пока что на авансцене шумел и слепил воплощенным бессилием и безволием Керенский, номинальный глава Республики Российской. Он д. живал последние дни своей политической карьеры, но еще держался, еще цеплялся за власть, тщетно стараясь предотвратить неизбежный *coup de grace*. Сентябрь месяц был месяцем неслыханного подъема масс, с одной стороны, месяцем необычайных интриг, ожесточенной борьбы честолюбий и репутаций в кругах Временного Правительства — с другой. И в эти дни бывший террорист, социалист-революционер, бывший управ. военным министерством и военный генерал-губернатор Петрограда Борис Савинков набрасывал свои впечатления о Корнилове. Савинков сам только что выбыл из игры. Корниловские дни выбросили его из седла, в котором он не успел закрепиться.

По городу ползли слухи о темной роли Савинкова в деле 26-го августа. Общественное мнение буржуазии мобилизовалось в защиту „Быковского узника“, а бывшие сотрудники Главверха выступали с клеймом предательства, в роли злых и коварных советников и завистников честного, прямодушного генерала. Борис Савинков уже и тогда был отщепенцем, лишенным настоящей социальной базы. Эс-эры, его товарищи по партии, отшатнулись от него, от тех политических методов, которые он пытался привить Временному Правительству. Настоящие стопроцентные реакционеры видели в нем попрежнему террориста и крамольника, и наконец либеральные, цензовые круги, идеологи и организаторы диктатуры, неодобрительно, недоверчиво качали головой, когда

речь шла о Корниловском деле и о роли, сыгранной в нем Савинковым. Савинкову угрожала „прекрасная изоляция“, в такой момент революции, который, он знал и чувствовал это, должен был стать решающим и критическим. Надо было готовить контакт с какой-либо определенной политической группировкой. И когда перед Борисом Савинковым встал вопрос ориентации, ответ был предрешен. Его место было в лагере „государственного преступника“, Быковского узника Корнилова.

Наш документ, установивший это совершенно точно, фиксирует прежде всего поворот к Корнилову, капитуляцию перед Корниловым, попытку реабилитироваться в глазах корниловцев. Это Каносса, смысл которой лишь затемнен, лишь разбавлен общими местами вроде „беспристрастной истории“ и „не забывающей России“. „Но умысел иной тут был!..“

История Корниловского дела есть, в сущности, история трех дней, но подготовительный период ее растягивается на целый месяц. „За providенциального человека“ Корнилов прослыл сразу после назначения его верховным главнокомандующим. Это назначение открыло собой целую эру интриг, переговоров, закулисных махинаций. Легальной платформой сговора была программа Корнилова, так наз. „записка о реорганизации армии“. История составления этой записки, как она изложена у Савинкова, не расходится в существенных чертах с тем, что мы находим по ее поводу у Деникина („Очерки русской смуты“. Т. 2, стр. 17 — 24) и у Керенского (Дело Корнилова. Стр. 30 — 33).

Но „записка“ это только программа, только идеологическое оформление Корниловщины. Для ее проведения неизбежно было повести решительную борьбу с революцией, надо было опереться на какую-то определенную, вооруженную силу. Идея переворота, превентивного удара, облекается в плоть и кровь с того момента, когда на сцене начинает фигурировать 3-й конный корпус, как инструмент грядущего провозглашения.

История вызова 3-го конного корпуса — самый темный момент всего Корниловского дела. В свое время Керенский, на допросе, подтвердил, что вызванный корпус должен был пойти в распоряжение Временного Правительства, а на вопрос о назначении корпуса ответил с деланной, при ставковской наивностью: „Для чего понадобятся эти войска, определенно не устанавливалось. Вообще на всякий случай“ (?) ¹⁾. Далее Керенский подчеркивает, что он не знает формы, в какой Савинков передал это предложение Корнилову. „Весьма вероятно, что Савинков, предлагая от моего имени ген. Корнилову командировать отряд в распоряжение Временн. Правительства, обосновывал это только опасностью слева“ ²⁾. Сам Савинков говорит о том, что конный корпус должен был стать средством „реального осуществления военного положения“. Объявить Петроград и округ на военном положении, опубликовать Корниловские проекты о смертной казни в тылу и т. д. значило, конечно, спровоцировать гражданскую войну. Деникин совершенно прав, когда он характеризует политическую ком-

¹⁾ Керенский. Дело Корнилова, стр. 87.

²⁾ Ibidem, стр. 88, 89.

бинацию Савинкова, Корнилова, Керенского, как заговор против Советов ¹⁾. И именно об осуществлении этого заговора беседовал Савинков в ставке с Корниловым 24-го и 25-го августа 1917 года. Согласно „протокола пребывания Савинкова в Могилеве 24 и 25 августа 1917 года“, Савинков между прочим сказал дословно следующее: „таким образом, Лавр. Георгиевич, ваши требования будут удовлетворены Врем. Правительством в ближайшие дни, но при этом Правительство опасается, что в Петрограде могут возникнуть серьезные осложнения... Опубликование ваших требований послужит толчком для выступления большевиков... неизвестно, как к новому закону отнесется Совет Р. и С. Депутатов... В случае, если, кроме большевиков, выступят и члены С. Р. и С. Д., то нам придется действовать и против них“ ²⁾, — так мотивировал Савинков просьбу о присылке в Петроград 8-го конного корпуса. Настроение собравшейся компании хорошо передал полк. Барановский, заявивший о необходимости „ударить так, чтобы почувствовала вся Россия“. Но Савинков еще не выполнил всего поручения. Был еще один деликатный пункт. Это вопрос о начальнике корпуса. Керенский был настроен решительно против кандидатуры ген. Крымова. Мы знаем, что его опасения были небезосновательны. Крымов в августовские дни стал организатором всевозможных тайных офицерских организаций. Для Крымова устранение Врем. Правительства было необходимой предпосылкой успешного контр-революционного переворота. В то время, когда Корнилов, под влиянием Савинкова, еще не определил окончательно своего отношения к Керенскому, „Крымов не сомневался и не колебался, считая... что только силой оружия можно разорвать завязавшийся узел“ ³⁾. Керенский, инстинктивно опасавшийся Крымова, был категорически против того, чтобы поручать ему расправу над Советами.

Как выполнил Борис Савинков эту часть поручения? „Прощаясь с Корниловым, Савинков выразил уверенность, что все пойдет хорошо, и неожиданно для нас добавил: „Только начальником отряда не назначайте генерала Крымова“. На это Корнилов ничего не ответил“ ⁴⁾. Обратное читаем у Керенского: „вернувшись из ставки, Савинков сказал мне, что ему удалось отклонить посылку дикой дивизии и назначение Крымова“ ⁵⁾. Вполне законен вопрос, да имело ли вообще отстранение Крымова значение реальной гарантии против инсинуаций Ставки? Не надо забывать, что к этому времени личная политика Керенского тесно переплелась с политикой реакционного гнезда Ставки. Решившись на кровопускание в столице, Керенский не мог не чувствовать, что он связан по рукам и по ногам. Он знал также, что переворот может пойти дальше, чем это нужно ему, Керенскому, может поглотить его самого. Отсюда его колебания и страхи. Отсюда мнительность в отношении Крымова. Это не был страх власти перед заговором, это было недоверие заговорщика

¹⁾ Вера Владиризовн. Контр-революция в 1917 г., стр. 208.

²⁾ Деникин. Опр. cit., стр. 44.

³⁾ „Архив русской революции“. Т. V, стр. 114.

⁴⁾ Керенский. Опр. cit., стр. 89.

⁵⁾ Деникин. Очерки русской смуты. Т. 2, стр. 43.

к заговорщику. Подготавливать вторжение в Петроград Корниловских янычар и искать „гарантий“ в устранении от командования такого-то, имя рек, генерала — это не логично, это мало осмысленно. Но тем не менее именно это и составил стержень политики Керенского в двадцатых числах августа месяца. Приехал Савинков и дал обещание: Крымов не пойдет. Керенский успокоился.

О чем думал, чего хотел Савинков в эти дни? Обманул он Керенского, когда донес, что ему удалось отклонить назначение Крымова? Или он сам был обманут? В нем, конечно, прежде всего, преобладала необузданная, страстная воля к власти. Он знал, что Временное Правительство не переживет кризиса. Уже передавали вслух новые комбинации имен. Керенский, в конце концов, был мавром, он должен был уйти, сделав свое дело. Но и Корнилов мог дать лишь имя. Этот человек „с сердцем льва и с умом барашка“, по выражению Алексея, нуждался в руководителе, нуждался в точной и суровой руке. Поэтому обновленное правительство, даже вылившись в форму единоличной Корниловской диктатуры, должно было на деле стать кабинетом Бориса Савинкова. Примем в расчет эти соображения и мы поймем, что и у Савинкова была своя личная политика. Быть может и нужно было, обманом, успокоить Керенского. Савинков-то не боялся Крымова. Он был гораздо интимнее, гораздо теснее связан с контр-революционной головкой ставки. В решающий момент Керенский был бы поставлен лицом к лицу с фактом, не стал же бы он пощипывать скандал из-за Крымова. Так завязывалась интрига в большом масштабе, в стиле политических нравов Ренессанса, ее конечной добычей должна была стать всероссийская власть.

Дело сорвалось, как и почему — в подробностях рассказывать этого мы не будем. Если мы станем обследовать самую ткань этого события, то увидим, что здесь сыграли роль и головоунышество Львова, и истеричная бестолковость Керенского, и неуверенно-наивное, самоуверенное поведение Корнилова. Но если, в конце концов, заговорщики оказались в положении участников Крыловского квартета, то тут сказалась и внутренняя социальная противоречивость самой структуры заговора. Революции еще не успела завершить ассимиляцию демократически контр-революционных группировок с идеологами и вершителями генеральской реставрации. Для Бориса Савинкова наступили тяжелые, тягостные минуты. Он искал выход в легальности, в попытках компромисса. Ему-то нужны были и Керенский и Корнилов. Его шансы покоились именно на этой двусторонней политической комбинации. Ослабить разразившийся кризис, возможно безболезненно ликвидировать его последствия, парализовать революционный подъем массы, который грозит смыть не только Корнилова, но и его вчерашнего пособника — Временное Правительство, остаться самому непременно в пентре положения — вот какие задачи преследовал Савинков. Вот почему он принял назначение на должность генерал-губернатора, причем, конечно, благочестивые суждения о „долге беспрекословного исполнения приказаний начальства“, высказанные *post factum* в записке о Корнилове, играли наименьшую роль в ряду других мотивов этого поступка. „Кор-

ниловец" Савинков, обороняющий Петроград от 3-го конного корпуса, им самим вызванного, на предмет „реализации военного положения“ — какой парадокс! Какая злая насмешка над „переворотчиками“! Конечно же не Савинков оборонял от Корнилова город революции. Его обороняла сама революция, которая вложила винтовку в руку рабочего, послала его с ружьем и лопатой рыть окопы под Пулковым, поставила на ноги Кронштадт, навела дула его пушек на побережье, разобрала рельсы на пути следования Крымских эшелонов, мобилизовала провинциальные гарнизоны Петроградской губернии и, наконец, сам Крымковский отряд разложила, обессилила, заставила сложить оружие неутомимым и страстным дыханием революционной пропаганды. И какой случайной и жалкой кажется нам на-ряду с этим патетическим подъемом масс одинокая фигура затерянного в царских покоях Зимнего дворца генерал-губернатора. Уже через несколько дней он был устранен, он вышел из игры, разбитый, потерявший друзей, поселивший сомнение и недоброжелательность в ряду своих вчерашних союзников. Но он еще не утратил вкус к борьбе, он не разгадал пророческую мудрость самоубийцы Крымова, познавшего бессилие и бесплодность борьбы с революцией, он искал политической ориентации и фатально становился опять на путь сближения с Корниловым, с партией „Выховского умика“. А корниловцам надо было дать прежде всего удовлетворительное объяснение собственного поведения в августовские дни и, в частности, злополучного генерал-губернаторства. Последние строки „записки“ — это мораль всего дела. На первом плане искусство тонкой лести. Враг Савинкова человек безупречный во всех отношениях, его прямой и мужественный характер вызывает в нем, Савинкове, глубокую привязанность. Корнилов „верный сын родины и беспристрастный защитник ее“. Так протягиваются новые нити к Выхову, в ставку, так снова плетется сеть контр-революционной интриги. Несколькими месяцами позже, в Новочеркасске, в столице казачьей Вандеи, Борис Савинков, говоря словами Деникина, будет с безграничной настойчивостью добиваться приема у генералов Алексеева и Корнилова ¹⁾. Один бороться я не мог, — скажет Савинков перед лицом военной коллегии Верховного Суда, — кто же боролся? Один Корнилов боролся. И я пошел к Корнилову“ ²⁾. Наша записка только идеологическая подготовка этого шага. В ней запечатлено одно из звеньев той цепи, которая привела Бориса Савинкова через борьбу, поражение и разочарование к повторению трагического жеста командира 3-го конного корпуса.

П. Китаев.

¹⁾ Деникин, *op. cit.* стр. 137.

²⁾ Борис Савинков — перед Военной Коллегией Верховного Суда С. С. Р. Издание Н. К. П. Д. М. 1924 г. стр. 35.

Генерал Корнилов.

(Из воспоминаний.)

В сентябре 1917 года редакция журнала „Былое“ предложила Б. В. Савинкову записать свои воспоминания о деле Корнилова. В ответ на обращение редакции Савинков прислал в сентябре же рукопись, которая заключала не столько воспоминания, сколько политическую защиту его роли в деле Корнилова, и потому не могла быть принята к напечатанию в то время. В настоящий момент статья Савинкова является документом историческим, занимая не последнее место в немногочисленном ряде свидетельств, исходящих от участников корниловского дела. Печатаю записку Савинкова, редакция сочла нужным сопроводить ее статьей, в которой сделана попытка осветить роль Савинкова в восстании Корнилова.

Ред.

Бои 18 и 19 июня окончились неудачей на фронте VII армии и незначительным успехом на фронте XI. Бражаны остались в руках противника, и то наступление, на которое возлагалось столько надежд всей Россией, не дало существенных результатов. Но 23-го атаковала VIII армия ген. Корнилова. Были взяты Калуш и Галич, более 12 тысяч пленных и около 200 оружий разных калибров. Тогда же в Станиславове я, по делам службы, впервые познакомился с ген. Корниловым.

Как комиссар VII армии и потом как комиссар юго-западного фронта, я, постоянно сталкиваясь с солдатами, не мог не прийти к убеждению, что словами невозможно восстановить дисциплину, и заранее не верил в победу наших развращенных „большевистской“ пропагандой войск. Тем более я оценил успех армии ген. Корнилова.

Для меня было ясно, что успех этот обусловлен не только стратегическими талантами ген. Корнилова, ген. Черемисова (тогда командира XII корпуса) и ген. Черкасова (тогда начальника 19 пех. дивизии), но и умением этих начальников заставить солдат повиноваться отдаваемым приказам, что было редкостью в других армиях юго-западного фронта. Личное свидание с ген. Корниловым подтвердило то высокое мнение, которое я заочно составил о нем.

С другой стороны, я не мог не видеть, как пагубно правительственная политика отражается на действующей армии. Слабость или, точнее, отсутствие власти, привели к тому, что некогда доблестные дивизии отказывались выступать на позиции, что престиж офицерства пал, что митинги обессилили и утомили солдат, что политика, проникнув в войска, разделила их на враждебные лагеря, что приказ № 1 уничтожил необходимую дисциплину, что Петроградский Совет Солдатских и Рабочих Депутатов, вмешивался в солдатскую жизнь, подорвал ее воинские устои и что армии русской грозит полный и поворный развал и что при этих условиях нет надежды оборонить государство, т.-е. спасти отечество и свободу. Убедившись в наложенном, я пришел к заключению, что во главе действующей армии должен стать не только мужественный, но и решительный человек, способный повлиять в желательном смысле на временное правительство и в согласии с последним, по его указаниям, возродить, осуществляя твердую власть, наши славные и несчастные войска. Таким человеком мне казался ген. Корнилов. Это мнение разделил со мною и комиссар VIII армии М. М. Филоненко.

Поэтому 2 июля мною была послана следующая шифрованная телеграмма военному министру (тогда А. Ф. Керенский), копия верховному главнокомандующему и командующему юго-западным фронтом (тогда ген. Гутор).

„Комиссар VIII армии Филоненко полагает необходимым сохранить поступательное движение частей VIII армии, как единственного участка фронта, находящегося в движении. По сведениям, немцы на фронте VIII армии сосредотачивают крупные силы, и у Колуца обнаружена немецкая гвардия. Если не будет принято мер военного содействия другими частями фронта, в частности, юго-западного, то несомненно, прорыв, сделанный VIII армией, будет локализован противником, что чрезвычайно осложнит общую психологическую, а потом и политическую обстановку. Нельзя не приветствовать отказ от дальнейших операций VII армии, но желателен не частичный отказ от первоначального операционного плана, а полный, в частности, отставление нового удара XI армии, который по условиям местности, вероятно, обречен на повторную неудачу. Необходимы, однако, демонстративные действия VII и XI армий, направляемых вместе с VIII единой волей, решившейся действовать исключительно по данным ныне сложившейся обстановки. Вышеизложенные соображения считаю чрезвычайно заслуживающими внимания и их разделяю. № 104 комиссару Савинков“.

В ответ на эту телеграмму ген. Гутор протелеграфировал 3 июля верховному главнокомандующему, копии военному министру и мне, следующее:

„Получил копию телеграммы комиссара Савинкова № 104 с извещением мнения комиссара VIII армии подпоручика Филоненко о дальнейшем направлении стратегических операций на фронте, разделяемого комиссаром Савинковым. Относясь с глубоким уважением и высоко ценя политическую деятельность комиссаров считаю вмешательство названных лиц в область стратегии совершенно недопустимой и прошу вашего ходатайства о безотлагательном

удалении из армии комиссара VIII армии Филоненко или разрешения мне сложить командование войсками фронта. № 3458. Гутор“.

Я ответил того же 3 июля телеграммой на имя военного министра, копии верховному главнокомандующему и главнокомандующему юго-западным фронтом.

„В дополнение № 104 полагаю, что комиссар Филоненко не преступил пределов своей компетенции, ибо не вмешался в направление стратегических операций, а лишь довел свои соображения до моего сведения. Я же, высоко оценивая распоряжения высшего военного начальства, тем не менее счел своим долгом представить на ваше усмотрение соображения комиссара Филоненко, ибо их разделяю. № 114 комиссаров Савинков“.

4 июля мною была получена копия телеграммы верховного главнокомандующего военному министру (вторая копия главнокомандующему юго-западным фронтом).

„На № 104 комиссара Савинкова. Считаю совершенно недопустимым вмешательство комиссара в боевые операции. Прошу не отказать определенно указать права и обязанности комиссаров и разъяснить, что каждый должен заниматься своим делом, так как в противном случае произойдет путаница. За операции на фронте отвечает главнокомандующий, получающий директивы от главковерха. Вмешательство безответственных лиц внесет полный беспорядок и управление войсками станет невозможным. 3 июля 1917 года. Брусилов“.

4-го же июля мною была отправлена следующая телеграмма военному министру, копии верховному главнокомандующему командующему юго-западным фронтом и исполнительному комитету юго-западного фронта.

„На телеграмму 3 июля 1917 г. главковерха полагаю, что представление соображений военному отнюдь не является вмешательством в боевые операции. Считаю, что право моего непосредственного обращения по всем без исключения вопросам к военному вытекает из революционного характера задач, мне поставленных, и ответственности, на меня возложенной. Не могу не отметить, что постановление об этих моих обращениях в известность главковерха и главно-юза служит лишь знаком моего глубокого уважения к высшему военному начальству, коим неизменно проникнута вся коллегия комиссаров из фронта. Кроме того, не подлежит сомнению, что в виду общего положения дел в стране, вопрос о происходящем ныне на юзфронте наступлении не является только вопросом стратегическим, но и в огромной степени политическим, причем я обязан содействовать выяснению тех фактов психологического характера, которые обуславливают способность войск того или иного участка фронта к наступлению, факты же эти не могут не быть необходимыми предпосылками при составлении стратегических планов в тесном смысле. Но в высокой степени считаясь с мнением главковерха, полагаю себя, однако, вынужденным просить указаний о точных пределах моей компетенции, ибо в проекте положения, коим руководствуюсь, не имеется указаний на запрещение выражать свое мнение по вопросам боевых операций. № 122. Комиссаров Савинков“.

5-го июля я получил следующий ответ от военного министра, копия главнокомандующему юго-западным фронтом.

„104. Совершенно и категорически наставляю на выполнении комиссарами и комитетами своих прямых обязанностей, не вмешиваясь в стратегические планы командного состава. Прошу помнить всю сложность и трудность положения и не усложнять и без того тяжесть его. 502. Керенский“.

Тогда, 6-го июля, военному министру была послана исполнительным комитетом юго-западного фронта следующая телеграмма:

„Учитывая в полном единении с комиссаром Савиновым и комиссаром VIII Филоненко создавшееся на юго-западном фронте положение, совещание президиума исполнительного комитета фронта с представителями армейских комитетов считает необходимым, чтобы в главе армий фронта был поставлен вождь, способный своим воодушевлением и смелым порывом объединить и увлечь за собой всех колеблющихся и своей решительной волей закрепить успешное наступление. Совещание считает, что таким вождем может стать генерал Корнилов.“

Председатель исполкома Дашевский. Товарищи председателя Колчинский, Гуревич, Никольский. Члены исполкома Шамраев, Левенберг, Дешев, Евтушенко, Ружейников, Торбек, Громачевский, Каплин, Ключев. Председатель Арком VII Михайлов, председатель Арком VIII Вендзягольский. Товарищ Председателя Нетесин, член арком XI Лазарев, член президиума арком особой Яковлев“.

7 июля я из Каменец-Подольска был вызван в поезд верховного главнокомандующего, на ст. Козово, где встретился с ген. Корниловым и где от ген. Брусилова узнал, что ген. Корнилов назначен вместо ген. Гутора главнокомандующим войсками юго-западного фронта.

II

8-го июня ген. Корнилов прибыл в Каменец-Подольск. С ним приехал и его ординарец г. Завойко, который в тот же день спросил меня, что я думаю о желательности и о возможности военной диктатуры в России. Я ответил ему, что я революционер и республиканец и что всякую единоличную диктатуру считаю бедствием для народа. Не ограничившись этим и предполагая, что г. Завойко, быть может, спрашивал меня от имени ген. Корнилова, я вечером, в присутствии М. М. Филоненко, заговорил с ген. Корниловым об его взгляде на политическое положение страны. Между прочим я сказал ему следующее: „Возможно, что когда-нибудь наступит день, господин генерал, когда у вас явится желание расстрелять меня, как революционера, и я не сомневаюсь, что вы постараетесь привести это желание в исполнение. Но я должен вас предупредить, что в тот же день я пожелаю расстрелять вас и, конечно, приложу все усилия, чтобы исполнить это“. Ген. Корнилов ответил: „С Романовыми у меня соглашения быть не может. Для себя лично я ничего не хочу. К единоличной диктатуре я не стремлюсь. Я хочу одного —

чтобы Россия была спасена, т.-е. чтобы армия возродилась". Я поверил ген. Корнилову и думаю до сих пор, что не ошибся.

Начало июля было началом т. н. Тарнопольского разгрома. За исключением кавалерийских частей, ударных батальонов и немногих пехотных полков, наши войска бежали перед втрое слабейшим противником. Я был свидетелем этого бегства и я был свидетелем, как доблестные защитники родины умирали, не поддерживаемые резервами, брошенные на произвол судьбы своими товарищами. Большие дороги, поселки, даже поля были покрыты толпами беглецов, бросавших винтовки, бросавших орудия и если не бросавших обозов, то лишь потому, что у противника не было кавалерии. Стихийное бегство невозможно было остановить речами и резолюциями. Оно было остановлено броневыми машинами. Это был уже не первый случай, когда на юго-западном фронте пришлось применить вооруженную силу. Еще 7 июля я шифрованно телеграфировал военному министру, копии верховному главнокомандующему, главнокомандующему юго-западным фронтом и комиссару северного фронта: Мною получено донесение товарища комиссара XII армии Григорьева: при разоружении неповинующихся 104 дивизии убит один, ранено семь, среди них один смертельно. Были приняты все меры утешения. Первый залп был холостой, но в ответ кричали: „Знаем, как мы усмиряли сибиряков", и играли на гармониках. № 124. Комиссары Савинков".

9-го июля я послал военному министру и одновременно верховному главнокомандующему, копии главнокомандующему юго-западным фронтом следующее телеграфное донесение: „Дороги запружены. Много дезертиров. Большая часть без винтовок, с ранами в левую руку. Посетил позиции по Серету. Настроение пестрое. Неудачи отношу на большевистскую пропаганду, на нередкую неудовлетворительность командного состава, на нерешительность и колебания полномочных органов революционного большинства по отношению к армии № 125 Комиссары Савинков". Нерешительность и колебания попытается прекратить ген. Корнилов.

10-го июля вечером ген. Корнилов пригласил меня и М. М. Филоненко к себе, в Ставку. Мы нашли там г. Завойко. Г. Завойко прочитал нам текст составленной им телеграммы на имя министра-председателя, в которой ген. Корнилов требовал введения смертной казни на фронте. Когда г. Завойко кончил читать, ген. Корнилов обратился ко мне и М. М. Филоненко с вопросом, разделяем ли мы мнение, изложенное в телеграмме. Мы ответили, что разделяем вполне. Однако, я счел нужным прибавить, что нахожу, что телеграмма составлена в таких ультимативных выражениях, что дает повод истолковывать ее, как угрозу Вр. Правительству в смысле неизбежности утверждения единоличной диктатуры в России. Я отметил также, что в этом случае ген. Корнилов встретит во мне врага.

Ген. Корнилов согласился, что телеграмма изложена неудачно. Первоначальный, составленный г. Завойко, текст ее был уничтожен и тут же, за столом у ген. Корнилова, М. М. Филоненкой, Завойко и мной был написан новый нижеследующий ее текст:

„Армия обезумевших темных людей, не оградившихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые даже нельзя назвать полями сражений, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Это бедствие может быть прекращено, и этот стыд будет смыт или революционным правительством или, если оно не сумеет этого сделать, то неизбежным холлом истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестие, вместе с тем уничтожат завоевания революции и потому тоже не смогут дать счастья стране. Выбора нет: революционная власть должна стать на путь определенный и твердый. Лишь в этом спасение родины и свободы. Я, генерал Корнилов, всю жизнь которого от первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет и потому, хотя и неспрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах в целях сохранения и спасения армии для ее реорганизации на началах строгой дисциплины и дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право увидеть лучшие дни. Необходимо немедленное, как мера временная, исключительная, вызываемая безвыходностью создавшегося военного положения, введение смертной казни и учреждение полевых судов на театре военных действий. Не следует заблуждаться: меры вротости правительственной, расшатывая необходимую в армии дисциплину, стихийно вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдержанных масс, и стихия эта проявляется в буйствах, насилиях, грабежах, убийствах. Не следует заблуждаться: смерть не только от вражеской пули, но и от руки своих же братьев непрестанно витает над армией. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценою гибели немногих изменников, предателей и трусов. Сообщаю вам, стоящим у кормила власти, что время слов, увещаний и пожеланий прошло, что необходима непоколебимая государственнo-революционная власть. Я заявляю, что, занимая высокоответственный пост, я никогда в жизни не соглашусь быть одним из орудий гибели родины. Довольно. Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному ее назначению защиты родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего 3911. Генерал Корнилов. Со своей стороны вполне разделяю мнение генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им от слова до слова. Комиссар Савинков“.

Телеграмма эта была отправлена 10 июля министру-председателю и военному министру, а также верховному главнокомандующему. Последний, со своей стороны, поддержал требование ген. Корнилова, протелеграфировав А. Ф. Керенскому: „К № 3911 генерала Корнилова о необходимости ввести смертную казнь. Требование о введении смертной казни на театре военных действий всемерно поддерживаю, указывая, как верховный главнокомандующий, что это единственный способ вернуть боеспособность армии. 11 июля 1917 № 4997. Брусилов“.

Одновременно мною, моим помощником В. П. Гобечна и М. М. Филоненкой была послана министру-председателю и военному министру, копия ингородскому отделу Петроградского Исполн. Ком. С. Р. и С. Д. телеграмма такого содержания:

„Мы, Комиссары армий юго-западного фронта, являвшиеся на театр войны для того, чтобы увещеваниями, опирающимися на всю полноту авторитета полномочных органов революционного большинства, побудить войска, исполнить свой долг перед Родиной и свободой, мы теперь даем отчет вам и народу в том, что мы сделали и чего достигли; по долгу совести заявляем о том, что сделать надлежит. Я, Борис Савинков, бывший комиссар XII армии, и мой помощник Владимир Гобечна привели XII армию в состояние, которое дало возможность наступать. Герои пали в бой, и армия, увеличенная ими, сражалась доблестью, а теперь их нет и она бежит. Как я отвечаю за пролитую кровь, если не потребую, чтобы немедленно были введены с железною решимостью в армию порядок и дисциплина, которые не позволили бы малодушным безнаказанно по своей воле оставлять позиции, открывать фронт, губить этим целые части и товарищей, верных долгу, покрывая незабываемым срамом революцию и страну. Выбора не дано: смертная казнь тем, кто отказывается рисковать своей жизнью для Родины, за Землю и Волю Я, Максимилиан Филоненко, комиссар XIII армии, удача сопутствовала мне. Ни разу не применив насилия, я был счастлив словом и нравственным воздействием преодолеть все колебания и нерешительность и двинуть войска в победный бой. Под геройским натиском пали Калуш и Галич и побежал дрогнувший враг. Но теперь что я скажу доблестной армии, когда она вынуждена отступать, оставшая поля, обгащенные кровью лучших ее солдат. потому что справа обнажают ее флаги, бегут без оглядки трусы и предатели? Я могу заявить одно: смертная казнь изменникам. Только тогда будет дан залог того, что не даром за Землю и Волю пролилась священная кровь. № 128. Комиссар Юз Савинков. Помощник комиссариоз Гобечна. Комиссар XIII армии Филоненко.“

Вр. Правительство удовлетворило требование ген. Корнилова и особым постановлением ввело смертную казнь на театре военных действий.

III

С назначением ген. Корнилова главнокомандующим войсками юго-западного фронта стала возможной плачомерная борьба с „большевиками“. В сущности „большевиков“ в настоящем значении этого слова в действующей армии почти не было, т.-е. почти не было убежденных людей, защищающих определенную политическую программу. „Большевизм“ выражался в неисполнении боевых приказаний и в подстрекательстве к такому неисполнению, в попытках братания и в пропаганде немедленного и на любых условиях мира с Германией. Подстрекателями и пропагандистами являлись или бывшие жандармы и городовые или социалисты, до переворота принадлежавшие к „Союзу Рес-

ского народа" и другим подобным организациям, или демагоги из офицеров, надеявшиеся сделать быструю и построенную не на боевых заслугах карьеру. Эти „большевики" имели в полках успех, потому что эксплуатировали естественное и трудно преодолимое нежелание рядового солдата идти в бой и рисковать своей жизнью. Солдатская масса, несдерживаемая воинской дисциплиной, привыкшая к безнаказанности, часто разнузданная боевою жизнью и всегда недостаточно ясно сознающая необходимость защищать родину, шла охотно навстречу увещаниям не повиноваться начальству, тем более, что и начальство не во всех случаях бывало на высоте своей чрезвычайно трудной задачи. Бороться с „большевизмом" можно было только двояко: устранением из командного состава лиц, граждански неподготовленных и в боевом отношении неудовлетворительных, и суровыми карами против пропагандистов, подстрекателей и неисполняющих боевых приказаний, как бы они себя ни называли и в каком бы чине ни состояли. Г-н. Корнилов начал эту борьбу.

По приказанию ген. Корнилова был арестован Каменец-Подольский уездный комиссар Вр. Правительства, ибо несколько десятков крестьян показали, что он вел в деревнях „большевистскую" пропаганду. За арестованного комиссара вступились разные союзы и общества и делегаты их угрожали, что крестьяне всей Подольской губ. придут освободить его из губернской тюрьмы. Ген. Корнилов выслушал эту угрозу и сказал делегатам: „Пусть крестьяне придут, но я освободить не могу". В другой раз, когда арестованный „большевик" отказался следовать от этапного командира в тюрьму и заявил, что даже если применят к нему вооруженную силу, то и тогда он не подчинится распоряжению начальства, ген. Корнилов коротко приказал по телефону: „применить". Подобных случаев было много, и они свидетельствовали в глазах населения о том, что на юго-западном фронте есть законная власть, которая не поддается ничьим влияниям и в точности исполняет постановления Вр. Правительства. А это приучало к сознанию ответственности и к укреплению утраченного чувства законности. В полках „большевиков" стало ясно, что они не останутся безнаказанными, и „большевистская" пропаганда начала уменьшаться. Она начала уменьшаться еще вследствие того, что ген. Корнилов назначил расследование о действиях всех генералов, которые во время Тарнопольского разгрома не приняли достаточно решительных мер, чтобы удержать солдатскую массу от бегства или подали пример колебания. У „большевиков" была отнята возможность ссылаться на то, что высшее начальство „покрывает" своих подчиненных и что генералы не несут наказания за то, за что наказываются солдаты. И если ген. Корнилов не останавливался перед тем, чтобы грозить расстрелом, напр., крестьянам, мешавшим уборке хлеба, то он расстрелом же грозил и помещикам, в случае, если хлеб будет не убран по их, а не по крестьянской, вине. „Армия прежде всего. Без армии нельзя оборонить родины, а без родины нет свободы". Так рассуждал ген. Корнилов. И за короткое время, пока ген. Корнилов командовал войсками юго-западного фронта, вверенные ему армии, несмотря

на военные неудачи, мало-по-малу, начали приходить в порядок. Конечно, они еще не могли возродиться. Уничтоженная в один день дисциплина не могла быть восстановлена в такой же короткий срок. Она не могла быть восстановлена еще и потому, что Вр. Правительство, проявляя бездействие власти, неохотно шло навстречу тем суровым, но необходимым мероприятиям, к которым прибегал ген. Корнилов на юго-западном фронте.

Отношение ген. Корнилова к вопросу о смертной казни на театре военных действий, его ясное понимание причин Тарнопольского разгрома, его хладнокровие в самые трудные и тяжкие дни, его твердость в борьбе с „большевизмом“, наконец, его примерное гражданское мужество, поселили во мне чувство глубокого к нему уважения и укрепили уверенность, что именно ген. Корнилов призван реорганизовать нашу армию. Я взял на себя, поэтому, смелость 16-го июля в Могилеве рекомендовать его особеному вниманию А. Ф. Керенского. И когда ген. Брусilов оставил верховное главнокомандование, то на его место был назначен Вр. Правительством ген. Корнилов. Назначение это состоялось 17-го июля.

IV

В 20-х числах июля, когда был окончательно сформирован новый кабинет, я был назначен управляющим военным министерством, а М. М. Филоненко комиссаром при верховном главнокомандующем. А. Ф. Керенский принципиально высказался за необходимость твердой власти в стране и, таким образом, открывалась возможность попытаться поднять боевую способность армии. Разумеется, уже тогда существовали разногласия между ген. Корниловым и А. Ф. Керенским, но разногласия эти еще не вскрылись, ибо программа ген. Корнилова в полном ее объеме была неизвестна министру-председателю.

Эта программа,—которую без оговорок разделяли М. М. Филоненко и я, сводилась к основным четырем законопроектам. Во-первых, в виду того, что смертная казнь на театре военных действий являлась ненужной жестокостью, по скольку приходящие в полки пополнения приносили с собою разнузданность и поскольку шпионы, наказуемые на фронте смертью, пользовались в тылу своего рода неприкосновенностью личности, ген. Корнилов полагал необходимым ввести военно-революционные суды во всей стране как для военнослужащих, так и для лиц гражданских в случае совершения ими преступлений против обороны и целостности государства. Во-вторых, так как без дисциплины немислима никакая армия и так как увещания не могут ее заменить, ген. Корнилов полагал необходимым возвращение дисциплинарной власти начальникам, уничтоженной приказом № 1 Исп. Ком. Петроградского С. Р. и С. Д. Разумеется, возвращение дисциплинарной власти начальникам могло совершиться лишь постепенно и в единении с войсковыми организациями. В-третьих, так как узлом вопроса о продовольствии и снабжении армии, являлась расстроенность железнодорожного транспорта, достигшая не-

бывалых размеров, ген. Корнилов полагал необходимым прибегнуть к ряду мероприятий для урегулирования железнодорожных перевозок. Мероприятия эти до известной степени милитаризировали пути сообщения. В-четвертых, в виду того, что производительность предприятий, работающих на оборону, понизилась повсеместно от 40 до 80%, что угрожало снабжению, ген. Корнилов полагал необходимым милитаризовать предприятия, работающие на оборону. Кроме этих четырех законопроектов, предполагалось разработать еще положения о комиссарах и войсковых комитетах, но не для того, чтобы сократить их права, а для того, чтобы сделать их ответственными перед законом и точно определить границы их полномочий.

Само собой разумеется, что хотя изложенные выше законопроекты носили ведомственный характер, в них были налицо все признаки обще-государственной правительственной программы, ибо они могли осуществиться лишь при перемене правительственной политики и при наличии государственной власти.

Соответствующая докладная записка была составлена штабом ставки и ген. Корнилов привез ее в Петроград 3-го августа. Но, так как записка эта, с одной стороны, почти не касалась вопроса о железнодорожном транспорте, а с другой, — в вопросе о комиссарах и войсковых комитетах стояла на точке зрения, неприемлемой для меня, как управляющего военным министерством, то я просил ген. Корнилова не представлять ее на рассмотрение во Временное Правительство, выждав, когда будет закончена¹приготавливавшаяся по моему приказанию М. М. Филоненкой такая же, но более исчерпывающая докладная записка. О сущности разрабатываемых законопроектов я поставил А. Ф. Керенского в известность, придавая особенное значение законопроекту о военно-революционных судах в тылу, принятие которого автоматически влекло за собою принятие и остальных.

Цель моя состояла в том, чтобы докладная записка ген. Корнилова была одобрена Временным Правительством еще до московского совещания дабы на московском совещании Временное Правительство явилось с определенной государственной программой, каковой программы у него не было.

Так как 8 августа А. Ф. Керенский заявил мне, что никогда и ни при каких обстоятельствах не подпишет законопроекта о военно-революционных судах в тылу, то я просил ген. Корнилова представить во Временное Правительство докладную записку от своего имени, а так как разногласие мое, управляющего военным министерством, с А. Ф. Керенским, военным министром, стало очевидным, я счел необходимым подать в отставку.

А. Ф. Керенский отставки моей не принял, но рассмотрения докладной записки ген. Корнилова Временным Правительством не допустил и выехал на совещание в Москву, где и произнес свою известную речь.

По возвращении из Москвы А. Ф. Керенский сообщил мне, что принципиально согласен с ген. Корниловым, и это сто заявление дало мне возможность вернуться к управлению делами военного министерства. Тогда же по приказанию А. Ф. Керенского был составлен законопроект о военно-революционных судах в тылу, законченный к 22 августа.

Кроме этого закон проекта, в короткий срок от 17-го по 22 августа, военное министерство, следуя духу программы ген. Корнилова, представило во Временное Правительство три второстепенных законопроекта: о промотании казенного имущества и оружии, о запрещении карточной игры в войсках и о рассредоточении военно-окружных судов. Тогда же после Рижского прорыва, военное министерство настояло на подчинении Петроградского военного округа верховному главнокомандующему и на выделении из этого округа г. Петрограда с объявлением его на военном положении. Для реального осуществления военного положения в связи с готовившимся выступлением „большевиков“ по приказанию А. Ф. Керенского у верховного главнокомандующего должен был быть испрошен конный корпус.

23 и 24 августа я в станке посетил ген. Корнилова, представил ему законопроект о военно-революционных судах в тылу, сообщил ему об уже принятых Временным Правительством законопроектих и испросил конный корпус. Ген. Корнилов, у которого постепенно нарастало недоверие к Временному Правительству, выслушав меня, обещал всемерно поддерживать А. Ф. Керенского, для блага отечества.

Таким образом, 26 августа программа ген. Корнилова была накануне осуществления. Вопрос о поднятии боевой способности армии из области слов как будто начинал переходить в область дела. Разногласия между ген. Корниловым и А. Ф. Керенским как будто были устранимы. Как будто открывалась надежда, что Россия выйдет из кризиса не только обновленною, но и сильной.

V

26 августа вечером я приехал в Зимний дворец на заседание Временного Правительства, в уверенности, что на заседании этом будет рассматриваться, как это утром мне обещал А. Ф. Керенский, законопроект о военно-революционных судах в тылу. Принятие этого законопроекта, а также появление в Петрограде конного корпуса, которое ожидалось в ближайшие дни, должны были знаменовать поворот в правительственной политике. Я был счастлив, что А. Ф. Керенский усвоил себе, повидимому, программу ген. Корнилова.

Но ожидаемое заседание не состоялось. А. Ф. Керенский вызвал меня из Малахитового зала к себе в кабинет и показал мне так называемый „ультиматум“ Львова. Я не поверил моим глазам, памятуя слова ген. Корнилова, сказанные им в ставке, что он всемерно будет поддерживать А. Ф. Керенского для блага отечества. Я предчувствовал недоразумение. Я просил А. Ф. Керенского войти в соглашение с ген. Корниловым и попытаться ликвидировать „ультиматум“ без огласки и без соблазна. Я указывал, что противоположное поведет к осложнениям, выгодным исключительно для противника. А. Ф. Керенский не согласился со мной. На следующий день я в присутствии многих лиц, в том числе В. А. Маклакова, имел следующую беседу с ген. Корниловым по аппарату Юза.

27. VIII. 1917.

Генерал Корнилов у аппарата. — У аппарата Савинков. — Здравствуйте, господин генерал, позвольте вам доложить, что, во-первых, сведения, сообщенные генералом Лукомским в его телеграмме 6406, не соответствуют истине, ибо я никогда не предлагал вам от имени министра-председателя никаких политических комбинаций, да и не мог предложить. Я не могу не рассматривать сообщение генерала Лукомского иначе, как клевету. Вместе с тем позволяю напомнить вам, что вы неоднократно удостоверяли мне, что вы руководствуетесь исключительно любовью к родине во всех ваших действиях, и заверили меня в этом вашим честным словом. Едва ли вы будете отрицать, господин генерал, что требования, предъявленные вами Временному Правительству через Львова, и та позиция, которую вы заняли в этом вопросе, губительны для отечества, ибо чем бы ни закончилось начатое вами предприятие, родина наша пострадает безмерно, в действующей армии и в стране прольется кровь тех людей, которые одинаково хотят защищать Россию от могущественного врага, фронт обнажится и победу будет праздновать император Вильгельм. Во-вторых, позволю себе доложить вам, что оправданием вашего предприятия не может служить даже и ссылка на нежелание правительства следовать той программе, которую вы изложили в докладной записке, подписанной и мною, ибо я в ставке имел честь доложить вам, что правительство определенно становится на предлагаемый вами путь, в доказательство чего указал вам на изготовленный уже законопроект, о котором я вас поставил в известность своевременно по телеграфу; вам угодно было попытаться продиктовать вашу единоличную волю народу русскому, и этим вы взяли на себя ответственность не забываемую. Все попытки мои, длительные и упорные, связать вас тесною связью с демократией российской, осуществляя именем признанного ею вождя программу, вами предложенную, не увенчались успехом, смею сказать, не по моей, а единственно по вашей вине. В-третьих, позвольте вам доложить, что арест Филоненки является не только преступлением против правительства, но и вопиющим нарушением доверия личного, ибо со стороны Филоненки, как и моей, вы еще в бытность вашу командиром 8 армии и затем неизменно всегда видели лишь доверие и уважение. Господин генерал, во имя несчастной родины нашей, во имя того, чтобы чужеземец не продиктовал народу русскому своего закона, во имя, наконец, спасения жизней человеческих, которые погибнут от братоубийственных рук, я обращаюсь к вам с почтительной просьбой и настойчивым требованием подчиниться Временному Правительству, сдать должность и уехать из действующей армии.

— Здравствуйте, Борис Викторович. Прежде всего прошу верить, что генерал Корнилов в своих действиях руководствовался всегда и везде только сознанием своего долга перед родиной, всегда любил ее и доказал неоднократно на деле, не раз жертвуя ради нее своею жизнью. Я обдумаю ваше сообщение и через полчаса дам вам ответ по всем его пунктам. Прошу вас подойти к аппарату в 4 часа. Пока до свидания.

— До свидания, генерал, хоть я не уверен, что говорю с ген. Корниловым, ибо подписи нет. — Савинков.

— Говорю с вами я лично. — Генерал Корнилов.

У аппарата Савинков.

— Здесь ли генерал Корнилов?

— Ему доложим.

У аппарата генерал Корнилов. — Отвечаю по пунктам вашего сообщения. Первое: в телеграмме генерала Лукомского подразумевается, что правительство приняло определенные решения относительно большевиков и советов, так как для осуществления этого решения вы от имени Временного Правительства предложили мне двинуть к Петрограду конный корпус: причем между нами было условлено, что окончание сосредоточения этого корпуса явится по моей телеграмме вам указанием момента объявления Петрограда на военном положении, что изложенное было заявлено вами мне в присутствии генералов Лукомского, Романовского и полковника Барановского. Второе, в беседах наших 24 и 25 августа в ставке я высказал вам, что колебание правительства о проведении принципиально принятой им программы, предложенной вам мною, приводят к тому, что намеченные меры запаздывают и за их проведение в жизнь нам приходится расплачиваться нашей русской территорией и новым поворотом армии. Я указывал, что по моему глубокому убеждению только сильная, твердая власть, непоколебляющаяся ни перед какою ответственностью и олицетворяемая диктатурой единоличной или коллективной — в зависимости от дальнейшего хода событий — может спасти страну от гибели. Далее я заявил вам, что независимо от личных моих взглядов на характер и свойства А. Ф. Керенского и его отношение ко мне, я признаю участие его в составе правительства безусловно необходимым. Кроме того, я заявил, что признаю также безусловно необходимым и ваше участие в составе правительства. Третье, по отъезде вашем мною были получены новые тревожные известия о положении дел на фронте и тылу: приготовление немцев к производству десанта на побережье Рижского залива, убийство начальника 3 пехотной дивизии и комиссара особой армии, телеграмма о количестве погибших при взрыве в Казани снарядов и пулеметов. Эти сведения были приняты мною во внимание во время беседы с В. Н. Львовым, который, по его словам, приехал по поручению А. Ф. Керенского с предложением высказать ему мой взгляд на три варианта организации, намечаемых самим А. Ф. Керенским: первый вариант — уход А. Ф. Керенского из состава правительства, второй — участие А. Ф. Керенского в составе правительства и, наконец, третий — предложение мне принять диктатуру с объявлением таковой нынешним Временным Правительством. Я заявил, что по моему глубокому убеждению я единственным исходом считаю установление диктатуры и объявление всей страны на военном положении. Я просил В. Н. Львова передать А. Ф. Керенскому и вам, что участие вас обоих в составе правительства считаю безусловно необходимым, просил передать мою настойчивую просьбу приехать в ставку для принятия окончательного решения; при чем заявил, что в виду

имеющихся у меня точных сведений о готовящемся в Петрограде выступлении большевиков, я признаю положение крайне грозным и в частности считаю нахождение вас и А. Ф. в Петрограде весьма опасным для вас обоих, почему предложил приехать в ставку, гарантируя своим честным словом полную безопасность. Вчера, при обсуждении общего положения дел комиссарверха, мы пришли к окончательному выводу, что для спасения страны необходимо немедленное установление коллективной диктатуры в виде совета обороны, при неслыханном участии в нем А. Ф. Керенского, вашему, М. М. Филоненко, и моему. Об этом взгляде моем вы были поставлены в известность М. М. Филоненко. Вчера вечером, во время разговора с министром-председателем, по аппарату я подтвердил ему переданное через В. Н. Львова и был в полном убеждении, что министр-председатель, убившись в тяжелом положении страны и желая работать в полном согласии со мной, решил сегодня выехать в ставку, чтобы принять окончательные решения. Сегодня я получил телеграмму о моем отъезде. Я вновь повторяю, что мне интересы моей родины, сохранение мощи армии дороже всего, свою любовь к родине я доказал, рискуя много раз собственною жизнью, и ни вам, ни остальным министрам правительства не приходится напоминать мне о долге перед родиной. Я глубоко убежден, что совершенно неожиданное для меня решение правительства принято под давлением совета р. и с. деп., в составе которого много людей, зацитававших себя изменой и предательством. Уходить под давлением этих людей с своего поста я считаю равносильным уходу в угодку врагу с поля битвы, поэтому в полном сознании своей ответственности перед страной, перед историей и перед своей совестью я твердо заявляю, что в грозный час, переживаемый нашей родиной, я со своего поста не уйду. Задержание отъезда М. М. Филоненко вызвано моим стремлением не осложнять и без того запутанное положение дел. Ближайшие мотивы моего решения он объяснит вам лично. Я кончил.—Генерал Корнилов, 27 августа 1917 года. 5 часов 50 минут. Ставка.

У аппарата Филоненки.—Могу ли я сказать два слова, Борис Викторович, жду.

— Я желаю говорить с главноверхом, жду.

— Слушаю, главноверх ушел, сейчас ему сообщат.

У аппарата генерал Корнилов.—Я слушаю.

— Я не буду спорить с вами, господин генерал, и доложу о нашем разговоре Временному Правительству, но я считаю долгом для восстановления исторической точности заявить, что я по поручению министра-председателя просил у вас конный корпус для обеспечения проведения в жизнь военного положения в Петрограде и для подавления всяких попыток возмущения против Временного Правительства, откуда бы они ни шли. Что касается возможной высадки противника, то я узнал о ней из беседы с вами в ставке, а также и о количестве взорванных пулеметов и снарядов в Казани. Филоненко говорил так вносительно, что того смысла его слов, на который вы указываете, я не усмотрел. Лавр Георгиевич, я, как вам известно, стоял

на точке зрения необходимости чрезвычайно сильной революционной власти и этого ни от кого не скрывал, но власть революционная не может быть властью единоличной, и я докладывал вам, что если бы даже А. Ф. Керенский объявил себя диктатором, то даже и он нашел бы во мне врага. Из изложенного вами я усматриваю, что Львов сыграл в этом деле плачевную, если не сказать больше, роль. Я не могу забыть ваших последних слов в ставке, что вы готовы всемерно поддерживать А. Ф. Керенского, если это нужно для блага отечества, и моего ответа вам, что я счастлив, слышав эти слова. Я боюсь, что недоразумение, порожденное Львовым, сыграло роковую для [нашей] армии роль, и я с прискорбием вижу, что все мои труды не дали результата. Лавр Георгиевич, я уже сказал, что мне не надлежит ныне спорить с вами, но у аппарата Маклаков, он хочет говорить с вами; угодно вам выслушать его?—Савинков.

— М. М. Филоненко находится здесь, стоит рядом со мною у аппарата и не выедет из Могилева до завтрашнего дня. С В. А. Маклаковым поговорю с удовольствием.

— Здравствуйте, Василий Алексеевич. Что прикажете?

— У аппарата Маклаков.—Здравствуйте, Лавр Георгиевич, в передаче Львова ваше предложение было понято здесь, как желание насильственного государственного переворота, глубоко рад, что это, [повидимому], недоразумение. Вы недостаточно верно осведомлены в политическом настроении. Такая попытка была бы несчастием России, повела бы к гибели армии, резне офицеров и победе Вильгельма. Необходимо принять все меры, ликвидировать все недоразумения, без соблазна и огласки. Вы недостаточно в курсе того, что здесь происходит, если мог быть полезным, охотно приеду в ставку.

— Возможно, что я недостаточно ясно разбираюсь в нынешних политических течениях, но только для меня ясно то, что страна и армия неудержимо идут в пропасть, и своим последним неосторожным шагом правительство еще более обострило положение. Я охотно встретился бы с вами с А. Ф. Керенским и Б. В. Савинковым здесь в ставке, и думаю, что недоразумение могло бы быть устраниено при личных объяснениях, только полагаю, что при существовании последней телеграммы о моем отозвании почва для благополучного исхода вряд ли благоприятна.—Корнилов.

— До-свидания.—Маклаков.

Беседа эта укрепила меня в уверенности, что в основе всего происшедшего лежат недоразумение. Я не знал, кто или что является причиною этого недоразумения, но я видел, что ген. Корнилов не стоит на точке зрения предъявленного Львовым „ультиматума“. Я снова ходатайствовал перед А. Ф. Керенским о мирной ликвидации конфликта, но А. Ф. Керенский и на этот раз не согласился со мною и поручил мне оборонять Петроград от ген. Корнилова в качестве военного генерал-губернатора г. Петрограда.

Я принял это поручение по двум причинам. Во-первых, глубоко веря в бескорыстие и беззаветную любовь к родине ген. Корнилова, я не имел оснований относиться с тем же доверием к некоторым из окружающих его

лиц. Более того, я подозревал этих лиц в стремлениях монархических и опасался, что в случае удачи предприятия ген. Корнилова, не он, ген. Корнилов, станет во главе правительства и будет руководить правительственной политикой, а управлять Россией будут люди, едва ли в такой же мере, как он, одушевленные любовью к России. Во-вторых, я, как военный служащий, считал своим долгом беспрекословно исполнять приказания моего непосредственного начальства, даже в случае, если я не вполне с этими приказами согласен. Приняв же на себя возложенное А. Ф. Керенским поручение, я считал своим долгом, как военный генерал-губернатор г. Петрограда, не только принять все меры к обороне вверенного мне города, но и разделить в официальных документах правительственную версию о предприятии ген. Корнилова.

Таким образом, я оказался врагом человека, к которому относился с глубоким уважением, как к человеку безупречному во всех отношениях, а прямой и мужественный характер которого поселил во мне чувство признанности.

„Период ген. Корнилова“ закончился. Я шел с ген. Корниловым до тех пор, пока он, следуя законным путем, отстранял от себя влияние безответственных лиц, и я считал за высокую честь мою совместную с ним работу. Работа эта не дала желаемых результатов. Доблестный генерал Корнилов, одушевленный любовью к родине и — из любви к родине — и к завоеванной народом свободе, готовый на всякие жертвы, не завершил начатого им труда. Не мне судить, кто виноват в этом. Рассудит это беспристрастный и гласный суд. Но будущий историк не пройдет молчанием этой загадочной страницы истории революции Российской. Кому было нужно, чтобы та программа, которая намечалась еще на юго-западном фронте, которая проводилась в жизнь с такой настойчивостью и с таким упорством и которая существенно могла поднять боевую способность армии, а следовательно и спасти Россию, рушилась накануне своего осуществления? Кому было нужно, чтобы соглашение ген. Корнилова с А. Ф. Керенским, достигнутое с таким трудом, прервалось внезапно, и чтобы ген. Корнилов отказался повиноваться министру-председателю, а министр-председатель не согласился выяснить причины отказа? Кому, наконец, было нужно, чтобы русская армия осталась немощной и в стране вместо законности воцарился самосуд? Мне не даво ответить на эти вопросы. Это дело беспристрастной истории. Но Россия не забудет ген. Корнилова, который быть может сделал ошибку, быть может, совершил преступление, но который всей своей жизнью доказал, что он верный сын своей родины и бескорыстный защитник ее.

Б. Савинков.

Стамбульское бродяжничество ¹⁾.

Была глухая ночь, когда я и Коля сошли с корабля на пристань.

Стамбул сверкал мириадами огненных глаз, и эти огни мерцали в ночной мгле, словно светящиеся веки, так гостеприимно и заманчиво, как будто звали войти в домики и отдохнуть после долгого и утомительного пути.

Мы смотрели без конца на эти мерцающие огоньки в домах, и они нам кричат так призывно о домашнем уюте, горячем ужине, кружке пенистой „мастики“, такой сладко-терпкой, опьяняющей в несколько минут.

— Эх, Коля, а ведь ничего не поделаешь, придется провести эту ночь под открытым небом.

Сажених в пяти тут же на пристани была проложена железная дорога, и на рельсах стояли товарные вагоны.

Словно коробки вырисовывались их контуры в ночной тьме, неподвижные, мрачные, застывшие на одном месте.

Мы встали с дамо́ и подошли к вагонам. Заночевать в одном из них все же было приятнее, чем под открытым небом.

Как страшно очутиться одному, без копейки денег, в огромном, чужом городе...

Все незнакомое...

Спешащим людям нет до тебя дела, хоть упали на раскаленные плиты тротуара и умри... Ведь у каждого свой дом, свое занятие, каждый занят своими мыслями, своими делами. Правда, я был не один, рядом со мною шагал Коля... но в сущности и он был для меня совершенно чужой человек...

Случай и обстоятельства соединили нас временно и больше ничего...

И в мечтаниях наши пути расходились... я думал пробраться во Францию, а Коля в Сербию, в своему отцу, который жил в Белграде.

У меня в боковом кармане френча лежало письмо... Я получил его еще в Галиполи от своих друзей из Франции... друзья мне писали, что если когда-нибудь судьба закинет меня в Константинополь, то пусть я найду в уполномоченному Красного Креста Сергееву и он мне окажет всяческое

¹⁾ Эта статья тесно примыкает к напечатанной в № 1 (39) „Вылого“ статье того же автора „Последние дни Врангелевщины“ и изображает те мытарства, которые пришлось пережить автору после бегства из лагеря в Галиполи.

содействие, так как Сергеев приятель моих друзей, и, следовательно, не откажется для них — помочь и мне. Красный Крест помещался в русском консульстве на Пере, самой главной улице Константинополя, и вот туда-то мы и шли с Николаевым... Провали Галлатский мост, огромный мост через Босфор, весь заполненный проходящим народом... с нас хотели сперва взять плату за право прохода... по пиастру с человека, но мы лишь улыбнулись, когда турецкий сборщик протянул нам свою потную смуглую ладонь.

Окинул нас презрительным взглядом и слегка махнул рукой — проходимо! шантрапа, не загромождай пути. — Мы стали подниматься по какой-то лестнице, в роде рихельевской в Одессе, только узкой и изогнутой, проложенной между небольшими грязными домишками. Сбоку нас возвышалась башня, широкая, массивная, с бойницами и зубьями наверху.

Это была Галлатская башня, с бесконечными следами отошедших веков, на затянущихся плесенью и мохом стенах.

Было душно и жарко.

Прошли базар... там толпились множество русских... все были одеты как и мы, в военные френчи защитного цвета и брюки-галлифэ... только форма их представляла сплошные отренья от долгой непрерывной носки...

Все русские „что-нибудь продавали“. Один пончики... Сладкие, сдобные пышки... Цветы... открытки...

Некоторые держали в руках пачки „Николаевки“ и „Деникинских Колокольчиков“. Это были „спекулянты“ с неведомой для меня уже целью, спекулирующие и выменивающие этот „денежный хлам“.

Сутолока. Крики... давка... Суетится народ... Наступают друг на друга. Хватают за локти и останавливают, предлагая купить.

— Мы спросили у одного хохла, где „Консульство“. Парень оказался веселым, словоохотливым...

А лицо у него было исхудавшее и глаза горели — болезненным лихорадочным огнем.

— Це близько... треба йти в хору, потім свернути вправо — виткеля ви?

Мы удовлетворили его любопытство, рассказав, что только вчера приехали из Галлиполи... Хохол заинтересовался, „зацекал“ языком, стал спрашивать про галлиполийское житье, про армию.

— Ну а что, как тут живется, — спросили мы, в свою очередь, удовлетворив его любопытство.

— Дуже погано... колы гроши, тоді ще нічого, а колы нема, то треба ремінь потуже затанути...

Итак, впереди нас ждали тернии... уже если русский человек затягивается ремнем... вместо обеда... то это значит уже плохо...

На углу Перы и улочки, из которой мы вышли, — стоял полковник в погонах... и с георгиевским крестом на груди... Он держал увесистую кипу газет и кричал зычным голосом на всю улицу:

— Прес-дю-Суар. Прес-дю-Суар.

— Последние новости о наступлении Кемаль-Паши. Греки отброшены на три версты от деревни „Карачи-Бугаз“. Константинополь ни в коем случае не должен попасть в зону военных действий.

Полковник смотрел безучастными, выпевшими глазами на проходящих людей. Его седые усы печально свесились книзу... и тяжелые складки морщин изобразили его болезненно-бледное лицо...

— Прэ-дю-Суар. Прэ-дю-Суар.

И даже, когда мы свернули вправо, как указал нам хохол, и отошли на большое расстояние, все же еще слышался его зычный голос, выкрикивающий последние сенсационные новости.

Вот должно быть и консульство. На белом здании развевается трехцветный флаг. У ворот опять толпа — русских в „защитных“ отрядах.

Мы подошли... и стали расспрашивать, как найти уполномоченного Красного Креста.— Большинство из них явилось за получением паспорта. Мы разговаривали с ними, и они с жаром стали нам рассказывать про свои мытарства, о том, как трудно получить этот документ.

Эта попытка предсказала и нам и потому рассказы русских о том, как они бьются по три-четыре недели и ежедневно маршируют сюда впустую, не могли, конечно, нас утешить.

В тесном проходе под ворстами Консульства стояли фотографии-греки.

Через пять минут готова карточка. Плата 15 пиастров за пару. Главным образом снимаются русские, так как для получения паспорта нужно представить в канцелярию 2 фотографии.

За неимением денег приходится *volens nolens* обращаться к услугам этих бродячих фотографов, ведь сняться на Пере — стоит больше лиры... а о такой сумме русский беженец может лишь грезить.

Когда же в кармане полнейшая пустота, то греки-фотографы не гнушаются брать плату „натурой“, русский снимает тут же с себя „исподнюю“ рубашку, грязную, запятнанную, мокрую от пота...

Грек безразлично ее осматривает, нет ли дыр, и если убеждается, что „товар“ подходящий, бросает ее в корзинку, стоящую у треножника аппарата. Сделка заключена... и через 10 минут русский получает свою „искривленную физиономию“.

Недалеко от фотографа стоит „Его превосходительство“... с трясущейся от старости нижней челюстью... он держит в руках маленькую корзиночку с финиками и продает их: „Финики... Финики... кому финики“...

Мимо русских проходит огромный детина в красной феске, повязанной грязной тряпкой, и дико рычит: „Сюд... Сюд... Сюд“.

В руке у него металлический кушак с молотком... За поясом висят два медных стакана, для желающих „полакомиться“ тут же...

— Подожди меня, Коля... я переговорю только с уполномоченным и скоро приду.

Николаев садится на тумбу у самых ворот, а я вхожу во внутренний двор. Двое часовых в погонах и с обнаженными пашками стоят у входа...

Часовые одеты с иголки... лакированные сапоги со шпорами... лихо сдвинутые на висок „бескозырки“ с блестящими „под офицера“ кокардами... Лица лоснятся от жира и полнокровия... наглый взгляд... Должно быть им тут сладко живется... вот бы их в Галиполи из „подхалимской сотни“

Я смотрю на них, и мне делается странно.

Зачем стоят они тут? Представителями какой страны являются эти два рослых молодца? Чье право они охраняют с обнаженными пашками? Врангеля? На каком же основании он чувствует себя хозяином в этом „Консульстве“, раз он выгнан из России?

Жмурятся „молодцы“ на солнце... видно, доняла жара... и они „упрежи“.

Несколько женщин сидят вдоль стены — должно быть ждут своей очереди. Над ними висит плакат:

„Сегодня Красный Крест выдает детское белье“

Я спрашиваю у женщин, как пройти мне к „уполномоченному“, и они начинают торопливо объяснять мне, перебывая друг друга и жестикую руками...

— Вот идите прямо... и первая парадная за углом...

— Милая, так зачем ему идти прямо... ближе, ежели пойдти влево.

— И ничего даже подобного... вон там, где бочка с водой, туда и иди.

И я иду, хотя смутно понял, где правильная дорога... Наконец, не без усилия, подхожу к крепкой дубовой двери, окованной железными узорами... толстый швейцар-турок в ливрее загораживает мой путь. Я объясняю ему... мне нужно видеть уполномоченного. Турок прекрасно понимает по-русски... Он немного отступает и дает мне возможность пройти. Поднимаюсь по лестнице на 2-й этаж... и останавливаюсь перед дверью... Опять плакат с надписью:

„Уполномоченный Красного Креста принимает посетителей по делам от 9—12 часов утра“.

Я не знаю, сколько сейчас времени. Есть уже 9 часов или раньше... У меня нет часов, а я позабыл спросить на дворе, в какие часы принимает „уполномоченный“.

— Ну да все равно... дерну за ручку... если заперта дверь, то обожду тут же на ступеньках...

Дверь поддается, и я вхожу. Передо мною в комнате, за письменным столом сидит белесоватый мужчина, на вид ему лет 30—быть может немного больше.

Налево от него сидит за другим столом, уже поменьше, барышня и старательно выстукивает на машинке какую-то бумагу... Я подхожу к „белобрысому“ и спрашиваю, где мне можно видеть „уполномоченного“.

— А зачем он вам нужен, денег что ли просить?—грубо отвечает мне белобрый.

Он пристально смотрит на меня и я, в свою очередь, на него... Я чувствую, что в эту минуту он бешено меня ненавидит и готов убить. Еще

бы, ведь я олицетворяю собою толпу, ежедневно докучающую его просьбами, справками, своими маленькими, такими далекими и чуждыми для этого господина делами.

Я уже хочу ответить ему грубостью на грубость, как вдруг он выпаливает мне.

— Уполномоченный Красного Креста я... что вам нужно?

Так вот „что за фруктик“ приятель моих друзей... Не завидую я им...

Итак, моя судьба в руках этого человека...

Я называю себя... достаю письмо своих друзей из Ниццы и протатываю ему. Он долго его читает. Не доверяет мне... а вдруг я его обманул... во время чтения бросает на меня свирепые взгляды из-подлобья... Но вот письмо прочитано... с минуту о чем-то думает, трет свой лоб выхоленным пальцем, на котором сверкает бриллиант, и вдруг спрашивает меня с ехидной улыбкой:

— Зачем вы сюда приехали из Галлиполи?

— То-есть, как зачем?—удивляюсь я в свою очередь...—Что же мне там оставалось делать, торчать что ли всю жизнь!

— Я не знаю право, что могу для вас сделать... Вот Елена Викторовна пишет Вам, что я смогу сделать все, ради нее, но я... гм... Я прямо затрудняюсь... разве вот... Анна Игнатьевна... выдайте ему молодому человеку 10 пиастров из казенных денег и напишите ему ордер на право получения обеда в течение 2-х дней...

— А при какой столовой?—барышня подобострастно вытянула шейку и наклонила вправо головку, чтобы лучше расслышать слова начальника...

„Ну хотя бы при столовой № 1 в Харбие...

Барышня, вздохнув, поспешно поднялась из-за столика, бросила на меня презрительный взгляд, как бы давая мне понять, что вот мол для такого „оборванца и шантрапы“ приходится беспокоиться... и ушла в соседнюю комнату.

Белобрысый погрузился в чтение книги, а я стоял у окна, глядел во двор Консульства и думал с болью о том, что все мои надежды на помощь „уполномоченного“ лопнули, как мыльный пузырь...

Вскоре вышла барышня и бросила мне на стол 10 пиастров и 2 обеденных талона.

— Можете идти, — сказал мне уполномоченный Красного Креста.

В вестибюле я услышал из „швейцарской“ женский мелодичный голос...

— Ах нет, месье,—я не могу согласиться на одну лиру... Хотя я и русская, но это слишком дешево!..

Мужской голос басил все настойчивей и настойчивей, предлагая одну лиру... В этом голосе я узнал швейцара...

— Нет, хоть ты и московская княгиня, а больше лиры не стоишь...

Княгиня и... продается за лиру... я заинтересовался и остановился у выходной двери... В швейцарской слышалась возня... потом ругань... грубая отвратительная брань разъяренного швейцара... но „княгиня“ должно быть

не согласилась на одну лиду... Дверь швейцарской раскрывалась, и по ступенькам поднималась очень красивая, нарядно одетая, молодая дама, в ушах у нее сверкали бриллиантовые сережки, а на пальцах перстни...

Зачем же она продавалась? Не лучше ли ей было продать драгоценности... А может быть они были „фальшивые“?

На дворе Коли не оказалось... За воротами Консульства я также его не нашел... неужели он ушел без меня? Я стал объяснять фотографу-греку все приметы Николаева.

— Тогда фотограф подумал, что я хочу сниматься, и быстро стаял с лица черную материю...

— Нет... Нет, Кардаш... а сниматься не буду...

Я стою на небольшом дворе, огороженном высокой, каменной стеною. Посреди две тентовых, зеленых палатки... От самых ворот до входа в палатки тянется длинная очередь...

Это стоят все „счастливицы“, имеющие талоны на обед и чай. На два дня и я обеспечен едой... а там посмотрим... к чему унывать с первых же шагов?... к чему? В очереди не меньше пятисот человек... Все бывшие военные... Сплошное желтое пятно защитного сукна на ярком фоне голубого неба юга. Перед самым входом в палатку поставлен стол и за ним сидит генерал... „Его превосходительство“ и тут не потерялось. Удивительное умение всех „господ командующих“ пристраиваться на хлебные места... На генерале блестят золотые погоны с кривыми зигзагами... генерал от кавалерии...

Я подхожу к очереди и спрашиваю, как мне найти заведующего столовой.

— А зачем он тебе?

— Как зачем... Я только приехал... и вот мне выдали два талона на обеды, так их ведь нужно наверно предъявить.

Мне объясняют, что заведующий куда-то ушел, а пообедать можно и так, лишь бы был билет... Нужно его только предъявить вот тому „толстомордому“, что сидит за столом. Поднимаются расспросы, откуда я приехал... Я отвечаю... рассказываю про жизнь в галлиполийском лагере... про наши мытарства... и лишения... Незаметно в плотно стоящем хвосте образуется пустое пространство, которое я и заполняю своей персоной... И доволен... Длиннейшая очередь отходит на „задний план“ и я могу теперь совсем скоро приблизиться к генералу и вручить ему свой „обеденный талон“.

— Чего пушаете вне очереди, так не годится — несутся протесты...

Фигура, стоящая передо мною, медленно выходит и кричит зычным голосом:

— Братишка этот, — только с Галлиполи и не жрами!

Крики замолкают. Жарко стоять на самом солнцепеке... Тут в Константинополе пожалуй еще жарче, чем в Галлиполи. Невыносимо давит сукно... все прилипло к телу... Мучительно „зудят“ подошвы в тяжелых, кожаных

железом английских „танках“. С соседнего минарета заунывно запел мұэдзин, призывая правоверных на молитву...

— Чего мы ждем?

— Вот значит, когда „нижний кот“ промурлыкает на башне, тогда и жратву дадут — тут у нас так заведено.

Я смотрю на очередь... вглядываюсь в лица... бедняги... и тут должно быть не сладкое житье. Все истощавшие... глаза блестят лихорадочным блеском... оборвались до последней степени, усталые... бродяги без пристанища... жертвы подлой авантюры... а наверно... вот этот генерал в золотых погонах не испытывает угрызений совести... Напротив... он покрывает визгливой „барской фистулой“ на слишком „нетерпеливого“, осмелившегося протянуть ему свой обеденный билетик... В очереди стоят и женщины... У них в руках „посуда“: наверно семейные, обедают на дому... Оборванные, грязные юбки... блузки... стоптанные ботинки с покрывавшимися коблукками... скрученные наспех волосы... такое же бесконечное утомление в глазах, в лице... в позе ожидания... бесконечная печаль... уныние... Сколько желтых френчей!

Как они сюда попали? Ведь из Галиополи никого не выпускают. Я спрашиваю об этом соседей... и узнаю: „Это все высадившиеся с первых пароходов, эвакуированные из Севастополя“.

— Тут нашего брата больше 5-ти тысяч...— рассказывает мне сосед.

— А больше всего значит высадилось буржуев и буржуек... Спервоначалу они, стервятники, все продавали... и золото и брелюянты свои... а потом значит, как продавать стало нечего, пошли сюда к нам, отнимать наш хлеб, потому вот теперь и пошли строгости на „шаманье“, а раньше было куда вольготнее!..

— Ну, Дмитрич, ты как „ловчилой“?

— А как же, как вчера, — отвечает на вопрос широкоплечая фигура, стоящая за мной...

Как все тут похоже на то, что с таким огромным трудом я отбросил назад... в „прошлое“ и вдруг опять „то же самое“: их высокопревосходительства... Превосходительства... Золотые погоны... Защитное тряпье солдат... Да когда же, наконец, можно будет вздохнуть свободно, полной грудью набрать воздух! Трудно стоять... хоть бы скорей уж начали раздавать обед... Устал я... Отупел от этой жары... от всего.

— Мими! ах мой бог, Мими!

Я вздрагиваю от резкого, визгливого, старческого крика. Оглядываюсь... Шагах в семидесяти от очереди стоит старушенка... юбка ее вся изодрана... сплошная дыра, через которую просвечивает грязное, до отвращения, белье. На ней шелковая, черная кофта, покрытая кружевами... или вернее некогда бывшими кружевами, так засалилась, потрепалась от времени... эта черная кофточка. Старушка с необыкновенной для ее лет быстротою машет руками и все продолжает кричать.

— Мими!.. да где же ты? Господи! опять пропала!..

— Графиня, — поясняет мне фигура, стоящая впереди: — у ей значит опять сбежала собаченка, и она ее отыскивает.

— Ха, ха, ха, ха! — раздается хохот в очереди.

„Братва“ рычит от смеха, перегибается пополам, сжимает бедра руками. Смешно. — Ишь плачется, стерва, по собаченке! — Ай да мадама! Не сумлевайся, таперича пропала твоя собаченка! —

— Мими пропала! Мими... Ой, ой, ой!

— Рехнувшаяся, — поясняет опять „фигура“ спереди. Ей значит под 70... Кажинный день так все вопит, прости господи.

А надясь ребята ее Мимишку опонили подкой, так она чуть не померла с горя, значит дух сперло. А как очухалась, как зачнет насканивать на паликмахтера Никиту, дрожит вся сима, точно бес перед заутреней, а сама его так по мордасам и норовит, норовит значит хлобыснуть. Насладу оттянули...

Стали пропускать. Дрогнула очередь. Замолк смех... Все ближе и ближе к столу и стулому генералу. За моей спиной вполголоса обсуждают — пропустят или нет пожрать.

— Ну, пуцай только не пропустит... кишки выпущу, потому што, таперича он не езарал: нечего ему нос фуфырить.

Я подаю „его превосходительству“ свой билет, и меня пропускают внутрь палатки.

Посреди длинный стол и сбоку скамьи... В углу палатки нечто в роде полубуфета. На нем огромные никелевые чаны с дымящимся супом. За полубуфетом стоит повар, на нем белый фартук, на голове — „поварской“ колпак. Рядом стоит табуретка, а на ней большая корзина с хлебом, перерезанным порциями (круглый хлеб на четверых), порции большие, увесистые... Хорошенькая сестра милосердия, по всем признакам из „общества“, раздает хлеб подходящим... На изящных, тонких пальцах — драгоценные кольца... Красный крест рельефно выделяется на белом фоне сестринского платья...

Внутри палатки также образуется очередь... Сперва нужно подходить к повару и после того, как он нальет в миску суп, уже подходишь к хорошенькой сестре и она выдаст хлеб.

Должно быть снаружи следят за количеством мест и пропускают, соизмеряясь с обедающими.

После Галлиполийского „брандахлыста“ дымящийся в миске борщ с изрядным куском мяса кажется мне неземным блаженством. Как вкусен и душист хлеб! Я ем с жадностью, с наслаждением...

Старая графиня сидит в тени — на лавочке. На ее коленях маленькая белая собаченка с черной мордочкой. Мне хочется отдохнуть после сытного обеда и я подсаживаюсь к ней. Во двор прибывают все новые столовники. Одни уходят, другие заступают их место, пришли еще женщины, а с ними и дети... Опять со своей посудой. Это значит, что обедать они будут дома у себя, дома. Какое это великое слово, полное чарующей прелести...

Вот у них есть свой дом... У этих женщины, пришедших с детьми... а у меня его нет. Я не знаю, где буду проводить сегодня ночь, а завтра я смогу в последний раз пообедать. Отберет жирный генерал мой последний талон—и я останусь опять без куска хлеба... Напротив меня у стены свалены вещи беженцев; простые мешки, увязанные веревками. Зачем они здесь очутились? Тоже должно быть нет дома у их обладателей и они принуждены всюду таскать их за собою.

Старуха графиня приспально смотрит на меня... Смотрит тусклыми, водянистыми глазами и гладит собаченку, а ее губы шепчут:

— У меня было пять собачек, целых пять. Мими, Вижу, Лулу, Зизи и Нине... и все пропали. Des hommes mechants les ont tués. Я путешественница. Je suis une voyageuse. Я отправилась в научную экспедицию на северный полюс через южную Францию и Испанию. Сопровожда мои ехали тоже со мною, а по дороге в Туалы на нас напали эти варвары и всех моих собачек, дорогих незабвенных собачек, убили... О я кусала их... Я защищала своей грудью... всех убили проклятые... всех.

Бредит ли она... или хочет поведать мне свое горе, растерзанное ее сердцем. У каждого из нас своя любовь, свои привязанности... Бедная маленькая собаченка, ты так же наверно голодна, как и твоя госпожа.

Старуха проводит своей сморщенной рукой по валожмаченным волосам. На ее глазах показываются слезы; стекают крупными каплями по ее сморщенному лицу, падая на колени, на мордочку „Мими“. У меня было пять... пять собачек... опять шепчет графиня всхлипывая... и всех их убили.

Я сижу во дворе уже должно быть часа три. В углу двора у самых ворот я подвешиваю измятый обрывок бумаги. Хоть мало места, но все же можно писать огрызком карандаша, который я вынул из своего кармана.

Я решил вести дневник. В верхнем углу обрывка я ставлю, как полагается, число, и начинаю свой дневник.

25-го апреля 1921 г.

Итак, я в Константинополе... Начинается второй этап моей жизни „Заграничного бродяги“.

Графиня, наконец, ушла со своими страданиями по погибшим собачкам, и мне сразу стало легче на душе. Есть люди, которые выпускают из себя флюиды тоски, и не только носят за собою эту тоску, но даже отравляют ею атмосферу...

Вчера я провел ночь в товарном вагоне... сегодня проведу ее на лавке столовой № 1 в Харбие.

Полковник сказал мне, что ворота во двор столовой запирают в 6 часов вечера. Все „начальство“ удаляется в 5, а служащие при столовой держат нашу руку, бедоменных бродяг, и не выгоняют на улицу.

При столовой имеется своя парикмахерская. Заведующим, кассиром, бродобреем, уборщиком, одним словом исполнителем всех перечисленных

обязанностей является Никита. Он из донских казаков. Невысокого роста, широкоплечий парень. На его голове неизменная кубанка... Его костюм состоит из рваных коричневых брюк и такого же порванного, истрепанного пиджачишка. Никита вечно пьян. Ходит всегда пошатываясь и широко расставляя ноги. Свою бороду он тщательно бреет, а усы подстригает по-американски. Парикмахерская — его детище и открыта по его инициативе. Прямо в каменную стену вбит гвоздь и на нем висит небольшое зеркало, оправленное в лубочную, пеструю рамку. Под зеркалом прямо на кирпичках, наложенных столбиками, лежит доска, а на доске мыльница, бритва и кисточка. Чем вам не парикмахерская? Чтобы „клиенты“ не скучали в то время, как их бреет Никита, а во время бритья „клиенты“ сидят на разбитом ящике из-под „корн-беф“, под зеркалом приклеена к стене картина, изображающая голую нимфу с выпученными, точно у рака, глазами. Над нимфой полумесяц, а у ее ног изогнутая восточная шашка.

Внизу картинки надпись „женская честь“, а справа висит плакат с надписью:

В парикмахерской можно побрить
и подстричь за пять пиастров чиста,
за аккуратность ручающца.

Я подхожу к „парикмахерской“ и смотрю, как бреет Никита.

— Валяй побрею... любезно окликает парикмахер.

— В другой раз... денег нет.

— Денег нет, так в долг. Пушай.

Небось жить будешь при столовой.

26 апреля.

Ночь я проснал на лавке в первой палатке. Во второй, оказывается, спят младшие служащие при столовой. Ночевать осталось человек пятьдесят, или около того. У нас произошел целый бой за захват лавок. Мне пришлось сцепиться с каким-то рыжеволосым парнем.

Скамейка очень узкая, и я обязательно упал бы, если б не придвинул ее плотно к столу и таким образом не установил для своей спины опоры. Некоторым „счастливым“ удалось захватить по две скамейки, и им уже не грозит опасность „сонного падения“.

Ночь очень холодная... Хорошо хоть то, что приходится спать все же не под открытым небом — холстина палатки хоть немного предохраняет от холода. Кто-то из „ночлежников“ вынул огарок свечи и зажег ее. Ребята тотчас же воспользовались светом, уселись за стол и стали давить вшей в своих рубашках. Начались пари, у кого больше... Поднялся смех... Разговоры... Завязались споры, а за ними перебранка...

Трудно мне было сперва прилечь спать на узкой скамье... потом ничего, заснул. В 6 часов утра пришел служащий столовой и дико заорал.

— Ну, голытьба, вставай! а не то енарал придет, так живо разгонит всю вашу свору.

Мы мгновенно вскочили с лавок, сдвинули их к столам, „как было“. Скрыли следы „преступления“. Теперь генерал уже не будет знать, что ночью тентованная палатка дада приют бездомным людям.

Старуха-графиня спит с Мимишкой в палатке со служащими. Они жалеют ее старость и не гонят прочь. Сегодня я смогу пообедать в последний раз, а там будь что будет.

29 апреля.

Вот уже три дня, как я живу при столовой и вполне „окалмативировался“. Оказывается, не так уже страшно остаться без обеденных талонов. Ежедневно после шести часов, когда прекращаются обеды и уходит „начальство“, повар и его помощники раздают остатки пищи „безбилетной братве“. Правда, есть риск ничего не получить, — желающих поесть всегда очень много, а остающейся пищи в котле мало, но все-таки, при известном напряжении мускульной энергии и расторопности можно кое-что выудить и „пошамать“, — как говорят беженцы.

Константинополь стал совсем русским городом. Куда ни пойдешь, всюду слышна русская речь. Повсюду на углах стоят русские беженцы, продающие все, что только можно.

- Свежие сдобные пончики.
- Ливанские орешки...
- Не желаете ли искусственных цветов!
- *Près-du-Suag* — последние новости — купите!
- Дешево продам рубашку, совсем новая, ей-богу, только два раза надевал...
- Деньги покупаю — Деникивские колокольчики и царские!..

Слишком много продавцов и слишком мало покупателей... я оттого у русского беженца пусто в животе... В горле застывает комок от готовых вырваться рыданий. Голод и нищета. За что только не берется русский, чтобы заработать — в порту по пятнадцати часов без передышки грузят уголь, муку, дрова, все, что заставляют лоснящиеся от жира хозяева греки. Дробят камни. Мостят шоссе. Служат водолазами. Подносят вещи до извозчиков. Спекулируют. Грабят друг друга... открывают дутые предприятия в роде тараканьих бегов, кабинетов хиромантии. Ресторанчики и кабаре заполнены русскими оркестрантами. Люди, не бравшие в руки скрипку, гитару или мандолину по пятнадцать-двадцать лет, вдруг сразу вспомнили о своих „былых способностях“ и заиграли... Барышни и дамы принялись за выделку искусственных цветов. Русские заполнили места кельнеров и кельнерш, те же, кто не смог никуда пристроиться, пошли „клянчить по консуль-

ствам" и просить помощи у иностранцев. Каждое утро можно видеть, как перед зданием Американской Ары, Французского Красного Креста и Английского толпятся кучи русских.

— А, Иван Иванович, — и вы сюда пожаловали.

— Хе, хе, хе... — а, здрасте, ваше превосходительство, как же-с — как же-с.

— Вы что получили?

— Small kit.

— Ого, здорово.

— А вы.

— Civillian suit.

— Охо...

— Графиня — смотрите какой шик — не правда ли, душенька, чудные ботинки! Представьте, милочка, никак не думала, что выдадут такие... совсем „Вейсовские“, ну ничуть не хуже!

На „получившие“ завидуют „получившим“. Вырывают друг у друга из рук, щупают, рассматривают со всех сторон, опенивают... Тут же в толпе ныряют „спекулянты“ „денежные“ и покупают у „получивших“. Форменная толкучка. Торгуются, кричат, выменивают, продают, покупают, у „протожеев“ и у „доверчивых“ воруют... Горят страсти, пробуждаются низменные инстинкты зверя... Так изо дня в день... На Пере Аркадий Аверченко открыл ресторан под громким названием „Гнездо перелетных птиц“, рассчитанный на богатых „русских беженцев“, которым удалось вывести из России „денную валюту“. Мгновенно пристроились туда все русские „этуали“, широкой рекой потекли туда праздные иностранцы — и ресторан пошел в гору. Должно быть надолго осели эти „птички“ с жирными лоснящимися шеями и тройными подбородками, в своем „гнезде“.

На той же Пере открылся другой „шедевр“ — Кабинет Хиромантии... Предсказатель ложится в гроб, прикидывается мертвецом... и изрекает судьбу — перепуганному на смерть клиенту. За эту комедию — установлена плата в размере одной лиры... и охотников много... А сколько „игорных домов“ „лото“, „кухмистерских“, все эти учреждения растут как грибы после дождя... В Галлате открыли даже театр „парнографических живых картин“. Стоит ли говорить о том, что все эти милые учреждения принадлежат „денежным тузам“, — а вы сами знаете, что это за „фрукты“. Изысканная уточенная аристократия, великие патриоты гражданской войны не растерялись на чужбине и сумели применить свои силы.

20 мая.

Все не могу еще найти работы. Если бы не столовая в Харбие, так я, кажется, не выдержал бы — пропал с голоду как собака... и никто бы не обратил ни малейшего внимания. „Только сильные выживают в борьбе за существование“. Не помню, кто из великих людей сказал это, но только я на каждом шагу это чувствую. Силы мои падают с каждым днем. Трудно бороться за кусок хлеба, когда нет работы.

Я ночью по-старому в палатке при столовой на лавке... а утром, чуть светает, отправляюсь бродить по огромному городу в поисках работы. Иду в Серведжи, иду в Галлату, Бешекташ, брожу по трущобам Стамбула... и все нищ и нищ заработка с тупым упорством погибающего человека... Если счастливое „что-то“ не поможет — я погибну...

29 мая.

Вчера я был в „бюро по оказанию помощи русским беженцам“. Ребята в столовой сказали, что мне необходимо достать „личную карточку“ и тогда я смогу получить по ней смену белья...

Когда я пришел на „почтовую улицу“ — так ее прозвали русские, потому что „бюро“ называлось также „русской почтой“ — там уже стояла огромная толпа беженцев. Было только семь часов утра и мне пришлось простоять до десяти часов, пока не открыли „учреждения“...

Швейцар-генерал с георгиевским крестом в петличье стал, наконец, пропускать внутрь помещения по одному. Наконец, после долгого ожидания, дошла и до меня очередь. Я поднялся по лестнице и вошел в небольшую комнатку. Конечно, все барышни и дамы, служащие в „Бюро по оказанию помощи русским беженцам“, были также русские и, видно по всему, из „боконда“, тонкие аристократические выхоленные руки, унизанные бриллиантами... Маникюр. Серьги в ушах... Нарядные платья. Мне выдали личную карточку, которую я и заполнил:

— Какое желаете получить занятие? — спросила меня нарядно одетая дама.

— Гм... видите ли по своей специальности... я студент юрист...

— Ну и что же?

— Ну так вот, так как... конечно, трудно найти себе применение тут...

— Не задерживайте, говорите скорее!

— Ну так вот, нельзя ли найти какую-нибудь работку по сельскому хозяйству... да чтобы уехать куда-нибудь подальше из этого болота.

В это время мимо дамы проходили „Его превосходительство“ с нафабреными усами и большой плешью.

— Вот оно, — вдруг зарычал он. — Большевик... Еще смеет критиковать! Уже „заразился“ идеями! Вон пошел!.. Извольте немедленно отобрать карточку! Опять мгновенно вспомнилось Галлиполи, — все издевательства Кутепова и генералов... дисциплинарные наказания... цепи рабства. Меня взорвало:

— С.....! — закричал я на всю комнату не помня себя. — Скоро перережут вас как... — Но мне не дали закончить... двери мгновенно раскрылись, на меня набросились сзади какие-то люди... и выкинули с крутой лестницы вниз.

Сколько в Стамбуле проституток! Бог мой! Они бродят целыми отрядами и в одиночку, в особенности их много на Пере. Они стоят у армо

освещенных витрин ресторанов, магазинов, в ярких кричащих костюмах, напудренные, подкрашенные, с подведенными ресницами... и предлагают „свое тело“. Тут также раздается русская речь, зовущая мужчину за деньги. Русская беженка сумела заделаться на чужбине „потаскушкой“.

Но есть одно оправдание... женщина, продающая свое тело на улице — пошла в силу ужасающей нужды, ее толкнул на „скользкий путь“ голод. Но войдите в кафе, варьете, рестораны — и взгляните на „дам и девушек“ бомонда, кутящих и пьянствующих с иностранцами... Вушах и на пальцах бриллианты. Демонстрируемые бюсты, шелка. Бархат портьер. Шампанское... вина. А финал... опять „за деньги“ в отдельном кабинете...

Зачем они это делают... для чего? Может быть из „патриотических целей“ или чтобы еще „шикарнее жить“?

27 мая.

Вчера, когда я шел по Татавля-Джадесси, продавец „Préze du Suar“ громко закричал над самым ухом:

„Армия Врангеля переводится на беженское положение“. „В ближайшие дни по соглашению с союзниками начнется планомерное распыление армии, часть войск переводят в Сербию на пограничную службу“.

Мои мысли перенеслись в далекий Галлиполи. Захотелось, как никогда, снова увидеть дядю Костю и Платосика. Если б они были со мною! — Я не чувствовал бы себя тут таким заброшенным, одиноким и никому не нужным. Мимо меня пробегали турки-пожарные. Полуголые люди, лишь в коротких трусиках и желтых рубашках... Они тащили на плечах крохотную водокачку и бежали равномерной рысцой. Впереди бежал брандмейстер, тоже полуголый, и громко кричал.

— Языни вар. Языни вар. Татавля-Джадесси-баллаши. Услышав, все прохожие также начинали кричать: „Языни вар. Татавля-Джадесси-баллаши“. Весть о пожаре передавалась с быстротой молнии из уст в уста, переходя из одной улицы в другую, из квартала в квартал. „Языни-вар. Языни-вар“.

Я опять встретился с Николаевым... вчера неожиданно я увидел его в очереди, в столовой Харбие. Он еще больше загорел... одежда его еще больше обтрепалась. Свой „френч“ он где-то „спустил“ и его широкие плечи облегла ситцевая рваная рубаха. Обрадовался и бросился ко мне... горячо потряс руку...

— Коля... где ты пропадал? — спросил я его.

— Где? — он вдруг широко улыбнулся и обнажил два ряда белых, ровных зубов.

— Всюду бродил, Георгий... По всем трущобам Константинополя.

— И что же ты нашел хорошего?

— Там ровно ничего... а тут... тебя! — и он крепко сжал мою руку.

5 июня.

Вот уже 12 часов „наша артель“ разгружает турецкую баржу. Мы насыпаем лопатами под палящими лучами солнца уголь в огромные корзины с ремнями по бокам, взваливаем эту махину на спины и перетаскиваем без конца с баржи на пристань; двенадцать часов работы и всего только полчаса отдыха. Как страшно устала спина и руки! В коленях мелкая дрожь и почва слегка шатается — словно кругом землетрясение. Мысли не работают... полное отупение... ни о чем не хочется думать. Ходишь как автомат по доске, перекинутой с берега на баржу, и перетаскиваешь без конца тяжелый груз. Работа у нас сдельная, а пока мы разгрузили только половину баржи... Кажется, придется разгружать еще столько же часов, иначе ничего хозяин не заплатит. Таков уговор. Старший заложил три пальца в рот и издает резкий, пронзительный свист. Мы бросаем работу и окружаем его кольцом.

— Вот что, ребята, — начинает Николаев... (эту работу нашел он и поэтому был нами избран старшим) — хоть и устали мы чертовски, а ничего не подделаешь... придется еще работать! Нужно выполнить задачу до конца, иначе пропали наши денежки.

— А нельзя ли прийти „доканчивать“ завтра? — предлагает кто-то из артели. — Нет нельзя! — отвечает Коля... Поднимается гам, ругань, крики. Кто-то свистит.

— Мерзавцы! эксплуататоры... завтра придем.

— Моченьки больше нетути!

— Хиба це дило?

— Нет — нельзя, не получим денег! — кричит Николаев. — Разве вы не знаете эту с...

Я стою в стороне и чувствую, что у меня начинают течь слезы от усталости. Нет сил больше работать. Сердце отчаянно колотится в груди, словно хочет выскочить, мучает удушье, кружится голова... — Должно быть надо рвался, думаю я и с ужасом ожидаю, какое вынесет решение артель: работать дальше или бросать и прийти завтра. Артель, после долгого совещания, горячих убеждений Николаева постановляет разгрузить баржу до конца. Решив — „ребята“ с мрачными лицами идут по „местам“ и приступают к работе. Хозяин, толстый грек небольшого роста, стоит на носу баржи и кричит что-то своему помощнику. Я со злобой смотрю на его красное потное лицо, свисающую складками шею, и мне хочется взять тяжелый кусок каменного угля, подойти и треснуть его по башке так, чтобы он перекувырнулся через борт в воду. Грек спускается в трюм, и мысли мои принимают другое направление...

Делать нечего, хоть подохни, а нужно и мне доделать свою работу до конца. Не лишиться же целой лиры... Я нагружаю углем корзину, присаживаюсь на корточки, прилаживаю ремни к плечам... напрягаю все свои мускулы и кряхтя поднимаюсь с тяжелым грузом. Бешеная ненависть

к жирному греку снова охватывает меня: — „Буржуй, сосущий, как пиявка, мои силы. Вот бы его заставить протаскать всю ночь эти коряины, чтобы он чувствовал „труд“ на своей спине, закруглившейся от жира! Пусть упадет он в Босфор вместе со всем своим углем, мне нужно получить только одно — свою лиру!

И все-таки никто из нас не получил денег. Мы все отравились ядовитыми испарениями от угля... Говорят, что я был подмочен, и, когда стало жечь утреннее солнце, выделились ядовитые испарения... Не знаю хорошо, как все это случилось, только наши лица опухли и раздулись... а глаза стали слезиться... Мне потом объяснили, что уголь, безвредный для здоровья, должен быть блестящий, а наш был матовый. Объяснили сорта тогда, да я только позабыл его название. Отделался я легче всех. У меня только сильно слезились глаза, покраснели веки, прикинулся мучительный насморк, а лицо и руки опухли, словно сильно покусали пчелы, а вот Николаев и остальные, так тем пришлось пролежать в госпитале больше недели... Хозяин-грек воспользовался нашей болезнью и ничего не заплатил, хотя всю работу мы выполняли до конца.

15 июня.

Я играю на „бирже труда“. Это учреждение я забрел совершенно случайно, — дело было так: проходя по улице Секиз-Агачь я вдруг почувствовал страшную жажду. Как раз в эту минуту мимо меня проходил продавец „воды“ и пронзительно кричал „Су-су-су“. Я остановился и стал смотреть с вожделением на медный кувшин, который он держал на своем плече.

— Ах, если бы иметь только 1 пиастр, и я смог бы выпить стакан ледяной ключевой воды... а теперь вот мне придется опять плестись по жаре до фонтана, чтобы напиться. Я стал тоскливо оглядываться по сторонам... не валяется ли где-нибудь в пыли мостовой пиастр... Пиастра я не нашел, но зато увидел как раз напротив себя вывеску на родном языке.

„Русская биржа труда“.

У самого подъезда висел другой плакат:

„Требуются прачки 2
кухарки 1
повар 1
пивовар 1
художник-мастер детских игрушек . . . 1 и т. д.

Я подошел ближе к плакату и стал внимательно читать.

Почему бы мне не заделаться ну... хотя бы художником и мастером детских игрушек?.. Попытаю свое счастье. Правда, я никогда не был художником — но все-таки рисовать умею и когда-то же недурно рисовал акварелью. Что же касается детских игрушек... то там будет видно на

месте, сумею ли я делать их или нет... во всяком случае нужно будет попытаться получить это место.

Продавец воды постоял с минуту на месте, прокричал еще раз визгливой фистулой: „Су-су-су“ и свернул в другую улицу, а я толкнул дверь биржи и вошел внутрь. Небольшая комнатка... в стене два окошечка. Над одним висит надпись: „Спрос рабочей силы“, над другим: „Предложение рабочей силы“. На полу сидит человек 10 казаков и курят, у окошечек небольшая очередь... главным образом женщины. Лица многих мне знакомы. Когда я эвакуировался из Севастополя на пароходе „Владимир“, они также ехали на нем... Разница была только в том, что я мерз на палубе под открытым небом, а они ехали в каюте. Я пил воду, теплую, затхлую из бака... А они „красное“ и „шампанское“.

Ну еще бы, разве могли жены полковников и „превосходительств“ держать себя иначе?... А теперь они робко продвигались к маленькому окошечку и спрашивали:

— Можно мне получить место боинной? — Няней? — Прачкой? — Я умею хорошо готовить. — Не нужно ли портнихи?

Наконец очередь дошла и до меня. Я хочу получить место художника.

— А игрушки умеете делать? — спросил из окошечка молодой человек. Я ответил ему, что умею, и служащий быстро стал писать что-то на четвертушке бумаги. Потом громко стукнул печатью и бросил в окошечко бумагу. Я прочитал следующее:

„Русская биржа труда“ направляет к вам художника и мастера детских игрушек“. Просим господина Пантюховского, если посланный ему не подойдет, препроводить сию бумагу обратно для регистрации.

Константинополь. Секиз-Агачь 16^а.

Внизу был написан адрес Пантюховского.

15 июня 1921 г.

У меня запрыгало от радости сердце... Вот это удача! С первых же шагов, без всякого труда долгих поисков, мне выпадает место. Продавец воды принес мне счастье. Данисопшет Аллах ему удачу, пусть он то же как можно скорее продаст свою воду... Надо спешить к Пантюховскому. Вдруг явится другой... настоящий художник и перебьет место. Я прохожу мимо казаков и направляюсь к выходу.

— Ты что, братишка — во Францию что ли едешь?

Что, что или мне показалось? — Во Францию. С бьющимся сердцем я подхожу к казакам и подсаживаюсь к ним. Вежливость требует немного „покалякать“ на другие темы, сразу обрушиться на них вопросами как говорится „с ветру“ не прилично. Я сажусь тоже на короточки. Скручиваю папироску... предлагаю закурить казакам... и только уже потом начинаю зондировать почву. Наконец, узнаю, что с „эфтой“ значит биржи отправляют во Францию на земледельческие работы, но нужно только предварительно записаться... всего будут отправлять три партии. В первую уже попасть нельзя — все места заполнены. Скоро вот откроется запись на вторую партию.

— Ну, а когда будут отправлять первую партию рабочих?

Казаки немного подумали, почесали затылки...

— Да кто ж его знает... теперь должно уж скоро. Уж второй месяц все ходим. Я узнал также от них, что уезжающих на работы будет забирать „французский пароход“. Я встал, поблагодарил казаков и подошел к окошечку.

Служащий, удовлетворив ответом какую-то тощую девицу с веснущатым лицом, ответил мне на мой вопрос, что запись пока на отправку уже окончена, но в конце июля начнется новая запись желающих ехать на сельскохозяйственные работы во Францию. Итак, придется подождать. Ничего не поделаешь, а пока что... нужно бежать со всех ног к Пантюховскому... а то вдруг явится „художественный конкурент“.

Долго я блуждал по узким и кривым улочкам Константинополя, пока, наконец, не отыскал дома, где жил Пантюховский.

Дом был деревянный, в три этажа, очень старый. Я постучал в крепкую, дубовую дверь медным молотком, привешанным к двери на цепочке. Долго я ждал и уже стал подумывать о том, что нет никакого дома, как вдруг я услышал за дверью шаги, спускающиеся по ступенькам, и, наконец, мне отворила дверь молодая девушка, должно быть служанка.

— Что и-и-ч Пантюховский дома? Можно его видеть?

— Он наверху у себя, пройдите, — ответила мне девушка по-французски.

Я поблагодарил и стал подниматься по лестнице, на 2-й этаж. Не успел я подняться на верхнюю площадку, как навстречу мне вышел высокого роста мужчина в военном френче со скаутскими знаками. На голове у него была надета широкая „бойскаутская“ шляпа. Мы поодоровались.

— Видите ли, я ищу опытного художника, даже не столько художника, как очень опытного мастера по приготовлению детских игрушек. Мы с женой изготовляем вот такие фигурки.

Пантюховский взял с подоконника выпиленную лобзиком и раскрашенную фигурку русской „боярышни в кокошнике“ и показал мне... вот нужно будет выпиливать из дерева такие фигурки в русском кустарном духе и раскрашивать, вот пойдемте я покажу вам другие модели игрушек моего изделия. Он открыл дверь, ведущую в другую комнату, и я увидел сперва две кровати у стены.

Посреди комнаты стоял стол с остатками простокваши в белых мисках (признаться, у меня сперло горло при виде такого соблазна) и, наконец, дальше... все было сплошь завалено выпиленными и раскрашенными фигурками. Они стояли вдетые в подставки прямо на полу и на подоконниках... просто валялись кучей по углам и в корзинах... должно быть тут было выпиленных фигурок больше тысячи. Целая кустарная мастерская. Сюжет все больше: „русская баба“, „кормилица“, „боярышня“, „Ванька“, „бояр“.

Нужно отдать справедливость — игрушки были сделаны мастерски, очень тщательно и красиво.

— У меня сейчас большую партию закупает Америка на выставку, — с гордостью профессионала заявил начальник бой-скаутов и полковник армии Пантюховский.

— И по чем вы продаете каждую фигурку? — с трепетом спросил я важного фабриканта.

— Да пиастров по 50 за штуку.

Я кашлянул. При моем бюджете это была колоссальная сумма.

— Ну так вот, — как бы снова возобновил деловой разговор Пантюховский, — мне нужен художник и помощник. Но... судя по вашему виду... я не думаю, чтобы вы были опытным, настоящим художником. Пантюховский окинул меня строгим, пристальным взглядом. и я почувствовал легкое смущение и беспокойство от мысли, что он может меня к себе не взять. — У вас есть карточка с биржи?

— Да, есть. — Я протянул ему свой билет.

— Ну да раз вас уже прислали ко мне, то оставайтесь, — посмотрим, на что вы способны, посмотрим. Я плачу за восьмичасовой рабочий день 25 пиастров.

Если бы он мне дал в ту минуту 10 пиастров, то я все равно остался бы. Когда человеку нечего „жрать“, то рассуждать не приходится.

— Кроме того, вы должны в часы перерыва в работе ходить в столовую на Таксима и носить мне и жене обеды.

Я и тут согласился.

— Ну, а теперь давайте приступим к работе, чтобы не терять времени.

Я посмотрел с тоской еще раз на остатки простокваши и пошел за Пантюховским в первую комнату.

До трех часов дня я обчищал — стеклянной бумагой деревянные подставки для игрушек. Работа была прескучная и, кроме того, мне страшно хотелось есть и курить. Пантюховский сидел напротив меня у подоконника и раскрашивал „русскую бабу“. Жена Пантюховского сидела рядом с муженьком, тоже у окна, и размалевывала „Ваньку“. На подоконнике лежала коробочка с американскими сигаретками... Я долго мучался, глядя на нее, наконец попросил у м-м позволения взять папироску и закурить. Madame посмотрела на меня немного испуганно.

— Пожалуйста.

Только я протянул уже свою руку, как monsieur Пантюховский строго посмотрел на меня, поспешно взял коробочку и спрятал в свой карман.

— Знаете ли, у меня предубеждение против табака. Мы скауты... а тем более скаут-мастера не поощряем курения. „Будь готов всегда ко всему прекрасному“ — вот наш девиз.

В начале 4-го я отправился на площадь Таксима за обедом для своих хозяев. У меня в руках были 2 открытые кастрюли с длинными ручками, а в животе пустота и голодное бульканье. Я мечтал, как о несбыточном

счастье, перекусить „что-нибудь в столовой“, но на это надежда была слабой. Также я мало надеялся в этом направлении на своего „метра“ с его бой-скаутскими традициями. Вот поэтому настроение у меня было препоганое.

Долго пришлось стоять в очереди. Столовая на Таксиме почему-то всегда производила на меня гнетущее впечатление. То ли дело наша в Харбине. Все там свое, близкое... а тут... все чужое... и очереди ожидающих — куда больше чем у нас, и палатка тут какая-то неуютная. В очереди я заметил „корреспондентов живой газеты“, приехавших в Галлиполи. Тогда они были одеты вполне прилично, а теперь в „лоск изодрались“, их кепки унылым комком лежали на затылке, сапоги декольтировали пальцы с грязными ногтями, а брюки и пиджачки были сплошь в дырах... и вид их был унылый и пришибленный. Должно быть лопнула их газета и прошли „красные денечки“.

Наконец и я получил обед... и стал возвращаться обратно. На полдороге я снял крышки с кастрюлек и добросовестно попробовал содержание „каждой“. Суп был недурный, но яато мясо основательно „подванивало“ — вот этого у нас уже нет в Харбине. — Я еще больше проникся уважением к „родимой столовке“. Супруги тотчас же уселись за стол и принялись уписывать еду. Мадам немного была удивлена, что „такие маленькие порции“ „меньше чем всегда“.

Я уселся опять у подоюонника и стал снова чистить стеклянной бумагой подставки...

После обеда, который тянулся, встати сказать, минут двадцать, Пантюховский пересчитал билетки в талонной книжке, какую давал мне для получения обедов. „Бедняга“ подумал наверное, что я „слазил“ парочку, другую себе... А его супруга вынула из кармана своего муженька ту самую коробочку папирос, из-за которой monsieur произнес длинный спяч на тему обэтике бой-скаутов. Закурив папироску madame откинулась поудобнее на стуле и несколько раз подряд затынулась, пустив колечками дым. Я в это время протирал бумагой уже десятую подставку „бойрышши“. Но Пантюховский все-таки сделал мне замечание, что я работу очень медленно. Он даже во время обеда не забыл зорко следить за моей работой.

В 8 часов мой хозяин подал мне 20 пиастров, хотя мы условились с ним о 25, и сказал мне, что я могу теперь идти, куда хочу.

— Когда мне прийти завтра? — спросил я у него.

— Завтра? Гм? — Он немного задумался. — Видите ли. Я ведь искал себе художника... так что пожалуй вы мне больше не понадобятся.

— Простите, но вы мне не додали пяти пиастров — и потом не испробовали даже в качестве художника.

— На это я вам отвечу вот что, молодой человек... 5 пиастров я вам не додал сознательно, чтобы вы знали, что за каждую испорченную вещь нужно платить, а вы испортили мне две подставки. — Цена каждой их — пара, а 2-х, следовательно, пять пиастров. Что же касается того, что я вас не испробовал, то к чему это? Я сразу вижу, что вы не художник. Ска-

зав это, он с грустным взглядом вышел в другую комнату... а я — отправился в столовку Харбие.

Вчера случилось невероятное. Я встретил на Галлатском мосту дядю Костю и Платосника. Мне хотелось закричать от радости, начать высоко прыгать и скакать, как делают это дети, упасть на землю и кататься в пыли, задрав кверху ноги, от дикого счастья. Платосник и дядя Костя. Опять мы со мною. Снова мы вместе. Теперь я уже не один, нас уже трое!

— Как ты здесь очутился? Какими судьбами? — Они были обрадованы и удивлены не меньше моего. Мы стояли на мосту у самых перил, наверно, больше часа, и все делились своими переживаниями.

— Ну, а как вам удалось выбраться из Галлиполи, легально?

— Вполне, — ответил „дядя Костя“ за себя и Платосника. — Теперь уже стали под видом „отпусков“ распылять армию. Лавочке приходит конец, а с ней и самому лавочнику — Кутепову. Ну, а ты как тут живешь, как устроился?

— Идемте, друзья... Ночлег вам будет на первых порах... а там быть может мы подыщем „что-нибудь“ получше, ведь теперь нас уже трое! — И я повел их в столовую.

29 июня.

Вчера мы ходили с „Рыжеволосым“ наниматься в клоуны. Рыжеволосый беженец, как и мы, и ночлежник столовки № 1. Сперва я хотел предложить этот род занятия Платоснику, да тот уже „буржуй“. Раздобыл где-то себе флейту и самсит на ней в каком-то отдаленном варьете в трущобах Стамбула. Каждый вечер он получает пятьдесят пиастров и поэтому уже съехал из „столовки“ нашей гостиницы Grand-hotel и живет в платном общежитии для русских беженцев по улице Ихламур. Он платит за вокалу 1 лиру в месяц, обедает в рестораничке и „вообще и в частности“ живет себе баршином.

Дядя Костя устроился несколько хуже... ему, бедняге, всегда, во всем не везет и все напасти сыпятся именно на него. Теперь он занят плетением гамаков и продажей их на бульваре, как раз напротив площади Тавсник. „Дядя Костя“ запрашивает за каждый гамак всего только полторы лиры, но пока что свой „затраченный капитал“ он не может вернуть. Никто из иностранцев даже не подошел к его гамаку. „Дядя Костя“ живет в общежитии рядом с Платосником, но имеется маленькое но... Пока он живет на „его деньги“, в кредит „до лучших дней“. Что касается меня, то я все продолжаю жить при столовой, хотя каждый раз, как иду туда на ночь, даю себе самую суровую клятву, что ночую тут в последний раз.

Платосник и дядя Костя убеждают меня оставаться ночевать в общежитии на полу, между койками... „Контрабандой“, как говорят мои друзья, да я не хочу. Ну да это дело будущего, там посмотрим. Вот по этим мо-

тивам я и шел с „Рыжеволосым“, в Галлату, где помещался театр варьете и где была свободная вакансия клоунов, узнав об этом опять-таки через Виржу труда.

Галлата мне нравится за „бычки“. За десять минут их можно набрать больше сотни, а ведь это целое сокровище при нашем положении. Нагибайся только и подбирай, даже отыскивать не надо. Однако, мы все-таки из „гигиенических целей“ не берем окурки папирос прямо в рот, а высыпая табак и закручиваем уже в чистую купленную папиросную бумагу. Бумага стоит не бог весть сколько — всего лишь пиастр, а в крайности можно всегда разжиться бесплатно листком.

Долго мы путались в кривых улочках Галлаты, пока не нашли театра „Варьете“. К нам вышел почтенной наружности турок, одетый с иголочки, в традиционной феске с шелковой кисточкой, и спросил на ломанном французском языке, что нам нужно и кого мы ищем. У „рыжего“ было одно достоинство. Он прекрасно владел французским языком, и поэтому он живо стал „брехать“ турку о том, что он клоун из цирка Труппи в Москве, а я клоун из цирка Чинивелли в Петрограде, и что оба мы теперь волею судеб выброшены за пределы своей родины и желаем получить место в его почтенном театре и что надеемся при наших „именах“ украсить его сцену и принести доход, как его, так и своим карманам.

Турок окинул нас недоверчивым взглядом и сказал:— „следуйте за мной“. Мы прошли полутемное фойе, и хозяин приотворил дверь в зрительную залу — пропустив нас вперед. В зале было совершенно темно, но турок крикнул что-то на своем языке, и через минуту зала осветилась двумя электрическими лампочками. Вошло еще человек пять-шесть „восточных человек“ и стали „лопотать“ с хозяином. Турок жестикнул и все время показывал на нас.

Греки, судя по их внешности и костюмам, также жестикнули и показывали руками на дверь. Мы ничего не понимали из этого разговора и стояли в отдалении, ожидая, когда кончатся „пререкания“. Наконец турок оборвал спор и, подходя к нам, поклонил себя по животу и, указав левым перстом на темную сцену, сказал, что хочет нам сделать „репетицию“.

— Сейчас же идите на сцену, а я распоряжусь со светом. — Компания грехов расселась по скамьям, а мы поднялись по ступенькам на сцену. В первое мгновение я и „рыжеволосый“ растерялись. Умы — наша специальность на родине была совсем не клоунской. По правде говоря, мы стали сожалеть в ту минуту, что выдумали всю эту авантюру.

Хозяин цирка нетерпеливо захлопал... — Нечего вам мешать и только отнимать время — начинайте. Вихрем пронеслись в мозгу — воспоминания о цирке и клоунах, но как, с чего начать... мало видеть клоунов, нужно им быть. — Положение становится щекотливым.

— Слушай, „рыжий“. Ты прыгай около меня... Представь, что я пчела... а я вот сяду на стул, потом я наберу в рот воды и плюну тебе...

„Восточные люди“ не дают нам сговориться. Они топчут ногами об пол и шумно выражают свое нетерпение. Наконец, мы сговорились, но

новое препятствие. На каком языке мы будем изъясняться... ведь по-турецки мы не говорим.

„Рыжеволосый“ подходит к рампе и просит хозяина распорядиться принести стакан с водой. — Это нужно для репетиции. — Воду быстро приносят. Наш последний шанс оттянуть время — пропадает. Начево не поделаешь. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Я сажусь на стул, закрываю глаза и начинаю идиотски хохотать, подражая клоунам, которых „когда-то“ видал в цирке. „Рыжеволосый“, огромного роста детина, неуклюже прыгает вокруг меня.

В это время он, должно быть, представляет себе мысленно жужжащую вокруг цветка маленькую пчелку. Потом я незаметно для „рыжего“ набираю в рот воду. Когда „пчелка“ отворачивается, я выпускаю ему струю прямо за ворот. Мой партнер истерически визжит и садится сперва на пол, а потом начинает кувыркаться по полу. Я чувствую, что должен в это время тоже „что-то“ делать и не сидеть сложа руки, иначе произойдет нежелательный „интервал“ и не будет „круга“, как говорят артисты.

Я дико кудахчу и падаю прямо со стулом на спину. Падаю неуклюже на деревянный пол. Стукаюсь затылком и ущемляю себе нижнюю часть спины.

Мне больно... В груди закипает дикая злоба и раздражение. — Я испортил все дело своим падением. Теперь нас обязательно прогонят.

„Рыжий“ встает... за ним, слегка крахтя, и я. Мы с жадностью ждем ответа. Неужели они довольны?... Что это? Галлюцинация? Турок и греки „ржут“. Я иначе не могу назвать их бешеный хохот. Они довольны. Мы заслужили их одобрение. Нас охватывает экстаз гордости. Мы сходим со сцены с победным видом и направляемся к хозяину.

Не он первый подает нам руку, а мы. Теперь мы уже артисты театра Варьете в Галлате. Мы на чужбине создадим имена „великих клоунов“.

Итак, мы приняты и нам, положено жалование. 1 лира на двоих за вечер. Сегодня после спектакля я перебираюсь в платное общежитие к дяде Косте. „Рыжий“, кажется, хочет там поселиться тоже.

Звонко прогремел звонок. Потрескавшаяся от времени холстина раздвинулась, и „публика“, заполнившая собою все скамьи, затаила дыхание. На сцену вышла танцовщица „Хатеш“, знаменитая исполнительница „танца живота“. Душно. Нечем дышать. Запах потных тел смешивается с едким дымом дешевых папирос. Хатеш волнует зрителей пиничным экзотическим танцем, разжигая „инстинкты“ мужчин...

Мы должны выходить после Хатеш. Должно быть окончился танец... вся зала дрожит от криков. Все смолкло. Теперь Хатеш обходит публику с бубном и просит денег, „пенс-кэш“.

„Рыжеволосый“ стоит, прислонившись к столбу. Он заметно волнуется и его волнение передается мне. До чего смешон „рыжий“ в своем шутовском наряде... на нем коротенькие штанишки, розовые чулки и зеленая курточка

с побрякушками. На мне женская ситцевая кофта, желтые шаровары и идиотский колпак на голове. Наши носы размазаны „кармином“, а щеки белилами... До чего можно дойти от голода.

— Ну вытатывайся, начинай! — „Рыжий“ подтолкнул меня и я даже не почувствовал, как очутился на сцене.

В первую минуту у меня со страху все поплыло перед глазами. Зрительная зала показалась огромной, черной зияющей пустотой... я не видел публики и чувствовал только одно... приступ неподдельного страха и чувство полной растерянности. Я продолжал глупо стоять посреди сцены и молчал, широко расставив руки и ноги... В испуге обернулся и увидел за собой партнера. „Рыжий“ стоял в угрюмой, мрачной позе за мной, словно прячась от публики.

Только не стоять, играть, прыгать, хохотать, свистать — все, что только угодно, только не стоять молча, — вихрем пронеслась мысль, но все было уже испорчено, толпа стала свистеть... Раздались отдельные смешки, но только не одобрительные, а надсмеающиеся над нами. Мы поняли, что потерпели фиаско, круто повернулись и ушли со сцены.

Быстро снянув клоуновскую „мишур“ и нарядившись в свою „дрань“, мы постарались незаметно улизнуть от „хозяина“ и вздохнули только тогда, когда очутились на свежем воздухе. Вечер был чудесный. На небе ласково сверкали мириады звезд... воздух был так чист и душист... а на душе у нас было препогано. Позорный провал на сцене... сильное желание поужинать, и самое неприятное это то, что деньги ушли от нас и все наши „радостные“ светлые мечты о будущем разлетелись прахом.

10 июля

Вчера я в первый раз ночевал в общежитии. Ночевал „контрабандой“ на полу рядом с койкой дяди Кости и Платосияна, признаться, закачался. Меня загрызли вши. Их чорт знает сколько в общежитии, прямо невероятное количество. Комната в общежитии предмет моих мечтаний, но увы, пока безнадежных. Чудесная, большая комната в два окна всего только на двадцать коек. Совсем не чувствуется тесноты. Какая роскошь после твердой скамейки при бесплатной столовой № I в Харбие. Представьте себе, с потолка даже свешивается электрическая лампочка, а я пользуюсь по ночам лишь светом луны да вспышками спичек закуривающих ночью соседей.

Рядом с дядей Костей помещается художник, очень красивый, высокого роста молодой человек. Он рисует акварелью и тушью виды Константинополя, компактует рисунки под стекло и продает на Пере. Его „дела“ идут выгодно, и он собирается даже взять к себе в качестве „продавца“ дядю Костю и Платосияна.

Я просился тоже к нему на службу, но вакансия уже оказалась занятой. Художник одевался очень изысканно: на нем бархатная куртка, плисовые шаровары и желтые ботинки.

Соседом художника является бесцветный, белообрый, с разноречивыми манерами — гвардейский офицер и бывший паж. Сейчас он занимается скупкой старых вещей и перепродажей их на старом Галатском рынке. Его „дела“ идут плохо, и он усиленно продает мне „свое праго на койку за две лиры“, потому что „в общезнати уже свободных мест нет и устроиться тут абсолютно невозможно“. По вечерам он садится за тумбочку, достает белый лист бумаги и занимается составлением таблицы „классификация всех наук“. Что он понимает под „классификацией“ — для всех нас остается тайной.

Как раз у двери помещается „разводитель вшей“. Кошмар и бич всей комнаты. „Разводитель вшей“ целыми днями лежит на койке и не желает ничего делать для улучшения „своего быта“. Он никогда не моется, не причесывается, не стирает белье, и на нем буквально кишат вши. Он их никогда не давит, а просто шарит рукой по телу и белью и, захватывая вшей пальцами, бросает живьем на пол у кровати; вши расползаются по всей комнате. Соседи возмущаются, ежесекундно с ним ругаются, но ничто не помогает и он не желает „перемениться“. Кроме изобилия вшей, другой достопримечательностью этого человека являются его „плевики“. Он „харкает“ буквально через каждые пять минут, опять тут же у койки прямо на пол, и за день около него накапливается лужа мерзких нечистот мокроты. После упорной борьбы его сожителям все-таки удалось заставить его плевать в бумагу и выносить ее „хоть по вечерам“ в уборную, „если его нельзя заставить это сделать чаще“. „Разводитель вшей“ бывший помещик, носит громкую фамилию Мамонтов и о нем поговаривают, что раньше он был совсем другим „гусем“ и лишь в Константинополе так сильно опустился, устав бороться за свое существование и решив раз навсегда „улучься на войку, сложа руки“. Деньги он, однако, платит исправно каждый месяц, и поэтому администрации его не гонит прочь. Говорят, что за него платит его бывшая жена, убежавшая от него с французским офицером... но тут не место для сплетен.

Как раз между „классификатором“ и „разводителем вшей“ помещается „хныкалка“. Его так прозвали за то, что он все время хнычет и сетует на свою „горькую судьбу“. „Хныкалка“ тучный полковник. Он получил в армии Врангеля „георгия“, и иногда по вечерам, когда на него нападает „редкое хорошее настроение“, он вынимает орден из маленького футляричка, любовно лобуетя им и рассказывает соседям про свои военные подвиги, а попутно и про свой 2-х-этажный „собственный“ дом, про кучера Тимофея и дивный стол с винами и фруктами. После приятных воспоминаний о своих „былых обедах“. „Хныкалка“ окончательно расстраивается и умоляет. Гастрономия, — его самое больное место. У него болезнь почек и оттого лицо у него одутловатое с синеватым отливом, а нос широкий, как груша, с красными жилками.

— Россия, Россия, увижу ли я когда-нибудь тебя снова, в величии монарха! — любимое восклицание „Хныкалки“, и мы прекрасно уже знаем что после этих слов он начинает еще больше охать и хныкать. Днем он

комиссионерствует и перепродает вещи, данные ему на комиссию. Он живет этим заработком и оплачивает свой угол.

У окна помещается „Эсаул“; он служит в прачечной при Николаевском госпитале, с утра до позднего вечера стирает и гладит больничное белье и не помышляет ни о каком „ином счастье“. Остальные обитатели общежития „являются для меня в мои приходы к дяде Косте и Платосику“ просто людьми, возлежащими на койках без всяких индивидуальных особенностей.

Я сижу на кровати дяди Кости. Платосик только сейчас пришел из своего „ресторана“. У него в руках флейта, и он раскрыл дверцу тум очки, чтобы спрятать туда „свою кормилицу“. Дядя Костя упрямивает меня остаться переночевать.

— Куда тебе идти, уже 2-й час ночи — оставайся спать „контрабандой“. Я смеюсь и соглашаюсь. Слово „контрабанда“ мне хорошо знакомо. Уже много раз я ночевал „контрабандой“ у моих друзей и, признаться, теперь мне все труднее и труднее заставлять себя по вечерам возвращаться в столовую Харбие и спать на жесткой лавке среди чужих мне людей.

15 июля.

Я хиромант, а дядя Коста мой „импрессарио“. Мысль заняться „хиромантией“ пришла нам с дядей Костей случайно. Чем только „наш брат“ не занимается в Константинополе. В сущности, совершенно безразлично, чем „выколачивать деньги“ на жратву; хиромантией или стирать грязное белье в прачечной Вешекташа, где я работал две недели подряд и откуда меня выгнали за то, что я спалил пару „дамских панталон“, принадлежащих как раз жене хозяина. Ну, а когда обеды в столовой получить все труднее и труднее, тогда не мешает заняться и хиромантией.

Сперва мы отправились с дядей Костей в ресторан, где играл на флейте Платосик. Вышли мы „из общежития“ в десять часов вечера и пока доплелись пешком до Стамбула — был уже 12-й час ночи. Пришли мы как раз во-время, и публики было множество. Мы спросили у грека-кельнера, как увидеть нам музыканта Воротзева, и грек величественно махнул нам рукой через столики по направлению эстрады. Мы стали пробираться мимо сидящей за столиками публики и, наконец, добрались до эстрады. Музыка играла забористый „американский скэч“, а на открытой сцене какая-то певичка в эфирном одеянии прельщала публику своим отвратительным, визгливым голосом. Три американских матроса, сидящие за столиком, как раз напротив эстрады, бешено аплодировали певичке в „игривых местах“, а еврей, аккомпаниатор и тапер, шумно ударял руками по клавишам, извлекая надтреснутые звуки из разбитого, расстроенного вальсец-пианино. Платосик сидел на стуле рядом с аккомпаниатором и с такою же энергией насвистывал на флейте, подняя обе руки на уровень губ. Мы не хотели мешать „божественной музыке“ и стали ожидать окончания, скромно отойдя в сторонку. Однако, Платосик нас заметил и быстро моргнул нам: ждите-мол, черти, не уходите — мы скоро окончим эту серенаду. И правда — минут

через пять они перестали играть и в „благодарность“ за доставленное удовольствие какой-то грек препроводил с кельнером таперу и Платосику две рюмки водки.

Платосик встал, бережно положил на стул флейту и, „опрокинув“ в рот рюмку, крикнул. После этого он уже подошел к нам. Мы с жаром стали рассказывать ему нашу затею, и она ему, повидимому, понравилась, так как он обещал рекомендовать меня как „опытного хироманта“ какой-то „важной даме“, которая сидела в последнем ряду за столиком и по словам Платосика „тянет лимонад через соломинку“. Мне было совершенно безразлично, как тянет она лимонад: „через соломинку“ или запрокидывает жидкость себе в горло на манер Платосика; мне нужно было заработать пиастры и больше „никаких гвоздей“.

Наш приятель куда-то исчез и через минуту явился снова, заявив, что „дама очень желает дать свою руку хироманту и узнать судьбу“. Дядя Костя заспешил к даме, а я замедлил шаги и навел через Платосика предварительные сведения об этой самой даме“. Самое главное, это — знать основные жизненные штрихи; мелкие факты и детали прекрасно выплывают из области фантазии. К сведению и руководству всех хиромантов от опытного хироманта. Я узнал, что дама была „русская беженка“ из бюрократических кругов. Два раза была замужем, в последний раз за офицером, который и бросил ее в Константинополе на „произвол судьбы“. Дамочка была влюблена в Платосика и преследовала его своей любовью. Предлагала деньги и уцелевшие от продажи бриллиантовые серьги... Но увы — Воропаев был тверд как камень.

Дядя Костя стоял уже у столика и кричал нам:

— Идите скорее — где вы застряли там?

Я был представлен. Дама благосклонно улыбнулась. Смерила меня взглядом с головы до ног, отодвинула от себя стакан с лимонадом и протянула свою выхоленную руку с блестящими полированными ногтями. Я сел за стол и начал „гадать“. В моей быстрой речи, одухотворенной „загадками таинственного бытия“, должно быть было много правды. Дама победила, несмотря на густой слой пудры, и даже слегка отодвинулась от меня, а потом вдруг разом густо покраснела, приблизительно в том месте, когда я утешил ее, что ее предмет страсти, наконец, сдастся и его „ледяное сердце растает“. Я описал также его приметы, кстати очень похожие на Платосика. Прости меня, друг, но в ту минуту мне нужно было во что бы то ни стало заработать. После „основных штрихов“ я перешел в область „фантастических деталей“, и моя клиентка опять во всем согласилась, и в результате я „очень недурно заработал“. В 3 часа ночи счастливые, я и дядя Костя, вышли из ресторана и отправились в общежитие. Как могли мы не быть счастливыми, когда я заработал одну лиру, а мой импрессарио являлся обладателем законного и честного процента.

— Знаешь, Георгий, брошу плести свои гамаки — от них нет никакой выгоды. — Лучше поступлю к тебе на службу, ведь художник только три раза в неделю посылает меня продавать свои картины.

— Что же, дядя Костя. Идет. Я согласен.

Англичане, французы, греки, вообще „все иностранцы“ волнуются. На Константинополь наступает Кемаль-Паша. Его дела, повидимому, идут успешно, и все чаще в толпу проникают слухи об эвакуации Константинополя. Греческое правительство мобилизует войска и вывешивает плакаты, заманивающие русских беженцев поступать добровольцами в греческую армию. Собирают хорошим жалованием и обмундированием. На Босфоре и у Золотого Рога никогда еще не было такого скопления американских и английских судов. Стоит даже дредноуты.

— Ай да Кемаль-Паша — нагнал же ты страху на союзную свору! — ехидничают русские солдаты. — Знать, за спиной Кемала идут большевики, раз так пугаются мериканцы с ханцюками!

Русские большими кучами толпятся у расклеенных на зданиях афиш — с интересом читают новости, а те, кто не знает грамоты, осаждают по вечерам несчастных торговцев „Прес-дю-Суар, и они должны все рассказывать „што читал своим буржуаши, да без вранья“. Слышны в отдалении на Малоазийском берегу глухие орудийные выстрелы.

— Опять зачалось буханье, мерси вам, неужто опять попадешь в кашу?

Бегут дни за днями, а за ними и „специальности“ одна за другой. Чем я только уже не был: и прачкой, и клоуном, и ретушером у фотографа, мастером игрушек, „судомойкой“ при столовке, продавал пончики и Прес-дю-Суар, был хиромантом и грузчиком в порту. Я крепко цепляюсь за все, за что только можно зацепиться, чтобы не погибнуть от голода в этом огромном чужом городе. Никуда не выбраться. „Союзное командование“ — эта директория, держащая власть в своих лапах, смотрит на немущих русских как на „прокаженных“, как на страшную, отвратительную язву, от которой можно заразиться даже на расстоянии. Такому русскому — нет визы на выезд из пределов Константинополя. Его пригвоздили на цепь к одному месту. Как хочешь, так и живь. Зато „богатым беженцам“ почет и уважение. Капиталист капиталиста видит издали. Богачи-купцы, богачи-аристократы, „бриллиантщики“, ответственные белые руководители и их кокетки, вся эта „подлая погань“ и „шушера“ получила полную возможность ехать „куда угодно“.

И в то время, как „рядовые беженцы“ умирают от голода на улицах Стамбула, гниют по больничным койкам грязных лазаретов, проводят ночи на лавках скверов под открытым небом — эти „избранные“ и „сильные мира сего“ свободно покупают себе билеты на разные морские „Ллойд“ и „Messagerie Maritimes“ и „катят“ себе с кожаными чемоданами туда, куда им угодно, зная отлично, что их деньги дадут им всегда все самое лучшее и удобное, что только может предоставить „комфортабельная Европа“.

И в то время, как ее „сительство“ будет давать какому-нибудь „тузу“ пить шампанское из своего „башмачка“, и он будет, развратничая с ней, покупать ее в ванне, разбавленной наполовину духами „Коти“, рядовой беженец выйдет вечером на улицу, будет продавать свое проголодавшееся тело за „пшастры“, чтобы „этим“ накормить своих детей, плачущих от голода.

Князья с графами прокучивают в Ницце миллионы франков со своим „претендентом на русское царство“ и нюхают кокаин, познавая все тайны тонченного французского разврата со своими „дамами сердца“. а в Константинополе пятнадцатилетняя девушка выходит продавать на улицу самодельные цветы и „с голодух“ отдается первому встречному американскому матросу за лиру... И растет среди эмиграции раскол и глухая вражда между собою. Все сильнее и сильнее чувствуется расслоение на классы, но уже только другие. Понистине, если где есть переоценка всех ценностей, так это там... и как ни стараются главари и лидеры „демократии“ объединить гнущиеся между собою круги — ничто не удается.

Политиканы-буржуа принуждены лишь закрыть рты и заливать лезью на бумаге. А в груди беженца-люмпен-пролетария закипает все больше и больше злоба к капиталистам, хлопочет она и бурлит, разрастается неподдельная жажда смести с лица земли всю эту снотеленую гниль и труху, стравившую своим зловонием воздух. Страдание, голод и митарства — лучший учитель жизни.

С моря дует резкий, пронзительный ветер, шумит он, завывает, идет дождь... крупной дробью бьется он о камни мостовых, стелает шумными ручьями по сточным трубам. Одинокий фонарь над дверным навесом отражается расплывчатым бликом, в огромной, черной, глубокой луже. Мне холодно... Мои зубы стучат. Я сегодня остался без крова. Полная зная и уныние.

У меня уже нет больше сил тащиться еще восемь верст от мечети Ал-София до Харбие, а на трамвай у меня нет денег. Я работал целый день на площади Сулеймана, таская, как ишак, кирпичи на своей спине, и мне не заплатили... Чубарджи (хозяин) сказал, чтобы я пришел за деньгами завтра, а сегодня... сейчас... у меня нет больше сил добраться ни до столовки, ни к дяде Косте. Я стою под фонарем и думаю, где бы мне пристроиться на ночь... Обдумываю напряженно, с какими-то тупыми упорством. Ко мне подходит легкая фигурка. Это девочка... Вот она встает рядом со мною... Протягивает мне свою маленькую рученку, похолодевшую от дождя и резкого ветра.

— Откуда ты, девочка?

— Ну да... это наша, русская... я сразу узнаю в ней свою соотечественницу по манере держаться, по чертам лица. У меня кружится голова... я не ел ничего с самого раннего утра... и все таскал кирпичи под палящими лучами солнца, а теперь вот дрогну и мокну под дождем... Что это? Или почудилось? Ребенок продает себя. Нежные крохотные губки начинают произносить ужасные слова, о которых это дитя не должно было бы знать... Мне хочется закричать, завывать от ужаса, как воет волк, в холодную, зимнюю ночь. Броситься бежать. Бежать без оглядки куда попало, закрыв глаза и уши. Но нет больше сил.

Кружится голова... все плывет перед глазами, сперва медленно, плавно, потом все быстрее и быстрее, начиная кружиться с бешеной скоростью в ярко-огненных кольцах. Я прислоняюсь к холодной, липкой от дождя стене... девочка смотрит на меня пристальным взглядом, полным отчаяния, страха, и вдруг бросается прочь от меня, громко крича:

— Бедные мы! кто нас пожалеет?

Ночная мгла быстро проглотила ее... У меня темнеет в глазах, и я опускаюсь на мокрые плиты.

Я открываю глаза. Что это? Чистая белая койка. Белоснежная наволочка и мягкое байковое одеяло. Сбоку меня поларованный столик и на нем в бутылках лекарство. У изголовья, на выкрашенном в белую краску табурете, сидит сестра милосердия. На ее переднике красный крест... На левом рукаве тоже повязка с красным крестом.

Я закрываю глаза. Новые впечатления утомляют меня. В ногах я чувствую ломоту и страшную тяжесть. Голова продолжает слегка кружиться. Сестра мягко приподнимает мою голову и дает мне какое-то лекарство. Оно горькое и противное на вкус, но я его покорно пью.

Как я сюда попал? Где дядя Костя и Платосик? Куда убежала та несчастная девочка? — вот вопросы, вихрем проносающиеся в моем воспаленном мозгу, потом мысли убегают, так же внезапно, как и появились, и я чувствую лишь мучительную давящую тяжесть в мозгу... Сестра заставляет выпить лекарство. Мне так мягко и хорошо лежать... тут так все чисто, все так ласкает истомленное тело. Не все ли равно, как я сюда попал... ведь там лужи, дождь, голод.

— Тихе, тихе... вдруг я ясно слышу над ухом... Лежите спокойно... Я положу компресс...

20 июля.

Вчера я случайно узнал, что на площади Тон-Хане, как раз напротив Галлатской башни при столовой №3 Красного Креста, помещается „студенческий союз“, который „помогает всем своим членам работой, — и даже будет хлопотать о получении виз на выезд“. На другой день я отправился туда с твердым намерением записаться в члены этого союза, так как по счастью у меня сохранился в кармане френча мой старый студенческий билет. Долго шел я по улицам Константинополя, пока, наконец, дошел до Галлатской башни. Посреди пустыря, окруженного домами, была раскинута „вечная тентовая палатка“, а на столбе перед палаткой была прибита вывеска:

„Бесплатная столовая для русских беженцев № 3“.

Я вошел в палатку и спросил у служащего, где помещается союз студентов.

— Он помещается тут — вот обождите, скоро придут члены.

Я уселся на лавку и стал ждать. Действительно, скоро пришел маленького роста человек в необычайно широких для его „крохотной фигурки“

брюках и такой же широкой, сидящей на нем мешком — куртке. Он уселся за столик, стоящий у стены, и, открыв ключом ящик, стал вынимать какие-то бумаги. Я подошел к нему.

— Скажите, пожалуйста, — можно мне записаться в студенческий союз?

— Отчего же, можно, если только вы студент.

Я подаю ему свое студенческое удостоверение.

— Ну, а как на счет работы?... мне говорили, что вы помогаете своим членам ее находить.

— Да, это верно. Мы за два последних месяца нашли для 50 человек — членов союза — работы — по мощению шоссе и разгрузке угля в порту. Через месяц мы предполагаем развернуть нашу деятельность еще шире, предоставив работы всем уже членам своего союза. Вообще, у нас только одна цель — это: все время оставаться аполитичным и оказывать лишь материальную поддержку своим членам.

— Вы помогаете деньгами?

— Увы нет... у нас самих нет денег, как и у вас, — но в дальнейшем возможно, что и будем помогать. Пока правлению удалось выхлопотать перед „арой“ предоставление нам 2 палатов, и мы предполагаем устроить в них бесплатное студенческое общежитие.

— Где вы думаете разбить эти палатки?

— На улице Ихла-Мур в Харбие.

Это известие меня страшно обрадовало.

— Возможно, что нам предоставят американцы по той же улице Ихла-Мур здание — и мы переведем туда свое правление, а нижний этаж пустим уже под платное общежитие.

— Ну, а как насчет виз?... правда, что вы также хлопочете о выезде своих членов из пределов Константинополя?

— Хлопотали, да ничего не вышло. Но не отнимайте время, collega, с вопросами. Если вы хотите вступить в члены — то потрудитесь уплатить 50 пиастров, основной членский взнос.

У меня не было денег, но „секретарь“ поверил в долг. Таким образом я попал в члены студенческого союза и „это“ давало мне хоть маленькую надежду улучшить свою „Константинопольскую долю“.

25 июля.

Я по-старому продолжаю вести образ жизни бродяги. Ночи провожу те же при столовой Харбие, то сплю „контрабандой“ в общежитии у дяди Кости... Иногда просто ночую „под открытым небом“ на лавках бульваров. Питаюсь я также по-старому — остатками пищи в столовках, когда удается „словчить“. Зато если уже выпадет какая-нибудь работишка и заработаешь „пиастры“, я позволяю себе „Дукуловский пир“. Покупаю маслины, белую булку, на 5 пиастров халвы и все это запиваю стаканом „мастики“. Когда прекращается заработок и деньги отправляются в чужие карманы, я снова сажусь на строгую диету и начинаю мечтать о „вкусных вещах“. Надоела и опостылела

мне такая жизнь. Устал я телом и душой. А на лучшее, светлое, что-то мало пока надежд.

10 августа.

Я с гордостью заново на страницы дневника: „У меня теперь есть уже свой угол“. Вот уже два дня, как я живу в студенческом общежитии. Если идти по улице Ихла-Мур до конца, то она выходит на большую лужайку. Вот на этой самой лужайке мы разбили палатку и живем в ней. Как раз напротив нас общежитие, где живет дядя Костя с Платосником... Совсем недалеко, каких-нибудь шагов пятьдесят, шестьдесят. Я могу видеть своих друзей, стоящих у окна, и даже перекинуться с ними, не выходя из своих „апартаментов“. Кровать моя шатается и я уже „перекувырнулся“ с ней. Соорудил ее я сам из досок, скрепив колышками и проволокой. Вышло нечто допотопное — но спать, с известным риском, все же можно.

Рядом с кроватью я соорудил такой же самодельный столик... Мои сотоварищи по палатке водвинули себе такие же сооружения, и палатка наша приняла „комфортабельный вид“. Если б были одеяла, то было бы „совсем недурно“. Перед палаткой мы вбили два кола, на них протянули веревки. Тут мы сушим свое белье... У меня его немного... Только что на мне. Выгодно и экономно. Не идет много мыла.

2 августа.

Теперь я уже не бродяга, а буржуа. У меня есть имущество: кровать стол... и самое главное свой „угол“... А это так важно для человека, у которого нет больше ничего. Днем все „ребята“ уходят на работы и сходимся мы только вечером, когда становится уже совсем темно. Зажигаются огарки свечей. Поднимается гам, шум... смех... Начинаются разговоры... Бесконечные споры... А также мечты вслух о далекой и заманчивой „сказке“ — уехать из Константинополя в Прагу учиться. Среди студентов прошел слух, что чешское правительство во главе со своим президентом Массариком желает приютить в Чехии до 2000 студентов-беженцев.

Если это правда... то наша жизнь должна резко измениться к лучшему.— Только не верю я этому слуху... Это было бы слишком уже хорошо.

10 августа.

В судьбе союза принимают участие русские профессора-эмигранты — Варенов, Новгородцев, Катков, Циммерман... Правление теперь уже помещается в каменном 2-х-этажном доме по улице Ихла-Мур — как раз за „платным беженским общежитием“. Небольшая, тихая улочка Ихла-Мур заделалась совсем русской. Куда ни пойдешь — всюду наши ребята и наша речь... Только и есть турок — один лавочник, в своей лавке, да и тот уже хорошо научился от нас говорить по-русски.

В верхнем этаже „студенческого дома“ помещается правление. Нижний этаж нуден под платное общежитие — для „нищих студентов“. Плата

установлена в 1 лиру ежемесячно, и жить тут можно уже совсем „комфортабельно“.

При союзе организовались курсы иностранных языков.

Я беру уроки турецкого и французского языков.

Майор турецкой службы Садык, коренастый, низенький, с вечно потной лысиной, преподает нам турецкую начальную азбуку. Мы сидим в „комнате для собраний“ и хором повторяем за майором слова:

— Арслан — лев. Ешек — осел. Тавмак — заяц. Тавук — курица. Садык поднимает указательный палец вверх, и мы тотчас же замираем.

На пальце майора сверкает бриллиантовый перстень, и это кольцо так же гармонирует с нашими рубищами и убогой обстановкой комнаты.

— Как сказать по-турецки, любишь свой урок? — спрашивает меня, поверкая русский язык, майор Садык.

— Северным дерсеми — поспешно отвечаю я, и со страхом слежу за выражением его лица. Правильно ответил или нет...

— Якши.

— Петров, как будет та та у лева грива, как это по-русски... эге да... длинная. Петров с минуту сидит и напряженно думает, потом радостно кричит:

— Узундур елесим арслан.

— Якши, — майор довольно чмокает губами.

— Ну, а скажите — скажы ли люблю... вы — Иванов.

Иванов вздрагивает... он не ожидал, что Садык обратится к нему... потом вспоминает и говорит, слегка заикаясь.

— Сев — нем Ма-сал.

— Якши, очень хорошо. Мы прекрасно учимся, и наш учитель доволен. — Если так будет заниматься, так я лучший ученик свой отправлю на турецкий Университета-та. — Осмак Ватак — повестьте свое отечество, но я сделаю из вас турок.

Нет, милый учитель, куда нам до ваших университетов. Можно сойти с ума от одной вашей милой азбуки. Кесмек, ешек, асмак, сармак, резьюр, сары, ат узни елеси, времек, отурмак, гермек. Сам черт себе сломит зуб.

Французский язык нам преподает старик — Monsieur Paul Merder. Хороший, славный старик. Много он мне оказал тогда добра, когда я был голоден и наг. Своим ученикам он обещает также выхлопотать впоследствии право отправки в Сорбонну. А так как человек не знает, где его ожидает счастье, мы все свободное от заработков время силим и зубрим, зубрим до отупения турецкую тарабарщину и красивые звучные французские слова, а также мечтаем о „золотой Праге“ и чешских университетах.

Вчера вечером дядя Костя предложил мне пойти к „его жене“ поужинать. Я изумился.

— Как, дядя Костя, да разве вы женаты?

Дядя Костя грустно улыбнулся: Да был, Георгий, был раньше, но как только „Владимир“ встал на якорь в Золотом Роге, моя супруга сбегала на

лодке с каким-то шаршивцем. Теперь у нее на Таксима свой ресторанчик, знаешь, как раз против того места, где я плету гамаки и продаю их.

— Да как же, дядя Костя, вы хотите к ней идти после этого?

— Ну что же делать, она хоть и живет с другим, а я ее все-таки люблю... Кстати, она нас покормит и ужином.

В тот же вечер я познакомился с Анной Борисовной — бывшей супругой дяди Кости, а также с любовником Анны Борисовны — богатым русским коммерсантом. Мы сидели все вместе за столиком маленького кафе Анны Борисовны и ужинали, пили вино... и я чувствовал себя отлично, а в соседнем ресторане на Таксима пела восточная певица заунывную песню под аккомпанимент зурны.

С необычайной энергией я уписывал жаркое, запивал чудесным вином и украдкой поглядывал на бедного дядю Костю, сидящего с мрачным видом как раз напротив любовника жены. О каждом стаканом вина он хмурился все больше и больше, а любовник, напротив, становился все веселее и развязнее.

Зачем сюда пришел дядя Костя? посмотреть на жену? Должно быть изгрызла его тоска и ревность.

Кроме нас в ресторанчике были посетители: несколько англичан, двое американских матросов и черномазый сенегал. После ужина я был представлен, как „хиромант“, и принялся за „свою профессию“. Врал я немилосердно, но вино разгорячило меня и веселило смелость. Я ни перед чем не останавливался, и ничто меня не смущало, и все остались моим гаданием довольны... В этот вечер я гадал всем, даже сенегалу, и он тоже остался доволен и дал мне 50 пиастров. За 2 часа я заработал полторы лиры, что было для нас целое богатство. Я торжествовал, но дядя Костя даже, когда положил в карман свой %, оставался мрачным. Он растравил свою рану, не успевшую еще зарубцеваться.

18 августа.

Когда я вступил в студенческий союз, в нем числилось всего пятьдесят человек, а теперь уже записалось больше пятисот. Носятся слухи, что недели через две всем студентам будет устроен коллоквиум. Так говорит Циммерман. Кто провалится, того исключат из союза. Не в связи ли это со слухом „отправки в Чехию учиться“? Иначе трудно объяснить.

19 августа.

Кемаль-Паша стал отходить в глубь Малой Азии. Иностранцы приободрились. Сняты уже плакаты, призывающие русских поступать добровольцами. Но беженцу не до „Антанты“, не до Кемала. Одна лишь мысль как бы раздобыть кусок хлеба и найти место для ночлега.

Полное падение нравственности. Я сам видел, как на Пере русские офицеры делали непристойные жесты, предлагая себя „ликарным дамам“. Людей душит голод... вся мораль отброшена в сторону.

20 августа.

Русские уже додумались до „тараканных бегов“. Открыт тотализатор. Помещение „бегов“ посещает весь „бомонд“. Проигрывают огромные деньги, как на настоящих бегах. Имеются свои фавориты — тараканы. Говорят, что владельцы и изобретатели этого учреждения загребают в свой карман „лиры“ и живут припеваючи.

Сегодня я встретил одного своего знакомого еще по Москве. Мы знали друг друга еще когда были мальчишками, и все же он узнал меня, а я его. „Ну как живешь“, „что поделываешь“ — такие вопросы русские редко задают друг другу в Константинополе... Каждый видит всю „плачевную жизнь“ с первого же взгляда. С первой же минуты встречи мой знакомый спросил:

— Вы были в театре м-м Анет?

— Нет, а что это за театр? — удивился я, хорошо зная, что в Константинополе настоящих театров нет.

— Это театр пирнографических живых картин. Его открыла одна русская генеральша. Она набирает артистов из „беженцев“ и платит по лире в вечер... Только, говорят, больше десяти дней там трудно служить и „ребята“ сбегают... слишком уже изнашивается организм.

20 августа.

В союз пришла телеграмма от проф. Варенова из Чехии (вот уже месяц, как он уехал туда).

— Чехословацкое правительство желает принять в свои высшие учебные заведения до 1000 русских студентов-беженцев учиться на казенный счет и полное иждивение.

Это известие всех ошеломило. Неужели представится возможность выбраться из этого „кошмарного города“? Не верится как-то! В „союзе“ уже вывесили копию этой телеграммы. Говорят, завтра правление уже начнет подготовительные работы по проверке наличного состава членов союза. Всех отправляющихся в Прагу будут разбивать на три группы. Теперь уже определенно всем студентам будет устроен зверский коллоквиум. Чем больше провалится — тем выгоднее для отправителей.

25 августа.

Горит Скутари. Пожар начался еще ночью. Половина города в огне. Небо окровавлено пожарищем. — В Босфоре покраснела вода... даже в Константинополе чувствуется запах едкой гари и дыма, хотя Босфор шириною в несколько перст.

— Язын-вар — Язын-вар! — истопленно кричат турки. Мечется перепуганный народ. У многих в Скутари семья, дома, добро. Женщины рвут свои волосы и разрывают на груди одежды.

Противопожарные средства почти отсутствуют и течение пожара предоставлено капризу стихии. Страшен пожар. Но на востоке он страшнее всего.

23 августа.

Сегодня утром я встретил графиню с Минишкой. Она еще больше постарела и опустилась. Сабачонка была привязана на веревочке к талии графини. Она стояла на углу и просила подавание. Мини узнала меня и, подняв кверху черное ушко, радостно залаяла и завиляла хвостиком.

— Прес-дю-Суар! Кому нужно Прес-дю-Суар? В Скутари страшным огнем уничтожено больше двухтысяч домов. Колоссальные убытки. Сотни жертв. „Его превосходительство“ поспешно кивкает мимо меня и графини и скрывается за углом. — Прес-дю-Суар! Прес-дю-Суар! — Опять становится все тихо.

Сегодня у нас коллоквиум... Экзаменуются все потерявшие студенческие документы. Представлявшие их освобождаются. В экзаменационной Комиссии профессор Циммерман и Катюв. Коллоквиум происходит под открытым небом во дворе дома, где помещается союз и студенческое общежитие. Весь двор заполнен „дишущими счастьем“. Волнение страшное. Проявлялись — улыбулась Прага, Университет и „полное изживание“, а экзаменоваться приходится без всякой подготовки, без книг, по памяти и большинство не бралось за учебники по несколько лет. Я сижу на ступеньках лестницы общежития и курю папироску. Платосик стоит рядом и смотрит на студентов, томящихся во дворе, „где экзаменуют“.

— Ишь черти... и завидую я вам... поедете вы учиться в Прагу, выберетесь из этого болота.

— Иди, Платосик — экзаменуйся... скажи, что потерял документы.

— Ну да, чорта с два — я не бельмеса не знаю, да к тому же я и не член вашего союза. Нет, уже видно мне придется торчать тут до конца жизни.

Вот уже несколько дней, как я не брался за свой дневник, а между тем произошло столько событий. Вчера отправилась в Прагу первая партия студентов в количестве 200 человек. Отправками заведует „академическая группа в Турции“. Отъезд студентов вызвал переполох среди всей беженской массы. Завидуют „счастливицам“, отправляющимся учиться, а главное, завидуют тому, что они уезжают из этого огромного города, наполненного горем, нуждой и слезами. Ребята „катят“ через Сербию и Австрию. Сегодня вечером в восемь часов пятьдесят минут поезд увезет их, и они вырвутся из этого омута. Там, в Чехии, они уже не будут „голодными бродягами“... они не будут больше скитаться по улицам и проводить ночи под открытым небом... Прага кажется нам далеким, искрающим лучом счастья. Я тоже завидую уезжающим... ах если б мне попасть в первую партию. Мало ли что может случиться впереди... вдруг чехи раздумают брать к себе другие партии, и мы опять останемся забытыми всеми, бездомными бродягами. Я боюсь об этом даже думать. Когда рушатся золотые грезы — серая, будничная реальность кажется еще печальнее.

Я сижу в картонной будке и гадаю по руке. Мои клиенты, исключительно дамы и барышни, богатые француженки. За гадание платят „отлично“

и на блюде лиры все увеличиваются. Каждая лира облегчит отъезд бедняку, и я счастлив.

В соседней зале оркестр наигрывает нежное танго. По каменному мозаичному полу ресторана рассыпаны конфетти и валяются обрывки серпантина. Концертное отделение уже закончено, и теперь местные „артистические“ силы, принявшие участие в студенческом вечере, кутят с публикой. Какой-то московский купчина встал из-за столика и льет на пол шампанское.

„Нам плевать, потому у меня лир тьма-тьмущая, не жалко“. Он громко плачет и плохо держится на ногах. Декольтированная женщина, сидящая рядом с купцом, старается усадить его на стул, но безрезультатно. Все перепилилось.

Бог мой, сколько лир в карманах „публики“, а на улице какая вопиющая нужда.

Купец перестает лить шампанское на пол и бросает бутылку под стол.

— Эй, вы там — жертвую на скубентов 100 лир. Хотя они и подлецы, мерзавцы и мошенники и всю революцию закрутили, а жертвую — плевать на них — нешто нам жалко.

Его душит рвота, и он шатаясь опускается на пол под стол.

Член правления Быстров подбегает к купцу-жертвователю.

— Правление студенческого союза благодарит вас за щедрое пожертвование.

— Хорошо, хорошо, а напомню Якову Петровичу, чтобы он не забыл передать деньги, а теперь отойдите, видите он сам не свой, — шепчет дама и тащит купца из-под стола.

За другим столом сидит французский „colonell“. На его коленях игриво сидит „русская“, сильно декольтированная, с фальшивыми бриллиантами в ушах... Colonell отянул ее платье на груди и льет туда из бокала шампанское. Дама визжит, но с колен „Colonell'я“ не сходит.

Сейчас будет петь „цыганский хор“. Взвизгнули струны и первая цыганка затановилась:

Эй, ямщик не гони лошадей
Мне некуда больше сбежать.
Мне некого больше любить...
Эй ох ямщик не гони лошадей...

Вчера на Пере я встретил Колю Николаева. Ему удалось подработать денюжат и он собирается „зайдем“ пробираться в Сербию. У него в Белграде живет отец. Месяца два мы уже не виделись, и Коля за это время сильно изменился. Он как-то осунулся и постарел. Костюм его — сплошные лохмотья. Бедняга — видно не легко тебе жилось в эти два месяца.

— Уезжаю тоже, Коля, в Прагу.

— А виза есть?

— Да нас берут к себе чехи. Это уже определено. 26 сентября мы уже ждем с вокзала Серкеджи...

25 сентября вечер.

Платоски, дядя Костя и я сидим в грязном турецком ресторанчике под громким названием: „Сер-Сери“; в переводе на русский язык это означает

„босаяк“. Мы пьем мастику за круглым мраморным столиком, липким от пролитого вина, а над нами висит тусклая керосиновая лампа. Мы молчим. Нам всем троим грустно. Ведь мы расстаемся. Крепкая мастика. У меня уже все поплыло перед глазами: и дядя Костя с Платосником и хозяин-турок, стоящий за прилавком. А на сердце все-таки тоска. Крепко спаяла нас дружба, спаяла совершенно чужих друг другу людей.

— А ну-ка, Георгий, покажи свою бумажку, почитаем еще раз.

Я лезу в карман, достаю свой документ и протягиваю дяде Косте. Тот долго всматривается в него, мнет в своих липких от мастики пальцах, потом медленно начинает читать вслух.

„Certificat.

Le passeport d'étudiant de l'université George Feodorof № 8444 est pris par la chancellerie du groupe Académique Russe en Turquie (Nichantache, rue Jhlamour 4) pour le faire viser par la Délégation Tchecoslovaque.

Secrétaire du groupe Académique Russe professeur Michel Zimmerman.
Constantinople, 20 septembre 1921.

— Ну хорошо, — а когда же тебе наложат на паспорт визу и выдадут обратно?

— Нам уже наложили общую визу на список, и паспорта останутся также у них.

— „Не скоро сказка делается да быстро сказывается“, а тут как раз наоборот. Вот значит и ты укачишь, Георгий, и я останусь только с музыкантом. Кто же возьмет меня к себе на службу? Ведь он в хиромантии ни чорта не смыслит. Ты хоть будешь нам писать из Праги?

— Буду, дядя Костя буду.

— А я вот уверен, что не будешь, и забудешь нас.

Дядя Костя облокотился на грязный стол и глубоко задумался.

Да, брат Георгий, жили мы с тобой вместе в Галлиполи, слушали там вой плакалов и еще худший вой начальства, холодали, голодали, теперь вот встретились в Константинополе и снова опять расстаемся. Наша жизнь, это — сплошной круговорот. Как зажал вихрь за волосы, закинул вверх ногами, да пустил крутиться быстрее волчка, так вот и мы с тобой. А что в сущности мы представляем из себя? Лишь ничтожные, крохотные пылинки в этом огромном мировом круговороте.

— Брось ты, дядя Костя, разводить философию, — сказал, приподнимаясь со стула, Платосник. — Давай лучше выпьем тост за уезжающего Георгия, пожелаем ему всего доброго и пусть он не забывает своих друзей дядю Костю и меня, Платона Воробьева. Пусть когда-нибудь в Праге или еще в какой-нибудь стране, куда закинет его судьба, когда он будет сидеть вот за таким же круглым грязным столом в кабаке и „пить“, — пусть он вспомнит тогда о нас и припомнит наши горестные совместные скитания.

Г. Федоров.

Иван Окладский.

(Впечатления следователя).

Иван Окладский... Когда я впервые прочитал эту фамилию на обложке принесенного мне дела и, перелистав две-три страницы, убедился, что речь идет не о каком-либо однофамильце, а о том самом Окладском, роль которого, известная мне по процессу „шестнадцати“, так жутко преломилась впоследствии в освещении покойного Н. С. Тютчева, я забыл все и, схватив это дело, жадно стал глотать страницу за страницей, пока не дочитал до конца. Я ощутил то редкое, по напряженности, в жизни острое чувство, которое возникает при наличии неразрывно переплетающихся контрастов, временами рельефных до обнаженности, временами лишь слабо намечающихся, но осязаемых по интуиции.

Я давно интересовался историей Народной Воли. Еще на школьной скамье я упивался героизмом и какой-то экстатической готовностью к мукам народовольцев. Я любовался той простотой, той романтической простотой, с которой они играли жизнью в неравной борьбе, и чувством исключительной овеяны их трагические фигуры. Но я знал и видел лишь их снежные вершины.

Так это он был близок к Ольге и Вере Любатович...

Это он был ближайшим сотрудником виднейших террористов, другом Желязова... Это он приспособлял привезенную под Александровск Кибальчичем спираль Румкорфа. Но взрыва не последовало.

Окладский... Это он, вернувшись в Петербург, занял, как равный, место в самом сердце безгранично доверившейся ему Народной Воли... Ванюша... Это он сделал почти священным это безнадежно вульгарное „жарь“... Это ему вынесен был смертный приговор, и это он, наконец, тот, который не был повешен, а через два года был на свободе, усевшая свой путь гекатомбами...

Я стал изучать процесс шестнадцати. Мне мучительно хотелось понять, когда же он стал предателем, и не знаю, почему, но у меня создалось убеждение, что в той браваде, которую он бросил Суду в последнем слове, не было того почти неуловимого, даже если это только поза, но неизбежного элемента какой-то обреченности, которая витает над тем, кто верит, что его ждет смерть. Сама фраза „я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление“,—во-первых, по своей редакции не находится в гармонии со всем тем, что вообще говорил Окладский, а во-вторых, заклю-

чает в себе какой-то подозрительно-казенный оттенок. Его сопроцессники так не говорили, так не говорили и иные народовольцы, смотревшие смело в глаза смерти. Ах, если бы он стал хоть на минуту правдивым, этот человек. Ведь все, что он писал, все, что он говорил, отражало полное нежелание вообще говорить. Он не предатель. Он жертва. И если звон кандалов окружал его путь, если, поместине, не розы цвели на Казе, то он тут не при чем. Я ожидал увидеть злодея...

Ко мне ввели невысокого роста, но крепкого старика, который, войдя в комнату, метнул на все очень пристальным взглядом, после чего без приглашения очень удобно уселся на том именно стуле, который для него предназначался, и уставился на меня совершенно спокойным и, а бы сказал даже, насмешливым взглядом. Он имел вид человека, который приготовился к весьма скучной и очень хорошо известной ему канители. Каюсь; я был смущен. Мне приходилось видеть много самых разнообразных преступников, но мне не приходилось видеть человека, над которым тяготели бы такие обвинения и который так бы держал себя. Я смотрел на Окладского, и передо мной открывалась грандиозная историческая перспектива, вся усеянная человеческими несчастьями. И то, что его охраняли наши красноармейцы, показалось мне весьма логичным, ибо ничего общего с революционером у него не было. Было бы дико его видеть под охраной жандармов. Было легче представить его мирно с ними беседующим. Я понял, что долгое пребывание в известной среде оставляет неизгладимый отпечаток, быть может неподозреваемый самим человеком. И еще одно я заметил. Обычно старость сглаживает неприятные черты в лице человеческого и имеет в себе что-то примиряющее. Ничего подобного в лице Окладского не было. В нем не было той, ну, маститости, что ли, внушающей невольное уважение. У него было, в сущности, озорное лицо. Недаром один из старых народовольцев, видевший его впоследствии, говорил, что лицо его типично для среднего жандармского полковника. Одет он был небрежно, но во всему заметно было, что привык носить он и иные платья и что это лишь маскарал. На вопросы мои он стал отвечать спокойно и почти небрежно... Да, я Окладский, тот самый... При первых же его словах выяснилось, что он великолепно изучил статью Н. С. Тютчева, решил, что это единственный материал, имеющийся против него, и стал, нужно отдать ему справедливость, весьма логично пытаться опорачивать выдвинутые против него положения. Так как он человек несомненно очень неглупый, то ему не трудно было уяснить себе спорные места, и он стал жонглировать фактами, обнаружив изумительную изворотливость. На ребром задававшиеся ему вопросы он отвечал парадоксами и драпировался в выигрышную для него роль под Александровском. Чем больше я его слушал, тем яснее я понимал, что революционного духа, народовольческого закала и традиций у него совершенно не было. У него сквозило какое-то презрение к неудаче. Говоря о целом ряде провалов, он презрительно ронял, что они сами виноваты. Я сказал бы даже, что у него сквозила какая-то ненависть к революционерам, которые вовлекли его в невы-

годную сделку, из которой он выпутался лишь благодаря собственному уменью и ловкости. Он чуть не хвастал тем, что вот он прожил длинную, спокойную и обеспеченную жизнь, а они, безумцы, шли на каторгу, терпели изодня в день бесконечные муки, умирали. Когда я спросил его о судьбе его сопроцессников, то он ответил мне приблизительно: „а чорт их знает“. Лишь впоследствии он, очевидно, одумался и понял, что такая позиция не то что слишком аморальна, а слишком невыгодна. Первое же время он, вероятно, представлял большой интерес для психолога, как последняя граница падения. Когда я назвал фамилию Желябова и в голосе моем он почувствовал, вероятно, известный пикет, он с нескрываемой насмешкой взглянул на меня и, сделавшись вдруг разговорчивым, стал покровительственно о нем рассказывать, как-то смакуя его, по его мнению, ошибки. „Вы его, говорил он, не знали и вам он кажется героем, а я с ним спал чуть не на одном столе и знаю его будничную ежедневную жизнь. У него, конечно, были свои достоинства, он был незаурядный организатор и пропагандист, но у него было очень много недостатков, а еще больше тщеславия“... Вообще фамилии людей, которые мы привыкли произносить с уважением, он называл с легкостью, как равный, и охотнейшим образом вспоминал их промахи. Порой создавалось впечатление, что он желал развенчать вообще все заслуги народовольцев, ибо о каком бы террористическом акте ни шла речь, он с каким-то, я бы сказал, садизмом подыскивал теневые стороны, ошибки и со старческим смехом теперь, через 40 лет, глумился над ними. Я смотрел на него во все глаза и не верил ушам своим. Иногда он спохватывался и замолкал, а иногда, как понесшаяся лошадь, не знал удержу. Я понял, что он почти истерично ненавидит революцию и революционеров, которые довели его когда-то до виселицы. Он совершенно сознательно, искренно оправдывает первое свое предательство, как путь к спасению, и в дальнейшем решительно отмежевывается от революции. „Бесполойная это жизнь была; нелегальное положение, постоянные волнения, тут не досмотришь, там упустишь“, — эпически повествовал он, но, касаясь крушения под Александровском, утверждал упорно, что взрыв организован в сущности был им, ибо это он нашел подходящее место, он руководил буровыми работами, он возился с гальванической батареей, а Желябов был лишь, так сказать, и дейным руководителем, не больше. Кого он совершенно не выносил — это Анну Васильевну Якимову. Когда он говорил о ней, то чувствовалась какая-то глубокая, вросшая в него, к ней ненависть. По его словам выходило, что она под Александровском была лишь квартирной хозяйкой, не посвященной не только в детали, но, вероятно, и в самое дело. Когда я указывал ему, что Баска была Членом Исполнительного Комитета, он отрицал это обстоятельство и упорно говорил, что под Александровском роль ее была ничтожна. Не без чувства озлобления отзывался он о П. Е. Щеголеве, документально доказавшем лживость его показаний относительно Алексеевского развела и применявшихся к нему, якобы, пыток. Когда я меланхолически спросил его — не изменяет ли ему случайно память и не надлежит ли исчи-

снять срок его предательства с известного момента до вынесения приговора о нем и не составлялась ли редакция его последнего слова при некотором участии жандармов, то он со злобной иронией ответил фразой, произнесенной им, как оказывается, и на суде— „родился предателем“ и прибавил „бессмысленно мечтать доказать это“. Что он так же охотно вспоминал— это создавшиеся у него отношения с некоторыми сановниками дореволюционной эпохи. Он не без гордости говорил, что жалование он иногда получал не из рук кассира или казначея, а непосредственно от директора департамента полиции Дурново, который к нему очень хорошо, по его словам, относился и ввел его, как монтера, к своим родственникам. Иногда утверждение, что он получал деньги за электрификацию департамента и охраны, казалось ему самому смешным, так как в глазах его горели веселые огоньки, и он смотрел на меня, как человек, который дурачит. Оглядывая помещение, где он находился, он говорил, что оно ему знакомо, ибо в здании Губсуда помещался ранее департамент полиции. Он даже любезно указывал, что в этой комнате происходило, и рассказывал, что как раз у ворот Губсуда, выходящих на Пантелеймоновскую, и стояли сани, в которые он сел в начале 1881 года с генералом Комаровым, когда указал квартиры на Подольской и Подъяческой. В воспоминаниях его, касавшихся периода после помилования и разных встреч с сановниками, проглядывало нечто в роде нежности. Я очень быстро освоился с мыслью, что передо мной человек, ничего общего с революцией не имевший и случайно лишь, благодаря стечению обстоятельств, связавших его с семьей Ивановских, ставший причастным к революционному движению, и поэтому те инсинуации, которыми он окружал имя героев революции, меня перестали совсем удивлять. По отношению к бывшим сильным мира он сохранил холопское чувство и по сейчас.

Чего он совершенно не выносил, это допроса его в присутствии старых ветеранов революции. Нужно было видеть, с какой нескрываемой злобой оглядывал он седую голову и рылся в своей памяти „а не видал ли я его“. На вопросы отвечал он неохотно и грубо и часто начинал говорить дерзости и бывал нагл. Когда ему предъявлены были некоторые подлинные документы департамента полиции, в которых его роль вырисовывалась с полной обнаженностью, он снисходительно уронил, что эти документы „несколько его компрометируют и что очень печально, что они не были во время уничтожены, так как сидеть вот так перед вами и этим господином (жест в сторону старого товарища) удовольствие небольшое“.

Как-то, давая свои показания, он, между прочим, сказал, что добровольно отдался в руки Советской власти. Когда я заметил ему, что явился он в сущности при помощи посланной ему повестки и не явился он в назначенное время, он был бы доставлен. Ожладский насмешливо, с явным омерзением посмотрел на меня и сказал, что он больше сорока лет жил конспиративной жизнью, знает цену каждому пороку, и если бы он не захотел прийти, то никто никогда его не нашел бы. Тут же он с сокрушением стал говорить о целом ряде неосторожностей, допущенных им, благодаря чему он

и навлек на себя подозрение. Ни на одну минуту не появилось у него чувство раскаяния. Только страх перед неизбежным наказанием временами заставлял его зажиматься, но и то он смотрел на свое положение философски и находил утешение в том, что и сановники старого времени погибли. Раз он спросил меня, по моему даже без любопытства — „а что, меня расстреляют?“ и, не получив ответа, произнес „ну что ж, прожил длинную хорошую жизнь, пора умирать, не я первый“. Забавно, что те два свидетеля, на которых он упорно ссылался, в подтверждение того, что в политическом отношении он в 90-х и последующих годах был чище альпийских вершин — могли сказать лишь то, что он известен был только тем, что был вхож, по непонятным для них причинам, в дома многих сановников, где его встречали гораздо более ласково, нежели обыкновенного монтера.

Судя по последнему его портрету, за несколько месяцев, что я его не видел, он отпустил себе длинную бороду и одет в еще более поношенное платье. Недаром он как-то в приливе откровенности указывал и подчеркивал, какое большое значение имеет наружность и одежда в деле сыска и вообще. Судя по сфотографическому отчету, он держал себя перед лицом Верховного Суда и ветеранов революции, в обстановке для человека, в его положении почти невыносимой, также достаточно нагло. У Валерия Врисова есть две такие строчки — „но есть упоенье в позоре и есть в унижении восторг“.

В. Игельстром.

Библиография.

М. Балабанов. История революционного движения в России. От декабристов к 1905 году. Госуд. Изд-ство Украины. 1925 г.

Автор этой работы, по его собственным словам, не преследовал „задачи самостоятельного исследования прошлого нашего революционного движения“, а хотел „помочь читателю ознакомиться с этим прошлым в более или менее обстоятельном и систематическом изложении“. При этом автор рассчитывал на читателя, „имеющего некоторую общую подготовку“, но знакомого с историей русского революционного движения „только в самых общих чертах“.

Нельзя не приветствовать такого начинания. Если исследовательская работа по истории революционного движения России на всем его протяжении станет возможной еще очень не скоро, то в книге, подобной выпущенной в свет М. Балабановым, начинающий читатель нуждается как нельзя более. По справедливому замечанию М. Балабанова, книга Туна устарела, а других пособий нет. Между тем, всякий, кому пришлось заниматься с молодежью, вынужден был на естественный вопрос: „что читать по истории революционного движения“ — отсылать к тому же Туну или к специальным монографиям.

Можно считать, что в общем поставленную им себе задачу М. Балабанов выполнил удачно. Период „от декабристов к 1905 году“ рассмотрен им очень живо, довольно обстоятельно, изложен достаточно популярно и без вульгаризации, нередко сопровождающей работы, имеющие популярный характер.

Но с научно-исторической точки зрения автору можно поставить в вину ряд крупных недочетов. Далеко не всю литературу изучил М. Балабанов. Далеко не во всей книге он придерживался необходимого правила осторожности в выводах и заключениях, и, не ставя себе задачи самостоятельного исследования, нередко слишком легкомысленно перенимал чужие утверждения. С другой стороны, стиль книги — публицистический, местами переходящий в совершенно беспедную полемику с давно забытыми идеями и течениями. Применяя всюду социологический метод изучения идей, М. Балабанов в некоторых случаях его упрощает. Таково, например, утверждение на стр. 117, что неограниченный монарх не может осуществить никакой идеи, кроме „той, которая отвечает интересам поземельного дворянства“. Новейшие труды по русской истории XIX века уже намечали изучение некоторой анти-дворянской тенденции в деятельности русского самодержавия; более того, его постоянного стремления к освобождению от исторической связи с дворянством. Но М. Балабанов этого во внимание не принимает, как не учитывает и роли дворянской оппозиции справа.

Весьма сомнительна ценность первой главы труда М. Балабанова, посвященной крестьянским восстаниям XVII—XVIII вв. Сам автор считает, что эти восстания „не были революционными“ (стр. 17), и потому их связь со всей книгой уловить трудно. Правда, можно предположить, что М. Балабанов в этих движениях интересовался проявление исторически сложившейся психологии крестьянской массы, психологии, долго служившей тормозом для подлинно-революционного движения. Но, в таком случае, фактическое изложение восстаний Волотникова, Разина, Булавина и Пугачева должно было

сопровождаться более обстоятельным ознакомлением читателя с общественными отношениями эпохи. В настоящем же виде эта глава ничего не дает.

Глава, посвященная декабристам, в общем вполне удовлетворительна. Основные течения в „декабризме“ автор, на наш взгляд, понимает правильно. Но у него осталось неотмеченным течение, выражавшее сословно-дворянские тенденции. Сдается, что следы такого течения можно было бы указать в „Ордене Русских Рыцарей“ Орлова и Дмитриева-Мамонова, в проектах Батенькова, мнениях А. А. Бестужева, неопределенной постановке крестьянского вопроса в Союзе Спасения и т. д. С другой стороны, автор несколько односторонне рисует взгляды Николая Тургенева, пользуясь для этого только его запиской 1819 г. по крестьянскому вопросу. Эта записка отдает, по выражению М. Балабанова, „дань постепенщины“ и даже будто бы „делает самоодержавие вечным“, почему автор книги сейчас же вступает в полемику с автором записки. Но Тургенев писал свою записку для самодержда, с которым он говорит языком конституционалиста, конечно, не мог. Действительное же его политическое настроение в 1818—23 гг. было гораздо радикальнее.

Бегло и недостаточно основательно выясняет М. Балабанов взгляды Герцена и Бакунина, характеризует деятельность последнего в 40-х годах почти исключительно по его „Исповеди“. Говоря о настроениях молодежи 30-х годов, автор не совсем верно передает студенческую историю в Московском университете, участниками которой были Герцен и Огарев, так называемую „Маловскую историю“: профессор Малов не называл студентов „свиньями“, а встретивший в аудитории шарканье ног, сказал: „Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами“.

Но все это мелкие недочеты.

Гораздо крупнейшим недостатком является совершенно неудовлетворительная характеристика движения 60 годов. Причиной этого является неkritический подход автора к источникам, а иногда и незнакомство с литературой. Эпоха 60-х годов, может быть, наиболее трудна для историка революционного движения: отсутствие каких бы то ни было документальных данных о такой прокламации как „Великорусс“, ограниченность материалов о единственной заметной революционной организации этих лет („Земли и Воля“), бесследное исчезновение всего связанного с подпольной деятельностью Чернышевского и т. п. — все это обязывает исследователя к особенно строгому критическому анализу имеющихся материалов и — что особенно необходимо — требует отличного знакомства с эпохой и ее деятелями. Но М. Балабанов не обнаружил ни того, ни другого, и отнесся к делу очень поверхностно.

В своем изложении событий этой эпохи М. Балабанов прежде всего совершенно не придерживался исторической последовательности, что должно не мало затруднить читателя, знакомого с историей революционного движения лишь „в сухих общих чертах“. Да и более подготовленный читатель останется в недоумении, прочитав, например, очерк „Герцен и революционное движение 60-х годов“: ведь с этим движением автор знакомит лишь в следующих очерках, почему и отношение Герцена к движению остается невыясненным. Из деятельности „Колокола“ первого периода автор отмечает только утопическую веру в императора, не упоминая о статьях Огарева по крестьянскому вопросу, точка зрения которых совпадала с позицией либерального дворянства.

Отсюда автор переходит прямо к проекту адреса царю, составленному Огаревым в 1862 г. По мнению М. Балабанова, проект „всецело считался с мнением дворянства“. Но автор оставил читателя в полной неизвестности относительно эволюции, претерпевшей „Колокол“ до составления этого адреса. Уже в другом месте он сообщает, что программой „Земли и Воли“ была статья Огарева: „Что нужно народу“. Но, ведь, эта статья напечатана еще летом 1861 г., а в период между ее появлением и составлением адреса было прокламационное движение и, в частности, „Великорусс“, выдвигавший идею „Учредительного Собрания“ и адреса царю. Можно ли, таким образом, ставить проект адреса о Земском Собрании (который и Герцен и Огарев понимали, как Учредительное Собрание) в связь только с дворянским конституционным движением? В дей-

ствительности, от статьи: „Что нужно народу“ начался, а второй редакцией адреса закончился отход Герцена и Огарева от политической близости к либеральному дворянству. Далее М. Балабанов останавливается на разногласиях Герцена и Чернышевского. Здесь он прежде всего совершенно неверно утверждает, что „первое выражение этих разногласий дал Чернышевский“. В действительности, как известно, первым выступил Герцен со статьей: „Very dangerous“. Выступление же Чернышевского в „Колоколе“ с письмом за подписью „Русский человек“ М. Балабанов относит к началу 1862 г. Но, во-первых, тождественность Чернышевского и „Русского человека“ далеко не доказана, и наш автор слишком поспешно принял веру М. К. Лемке. Правда, Лемке утверждает это на основании воспоминаний Слепцова, но воспоминания Слепцова в некоторых частях нуждаются в критической проверке: статью „Отлет Великорусса“, напечатанную в № 107 „Колокола“, Слепцов совершенно неосновательно приписал Ник. Серно-Соловьевичу, взгляды которого совершенно не совпадали с мыслями этой статьи. Во-вторых, письмо „Русского человека“ появилось в „Колоколе“ в начале 1860, а не 1862 года. Единственное же достоверно известное выступление Чернышевского против Герцена — статья „О причинах падения Рима“, напечатанная в № 5 „Современника“ за 1861 год.

Нарушение исторической перспективы в этой главе у М. Балабанова идет так далеко, что непосредственно за полемикой между Герценом и Чернышевским, он, характеризуя отношение к Герцену молодежи, говорит о брошюре против него Алекс. Серно-Соловьевича, относящейся ко второй половине 60-х годов и потому совсем не характерной для начала этого десятилетия. Останавливаясь далее на „Великоруссе“, М. Балабанов только вскользь отметил какие-то косвенные указания об авторстве Чернышевского. Между тем, М. Балабанову, очевидно, осталась неизвестной ценная статья А. И. Хоментовской „Н. Г. Чернышевский и подпольная литература 60-х годов“, с большой убедительностью на основании анализа „Писем без адреса“ и прокламации „К барским крестьянам“ доказывающая это авторство. Мы полагаем, что знакомство с этой статьей, автор которой соединил в себе качества, особенно необходимые, по нашему мнению, для исследователя 60-х годов, заставило бы М. Балабанова усомниться в правильности отнесения Чернышевского к крайним радикалам. Он должен был бы признать, что фавор „Писем без адреса“, прокламация „Великорусс“ и Н. А. Соловьевич представляли собой умеренное крыло тогдашнего радикализма, а позиция Герцена и Огарева в 1861—62 г.г. приближалась к тому же течению.

В остальном мы не имеем серьезных упреков М. Балабанову. Очерки движения 70-х годов, рабочего движения и социал-демократии в общем удовлетворяют требованиям намеченной им себе задачи.

И в основном — повторяем — книга может служить недурным пособием для начинающего изучение истории революционного движения читателя.

А. Ш е б у н и н.

Д. Антошкин. Профессиональное движение в России. Пособие для самообразования и курсов по профессиональному движению. Второе исправленное и дополненное издание. Издательство ВЦСПС. Москва. 1924 г. 408 стр. Ц. 1 р. 75 к.

Наиболее разработанным в книжке Д. Антошкина следует признать I отдел, — „Хозяйственное развитие России“. 1-я глава — „Промышленность в крепостной России“ представляет собою довольно элементарную компиляцию более или менее широко известной литературы. В меньшей степени такую же компиляцию представляет собою и 2-я глава — „Развитие капитализма после падения крепостного права“. В изложении этих вводных и немаловажных для усвоения дальнейшего материала глав автор часто впадает в занудность, затемняя ценность и смысл обобщающих формулировок и выводов. Например (стр. 7): „Правительство, и само занимавшееся организацией крупных предприятий, обслуживавших по преимуществу нужды военного ведомства, и опиралось на торговый капитал и уступало его напору“. Та же занудар-

ность затрудняет изложение и следующих глав и приводит подчас к рискованным утверждениям. Так, на стр. 31, автор говорит: „в петербургских стачках 1878—79 г.г. — время экономического и революционного оживления в России — появляются...“ Между тем, едва ли можно принимать, как готовое клише, старое (и очень неуверенно в свое время высказанное) мнение об экономическом оживлении в 1878—79 г.г. Напротив, мы знаем хорошо, что эти „турецкие“ годы отмечены „застоем“ в производстве (чему мы имеем достаточно и цифровых доказательств) и дороговизной, толкавшей рабочих к оборонительным забастовкам и к подаче „петиций“.

Второй пример рискованных утверждений автора: „зародившиеся тенденции в петербургских стачках 1878—79 г.г. не имели дальнейшего развития вплоть до 90-х годов“ (стр. 32). Сам автор оговаривается: „особняком в этом отношении стоит стачка на Никольской мануфактуре в 1885 г.“. Если даже иметь в виду только эту стачку (а это далеко не единственный случай), то и тогда мы не имеем оснований говорить, что настроения рабочих 1878—79 г.г. не имели дальнейшего развития; вопрос в том, как шло это развитие. Глава „Организация рабочих до революции“ разработана с большей тщательностью и содержит интересную критику выводов С. Прокоповича („К рабочему вопросу в России“). Следующие отделы — „Профессиональное движение в период первой революции“, „Между двумя революциями“, „Накопление и перегруженность сил“, „Развернутым фронтом“ излагают в доступной форме историю профессионального движения в пореволюционный период. Ценными приложениями к книге являются — таблица статистических данных о профсоюзах в СССР и указатель литературы по истории рабочего и профессионального движения.

И. Ф. Рыбаков.

М. Яворский. *Україна в епоху капіталізму. Випуск перший. Період початкової акумуляції.* Державне Видавництво України. Харків. 1924. Стр. 371. Ціна 2 карб. 50 к.

Випуск другий. *На шляху капіталістичної акумуляції.* Д. В. У. Полтава. 1925. Стр. 185. Ціна 1 карб.

Випуск третій. *В суперечах імперіалізму.* Д. В. У. Харків. 1925. Стр. 309. Ціна 1 карб. 95 коп. — Тираж по 5000 экз.

Нельзя не приветствовать появления новой работы молодого украинского ученого, выпустившего в течение короткого времени целый ряд исключительно интересных работ по истории Украины. („Революція на Україні в її головніших етапах“, „Коротка історія України“, „Нарис російсько-української історії“, „Нарис історії України“). Рецензируемая работа представляет собой опыт пособия для вузов; задача автора состояла в том, чтобы дать „ряд подобранных материалов, связанных между собою отдельными тезаи“ и при этом в таком контексте, чтобы „читателю была представлена возможность самостоятельно разработать поставленные автором вопросы“.

Работа, как видно из подзаголовков, распадается на три выпуска, логически соответствующих трем этапам развития капитализма на Украине: первый выпуск — период первоначального накопления; второй выпуск — период развития капиталистического производства, между которого — кризис крепостного хозяйства и начало рабочего движения 80-х годов; выпуск третий — эпоха противоречий капиталистического общества от 1906 г. до октябрьской революции. Такой план и такое расположение материала выполнено автором с надлежащей тщательностью. Но в подборе материала и во вступительных пояснениях („теза“) нет той выдержанности, которую мы вправе требовать от автора, преподающего в нескольких высших школах, члена научной кафедры и даже руководителя научной работы аспирантов. Всего позднее и продуманнее обработан третий выпуск, четыре последних главы которого — „Классовые отношения перед революцией 1905 г.“, „Классы и партии перед 1905 г.“, „1906 год на Украине“ и заключительная глава представляют собою настоящее исследование, заслуживающее самостоятельной и обстоятельной рецензии. Прекрасно обработана глава — „Развитие

промышленного капитализма", в которой дана яркая и законченная характеристика грядущего 90-х годов; очерк истории социалдемократии на Украине составлен так, что заслуживает даже выделения в самостоятельную книжку. Один только упрек, по нашему мнению, должен быть высказан автору: читая новейшие работы по экономической географии Украины, он не дал яркой характеристики экономической конъюнктуры страны, почти обойдя молчанием такой интересный и важный вопрос, как принципы экономического районирования.

В первом выпуске мы находим немало промахов, тем более досадных, что именно этот выпуск, казалось бы, надлежало обработать с наибольшей тщательностью. Между тем многие из выводов автора, изложенные вопреки его оговоркам в предисловии, в почти догматической форме, являются спорными. Так, на стр. 34-й автор утверждает, что Берлановское восстание 1734 г. "имеет не только черты крестьянской стихии, как думают А. Ефименко и Антонович". Мысль — очень заманчивая для историка и открывающая горизонты для интересных контрвергов, но, к сожалению, автор не дал ей исчерпывающей аргументации.

Нельзя признать правильной и удачной характеристику славянской организации хозяйства, которую автор дает на стр. 42—43, следуя только спорным положениям М. Е. Слабченко в его работе "Организация хозяйства на Украине". Столь же неполно охарактеризовано экономическое развитие Украины на переломе от XVIII в. до XIX (стр. 121—142). Достаточно указать, что ценнейшие статистические сведения 1802 года, собиравшиеся по предложению "визитатора" Харьковского учебного округа проф. Тиховского, использованы лишь частично (приведены данные только о состоянии промышленных предприятий).

Недостаточно ярко охарактеризовано оживление торговли сырьем в том же периоде; из данного г. Яворским текста читатель едва ли вынесет отчетливое представление о значении для страны "Черноморской скажины". Вместе с этим и вопросы внешней политики слабо освещены. На стр. 273 и 275 мы находим полтора — два десятка строчек, взятых из Семенова и из курса Покровского (совершенно не использованы работы М. Н. Покровского о внешней политике), которые, конечно, не могут раскрыть никаких перспектив: читатель не вынесет представления о факторах, вынуждавших украинское и российское дворянство стремиться к "поширению" площади существующего крепостнического хозяйства. Столь же неполно и неотчетливо освещена история губернской "реформы" 70-х и 80-х годов XVIII ст.; автор не использовал очень ценного и привлекательного для социологического прогноза материала и не осветил значения "реформ", как этапы от разложения дворянского феодализма к буржуазному реформаторству.

Столь же досадное чувство и недоумение читателя вызывает глава, посвященная движению декабристов на Украине. В ней мы находим лишь общую характеристику движения и не находим надлежащего наложения и освещения событий на юге. Вполне понятно, что автору в момент составления книги неизвестны были результаты очень ценных разысканий ленинградских историков, выявивших новые материалы по истории восстания в Черниговском полку; тем не менее автор мог бы представить читателю материал хотя бы по публикациям Шугурова в "Русском Архиве" и по статье П. Е. Щеголева осветить вопрос о пропаганде в "Южном О-ве". Такой недосмотр тем более досаден, что автор дал, по Горбачевскому и Семевскому, хорошо сформулированное разграничение социальной ориентации "южан" и "славян". Про отклики событий 1826 г. в Киевской губ. сообщается также очень кратко и при этом в конце выпуска, — в связи с историей крестьянских волнений в 40-е — 50-е годы. В той же главе автор говорит с аподиктической уверенностью о существовании "украинского общества", возглавлявшегося Лукашеничем, но на стр. 220 приводит цитаты, которые не дают солидной аргументации для подобного утверждения. В данном вопросе позиция автора конечно, очень неустойчива; достаточно вспомнить попытку С. А. Ефремова в № 1 "Нашего Минувшего" за 1918 г. найти фактический материал, оправдывающий домыслы

о существовании украинского общества. Нельзя не отметить также следующих мелких дефектов, которые можно приписать только излишней лавинарности автора: Руляновская опись Малороссии выполнялась „украинскими офицерами из московских гарнизонов“ (историк не может не знать, кто были эти офицеры по происхождению); Чарторийский, как и В. П. Кочубей, и Безбородко, назван „украинским магнатом“ (стр. 165); у Кочубея и Воронцова автор находит черты „украинского либерализма“. Едва ли необоснованность таких мнений нуждается в доказательстве: автор не смог бы, конечно, найти на одной строчке из документов и из научной и мемуарной литературы в защиту своих утверждений.

В тексте самого автора и даже в тексте цитируемых в переводе источников мы встречаем „Ленинград“ не только в 19-м, но и в 18-м веке; очевидность такого недосмотра подтверждается тем обстоятельством, что почти тут же, рядом встречается и „Петербург“ (см. стр. 111, 127, 228, 229)¹⁾.

Нельзя одобрить тенденции автора давать весьма яркие и характерные документы в переводе: так, весь „couleur historique“ воззвания (универсала) Гонты и Зализняка (стр. 37) потерян для читателя в переводе; тем более досаден такой недосмотр, что документы нехарактерные и, так сказать, бесцветные, приводятся в оригинале (см. стр. 50, 85). Только по недосмотру Александр I назван дважды (стр. 181 и 202) Алексеем I („Олеком I“).

Каразин, по словам автора, имел с Кочубеем известию еще по статье Семеновского беседу „27 октября 1820 г. за десять дней перед бунтом в Семеновском полку“. (1) На стр. 168 В. В. Капнист (поэт) назван „харьковским помещиком“, в то же время, как все Капнисты были полтавцы, точнее миргородцы. (См. Воспоминание дочери поэта С. В. Скалон, Ист. Вестник, 1891 г. № 5—7). На стр. 188 автор говорит о „славянофильстве“ декабристов. Может быть, это простая опешка („панславизм“?). Указанные промахи тем более досадны, что и в первом выпуске есть главы и темы, прекрасно и с исчерпывающей обстоятельностью разработанные, например: превращение украинского шляхетства в дворянство (стр. 88—94), характеристика Сковороды и социальный анализ его проповеди (стр. 149—150), характеристика украинского возрождения конца XVIII—нач. XIX вв. (стр. 177—179), освещение славянофильства и украинофильства 40—50-х годов XIX в. (стр. 237—238, 333—335) и характеристика Шевченко, как неведущей грядущей пролетарской революции.

Выпуск второй следует признать наименее удачно разработанным; здесь чувствуется даже некоторая стесненность автора в самом выборе литературы. Вопрос о росте товарного рынка разработан очень схематично и вкратце; как пример, можно указать, что автор приводит лишь несколько цифр, заимствованных из календаря Харьковского Статистического Комитета, между тем как, казалось бы, была полная возможность дать точное представление читателю о значении крупнейших на Украине ярмарок — Ильинской в Полтаве, Крещенской в Харькове и Контрактовой в Киеве. Следует признать также недостаточно разработанной тему „Организация дворянско-буржуазной власти“; ссылки не всегда характерны и убедительны (например, приводится цитата из „Дневника Писателя“ Достоевского и „Очерков общ. жизни в России“ Мещерского, в то время, как обойдены молчанием ценнейшие свидетельства Заблоцкого-Десятовского и Арсеньева). Та же слабая обоснованность ссылками и цитатами делает очень спорным освещение роли активного народничества на Украине (стр. 135); более удачно изложение истории революционной кружковщины 60—70-х годов, сопровождаемое идеологически стройным и ценным освещением. Истерицизм высказываний замечаниями свои возражения т. Яворскому, я хотел бы отметить еще один немаловажный дефект — отсутствие во всех трех выпусках ссылок на иностранную литературу, за исключением польской и галицийской. Тем не менее, работа т. Яворского за-

¹⁾ На стр. 229 находим даже: „Ленинградские декабристы“.

служивает вниманием, как первый научный опыт марксистской истории Украины — при том в ее наиболее яркую эпоху, к тому же и наименее до сих пор разрабатанную.

И. Ф. Рыбаков.

Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода. Том I. Редакция и примечания П. А. Берлина, В. С. Войтинского и Б. И. Николаевского. Изд. Р. М. Плехановой. М. 1925.

Перед нами первый том переписки двух основателей российской социал-демократии, охватывающий период с 1885—98 гг. Издательница переписки, вдова Г. В. Плеханова, Р. М. Плеханова хотела, по ее словам, развернуть перед читателями и, главным образом, перед молодежью—„картину жизни, борьбы за лучшие идеалы человечества этих двух основоположников марксизма в России“. Громадное историческое значение публикуемой переписки не подлежит сомнению. Она вводит читателя в повседневный мир жизни, духовных интересов и лабораторию мысли двух крупнейших деятелей русского революционного движения и, скажем шире, двух ярких представителей российской культуры. Издание выполнено блестяще, редакция оказалась на высоте положенная, комментарии к письмам, составленные Б. И. Николаевским, известным специалистом по истории нашего революционного движения вообще и социал-демократического движения в частности, не оставляют желать ничего лучшего.

Читатель писем может быть несколько разочарован некоторой узостью их содержания, небольшим, напр., количеством сведений о внутренних русских делах. Но, по словам редакции, эта узость объясняется осторожностью, совершенно естественной в атмосфере страха, которым окружала эмигрантов русская заграницем тайная политическая полиция, прибегавшая даже к подкупу почтальонов для ознакомления с письмами. Дату 1898 год, который заканчивается первый том переписки, редакция выбрала сознательно, считая этот год—год первого съезда РСД.Р.П.—рубежом в истории с.-д. движения.

Переписка прежде всего поднимает перед читателем завесу над уголком жизни, обыкновенно скрытым от глаз современников-наблюдателей. Г. В. Плеханова знали как сурового, непреклонного борца, беспощадного полемиста, нередко разрывавшего самые тесные дружеские связи из-за тех или иных принципиальных разногласий. В переписке с Аксельродом перед читателями предстает незнакомая фигура нежного друга и любящего семьянина, болеющего душой за материальные невзгоды и лишения близких. Этому Плеханову вполне знал только П. Б. Аксельрод; даже Р. М. Плеханова только теперь, из писем мужа к другу узнала, до какой степени больно переживал он семейные горести. А письма полны этих переживаний. Летом 1886 г. Плеханов пишет: „мы стоим над бездной всяческих долгов и неуплат, каждый день приближает нас к краю этой бездны, а за что ухватиться, чтобы не упасть—не знаем, да и знать не можем“. Но он еще не унывает: живет плохо, друзей, ближайших единомышленников совсем мало (кроме П. Б. Аксельрода, только В. И. Засулич, да в Сибири—Д. Г. Дефч), но „страдаем мы не напрасно“, пришло письмо из Петербурга от Благова, там организовалась с.-д. группа... Дальше дела идут в материальном отношении еще хуже. В 1888 году больной Плеханов пишет: „не могу я лечиться, когда семья буквально голодает“. Высланный из Швейцарии Плеханов живет в деревушке Siagenz во Франции и в отчаянии пишет другу, что оставшаяся в Швейцарии семья его уже 6 дней не питается ничем, кроме молока, получаемого в кредит. С большим удивлением узнает читатель, что у непреклонного вождя русского марксизма бывали моменты полного безнадежного отчаяния. В один из таких моментов Плеханов протестует против данного ему Аксельродом названия „избранник истории“ и утверждает, что он „просто неудачник, годный теперь только в покойную лужу“. Такие моменты отчаяния и сомнения в себе и своей пригодности к делу бывали и у Аксельрода и других служили друг другу поддержкой в таких случаях. Чрезвычайно интересна оценка, данная Плехано-

вым Аксельроду в минуту уюда настренна последнего. Г. В. говорит о своем друге, как человеке, который „может быть всех нас превосходит глубиной своего политического смысла“. „Ты—европеец, по преимуществу, а это очень важно в каждой русской партии“. Недавно такую же характеристику Аксельрода, как европейца в народнической партии „Черного Передела“, дал его товарищ по этой партии О. В. Антекман²⁾. Биографы Плеханова пытаются найти в произведениях обоих основоположников русского марксизма, относящихся к 80—90-м годам, зародыши тех разногласий, которые появились между ними в эпоху 2-го съезда, когда Плеханов примкнул к Ленину, а Аксельрод вместе с Мартовым положили начало меньшевистскому течению, и позже, в годы „ликвидаторства“. И, по всей вероятности, зародыши таких разногласий в эту эпоху действительно были. Они коренились, может быть, в различии некоторых сторон психологии друзей. В переписке это различие отразилось мало. Можно указать одно письмо Плеханова, где он говорит о своем „якобинстве“, „обвинение“ в котором, как известно, в 1903 году предъявлялось всей большевистской части 2-го съезда. Но в письме к другу Плеханов сам считает „якобинство“ своим недостатком, и потому это письмо не дает нам больших оснований для суждения по этому вопросу. В основных же вопросах тактики Плеханов и Аксельрод были в рассматриваемую эпоху вполне солидарны. В частности, переписка окончательно устанавливает, что группа Освобождения Труда стремилась к соглашению с народо-вольческими организациями. В 1889 году Плеханов писал Аксельроду о настроениях молодых народо-вольцев, у которых, с одной стороны, проявляется некоторая склонность к либерализму, а с другой — замечается отсутствие настоящей идейной вражды к марксизму и заключал из этого: „... нам нужно быть дипломатами. Мы переживаем теперь кризис. Молодежь может удариться в либерализм, чтобы удержать ее, нужно быть уступчивым и мягким“. Готовность Плеханова к „дипломатической“ уступчивости по отношению к другим революционным течениям проявилась и в печатаемом в приложении к настоящей книге письме в редакцию журнала „Самоуправление“, где он, решительно критикуя теоретические взгляды редакции журнала и называя ее мировоззрение „консервативным эклектизмом“, в то же время соглашается работать в этом журнале во имя общей цели борьбы с абсолютизмом. С другой стороны, печатаемый здесь же черновой набросок передовой статьи Плеханова для сборника „Социал-Демократа“ доказывает, что уже в 1888 году о либерализме Плеханов судил так же, как впоследствии в „Дневнике Социал-Демократа“ и „Письмах о тактике и беспастности“, а именно, он критиковал либералов за их иллюзии по отношению к монархам, но находил, что девиз борьбы за политическую свободу может до некоторой степени объединять социалиста и либерала. В свою очередь, отрывок из воспоминаний П. Б. Аксельрода о начале его знакомства с В. И. Лениным свидетельствует, что уже в первых беседах между ними намечались разногласия по вопросу об отношении к либералам.

Может быть, наиболее типичным для обоих основателей русской социал-демократии является их отношение к ревизионистскому выступлению Бернштейна. Отношение Плеханова характерно для непримиримого теоретика ортодоксии. Практически, по его мнению, Бернштейн даже „кое в чем“ прав. Но от его теоретической критики он „чуть не заболел“. Аксельрода в этом вопросе мучило совсем другое. В большом письме — исповеди он открывает перед Плехановым сущность своего „credo“. „Европеизм“ Аксельрода состоит в его глубокой вере в культуру, в нравственное совершенствование, а моральная сущность его социализма — вера в радикальное перерождение человека, в „появление породы богов на земле, существ всемогущих разумом и волей, наслаждающихся сознанием и самосознанием, способных мыслью обнять мир и править им“. А „филистерски-черепашие движение, рекомендуемое Бернштейном“, отталкивает Аксельрода только потому, что в нем нет этой веры в радикальное, моральное пере-

²⁾ „Черный передел“. Орган социалистов-федералистов 1880-81 г.г. Предисловие В. И. Невзжого, вступительная статья О. В. Антекмана. Госизд. 1923, стр. 99—100.

рождение человека, а человечество концепциями Берштейна обрекается на „вечное скопство“. При таком отношении к Берштейну оба друга, однако, первоначально не хотели резкой полемики с последним. Аксельрод уговаривал Плеханова сдерживать себя, а Плеханов, со своей стороны, соглашался, что Берштейн — „заслуженный Геросе“ и отказывался „играть роль Бакунина, обвиняющего западную рабочую партию в отсталости, нереволюционности и т. п.“. Для деятелей 2-го Интернационала такое отношение к реализму вполне понятно. Вступив потом в полемику с Берштейном, Плеханов от этой точки зрения отказался и печатно обвинял германскую социал-демократию за то, что она не подумала об исключении из своей среды Берштейна.

В приложении к переписке Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода, кроме уже упомянутого, дано: прокламация Г. В. Плеханова о деле В. И. Засулич, письмо его же секретарю Славянского Социалистического клуба в Цюрихе, письмо его же к В. Либкнехту, письмо П. Б. Аксельрода к Э. Берштейну, его же нежданная статья „Главнейшие запросы русской жизни“ и т. д. Богатое содержание этой книги, таким образом, несомненно.

А. Ш е б у н и н.

Письмо в редакцию.

В № 1 „Былого“ за настоящий год, в статье Н. Н. Фирсова: „Личная характеристика Александра III частью по неизданным его дневникам“ — приводится ссылка на место дневника за 1880 год упоминающая о затанувшемся до трех с половиной часов утра обеде у „Николаши“ (т.-е. у в. к. Николая Николаевича старшего) с немцами, причем „все очень веселились“. Перечисляя участников обеда, наследник упоминает, что, кроме него, были следующие лица: Владимир, Алексей Алекс., Кони, Ежек, Воронцов, Черевин, Шереметов, Витгенштейн, Клейнмихель, Ростовцев, Галл и Юрий¹⁾. Найдя в этом списке, к крайнему моему удивлению, свою фамилию, считаю нужным заявить, что указание это во всяком случае ко мне относиться не может, так как я ни в каких пиришествах у „Николаши“ никогда не участвовал, не будучи знаком с его гостями, и впервые имел личную встречу с Александром III лишь через пять лет после описываемого обеда.

Мое участие в последнем было бы немислимо уже потому, что за два года перед тем, 31 марта 1878 года, я вел, в качестве председателя Петербургского Окружного Суда, дело Веры Засулит, оправдание которой присяжными заседателями возбудило против меня особое раздражение правительства и его высших представителей. Оно выразилось в настоятельном предложении мне подать в отставку с угрозой вероятной возможности увольнения без прошения, несмотря на судейскую несменяемость, и в целом ряде крупных неприятностей, продолжавшихся семь лет.

Неудовольствие на меня, поддерживаемое клеветами и инсинуациями Каткова и князя Мещерского, не раз было высказываемо министру юстиции Набобову и мною себе выражено в резком обращении ко мне Александра III во время служебного представления по случаю назначения меня обер-прокурором уголовного кассационного департамента, причем он сказал мне, что желал бы забыть неприятные воспоминания вызываемые в нем тягостным впечатлением от моих действий по делу Засулит.

Полагаю, что уже одного этого обстоятельства достаточно для признания полной невозможности моего участия в описываемом дневником пиришестве. Думаю, упоминание моей фамилии, если только это не опечатка¹⁾, вероятно, явилось вследствие ошибки автора дневника или сокращения им чьего-либо имени или фамилии, каковое встречается при перечислении участников обеда.

А. Кони.

Об издании „Библиографии Декабристов“.

Заканчивая, совместно с Н. М. Ченцовым, по поручению Редакционно-Издательского Комитета Центрархива, подготовку к печати полной „Библиографии декабристов“, прошу всех занимающихся декабризмом не отказать сообщать мне сведения о новых изданиях по декабризму (книгах, сборниках, журнальных и газетных статьях и т. д.) — за революционное время (1917 — 1925), как уже вышедших, так и подготовляемых к печати. Особенно важны сведения об изданиях областных. Важна и при- смыка самих изданий (при желании, они будут возвращаться). Полезны также указания на старые редкие и безвестные издания. Все сообщения будут с благодарностью отмечены в книге. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: Москва, Переулок Кропоткина 25, кв. 31, проф. Николаю Кирилловичу Писанову.

Н. Писанов.

¹⁾ К сожалению, действительно, пропущена досадная опечатка. Рег

А. П. Чапыгин

РАЗИН СТЕПАН.

Исторический роман.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Войсковая старшина и гулебщики.

IV.

Посреди улицы, в сыром месте, кинув прямо в грязь атласный плащ, разлегся запорожец с двумя пленницами-турчанками. Одну из них он посадил за собой, положив большую бритую голову с оселедцем ей в колени, другая сидела рядом на песке. Косы турчанок из рук казак выпустил и, зажмурив глаза, дремал на припеке. Кривая черкесская сабля в серебряной оправе, кремневый, ржавый пистолет, лежали у его правой руки.

Закрыв глаза, опустив черноволосые головы на смуглые, голые груди, пленницы видимо грустили без слез.

Боярин подошел к запорожцу. Дьяки встали поодаль, но старик кивком головы позвал младшего из них:

— Взбуди его!

Ефим зашел к запорожцу сбоку, слегка толкнул дремлющего носком желтого сапога:

— Кой бис?! — крикнул запорожец. Загорелый кулак разжался и узловатые пальцы впились в рукоятку сабли.

Боярин громко сказал:

— Эй, козак, продаешь жонок? угодно нам узнать цену.

— Мой ясырь—двадцать талерей за голову. Приоткрыв глаза, запорожец, отняв руку от сабли, полез ею в карман красных шаровар, вытащил большую трубку, кисет и кресало.

— Разбойник! пошто много ценишь?

Запорожец, не обращая внимания на слова боярина, набил трубку, высек огня, закурил и вновь решил задремать...

— Даю тебе двадцать пять рублей Московскими. Талеръ, цена рубль!

— Сам не беззубой, да менгун надо. а то на обеих бы женился... даром марать посуду не хочу!

Боярин, выжидая, молчал.

Казак вскинул на него разбойничий взгляд, прибавил, шлепнув рукой по рваной штанине — нам в путь-дорогу итти есть с чем, а ты крамарь-мертвец!

Боярин метнул глазами на казака и зашипел, тряся головой. Из-под розовой бархатной мурмолки замотались по вискам седые косички:

— Один лишь дурак указывает перстом меж ноги, умный в лицо зрит!

— Поди к бису, крамарь! дешевле ясырь не продам тебе, зато, что мертвец... хочу, чтоб у жонок куча хлопцев была... Сам не имеешь глүзда — на титьки им глянь, на брюхо... э-эх! падаль ты, тьфу!

— Мне их не доить, бери двадцать шесть талерей — сыщу деньги...

Запорожец медленно, полусонно набил снова трубку, закурил. Подошел-высокий, степенный турок или бухарец в белой чалме, в пестром, длинном халате, что-то очень тихо сказал по-турецки — пленные подняли головы; у той, что держала голову казака, смуглое лицо ожило румянцем, другая турку улыбнулась глазами, боязливо и быстро кинув взгляд на дремлющего казака, слегка поклонилась.

Человек в чалме нагнулся над запорожцем, сказал громко:

— Селэ малыкин!

— Ого! — запорожец открыл глаза, ответил тем же приветствием: — Малыкин селэ, кунак!

— Колько — два?

— Тебе мухаммедан? за тридцать талерей — два!

— Дай ясырь — бери менгун!

Запорожец быстрее, чем можно было ожидать от грузного тела, сел, загреб в охапку обеих пленниц, как маленьких девочек, встал с ними на ноги:

— Ясырь вот, дай менгун!

Человек в чалме бойко отсчитал тридцать серебряных монет, передал запорожцу. Пленницы стояли сзади его, казак взял ту и другую за руки, передал купившему, сперва из правой руки одну, потом из левой — другую.

Купивший нагнул перед казаком голову, приложил руку к сердцу в знак приветствия продавцу ясыря и, повернувшись, пошел с турчанками в город.

Ого! то не крамарь — купец... проворчал запорожец. Нагнулся, накиннул на плечо плащ, загреб в большую лапу оружие и шапку. Сонливость с него спала, он спешно пошел в ближайший шинок:

Младший дьяк не утерпел, громко сказал:

— Эх, боярин! да я бы у этого бражника обеих женок купил за два кувшина водки.

Я тебе, холоп, заплавлю рот свинцом! прошипел боярин.

Мимо москвичей юрко пробежал почти голый мальчишка, черноволосый и смуглый, потряхивая кувшином киноварной глины, кричал:

-- Коза-а: буза-а!

— Эй, соленый пуп!

Подзывали мальчишку проходившие казаки:

-- Дай бузу!

Видя, как жадно глотали казаки бузу, младший дьяк ворчал:

— Чубатые черти! дуют, хоть бы что, а мне с подболки этой охота дух пустить, да старик. как волк.

Молодой дьяк боялся итти близко за гневным боярином и ждал, когда его позовут...

На площади недалеко от часовни Николы стоит деревянная церковь Ивана Воина с дубовым из бревен, гнилым навесом над входом. Под навесом над низкими, створчатыми дверями с железными кольцами темный образ святого. Иван Воин изображен в полуоборот, в мутно-желтых латах, опоясан узким кушаком, на кушаке не длинный меч в темных ножнах, под латами красные штаны, сапоги похожие на чулки,

желтые. Левая рука опущена и согнута к сердцу, в правой он держит тонкий крест и вид у него, как будто к чему-то прислушивается, в углу на клочках облаков какие-то лики...

КазакИ входят и выходят из церкви, поворачиваются и на дверь крестятся. Ставят свечи тем святым, которые по их понятиям лучше помогают в походах и кому на войне дано слово поставить в старой церкви „светилку“. В церкви два попа, присланные Москвою, каждый из попов привез по образу, писанному московскими, царскими иконниками. КазакИ обходят привезенные образа, ворчат:

— Не нашего письма образа... Христы на воевод схожи — румяны и толсты. ,

Про попов шутят:

— Древние — поп попу водит и по пути спрашивает: „як тебе имя, Иване? и до сих пор попы не ведают — кого кличут Иване, а кого Петр. Читать попы не видят — службу ведут на память, вместо аллилуйя часто приносят „аминь“... КазакИ редко венчаются в церкви, больше придерживаются старины, объявляют имя жениха и невесты на майдане (площади), строят для того помост, жених берет свидетелей за себя и за невесту, Боярин с дьяками проталкивались на площадь к церкви. Не доходя площади ряд торговых ларей и шинков-сараев. Москвичи, подойдя к ларям, рассматривая товары, приостановились: перед одним ларем ходил взад, вперед бородатый перс в широком кафтане из верблюжьей крашеной в кирпичный цвет шерсти, в коротких до колен, такого же цвета штанах с голыми ногами в башмаках на босу ногу, кричал как гусь:

— Зер — барф! зер — барф! ¹⁾

идя обратно, взывал тем же голосом:

— Золот-парш, золот-парш!

— Эй соленой.

— Он не грек — баньян; мултанея.

— Не, пошто? у тех по носу мазано желтым и в белой чалме, а этот в красной, да все одно — ей, почем парш, чесотку продаешь?

¹⁾ Зер — золото, барф — ткань.

В глубине ларя сидел другой перс — видимо, хозяин, в халате из золотой с красными разводами парчи, в голубой, вышитой золотом чалме — ел липкие сласти, таская их руками из мешка в рот, черная, с блеском борода перса была густо облеплена крошками лакомств.

Когда с зазывающим покупателей персом разговаривали, улыбался, махал руками, кричал громче первого:

— Хороши парча! Хороши, дай менгун — козак!

Боярин подошел к ларю, подкинул вывешенные, светлые полотнища на руке, сказал:

— Добрая парча! надо затти, купить... на Москву такой не везут...

Прошли, почти не взглянув на лари с синей одамашкой-камкой, коротко постояли у ларя с барахатами: бурскими, литовскими и веницейскими.

— Бархаты продают, разбойники, не в пример лучше московских: цвет рудо-желтого золотным лоском отливает... Дальше и в стороне от ларей ларь с сараем. Сквозь редкие бревна сарая из щелей сверкали на свет жадные чьи-то глаза. Ларь вплотную подходил к сараю, в сарай из открытого ларя дощатая дверь, завешенная наполовину персидским ковром, по сторонам ларя ковры удивительно тонких узоров. Боярин развел руками и чуть не уронил свой посох с золоченым набалдашником:

— Диво! вот так диво! этаких ковров не зрел от роду моего, а живу на свете довольно...

В ларе два горбоносых, высоких, один в черной шапке с меховым верхом, другой в черной мохнатой, из-под кудрей овчины глядели острые глаза с голубоватыми зрачками — оба в вывернутых шерстью наружу бараньих шубах:

— Кизылбашцы, нехристи! — проговорил Ефим. Боярин оборвал дьяка:

— Холоп! с пуста не суди — кизилбашцы те, что парчей торг ведут, эти, думно мне — лязгины?... один из горбоносых выпустив из рта мундштук кальяна, стоявшего за ковром на столике, закричал:

— Камэнуэмк арнэл ахчик? мэ тхга март? Цахумэнк халичаннер хоросаницев-парскастанц фараганиц! Снова бойко и

хищно схватил почти черной лапой с острыми ногтями чубук кальяна и с шипеньем, бульканьем, начал тянуть табак:

— Сотона его поймет? сосет кишку, едино что из жил кровь тянет... ей-бо, глянь, боярин! со страшного суда чорт и лает по-адскому, — вскричал Ефим:

— Запри гортань! постоим — пойдем. Упрямо остановился боярин.

Другой горбоносый закричал по-русски:

— Господарь! желаете-ли купить девочку или мальчика?... еще продаем ковры из Хоросана и Персии — фарагана ¹⁾.

Первый горбоносый опять крикнул, коверкая русские слова:

— Сами дишови наши товар! — кричал он гортанно-зычно, словно радовался, что знал эти чужие слова. Тонкий, сухой, с желтым лицом. Бараний балахон на нем мотался и, когда распахивался, то на поясе с металлическими бляхами под балахоном блестел узорчатыми ножнами длинный кинжал.

Боярин подошел, потрогал один ковер:

Хорош ковер — фараганский дело! — сказал тот, что кричал по-русски. Стали торговаться. Дьяки молча выжидали; только Ефим увивался около, гладил ковры, прикладывался к ним лицом, нюхал. Боярин приторговал один ковер, черный человек бойко свернул его, получил деньги, заговорил, шлепая по ковру коричневой рукой:

— Господарь! купи девочку... девочка — терская, гибка-ца! он щелкнул языком — будит плясать, бубен бить, играть — птица, не девочка-ца! летает не пляшет...

Боярин молча махнул рукой одному из бородатых дьяков, передал ковер:

— Неси, Семен, ко мне! Дьяк принял ковер. Черный продолжал вкрадчиво:

— Есть одна... груди выжжены... на грудях кизилбашки чешечки... на цепочках, любить можно, дарить можно — матерью не будет... грудь нет, плод нет... вырастет зла будет, как гиена, можно господарю такая свой гарем беречь — никого не пустит, жон замучит, сама — нет плод и другим

¹⁾ Перевод того, что кричал первый армянин по-армянски.

не даст с чужой муж ходить... дешево, господарь... девочка...

Боярин, делая вид, что не слышит вкрадчивой речи черного, разглядывал ковры

— Сами дишови наш товар! — кричал другой. Ефим, понимая, что этот не знает много по-русски, сказал:

— Ты, сотона, баньян ли грек?

— Нэ... затряс тот мохнатой головой нэ-грек, армэнен... камэнуэмэ арнэл ахчик?

— Дьяки — идем дале!

Дьяки поклонились и двинулись за боярином. Ефим подошел к боярину ближе, заговорил быстро:

— Глядел ли боярин на того, что по-нашему не лопочет?

— Что ты усмотрел?

— Видал я, боярин, у него под шубой экий чинжалише-аршин, видно, что разбойник чорт! продаст да догонит, зарежет и... снова продает!

— Ну уж ты! сходно продают... На Москве таких ковров и за такие деньги во сне не увидишь...

— Им что, как у чубатых — все грабленное... видал ли, сколько в сарае мальчишек и девок малых, все шели глазами, как воробьями, утыканы?..

— Да, народ таки разбойник! — согласился боярин и прибавил, — а торгуют сходно...

Под ногами начали шнырять собаки, запахло мясом, начавшим тухнуть. Мухи всех сортов тыкались в лицо на-лету — в этих рядах продавали съедобное:

Бурые вепри, оскалив страшные клыки, висели на солнопеке, несниманные они подвешены около ларей веревками к дубовым перекладинам. Мухи и черви копошились в глазах лесной убоины. Тут же стояли обрубленные ноги степных лошадей, огромные с широко-разросшимися неуклюжими копытами. Мясник, бородатый донец, кричал, размахивая над рогожей-фартуком кровавыми руками:

— Кому жеребчика степного? Холку, голову — весь озадок? Смачно харить с перцем, с чесноком объяденье!

— Ты, кунак — махан ел?

— Ел! — бойко отвечает мясник, — и тебе, козак, не запрещу — степная жеребятина мягче теленка — купи барана, вепря, тоже есть.

— А ну кажи барана! пса не дай...

— Пса ловить нет время— пес без рог... баран вот!

— Сытой, нет? ага!

— Нехристи! жрут, как татарва — коня так коня и гадов всяких с червью купят— тьфу! — боярин плюнул, нахмурился, говоря он понизил голос. Дьяки, побаиваясь его гнева, отстали. Старик, постукивая по камням и пыля песок посохом, шел, спешно убегая от вида и запахов рынка:

— Идет не ладно, а озлится — сказать?

Молодой дьяк ответил боролатому:

— Пушай...

— Озлится! к гневному не приступишь мотри...

Боярин разошелся в шинки: дубовые сараи распахнуты, из дверей и с озадков несет густой вонью — водки, соленой рыбы и навоза. Шинки упираются задами в низкий плетень, у плетня торчмя вперед краснеют и чернеют шапки, желтеют колени — люди опорожняются... Здесь едко пахнет гнилым, моченым в водельном.

Старик чихнул, полой кафтана обтер бороду и закрыл низ лица. Отшатнулся, попятился и повернул к дьякам.

Заглядывая боярину в глаза, Ефим заговорил:

— Крепко у нас на Москве, боярин, эким по задам торгуют, чубатые еще крепче, мекаю я?

— Занес сотона! к церкви идем, а куды разбрелись? водчий, пес! — где так востер, тут вот глаз туп.

— Церковь у них древняя, боярин, развалиется скоро — наши им нову кладут, да они, вишь, любят свое — так тут подпирать чтоб столбы к ей лепят.

— Блядослов! — зашипел боярин, — кабы на Москве о церкви такое молвил — свинцу в глотку, не богохуль на веру... уже я тебе!..

Дьяк ждал удара, но боярин опустил посох. Дьяк, сняв шапку, заговорил жалостливо:

— Прости, боярин! много от ихней бузы брюхом маюсь. Ино в голове потуг и пустое на язык лезет.

— Ну ин ладно! тому верю... только не от бузы брюхо дует, от яства брашно у разбойников с перцем, с корнем, а пуще того неведомо кого спекли — чистое ли? Ты, дьяк, ужотко с опаской подсмотри за ними...

— Чую, боярин, дай буду путь править вот этим межутком — и у церкви старик, боясь опередить дьяка, шел, боязливо косясь на шинки, где со столов висели чубатые головы и крепкие, цвета бронзы руки. В шинках пили, табачный дым валил из дверей, как на пожаре, слышались голоса:

— Рони братья в мощну шинкаря менгун!

— Пей! на Волге, тай на море горы золота-а!

— Московички насады да бусы дадут одежи, тай хлеба-а!

— Гнездо шарпальников! — шипел боярин.

V.

На площади собрались казаки и казачки, мужики в лаптях, в широких штанах и белых рубахах, к церкви скоро не пройдемь. Недалеко от церкви возведено возвышение, две старых казачки бойко постилают на возвышении синюю ткань и забрасывают лестницу плахтами ярких цветов.

Боярин тихо приказал:

— Проведай, Ефим — кому тут плаха?

Дьяк от шутки господина с веселым лицом полез в толпу и, вернувшись, сообщил:

— Женятся боярин! шарпальники московских попов не любят и крутятся к лавке лицом, да по гузну дубцом...

— То, забавляешься ты! а как по ихнему уставу?

— Стоят, народу поклоны бьют, потом невесту бьют!

— Ты сказывай правду!

— А вот их ведут! проберемся ближе, узрим да услышим, не с пуста мы уши да око государево...

— Держи язык, кто мы! Крамари мы... не напрасно разбойник тако величал нас..

— Ближе, еще боярин — вон молодые... На возвышение с образом в руках, прикрытых полотенцем, в синем новом кафтане, без шапки вошел черноволосый Фрол Разин. Следом за ним два видока (свидетели), держа за руки один жениха, другой невесту, вошли на помост, поклонились народу. Фрол с образом отошел в глубь не кланяясь. Видоки каждый на свою сторону отошли, встали на передних углах возвышения

Жених взял невесту за руку, еще оба поклонились народу.

На Степане Разине белый атласный кафтан с перехватом, по перехвату кушак голубой шелковый, на кушаке короткий кривой нож в серебряных ножнах, с ручкой из рыбьего зуба— на голове красная шапка с узкой меховой оторочкой. Черные кудри выбивались из-под шапки.

Невеста в коричневом платье, на голове синяя прозрачная повязка, повязка спускалась сзади, ею были перевиты русые косы. •

— Шарпаной на ем кафтан, боярин! московской, становой вираной жемчугами... зашептал Ефим.

— Пошто толкуешь с пуста? Али я покроев кафтана не вижу?

Другой дьяк шепнул:

— Чуют нас, бойтесь...

— Еще дурак, сказал старик,— ни што кому сказываем... он все же опасливо оглянулся и, не видя, кто бы ими занимался, прибавил: палача—ба сюды! помост налажен и сиденью нашему конец-ту!

Ефим начал громко смеяться:

— Пасись дьяк! народ не свой...

Жених на помосте, выставив правую ногу в желтом сафьяном сапоге, взяв шапку в левую руку, стал креститься. Невеста, глядя на церковь, тоже. Потом оба поклонились на все стороны. Жених голосом далеко слышным проговорил:

-- Жена моя, атаманы молодцы, и вы, добрые казаки и люди все вот! Кто не ведает ее имя, тому сказываю — она Олена Микитишна, дочь вдовицы казака Шишенка...

— А ведаешь, ли козак, что батько твой Тимоша ныне помер?

— Мертвого не заживишь, козак! что есть — не поворачивать ведаю смерть и отца жалею, да гулебщику-казаку дома сидеть мало, отойдет свадьба — снесем упокойного, благо он в своем дому, и на могиле над ним голубец справим, по чести

— Женись, козак! Нету время охотнику дома сидеть, слезы ронить.

- Дид древний! во сто лет был...

Жених повернулся к невесте:

— Олена Микитишна! будь жена моя — стану любить и сколь можно хранить тебя и дарить буду!

Разин поклонился невесте в пояс.

— А ты, Степан Тимофеевич! будь моим мужем любимым — и только до тебя я придалась душой, и телом тебе придамся...

Невеста поклонилась жениху в ноги. Потом встали рядом глядя вперед на толпу.

Видок со стороны жениха одернул на ремне черкесскую саблю. Его широкая грудь под синим кафтаном подалась вперед, но он молчал, одергивая черные небольшие усы, поправил под запорожской шапкой густые, как у калмыка, черные волосы и заговорил негромко:

— Атаманы, ясаулы и весь народ! Я Василий Лавреев прозвищем — Васька Ус, казак, ведомый вам — в охотниках хожалый атаманом — даю честное слово свое за жениха Степана Разина, в товарищах ратных ведомого, что буду держать его на правду, чтоб он не обижал жену свою Олену Микитишну, и до вас доводить, ежели не честен с женой будет.

Видок, не кланяясь народу, отошел в глубь помоста.

Кто-то крикнул в толпе на площади:

— Ведомые видоки! через год, а то ближе другому невесту полой закрыть придется...

— Там увидим! — ответил еще голос.

Сухой и крепкий, среднего роста с золотой серьгой — кольцом в левом ухе, поправляя правой рукой короткий нож на шелковом кушаке заговорил невестин видок, и голос его зазвенел на всю площадь неприятным и резким звоном:

— Я Сергей Тарануха! от бельма в глазу званный — Сережко кривой, в охотниках хожалый с малых лет — мою саблю нюхали кизылбаши, турчин, татарва и кайдатцкие горцы — ведаю невесту Олену Микитишну честной девкой и буду скачивать без лжи вам, атаманы, народ весь и мужу ее Степану Тимофеевичу, что усмотрю худые дела за ей — не скрою!

Одернув полу красного сперехватом кафтана, видок отошел.

— Разойдутся — суди, кто худ, кто хорош!

— Ладу не будет — не нам судить!

— А ну цолуйтесь, молодые, да чествуйте народ водкой!

Жених с невестой отступили. На помост бойко вошла старая казачка в плахте, в белой рубахе — в морщинистых руках она держала рогатую кикю, расшитую по розовому желтыми смазнями ¹⁾, с белым бисером. Старая поклонилась жениху, невесту поцеловала в губы и тут же сняла ловко и быстро с головы дочери повязку, скрутила в узел косы и, обнажив шею и уши молодой, прикрыла косы новым убором.

Старая, переменяя убор на голове дочери, говорила громко:

— Уши отомкнула тебе, чтоб мужа слышать! волосы подбираю, чтоб не мотали, хозяйству не мешали — люби мужа, Оленушка!

Поклонилась молодому в ноги:

— А ты, Степанушко! люби дочь мою... в строгости держи и не греши, коли что худое скажут...

— Буду любить, Анна Андреевна!

В красном бархатном, московском кафтане со стоячим козырем, расшитом жемчугом и золотом, на помост медленно и степенно вошел сам войсковой атаман. Фрол передал атаману образ. Молодые поклонились в пояс Корнею Яковлеву и образ поцеловали.

Атаман сказал:

— Буду я вам, Степан и Олена, вместо отца вашего Тимофея Разина — и нынче прошу к посаженному и хрестному отцу в дом свадьбу пировать! Передав образ Фролу, атаман повернулся к народу и крикнул громко:

— Пир на пир живым, а мертвым память вечная! вчера пировали атаманы молодцы — дела делали, нынче прошу радость делить с моим хрестником, хрестницей и со мной, их батьком!

Площадь радостно и буйно загудела.

— Вот те тут все боярин! — сказал Ефим.

Зазвонил жидко старый колокол церкви Ивана Воина. Боярин снял мурмолку, дьяки скинули шапки. Младший дьяк крестясь думал:

— Ужели старый в церковь пойдет, как пес — я жрать хочу...

Боярин по опустевшей площади пошел к церкви.

¹⁾ Смазны — шлифованное стекло с цветной подкладкой.

Жгучий день с белой от света водой реки — ночью затянуло как будто бы стеклянной занавеской, тени от домов и деревьев легли по белому песку хрустально зеленоватые, краски одежд: кафтанов, летних кожухов и пестрой плахты стали мутно-тусклые. Давно уж большая луна стоит на водянисто-зеленоватом небе. Много огней в доме атамана — из отодвинутых рам из окон плывет дым и пар. Пьяные казаки, казачки, мужики в лаптях и свитках выходят, шатаясь и тычась, на крыльцо атаманской избы, с крыльца кто ползет, кто идет пригнувшись на двор, а бабы, девки, подпив, собрались под окнами в большой круг, начинают высмеивать невесту:

— Зачинай односумка!

— Тутот-ка можно!

Одна запекает:

«Как у нас-то на свадьбе.

Хмель да дуда-а!

Ду, ду, ду...

«Хмель говорит, — я с ума всех сведу!

Дубова бочечка, бочечка, бочечка...

Верчена в ей дырочка, дырочка!

Кто вертел, тот потел, да потел,

Стенько, ты не потел, да свое проглядел!

Ду, ду, ду, ду, ду, ду!

— Стенько, а невеста не придалась: Стенько, гони сюда ее матку — хомут ей наложим, хитрой бабе!

Зачинай односумка-а ты!

— Що вы, бисовы дочки, по-московицки граете?

— Ой, а московицко жениху любо-о!

— Гей у Дону камышинка заломана.

Старым дидом девка зацолована!

ду, ду, ду, ду, ду, ду,

— Дубова бочечка, бочечка,

Верчена в ей дырочка, дырочка-а!

До основания вздрогнуло крыльцо атаманского дома. На крыльце, топнув ногой, стоял жених, кудри закрывали половину лица — на широких плечах светился в лунном отсвете атласный, белый кафтан, залитый на широкой груди красным, хмельным медом. В правой руке Разина пистолет:

— Гей, жонки, и тот, кто позорит мою молодую жену!

Толпа женщин хлынула за ворота атаманского двора, но и дальние слышали страшный голос:

— Того, кто кричит лжу — я зову на расправу!

Он поднял опущенную голову, мотнул ею — лицо бледно, над высоким лбом дыбом встали черные кудри — гдеж вы, лгуны?

По двору атамана бродили только пьяные, и Разину никто не отвечал. Недалеко от крыльца плясала старуха в рваной плахте. Седые жидкие волосы выбивались из-под платя, закрывали ей лицо — она пела:

Не бийся, матышко, не бийся...
В червонные чоботы обуяся,
Щоб твои пиджакы брежчали,
Щоб твои вороги мовчали!

Щоб твои вороги мовчали!

Помолчав Разин сказал:

Не таскать вам, жонки, по городу брачную рубашку Олены... Кто придет за рубашкой, того окручу мешком и в воду, как пса! Что старики любят, то мы кончили любить!

Хмуρο оглянув двор, Разин ушел в светлицу.

— Уж знать, что кончили женихи, бывало, невесты не пили, не ели, а они пьют и едят! — крикнул кто-то.

За полночь было, с зажженными свечами в фонарях с музыкантами из шести человек — все играли на дудках. Атаман Корней без шапки, пьяный и грузный, в бархатном кожане с кованым кружевом по подолу, в узорчатых зеленого сафьяна сапогах провожал до дому молодых. Степан, обняв за талию свою невесту в голубой кортели, с золоченым обручем по лбу и волосам, шагал твердо, глядел перед собой и молчал. Молодая склоняла ему на широкое плечо детскую голову с большими глазами и иногда тихо спрашивала:

— Стенько — любишь ли меня?

Разин молчал.

— Стенько, ты слышишь?

— Слышу, Олена... молчи — люблю!

На крыльце хаты крестника атаман поцеловал обоих в губы, сказал:

— Любитесь, дети! ночь хорошая — ночь... Эх! — и ушел... дома всю ночь пил вино.

VI.

Из хаты, где живет боярин, старые дьяки посланы с поручениями. Даже татарченоч, часто прислуживающий боярину, отослан служить на пиру у атамана.

Окна светлицы плотно задвинуты. Дома — двое: боярин и молодой дьяк Ефим. Перед дьяком на столе длинная клееная из листов бумага, в руке для письма гусиное перо. Откинув на время спесь, боярин сидит рядом с дьяком на скамье, оббитой шкурой черного медведя. На пустом столе горят свечи.

Боярин думает. Дьяк молчит.

Старик оглянул окна в хате.

— Ино ладно, что окошки пузырем крыты — шарпальники вишь разумнее в деле сем наших московских, те слюды, а нынче удумали многие стеклянные ставить, рубят дырѣ в стенах мало не в аршин и обрамление к стеклам тонявое приправляют, а все не к месту.

— Правда, боярин! то не ладно: велики рубить скошки, — тихо согласился дьяк.

— Вот я надумал — пиши!

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея великия и малые белые Росии самодержцу холоп твой Пафнютко Васильев сын Киврин челом бьет! В нонешнем, государь, году августа 5-го дня по указу твоему приехал я, государь, сюда и сел у круга войска Донеского на корм к Корнейке Ходневу-Яковлеву отаману — все ли списал толково?

— До единой буки — боярин!

— А как, государь, сказался я и взялся доводить до тебя про все и вся, то довожу без замолчанья: город донской черкасы, государь, не мал, а на острову, округ полисад, да порос мохом и инде снизился до земли. башни и роскаты кои ветхи, а кои покляпились... в городе делены станицы, а курени козацки в ряд и промежь огороды — сады... Майдан, государь, широк и на майдану церква святого Ивана Воина, и мало не развалилась, а строят, государь, от имени твоего кирпичную, да кладут мешкотно, а образы в церкви у них скудны и не едина образа нет на золотной доске — все на красках. В церкви, государь, козаки не усердны, ходят, как на торгу.

Пушек на башнях немного и думно мне, что донеские козаки их пропили, ибо они великие бражники, да им от того страху мало, что пушек недочет — никто на их город не полезет, кому, государь, придет охота смертная в осиное гнездо лиз и браду пхать? а на майдану и посторонь сего лари с разны товары, торгуют парчей и ясырем, иманым в Терках и у калмыки, а торг, государь, ведут кизыбашшы, да армяна. Многи шинки, а стоят в шинках жидовя с греком. И как указано, государь, где быти и волю вызволять твоего светлого имени... — ладно ли слово, дьяк?

— Какое, боярин?

— Вызволять?

— Мекаю я, лучше — вершить, боярин!

— То слово лучше — пиши! вершить и как указано мне от тебя, великий государь, и сыскных дел комнатной государевой думы, — сыскать заводчика солейного бунта, и я сыскал, сидя ту, и весь их воровской корень откудова исшел, сыскал же. А корень тот, государь, исшел от прахотного стариченка вора Тимошки Рази, почетна и ведома у них во многих воровских делах; и стариченка того, вора, Тимошку я, государь, убрал и воровской его язык заклепал, а о том, став на светлые твои очи не утая, обскажу по ряду. — То все исписал!

— Все ладно, боярин!

— И еще довожу и думно мне, что наша ту, кормильца поильца Ходнева-Яковлева я бы самого взяв держал под крепким караулом — да силы на то не имею, — написал?

— Про то, про все писано, боярин!

— С воеводой сноситься далеко, а ратного уряду опричь беглых холопишек и смердов, кои в городишке водятся, в сих местах надти не можно, иные и можны, да веру дать им опасно... А что, государь, Корнейку отамана я сужу сильно, то сие тако: оный Корнейко примает, государь, купчин с Воронежа и купчины те воруют, государь, противу имени твоего: наезжают в черкасской с зельем и свинцом, а та справа зеленая идет по рукам гулебщиков — охотников на воровские дела на Волгу и на море, да и старые козаки, стакнувшись с самим отаманом, ворах многую справу дают и воровской прибыток дуванят заедино с ворами, да оный же Корнейка, государь, има

с Москвы от сестры государыни и великой княгини боярыни Морозовой ковер, шитой к церкви, а щит на ковре „страшный суд“ и тот ковер, государь, опялен у Корнейки в поганом месте, где всякие людишки томашатся, игры играют и где он пиры дает в светлице... А округ нас, государь, едины лишь шарпальники донеские, и хоша имя твое, государь, при нас поминают с почетом, да и непристойных речей говорят немало, а кичатся, что никому же послушны — ну, дьяче?

— Еще мало — и все, боярин!

— Заводчика, государь, сыскали плотно — оный Стенька сын Рази в сих местех свой, среди лихих людей самой лихой и пакостной, а Корнейке отаману родня есть и нынче оженился ежели сие мочно свадьбой звать, а тако: оповестил на майдану при стечении многого люда себя с девкой живущих в блуде... по-нашему сие беззаконие, сысканное без пытки, после чего таковых на Москве по торгам водят нагих и кнутом бьют...

Боярин долго молчал. Дьяк сказал:

— Писано о всем том, боярин!

— Не спеши — пиши, дьяк, толком — не к месту бук да ерей не ставь, ижиц — знаю я, много лепить — и мне смеялсь сколь... за таковое, мотри, мой дубец по тебе пойдет, а время приспее и заплечному над тобой потрудиться укажу...

— Были сшибки, боярин! нынче я письмо познал много...

— Не бахваль! Взять того заводчика Стеньку, государь, силом не можно, а думно мне, возьму я его через Корнейку отомана — я твой холоп, государь, улещаю онного атамана посулами: „Мы де тебя возведем в почести“, и думно мне, государь, что сей Корнейка помнется на нас и вора того Стеньку Разю пошлет на Москву в станичниках, а на Москве, великий государь, твой над ним суд и расправа будет... Прости, государь, твоего холопа, что молвлю слово совестливое; тако брать, государь, как берут нынче на Пскове воров, что свейскую величество королеву лаяли, не годитца — не крепко и людьми убытошно, а как я прибираюсь тише и много пригоднее, — не осуди, государь, что якобы бахвалюсь. Я только так к слову сие о псковских ворах молвил. А еще, государь,

из сюда довожу, что землю сии козаки пашут мало, а кто из шарпальников належно пахотной, того выбивают из сих мест вон... а почто у них такое детца, то слышал я — воеводу и помещиков боятца, только в Украине, там много пахотных... Еще кое-что припишем, дьяк, все ли по ряду?

— Все, боярин!

— Не оглядел я тебя, как писать зачали — каки на тебе портки?

— То все ведаю — боярин, за письмом меня пот долит, так я на колешки бархатцы стелил ветки...

— Смекнул? Ино крашенинными портками всю бы грамоту замарал! Сказывать могу и не бестолково выходит, а вот подпишусь с трудом... мы, дьяк, ужо зачнем государю писать не хуже Афоньки Нашоки... Нынче же наладить надо Сеньку — дьяка... бородат, ступью крепок и черевист мало... пушай до Москвы милостыней идет — с виду голец с батошкой по каличъему доберетца... надо его ужо обрядить в сукман да ступни и в тай переправить через реку... вожа ему не надо — дорогу ведает, да еще, Ефим, пиши, малу грамоту к воеводам, чтоб не держали ряженого дьяка.

— Так, боярин, всего лучше твою грамоту довести государю...

За окном зазвенели детские голоса. Боярин сказал:

— Дьяк! кто там воет?

Ефим спешно кинулся и, приоткрыв окно, взглянул.

— Казацки робята, боярин! Вишь с поля идут, рожни цапапаны, не в первой, ежедень в бои играют.

Голоса приближались, задорно пели:

Дунай, Дунай, Дунай
Син Иванович Дунай:
Ты гуляй козак — гуляй
Воевод лихих не знай!...
Гей, Дунай, Дунай, Дунай!

Боярин, вытянув на столе сухую, желтую ладонь, сжал ее в кулак:

— У батек переняли песню? Ужо шарпальники землю и снины вам распашем и воевод лихих посадим! а ну, дьяк, перечти-ка грамоту да подпишусь и припечатаем...

VII.

Разин сидит в шинке против распахнутой настежь двери. Кудри упали на лицо... За тем же широким, черным от многих питий столом сидят молодые казаки — Васька Ус и с бледным лицом, с шрамом на левой скуле худощавый, костистый Сережка кривой. Мертвый под бельмом глаз прищурен, правый остро и жадно глядит, блестит в ухе кольцо золотой серьги. Пьют крепкий мед из смоляной бочки, что у шинкаря за стойкой — черноволосый грек зорко сторожит казацкие деньги; ждет, когда крикнут:

— Подавай!

Против дверей вдали палисад городской стены ровен с землей, белая полоса берега Дона пылит дымной пылью — серебряной парчей светится Дон, ряд боевых челнов застыл, чернея четко, на рябоватом блеске воды:

Купчины с Воронежа дадут пороху, свинцу! — сказал Ус.

— А тут, они в городе?

— У сородичей, в скородумовой, есть все!

— А у меня, братья, сыщется боярское узорочье.

Разин поднял руку с медным кубком и опустил, затрещала столовая доска, вздрогнули стены от голоса:

— Соленой, меду-у!

Грек выскочил из-за стойки, поставил, поклонившись, железный кувшин на стол:

— Менгун, казаки, менгун...

— Сатана! даром не можно?

Разин кинул на стол талер.

— Узорочье есть, то сказывать нече — челны набьем свинцом и гулять!

— Руки есть, головы на плечах!

— Пьем, братья! ишь сколь серебра, на Дону простору хочется!

— Братья мы, Степан! Руку, дай руку! — жилистая рука с длинными узловатыми пальцами протянулась через стол. Разин скрыл ее, сжав. Сверху легла широкая лапа с короткими, жесткими пальцами Васьки Уса:

— А тож я, брат, вам козаки!

— Гей, допивай!

— Допьем, Степанушко!

— А ты, Степан, опасись Корнея — не спуста отец твой Тимоша не любил его...

— Сережко! знаю я, все знаю...

— Нынче Степан, — тебя в атаманы?

— Мочно! иду...

Мимо дверей всех шинков прошел казак глашатай, бивший палкой по котлу-литавре, висевшей на груди на кушаке:

— Гей, гей — козаки! к станичной батько кличет...

— Зряще ходим мы сколь дней — круче решить надо, а то атаман опятит?

— Не опятит, Серега, гуляем!...

Встали, пошли, тяжелые трое...

* * *

Молодуха Олена, повязав голову синим платом из камки, косы, отливающие золотом, наглухо скрыла — на широких бедрах новая плахта, ходит за мужем, пристаёт, в глаза заглядывает:

— Ой, Стенько сколь ден душа болит, что умыслил, скажи.

Разин в черном бархатном кафтане нараспашку, под кафтаном узкий до колен, шелковый зипун, на голове красная шапка — угрюмые глаза уперлись вдаль.

Старые казаки, взглядывая на шапку Разина, ворчат:

— Матерой низовик, а шапка запорожская — не гоже такое!

На площади много хмельных, голоса шумны и спорны:

— Стенько, уж с молодой приелось жареное, аль из моря соленого захотел?

— Хороша жена! да казаку не дома сидеть... Олена? она у меня — эх!

Степан слегка хлопает рукой жену по мягкой спине и хмурится — мелькнуло в голове коротко, но ясно другое лицо — так же трепал на Москве из земли взятую — ну шапка!

Запорожская шапка высоко летит от сильной руки в голубую высь:

— Слышьте, козаки молодцы?!

— Слышим!

— Кто за мной на Волгу? Насаду рыбу лови-и-ть!

— Большая рыба, козак!

— Тыщи пуд!

Полетели шапки вверх: Сережкина баранья с красным верхом, первая, вторая запорожская — Васьки Уса.

— Эх, лети моя!

— Моя!

— А наша что, хуже? — лети.

— И я!

-- Чти козаки, атаманы сколь шапок, столь охотников.

Звеня литаврой в станичную избу, сплошадь прошел глашатай

— Гей козаки! атаман иде...

Из приземистой хаты, станичной избы с широким втоптан-ным в землю крыльцом козаки вынесли бунчук -- держи древко с золоченым шариком, с конским хвостом наверху -- старый есаул күсей, а за ним еще есаулы и писарь. Все казаки и есаулы, как в поход одеты в темные кожухи, только атаман Корней в красном скорлатном кафтане, по красному верху его бараньей шапки из золоченых лент -- крест. В руках атамана знак его власти (брусь), топориче брусья обволочено черным, перевито тянутым серебром. Все стали близ церкви в круг, сняв шапки, пере рестились. Снял и атаман шапку, входя в середину круга, перекрестился. Когда атаман снял шапку, блеснула в ухе белая серьга, а черная коса с проседью легла на его правое плечо.

Кинув наземь шапки, есаулы положили перед атаманом бунчук и несколько раз поклонились атаману в пояс -- шапки подняли, надели, атаман тоже. Корней Яковлев потрянул головой, сказал громко:

— Зовите, атаманы молодцы, тех козаков, что самовольством вот уж не один день, не спрося круга, собираются в гульбу... круг стал шире -- те казаки, что кидали шапки, встали перед атаманом.

Атаман, опустив брусь чеканом к земле, блеснув серьгой громко спросил, водя глазами по толпе:

— А знаете ли, молодняк, козаки, что в станичной избе есть колодки, чеппи, коза, и добрая плеть?

— Знаем, батько!

— Кого в атаманы взяли для гульбы?

— Стеньку Разю -- хрестника твоего!

— А ведомо ли вам казаки, что круг тайно постановил?

— Нет, батько!

— Так ведайте. На тайном кругу Степан Разин взят старшиной в зимовую станицу на Москву есаулом — почесть не малая ему и загодя хрестник поедет привезет от царя на всю реку жалованье, да о вестях наказать, что писали к нам воеводы из Астрахани — «куды будут походы царя крымского с его ратью?», о чем через лазутчиков мы накрепко проводали, а еще узнать в Москве — время ли от нас чинить турчину помещку или закинуть? О том сами мы неведомы, а по тому, я, атаман, приказую вам молодняк забыть о моем хрестнике, и так как вы по младости неведомы тайных дел круга, то вины ваши отдаю вам без тюремного вязения и не прещу козаки гулять — из стари так ведецца, не от меня, что козак гулебщик... и ведаю — не спущу вас, самовольством уйдете, посему берите иного атамана — гуляйте, в горы, в море — куда душа лежит...

— Добро, батько! Благодарствуем.

— Берем Сережку!

— Кроме хрестника — не прещу! Ты же, Степан, не ослушайся круга, круг не напрасно под бунчук вышел: иди домой и исподволь налаживай харч, воз, и кони — падет снег, старшина позовет.

Разин молча махнул шапкой и, выйдя из круга, обнял жену.

— Домой, Олена.

Олена сорвала плат с головы, махала им, поворачивая радостное лицо в сторону атамана. Атаман пошел в станичную избу, только на крыльце отдав брусь есаулам, снял шапку и в ответ на приветствие молодухи помахал:

— Иди, жонка! продали меня Москве, а ты крамарей приветишь.

— Ой, Стенько! сколь деньков с тобой. ... спасибо Корнею.

— Женстя душа и петли рада! Плюнул, беспечно запел: «Козаки гуляют; да стрелою каленой, за Яик пушают»...

Опустил голову и скрипя зубами скомкал красную шапку в руке:

— Дешево не купят Разю!

— Ой, Стенько! боюсь, не скрегчи зубом... ты и во сне скрегчишь...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Москва Боярская.

Светловолосая боярыня сорвала с головы дорогую, шитую жемчугами с золотом кичу, бросила на лавку.

— Ну, девки, кто муж?

— Тебе мужем быть, боярыня!

— Муж бьет, а тебя кто бить может? Ты муж...

С поклоном вошла сенная привратница:

— Там, боярыня Анна Ильинишна, мирской, худой человек тебя просит.

— Чернцов примаю... иным закажи ходить ко мне.

— Был де я в чернцах — ведает меня боярыня... слезно молит.

— Кто такой? — веда!

Привратница ввела худого, тощего человека в рваном кафтане в валеных опорках. Человек у порога осел на пол, завыл:

— Сгноили, матушка княгиня! Лик человеческий во мне сгноили, заступись.

— Кто тебя в обиде держит, Василий!

— По патриаршу слову — отдали боярину головой в выслугу рухляди!

— Какой рухляди?

— Ой милостивая! Ни душой, ни телом не виноват, а вот... поставил вишь на наше подворье боярин Квашнин сундук с печатями, в сундуке-то деньги были -- тыща рублей сказывает, да шапка бархатная с дужкой, с петелью большой жемчужной, да ожерелье с путвицы золотными с камением и все то с сундука покрали, а я без грамоты, мужик просто — едино,

что платье монастырско... и не мог я к боярину вязаться — оглядеть дать, что там под печатями, цело ли?.. и ни души, ни телом, а по указу патриарха содрали с меня черное, окрутили во вретисе, выдали боярину, а Квашин Иван-от Петрович озлясь много, что не по ево нраву суд решил, что не можно ему с монастыря усудить тое деньги ево жрухледи — говорит: «Буду я на тебе, сколь жив ты, старой чорт, воду возить с Яузы, кормить де не стану — головой дам, что хочу, творю по тебе!» и возят, матушка, на мне замест клячи не воду, а навоз — в заходе ямы и стольчаки чишу и всякую черную работу — пристанешь, бьют батоги, не кормят, не обувают... вишь на мне уляди ветхи, так и те, из жалости купец гостинные сотни Еремов дал, что ряды у Варварских ворот... А Квашин боярин, не оправь его душу, как бывает хмелен, в шумстве, а бывает с ним такое почесть ежедень, кличет меня, велит рядить в скоморошью харю, рогатую, поганую, велит мне играть ему похабные песни, да ползучи лаять псом, а голосу мово не станет — пинками в ребра бьет и хребет ломит чем ни попади... Боярыня же ево Иванова, Дарья Васильевна, пьяная, в домовою байны, что у них во дворе у хмельника — раз, два в неделю, а и более, лежит на полке, девки ее парят, да зовет меня тож парить ее, а в байны напотдавано, аж стены трещат, а я и малого банного духу не несу, с ног меня валит от слабости, сердце заходитца и как полоумный я тогда деюсь: «Парь, сволочь! игумна парил — парь! я повыше буду», и паришь, а она экая, что гора мясная... и тут же в байны все неминуемое в бадью чинит и тайные уды именует по мужичьи, а воду таскаешь до того, покуда не падешь, а падешь в байны ли в предбаннике, она из тое бадьи велит меня окатить и кричит криком матерне — «Вот-те, голец, благодать духа свята!» А вретисе не велит скидать, паришь ее в одежке... и бредешь, не чуя ни ног, ни главы после всего того в угол какой темной, дрожишь дрожмя, весь зловонной да пакостной, света божья не рад и не чаешь конца аду сему... Хоть ты, светлая княгинюшка, умиловистись над стариком.

— Не княгиня — боярыня я, Василий! но как я вступлюсь — сам знаешь, — противу царя да патриарха сил нет.

-- Ой, матушка, княгинюшка! Попроси боярина Бориса Ивановича — пушай Квашнина боярина уговорит: пошто вымаст из меня душу? Пошто гноит во мне лик человеческий.

- Не забуду, Василий, иди — скажу Борису Ивановичу.

... Земно и слезно молю, матушка!

Старик ушел.

— Ну, девки, начинай...

— А вот-те скамья, боярыня, ляжь-ко, ручки сложи.

Боярыня легла на скамью, крытую ковром, к правой ее руке девки положили плетъ. Встали кругом скамьи, запели:

— Мой-то нов терех
Растворен стоит!
Мой-от старой муж
Во гробу лежит...
Мой-от старой муж
Из гроба встает,
Из гроба встает
Жонку бить почнет...
Стару мужу, я
Не корилася...

— Вставай, боярыня! Бей плеткой жену.

В горенку вошла мамка Морозовой, крепкая старуха, с хитрыми, зоркими глазами. Она в кике с крупным бисером, в коричневом, суконном опашне, расшитом по подолу светлыми шелками.

Стуча клюкой, старуха кинулась на девок:

— Курвы! Трясуха вас бей, ужо, как пожалует, возьмет боярин на съезжую сдаст — там не так плетью-то нахлещут, а ладом, да толком... и тебе, матушка боярыня, в великой стыд есть, дражнить боярина Бориса-то Иваныча. Холит, слушает во всем тебя — налюбоваться не знает как — еще, прости бог, скоро тебе киоту закажет, да молиться тебе зачнет. — Пуше ты ему самого патриарха... а кто тебе дарит листы фряжские, говорящих птиц заморских и узорочья? Ты ж, Ильинишна, и мало не уважишь боярина, ишь игру затеяла — ведаешь, что боярин — зато и сесть стал, что печалуется как лучше угодить тебе?.. Ведаешь, что слова о старом муже не терпит, а как разойдется в твой терем, да послушает, да озлится — тогда что? Мне гроза — тебе молонья? — Старуха замахала клюкой и снова кинулась на девок:

— Пошли отсель, хохотухи, потаскухи!

— Ну, мамка — не играем боле, не гони их, а вот пришла. так сказку скажи, мы и утихнем...

Сказку — ту можно... Очегю, мати Ильинишна, сказку не сказать?..

Мамка с помощью девок залезла на изразцовую лежанку.

— Скамлю дайте!

Девки подставили скамью, старуха на скамью плотно устала ноги склонила голову опершись подбородком на клюку, заговорила:

— Жил это, да был леновой мужик и все-то у него из рук ползло, никакая работа толком не ладилась... Жил худо и вдово — бабы замуж за него не шли... была у того мужика завсегда одна присказка: «Бог даст — в окно подаст!» Спит это леновой мужики слышит во сне говорит ему голос: «Ставай, Фома! Иди за поле, рой под дубом на холму — клад выроешь»... Проснулся леновой мужик, почесался, на другой бок перекатился и опять храп по храп. Сызнова чует тот же голос: «Ставай Фома, иди, рой!» Сел мужик на кровати, а спать ему любое дело... клонит ко сну, за окном и заря еще не брезжит, второй кочет полуночь пропел.

«— Пошто я эку рань? Лег и опять спит, а голос это в третий раз зовет, да будто кто мужика в брюхо пхнул. Встал таки леновой, ступни обул, завязал оборки, в сенях это лопату нашарил и с великой ленью на крыльцо выбрался, а у крыльца это стоит купчина корыстной — всю-то ночь сердешной маялся, не спал, ходил, да от лихих людей это анбары свои караулил, и спрашивает ленового:

«— Пошто ты, Фома, экую рань поднялся?

«— Да вот, сказывает леновой, сон приврался трижды — «Ставай, поди рой на холму на запольи — клад», а мне до смерти не охота идтить... Вишь сон, кабы человек какой сказал про то, иное дело!

«— Давай схожу! Озяб, покопаю согреюсь: говорит купчина, а сам это на зарю глядит, думает: «Скоро свет? Лихих людей не опасно»...

«Отдал мужик купцу лопату, сам это в избу и спать. Купчина холм сыскал, дуб нагледел — рыл да рыл и вырыл дохлую собаку...

«Озлился это купчина:

«— Где так разума нет, а над почетными людьми смеяться рад? Так я же тебе! И поволок, моя королева, заморская мати, тое пропадужину в деревню, волокет, а в уме держит:

«Тяжелущая, трясуха ее бей!» Приволок это купчина под окошко леновому Фоме, да за хвост и кинул дохлое, а оконце над землей невысоко—угодил в окно—раму вышиб и думает:

«На ж тебе леновой чорт!» Пала собака на избу и вся на золото взялась—от стука скочил это Фома:

«— Не как мене соцкой зачем требует? И видит—лежит по всей избе золото... почесался мужик, глаза протер—сказал: Значит это,—коли бог даст, то и в окно подаст.»

— Ох мамка! Лживая сказка, а потому лживая, что мало бог подает... ныне же приходил ко мне старик Василий, боярину Квашнину патриарх его головой дал, а боярин довел старика, что еле стоит и, думаешь, не молился тот Василий богу и угодникам всяким, да что-то ему не подает бог?

— Ты, мати Ильинишна, королева моя, пошто такое при девках рассказываешь? А ну как они сдурна кому твои слова переврут, да их поволокут, а они повинятся: «От боярыни де тое речи слышали». Патриарх да попы народ привязчивый, за веру не одного человека в гроб уклали...

— Ништо со мной будет, мамка, а вот скушно мне! До слез скушно...

— Ой, о бже королева заморская мати, не кощунь так!— При чем тут бог? Кому что сужено, то и корыстной купчина не уволокет, а к дому приволокет... старику же тому видно планида, в беде быть.—Не любит народ монахов—ныне еще жалобились государю: «Народ де нас палками кидает, когда идем круг монастыря с крестом с хоругвью», а кого народ не любит, тот и богу не угоден.

— Не любит, мамка, народ воеводу, бояр не любит—значит и бог не любит их?

— Ах, мати Ильинишна! Запутала ты мою старую голову... воеводы, бояре царю служат, монахи богу, а что деют? На виду пост постят, в тай творят блуд, а корыстны, а народ в крепость к монастырям имают, а деньги в рост дают—и давно ли то время ушло, когда монахи-чернцы шумство великое

водили, на ярмонках водкой торговали? Видно тому Василию так и надо!..

— Да, мамка! Кабы тот старик игумном был? — А то простой мужик, неграмотной, от воеводных потуг может и в монастырь шел, а сказка твоя ленивого хвалит — ленивой и сказку уклал.

— Того не ведаю, Ильинишна! Что придумалось, то и сказалось...

— И невеселая... лучше поведай-ка, что на Москве слышала?

— Ой, уж вот, моя королевна, нашла веселого в Москве? Скажу только, слушай: перво—питухи с кабаков шли, да на бояр грозились, а их за то сыщики Квашнина боярина в земской волокли батоги бить... да жонке блудной, Улькой звать, голову ссекли, родушего своего удушила; Москва она завсегда такая—что в ей веселого? В Кисловке царицын двор — и трое ворота, у их решоточные сторожи, а кабатчика, да питухов сыскали, да вдову Дашку, царицыну постельницу изловили — поди и ты ее, Ильинишна, знавала? Ера такая развеселая, говорливая...

— Знала Дарью—жаль, что с ней?

— Ширинку государеву заговаривала будто и царицын след вымала...

— Мучат людей по наговорам пустым—не верю я, мамка, в порчу!

— В порчу не веришь? Ой ты, королевна писаная, порчалихое дело! Ну еще про веселую Москву тебе скажу: в слободе что от Арбатских ворот до Никитских, все исцы перерыли, сыскались там грабежники многи, а ставили воры шарпанное на пустой немецкой двор, что стоит за Никитскими вороты, а грабежникам подводчики были: решеточный сторож с Арбата, да пристав судного приказа—подводили на тех, кого грабить... кнутобойство им великое ныне до по битой спине веники огняные парят...

— Ой, мамка! Как много этого кнутобойства!... Одного худого сышут, — десяток невинных убьют...

— И мати Ильинишна, а как по-твоему—воров надо миловать? Сытой их медовой поить, да по головке гладить?

— Говорила я Борису Ивановичу — худо это — бить: а он мне — «берем меру из-за моря — там людей пытаются и жгут покрепче нашего...» а все от того худо у нас, что ничего мы не знаем ни о солнце, ни о небе, ни о вере чужой и народе не нашем — попы нам знать о том не дают... скажи послов каких не видали ли?

— Нету новых, мати Ильинишна. Немчины так те давно живут, а кои из них нынче в кизылбаши поехали, да тут кой-день донеские казаки станишников своих прислали к государю за жалованьем, за хлебом и справом всяким... да стой-ко, мати Ильинишна! — Давно я тебе сказать ладила, а все с языка увертывалось: народ мол — есть де с теми станишниками тот, что в солейном бунте был и шарпал тогда сколько добра твоего, морозовского, а был он в атаманах... Вот бы проведать ладом те речи, поразузнать людей, которые приметы его помнят, а ты бы, мать, словечко шепнула боярину Борису-то Иванычу, а уж боярин сыщет через Квашнина, Ивана Петровича, тот в земском сидит... коли заводчик тут, а сыщут его, то честь-то какая тебе, моя королевна заморская, будет? Первая провела! Сам бы царь-государь тебя за тое дело возвеличил.

— Ты, мамка, мекаешь, что для поклепов людей на Москве мало? Думаешь, что Олены там недостает? Говорили, тот, что в солейном был атаман?

— Тот, моя королевна, тот!

— Вы, девки, подите к себе! Играть сегодня не станем.

Девки ушли. Боярыня сама заперла за ними дверь в светлицу, вернулась, села на скамью к ногам мамки, опустила голову.

— Голову вешаешь и очи мутны, уж не сглазил ли тебя кто, моя Ильинишна — скажи-ко?

— Пустое это, не верю я в призор, мамка?

— Призор-от пустое? Нет голубушка. Худой глаз — спаси бог.

— Не любит меня никто, мамка! Душно, скучно в тереме... на волю бы куда... хоть с каликами, что ли подти?

— Да ты с чего это, моя королевна? Что ты Ильинишна мать? Да нешто мало тебе любви, ласки от боярина Бориса то?

— Горючее у меня сердце, мамка, как смола на огне сжигает меня мое сердце, а стар ведь он муж...

— Ты сгоряча, дитянько, не скажи ему такого — спаси бог! любит он тебя, собой не дорожит, вот как любит! и я тебя люблю... с малых лет люблю... царицу-то Марью мене люблю я... ты мной пестована, байкана — ой, ты! Я за тебя хоть седни помереть готова...

— Живи, мамка! пошто тебе за меня помирать... а вот скажу: — боярыня подняла голову, — говоришь, «Взведи поклеп на казака, что в солейном бунте был?» А мне вот его охота видеть здесь у себя в светлице — спросить его обо всем самого...

— Да ты сотвори, боярыня, Иисову молитву — змия-аспида зреть своим глазом хошь, как он убьет тебя? — ведь он ведомый душегуб, ежели он тот атаман солейной, станишник, шарпальник... огонь заразительный, болезнь лютая — трясуха его бей.

— Чуй, мамка! кабы не тот казак, меня бы тогда убили. он не дал... Не убили бы, спалили терем... я же была недвижима... теперь мне памятны его слова: «Спи — не тронут! не спалят». Больна я была, но парчу, каменья дорогие и лица видела ясно, яснее, чем ныне вижу... глаза его помню — страшные глаза...

— Как же ему, боярыня, Ильинишна, тебя было не сохранить? Такое затеял грабежник! Еще бы рухло боярское расхитили, да еще бы и тебя хворую кончили...

— Кто грабит, мамка, тот не думает и не боится — в толпе грабителей — одного виноватого нет, вся толпа виновата и не виновата... как хошь делай...

Боярыня снова уронила голову на грудь. Старухи показались, что она плачет.

— Ой, что ты Ильинишна? уж не привезли ли тебя колдовку Акульку? Может наговор какой? вот уж истинно, что и золото тусклеет и жемчуг бусеет порой...

— Хочу глянуть на него! может быть расскажет мне такое, что я развеселюсь, успокоюсь — ведь он не мы? Он вольной — в горах, в море бывал, в степи без конца-края... горы выше облаков! море — океан неведомый — степь — целый свет голубой да зеленой и всякая там тварь живет, малая и большая... барбы полосатые... в облаках орлы, крылы сажень, а клюв что железной.

Боярыня порывисто встала, начала ходить по светлице.

— Приведи его, мамка! сыщи... хочу его видеть... подарю тебе, что попросишь и поверю, что жалеешь, любишь меня. Хоть ты люби меня... девки те я вижу — прелестничают. кланяются, а боятся меня и не любят.

— Ой, ты королева моя! бессмысленное говоришь, а как проведает про то, что ты через меня в светлицу водила шарпальника Борис-то Иванович? а что проведает, то скажу тебе, все ему будет сказано. и что меж тобой и разбойником говорено было: ежели, мать, не пустое народ говорит, что он тот атаман солейного бунта, так ты думаешь бояре без пытки экого оставят? Да ведь век такого не бывало, а как он под кнутом да огнем висеть будет, думаешь не скажет, где у кого был и что с кем говорил? Тогда мы куды денемся?... ну, ты-то, пожалуй, за стеной, боярин муж заступится, а я куды? Страшно ведь на виске жисть без покаяния кинуть! ведь я, что былинка на ветру — одинока и душа от страха улетит. Ведь бьют то? ведь с трех кнутов из человека кровь с головы до пят!

— Я за стеной, сказываешь ты. ты за мной я, — твоя стена! Никого, ничего не боюсь... боюсь сидеть в терему, с тоски пить меды хмельные, шить без толку, без надобы в пях, или по церквам ходить попов да нищих слушать, и то много опостылело душе! Любишь меня, мамка. то иди за меня — сыщи, приведи его скоро!

— Вот я на свою голову глупую нажила беду — вынь да поожь! уматы решилась, Ильинишна... а где ище те казаки живут? может стоят в слободе дальней, ино они казаки, — не мы господские люди... подикось станут они смирнехонько в хоромах сидеть — чай все разбрелись по Москве! Ночь лихих людей не держит, а манит... колоды, решетки в улицах — нипочем, сторожи их боятся... с пистолем, с саблей такого не поволокешь в губную избу, да и сами-то сторожи им потатчики... а где продти-ть нельзя, там лихой человек пустым двором пролезет — сказывали люди... сыщи-ка скоро такого казака... нет, Ильинишна, королева, не спеши, потерпи с эстим свиданьем...

Боярыня топнула ногой.

— Хочу видеть — скоро! хочу! — она прилаживала кикю взятую с лавки на голову, бросила кикю о пол: — чуешь меня, мамка?

— Чую, королевна заморская! Чую, Ильинишна... Смысленного кого налажу за тем змием в ход. Господи прости — вот напасть-то навела себе на голову. а страх на душу старую... ой, мне беда неминуемая — иду, боярыня!

Стуча по полу клюкой. старуха спешно ушла.

II.

Беззвучно, плотно пригнетая к полу ноги в сафьянных сапогах без подковок, вышел из дальних горниц Юрий Долгорукий. В столовой горнице с синими без цветов стенами, между окон у горок с серебром стояли два молодых подручных дворецкого в белых парчевых терликаках. У стола застыл неподвижно сам дворецкий — седой, почтенных лет. На столе много трехсвечных шандалов. Стол голубеет скатертью из камки, концы скатерти шиты серебряными травами с золотыми копытами. Воевода, перекрестясь сел к столу, ястребиные глаза скользнули по золоченым братам и кушаньям на серебряных блюдах. Он видимо, нашел, все в порядке, одно лишь молча показал рукой в перстнях на огонь свечей. Дворецкий бойко отыскал в кармане доломана съемцы, поропливо снял нагар.

— Сказать холопам, что у дверей: боярина Киврина пустить — иных никого!

— Указано, князь!

— Чтоб проводили боярина сюда!

— То им ведомо, князь.

— А столбов тех пошто наставил? Воевода повел рукой в сторону слуг у серебра.

— По чину, боярин, князь!

— Сегодня без чина.

— Подьте вон! — махнул молчаливым слугам дворецкий.

— И ты Егорка, за ними позову, — жди!

Дворецкий поклонился, касаясь пальцами полу, ушел.

Застучал посох, и, стигаясь в низкой двери, гость сверкнул лысиной.

«— На то дверь низка, чтобы хозяину кланяться... — подумал Долгорукий. Шумя парчевым, широким кафтаном в горницу

пролез Пафнутий Киврин, выпрямился, опираясь левой рукой на посох, правой перекрестился на киот с образами в углу, сказал не громко:

— Челом бью! Здоров ли, князь и воевода?

Хозяин, спасибо? У меня без места садись, боярин Пафнутий Васильич: гостю рад.

— За экую благодать, почто не сести? Сяду князь Юрий...

Желтая рука Киврина простерлась в сторону яств.

— Ну уж коли то благодать, надо почать с нее — вот фряжское бояри!

— Ой, князь Юрий Алексиевич, чем почествуешь, того съедем и изопьем.

— Чествую всем — во что, боярин, твои глаза глядят и куда рука забредет — за моим столом не будь гостем, будь хозяином. Служить некому: холопей услал я, — лишнее ухо нашим сказкам не должно внимать...

— Ой, и разум у князя Юрия, вот уж люблю таких! такими, как ты, князь Юрий, жива наша мать Русия...

— Пей еще, боярин Пафнутий! мне наливать далеко — трудись сам.

— Ныне много пить не могу, князь Юрий, годы — столь ли веком пил? а теперь — чашу критского и аминь старику.

— Не государев ли на тебе кафтан, боярин?

— Добротная парча и соболь молью не бит — югорской — дай бог государю царю веку и здравия не забывает холопа Киврина Пафнутку, а на тебе, князь, кафтан становой с большим камением, то вижу, родовой, Долгоруково?

— Родовой!, узнал боярин, ну, Пафнутий Васильич, за царское здравие.

Князь встал с чашей в руках, встал и старик — волчьи глаза спокойно глядели в лицо князя.

— За государя царя и великого князя Олексия Михайловича — князь, пью!

Выпив, оба перевернули пустые чаши себе на голову.

— Пью за царицу, боярин!

— За царицу и великую княгиню Марию Ильинишну! боюсь, князь Юрий, не упомнить, — старая голова, — что хочу довести тебе и от тебя послушать...

— Доведешь! за царицу пью, боярин.

— За ее здравие, князь Юрий!

— Надо бы за род государев, но боюсь огрузить — сядемка, Пафнутий Васильич.

— Сядем, князь Юрий, и вот уже хмелен я!

— Зазвал я, боярин, на вечерку не спуста... Ивашка Квашнин много ропщет на тебя, Васильич... он же подбивает изветами в том же Морозова... Морозов — сказывать нече, свой у государя и Морозову, тоже ведаешь ты, дана воля от царя вершить дела разны...

— Того дознался я, князь Юрий, — едина не познал: пошто Ивашке Квашнину пало в голову на меня грызтись?

— Неведомо тебе, боярин? Я ведаю...

— Слушаю, князь?

— Сказывает Ивашка, что ты боярин якобы сыскных дел людей у него кто пригоднее, — переметываешь и во все дела сыскные вступаешь?

— Ну не охул ли то, князь Юрий? Куды я лезу? Мои людишки настрого опознан — не зовутся сыскных дел приказу... Зову я их исцами... Истец слово всем ведомое и по слову тому дела, а тако: вязнут мои людишки как исцы с тяжбой — татинные мелкие порухи ведают, явки подают воеводам, где прилучится, сами николи не вершат... Квашнина люди ведают много «слово государево» и платишко на людях показывает их власть — Квашнина люди в кафтанах стрелецких цветов: будто Яковлева головы приказу — червчатых, иные в голубых — приказу будтоте Петра Лопухина и шапки стрелецкие едино, что без бердыша... На моих — скуфьи шапки, на плечах сукманы сермяжные, домашняя ряднина, протчая ветошь мужичья. .

— В то не вникаю я, боярин, но упреждаю: хочет тебя Морозов охаять перед государем — охулка пойдет с того, «что де грамота Киврина многую лжу имеет!» в отъезде грамота писана тобой, а какая, того не пытал я?

— Вот спасибо, князь Юрий! грамота не иная, как та, что писана мной с Дона о шарпальниках... вот уж свой ты мне, князь Юрий! Свой. близкой...

— И ты, боярин Пафнутий, мне свой!

— И еще спасибо! Князь, Юрий Алексеевич..

— Русь, Васильич, оба мы любим!

— Ой, уж что говорить? Любим, князь Юрий и хотим роду царскому благоденствия и служим мы с тобой, Юрий Алексеевич, не для ради чинов, посулов и жалованьишка — ведь я стар и един на што мне диаманты и злато. . а слышько старика, князь! — Киврин оглянулся кругом, подвинулся на скамье заговорил тише. — Давно ли, князь, был у нас тутотка солейной бунт? Нынче еще не загас бунт во Пскове — переметнулся в Новугород и много бунтов я вижу, когда в пытошной башне секу и жгу воров — много, князь! А потому их много, что воеводское кормление и судейские посулы из смерда выколачиваются безбожно-сугубо, а государю про все, про то мало ведомо... разве, князь Юрий, один на Руси судья Плещеев коего чернь растащила на красной по суставам? Ой, не один! Свои же, кто над воеводами оком государя ставлены, таят их дела... вот тоже в Арзамасе на будных станах боярина Морозова поливачи да будники в ярыгах, а спят где? в хлевах, скот басче пасется... Корм им — мясо с червью, хлеб — с песком.. ряднина на плечах от поташа горит, одежка своя, а где ее взять? Что заработают — до гроша в кабак: «питухов от кабаков не гоняти» — закон! Да они на Волгу поташь в бударах правят... А Волга — ширь. разбой. Казаки о бок, стрельцы беглые... по Волге кабаки деньгу ловят, что ни село — кабак!.. Это, князь, не огонь для бунтов?

Долгорукий мрачно улыбнулся:

— Стар, боярин, а далеко видишь?

— Не молод, князь Юрий, да вишь не спуста дано прозвище мне «волчий глаз», не приметили только, что и нюх мой тож волчий вижу князь по Руси далече...

— Водка, кровь, страх боярин, иного с крмолой пособника не надо, водка руки, ноги вяжет — пытка, огонь кнут... и вино...

— А я сужу, князь, что опился — какая от него подмога, работа какая?

— Так думаю, Васильич, и думать буду и говорить — водка язык даст и дела тайные откроет!..

— Ну ино кинем!.. ты, князь, ведомый гаситель бунтов, не у меня учиться тебе... и знаю, что надумаешь, князь, то не

кичливой головой спуста, а светлой и ежели будут вместе мои малые советы, а твои думы, князь, то обрегем много царя от тех, что без разума на вид забегают...

— Ты, боярин, обещал поведать особое?

Вот вишь, князь Юрий — слова твои, что сон в руку — Квашнин Морозова подговорил и Морозов уж подходил к государю, да не тот был час, сказать ладил «Киврин де много о Дону исписал нелепое», а ты верь старику, князь.

— Верю, боярин!

— Что же я напусто жил, время играючи изводил с казакми? нещадя головы пасть был готов с камнем в воду — у шарпальников это скоро...

— Слушаю, боярин.

— Живя там, князь Юрий, познал я их воровской корень, а корень тот от имени государя я вырвал, да у него пущены три отростеля: Иван, Степан и Фрол — Разины... не ведаю Ивана, Фрол еще детина млад, а Степана, князь, знаю... ой знаю! Суший заводчик бунтов, таких надо иметь и изводить... Такие, князь Юрий, содрогают землю! Ты, князь, нынче не у дел, неведомо тебе от сысного приказа и поди не знаешь, кто завел солейной бунт?

— О приметах заводчика слышал, да то без меня шло...

— Солейной бунт завел Степан Разин, — тайным обычаем от государя был я послан по сыску на Дон заводчика... вот тут зримо, пошто Ивашко Квашнин грызется, через Морозова прознал, «ему де удалось оное»...

— Сказывай, боярин, и я кое-что доведу тебе!

— Да сказал я все, Юрий Алексеевич... Мало не сказал, что харчился у отамана Ходнева — Яковлева Корнейки, что онго Корнейку сговорил послать того заводчика Стеньку на Москву, ведомо, знаю, князю, что ныне к Москве зимовая станица пришла, и заводчик есть в есаулах той станицы... тако все...

— Имею я довести тебе, боярин — вот: в Ляцкой войне в моем стане служил в станичных атаманах Иван Разин...

— Князь Юрий, а где ж он нынче?

— Слушай дальше, боярин! подговаривал тот Разин казаков, «что дескать напрасно мы тут время изводим — побьем

воеводу, дорог на Дон много» Прознал я его помыслы и сговор — воровского того атамана взял под караул, а рядовых казаков отпустил без обиды...

— В твоих ли руках, князь Юрий, нынче оный воровской отаман?

— В моих боярин... и кончать с ним я не торопился, никто не ведает того, где он и что с ним... Мекал я кончить скоро, передумал—нет ли от него корней во Пскове или на Волге? теперь знаю: завтра передам Ивана Разина тебе в разбойной и ты верши с ним, но не без пытки, Пасфнутий Васильич

— Экое счастье! сама благодать в мудрости твоей, князь Юрий. Так выпьем же за твое долголетие, Юрий Олексеевич, и не боюсь я, стариченко, что захмелею, что надо мне еще дела вершить—толково берусь дослушать все, не как бражник кабацкий... Свет тебя неизреченный осиял...

— Вот, боярин, критское, две чаши, ну во здравие!

— Ой, князь! то не гоже, позвоним-ка сперва чашами: в твое долголетие?... вот так! пью...

Старик хлебнул чашу крепкого вина, упал на скамью, закашлялся, схватил со стола чего-то, сунул в рот, медленно прожевал, отдышавшись, заговорил:

— И вот чего князь Юрий, худым умишком я надумал ладнее, чем нынче, время не искать! Покудова не охаял меня Морозов государю—взять заводчиков Разиных — вершить?

— Думаю о том же и я, боярин!

— Ивашку, князь, доплешь, а Стеньку мои люди сыщут. сволокут в разбойной... Ой, вишь пора мне, Юрий Олексеевич, и век бы сидел с тобой, да заплечные работы ждут..

— Трудись о Русии, боярин, на дорогу прими совет!

— Все примаю, князь, только скажи!

— С Ивашкой Разиным не чинись—верши.. отписку по делу тьму дадим государю после, беру на себя—другово хватай тайно, без шума ранее чем кончить с бунтовщиком, доведи боярину Морозову—«так де и так—заводчик солейного сыскан, суд вершим, отписку по делу после пытошных речей».. Тихо с бунтовщиком надобе оттого, что послан он войском, чтоб не было на Дону по нем смятенья — в чем, коли будет такое, обвинят, очернят нас...

— Так, князь Юрий! так то истинно...

Боярин вышел. Князь проводил боярина до дверей горницы крикнул:

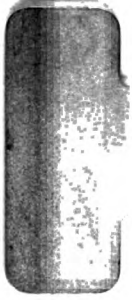
— Егор! наряди людей: боярину к возку огонь, в пути стражу...

Из глубины комнат голос ответил:

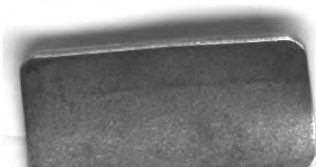
— Не изволь пешись, князь!



3 0000 108 522 891



**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



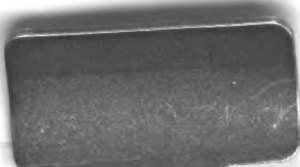
DEMCO



3 0000 108 522 891



**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



DEMCO

